
К. Д. Бальмонт
7


Константин Дмитриевич
Бальмонт
Собрание сочинений в семи томах

Константин Дмитриевич

Бальмонт

Собрание сочинений
в семи томах



Константин Дмитриевич

Бальмонт

Собрание сочинений
ТОМ 7

Избранные переводы

Москва 2010



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1
Б21

Оформление художника
Е. БЕРЕЗИНА

Бальмонт К. Д.

Б21 Собрание сочинений: В 7 т. Т. 7: Избранные переводы: Уолт Уитмен. Революционная поэзия Европы и Америки; Перси Биши Шелли. Освобожденный Прометей; Оскар Уайльд. Баллада Рэдинской тюрьмы; Эдгар По. Рассказы и стихотворения; Лопе де Вега. Овечий ключ; Педро Кальдерон. Жизнь есть сон.. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. — 768 с.

ISBN 978-5-904656-89-8 (т. 7)
ISBN 978-5-904656-82-9

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867—1942) — русский поэт-символист и переводчик, виднейший представитель Серебряного века. Именно с него начался русский символизм.

Стихи Бальмонта удивительно музыкальны, недаром его называли «Паганини русского стиха». Его поэзия пронизана романтичностью, духовностью, красотой. Она свободна от условностей, любовь и жизнь воспеваются даже в такие страшные годы как 1905 или 1914.

Собрание сочинений Константина Дмитриевича — изысканная коллекция самых значительных и самых красивых творений метра русской поэзии, принесших ему российскую и мировую славу. Произведения, включенные в Собрание сочинений, дают самое полное представление о всех гранях творчества Бальмонта — волшебника слова.

Уникальными являются первые три тома — в них без сокращений воспроизведено «Полное собрание стихов К. Бальмонта в 10 томах», изданное в 1904—14 гг. В пятый и шестой тома вошли прозаические произведения Бальмонта, очерки, заметки, впечатления и мысли. Заключительный том Собрания сочинений включает в себя лучшие образцы его художественных — поэтических и прозаических — переводов.

В седьмой том собрания вошли переводы произведений Уитмена, Шелли, Уайлда, По, де Вега и Кальдерона.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-904656-89-8 (т. 7)
ISBN 978-5-904656-82-9

Уолт Уитмен

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОЭЗИЯ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Истинные поэты — всегда провидцы и пророки. Они чувствуют за многих людей, сливаются душой со всеми существами, умственно присутствуют в прошлом, настоящем и будущем. Если они чутки вообще, великие эпохи перелома и преображения действительности в особенности притягивают их мысль к себе и, магнетически очаровав их, бросают в их творчество свои знамения, отсветы своих грядущих пожаров, первые проблески своих готовящихся, жемчужных и алых, ласковых и грозных, зорь.

То, что совершается в наши дни, пробужденье рабочих всех стран, выступление на первое место мировой сцены тех, кого история упорно в течение столетий и тысячелетий отодвигала на задний план, ясно предчувствовалось многими поэтами, но, быть может, никто так ярко и полно не выразил своих предчувствий, как полстолетия тому назад американский поэт освобожденной цельной личности, Уольт Уитман, в таких своих песнях, как «Годы Современности», «Для тебя, о, Демократия», «Европе», «Громче ударь, барабан», — и столетие тому назад английский поэт-пантеист, нежнейший сладкопевец Шелли, в своих философских поэмах «Царица Маб», «Лаон и Цитна», «Освобожденный Прометей».

«Поэт — это соловей, который поет в темноте», — говорит Шелли («В защиту поэзии»). Когда другие спят и не видят, он видит красоту и поет, он ощущает великое и поет и в пеньи предсказывает. «История частична, — говорит Шелли. — Поэзия есть нечто всеобъемлющее. Поэзия это — молниенос-

ный меч, всегда обнаженный, всегда уничтожающий ножны, которые хотели бы его удержать. Поэты — это стекла зеркал, отражающих гигантские тени, которые грядущее, приближаясь, бросает на настоящее; боевые трубы, своим пением возглашающие битву».

Поэзия Уитмана, более, чем кого-либо из европейских и американских поэтов, есть поэзия мятежного и освобожденного человека, который, будучи рабочим, вздымающим свой творческий молот, сознает себя владыкой планеты Земля и громко возвещает светлое торжество Сознательного Человеческого Лика.

К. Бальмонт

Москва,
13 февраля 1920 г.

ОДНОГО ВОСПЕВАЮ Я...

Одного воспеваю я, личность простую, отдельную,
Но слово мое — для Народа, мой лозунг — для Всех.

О теле живущем пою, с головы и до ног.
Не только лицо и мозг достойны, сказала мне Муза.
Много достойнее Тело в своем завершеньи,
И Женщину я наравне воспеваю с Мужчиной,
О жизни безмерной в биеньи, во власти и страсти,
Веселой, для вольных деяний, по законам божественным
созданной.
Я пою,
Человека пою Наших Дней.

КОГДА РАЗМЫШЛЯЛ Я В МОЛЧАНЬИ...

Когда размышлял я в молчаньи,
К поэмам моим возвращаясь и думая, медля так долго,
Призрак предстал предо мной, недоверчивый с виду,
Страшный в своей красоте, возрасте, власти,
Гений певцов старых стран,
Ко мне обращая глаза, подобные пламени,
Своим указуя перстом на многие песни бессмертные.
«Что поешь? — угрожающим голосом мне он сказал, —
Иль не знаешь, что есть лишь единственный замысел
Для бардов живущих во век?

Говорить о Войне, о превратностях битв,
Совершенных готовить солдат».
«Так да будет, — я молвил в ответ, —
О, надменная Тень, я ведь тоже войну воспеваю,
И длиннее она и величественней всех других,
Начата она в книге моей, с переменной удачей,
С наступлением, с бегством, с движеньем вперед,
с отступленьем,
С проволочкой в победе, с еще нерешенной победой,
(Хоть она достоверна, как кажется мне, иль почти
достоверна,
Как я вижу в конце концов),
Поле битвы есть мир.
Не на жизнь, а на смерть эта битва за Тело и вечную Душу,
Вот, явился и я, чтобы петь песню битв,
И я прежде всего поощряю
Смелых солдат».

ПЕРВОЗДАТЕЛИ

Как они нужны Земле, появляясь на ней с перерывами,
Как дороги, страшны они для Земли,
Как приходится им приучаться к себе и к любому,
Каким парадоксом им кажется собственный век,
Как народ отвечает им, все ж их не зная,
Как есть в их судьбе что-то страшное, неумолимое
Во все времена,
Как все времена дурно всегда выбирают предметы наград
и ласкательств,
И как та же великая ценность должна быть
Куплена снова такою же неумолимой ценой.

К ШТАТАМ...

К Штатам или к какому-либо из них, или к какому-либо
городу Штатов: —
«Противьтесь много, повинуйтесь мало».
Раз без вопроса повиновенье, — полное рабство.

Раз полное рабство, — ни один народ, ни одно государство,
Ни один — единственный город на этой Земле —
Никогда не получит обратно свободы своей.

Я НЕПОКОЛЕБИМЫЙ...

Я непоколебимый, я непринужденно стоящий в Природе,
Владыка всего, или владычица всего, уверенность среди
вещей не рассудительных,
Насыщенный, как и они, покорный, восприемлющий,
молчащий, как они,
Увидевший, что труд мой, бедность, известность, слабости
и преступленья
Не столь, как почитал я, важны,
Я возле Мексиканского залива, или в Маннагатте,
или в Теннесси,
Или далеко на Севере, или в глубине страны,
Я, человек речной, или в лесах живущий, или где-нибудь
на ферме,
Или побережьи, на озерах ли, в Канаде,
Где б жизнь моя ни проходила, —
О, только б в саморавновесьи быть для всех случайностей,
Чтоб встретить ночь лицом к лицу, и бури, голод,
Несчастия, удары, посмеянье,
Как это делают деревья и животные.

Я СЛЫШУ АМЕРИКУ ПОЮЩУЮ...

Я слышу Америку поющую, разные слышу я песни,
Песни ремесл, каждый поет свою песню сильно и весело,
Плотник поет свою песню, меряя доску или бревно,
Каменщик песню поет, готовясь к работе или работу свою
оставляя,
Лодочник песню поет о том, что ему надлежит в его лодке,
Палубный песню поет на своем пароходе, на палубе,
Сапожник поет, сидя на лавке, шляпочник стоя поет,
Слышу я песнь дровосека, юношу пахаря, утром за плугом
идущего,

Или в полдень. когда прерывает работу он, или в вечерний час,
Нежное пение матери, или юной жены за работой,
Или девушки, между тем как стирает она или шьет,
Каждый поет о своем, о том, что его, иль ее, и больше ничье.
Днем, что дню надлежит, а ночью дружная кучка сильных товарищей
Поет открытыми ртами свои сильные звучные песни.

ГДЕ ГОРОД В ОСАДЕ?..

Где город в осаде, что тщетно старается снять
Осаду врагов?
Вот, я посылаю в тот город вождя.
Он смел, он проворен, бессмертен,
И конница с ним, и пехота, обозы орудий,
И возле орудий стрелки, страшнее всех бывших доселе.

ВСЕ ЖЕ, ХОТЬ Я И ПОЮ ОДНОГО...

Все же, хоть я и пою одного,
(Одного, кто однако же весь — противоречье),
Я посвящаю песни — Народности,
Я в нем мятеж оставляю
(О, сокровенное право возмущенья! О, непогасимый, необходимый огонь!).

ПОЭТЫ ГРЯДУЩИЕ...

Поэты грядущие, ораторы, певцы, музыканты грядущие,
Не сегодня меня оправдывать, и отвечать, за что я стою,
Но вы, новое племя, естественное, атлетическое,
К материкам относящееся, большим, чем те, что доселе ведомы были,
Восстаньте, ибо вы должны оправдать меня.
Сам я пишу всего лишь два-три указующих слова для будущего,

Я выхожу вперед лишь на миг, чтоб вдруг повернуть
и быстро исчезнуть во тьме,
Я человек, который, блуждая, чуть-чуть задержав свой шаг,
Обращает к вам мимолетный взгляд и затем отвращает лицо
свое,
Предоставляя вам рассмотреть это, точно означив,
От вас ожидая главнейшего.

К ТЕБЕ

Незнакомец, коль ты, проходя, повстречаешь меня,
И со мной говорить пожелаешь,
Почему бы тебе не начать разговора со мной?
Почему бы и мне не начать разговора с тобою?

К ЧИТАТЕЛЮ

В тебе, читатель, трепещут жизнь, гордость, любовь
те же самые, что и во мне,
Потому для тебя эти песни.

ДЛЯ ТЕБЯ, О, ДЕМОКРАТИЯ

Сюда, я создам материк неразрывный,
Я создам самый блестящий народ, на какой когда-либо
Солнце сияло,
Я создам магнетически-дивные страны,
Любовью товарищей,
На жизнь — любовью товарищей.

Я насажду товарищество густое, как чаща деревьев вдоль
течения рек Америки,
И вдоль берегов великих озер, и по всем неоглядностям
прерий,
Я создам города неразлучные с их руками, объявшими
каждую шею,

Силой любви товарищей,
Мужскою любовью товарищей.

Для тебя от меня они, о, Демократия, чтоб служить тебе,
о, жена моя.
Для тебя, для тебя они все, эти песни звенящие.

ОСНОВА ВСЕХ МЕТАФИЗИК

Ну-с, государи мои, а теперь я скажу вам
Слово, которому в памяти нужно остаться,
Слово, в котором основа для всех метафизик.
(Так говорит пред студентами старый профессор,
Курс заключая, который весьма посещался.)

Древние все изучивши и новые также системы,
Греческих всех мудрецов, и философов также германских,
Канта вполне рассмотрев, Шеллинга, Гегеля, Фихте,
Знанье Платона, Сократа, который превыше Платона,
Мудрость божественных слов Христа, что прекрасней
Сократа,
Вижу я в памяти ныне системы германцев и греков,
Вижу философов всех, христианские церкви и веры,
Но за Сократом я вижу, за ликом Христовым я вижу
Нежность любви человека к собрату людскому,
Вижу привязанность друга к любимому другу,
Вижу согласно-венчанных супруга с супругой,
Вижу детей и родителей, связанных нежной любовью,
С городом город в союзе, страну со страною.

КАПАЙТЕ, КАПЛИ...

Капайте, капли, оставляйте вены мои голубые,
О, капли меня, медленные капли сочитесь,
Чистосердечно от меня отпадая, капайте, капли кровавые,
Из ран нанесенных, чтоб волю вам дать, на полю из плена
вас выпустить,
Из лица моего, изо лба моего и губ,

Из груди моей, изнутри, где я был сокрыт,
Вытесняйтесь, красные капли, исповедальные капли,
Запятнайте страницу каждую, запятнайте каждую песню,
которую я пою,
Кровавые капли,
Дайте узнать им ваш алый жар, дайте блистать им,
Насытьте их вами, стыдными, мокрыми,
Сияйте над всем, что я написал или что еще напишу,
кровавые капли,
В вашем свете да будет все видно, капли румяно-красные.

Я СЛЫШУ, МЕНЯ ОБВИНЯЮТ...

Я слышу, меня обвиняют, что я подрываю основы,
На самом же деле не против основ я и не за основы,
(Что общего в самом деле с ними есть у меня? или что
с разрушением их?)
Я хочу лишь одно учредить в Маннагатте и в городе каждом
Соединенных Штатов,
Внутри страны и на море,
На полях и в лесах, и над каждым килем большим
или малым, бороздящим воду,
Без учреждений и правил, ручательств или доказательств,
Основу нежной любви товарищей.

В ЭТО МГНОВЕНЬЕ...

В это мгновенье, когда я один полон мысли и грусти,
Кажется мне, что другие есть люди там в странах других,
Так же, как я, одинокие, полные грусти и мысли,
Кажется мне, что гляжу я и ясно их вижу,
Всюду, в Германии, Франции или Италии,
Вижу в Испании, дальше, в Китае, в России
Речь их другая, и кажется мне, что, когда бы
Мог я узнать их, я так же бы к ним привязался,
Как я привязан к живущим в краях мне родимых,
Знаю, мы были бы братьями, были б друзьями,
Знаю, наверно, я счастье бы с ними узнал.

МЫ ДВОЕ МАЛЬЧИШЕК...

Мы двое мальчишек, друг к другу мы льнем,
Друг друга не бросим, и вместе идем,
Направо, налево, на Юг и на Север,
Мы сильны, и локти умеем расставить,
И пальцы умеем сжимать,
Оружие с нами, и нет с нами страха,
Едим мы, и пьем мы, и спим мы, и любим,
Один нам закон есть, закон тот мы сами,
Пловцы мы, солдаты, разбойники, воры,
В тревоге все скряги, вся челядь, попы,
Мы воздух вдыхаем, пьем светлую воду,
Мы пляшем на дерне зеленом и взморье,
Берем города, презираем покой,
Хохочем, смеемся над сводом уставов,
И слабость мы гоним, — что нужно, берем.

МНЕ СНИЛОСЬ ВО СНЕ...

Мне снилось во сне, что я вижу неведомый город,
Непобедимый, хотя б на него и напали все царства Земли,
Снился мне новый город друзей,
Самым высоким там — качество было могучей любви,
Выше — ничто, и за ней все идет остальное,
Зрима была она ясно в мгновение каждое
В действиях жителей этого города,
В их взорах, во всех их словах.

ГОДЫ СОВРЕМЕННОСТИ...

Годы современности, годы несвершенного,
Ваш горизонт растет, я вижу, что он расступается
Для более сильных, торжественных драм,
Я вижу не только Америку, не только народ Свободы,
я вижу другие народы готовятся,
Я вижу ужасные входы, уходы со сцены, сочетания новые,
солидарность рас,

Я вижу грядущую эту силу, неудержимо вступающую
на мировую сцену,
(Старые силы, старые войны, сыграли ль они свои роли?
Действия, им надлежащие, кончены ли?)
Я вижу Свободу, во всеоружьи, победную, гордо-надменную,
С Законом с одной стороны, и с Миром с другой,
Изумительна эта триада, все они вышли на бой против
мысли о касте.
К каким историческим развязкам мы мчимся с такой
быстротой?
Я вижу людей в их маршах и в их контр-маршах, спешат
и спешат миллионы,
Я вижу, что все рубежи и границы аристократий старинных
разрушены,
Я вижу — межи европейских владык все стерты,
Я вижу, что в этот день Народ начинает свои рубежи
означать (все другие долой),
Доныне еще никогда столь острых вопросов не ставили,
Никогда еще не был простой человек, и дух его более силен
и более богоподобен.
Чу, как он нудит, торопит, не оставляя массы в покое,
Шаг дерзновенный его на земле и на море повсюду,
Великого он океана коснулся и в нем создает поселенья,
Колонизует архипелаги,
Своим паровым кораблем, телеграфом своим электрическим,
Газетой и массой военных орудий,
Конторами, нити свои разбросавшими в мире,
Меж всех географий он звенья кует и связует все страны.
Что за шопоты это, о, страны, бегут перед вами, проходят
под глубью морей?
Все народы беседу ведут? Создается ли эхо у Шара Земного
единое сердце?
Человечество хочет ли слиться в сплошное одно?
Ибо видишь, тираны трепещут, короны тускнеют,
Упорствуя в духе своем, земля — лицом к лицу с новой эрой,
Пред всеобщей, быть может, войною божественной.
Не знает никто, что случится вот-вот, дни и ночи такими
наполнены знаменьями.
Вещие годы! Пространство, пока я иду, и тщетно стараюсь
его проницать,

Наполнено призраками.
Те вещи, что скоро случатся, деянья еще не свершенные,
Бросают вокруг меня тени свои,
Этот натиск, стремленье и пыл, в которые трудно поверить,
Лихорадочность снов исступленных, их странность, о, годы,
Сновидения ваши, о, годы, — как они проникают в меня.
Наяву ли я или во сне, я не знаю.
Америка вместе с Европой, свершенные, смутно темнеют,
Уходят за мной они в тень,
Несвершенное, столь исполинское, как никогда не бывало,
Идет и идет на меня.

ЗВЕЗДА ФРАНЦИИ

1870–1871

О, Франция, звезда,
Блистательность твоих надежд и сил, и славы,
Как некий повелительный корабль,
Который вел так долго целый флот,
Сегодня кажется лишь выброском, носимым
По воле бурь, лишь остовом без мачт,
С полупотопшим жалким экипажем,
С толпой полубезумной, — нет руля,
Нет рулевого.

Во тьму упавшая звезда,
Ты шар не только Франции одной,
Души моей, ее надежд заветных,
Ты бледный символ, ты восторг борьбы,
Священный жар свободы, дерзновенье,
Стремленье к отдаленным идеалам,
Ты сон о братстве, сон энтузиаста,
Ты ужас всех тиранов и святош.

Распятая звезда— ты продана,
Ты продана изменниками подло,
Звезда страданья над страною смерти,
Над краем героическим и странным,

Над страстной, над фривольною страной.
О, нет, нет, нет. И за твои ошибки,
За суетность твою, и за грехи
Я ныне упрекать тебя не стану,
Огонь твоих терзаний беспримерных
Их сжег, и ты освящена.

За то, что ты средь многих вин своих
Всегда высокой целью задавалась,
За то, что, как цена ни будь громадна,
Себя ты не хотела продавать,
За то, что с горьким плачем ты проснулась
От зелья одурманенного сна,
За то, что ты одна, как великанша,
Среди сестер,
Тех, кто тебя позорил, разорвала,
За то, что не могла ты, не хотела
И не носила принятых цепей, —
Вот этот крест тебе, твой лик избитый,
Кровавость рук и язвы ног пронзенных,
Копье, воткнутое в тебя.

О, Франция! Звезда, корабль разбитый,
Давно уж одураченный — проснись,
Звезда, зажгись, корабль, найди дорогу!
Да, как корабль всего, сама Земля
Из хаоса кипучего рожденья,
Созданье смертоносного огня,
Из мглы отрав и судорог свирепых,
Выходит в красоте победы полной,
Так ты под Солнцем, путь свой начертав,
Плыви, корабль, раскрывши крылья.

Свершатся дни, растают облака,
Распутан будет жесткий трудный узел,
И высоко над Европейским миром
(Лицом к лицу, через простор морей,
Колумбии ответствуя победно),
Твоя звезда, о, Франция, опять,

Красивая звезда в венце лучистом,
В тиши небесной, ярче, в новом блеске.
Зажжет бессмертный луч.

ЕВРОПЕ

72 и 73 годы Соединенных Штатов

Внезапно из ветхой и сонной берлоги,
Из душной берлоги рабов,
Как будто бы вспыхнула яркая молния,
Сама на себя удивляясь,
Ногой придавивши лохмотья и пепел,
И стиснувши руки на горле владык.

О, надежда и вера!
О, боль завершения жизней — всех тех,
Кто был изгнан за то, что любил свою родину,
О, сколько порвавшихся в пытке сердец!
Вернитесь назад в этот день,
И забейтесь для жизни свободной.

А вы, которым платят за услугу
Грязнить народ, заметьте вы, лжецы:
Хотя несчетны были истязанья,
Убийства и бесчестность воровства
В извилистых и самых низких формах. —
Хотя из тех, кто беден, выжимали
Достаток весь, грызя его как черви, —
Хоть обещанья с королевских уст
Нарушены, и тот, кто обещался,
Отметил подлым смехом свой обет, —
И хоть во власти тех, кто был обижен,
Владыки были, — все ж свои удары
На них еще не устремила месть,
И головы не срезаны у знати; —
Народ презрел свирепости владык,
Но мягкость милосердия была,
Как дрожжи для погибели горчайшей,
И струсившие деспоты вернулись.

С своей приходит каждый с полной свитой,
При нем палач, святоша, вымогатель,
Солдат, законник, барин и тюремщик,
Доносчик с ним.

А сзади всех ползет, глядите, призрак,
Как бы туман, в покрове бесконечном,
Лоб, голова, и весь — в багряных складках,
Лица и глаз никто не видит,
Из всех одежд, из красных одеяний,
Приподнятых рукой, лишь палец видно,
Изогнутый, кривой, во всем подобный
Змеиной голове.

Меж тем тела лежат в могилах свежих,
Кровавые тела погибших юных,
Веревка тяжко с виселицы пала,
Летают пули, принцы их послали,
Приспешники властей хохочут, —
И это все должно явить свой плод.

Тела погибших юношей, тела
Замученных, повешенных, сердца,
Пронзенные свинцом жестоко-серым,
Теперь как будто холодны, недвижны,
Но невозможно их убить.
Они вознесены святою смертью,
Они живут в других, таких же юных.
Внемлите, короли,
Они живут в других, опять готовых
На вызов вам.

Над каждым, кто убит был за свободу,
Над каждою подобною могилой,
Растет трава, которой имя — вольность,
И в свой черед посеет семена,
И ветры разнесут их для посевов,
Дожди, снега — кормильцы им.
Да, каждый дух, которого от тела
Освободит орудие тирана,

Здесь будет, от земли он не уйдет,
Он будет проходить по ней незримо,
Шептать, предупреждать и торопить.
Свобода, пусть отчаются другие,
Я никогда в тебе не усомнюсь.

Дом заперт? И хозяина нет дома?
Пусть, все равно готовы будьте, ждите,
Он будет скоро, вестники его
Приходят вдруг.

ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЙ...

Законы мирозданий,
Для сильных вождей и художников, для свежих племен,
учителей и совершенных писателей в нашей Америке,
Для благородных певцов, и ученых и музыкантов грядущих,
Все должны иметь отношения к общему целому мира,
к всеобъемлющей правде мира
Не будет ничто казаться чрезмерным — все созданья
должны изъяснять божественный закон уклонений.
Как полагаете вы, что же есть мирозданье?
Как полагаете вы, что же может насытить душу, как не знать,
что свободен твой путь, и что нет над тобой никого?
Как полагаете вы, что же буду внушать я вам сотнями
разных дорог, как не то, что мужчина и женщина
так хороши, как Бог?
И что нет никакого Бога, который был бы божественнее,
нежели вы?
И что это есть именно то, что древнейшие мифы и мифы
новейшие разумеют в конце концов?
И что ты, и что вы, и что каждый приблизится вплоть
к мирозданьям чрез такие законы?

БОГИ

Любовник божественный, безупречный товарищ,
Ждущий, незримый еще, но вполне достоверный,

Будь моим Богом.
Ты, ты, о, совершенный человек,
Способный, светлый и красивый,
Довольный, любящий,
Широкий в духе, завершенный в теле,
Будь моим Богом.
О, смерть (ибо жизнь свой черед отслужила),
Открыватель, привратник жилища небесного,
Будь моим Богом.
Сильнейшее, и лучшее, что вижу,
Что знаю, постигаю
(Чтобы разрушить оковы вод стоячих, и тебя, освободить тебя, душа),
Будь моим Богом.
Все помыслы великие, стремленья
Народов, все геройские деянья,
Свершенья восхищенных, просветленных,
Будьте моими Богами.
Иль время и пространство,
Иль форма дивная божественной земли,
Иль что-нибудь красивое, на что я
Гляжу, дивясь,
Или лучистый облик Солнца,
Или звезда в ночи,
Будьте моими Богами.

К ТОМУ, КОТОРЫЙ БЫЛ РАСПЯТ

Дух мой с твоим, милый брат,
Не думай, многие, имя твое возглашающие, не понимают тебя,
Не возглашаю я имя твое, но я понимаю тебя,
С радостью я именую тебя, о, товарищ, чтоб ныне тебя приветствовать и приветствовать тех, кто с тобой заодно, раньше и после, и тех, кто еще придет.
Все мы работаем вместе, передавая ту же задачу и то же наследие.
Мы немногие, равно безразличные к странам и к эпохам,

Мы включатели всех континентов, всех каст, допускатели
всех теологий,
Сострадатели и сознаватели, полный отчет людей,
Мы проходим безмолвно средь диспутов и утверждений,
но не отвергаем ни спорящих, ни утверждений
каких бы то ни было.
Мы слышим и крики и шум оглушительный, с каждой
на нас стороны разделенья идут, обвиненья, и ревности,
Они нас теснят догматически, думают нас окружить,
мой товарищ,
Но мы идем неудержно, свободно, по всей земле мы
странствуем вверх и вниз, пока не наложим неизгладимую
нашу печать на время и на разные эры,
Пока не насытим мы время и эры, чтоб мужчины
и женщины рас, столетья грядущие, могли быть
братьями, ведать любовь, как мы.

ПЛЕМЯ БОЙЦОВ

Племя бойцов-победителей!
Племя земли, готовое к битве — готовое к маршу победному
(Не легковерное больше, не ждущее, не неподвижное),
Племя отныне не знающее
Иного закона, как тот, что в самом себе,
Племя борьбы, страсти и бури.

САМЫЕ БРАВЫЕ СОЛДАТЫ

Бравыми, бравыми были солдаты, которые жили в бою
и жизнь пронесли через битву
(Вознесены имена их теперь),
Но самые бравые шли и теснились вперед, и пали безвестно,
без имени.

СТАРЫЕ СНЫ БРАННЫХ ДНЕЙ

В полночь я сплю, и мне снятся лица, тревожные лица,
Взгляд пораженного на смерть (неописуемый взгляд),

Лица умерших, что навзничь упали, раскинувши руки, —
Я вижу их; вижу их, вижу.
Снятся мне сцены природы, поля и равнины и горы,
Небеса за грозой так прекрасны, ночью месяц нездешний
горит,
К нам он смотрит и нежно сияет, а мы роем, копаем
траншеи. —
Это вижу я, вижу я, вижу.
Миновали давно эти лица, и равнины, и эти траншеи,
Где я шел с зачерствелым лицом, сквозь резню, и от павшего
прочь,
Я спешил все вперед в это время, но теперь их виденья
мне ночью
Снятся, — вижу их, вижу их, вижу.

ПРИМИРЕНИЕ

Слово над всем, прекрасное как небо,
Прекрасно, что война со всей своей резнею
Во времени совсем — совсем сотрется,
Что руки двух сестер,
Смерти и ночи,
Беспрестанно смывают, омывают — омывают запятнанный
мир.
Умер мой враг, человек такой же, как я, божественный, умер,
Я гляжу на него, как лежит он тихо, с белым лицом, в гробу —
Я к нему подхожу, наклоняюсь, касаюсь слегка
Своими губами до белого лика в гробу.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЧЕТЫРЕСТОРОННОСТЬ

1

Пою божественную четырехсторонность,
Идущую из Одного, рождение сторон,
Из старого и нового, из полной
Божественности четырех сторон,
(Все стороны ее необходимы).

Она прочна, и с этой стороны
Я Иегова,
Я старый Брама, я Сатурн; и Время
Меня не задевает, – я есмь Время,
И старое, и новое, любое,
Неубедимый, непреклонен я,
Я исполняю право приговоры.
Земля, Отец, и темный старый Кронос,
С законами, их возраст вне считанья,
И вечно новые они,
Всегда с могучими законами свершаю
Свой путь,
Без послаблений, людям нет прощенья,
Кто согрешил, умрет,
Жизнь согрешившего возьму я;
Пусть милости никто не ожидает,
Я дал вам дни и перемены года
И тяготенье. Милость? Нет ее.
Как смена дней и перемены года,
И тяготенье людям не прощают,
Я раздаю отсюда приговоры
Неумолимые, без искры сожаленья.

2

Обетованный, кроткий, утешитель,
С рукою нежною, протянутой вперед,
Я, Бог сильнейший, выступаю,
Предсказанный пророками, певцами
В их восхищенных прорицаньях и
Отсюда, с этой стороны,
Вот, я Господь Христос – вот, я Гермес,
Вот предстаю я с ликом Геркулеса,
Все, в чем работа, в чем печаль, страданье,
Приноровляя, я в себя вбираю;
Я много раз отвергнут был, ославлен,
И заключен в тюрьме, и распят был,
И то же много раз еще случится,
Ото всего я мира отказался
Во имя братьев и сестер моих,

Из-за души, и путь мой проходил
Через дома людей, богатых, бедных,
Идя, дарил я поцелуй любви
Затем, что я любовь, я Бог несущий
Веселье, и надежду, и для всех
Свет милосердья с кроткими словами,
Как к детям, с мудро-свежими словами,
Которые единственно мои,
Так прохожу, я, молодой и сильный.
И сознавая слишком хорошо,
Что я себя назначил к ранней смерти;
Но милосердие мое бессмертно —
И смерти нет для мудрости моей,
Ни ранней смерти, и ни поздней смерти,
И здесь моя любовь по завещанью,
И никогда, нигде, ей смерти нет.

3

Особняком стоящий, недовольный,
И замышляющий восстанье,
Преступников товарищ, брат рабов,
Лукавый, презираемый, без знаний,
Чернорабочий с ликом истомленным
Отверженца, в морщинах, темный, черный,
Но гордый в глубине души, как все,
Всегда и ныне возмущенный,
Восставший на того, кто восхотел
Мной править, относясь ко мне с презреньем,
Угрюмый, полный хитростей и ков,
Злопамятный, исполненный уловок,
(Хоть думали, что одурачен я,
И поражен, и все мои уловки
Разрушены, но этого не будет),
Протест, я, Сатана, еще живу,
Свои слова еще произношу я,
Являясь в новых странах, как мне должно
(И в старых также),
Всегда стою на стороне моей,
Готовый к схватке, равный с кем угодно,

Действительный и сильный, как любой,
И время слов моих не переменит,
И в переменах я не изменюсь.

4

Святая Одухотворенность,
Жизнь, дышащий, кто за пределом света
Светлей, чем свет,
За гранью адского пожара,
Веселый, мчащийся превыше сфер, где ад,
За гранью Рая, весь благоуханный
Одним благоуханием своим,
Включающий всю жизнь, что на земле,
Включающий своим касаньем Бога,
Спасителя, и Сатану,
Эфирный, проникающий весь мир.
(Что был бы этот мир, не будь меня?
Что был бы Бог?)
Суть форм, жизнь всех реальных тождеств,
Действительный, всегдашний, достоверный
(И именно незримый),
Жизнь этого круговорота мира,
Жизнь солнца, звезд, и человека,
Всеобщая душа,
Кончая четырестороннность,
Я, прочный, я, наипрочнейший,
Дышу и я моим дыханьем
Сквозь эту песнь.

ДАЙ МНЕ БЕЗМОЛВНОЕ ЯРКОЕ СОЛНЦЕ...

1

Дай мне безмолвное яркое Солнце со всеми лучами его
ослепительными,
Дайте мне сочный осенний плод, спелый и красный из сада,
Дай мне поле с нескошенной свежей травой,
Дайте мне дерево, дай мне лозу на решетке,

Дайте мне свежую рожь и пшеницу, дайте животных,
движеньями ясными учащих нас быть довольными,
Дайте мне ночи, ночи спокойные, какие бывают на ровных
возвышенностях,
Близ Миссисиппи, и дайте смотреть мне на звезды,
Дайте мне сад, что душист на заре от красивых цветов,
где бы я мог бродить без помехи,
Дайте в супружество мне женщину с нежным дыханьем,
от которой не мог бы уехать я,
Совершенного дай мне ребенка, прочь от шумного мира
дайте уйти в деревенскую тихую жизнь,
Дайте мне петь — щебетать, дайте природу мне, дай мне,
природа, свои первобытные здравия!
Это прошу я, и это хочу я иметь (утомясь беспрерывным
волненьем, измученный битвой-войной).
Этого требую я, неустанно об этом взываю, из сердца крича
своего,
Меж тем как, прося неустанно, я к городу льну моему,
День изо дня, и за годом год, о, город, идя, проходя твои
улицы,
Где ты все еще держишь покуда меня, и не хочешь меня
отпустить,
Но зато насыщаешь меня и богатою делаешь душу, давая
мне лица и лица,
(О, я вижу, при виде того, от чего я хотел ускользнуть,
Ставши лицом к лицу, отвергнувши крики своя,
Я вижу, душа моя топчет то, о чем сама же просила).

2

Возьмите себе безмолвное яркое Солнце,
Держи при себе, природа, леса свои, и тихие долы возле
лесов,
Держи при себе поля клевера, ржаные поля и сады,
И поля цветущей гречихи с жужжащей пчелою девятого
месяца;
Дайте мне лица и улицы — дайте мне эти фантомы
несчетные,
Беспрерывно идущие вдоль тротуаров,

Дайте мне видеть несчетность глаз — дайте женщин —
товарищей, любящих, тысячами,
Дайте мне видеть новых людей каждый день —
За руку новых людей держать каждый день!
Дайте такие мне зрелища — улицы дайте Мангаттан!
Дайте Бродвэй, по которой проходят солдаты под звук
барабанов и труб.
Роты солдат и полки — иные в поход уходящие,
Бесстрашные, полные бодрости — другие, отбывши свой
срок,
В рядах поредевших домой приходящие,
(Молодые, и так уже старые, что идут утомленно, не видя
кругом ничего),
Дайте мне берега и верфи, чернотой кораблей обрамленные!
О, вот этого мне! Напряженности жизни, разнообразной,
полной сполна, через край!
Жизнь театра, и жизнь кабачка, и огромный отель, вот чего
я хочу!
Салон парохода! Прогулка толпою! Процессия с факелами!
Густая бригада, на поле сраженья идущая,
И военный за нею обоз, тяжело нагруженный,
Народ бесконечный, потоку подобный, с гуденьем своих
голосов, со страстями, со зрелищами,
Мангаттан с безмерностью улиц, наполненных мощным
биением,
С призывом его барабанов, как ныне,
Бесконечный и шумный хор, стуки и трески мушкетов
(Даже зрелище раненых),
Мангаттан с своими толпами, с музыкальным
их буйственным хором!
Мангаттан и лица его, и глаза — вот чего я хочу.

ИСКРЫ ОТ КОЛЕСА

Там, где толпа городская день-деньской движется
безостановочно,
Отступивший, сливаюсь я с кучкой детей наблюдающих,
я медля с ними стою в стороне
У кривизны, образующей край плитняка,

Точильщик работает, он колесом острит лезвее большого ножа,
Наклонившись, заботливо, он держит его у камня ступней и коленом,
Размерно ступая, он быстро его вращает, нажимая легкой, но твердой рукой.
В изобильи наружу исходят золотые струи,
Искры от колеса.
Как эта картина и вся обстановка ее меня поражает и трогает,
Печальный старик, с острым подбородком, в изношенном платье, с широкою кожаной перевязью,
Я сам, истекающий и расплавляющийся, призрак немой, любопытно плавучий, здесь теперь поглощенный, задержанный,
Кучка (никем незамеченная точка в обширной окружности),
Дети спокойно-внимательные, громкая, гордая ртачливая основа всех улиц,
Камень, который в круженьи тихо и хрипло мурлычет, лезвее слегка нажатое,
Распространяющее и роняющее, в сторону быстро бросающее, в тонких дождях золотых, искры от колеса.

ЕСЛИ БЫ ВЫБОР ИМЕЛ Я...

Если бы выбор имел я сходствовать с лучшими бардами,
Нарисовать их портреты, красиво и стройно,
И по воле моей состязаться
С Гомером, со всеми его бойцами и битвами, с Ахиллесом, Аяксом и Гектором,
Или с плененными скорбью Гамлетом, Лиром, Отелло Шекспира,
С Тэннисоном, с прекрасными лэди его,
Напеть и измыслить лучшее, замысел избранный влить в совершенную рифму, усладу певцов, —
Это, все это, о, море, все это охотно б я отдал,
Если бы дало мне ты колебанье единой волны,
Ухватку ее,
Или вдохнуло бы в стих мой дыханье свое, единое,
И оставило в нем этот запах.

ПТИЦА-БОЕЦ

(Фрегат)

Ты, спавший на буре всю ночь,
Проснувшийся весь обновленный на своих непомерных крылах
(Гроза разразилась? Ты выше поднялся над дикой,
На туче покоился, туча качала тебя, рабыня твоя баюкала),
Ты синяя точка теперь, далеко, далеко, на небе,
Плывешь,
Меж тем как на палубе здесь я слежу за тобой, выплывая на светлую полосу,
(Сам точка, лишь атом в плавучей пустыне миров),
Далеко, далеко на море,
После ночи с свирепым приливом, усеявшим берег обломками,
С новым днем, как сегодня, счастливым и ясным,
С зарей возрастающе-розовой,
С ослепительным солнцем, в просторе лазурного чистого воздуха,
Ты тоже являешься вновь,
Ты, рожденный соперничать с вихрем (ты, ветер, все ветры),
Ты, готовый схватиться с простором небес, с ураганом, с землею и с морем,
Ты, воздушный корабль, паруса никогда не роняющий,
Дни, ночи, недели, без устали, прямо, вперед, чрез пространства, чрез царства ты кружишься, мчишься,
Ты в сумерках был в Сенегале, ты утром в Америке,
Ты играешь меж вспыхнувших молний и в тучах громовых,
В них, в эти забавы, ты душу мою захвати, —
О, что б это был за восторг! твой восторг!

ГРОМЧЕ УДАРЬ, БАРАБАН!..

Громче ударь, барабан! — Трубы, трубите, трубите!
В окна и двери ворвитесь с неумолимою силой,
В храм во время обедни — пусть все уйдут из церкви,
В школу, где учится юноша, силою звуков ворвитесь,
Жениху не давайте покоя — не время теперь быть с невестой,

Возмутите мирного пахаря, который пашет и жнет,
Гремите сильней, барабаны, — громче, сильнее ударьте,
Резкие трубы, трубите, — звучи вам, призывный рог!
Громче ударь, барабан! — Трубы, трубите, трубите!

Над суетой городов — над уличным шумом и грохотом.
Постели готовы для спящих, чтоб спать эту ночь в домах?
Не надо, не нужно, чтоб спящие спали в постелях своих.
Торговцы торгуют? Не надо, не нужно теперь торгашей,
Оратор еще не умолк? Певец будет петь, пожалуй?
В суде адвокат защищает дело свое пред судьей?
Скорей же, скорей, барабаны, — рассыпьтесь гремящею дробью,
Пронзительно, трубы, трубите, — звучи нам, призывный рог!

Громче ударь, барабан! — Трубы, трубите, трубите!
Переговоров не надо — разубеждения прочь,
О боязливом не думать — о слезах в моленьях не думать,
О старике, умоляющем юношу, помыслы прочь,
Голос ребенка да смолкнет, зов материнский да смолкнет,
Ждущие похорон трупы, пусть даже вздрогнут они,
Страшную весть возвестите боем своим, барабаны,
С воплем трубите нам, трубы, — звучи нам, призывный рог!

ПРИВЕТ МИРУ

(Saint au Monde)

1

Возьми мою руку, Уольт Уитман.
Какие скользящие дива! какие картины и звуки!
Какие несчетные звенья, одно к одному, прицеплено каждое к ближнему,
И в каждом ответ для всего, и каждое землю разделяет со всеми.
Что ширится в сердце твоем, Уольт Уитман?
Какие там волны и почвы встают?
Что там за климат? Что тут за люди? Какие здесь города?
Какие тут дети, играют одни, задремали другие?
Кто эти девушки? Кто эти жены замужние?

Что там за группы старых людей, медленно ходят, руками
друг друга обнявши за шею?
Что это здесь за реки, леса, и плоды?
Как называются горы, что встали высоко в туманах?
Что там за сотни жилищ, мириады жилищ, наполненных
жителями?

2

Во мне широта расширяется, долгота удлиняется,
Азия, Африка, Европа к востоку — Америка на западе,
Как пояс объемля выпуклость земли, вьется горячий
экватор,
Любопытно на Север и Юг повернута ось концами,
Во мне самый длинный день, Солнце кружится
по косвенным кольцам, не заходит в течение месяцев,
В должное время во мне простирая полночь, Солнце как раз
над горизонтом встает и заходит опять,
Зоны во мне, моря, водопады, леса, вулканы и островные
группы,
Малэзия и Полинезия, и великие острова Вест-Индские.

3

Что ты слышишь, Уольт Уитман?
Я слышу, как поет рабочий, поет жена фермера,
Я слышу, там в отдаленьи, звуки детей и животных ранним
утром,
Я слышу, кричат, подбодряя друг друга, Австралийцы
в погоне за дикою лошадью,
Я слышу Испанскую пляску, звучат кастаньеты в тени
под каштанами, скрипка звучит и гитара,
Слышу я долгие отзвуки эхо, звучащие с Темзы,
Слышу свирепые песни, Французские песни свободы,
Слышу я, как Итальянский яличник речитативом поет,
повторяя поэмы старинные,
Слышу я в Сирии шум саранчи, меж тем как дождем из туч
своих страшных о травы она ударяет, в хлеба
низвергается,
Слышу я Коптский припев, на закате, задумчиво падает
он на лоно отца почитаемого, обширного темного Нила,

Слышу я крик понукающий, то погонщик мулов
Мексиканский, и на муле звучат колокольчики,
Слышу я, как муэззин Арабский бросает свой клич с высоты мечети,
Слышу я Христианских священников у алтарей их церквей, слышу ответный бас и сопрано,
Слышу я крик Казаков, и голос пловца, поплывшего в море Охотское,
Слышу я свист за спиною рабов, меж тем как угрюмыми группами идут они по двое, по трое, скрепленные вместе цепями, с рукою рука и с ногою нога,
Слышу я, как Евреи читают свои псалмы и летописи,
Слышу размерные мифы Греков, и легенды сильные Римлян,
Слышу рассказ о божественной жизни и смерти кровавой красивого Бога Христа,
Слышу, как учит Индус любимого ученика войнам, любвям, поговоркам, дошедшим сохранно до этого дня от поэтов, слагавших три тысячи лет назад.

4

Что ты видишь, Уольт Уитман?
Кто те, кого ты приветствуешь, одного за другим приветствуешь?
Я вижу, великое круглое чудо катится через пространства,
Я вижу, вдали, в уменьшеньи, фермы, деревни, руины, кладбища, тюрьмы, конторы торговые, дворцы и лачуги, хижины диких, шатры кочевников, вижу я все это там на поверхности,
Я вижу часть теневую, с одной стороны, где спящие спят, и светлую часть, озаренную солнцем, с другой стороны,
Я вижу, с большим любопытством, быструю смену света и тени,
Я вижу далекие страны, так близко, действительно так приближенно к их жителям, как мне близка моя родина.
Я вижу обильные воды,
Я вижу горные пики, я вижу сиэрры Анд, где они в ряды разместились,
Гималаи вижу я четко, Тянь-Шань, Алтай, и Гхаут,
Я вижу гигантские башни Эльбруса, Казбека, Базарджуси,

Я вижу Штирийские Альпы, Карнакские Альпы,
Я вижу Пиренеи, Балканы, Карпаты, а к северу Доврэфьэль,
и в море горную Геклу,
Я вижу Везувий и Этну, Лунные горы и Красные горы
Мадагаскара,
Я вижу пустыни Аравии, Ливии, Азии,
Я вижу огромные страшные льдяные горы Полярные
и Предполярные,
Я вижу все океаны, верхние вижу и нижние, Атлантический,
Тихий, Мексиканское море, Бразильское и Перуанское,
Индустанские воды, Китайское море, Гвинейский залив,
Японские воды, красивый залив Нагасаки, сушей замкнутый
средь гор,
Балтийский простор, и Каспийский, Ботнический, берега
Британские, дальше Бискайский залив,
Средиземное море, залитое солнцем, острова к островам,
Белое море и море вокруг Гренландии.
Я гляжу на моряков мира,
В шторме одни, но в ночи другие следят на дозоре,
Третьих беспомощных носит по морю, а эти в заразных
болезнях.
Я гляжу на суда, на паруса мира,
В гроздьях иные, в портах, другие в своих скитаниях,
Вон огибают мыс Бурь, другие же — мыс Зеленый, иные же
мыс Гвардафуй, мыс Бон и мыс Бахадор,
Иные проходят близ Дондры, иные же в Зундском проливе,
иные же мыс Лопатки, иные Берингов пролив,
Иные мыс Горн, а иные плывут в Мексиканский залив,
вдоль Кубы или Гаити, в Гудзонов, в Баффинский залив,
Близ Довера эти проходят, в Уаш входят другие,
а эти в Сольвей, огибают мыс Ясный, край суши обходят
вон те,
Вон те через Зюдер-Зе, через Шельду свой путь совершают,
А те в Гибралтар приходят, в Дарданеллы, из них уходят,
Иные мрачно свой путь чрез зимние воды свершают,
Иные нисходят по Оби, по Лене восходят легко,
Иные по Нигеру и Конго, по Инду и Брамапутре,
Иные в Камбодже, а эти — готовы к Австралию плыть,
Стоят в Ливерпуле, и в Глазгове, в Дублине, или в Марселе,
в Неаполе и в Лиссабоне,

В Гамбурге, в Бремене, в Гаге, в Бордо, в Копенгагене, всюду,
В Вальпарайсо стоят, в Панаме и в Рио-Жанейро.

5

Я вижу рельсы земли, я вижу дороги железные,
В Великобритании вижу их; вижу их также в Европе,
Я вижу их в Азии, в Африке.
Электрический вижу я путь, телеграфы земли,
Нити известий, войн, смертей, потерь, приобретений,
страстей моей расы,
Вижу я полосы рек земли,
Вижу я Амазонку и Парагвай,
Вижу я четыре великих реки Китая, Амур, Желторечье,
Янг-Тзе и Жемчужную,
Вижу я Сену, Дунай и Луару, Рону, Гвадалкпивир,
Вижу излучины Волги, Днепр и Одер,
Я вижу Тоскану вдоль Арно, Венеции край вдоль По,
Вижу я Греков, которые плывут из Эгейской бухты.

6

Вижу я место, где было древнее царство Ассирии, царство
Персии, Индии,
Я вижу падение Ганга на высокий край Саукары,
Вижу я место, где мысль родилась о Божестве, воплощенном
аватарами в формах людских,
Вижу места постепенного шествия разных жрецов на земле,
оракулов и приносителей жертвы, браминов,
звездопоклонников, лам, монахов, муфтий,
увещевателей,
Вижу места, где друиды бродили по рощам Моны, вижу
омелу, вербену,
Вижу Христа, ядущего хлеб последней вечери, среди юных
и старых людей,
Вижу, где сильный божественный юноша Геркулес
необманно работал, долго трудился и умер потом,
Вижу я место невинной богатой жизни и злополучной
судьбы красивого сына ночного, полночленного Вакха,
Вижу Кнефа, цветущего, в голубое одетого, с короной
из перьев на своей голове,

Вижу Гермеса, на котором нет подозрений, умирающего,
горячо любимого, говорящего своему народу: *Не плачьте
обо мне, это не моя настоящая родина, я был изгнан
из моей настоящей страны, я теперь возвращаюсь
туда,*
*Я возвращаюсь в небесную сферу, куда каждый уйдет в свою
очередь.*

7

Я вижу поля сраженья земли, трава растет на них, расцветы
и нивы,
Вижу следы древних походов и новых,
Безыменные вижу масонства, досточтимые вести
неизвестных событий, героев, записи этой земли,
Я вижу места древних саг,
Вижу сосны и ели, измятые северной бурей и вырванные,
Гранитные вижу утесы и валуны, зеленые вижу луга и озера,
Вижу надгробные камни на могилах Скандинавских
воителей,
Вижу я их вознесенными над берегом тревожных океанов,
чтобы духи умерших людей, когда утомятся своею
спокойной могилой, встали сквозь холм, и смотрели
на волны мятежные, и освежились бы грозами,
безмерностью волей и действием,
Вижу я степи Азии,
Вижу Монгольские насыпи, шатры Калмыков и Башкиров,
Вижу я группы племен кочевых со стадами быков и коров,
Вижу я плоскогорье с оврагами, джунгли, пустыни,
Вижу я верблюда, дикую лошадь, дрохву, жирнохвостых
овец, антилопу и волка, нору вырывающего,
Вижу я горные страны Абиссинии,
Вижу стада пасущихся коз, смоковницу вижу, тамаринд
и финик,
Я вижу поля пшеницы места, где зелень и золото,
Я вижу вакеро Бразилии,
Я вижу высокую гору Сорату в Боливии,
Вижу я, вачо пересекает равнины, несравненного вижу
наездника, лассо он держит в руке, чтоб ловить лошадей,
Вижу я, как чрез пампасы преследуют дикий скот, чтобы
снять с него шкуры.

8

Вижу я области снега и льда,
Вижу я остроглазых Самоедов и Финнов,
Вижу, ловец тюленей в лодке наметил свое копье,
Вижу, как Сибиряк едет на легких санях, влекомых
собаками,
Вижу охотников я за дельфинами, вижу суда китоловные
в Тихом Океане, на Юге, и в Атлантическом, на Севере,
Вижу я скалы, потоки, долины и глетчеры Швейцарии —
замечаю долгие зимы и их уединение.

9

Вижу я города земли, и наудачу сам становлюсь частью
любого,
Вот парижанин я истый,
Вот я в Вене живу, в Петербурге, в Берлине,
в Константинополе,
В Аделаиде, в Сиднее, в Мельбурне,
В Лондоне я, в Манчестере, в Бристоле, в Эдинбурге,
Лимерике,
Я в Мадриде, в Кадиксе, в Барселоне, в Опорто, в Лионе,
в Брюсселе, в Берне, во Франкфурте, в Штутгарте,
в Турине, во Флоренции,
Я существую в Москве, в Кракове, в Варшаве, или на Севере
в Христиании, или в Стокгольме, или в сибирском
Иркутске, или на одной из улиц в Исландии,
Я нисхожу во все эти города, и восстаю из них снова.

10

Я вижу пары, исходящие из неисследованных стран,
Я вижу дикие лики, лук и стрелу, отломок отравленный,
Фетиш и Оби.
Вижу я города Африканские и Азиатские,
Вижу Алжир, Триполи, Дерп, Магадор, Тимбукту,
Монровию,
Вижу кишащие рои Пекина, Кантона, Бенареса, Дельи,
Калькутты, Токио,

Вижу я Крумейца в его хижине, и Дагомейца и Ашанти
в их хижинах,
Вижу, как Турок курит в Алеппо опиум.
Вижу толпы живописные на ярмарках Хивы, на базарах
Герата,
Вижу я Тегеран, вижу Мускат и Медину и пространства
песков промежуточных, вижу я караваны, как с трудом
они пробираются,
Вижу Египет и Египтян, вижу я пирамиды и обелиски,
Вижу резцом рассказанные повествования, летописи царей
и династий, на плитах песчаника врезанные
или на глыбах гранита,
Вижу в Мемфисе могилы для мумий, в них мумии
набальзамированные, в льняные покровы закутанные,
лежат там уж много столетий,
Гляжу на Фиванца павшего, с удлиненно-большими
глазами, с шеей склоненною набок, с руками
крест-накрест,
Вижу всю челядь земли за работой,
Вижу всех узников в тюрьмах,
Вижу людские тела земли с недостатком каким-нибудь,
Слепого, глухонемого, идиотов, горбатых, объятых безумием,
Пиратов, воров, обманщиков, убийц, рабовладельцев земли,
Беспризорных детей, беспомощных старцев и старых
женщин,
Я вижу мужчину и женщину всюду,
Вижу ясное братство философов,
Вижу наклонность к зодчеству, свойство расы моей,
Вижу, чего достигает упорство и трудолюбие расы моей,
Вижу разряды, цвета, варварства, цивилизации, прохожу
среди них, мешаюсь в них без разбора,
Я приветствую всех обитателей земли.

11

Ты, кто б ты ни был!
Ты, дочь или сын Англии!
Ты, из мощных Славянских племен и империй! Ты, Росс
в России!

Ты, с смутным началом, черный с душою божественной,
Африканец высокий с головою тонкой, с благородными формами, с гордым уделом наравне со мной!
Ты, Норвежец! Швед! Датчанин! Исландец! Пруссак,
Ты, Испанец Испании! Ты, Португалец!
Ты, Французская женщина и Француз Франции!
Ты, Бельгиец, ты, возлюбивший свободу Нидерландец! (род, откуда я сам происхожу)
Ты, сильный Австриец! Ты, Ломбардец! Гунн! Богемец! Фермер Штирии!
Ты, сосед Дуная!
Ты, рабочий Рейна, Эльбы или Везера! ты, работница также!
Ты, Сардинец! Баварец! Шваб! Саксонец! Валах! Болгарин!
Ты, Римлянин! Неаполитанец! Ты, Грек!
Ты, гибкий матадор на арене Севильи!
Ты, горец, живущий беззаконно в Тавриде или на Кавказе!
Ты, Бухарец, с своим табуном, стерегущий своих кобылиц, и кормящий своих жеребцов!
Ты, с телом красивым Перс, на полном скаку с седла вонзающий стрелы в цель!
Ты, Китаец и Китаянка! Ты, Татарин Татарии!
Вы, женщины земли, подчиненные вашим обязанностям!
Ты, Еврей, в старом возрасте странствующий через все опасности, чтобы стать однажды на почве Сирии!
Вы, другие Евреи, ждущие всюду, во всех краях, вашего Мессию!
Ты, задумчивый Армянин, размышляющий где-нибудь близ потока Евфрата! Ты, глядящий пристальным взглядом среди руин Ниневии! Ты, восходящий на гору Арарат!
Ты, с усталой походкой, пилигрим, приветствующий встающее издалека мерцанье минаретов Мекки,
Вы, шейхи, вдоль полосы от Суэца до Баб-эль-Мандеба, правящие вашими семьями и племенами!
Ты, возраститель слив, холящий плод свой на полях Назарета, Дамаска или озера Тивериады!
Ты, Тибетец, торгующий по обширным пространствам внутри страны, или торгующий в лавках Лхассы!
Ты, Японец или Японка! Ты, житель Мадагаскара, Цейлона, Суматры или Борнео!

Вы все, что живете на материках Азии, Африки, Европы,
Австралии, все равно, где бы вы ни жили!
Вы все, на бесчисленных островах архипелагов моря!
Вы все столетий, отсюда грядущих, когда вы меня
услышите!
И вы, кто бы и где бы вы ни были, кого я здесь не означил,
но кто наравне мной включен!
Всем вам привет! добрая воля вам всем от меня
и от Америки!
Каждый из нас неизбежен,
Каждый из нас безграничен, каждый из нас с правом своим
на земле,
Каждый из нас может ставить вечные цели здесь на земле,
Каждый из нас так же божественен здесь, как любой.

12

Ты, Готтентот, с своим говором чмокающим! вы, орды
шерстовласые!
Вы те, что являетесь собственностью, капли пота роняющие,
или капли крови!
Вы, человеческие формы с бездонными, вечно иным
напечатленными, ликами зверей!
Вы, бедные Кобу, на кого самый низкий из всех остальных
смотрит сверху вниз, за вашу чуть брезжущую речь
и разумность!
Ты, карлик по росту, житель Камчатки, Гренландец,
Лапландец!
Ты, Австралийский негр, вагой, красный и грязный,
с отвислой губой, ощупью ползающий, ищущий пищи!
Ты, Кафр, Берберией, Суданец!
Ты, дикий и грубый, никем не наученный Бедуин!
Вы, чумные рои в Мадрасе, в Нанкине, в Кабуле, в Каире!
Ты, застигнутый ночью скиталец ночной Амазонии! Ты,
Патагонец! Ты, Фиджи!
Не предпочту я других перед вами,
Не скажу против вас ни слова, назад, уходите туда,
где вы находитесь
(Вы придете ко мне в должное время, выйдя вперед)!

13

Мой дух обошел в соболезновании и в решимости вкруг
всей Земли,
Я искал равных и любящих и нашел, что они для меня
готовы во всех краях,
Я думаю, некое дивное соответствие уравняло меня с ними,
Вы, туманы, я думаю, с вами поднялся я, отодвинулся прочь
к континентам далеким, и вниз там упал, по причинам
достаточным,
Я думаю, с вами я веял, о, ветры.
Вы, воды, я с вами ощупал, с вами перстами я перебрал
каждый берег,
Я прошел через все, что проходит любая река и пролив этого
шара,
Я выбрал себе упор на подножьи полуостровов и на скалах
высоких, уступных, чтоб оттуда кричать, —
Миру привет!
В те города, куда проникает свет и тепло, я проникаю сам
в те города,
На острова, к которым птицы взмахи свои направляют,
к ним направляя свой взмах, я устремляю свой путь,
К вам всем, во имя Америки,
Я устремляю, высоко и прямо подъятую руку, я делаю знак,
Чтоб после меня он остался в виду навсегда,
Для всех очагов и прибежищ людей.

ПЕСНЬ ОТВЕЧАТЕЛЯ

1

Теперь внимайте утренней песне моей, я возглашаю вам
знамения Отвечателя,
Городам и фермам пою я, в то время как в утреннем свете
они предо мной простираются.

Ко мне подходит юноша с порученьем от своего брата,
Как узнает юноша *что* и *когда* относительно своего брата?
Скажите ему, чтоб послал мне знамения.

И вот стою я перед юношей лицом к лицу, и беру его правую
руку в левую руку мою, и беру его левую руку в правую
руку мою,
И я отвечаю за брата его и за людей, и за того, кто отвечает
за всех, и вот посылаю знамения.

Его все ждут, ему отдаются все, его слово решающее
и окончательное,
Его принимают все, в нем существуют, купаясь, как в свете,
в нем себя замечают,
Его потопляют они, и он потопляет их.

Красивые женщины, самые гордые страны, законы, картины
природы, люди, животные,
Земля с своей глубиной и все ее отличительности, и океан
беспокойный (так возглашаю я песнь мою утреннюю),
Все наслаждения, и деньги, и собственность, и все, что
за деньги можно купить,
Лучшие фермы, другие сажают, работают, он собирает,
Города благороднейшие, самые пышные, другие их строят,
возводят, а он в них живет,
Нет ничего ни для кого иначе, как для него, близкое
и далекое все для него, корабля в укрытом море,
Беспрерывные зрелища и процессии на суше для него,
если только для кого-нибудь они.
Он уставляет вещи в их положениях,
Он уставляет сегодня из самого себя, с любовью,
с пластичностью,
Он размещает свои времена, воспоминания, родителей,
братьев, сестер, сочетанья людей, их ремесла, политику,
так что другие потом никогда их стыдиться не могут,
и не могут на то притязать, чтобы ими командовать.
Он Отвечатель,
Что отвечено может быть, он на то отвечает, что не может
быть, он указует, как, почему отвечено тут быть
не может.

Человек есть властительный зов и вызов
(Прятаться тщетно — слышите хохот и смех? слышите
отзвуки эхо, и в эхо иронию?).

Книги, дружбы, философы, жрецы, действия, наслаждение,
гордость восстают и падают, ища удовлетворенья,
Он указует удовлетворенье, и указует тех, что восстают
и падают.

Все равно, какой пол, все равно, где место, и какое сейчас
время года, он быстро, и нежно, и смело может итти
ночью и днем,
У него — ключ сердец, и ему отвечает ручка дверная, когда
прикоснется к ней пальцами.

Желанность его всемирна, поток красоты не больше
желанен, не больше всемирен, чем он,
Тот, к кому он был днем благосклонен, с кем ночью он спал,
благословен.

Каждое существованье имеет свое наречие, каждая вещь
имеет свое наречие и речь.
Он разрешает все языки в свой собственный и дает его
людям, и каждый человек переводит, и каждый себя
самого переводит также.
Одна часть не противодействует другой, он соединитель,
он глядит, как они соединяются.
Он говорит без различия одинаковым тоном: *Как поживаете,
друг?* — обращаясь к президенту при его выходе,
И говорит: *День добрый, брат,* — Бедняге, который киркой
расчищает плантацию сахара,
И оба его понимают и знают, что речь его правильна.
Он идет в капитолий совершенно спокойно,
Он бродит в Собрании, где заседают исполнители Воли
Народной, и один из ее Представителей говорит,
обращаясь к другому: *Вот наш равный приходит
и новый.*

Мастеровые потом считают его мастеровым,
И солдаты предполагают, что он солдат, и матросы, что море
ему известно,
И писатели принимают его за писателя, и художники
за художника,

И земледельцы видят, что мог бы он с ними землю пахать
и любить их,
Все равно, какое бы ни было дело, он эту работу может
исполнить, или уже исполнил,
Все равно, какой бы ни был народ, он мог бы найти в нем
братьев своих и сестер.

Англичане считают его из Английского рода и племени,
Еврею — Евреем он кажется, Русскому — Русским,
он привычный и близкий, ни от кого не далек,
На кого он ни взглянет в кофейне для странствующих,
тот его тотчас признает своим,
Итальянец или Француз в нем уверены, Немец уверен,
Испанец уверен, Островитянин, Кубанец уверен,
Инженер, или палубный с Великих озер, или Миссисиппи,
или из Сан-Лоренса, или Сакраменто, или Гудзонова
залива, или с Помэнока, признают его своим.

Джентльмен чистой крови признает его чистокровность,
Хулиган, проститутка, разгневанный, нищий себя узнают
в путях его, он странно их преображает,
Вот уже больше не низки они, они едва узнают себя,
так они выросли.

2

Указанья и зарубка времени,
Совершенная здравость указует на мастера между философов,
Время, всегда без перерыва, указует себя в частях,
Что всегда указует поэта, это толпа приятных и дружных
певцов, и слова их,
Слова певцов суть часы и минуты света и тьмы, но слова
создателя поэм суть общий свет и всеобщая тьма,
Создатель поэм установляет справедливость,
действительность, бессмертие,
Его глубокий взгляд внутрь и власть обнимает все вещи
и весь человеческий род.
Он слава и запись до этой строки, запись вещей в рода
людского.
Певцы не рождают, рождает только поэт,

Певцы желанны, и их понимают, довольно часто являются,
но редок был день, было редко и место рожденья
создателя поэм, Отвечателя
(Не каждый век и не каждые пять столетий содержали
подобный день, при множестве всех их имен).
Певцы равномерно идущих часов всех столетий, быть
может, имели явное имя, но каждое имя такое есть имя
певцов,
Имя каждого есть певец глаз и красок, певец слуха, звуков,
певец размышленья, певец сладкогласный, певец тьмы
и ночи, певец для гостиной, певец-чаровник,
любовный певец, или что-нибудь в этом роде.

Все в это время и во все времена ждут слов истинных поэм,
Слова истинных поэм не просто лишь нравятся,
Поэты воистину суть не свита красоты, но священные
владыки красоты;
Величье детей есть явленье во вне величья матерей и отцов,
Слова истинных поэм суть расцвет и конечный восторг
звания.

Божественный инстинкт, широта и объемность взгляда,
закон разума, здоровье, дерзость тела, отъединенность,
Веселость, солнечный загар, свежий воздух, таковы суть
немногие из слов поэм.
Моряк и путник, он их держит в основе своей, создатель
поэм, Отвечатель,
Зодчий, геометр, химик, анатом, френолог, художник,
он всех их имеет в основе своей, создатель поэм,
Отвечатель.

Слова истинных поэм дают вам больше, чем поэмы,
Они дают вам, из чего вам создать для себя поэмы, религии,
политику, войну, мир, поведение, историю, опыты,
повседневную жизнь и всякую вещь иную,
Они уравновешивают разряды, цвета, расы, верованья, пол
в его различьи,
Они красоты не ищут, их ищут,
Касаясь их, или за ними немедля, во веки веков идут
красота, стремленье, жажда истомная, любовная боль.

К смерти они приуготовляют, однако ж, они не конец,
а скорее начало,
Они никого не приводят к пределу его, и не делают полным,
довольным,
Кого захотят, того уводят в пространство, чтоб смотреть
на рождение звезд и позвать одно из значений,
Чтобы с полною верою в путь устремиться, умчаться вперед
по звеньям несчетным, и больше покоя не знать никогда.

ПЕСНЬ ПЛОТНИЧЬЕГО ТОПОРА

1

Оружье нагое и стройное, синевата его белизна,
Из глубин материнского чрева голова его вознесена,
Плоть из древа и кость из металла, член один и губа лишь
одна,
Серо-синий лист в красном шаре возрос, рукоятка же
семенем малым дана,
Лежит на траве, и трава под ним склонена,
В нем упор, в нем опора дана.
Сильные формы и свойства сильных форм, мужские
ремесла, звуки и зрелища,
Многообразное шествие, знаменья, музыка в брызгах
по клавишам,
Органист, чьи персты проскользают, играя отрывисто,
Звучит великий орган.

2

Привет всем странам земли, каждой в ее отдельности,
Привет странам сосны и дуба,
Привет странам лимона и фиги,
Привет странам золота.
Привет странам пшеницы и маиса и странам виноградной
лозы,
Привет странам сахара и риса,
Привет странам хлопка, и белого картофеля, и сладкого
картофеля,

Привет горам, равнинам, пескам, лесам, прериям,
Привет богатым надречиям, плоскогорьям, расселинам,
Привет безмерным пастбищам, привет плодородной почве
огородов, льну, меду, конопле;
Привет не меньший, такой же, странам другим, жестколиким,
Странам богатым, как страна золота, или пшеницы,
или плодов,
Странам копей, странам мужески-грубой руды,
Странам каменного угля, меди, свинца, олова, цинка,
Странам железа, странам, в которых творится топор.

3

Чурбан близ поленницы, к нему прислоненный топор,
Лесная хижина, над входом лоза виноградная, пространство,
для сада расчищенное,
Неправильный легкий стук капель дождя по листам после
бури, уже убаюканной,
Время от времени стоны и жалобы, мысли о море,
Помысл невольный о кораблях, в бурю разбитых,
опрокинутых набок, о сломленных мачтах,
Чувство огромных балок, старинных домов и амбаров,
Картина восставшая в памяти, или рассказ, странствия
чрез приключения, людей, семей и вещей,
Высадка из корабля, основание нового города,
Путешествие тех, кто искал Новой Англии, и нашел ее,
почин где-нибудь,
Поселенье Арканзаса, Колорадо, Оттавы, Вилламетты,
Медленный ход вперед, скудный обед, топор, ружье и мешки
седельные;
Красота всех дерзновенных, отважных людей,
Красота лесных людей и дровосеков с их лицами ясными
и неприкрашенными,
Красота независимости, отбытья, действий, что лишь
на себя опираются,
Презрение американское к статутам и церемониям,
безграничная нетерпеливость при виде препон,
Вольный размах характера, чуянье общности в нравах
случайных, скрепления;

Мясник на бойне, матросы на шхунах и шлюпках, сплавщик
плотов, пионер,
Те, в чьем ведении лес строевой, в зимовках своих,
Рассвет в лесах, полосы снега на ветках деревьев, случайный
их треск,
Ясный радостный звук от твоего голоса, веселая песня,
природная жизнь в лесах, работа сильного дня,
Яркий ночью огонь, добрый вкус ужина, беседа, постель
из ветвей цикуты и из медвежьего меха;
Домостроители, за своею работой, в городах или где бы
то ни было,
Вся предварительность эта, с рубанком, с оттесываньем,
наугольник, пиленье, пазы,
Подъем тяжелых стропил, вдвигание их на места, их кладки
рядами,
Вбиванье больших гвоздей, шипами, в пазы, соответственно
с тем, как они приготовлены,
Удар деревянного молота и молотков, наклоненье людей,
изогнутие членов их,
Наклоненье, стоянье, сиденье на балках верхом, вбивание
клина, держанье за столб и за скрепы,
Рука искривленная над подстропильною вязкой, другая
рука воздымает топор,
Настилальщики пола, доски одну к другой подгоняющие,
чтоб их пригвоздить;
Положенья их тел, когда опускают они орудья свои
на подставки,
Отклики эхо, звучащие через пустое зданье,
Огромный склад, возводимый в городе, наполовину
уж выстроенный,
Шесть строителей сруба, два в середине, и двое на каждом
конце, несущие бережно на плечах своих тяжкое бревно
для поперечины,
Длинною линией каменщики, с лопатами в правой руке,
быстро кладут боковую длинную стену в двести шагов
от фасада ее до конца,
Гибкие спины, в склонении их и в подъятьи, стук
непрерывный лопат о кирпич,
Кирпичи, один за другим так легко по-рабочему сложенные,
их уровень удостоверен ударом лопатки, ее рукояткой,

Груды материалов, известка в корытах четыреугольных,
постоянное их наполненье известкой, приносят ее рабочие;
Строители мачт на верфи, кишащий рой подмастерий уже подросших,
Размах топоров их но дереву, четыреугольно вырубленному, выравниванье, чтоб придать ему форму мачты,
Веселый короткий хрустящий звук стали, которую наискось вогнали в сосну,
Стружки, цвета масла, летящие хлопьями, щепки летящие,
Гибкое движенье мускулистых юных рук и бедр в легких одеждах,
Строитель верфей, мостов, плотин, переборок на корабле, плотов, преград для морей,
Городской пожарный, пожар, что внезапно вспыхнул в тесно составленной куче домов,
Прибытье машин, и хриплые крики, выступленье быстрое и дерзновенное,
Команд сильный звук чрез пожарный рожок, выравнение в линию, вздыманье, падение рук, чтобы воду исторгнуть,
Тонкие и спазматические, голубовато-белые там водометы, батарея крюков и лестниц, в работе своей,
Треск и разлом смежного сруба, треск и разлом полов, если огонь затаился под ними,
Толпа, что следит, с озаренными лицами, яркий блеск и густые тени;
Ковач у ковальной печи, и тот, кто за ним применяет железо,
Делатель топора большого и малого, и тот, кто железо паяет, кто его закаляет,
Выбиральщик, что дышит дыханьем своим на холодную сталь и пробует лезвее большим пальцем,
Тот, кто рукоятку выравнивает, и в трубке его укрепляет.
Теневые также процессии лип, применявших железо в минувшем,
Терпеливые мастеровые, первичные, строители и инженеры,
Далекое ассирийское здание и здание Мизры,
Римские ликторы, предшествующие консулам,
Древний воитель Европы с своим топором в бою,
Подъятая длань, стук ударов о голову в шлеме,

Смертный рев, ослабевшее тело, споткнувшееся,
устремленья, напор туда друга и недруга,
Осада, предпринятая вассалами возмутившимися,
решившими добиться свободы,
Призыв сдаться, выбивание замковых врат, перемирие,
переговоры,
Разграбление старого города во время его,
Наемники и изуверы слепые, которые бурно в своем
беспорядке врываются,
Ревы, и пламя, и кровь, и пьянство, и сумасшествие,
Имущества без зазрения совести разграбляемые из домов
и храмов, пронзительны крики женщин, ухваченных
разбойниками,
Коварство и воровство мародеров, люди бегущие, старцы
в отчаянии,
Ад войны, жестокости вер,
Лист всех исполнительных слов и деяний справедливых
и несправедливых,
Власть личности справедливой и несправедливой.

4

Мускул всегда и отвага всегда.
Что жизнь укрепляет, то смерть укрепляет,
И мертвые так же идут вперед, как живые идут вперед,
И не более то, что грядет, недостоверно, чем настоящее,
Потому что грубость земли и человека включает в себе
столько же, сколько деликатность земли в человека,
Не длится ничто, кроме личных качеств.
Что, полагаете вы, длится здесь?
Город великий, вы полагаете, длится?
Или государство, в котором кипит промышленность?
или конституция выработанная? или пароходы,
наилучше построенные?
Или гостиницы из гранита и железа? или какой-нибудь
шедевр инженерного искусства, форты, арсеналы?
Прочь! Это все не может быть лишь для себя самого любимо,
Это все наполняет свой час, танцоры танцуют, музыканты
играют для них,
Свершается зрелище, все довольно хорошо, без сомненья,

Все весьма хорошо, покуда не вспыхнет вызов.
Великий город есть тот, в котором величайшие мужчины
и женщины,
Если это лишь несколько жалких лачуг, это все же
величайший город во всем мире.

5

Место, где город великий стоит, не есть место
раскинувшихся верфей, доков, фабрик, складов
продуктов только,
И не место, где непрерывно приветствуют вновь
прибывающих, и где поднимают свой якорь те,
кто отбывает,
И не место, где самые высокие и пышные здания, или лавки,
в которых продаются товары с других концов земли,
И не место, где лучшие библиотеки и школы, и не место,
где деньги в наибольшем изобилии,
И не место, где население наиболее многочисленно.
Где город стоит с наиболее мускулистою расой ораторов
и бардов,
Где город стоит, который ими любим, и который их любит
взамен, и их понимает,
Где нет никаких памятников героям, кроме тех, что в общих
словах и делах,
Где бережливость на месте своем, и благоразумие на месте
своем,
Где мужчины и женщины относятся к законам легко,
Где рабы исчезают, и где владыка рабов исчезает,
Где население сразу встает на никогда не кончающуюся
дерзость избранных,
Где яростные мужчины и женщины изливаются потоком,
как море на свист смерти изливает свои сметающие
и неразорванные волны,
Где внешняя власть выступает всегда за выступлением
власти внутренней.
Где гражданин всегда есть глава и идеал, и президент, мэр,
губернатор, и кто там еще, суть лишь агенты за плату,
Где учат детей, чтоб сами себе они были законами, и лишь
от себя зависели,

Где равенство душ изъясняется делами,
Где размышления о душе поощряются,
Где женщины проходят в народных процессиях по улицам
так же, как мужчины;
Где они входят в собрания общественные и занимают места
так же, как мужчины;
Где стоит город самых верных друзей,
Где стоит город чистоты полов,
Где стоит город самых здоровых отцов,
Где стоит город матерей с наилучшими телами,
Там стоит город великий.

6

Что за нищенский вид аргументы имеют пред деянием,
полным вызова!
Как расцветная пышность всего, что есть в городах,
сморщившись ежится перед взглядом мужчины
или женщины!
Все ждет или устраняется, пока не появится сильное
существо,
Сильное существо есть пробный камень расы и способности
вселенной,
Когда появляется сильный, будь то мужчина или женщина,
все материальное устрашено,
Спор о душе прекращается,
Старые обычаи и фразы сопоставляются, их опрокидывают
или отбрасывают!
Что теперь ваше скопление денег? Что оно может теперь?
Что теперь ваша почтенность?
Что теперь ваша теология, обучение, общество, традиции,
книги статутов?
Где теперь ваши слова о жизни?
Где крючкотворства ваши о душе?

7

Бесплодный ландшафт покрывает руду, он так же хорош,
как любой, при всем его виде суровом,
Вот копь и вот рудокопы.

Плавильный горн здесь, расплавлен металл, ковачи здесь
стоят со щипцами своими и с молотами,
Что служило всегда, и что служит всегда, вот здесь,
Лучше его ничто не служило, оно служило всем,
Служило оно Греку с текучим его языком и умом
утонченным, и задолго до Грека,
Служило при постройке строений, что длятся дольше,
чем все другие,
Служило Еврею, Персу, самому древнему жителю Индостана,
Служило возводителю курганов по Миссисиппи, служило
тем, чьи останки покоятся в Центральной Америке,
Служило Альбионовым храмам, в лесах или на равнинах,
с необделанными столбами и с их Друидами,
Служило искусственным расселинам, обширным, высоким,
безгласным, на покрытых снегами высотах
Скандинавии,
Служило тем, кто в незапамятное время делал на гранитных
стенах грубые рисунки Солнца, луны, звезд, кораблей,
волн океана,
Служило путям вторжений Готов, служило пастушеским
племенам и номадам,
Служило отдаленному Кельту, служило отважным пиратам
Балтийского моря,
Служило, прежде чем кому-нибудь из этих, почтенным
и безобидным людям Эфиопии,
Служило для делания руля на галерах, что строились
для удовольствия, и на военных судах,
Служило всем великим делам на суше и всем великим делам
на море,
Средним векам и раньше средних веков,
Служило не только живым, как ныне, но также служило
и мертвым.

8

Я вижу Европейского палача,
Он стоит в маске, одетый в красное, с огромными ногами
и сильными голыми руками,
И опирается на полновесный топор

(Кого убил ты только что, Европейский палач,
Чья это кровь на тебе такая мокрая и липкая?).
Я вижу ясные закаты мучеников,
Я вижу привидения, что сходят с эшафотов,
Привидения умерших владык, развенчанных владычиц,
обвиненных сановников, низложенных царей,
Соперников, изменников, отравителей, застигнутых
злосчастием вождей, и остальных,
Я вижу тех, кто где бы то ни было умер за дело благое,
Семя скудно, однако, посев никогда не растратится,
(Помните вы? о, цари чужеземные, о, священники, посев
никогда не растратится).
Я вижу, кровь смыта совсем с топора,
Чисто его лезвее и чиста рукоятка,
Больше они не разбрызгивают кровь европейской знати,
больше не обнимают шеи цариц.
Я вижу, палач уходит, он бесполезен,
Я вижу, на эшафот уж не всходят, он покрывается плесенью,
я больше не вижу на нем топора,
Я вижу могучее дружеское знамение власти — моей
собственной расы, самой новой и самой обширной расы.

9

(Америка! я не восхваляю любовь мою к тебе,
Я имею, что я имею!)
Скачет топор.
Плотный лес дает отзвук текучий,
Катятся, мчатся вперед выражения эти, встают в очертаниях,
Хижина, шатер, пристань, вехи,
Цепь, плуг, мотыка, лом, лопата,
Гонт, брусок, подпорка, стенная обшивка, косяк, плавки,
панель, щипец,
Крепость, потолок, зал, академия, орган, дом, выставки,
библиотека,
Карниз, решетка, колонна четыреугольная, балкон, окно,
башенка, портик,
Кирка, грабли, вилы, карандаш, повозка, посох, пила,
рубанок, деревянный молот, клин, рукоятка печатного
станка,

Стул, бочка, обруч, стол, калитка, флюгер, оконница,
Рабочий ящик, сундук, струнный инструмент, лодка, сруб,
и чего еще нет,
Капитолий Штатов, и капитолий народа Штатов,
Длинные стройные ряды построений в аллеях, прибежища
для сирот или бедных и больных,
Пароходы и клиппер Мангаттана, измеряющий все моря?
Виденья встают.
Виденья всяческих применений топоров, и тех, что топор
применяют, и всего, что с ними в соседстве,
Дровосеки, что рубят деревья, и те, что сплавляют его
до Пенобскота или Кеннебека,
Жители хижин среди гор, Калифорнии или близ малых
озер, или вдоль теченья Колумбий,
Те, что на юге живут, на берегах реки Гили или Рио-Гранде,
сердечные сборища, забавы, характеры,
Те, что живут вдоль реки святого Лаврентия, или на север
в Канаде, или по низовью, и жители вдали
от прибрежий,
Ловцы тюленей, китопромышленники, моряки полярные,
проламывающие проход сквозь лед.
Виденья встают.
Виденья мануфактур, арсеналов, плавилен и рынков,
Виденья железных дорог, что идут в два ряда,
Виденья мостов с поперечинами, обширные срубы, ряды
перекладин и своды,
Видения целых флотов, баржи, суда на буксире, озерные
суда, и речные, и те, что каналы обслуживают,
Верфи и доки сухие вдоль Восточных и Западных морей,
и во многих бухтах, и в глухих местах,
Кильсоны из красного дуба, сосновые доски, обшивные
деревья для мачт, кривизна коленная корневища
лиственницы,
Сами корабли на путях своих, леса, что встали рядами,
рабочие внутри, рабочие вне, за работой,
Рабочие инструменты, повсюду лежащие, большой бурав
и малое сверло, струг, стержень, шнур, наугольник,
долот и рубанок,

10

Виденья встают.
Виденье того, что меряют, пилят, стругают, соединяют,
раскрашивают,
Видение гроба для мертвого, что будет лежать там в саване,
Виденье того, что колонками стало, колонки кроватей,
колонки кровати супруги, едва лишь обвенчанной,
Виденье корыта малого, виденье доски для качанья
колыбели младенческой,
Виденье полов, половиц под ногой плясунов,
Виденье половиц семейного дома, дома, исполненных
дружбы, детей и родителей,
Видение кровли дома счастливых двоих, молодого мужчины
и женщины, кровля над счастливо обвенчанными
молодым мужчиной и женщиной,
Кровля над ужином, что радостно приготовлен
целомудренной женой, и радостно съеден
целомудренным мужем, довольным после
работы дня.
Виденья встают,
Видение места того, где находится узник в суде, и того,
кто сидит на том месте, она или он,
Видение стойки кабацкой, оперлись о которую юный
пьяница вместе с пьяницей старым,
Видение лестниц пристыженных и гневающихся оттого,
что ползучие ступают по ним шаги,
Виденье лукавой кушетки, и на ней нездоровая пара
прелюбодейная,
Виденье стола игрального с его дьявольскими выигрышами
и проигрышами.
Виденье ступенек, по которым восходит изобличенный
и осужденный убийца, сам убийца с диким лицом
и с руками окованными,
Шериф и при нем помощники, безмолвный народ,
побледневшие губы толпы, качанье веревки.
Виденья встают.
Виденья дверей, что дают много входов и выходов,
Дверь, чрез которую быстро входит друг после долгой
разлуки,

Дверь, что впускает добрые вести и вести злые,
Дверь, чрез которую выйдя сын оставляет дом свой родной,
спесивый и полный надежд,
Дверь, чрез которую входит он, после долгого бесславного
отсутствия, сломленный, больной, без средств
и без прежней невинности.

11

Виденья встают.
Она, эта тень, охраняема меньше, чем когда-нибудь,
и однако же больше, чем когда-нибудь,
Великая и загрязненная, движется она среди того, что ее
не делает грубою и загрязненной,
Она ведает мысли, меж тем как проходит, ничто от нее
не сокрыто,
Не меньше она от того предупредительна или исполнена
дружбы
Наибольше любима она, это без исключения, нет у ней
оснований бояться и она ничего не боится,
Ссоры, божба и напевы, икотою прерванные, выражения
грязные, это все для нее ничего, между тем как проходит
она,
Она безглагольна, и владеет собой, и не властны они
оскорбить ее,
Она их приемлет, как законы Природы приемлют их, она —
сильна,
Она тоже — закон природы, нет закона сильней, чем она.

12

Основные виденья встают.
Видения цельной Демократии, сводка столетий,
Видения, всегда устремляющие от себя другие видения,
Видение буйных мужественных городов,
Видения друзей и созидателей очагов целой земли,
Видения, обнимающие звеньями всю землю, и связанные
звеньями с землей.

ПЕСНЬ РАССВЕТНОГО ЗНАМЕНИ

Поэт

О, новая песнь, свободная песнь,
Ты бьешься, ты бьешься, ты бьешься, ты бьешься,
Зовы тебя порождают и четкий напев голосов,
Голос ветра и зов барабана,
Голос знамени, голос ребенка, и голос моря, и голос отца,
Низко здесь на земле и высоко там в воздухе,
На земле, где стоят отец и ребенок,
И в воздухе вышнем, куда глаза устремляются,
Где бьется рассветное знамя.

Слова! Что вы, мертвые книжности?
Нет больше слов, ибо глядите и слушайте:
Песня моя здесь звучит на открытом воздухе,
Я должен петь вместе с знаменем, с бранным стягом.
Скручу я струну и вкручу в нее
Желанье мужчины, желанье ребенка, я вкручу их в нее,
Жизнью струну я наполню.
Я вмещу в нее яркий конец штыка;
Я вкручу в нее пули и свист картечи
(Как тот, кто несет угрозу и символ далеко в грядущее,
С голосом трубным крича: *Пробудитесь, восстаньте!*
Пробудитесь, восстаньте!);
Я стих изолью с потоками крови, полный волненья
и радости.
Стих текучий, иди же, скорее, соперничай
Со знаменем, знаменем бранным.

Знамя

Сюда, ко мне, певец, певец,
Сюда, ко мне, душа, душа,
Сюда, ко мне, ребенок малый,
Мы будем в облаках носиться,
С ветрами будем мы играть,
С ветрами будем мы кружиться,
С безмерным светом веселиться.

Ребенок

Отец, скажи, что там в небе манит меня длинным пальцем,
И что это мне в то же время говорит, говорит?

Отец

Ничего, дитя, ты не видишь в небе,
Посмотри, там в домах, сколько ярких вещей,
Открываются лавки меняльные,
Посмотри, приготовилось сколько повозок,
Чтоб ползти среди улиц с товарами;
Сколько ценностей в них, и труда сколько вложено,
Как желает их вся земля.

Поэт

Свежим и розово-красным Солнце восходит все выше,
Море в дали голубой плывет и бежит и плывет,
Ветер над лоном морским веет, стремится к земле,
Ветер сильный идет с Запада, с Юго-Запада,
Пеной молочно-белой играет над гранью вод.
Но я-то не море и не красное Солнце.
Я не ветер с ребяческим смехом его,
Я не ветер безмерный, который крепчает,
Я не ветер, который и хлещет и бьет,
Но я тот, кто незримый приходит, поет,
Прихожу и пою, и пою, и пою.
Я тот, кто лепечет в ручьях и в дождях.
Я птицам известен в полях и в лесах,
Они мне щебечут и утром и вечером,
Я тот, кто известен прибрежным пескам,
И знают шипящие волны меня,
И знамя и бранное знамя,
Что мечется, бьется вверху.

Ребенок

Отец, да оно живое,
Как там много людей — там дети,
Вот, мне кажется, вижу, оно
Говорит с своими детьми.
Я слышу — оно говорит и со мной.

Как это волшебно!
О, оно расширяется, быстро растет, отец,
Оно покрывает все небо!

Отец

Перестань, перестань, глупый мальчик,
То, что ты говоришь, печалит меня,
И мне очень не нравится;
Смотри с другими, опять говорю,
Смотри не вверх, на знамена,
Взгляни, мостовая какая внизу,
И заметь, как прочны дома.

Знамя

Говори с ребенком, певец,
Говори всем детям на Юг и на Север,
Все забудь, укажи этот день,
Я вьюсь, развеваюсь по ветру.

Поэт

Я вижу не эти лишь полосы знамени,
Я слышу раскатные топоты армий,
И слышу я оклик, зовет Часовой,
Я слышу ликующий вопль миллионов,
Я слышу Свободу в воззваньях людей,
Гремят барабаны, безумствуют трубы,
Я сам между ними — восстал, и лечу,
Я вольная птица лесов и утесов,
Я вольная птица морей,
С высот я взираю, на крыльях, на крыльях,
И мне ли пленительный мир отвергать!
Я вижу бесчисленность пашен, амбары.
Я вижу работы, я вижу рабочих,
Я вижу несчетность телег и телег,
Я вижу, я слышу, летят паровозы,
Я вижу огромные мощные склады,
Я вижу на Западе груды зерна,
Над ним, задержавшись, я рею,
Я вижу на Севере лес строевой,
И вновь я на Юге, и всюду работа,
Окинувши целое зорким оглядом,

Я вижу, кок ценны сбиранья и жатвы.
Я вижу, что значит единство великих,
Надменных, в единое слитых владений
(А сколько их будет еще!),
Я крепости вижу над гулом портовым.
Приходят, уходят, плывут корабли,
И все же, и все же, над всем этим миром
Подъемлю я малое длинное знамя,
Возникшее в виде меча!
Проворно летит оно, мечется,
Войну указуя и вызов,
Мой стяг уже поднят над глыбами зданий,
Грозит лезвеем это звездное знамя,
Прочь мир от земли и воды!

Знамя

Все громче и громче, сильнее, смелее,
Все дальше и дальше, певец!
Пронзи своим голосом воздух,
Не мир и богатства показывай детям,
Довольно об этом, мы ужасом будем,
Теперь уж мы ужас, теперь мы резня!
Что значит обширность, надменность владений,
Их пять или десять, их сколько, их сколько?
И сколько там складов и лавок меняльных?
Все, все это наше, все земли, все воды,
И море, и реки, и нивы, и долы,
Для нас паруса кораблей,
Для нас эта ширь многотысячноверстная,
Для нас города с многолюдным их грохотом,
Для нас миллионы людей, —
О, вождь, ты — и в жизни и в смерти верховный,
Смотри, мы высоко, мы бранное знамя,
Так пой же не только для этого дня,
На тысячу лет спой теперь эту песню,
Для малой, для детской души!

Ребенок

О, отец, я домов не люблю,
Никогда их любить я не буду,

И монеты не нравятся мне,
Но хотел бы подняться я вверх,
Отец, мой отец, это знамя люблю я,
Я хотел бы и должен стать знаменем.

Отец

Мальчик родной, ты тревогой меня исполняешь.
Этим знаменем быть — слишком было бы страшно,
Мало ты знаешь о том, что такое сегодняшний день,
И что после сегодня, всегда, навсегда,
Здесь выгоды нет никакой,
А опасность на каждом шагу,
Выйти во фронт и стоять перед битвами,
И какими еще! —
Что у тебя с ними общего?
Со страстями неистовых, с этой резней, с преждевременной
смертью?

Знамя

Так вот, я пою эту смерть и неистовых,
Все сюда, да, всего я хочу.
Я — бранное знамя, подобное видом мечу!
Новый восторг, исступленный,
И стремленья детей, этот лепет их,
Со звуками мирной земли я солью,
И с влажными всплесками моря,
Корабли, что на море сражаются в дыме,
И льдяность холодного дальнего Севера,
С шелестеньями кедров и сосен,
И дробь барабанов, и топот идущих солдат,
И Юг с его солнцем горячим,
И белые гребни заливной волны
Берегов Востока и Запада,
И все, что замкнуто меж ними,
Водопады и реки бегущие,
И горы, и поле, и поле, и лес,
О, весь материк в его целости,
Без забвенья малейшего атома,
Все сюда, что поет, говорит, вопрошает,
Все сюда, мы вберем и сольем это все,

Мы хотим, мы возьмем, мы берем, мы поглотим,
Довольно улыбчивых губ
И музыки слов поцелуйных,
Из ночи восставши для дела благого,
Теперь уж не вкрадчиво мы говорим,
А как вороны каркаем в ветре!

Поэт

Крепнет все тело мое,
Жилы мои расширяются,
Все ясно теперь для меня!
Знамя, как ширишься ты, приближаясь из ночи,
Я тебя воспеваю надменно,
Я тебя возглашаю решительно,
Я прорвался, и нет больше пут,
Слишком долго я глух был и слеп,
Мой голос ко мне возвратился,
Мой глаз и мой слух утончились,
Ребенок их мне возвратил!
Я слышу, о, бранное знамя,
Твой насмешливый зов с высоты,
Безумный! Безумный! О, знамя,
Но я же тебя пою!
О, да, ты не тишь домов,
Ты не пышность и тяжесть богатства,
Возьми здесь любой из домов,
Коли хочешь, любой здесь разрушь,
Ты их разрушать не хотело,
Но разве им можно стоять
Хоть час, если ты не над ними?
О, знамя, не ценность ты вещи,
Тебя не купишь на деньги,
Но что мне все внешности жизни,
Что пристани мне с кораблями,
Вагоны, машины, машины, —
Тебя лишь отсюда я вижу,
Из ночи, но с гроздьями звезд!
Ты света и тьмы разделитель,
Ты воздух вверху разрезаешь,
Ты солнечным блеском согрето,

Ты меряешь пропасть небес!
В то время, как дельные — с делом,
Толкуют — про дело, про дело,
Ребенку ты вдруг полюбилось,
Ребенок увидел тебя!
О, ты, верховодное знамя,
О, стяг боевой и змеиный,
В выси недоступной змеею
Ты вьешься и ты шелестишь.
Ты образ, ты только идея,
Но кровь будет здесь проливаться,
И яростно будут сражаться,
И как ты возлюблено мной!
Над всеми и всех призывая,
И всеми державно владея,
Ты вьешься рассветное знамя,
Являя нам звездный свой лик!
И всех я и все оставляю,
И вижу лишь бранное знамя,
И знамя одно воспеваю,
Которое в ветре шумит!

Перси Биши Шелли

ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ

Лирическая драма

Audisne haec, Amphirae, sub terram abdite?
Слышишь ли ты это, Амфиарей, скрытый под землею?

ПРЕДИСЛОВИЕ

Греческие трагики, заимствуя свои замыслы из отечественной истории или мифологии, при разработке их соблюдали известный сознательный произвол. Они отнюдь не считали себя обязанными держаться общепринятого толкования или подражать, в повествовании и в заглавии, своим соперникам и предшественникам. Подобный прием привел бы их к отречению от тех самых целей, которые служили побудительным мотивом для творчества, от желания достичь превосходства над своими соперниками. История Агамемнона была воспроизведена на Афинской сцене с таким количеством видоизменений, сколько было самых драм.

Я позволил себе подобную же вольность. Освобожденный Прометей Эсхила предполагал примирение Юпитера с его жертвой, как отплату за разоблачение опасности, угрожавшей его власти от вступления в брак с Фетидой. Согласно с таким рассмотрениям замысла, Фетида была дана в супруги Пелею, а Прометей, с соизволения Юпитера, был освобожден от пленничества Геркулесом. Если б я построил мой рассказ по этому плану, я не сделал бы ничего иного, кроме попытки восстановить утраченную драму Эсхила, и если бы даже мое предпочтение к этой форме разработки сюжета побудило меня лелеять такой честолюбивый замысел, одна мысль о дерзком сравнении, которую вызвала бы подобная попытка, могла пресечь ее. Но, говоря правду, я испытывал отвращение к такой слабой развязке, как примирение Поборника человечества с его Утеснителем. Моральный интерес вымысла, столь мощным образом поддерживаемый страданием и непреклонностью Прометея, исчез бы, если б мы могли себе представить, что он отказался от своего гордого языка и робко преклонился перед торжествующим и коварным противником. Единственное создание воображения,

сколько-нибудь похожее на Прометея, это Сатана, и, на мой взгляд Прометей представляет из себя более поэтический характер, чем Сатана, так как, — не говоря уже о храбрости, величии и твердом сопротивлении всемогущей силе, — его можно представить себе лишенным тех недостатков честолюбия, зависти, мстительности и жажды возвеличения, которые в Герое Потерянного Рая вступают во вражду с интересом. Характер Сатаны порождает в уме вредную казуистику, заставляющую нас сравнивать его ошибки с его несчастиями и извинять первые потому, что вторые превышают всякую меру. В умах тех, кто рассматривает этот величественный замысел с религиозным чувством, он порождает нечто еще худшее. Между тем Прометей является типом высшего нравственного и умственного совершенства, повинующимся самым чистым, бескорыстным побуждениям, которые ведут к самым прекрасным и самым благородным целям.

Данная поэма почти целиком была написана на горных развалинах Терм Каракаллы, среди цветущих прогалин и густых кустарников, покрытых пахучими цветами, что распространяются в виде все более и более запутанных лабиринтов по огромным террасам и головокружительным аркам, висящим в воздухе. Яркое голубое небо Рима, влияние пробуждающейся весны, такой могучей в этом божественном климате, и новая жизнь, которой она опьяняет душу, были вдохновением этой драмы.

Образы, разработанные мною здесь, во многих случаях извлечены из области движений человеческого ума, или из области тех внешних действий, которыми они выражаются. В современной поэзии это прием необычный, хотя Данте и Шекспир полны подобных примеров, — и Данте более, чем кто-либо другой, и с наибольшим успехом, прибегал к данному приему. Но греческие поэты, как писатели, знавшие решительно о всех средствах пробуждения сочувствия в сердцах современников, пользовались этим сильным рычагом часто. Пусть же мои читатели припишут эту особенность изучению созданий Эллады. потому что в какой-нибудь другой, более высокой, заслуге мне, вероятно, будет отказано.

Я должен сказать несколько чистосердечных слов относительно той степени, в которой изучение современных произведений могло повлиять на мою работу, ибо именно такой упрек делался относительно поэм гораздо более известных, чем моя, и, несомненно, заслуживающих гораздо большей известности. Невозможно, чтобы человек, живущий в одну эпоху с такими писателями, как те, что стоят в первых рядах нашей литературы, мог добросовестно утверждать, будто его язык и направление его мыслей могли не претерпеть изменений от изучения созданий этих исключительных

умов. Достоверно, что если не характер их гения, то формы, в которых он сказался, обязаны не столько их личным особенностям, сколько особенностям морального и интеллектуального состояния тех умов, среди которых они создались. Известное число писателей, таким образом, обладает внешней формой, но им недостает духа тех, кому будто бы они подражают; действительно, форма есть как бы принадлежность эпохи, в которую они живут, а дух должен являться самопроизвольною вспышкой их собственного ума.

Особенный стиль, отличающий современную английскую литературу, — напряженная и выразительная фантастичность, — если его рассматривать как силу общую, не был результатом подражания какому-нибудь отдельному писателю. Масса способностей во всякий период остается, в сущности, одной и той же; обстоятельства, пробуждающие ее к деятельности, беспрерывно меняются. Если б Англия была разделена на сорок республик, причем каждая по размерам и населению равнялась бы Афинам, нет никакого основания сомневаться, что, при учреждениях не более совершенных, чем учреждения афинские, каждая из этих республик создала бы философов и поэтов равных тем, которые никогда не были превзойдены, если только мы исключим Шекспира. Великим писателям золотого века нашей литературы мы обязаны пламенным пробуждением общественного мнения, низвергнувшим наиболее старые и наиболее притеснительные формы ортодоксальных предрассудков. Мильтону мы обязаны ростом и развитием того же самого духа: пусть вечно помнят, что священный Мильтон был республиканцем и смелым исследователем в области морали и религии. Великие писатели нашей собственной эпохи, как мы имеем основание предполагать, являются созидателями и предшественниками какой-то неожиданной перемены в условиях нашей общественной жизни, или в мнениях, являющихся для них цементом. Умы сложились в тучу, она разряжается своей многосложной молнией, и равновесие между учреждениями и мнеиями теперь восстановляется, или близко к восстановлению.

Что касается подражания, поэзия есть искусство мимическое. Она создает, но она создает посредством сочетаний и изображений. Поэтические отвлечения прекрасны и новы, не потому, что составные их части не имели предварительного существования в уме человека или в природе, а потому, что все в целом, будучи создано их сочетанием, дает некоторую мыслимую и прекрасную аналогию с этими источниками мысли и чувства, и с современными условиями их развития: великий поэт представляет из себя образцовое создание природы, и другой поэт не только должен его изучать, но и непременно изучает. Если б он решился исключить из своего созерца-

ния все прекрасное, что существует в произведениях какого-нибудь великого современника, это было бы так же неразумно и так же трудно, как приказать своему уму не быть более зеркалом всего прекрасного, что есть в природе. Такая задача была бы пустым притязанием для каждого, кроме самого великого, и даже у него в результате получились бы напряженность, неестественность и бессилие. Поэт представляет из себя сочетание известных внутренних способностей, изменяющих природу других, и известных внешних влияний, возбуждающих и поддерживающих эти способности; он является таким образом олицетворением не одного неделимого, а двух. В этом отношении каждый человеческий ум изменяется под воздействием всех предметов природы и искусства, под воздействием всякого слова, всякого внушения, которому он позволил влиять на свое сознание; он — как зеркало, где отражаются все формы, сочетаясь в одну. Поэты, так же как философы, живописцы, ваятели и музыканты, являются в одном отношении творцами своей эпохи, в другом — ее созданиями. От такой подчиненности не могут уклониться даже высшие умы. Есть известное сходство между Гомером и Гезиодом, Эсхилом и Эврипидом, Вергилием и Горацием, Данте и Петраркой, Шекспиром и Флетчером, Драйденом и Попом; в каждом из них есть общая родовая черта, под господством которой образуются их личные особенности. Если такое сходство есть следствие подражания, охотно признаюсь, что я подражал.

Пользуюсь этим случаем, чтобы засвидетельствовать, что мною руководило чувство, которое шотландский философ весьма метко определил как «страстное желание преобразовать мир». Какая страсть побуждала его написать и опубликовать свою книгу, этого он не объясняет. Что касается меня, я предпочел бы скорее быть осужденным вместе с Платоном и лордом Бэконом, чем быть в Небесах вместе с Палеем и Мальтусом. Однако было бы ошибкой предполагать, что я посвящаю мои поэтические произведения единственной задаче — усиливать непосредственно дух преобразований, или что я смотрю на них как на произведения, в той или иной степени содержащие какую-нибудь, созданную рассудком, схему человеческой жизни. Дидактическая поэзия мне отвратительна; то, что может быть одинаково хорошо выражено в прозе, в стихах является претенциозным и противным. Моею задачею до сих пор было — дать возможность наиболее избранному классу читателей с поэтическим вкусом обогатить утонченное воображение идеальными красотами нравственного превосходства; я знаю, что до тех пор, пока ум не научится любить, преклоняться, верить, надеяться, добиваться, рассудочные основы морального поведения будут семенами, брошенными на торную дорогу жизни, и беззабот-

ный путник будет топтать их, хотя они должны были бы принести для него жатву счастья. Если бы мне суждено было жить для составления систематического повествования о том, что представляется мне неподдельными элементами человеческого общежития, защитники несправедливости и суеверия не могли бы льстить себя тою мыслью, будто Эсхила я беру охотнее своим образцом, нежели Платона.

Говоря о себе с свободой, чуждой аффектации, я не нуждаюсь в самозащите перед лицом людей чистосердечных; что касается иных, пусть они примут во внимание, что, искажая вещи, они оскорбят не столько меня, сколько свой собственный ум и свое собственное сердце. Каким бы талантом ни обладал человек, хотя бы самым ничтожным, он обязан им пользоваться, раз этот талант может сколько-нибудь служить для развлечения и поучения других: если его попытка окажется неудавшейся, несовершенная задача будет для него достаточным наказанием; пусть же никто не утруждает себя, громоздя над его усилиями прах забвения; куча пыли в этом случае укажет на могилу, которая иначе осталась бы неизвестной.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Прометей.
Азия.
Демогоргон.
Пантея.
Океаниды.
Юпитер.
Иона.
Земля.
Призрак Юпитера.
Океан.
Дух Земли.
Аполлон.
Дух Луны.
Меркурий.
Духи Часов.
Геркулес.
Духи, Отзвуки Эхо, Фавны, Фурии.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена: Индийский Кавказ, ущелье среди скал, покрытых льдом. Над пропастью прикован Прометей. Пантея и Иона сидят у его ног. — Ночь. По мере развития сцены медленно занимается рассвет.

Прометей

Монарх Богов и Демонов могучих,
Монарх всех Духов, кроме Одного!
Перед тобой — блестящие светила,
Несчетные летучие миры:
Из всех, кто жив, кто дышит, только двое
На них глядят бессонными очами:
Лишь ты и я! Взгляни с высот на Землю.
Смотри, там нет числа твоим рабам.
Но что ж ты им даешь за их молитвы,
За все хвалы, коленопреклоненья,

За гекатомбы гибнущих сердец?
Презренье, страх, бесплодную надежду.
И в ярости слепой ты мне, врагу,
Дал царствовать в триумфе бесконечном
Над собственным моим несчастьем горьким,
Над местью неудавшейся твоей.
Три тысячи как будто вечных лет,
Исполненных бессонными часами,
Мгновеньями таких жестоких пыток,
Что каждый миг казался дольше года, —
Сознание, что нет нигде приюта,
И боль тоски, отчаянье, презренье —
Вот царство, где царить досталось мне.
В нем больше славы, вечной и лучистой,
Чем там, где ты царишь на пышном троне,
Которого я не взял бы себе.
Могучий Бог, ты был бы Всемогущим,
Когда бы я с тобою стал делить
Позор твоей жестокой тирании,
Когда бы здесь теперь я не висел,
Прикованный к стене горы гигантской,
Смеющейся над дерзостью орла,
Безмерной, мрачной, мертвенно-холодной,
Лишенной трав, животных, насекомых,
И форм и звуков жизни. Горе мне!
Тоска! Тоска всегда! Тоска навеки!

Ни отдыха, ни проблеска надежды,
Ни ласки сна! И все же я терплю.
Скажи, Земля, граниту гор не больно?
Ты, Небо, ты, всевидящее Солнце,
Скажите, эти пытки вам не видны?
Ты, Море, область бурь и тихих снов,
Небес далеких зеркало земное,
Скажи, ты было глухо до сих пор,
Не слышало стенаний агонии?
О, горе мне! Тоска! Тоска Навеки!

Меня теснят враждебно ледники,
Пронзают острием своих кристаллов,

Морозно-лунных: цепи, точно змеи,
Въедаются, сжимают до костей
Объятием — и жгучим, и холодным.
Немых Небес крылатая собака
Нечистым клювом, дышущим отравой,
Огнями яда, данного тобою,
В груди моей на части сердце рвет:
И полчища видений безобразных,
Исчадия угрюмой сферы снов,
Вокруг меня сбирается с насмешкой;
Землетрясенья демонам свирепым
Доверена жестокая забава —
Из ран моих дрожащих дергать гвозди,
Когда за мной стена бездушных скал
Раздвинется, чтоб тотчас вновь сомкнуться;
Меж тем как духи бурь из бездн гудящих
Торопят диким воем ярость вихря,
Бегут, спешат нестройною толпой,
И бьют меня, и хлещут острым градом.
И все же мне желанны день и ночь,
Бледнеет ли туман седого утра,
Покорный свету солнечных лучей,
Восходит ли по тусклому Востоку,
Меж туч свинцовых, Ночь в одежде звездной,
Медлительна и грустно-холодна, —
Они влекут семью часов бескрылых,
Ползучую ленивую толпу,
И между ними будет час урочный,
Тебя он свергнет, яростный Тиран,
И вынудит — стереть лобзаньем жадным
Потоки крови с этих бледных ног.
Хотя они тебя топтать но будут,
Таким рабом потерянным гнушаясь.
Гнушаясь? Нет, о, нет! Мне жаль тебя.
Как будешь ты ничтожно-беззащитен,
Какая гибель будет властно гнать
Отверженца в бездонных сферах Неба!
Твоя душа, растерзанная страхом.
Откроется, зияя точно ад!

В моих словах нет гнева, много скорби,
Уж больше я не в силах ненавидеть:
Сквозь тьму скорбей я к мудрости пришел.
Когда-то я дышал проклятьем страшным.
Теперь его хотел бы я услышать,
Чтоб взять его назад. Внемлите, Горы.
Чье Эхо чары горького проклятья
Рассыпало, развеяло кругом,
Гремя стозвучно в хоре водопадов!
О, льдистые холодные Ключи,
Покрытые морщинами Мороза,
Вы дрогнули, услышавши меня,
И с трепетом тогда сползя с утесов,
По Индии поспешно потекли!
Ты, ясный Воздух, где блуждает Солнце,
Пылая без лучей! И вы, о Вихри,
Безгласно вы повисли между скал,
С безжизненно-застывшими крылами,
Вы замерли над пропастью притихшей,
Меж тем как гром, что был сильней, чем ваш,
Заставил мир земной дрожать со стоном!
О, если те слова имели власть, —
Хоть зло во мне теперь навек погасло,
Хоть ненависти собственной моей
Я более не помню, — все ж прошу вас,
Молю, не дайте им теперь погибнуть!
В чем было то проклятие? Скажите!
Вы слушали, вы слышали тогда!

Первый голос: из гор

Много дней и ночей, трижды триста веков
Наполнялись мы лавой кипучей,
И, как люди, под бременем тяжких оков,
Содрогались толпою могучей.

Второй голос: от источников

Нас пронзали стремительных молний огни,
Оскверняли́сь мы горькою кровью.
И внимали стенаньям свирепой резни,
И дивились людскому злословью.

Третий голос: из воздуха

С первых дней бытия над землей молодой
Я блистал по высотам и склонам,
И не раз и не два мой покой золотой
Был смущен укоризненным стоном.

Четвертый голос: от вихрей

У подножия гор мы крутились века,
Мы внимали громовым ударам.
И смотрели, как лавы несется река
Из вулканов, объятых пожаром.
Не умели молчать и, чтоб вечно звучать,
Мы желаньем ломали Безмолвья печать,
Отдаваясь ликующим чарам.

Первый голос

Но лишь однажды ледники
До основанья пошатнулись,
Когда мы с ужасом согнулись
В ответ на крик твоей тоски.

Второй голос

Всегда стремясь к пустыне Моря,
Один лишь раз во тьме времен
Промчали мы протяжный стон
Нечеловеческого горя.
И вот моряк, на дне ладьи
Лежавший в сонном забытьи,
Услышал рев пучины шумной,
Вскочил, — и, вскрикнув: «Горе мне!» —
Он в Море бросился, безумный.
И скрылся в черной глубине.

Третий голос

Внимая страшным заклинаньям.
Был так истерзан свод Небес,
Что между порванных завес
Рыданья вторили рыданьям:
Когда ж лазурь сомкнулась вновь,
По небу выступила кровь.

Четвертый голос

А мы ушли к высотам спящим.
И там дыханьем леденящим
Сковали шумный водопад:
В пещеры льдистые бежали
И там испуганно дрожали.
Глядя вперед, глядя назад:
От изумленья и печали.
Мы все молчали, *мы* молчали,
Хотя для нас молчанье — ад.

Земля

Неровных скал безгласные Пещеры
Тогда вскричали: «Горе!» Свод Небес
Ответил им протяжным воплем: «Горе!»
И волны Моря, пурпуром порывшись,
Карабкались на землю с громким воем,
Толпа ветров хлестала их бичом,
И бледные дрожащие народы
Внимали долгий возглас: «Горе! Горе!»

Прометей

Я слышу смутный говор голосов,
Но собственный мой голос дней далеких
Не слышен мне. О мать моя, зачем
Глумишься ты с толпой своих созданий
Над тем, без чьей все выносящей воли
Исчезла б ты с семьей своих детей
Под бешенством свирепого Тирана,
Как легкий дым незримо исчезает,
Развеянный дыханием ветров.
Скажи мне, вы не знаете — Титана,
Кто в горечи своих терзаний жгучих
Нашел преграду вашему врагу?
Вы, горные зеленые долины,
Источники, питаемые снегом,
Чуть видные глубоко подо мной,
Лесов тенистых смутные громады,
Где с Азией когда-то я бродил,

Встречая жизнь в ее глазах любимых, —
Зачем теперь тот дух, что вас живит,
Гнушается беседовать со мною?
Со мною, кто один вступил в борьбу
И встал лицом к лицу с коварной силой
Властителя заоблачных высот,
Насмешливо глядящего на Землю,
Где стонами измученных рабов,
Наполнены безбрежные пустыни.
Зачем же вы безмолвствуете? Братья!
Дадите ли ответь?

З е м л я

Они не смеют.

П р о м е т е й

Но кто ж тогда посмеет? Я хочу
Опять услышать звуки заклинанья.
А! Что за страшный шепот пробежал. —
Встает, растет! Как будто стрелы молний
Дрожат, готовясь бурно разразиться.
Стихийный голос Духа смутно шепчет,
Он близится ко мне, я с ним сливаюсь.
Скажи мне, Дух, как проклял я его?

З е м л я

Как можешь ты услышать голос мертвых?

П р о м е т е й

Ты — Дух живой. Скажи, как жизнь сама
Сказала бы, водя со мной беседу.

З е м л я

Я знаю речь живых, но я боюсь, —
Жестокий Царь Небес меня услышит
И в ярости привяжет к колесу
Какой-нибудь свирепой новой пытки,
Больней, чем та, которую терплю.
В тебе добро, ты можешь все постигнуть.
Твоя любовь светла, — и, если Боги
Не слышат этот голос, — ты услышишь.

Ты более, чем Бог, — ты мудрый, добрый:
Так слушай же внимательно теперь.

Прометей

Как сумрачные тени, быстрым роем
В моем уме встают и тают мысли,
И вновь трепещут страшною толпой.
Я чувствую, что все во мне смешалось,
Как в том, кто слился с кем-нибудь в объятьи;
Но в этом нет восторга.

Земля

Нет, о, нет, —
Услышать ты не можешь, ты бессмертен,
А эта речь понятна только тем,
Кто должен умереть.

Прометей

Печальный Голос!
Но кто же ты?

Земля

Я мать твоя, Земля.
Та, в чьей груди, в чьих жилах каменистых,
Во всех мельчайших фибрах, — до листов,
Трепещущих на призрачных вершинах
Деревьев высочайших, — билась радость,
Как будто кровь в живом и теплом теле,
Когда от этой груди ты воспрянул,
Как дух кипучий радости живой,
Как облако, пронизанное солнцем!
И вняв твой голос, все мой сыны
Приподняли измученные лица,
Покрытые обычной грязной пылью,
И наш Тиран, жестокий и всевластный,
В испуге жгучем стал дрожать, бледнеть,
Пока не грянул гром ему в защиту,
И ты, Титан, прикован был к скале.
И вот взгляни на эти миллионы
Миров, что мчатся в пляске круговой,
Со всех сторон пылая вечным блеском:

Их жители, взирая на меня,
Увидели, что свет мой гаснет в Небе;
И встало Море с ропотом протяжным,
Приподнятое властью странной бури;
И столб огня, невиданного прежде,
Под гневом Неба встал из снежных гор,
Тряся своей мохнатой головою;
В равнинах был, Потоп — и стрелы Молний,
Цвели волчцы средь мертвых городов;
В чертогах жабы ползали, и пала
Чума на человека и зверей
И на червей, а с ней явился Голод;
И черный веред глянул на растеньях;
И там, где прежде нежились хлеба,
И там, где виноградник был и травы,
Мелькнули ядовитые цветы,
И сорною толпой зашевелились,
И высосали грудь мою корнями,
И грудь моя иссохла от тоски;
Мое дыханье, — воздух утонченный, —
Мгновенно потемнело, запятналось
Той ненавистью жгучей, что возникла
У матери к врагу ее детей,
К врагу ее возлюбленного чада;
Я слышала проклятие твое,
И если ты теперь его не помнишь, —
Мои моря, пещеры, сонмы гор,
Мои ручьи, и тот далекий воздух,
И ветры, и несчетные громады
Невнятно говорящих мертвецов
Хранят его, как талисман заветный.
Мы в радованьи тайном размышляем,
Надеемся на страшные слова,
Но вымолвить не смеем.

Прометей

Мать моя!
Все, что живет, что бьется и страдает,
Находит утешенье у тебя,
Цветы, плоды, и радостные звуки,
И сладкую, хоть беглую, любовь;

Не мой удел — изведать это счастье,
Но я свои слова прошу назад,
Отдай их мне, молю, не будь жестокой.

Земля

Ты должен их услышать. Так внимай же!
В те дни, как не был прахом Вавилон,
Мой мудрый сын, кудесник Зороастр,
В саду блуждая, встретил образ свой.
Из всех людей один лишь он увидел
Видение такое. Знай, что есть
Два мира: жизни мир и бледной смерти.
Один из них ты видишь, созерцаешь,
Другой сокрыт в глубинах преисподних,
В туманном обиталище теней
Всех форм, что дышут, чувствуют, и мыслят,
Покуда смерть их вместе не сведет
Навек туда, откуда нет возврата.
Там сны людей, их светлые мечтанья,
И все, чему упорно сердце верит,
Чего надежда ждет, любовь желает;
Толпы видений, образов ужасных,
Возвышенных, и странных, и таящих
Гармонию спокойной красоты;
В тех областях и ты висишь, как призрак
Страданьем искаженный, между гор,
Где бурные гнездятся ураганы;
Все боги там, все царственные силы
Миров неизреченных, сонмы духов,
Теней огромных, властью облеченных,
Герои, люди, звери; Домогоргон,
Чудовищного мрака воплощенье;
И он, Тиран верховный, на престоле
Огнисто-золотом. Узнай, мой сын,
Один из этих призраков промолвит
Слова проклятья, памятного всем, —
Как только воззовешь протяжным зовом,
Свою ли тень, Юпитера, Гадеса,
Тифона, или тех Богов сильнейших,
Властителей дробящегося Зла,

Что в мире распложаются обильно,
С тех пор, как ты погиб, со дня, как стонут
Мои сыны, поруганные чада.
Спроси, они должны тебе ответить,
Спроси, и в этих призраках бесплотных
Отмщение Всевышнего забьется, —
Как бурный дождь, гонимый быстром ветром,
Врывается в покинутый чертог.

Прометей

О мать моя, хочу, чтоб злое слово
Не высказано было мной опять
Иль кем-нибудь, в ком сходство есть со мною.
Подобие Юпитера, явись!

Иона

Крылами скрыла я глаза,
Крылами мой окутан слух, —
Но чу! мне слышится гроза,
Но вот! встает какой-то Дух.
Сквозь мягких перьев белизну
Я вижу темную волну, —
И свет потух;
О только б не было вреда
Тебе, чьи боли нам больны.
Чьи пытки видим мы всегда,
С кем мы страдать должны.

Пантея

Подземный смерч гудит вокруг,
Звучит гряда разбитых гор,
Ужасен Дух, как этот звук,
На нем из пурпура убор.
Своею жилистой рукой
Он держит посох золотой.
О, страшный взор!
Свиреп огонь глубоких глаз,
Тот светоч ненависть зажгла,
Он точно хочет мучить нас,
Но сам не терпит зла.

Призрак Юпитера

Зачем сюда веленье тайных сил,
Что властвуют над этим миром странным,
В раскатах бурь закинуло меня,
Непрочное пустое привиденье?
Вкруг уст моих какие звуки реют?
Не так во мраке, бледными устами,
Толпа видений шепчет меж собой.
И ты, скажи, страдалец гордый, — кто ты?

Прометей

Ужасный Образ! Вот таков, как ты,
И он, Тиран свирепый, тот, чьей тенью
Ты должен быть. Я враг его, Титан.
Скажи слова, которые услышать
Желал бы я, хотя глухой твой голос
Не будет отраженьем дум твоих.

Земля

Внимайте все, сдержавши голос Эхо,
Седые горы, древние леса,
Семья ручьев, цветами окруженных,
Пророческих пещер, ключей, бегущих
Вкруг пышных островков, — ликуйте все.
Внимая звукам страшного заклятья,
Которого не можете сказать.

Призрак Юпитера

Какой-то дух, меня своею силой
Окутавши, беседует во мне.
Он рвет меня, как тучу — стрелы молний.

Пантея

Смотрите! он глядит могучим взглядом.
Над ним темнеет Небо.

Иона

Если б скрыться!
Куда бы скрыться мне! Он говорит.

Прометей

В его движеньях, гордых и холодных,
Проклятие сквозит. Я вижу взоры,
В них светится бесстрашный вызов, твердость.
Отчаянье и ненависть, — и все
Как будто бы записано на свитке.
О, говори, скорее говори!

Призрак

Заклятый враг! Свирепствуй! Будь готов
Исчерпать все, безумство, злобу, страсти;
Тиран Людского рода и Богов, —
Есть дух один, что выше дикой власти.
Я здесь! Смотри! Бичуй меня
Морозом, язвою огня,
Громи ветрами, градом, бурей,
Как вестник ужаса приди.
За болью боль нагромозди,
Гони ко мне скорей толпу голодных фурий!

А! Сделай все! Тебе запрета нет.
Ты всемогущ, — собой лишь не владеешь,
Да тем, что я хочу. Источник бед!
Ты бременем над миром тяготеешь.
Пытай на медленном огне
Меня и всех, кто дорог мне;
Гонимый злобой вероломной,
Достигни грани роковой,
А я, с подъятой головой,
Взгляну, как будешь ты греметь из тучи темной.

Но помни, Бог и Царь среди Богов,
Ты, чьей душой исполнен мир мучений,
Ты, правящий под громкий звон оков,
И жаждущий коленопреклонений,
Тебя, мучитель, проклял я,
С тобою ненависть моя.
Она тебя отравит ядом.
Венец, в котором будет зло,

Тебе наденет на чело,
На троне золотом с тобою сядет рядом.

Будь проклят! Знай: тебе придет пора.
Один, ты встретишь вражескую Вечность,
И, зло любя, познаешь власть добра,
Изведаешь мучений бесконечность.
Да будет! Делай зло — и жди,
Потом к возмездию приди, —
Лишенный царского убранства,
Исчерпав бешенство и ложь,
Позорным пленником падешь,
В безбрежности времен, в безбрежности
пространства.

Прометей

Скажи, о, Мать, мои слова то были?

Земля

Твои слова.

Прометей

Мне жаль. Они бесплодны.
Я не хочу, чтоб кто-нибудь страдал.

Земля

О, где для горя взять мне сил!
Теперь Юпитер победил.
Реви, гремучий Океан!
Поля, покройтесь кровью ран!
О, Духи мертвых и живых,
Рыдайте в муках огневых.
Земля ответит вам на стон, —
Кто был защитой вам, разбит и побежден!

Первое эхо

Разбит и побежден!

Второе эхо.

И побежден!

Иона

Не бойтесь: это лишь порыв,
Титан еще не побежден;
Но там, взгляните за обрыв,
За снежный горный склон:
Воздушный Призрак там спешит,
Под ним лазурь Небес дрожит,
Крутится тучек длинный ряд:
Блестя отделкой дорогой,
Его сандалии горят;
Подъятой правою рукой
Как будто он грозит, — и в ней
Сверкает жезл, и вкруг жезла
То меркнет свет, то вспыхнет мгла, —
Играют кольца змей.

Пантея

Юпитера герольд, спешит Меркурий.

Иона

А там за ним? Несчетная толпа, —
Видения с железными крылами,
С кудрями гидры, — вот, они плывут,
Их воплями смущен далекий воздух,
И гневный Бог, нахмурившись, грозит им.

Пантея

Юпитера прожорливые псы,
В раскатах бурь бегущие собаки.
Которых он накармливает кровью,
Когда несется в серных облаках,
Пределы Неба громом разрывая.

Иона

Куда ж они теперь спешат
Неисчислимыми толпами?
Покинув пыток темный ад,
Питаться новыми скорбями!

Пантея

Титан глядит не гордо, но спокойно.

Первая фурия

А! Запах жизни здесь я слышу!

Вторая фурия

Дай мне
Лишь заглянуть в лицо ему!

Третья фурия

Надежда
Его терзать мне сладостна, как мясо
Гниющих тел на стихшем поле битвы
Для хищных птиц.

Первая фурия

Еще ты будешь медлить,
Герольд! Вперед, смелей, собаки Ада!
Когда же Майи сын нам пищу даст?
Кто может Всемогущему надолго
Угодным быть?

Меркурий

Назад! к железным башням!
Голодными зубами скрежещите
Вблизи потока воплей и огня!
Ты, Герион, восстань! Приди, Горгона!
Химера, Сфинкс, из демонов хитрейший,
Что Фивам дал небесное вино,
Отравленное ядом, — дал уродство
Чудовищной любви, страшнейшей злобы:
Они за вас свершат задачу вашу.

Первая фурия

О, сжалься, сжалься! Мы умрем сейчас
От нашего желанья. Не гони нас.

Меркурий

Тогда лежите смирно и молчите. —
Страдалец грозный, я к тебе пришел
Без всякого желанья, против воли,
Иду, гонимый тягостным веленьем

Всевышнего Отца, дабы свершить
Замышленную пытку новой мести.
Мне жаль тебя, себя я ненавижу
За то, что сделать большего не в силах.
Увы, едва вернусь я от тебя,
Как Небо представляется мне Адом, —
И день и ночь преследует меня
Измученный, истерзанный твой образ,
С улыбкой укоризненной. Ты — мудрый,
Ты — кроткий, добрый, твердый, — но зачем же
Напрасно ты упорствуешь один
В борьбе со Всемогущим? Иль не видишь,
Что яркие светильники небес,
Медлительное время измеряя,
Тебе гласят о тщетности борьбы.
И будут вновь и вновь гласить все то же.
И вот опять Мучитель твой, задумав
Тебя подвергнуть пыткам, страшной властью
Облек те силы злые, что в Аду
Неслыханные муки измышляют.
Мой долг — вести сюда твоих врагов,
Нечистых, ненасытных, изощренных
В свирепости, — и здесь оставить их.
Зачем, зачем? Ведь ты же знаешь тайну,
Сокрытую от всех живых существ.
Способную исторгнуть власть над Небом
Из рук того, кто ею облечен,
И дать ее другому: этой тайны
Страшится наш верховный Повелитель:
Одень ее в слова, и пусть она
Придет к его стопам, как твой заступник:
Склони свой дух к мольбе, и будь как тот,
Кто молится в великолепном храме,
Согнув колена, гордость позабыв:
Ты знаешь, что даянье и покорность
Смиряют самых диких, самых сильных.

Прометей

Злой ум меняет доброе согласно
Своей природе. Кто его облек

Могучей властью? Я! А он в отплату
Меня сковал на месяцы, на годы,
На долгие века, — и Солнце жжет
Иссохшую, израненную кожу, —
И холод Ночи снежные кристаллы,
Смеясь, бросает в волосы мои,
В то время как мои любимцы, люди,
Для слуг его потехой стали. Так-то
Тиран платить умеет за добро!
Что ж, это справедливо: злые души
Принять добра не могут: дай им мир, —
В ответ увидишь страх, и стыд, и злобу.
Но только не признательность. Он мстит мне
За ряд своих же низких злодеяний.
Для душ таких добро — больней упрека.
Оно терзает, ранит их, и жалит,
И спать им не дает, твердя о Мести.
Покорности он хочет? Нет ее!
И что сокрыто в том зловещем слове?
Глухая смерть и рабство для людей.
Покорность — Сицилийский меч, дрожащий
На волоске над царскою короной, —
Он мог бы взять ее, но я не дам.
Другие пусть потворствуют Злодейству,
Пока оно, бесчинствуя, царит.
Им нечего бояться: Справедливость,
Достигнув торжества, карать не будет,
А только с состраданием оплачет
Мучения свои. И вот я жду,
А час возмездья близится, и даже
Пока мы речь ведем, он ближе стал.
Но слышишь — то ревут собаки Ада,
Скорей, не медли, Небо омрачилось,
Нахмурился во гневе твой Отец.

Меркурий

О, если б можно было нам избегнуть:
Тебе — страданий, мне — постылой кары
Быть вестником твоих скорбей. Ответь мне,
Ты знаешь, сколько времени продлится

Владычество Юпитера?

П р о м е т е й

Одно лишь
Открыто мне: оно должно пройти.

М е р к у р и й

Увы, не можешь ты исчислить, сколько
Еще придет к тебе жестоких мук!

П р о м е т е й

Пока царит Юпитер, будут пытки —
Не менее, не более.

М е р к у р и й

Помедли.
Мечтой в немую Вечность погрузись.
Туда, где все, что Время записало.
Все то, что можем в мыслях мы увидеть.
Века, загроможденные веками.
Лишь точкой представляются, — куда
Смущенный ум идти не может больше, —
В пределы, где, уставши от полета,
Он падает и кружится во тьме,
Потерянный, ослепший, бесприютный, —
Быть может даже там ты счесть не сможешь
Всей бездны лет, которые придут
С бессменным рядом новых-новых пыток?

П р о м е т е й

Быть может, ум бессилен счесть мученья, —
И все ж они проходят.

М е р к у р и й

Если б ты
Мог жить среди Богов, овеян негой!

П р о м е т е й

Мне лучше здесь, — висеть в ущельи мертвом,
Не ведая раскаянья.

Меркурий

Увы!
Дивлюсь тебе, и все ж тебя жалею.

Прометей

Жалей рабов Юпитера покорных,
Снедаемых презрением к себе,
Меня жалеть нельзя, мой дух спокоен,
В нем ясный мир царит, как в солнце — пламя.
Но что слова! Зови скорей врагов.

Иона

Сестра, взгляни, огнем бездымно-белым
Разбило ствол того густого кедра,
Окутанного снегом. Что за гнев
Звучит в раскатах яростного грома!

Меркурий

Его словам, а также и твоим,
Я должен быть послушен. Как мне трудно!

Пантея

Смотри, ты видишь, там дитя Небес
Бежит, скользит крылатыми ногами
По косвенной покатости Востока.

Иона

Сестра моя, сверни скорее крылья,
Закрой глаза: увидишь их — умрешь:
Они идут, идут, рожденье дня
Несчетными крылами затемняя,
Как смерть, пустыми снизу.

Первая фурия

Прометей!

Вторая фурия

Титан бессмертный!

Третья фурия

Друг Людского рода!

Прометей

Тот, кто здесь слышит этот страшный голос,
Титан плененный, Прометей. А вы,
Чудовищные формы, — что вы, кто вы?
Еще ни разу Ад, всегда кишащий
Уродствами, сюда не высылал
Таких кошмаров гнусных, порожденных
Умом Тирана, жадным к безобразью;
Смотря на эти мерзостные тени,
Как будто бы я делаюсь подобен
Тому, что созерцаю, — и смеюсь,
И глаз не отрываю, проникаясь
Чудовищным сочувствием.

Первая фурия

Мы — слуги
Обманов, пыток, страха, преступленья
Когтистого и цепкого; всегда,
Подобные собакам исхудалым,
Что жадно гонят раненую лань,
Мы гонимся за всем, что плачет, бьется.
Живет и нам дается на забаву,
Когда того захочет высший Царь.

Прометей

О, множество ужаснейших созданий
Под именем одним! Я знаю вас.
И гладь озер, и стонущее Эхо
Знакомы с шумом ваших темных крыл.
Но все ж зачем другой, кто вас ужасней,
Из бездны вызвал ваши легионы?

Вторая фурия

Не знаем. Сестры, сестры, наслаждайтесь!

Прометей

Что может в безобразьи ликовать?

Вторая фурия

Влюбленные, взирая друг на друга,
От прелести восторга веселеют:

Равно и мы. И как от ярких роз
Воздушный свет струится, нежно-алый,
На бледное лицо склоненной жрицы,
Для празднества сплетающей венок,
Так с наших жертв, с их мрачной агонии,
Струится тень и падает на нас,
Давая вместе с формой одеянье,
А то бы мы без образа дышали,
Как наша мать, бесформенная Ночь.

Прометей

Смеюсь над вашей властию, над тем,
Кто вас послал сюда для низкой цели.
Презренные! Исчерпайте все пытки!

Первая фурия

Не думаешь ли ты, что мы начнем
Срывать от кости кость и нерв от нерва?

Прометей

Моя стихия — боль, твоя — свирепость.
Терзайте. Что мне в том!

Вторая фурия

Да ты как будто
Узнал, что мы всего лишь посмеемся
В твои глаза, лишенные ресниц?

Прометей

Что делаете вы, о том не мыслю,
А думаю, что вы должны страдать,
Живя дыханьем зла. О, как жестоко
То властное веление, которым
Вы созданы, и все, что так же низко!

Третья фурия

Подумал ли о том, что мы способны
Тобою жить, в тебе, через тебя,
Одна, другая, третья, всей толпою?
И если омрачить не можем душу,

Горящую внутри, — мы сядем рядом,
Как праздная крикливая толпа,
Что портит ясность духа самых мудрых.
В твоем уме мы будем страшной думой,
Желаньем грязным в сердце изумленном,
И кровью в лабиринте жил твоих,
Ползущей жгучим ядом агонии.

Прометей

Иначе быть не можете. А я
По-прежнему — владыка над собою,
И роем пыток так же управляю,
Как вами — ваш Юпитер.

Хор фурий

От пределов земли, от пределов земли,
Где и Утро и Ночь полусумрак сплели, —
К нам сюда, к нам сюда!
Вы, от возгласов чьих стон стоит на холмах,
В час, когда города рассыпаются в прах,
Вы, что мчитесь меж туч, разрушенье творя,
И бескрылой стопой возмущая моря.
Вы, что гоните смерч, промелькнувший вдали,
Чтоб со смехом губить и топить корабли, —
К нам сюда, к нам сюда!
Бросьте сонных мертвецов,
Тех, что дремлют сном веков:
Дайте отдых лютой злобе.
Пусть до времени она
Спит, как в тихом черном гробе, —
Встанет свежей после сна, —
Радость вашего возврата.
Бросьте юные умы, —
В них дыхание разврата
Вскормит бешенство чумы.
Пусть безумец тайну Ада
Не измерит силой взгляда:
Страхом собственным смущен,
Будет вдвое мучим он.
К нам сюда, к нам сюда!

Мы бежим из мрачных врат,
Сзади воет шумный Ад,
Мы плывем,
Гром усилил свой раскат,
Вас на помощь мы зовем!

Иона

Сестра, я слышу грохот новых крыльев.

Пантея

Оплоты скал дрожат от этих звуков.
Как чуткий воздух. Сонмы их теней
Рождают мрак темнее черной ночи.

Первая фурия

К нам домчался быстрый зов,
Нас умчал среди ветров,
С красных пажитей войны;

Вторая фурия

Прочь от людных городов;

Третья фурия

Где все улицы полны
Стоном тех, кто хочет есть;

Четвертая фурия

Где всечасно льется кровь,
Где страдающих не счесть;

Пятая фурия

Где пылают вновь и вновь,
В ярком пламени печей,
Белых, жарких —

Одна из фурий

Стой, молчи,
Вмиг прервем поток речей,
Не шепчи:
Если в тайне сохраним,

В чем — страшнейшая беда,
Непокорного тогда
Мы скорее победим,
Мы его поработим,
А теперь, Поборник Мысли, он еще неукротим.

Фурия

Порви покров!

Другая фурия

Он порван, он разорван!

Хор

Встала, выросла беда!
С Неба светит на нее
Утра бледная звезда.
Что, спокойствие свое
Позабыл, Титан?
Ты падешь,
Не снесешь
Новых ран!
Что ж, ты похвалишь то знанье, что в душах людей пробудил?
Дать им сумел только жажду, — а чем же ты их напоил?
Дал им надежду, желанья, любви лихорадочный бред,
Воды ключей мелководных, — бесплодный вопрос, —
не ответ.

Видишь мертвые поля,
Видишь, видишь, вся Земля
Кровью залита.
Вот пришел один, с душой
Нежной, кроткой и святой,
Молвили уста
Те слова, что будут жить
После смерти этих уст,
Будут истину душить.
Будет мир угрюм и пуст.
Видишь, дальний небосклон
Дымом яростным смущен:
В многолюдных городах

Крик отчаянья и страх.
Плачет нежный дух того,
Кто страдал от слез людских:
Кротким именем его
Губят тысячи других.
Вот, взгляни еще, взгляни:
Где ж блестящие огни?
Точно искрится светляк,
Чуть смущая летний мрак.
Тлеют угли, — вкруг углей
Сонм испуганных теней.
Все глядят по сторонам.
Радость, радость, радость нам!
Все века времен прошедших громоздятся вкруг тебя,
Мрак в грядущем, все столетья помнят только про себя,
Настоящее простерлось, как подушка из шипов,
Для тебя, Титан бессонный, для твоих надменных снов.

Первый полухор

Агония верх взяла:
Он трепещет, он дрожит,
С побледневшего чела
Кровь мучения бежит.
Пусть немного отдохнет:
Вот, обманутый народ
От отчаянья восстал,
Полднем ярким заблистал,
Правды хочет, Правды ждет,
Воли дух его ведет: —
Все как братья стали вновь,
Их зовет детьми Любовь —

Второй полухор

Стой, гляди, еще народ,
Брат на брата, все на всех,
Жатву пышную сберет
Вместе с смертью черный грех:
Кровь, как новое вино,
Шумно бродит, заодно

С горьким страхом, — гибнет мир,
Тлеет, гаснет, — и тиранов, и рабов зовет на пир.

(Все Фурии исчезают, кроме одной.)

Иона

Сестра, ты слышишь, как благой Титан
В мученьях стонет, — тихо, но ужасно, —
Как будто грудь его должна порваться:
Так бурный смерч взрывает глубь морей.
И стонут вдоль по берегу пещеры.
Быть может, ты осмелишься взглянуть.
Как лютые враги его терзают?

Пантея

Смотрела дважды, — больше не могу.

Иона

Что ж видела?

Пантея

Ужасное! прибитый
К кресту, печальный юноша, со взором,
Исполненным терпенья.

Иона

Что еще?

Пантея

Кругом — все небо, снизу — вся земля
Усеяны толпой теней ужасных,
Немых видений смерти человека,
Сплетенных человеческой рукой;
Иные представляются созданьем
Людских сердец: толпы людские гибнут
От одного движенья уст и глаз;
Еще другие бродят привиденья.
На них взглянуть — и после жить нельзя,
Не станем искушать сильнейший ужас.
К чему смотреть, когда мы слышим стоны?
Заметь эмблему: кто выносит зло

За человека, кто гремит цепями,
Идет в изгнанье, — тот лишь громоздит
И на себя и на него страданья
Все новые и новые.

Прометей

Смягчи
Мучительную боль очей горящих;
Пусть губы искаженные сомкнутся;
Пускай с чела, увитого шипами,
Не льется кровь, — мешается она
С росою глаз твоих! О, дай орбитам,
Которые вращаются в испуге,
Узнать недвижность смерти и покоя:
И пусть твоей угрюмой агонией
Не будет сотрясаться этот крест,
И пальцы бледных рук играть не будут
Запекшеюся кровью. Не хочу
Назвать тебя по имени. Ужасно!
Оно проклятьем стало. Вижу, вижу
Возвышенных, и мудрых, и правдивых;
Твои рабы их с ненавистью гонят;
Иных нечистой ложью отпугнули
От очага их собственных сердец,
Оплаканного после — слишком поздно:
Иные цепью скованы с телами,
Гниющими в темницах нездоровых;
Иные — чу! — толпа хохочет дико! —
Прикованы над медленным огнем.
И множество могучих царств проходит, —
Плывут у ног моих, как острова,
Из глубины исторгнутые с корнем;
Их жители — все вместе, в лужах крови,
В грязи, облитой заревом пожаров.

Фурия

Ты видишь кровь, огонь; ты слышишь стоны;
Но худшее, неслышимо, незримо,
Сокрыто позади.

П р о м е т е й

Скажи!

Ф у р и я

В душе
У каждого, кто пережил погибель,
Рождается боязнь: высокий духом
Боится увидать, что верно то,
О чем он даже мыслить не хотел бы:
Встает обычай вместе с лицемерьем.
Как капища, где молятся тому,
Что совестью изношено. Не смея
О том, что людям нужно, размышлять,
Они не сознают, чего не смеют.
У доброго нет силы, кроме той,
Что позволяет плакать безнадежно.
У сильных нет того, что им нужнее,
Чем что-нибудь другое, — доброты.
Мудрец лишен любви, а тот, кто любит,
Не знает света мудрости, — и в мире
Все лучшее живет в объятьях зла.
Для многих, кто богат и власть имеет,
Является мечтою справедливость,
А между тем среди скорбящих братьев
Они живут, как будто бы никто
Не чувствовал: не знают, что творят.

П р о м е т е й

Твои слова — как туча змей крылатых.
И все же я жалею тех, кого
Не мучают они.

Ф у р и я

Ты их жалеешь?
Нет больше слов!

(Исчезает)

П р о м е т е й

О, горе мне! О, горе!

Тоска всегда! Навеки ужас пытки!
Глаза мои, без слез, закрыты — тщетно:
В душе, терзаньем жгучим озаренной,
Ясней лишь вижу все твои деянья,
Утонченный тиран! В могиле — мир.
В могиле все скрывается благое,
Прекрасное, но я, как Бог, бессмертен,
И смерти не хочу искать. О, пусть,
Свирепый царь, ты страшно мстить умеешь, —
В отмщеньи нет победы. Те виденья,
Которыми ты мучаешь меня,
Моей душе терпенья прибавляют,
И час придет, и призраки не будут
Прообразом действительных вещей.

Пантея

Увы! Что видел ты?

Прометей

Есть два мученья:
Одно — смотреть, другое — говорить;
Избавь меня от одного. И слушай:
В святилищах Природы внесены
Заветные слова, — то клич безгласный,
К высокому и светлому зовущий,
На тот призыв, как человек один,
Сошлись народы, громко восклицая:
«Любовь, свобода, правда!» Вдруг с небес
Неистовство, как молния, упало
В толпу людей, — борьба, обман и страх, —
И вторгнулись тираны, разделяя
Добычу меж собою. Так я видел
Тень истины.

Земля

Возлюбленный мой сын,
Я чувствовала все твои мученья,
С той смешанною радостью, что в сердце
Встает от чувства доблести и скорби.
Чтоб дать тебе вздохнуть, я позвала

Прекрасных легких духов, чье жилище —
В пещерах человеческих умов;
Как птицы реют крыльями по ветру,
Так эти духи носятся в эфире;
За нашим царством сумерек они,
Как в зеркале, грядущее провидят;
Они придут, чтоб усладить тебя.

Пантея

О сестра, посмотри, там сбираются духи толпой,
Точно хлопья играющих тучек на утре весны,
Наполняют простор голубой.

Иона

Посмотри, вон еще, как туманы среди тишины,
Что встают с родника, если ветры усталые спят,
И встают, и спешат по оврагу скорей и скорей.
Слышишь? Что это? Музыка сосен? Вершины шумят?
Или озеро плещет? Иль шепчет ручей?

Пантея

Это что-то гораздо печальней, гораздо нежней.

Хор духов

С незапамятных времен
Мы не дремлем над толпой
Человеческих племен,
Угнетаемых судьбой.
Мы услада всех скорбей,
Мы защитники людей,
Мы печалимся о них,
Дышим в помыслах людских, —
В нашем воздухе родном:
Если там сгустится тьма,
Если там за летним днем
Встанет бурная зима; —
Или все опять светло,
Словно в час, когда река —
Как недвижное стекло,
Где не тают облака:
Легче вольных рыб морских,

Легче птиц в дыханьи бурь,
Легче помыслов людских,
Вечно мчащихся в лазурь, —
В нашем воздухе родном
Мы как тучки вешним днем:
Ищем молний и зарниц,
Медлим там, где нет границ.
Мы для всех, кто тверд в борьбе.
Тот завет несем, любя,
Что кончается в тебе,
Начинаясь от тебя.

Иона

Еще, еще приходят друг за другом,
И воздух, окружающий виденья,
Блистателен, как воздух вкруг звезды.

Первый дух

Прочь от яростной борьбы,
Где сошлись на зов трубы
Возмущенные рабы,
Я летел среди зыбей,
Все скорей, скорей, скорей.
Все смешалось там, как сон,
Тень разорванных знамен,
Там глухой протяжный стон
Мчится в меркнущую твердь:
«Смерть! На бой! Свобода! Смерть!»
Но один победный звук,
Выше мрака и могил,
Выше судорожных рук,
Всюду двигался и жил, —
Нежно в яростной борьбе
Тот завет звучал, любя,
Что кончается в тебе,
Начинаясь от тебя.

Второй дух

Замок радуги стоял,
В море снизу бился вал;

Победительно могуч,
Призрак бури прочь бежал,
Между пленных, между туч,
Жгучих молний яркий луч
Пополам их разделял.
Посмотрел я вниз — и вот
Вижу, гибнет мощный флот,
Точно щепки — корабли,
Бьются, носятся вдали,
Вот их волны погребли, —
Точно ад кругом восстал,
Белой пеной заблистал.
Точно в хрупком челноке,
Плыл спасенный, на доске.
Враг его невдалеке,
Обессилев, шел во тьму —
Доску отдал он ему,
Сам, смиряясь, утонул,
Но пред смертию вздохнул,
Был тот вздох воздушней грез,
Он меня сюда принес.

Третий дух

У постели мудреца
Я, незримый, молча ждал:
Красный свет огня блистал
Возле бледного лица:
Книгу тот мудрец читал.
Вдруг на пламенных крылах
Начал реять легкий Сон,
Я узнал, что это он,
Тот же самый, что в сердцах
Много лет назад зажег
Вдохновенье и печаль,
Ослепительный намек,
Тень огня, что манит вдаль.
Он меня сюда увлек —
Быстро, быстро, точно взгляд.
Прежде чем настанет день,
Должен он лететь назад,

А не то сгустится тень
В сонных думах мудреца,
И, проснувшись, он весь день
Не прогонит эту тень
С омраченного лица.

Четвертый дух

У поэта на устах,
Как влюбленный, я дремал
В упоительных мечтах;
Он едва-едва дышал.
Он не ищет нег земных,
Знает ласки уст иных,
Поцелуи красоты,
Что живет в глуши мечты:
Любит он лелеять взор, —
Не волнуясь, не ища, —
Блеском дремлющих озер,
Видом пчел в цветах плюща;
Он не знает, что пред ним,
Занят помыслом одним:
Из всего он создает
Стройность дышущих теней,
Им действительность дает,
Что прекрасней и полней,
Чем живущий человек,
Долговечней бледных дней,
И живет из века в век.
Из видений тех одно
Сна разрушило звено, —
Я скорей умчался прочь,
Я хочу тебе помочь.

Иона

Ты видишь, два видения сюда
От запада летят и от востока,
Создания воздушных высших сфер,
Как близнецы, как голуби, что мчатся
К родимому гнезду, — плывут, скользят, —
Ты слышишь звуки нежных песнопений,

Пленительно-печальных голосов,
С любовью в них отчаянье смешалось!

П а н т е я

Ты говоришь! Во мне слова погасли.

И о н а

Их красота дает мне голос. Видишь,
Как светятся изменчивые крылья.
То облачно-пурпурные, то вновь
Лазурные и нежно-золотые;
Улыбкой их окрестный воздух дышет
И светится, как в пламени звезды.

Х о р д у х о в

Ты видел нежный лик Любви?

П я т ы й д у х

Летел я над пустыней.
Как облачко, спешил, скользил в пространстве тверди синей:
И этот призрак ускользал на крыльях искрометных.
Звезда — в челе, восторг живой — в движеньях беззаботных:
Куда ни ступит, вмиг цветы воздушные блистают.
Но я иду, они за мной, бледнея, увядают.
Зияла гибель позади: безглавые герои,
Толпы безумных мудрецов, страдальцев юных рои
Сверкали в сумраке ночном. Блуждал я в бездне зыбкой,
Пока твой взор, о Царь скорбей, не скрасил все улыбкой.

Ш е с т о й д у х

О дух родной! Отчаянье живет в нездешней мгле,
Не носится по воздуху, не ходит по земле,
Придет оно без шороха и веяньем крыла
Навеет упования в сердца, что выше зла,
И лживое спокойствие от тех бесшумных крыл
В сердцах, что дышут нежностью, смиряет страстный пыл.
И музыка воздушная лелет их тогда,
Баюкает и шепчет им о счастьи навсегда.
Зовут они Любовь к себе, — чудовище земли, —
Пробудятся и Скорбь найдут в лохмотьях и в пыли.

Хор

Пусть с Любовью Скорбь — как тень,
Пусть за ней, и ночь, и день,
Гибель мчится по пятам.
Белокрылый скачет конь,
Вестник Смерти, весь — огонь,
Смерть всему, цветам, плодам,
Воплощенью красоты
И уродливым чертам.
Пусть! Но час пробьет, — и ты
Укоротишь безумный бег.

Прометей

Вам открыто, что придет?

Хор

Если тает вешний снег,
Если стаял вешний лед, —
Опадает старый лист.
Мягкий ветер нежит слух,
Воздух ласков и душист,
И блуждающий пастух,
Торжествуя смерть зимы,
Уж предчувствует и ждет,
Что шиповник зацветет: —
Так и там, где дышим мы,
Правда, Мудрость и Любовь,
Пробуждаясь к жизни вновь,
Нам, недремлющим в борьбе,
Тот завет несут, любя,
Что кончается в тебе,
Начинаясь от тебя.

Иона

Куда же скрылись Духи?

Пантея

Только чувство
От них осталось в сердце, — словно чары

От музыки, в те светлые мгновенья,
Когда утихнет лютня, смолкнет голос,
Но отзвуки мелодии немой
В душе глубокой, чуткой, лабиринтной
Еще живут и будят долгий гул.

Прометей

Пленительны воздушные виденья,
Но, чувствую, напрасны все надежды,
Одна любовь верна; и как далеко
Ты, Азия, чье сердце предо мной,
В былые дни, открытое, горело,
Как искристая чаша, принимая
Душистое и светлое вино.
Все тихо, все мертво. Тяжелым гнетом
Висит над сердцем сумрачное утро:
Я стал бы спать теперь, хотя с тревогой.
Когда бы можно было мне уснуть.
О, как хотел бы я свершить скорее
Свое предназначенье — быть опорой.
Спасителем страдальца-человека:
А то — уснуть, безмолвно потонуть
В первичной бездне всех вещей, — в пучине.
Где нет ни сладких нег, ни агонии,
Где нет утех Земли и пыток Неба.

Пантея

А ты забыл, что около тебя
Всю ночь, в холодной мгле, тревожно дышет
Одна, чьи очи только и сомкнутся,
Когда над ней тень духа твоего
Наклонится с заботливостью нежной.

Прометей

Я говорил, что все надежды тщетны,
Одна любовь верна: ты любишь.

Пантея

Правда!
Люблю глубоко. Но звезда рассвета

Бледнеет на востоке. Я иду.
Ждет Азия — там, в Индии далекой,
Среди долин изгнанья своего, —
Где раньше были дикие утесы,
Подобные морозному ущелью,
Свидетели твоих бессменных пыток,
Теперь же дышут нежные цветы,
Вздыхают травы, отклики лесные,
И звуки ветра, воздуха и вод,
Присутствием ее преображенных, —
Все чудные создания эфира,
Которые живут слияньем тесным
С твоим дыханьем творческим. Прощай!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Утро. — Красивая долина в Индийском Кавказе. — Азия одна.

Азия

Во всех дыханьях неба ты нисходишь,
Как дух, как мысль, — Весна, дитя ветров! —
В глазах застывших нежно будишь слезы.
В пустынном сердце, жаждущем покоя,
Биенья ты рождаешь, — о Весна,
Питомица, взлелеянная бурей!
Приходишь ты внезапно, точно свет
Печальных дум о сладком сновиденьи;
Ты — гений, ты — восторг, с лица земли
Встающий сонмом тучек золотистых
В пустыне нашей жизни. Ночь проходит.
Вот время, день и час. Я жду тебя.
Сестра моя, желанная, ты медлишь,
С рассветом ты должна ко мне придти.
Я жду тебя, приди, приди скорее!
Едва ползут бескрылые мгновенья,
Еще трепещет бледный лик звезды.
Над алыми вершинами, в просвете

Растущей ввысь оранжевой зари:
Смотря в провал разорванных туманов,
В зеркальной глади озера дрожит
Стыдливая звезда, бледнеет, гаснет —
Опять горит в прозрачной ткани тучек
И нет ее! И сквозь вершины гор.
С их облачно-воздушными снегами,
Трепещет розоватый свет зари.
Чу! слышу вздох Эоловых мелодий, —
То звук ее зеленоватых крыл,
С собою приносящих алость утра.

(Входит Пантея)

Я чувствую глаза твои. Я вижу
Лучистый взор, — в слезах улыбка меркнет.
Как свет звезды, потопленный в туманах
Серебряной росы. Сестра моя,
Любимая, прекрасная! С тобою
Приходит тень души, которой я
Живу. Зачем ты медлила так долго?
Уж солнца светлый шар взошел по морю.
Мой дух надеждой ранен был, пред тем
Как воздух, где ничьих следов не видно,
Почувствовал движенье крыл твоих.

Пантея

Прости, сестра! Полет мой был замедлен
Восторгом вспоминаемого сна,
Как медленный полет ветров полдневных,
Впивающих дыхание цветов.
Всегда спала я сладко, пробуждалась
Окрепшею и свежей, до того
Как пал Титан священный, и любовью
Несчастною меня ты научила
Соединять страданье и любовь.
Тогда в пещерах древних Океана
Спала я меж камней зелено-серых,
В пурпурной колыбели нежных мхов;
Тогда, как и теперь, меня Иона
Во сне рукою нежной обнимала,

Касаясь темных ласковых волос,
Меж тем как я закрытыми глазами
К ее груди волнистой прижималась,
Вдыхая свежесть юности ее.
Теперь не то, теперь я словно ветер,
Что падает, стихая от мелодий
Твоих речей безмолвных; я дрожу,
Мой сон смущен какой-то сладкой негой,
Как будто слышу я слова любви;
А только сон уйдет, — приходит мука,
Заботы угнетают.

Азия

Подними
Опущенный свой взор, — прочесть хочу я
Твой сон.

Пантея

Я говорю: у ног его
Спала я вместе с нашею сестрою,
Океанидой. Горные туманы,
Вняв голос наш, сгустились под луной
И хлопьями пушистыми покрыли
Колючий лед, чтоб спать нам не мешал.
Два сна тогда пришли. Один не помню.
В другом я увидала Прометея,
Но не был он изранен, изнурен, —
И ожил вдруг лазурный сумрак ночи
От блеска этой формы, что живет —
Внутри не изменяясь. Прозвучали
Его слова, как музыка, — такая,
Что ум от счастья гаснет, задыхаясь
В восторге опьянения: «Сестра
Той, чьи шаги воздушные рождают
Цветы и чары, — ты, что всех прекрасней.
Лишь менее прекрасна, чем она, —
О тень ее, взгляни!» И я взглянула:
Бессмертный призрак высился, блистая
Любовью ослепительной; и весь, —
В своих воздушных членах, в гармоничных

Устах, порывом страсти разделенных,
В пронзительных и меркнущих глазах, —
Весь, весь горел он пламенем подвижным:
Дыханьем всемогущей сладкой власти
Окутал он меня, и я тонула.
Я таяла, — как облачко росы,
Блуждающей в эфире, тает, тонет,
В дыханье теплых утренних лучей:
Не двигаясь, не слыша, и не видя,
Я вся жила присутствием его,
Он в кровь мою вошел, со мной смешался,
И он был — мной, и жизнь его — моей,
Моя душа в его душе исчезла.
Потом огонь погас, и я опять
Во тьме ночной сама собою стала,
Как сумрачный туман, что в час заката
На соснах собирается и плачет
В дрожащих каплях; мысли вновь зажглись,
И я могла еще услышать голос,
Еще дрожали звуки, замирая,
Как слабый вздох мелодии ушедшей,
Но между смутных звуков только имя
Твое, сестра, могла я разобрать.
Напрасно слух я снова напрягала,
Глухая ночь в безмолвии замкнулась.
Иона, пробудившись ото сна,
Сказала мне: «Не можешь ты представить,
Что в эту ночь встревожило меня!
Всегда я прежде знала, что мне нужно,
Чего хочу; ни разу не вкушала
Блаженства неисполненных желаний.
Чего теперь ищу — сказать не в силах;
Не знаю; только сладкого чего-то,
Затем что даже сладко мне желать;
Ты, верно, посмеялась надо мною,
Негодная сестра, ты, верно, знаешь
Каких-нибудь старинных чар восторги:
С их помощью похитивши мой дух,
Покуда я спала, с своим смешала:
Когда с тобой сейчас мы целовались,

Внутри твоих разъединенных губ
Услышала я сладостный тот воздух,
Что был во мне; живительная кровь,
Без теплоты которой я томилась,
Дрожала в наших членах в миг объятья». —
Звезда Востока между тем бледнела,
И я, сестру оставив без ответа,
Скорей к тебе направила полет.

Азия

Слова твои — как воздух; не могу я
Проникнуть в них. О, подними свой взор,
Хочу в твоих глазах увидеть цельность
Его души.

Пантея

Взгляну, как ты желаешь,
Хотя к земле склоняются они
Под тяжестью невыраженных мыслей.
Что можешь ты увидеть в них иное,
Как не свою прекраснейшую тень?

Азия

Твои глаза подобны безграничным
Глубоким темно-синим небесам;
Их обрамляют длинные ресницы;
Я вижу в круге — круг, в черте — черту,
Все вместе сплетено в одну безмерность,
Далекую, неясную.

Пантея

Зачем
Ты смотришь так, как будто дух прошел?

Азия

В твоих глазах свершилась перемена:
Там далеко, в их глубине заветной.
Я вижу призрак, образ: это — Он,
Украшенный пленительным сияньем
Своих улыбок, льющих нежный свет,

Как облачко, скрывающее месяц.
Твой образ, Прометей! Еще помедли!
Не говорят ли мне твои улыбки,
Что мы опять увидимся с тобою
В роскошном и блистательном шатре,
Который будет выстроен над миром
Из их лучей нетленных? Сон поведан.
Но что за тень возникла между нами?
Грубеет ветер, только прикоснувшись
К кудрям суровым; взор поспешно-дик;
Но то — созданье воздуха: сквозь ткани
Одежды серой искрится роса,
Не выпитая полднем светозарным.

Сон

Иди за мной!

Пантея

Мой сон другой!

Азия

Он скрылся.

Пантея

Он шествует теперь в моей душе.
Казалось мне, пока мы здесь сидели,
Вдруг вспыхнули гирляндами цветы
На дереве миндальном, что разбито
Ударом грозовым; поспешный ветер,
С пустынь седых, от Скифии, примчался,
Лицо земли избороздил морозом,
И все листы сорвал; но каждый лист, —
Как синий колокольчик Гиацинта
О муках Аполлона повествует,
В себе хранил слова: «ИДИ ЗА МНОЙ».

Азия

Пока ты говоришь мне, понемногу
Из слов твоих рождаются виденья
И формами своими заполняют
Мой собственный забытый сон. Мне снилось,

Бродили мы с тобой среди долин,
В седом рассвете дня; по горным склонам
Чуть шли стада рунообразных туч,
Густой толпой, лениво повинуясь
Медлительным веленьем ветерка;
И белая роса висела, молча,
На листьях чуть пробившейся травы;
И многое, — чего я не припомню.
Но вдоль пурпурных склонов сонных гор,
На теневых изображеньях тучек,
Забрезжились слова: «ИДИ ЗА МНОЙ!»
Когда они, блеснувши, стали таять,
Переходя к траве, на каждый лист,
С себя стряхнувший блеск росы небесной, —
Поднялся ветер, в соснах зашумел,
И музыкой звенящей он наполнил
Сквозную сеть их веток, — и тогда,
Звуча, переливаясь, замирая,
Как стон «Прости!» исторгнутый у духов,
Послышалось: «ИДИ! ИДИ ЗА МНОЙ!»
Я молвила: «Пантея, посмотри!»
Но в глубине очей, желанных сердцу,
Все видела: «ИДИ ЗА МНОЙ!»

Эхо

За мной!

Пантея

Смеясь между собою вешним утром,
Утесы вторят нашим голосам:
Подумать можно, будто их устами
Вещает дух.

Азия

Вкруг этих скал нависших
Какое-то витает существо.
Струятся звуки ясные! О, слушай!

Отзвуки эхо, незримые

Мы отзвуки Эхо,
Мы вечно бежим,

Для жизни и смеха
Рождаться спешим, —
Дитя Океана!

Азия

Чу! меж собою духи говорят.
Еще не смолкли плавные ответы
Воздушных уст. Сестра, ты слышишь?

Пантея

Слышу.

Отзвуки эхо

О, следуй призывам,
За мною, за мною!
К пещерным извивам,
По чаще лесной!
(Более отдаленно.)
О, следуй призывам,
За мною, за мной!
Звуки тают и плывут,
Улетают и зовут,
Вслед за ними поспеши
В чащу леса, где в тиши
Еле дышит меж листов
Сладкий сон ночных цветов,
Где не держит путь пчела,
Где и в полдень вечно мгла,
Где в пещерах лишь ручьи
Льют сияния свои,
Где нежней твоих шагов
Наш воздушный странный зов, —
Дитя Океана!

Азия

Не следовать ли нам за роем звуков?
Они уходят в даль, они слабеют.

Пантея

Чу! ближе к нам опять плывет напев!

Отзвуки эхо

В безвестном молчаньи
Спит мертвая речь.
Лишь ты в состояньи
Тот голос зажечь, —
Дитя Океана!

Азия

Отхлынул ветер, с ним слабеют звуки.

Отзвуки эхо

О, следуй призывам,
За мною, за мной!
К пещерным извивам,
По чаще лесной!
Звуки тают и плывут,
Улетают и зовут,
В глушь лесную, где — роса,
Где чуть видны небеса,
Где в ущельи древних гор
Блещет зеркало озер,
Где с уклона на уклон
От ключей нисходит звон,
Где когда-то *Он*, скорбя,
Удалился от тебя,
Чтоб теперь обняться вновь,
Принести любви любовь, —
Дитя Океана!

Азия

О милая Пантея, дай мне руку,
Иди за мной, пока напев не смолк.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Лес, перемежающийся утесами и пещерами. В него входят Азия и Пантея. Два молодые Фавна сидят на скале и слушают.

Первый полухор духов

Прошла прекрасная чета,
И путь ее покрыт тенями;

Сокрыта неба красота,
Как сеть нависшими ветвями;
Здесь кедры, сосны, вечный тис
Одной завесою сплелись.
Сюда ни солнце, ни луна,
Ни дождь, ни ветер не заходят;
Здесь медлит вечная весна
И росы дышущие бродят,
Растут лавровые кусты,
Глядят их бледные цветы.

На миг восставши ото сна,
Здесь тотчас вянет анемона;
Звезда случайная, одна,
Сюда заглянет с небосклона;
Но небо мчится, мчится прочь,
И ту звезду сокрыла ночь.

Второй полухор

Здесь в час полудня соловьи
Поют о неге сладострастья,
Сперва один мечты свои
Расскажет в звуках, полных счастья, —
Всего себя изливши, вдруг
Он гаснет, полный сладких мук.

Тогда в плюще, среди ветвей,
Следя за звуком уходящим,
Другой рокочет соловей, —
И полон рокотом звенящим,
И полон жаждою чудес,
Внимает чутко смутный лес.

И кто, войдя в тот лес, молчит,
Он крыльев быстрый плеск услышит,
И будто флейта прозвучит,
И он, волнуясь, еле дышит,
Его зовет куда-то вдаль
До боли сладкая печаль.

Первый полухор

Здесь нежный сон заворожен,
Звеня, кружатся отголоски,
Им Демогоргон дал закон,
Чтоб вечно пели переплески;
И власть он дал им — всех вести
На сокровенные пути.

Когда сугробы стают с гор, —
Поток растет среди тумана,
Ладья спешит в морской простор,
В неизмеримость Океана;
Так душу, полную забот,
Неясный голос вдаль зовет.

И тех, кому настал предел,
Как будто ветер приподнимет,
От их вседневных тусклых дел
Умчит, и звуками обнимет;
И ум не знает, отчего
Так легок быстрый бег его.

Они спешат своим путем,
Плывут в просторе незнакомом,
И звуки падают дождем,
И гимн внезапно грянет громом,
И ветер мчит их в полумгле, —
Умчит к таинственной скале.

Первый фавн

Не можешь ли сказать мне, где живут
Те духи, что мелодией певучей
Звенят в лесах? Заходим мы в пещеры.
Где мало кто бывает, — в глушь лесов, —
И знаем эти странные созданья.
И часто слышим голос их, но встретить
Не можем никогда, — они дичатся.
Где прячутся они?

Второй фавн

Нельзя узнать.
От тех, кто видел много разных духов,
Такой рассказ я слышал: чары солнца
Проходят с высоты на дно затонов,
На илистое дно лесных озер,
Там бледные подводные растенья
Цветут, и с их цветов лучи дневные
Впивают сок воздушных пузырей;
Вот в этих-то шатрах, таких прозрачных,
В зеленой золотистой атмосфере,
Которую засвечивает полдень,
Пройдя сквозь ткань листов переплетенных,
Те духи гармоничные живут;
Когда же их жилища разлетятся,
И воздух, распаленный их дыханьем,
Из этих замков светлых мчится к небу, —
Они летят на искрах, гонят их,
И вниз полет блестящий направляют,
И вновь скользят огнем в подводной мгле.

Первый фавн

О, если так, тогда другие духи
Живут иною жизнью? В лепестках
Гвоздики, в колокольчиках лазурных,
Растущих на лугах? Внутри фиалок,
Иль в их душистой смерти — в аромате?
Иль в капельках сверкающей росы?

Второй фавн

И множество еще придумать можем
Для них жилищ. Но если будем мы
Стоять и так болтать, — Силен сердитый,
Увидев, что до полдня не доили
Мы коз его, начнет на нас ворчать,
За то, что мы поем святые гимны
О Хаосе, о Боге, о судьбе,
О случае, Любви, и о Титане,
Как терпит он мучительную участь,

Как будет он освобожден, чтоб сделать
Единым братством землю, — те напевы,
Которые мы в сумерки поем,
Смягчая одиночество досуга
И заставляя смолкнуть соловьев,
Не знающих, что есть на свете зависть.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Вершина скалы между гор. Азия и Пантея.

Пантея

Сюда привел нас звук, на выси гор,
Где царствует могучий Демогоргон.
Встают врата, подобные жерлу
Вулкана, извергающего искры
Падучих звезд; на утре дней, блуждая,
Здесь люди одинокие впивают
Дыхание пророческих паров,
Зовут их добродетелью, любовью,
Восторгом, правдой, гением, — и пьют
Хмельной напиток жизни, до подонков,
Пока не опьянять себя, — и громко
Кричат, как рой вакханок, «Эвоэ!» —
Для мира заразителен тот голос.

Азия

Престол, достойный Власти! Что за пышность!
Земля, о как прекрасна ты! И если
Ты только тень прекраснейшего духа,
И если запятнала язва зла
Красивое и слабое созданье, —
Я все-таки готова ниц упасть,
И перед ним и пред тобой молиться.
И даже в этот миг моя душа
Готова обожать. О, как чудесно!
Взгляни, сестра, пока еще пары
Твой ум не затуманили: под нами
Немая ширь волнистых испарений,
Как озеро в какой-нибудь долине

Среди Индийских гор, под небом утра
Сверкающее блеском серебра!
Смотри, равнина этих испарений,
Подобная могучему приливу,
Плывет, и верх скалы, где мы стоим, —
Как остров одинокий, посредине;
А там, кругом, как пояс исполинский,
Цветущие и темные леса,
Прогалины, окутанные мглою,
Пещеры, озаренные ключами,
И ветром зачарованные формы
Кочующих и тающих туманов;
А дальше, с гор, прорезавших лазурь,
От их остроконечностей воздушных,
Встает заря, как брызги светлой пены,
Разбившейся об остров, где-нибудь
В Атлантике, по ветру Океана
Рассыпавшей играющие блестки;
Их стены опоясали долину;
От их обрывов, тронутых теплом,
Ревущие струятся водопады
И грохотом тяжелым насыщают
Заслушавшийся ветер; долгий гул,
Возвышенный и страшный, как молчанье!
Снег рушится! Ты слышишь? Это — солнце
Лавину пробудило; те громады,
Просеянные трижды горной бурей,
По хлопьям собирались: так в умах,
На суд зовущих небо, возникает
За думой дума властная, пока
Не вырвется на волю песня правды,
И долгим эхом вторят ей народы.

Пантея

Взгляни, прибой туманов беспокойных.
Рассыпался у самых наших ног
Багряной пеной! Ширится все выше,
Как волны Океана, повинуясь
Волшебной чаре месяца.

Азия

Обрывки
Огромных туч развеялись кругом:
И ветер, что разносит их, ворвался
В волну моих волос; мои глаза
Как будто слепнут; ум — в водовороте;
Ряд образов прозрачных предо мной!

Пантея

Я вижу — вдаль зовущую улыбку!
И в золоте кудрей огонь лазурный!
За тенью тень! Они поют! Внимай!

Песнь духов

Вниз, туда, где глубина,
Вниз, вниз!
Где у Смерти, в царстве сна,
С Жизнью вечная война.
Дальше, сквозь обман вещей,
Бросив кладбище теней,
Где миражи обнялись, —
Вниз, вниз!

Неустанно звук спешит
Вниз, вниз!
От собаки лань бежит,
В туче молния дрожит,
Смерть к отчаянью ведет,
За любовью мука ждет;
Мчится все, — и ты умчись
Вниз, вниз!

К бездне вечной и седой, —
Вниз, вниз!
Где ни солнцем, ни звездой
Не зажжется мрак пустой,
Где всегда везде — Одно,
Тем же все Одним полно, —
В эту бездну устремись, —
Вниз, вниз!

В глубь туманной глубины, —
Вниз, вниз!
Для тебя сохранены
Чар властительные сны, —
Ценный камень в рудниках,
Голос грома в облаках, —
Заклинанью подчинись, —
Вниз, вниз!

Мы тебя очаровали,
Заклинанием связали, —
Вниз, вниз!
С утомленьем без печали
Сердцем кротким не борись!
О, в Любви такая сила,
Что ее не победила
Неуступчивость Судьбы,
И Бессмертный, Бесконечный
Эту кротость к жизни вечной
Пробудил от сна борьбы!

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Пещера Демогоргона. — Азия и Пантея.

Пантея

Какая форма, скрытая покровом,
Сидит на том эбеновом престоле?

Азия

Покров упал.

Пантея

Я вижу мощный мрак,
Он дышит там, где место царской власти,
И черные лучи струит кругом, —
Бесформенный, для глаз неразличимый;
Ни ясных черт, ни образа, ни членов;
Но слышим мы, что это Дух живой.

Демогоргон

Спроси о том, что хочешь знать.

Азия

Что можешь
Ты мне сказать?

Демогоргон

Все, что спросить посмеешь.

Азия

Кто создал мир живущий?

Демогоргон

Бог.

Азия

Кто создал
Все, что содержит он, — порыв страстей,
Фантазию, рассудок, волю, мысль?

Демогоргон

Бог, Всемогущий Бог.

Азия

Кто создал чувство,
Что в меркнущих глазах рождает слезы,
Светлей, чем взор неплачущих цветов,
Когда весенний ветер, пролетая,
К щеке прильнет случайным поцелуем,
Иль музыкой желанной прозвучит
Любимый голос, — то немое чувство,
Что целый мир в пустыню превращает,
Когда, мелькнув, не хочет вновь блеснуть?

Демогоргон

Бог, полный милосердия.

Азия

Кто ж создал
Раскаянье, безумье, преступленье.

И страх, и все, что, бросив цепь вещей,
Влачась, вползает в разум человека
И там над каждым помыслом висит,
Идя неверным шагом к смертной яме?
Кто создал боль обманутой надежды,
И ненависть — обратный лик любви,
Презрение к себе — питье из крови,
И крик скорбей, и стоны беспокойства,
И Ад, иль острый ужас Адских мук?

Демогоргон

Он царствует.

Азия

Скажи мне только имя, —
Лишь имени его хотят страдальцы,
Проклятия его повергнут ниц.

Демогоргон

Он царствует.

Азия

Я вижу, знаю. Кто?

Демогоргон

Он царствует.

Азия

Кто царствует? В начале
Повсюду были — Небо и Земля,
Любовь и Свет; потом Сатурн явился,
С его престола Время снизошло,
Завистливая тень. В его правленье
Все духи первобытные земли
Спокойствием и радостью дышали,
Как те цветы, которых не коснулся
Ни ветер иссушающий, ни зной,
Ни яд червей полуживых; но не дал
Он права им — рождать себе подобных.
Ни знания, ни власти, ни уменья

Повелевать движеньями стихий,
Ни мысли проникающей, как пламя,
В туманный мир, ни власти над собою,
Ни стройного величия любви,
Чего им так хотелось. И тогда-то
Юпитеру дал мудрость Прометей,
А мудрость — власть; и лишь с одним законом —
«Пусть вечно будет вольным человеком!» —
Ему все Небо сделал он подвластным.
Не ведать ни закона, ни любви,
Ни веры; быть всесильным, не имея
Друзей, — то значит царствовать; и вот
Юпитер царствовал; угрюмым роем
На род людской с небес низверглись беды;
Свирепый голод, темный ряд забот,
Несчастия, болезни и раздоры,
И страшный призрак смерти, неизвестный
Дотоле никому; попеременно
То зной, то холод, сонмом стрел своих,
В безвременное время бесприютных
Погнал к пещерам горным: там себе
Нашли берлогу бледные народы:
И в их сердца пустынные послал он
Кипящие потребности, безумство
Тревоги жгучей, мнимых благ мираж,
Поднявший смуту войн междоусобных
И сделавший приют людей — вертепом.
Увидев эти беды, Прометей
Своим призывом ласковым навеял
Дремоту многоликих упований,
Чье ложе — Элизийские цветы,
Нетленный Амарант, Нипенсис. Молил,
Чтоб эти пробуждения надежды.
Прозрачностью небесно-нежных крыл,
Как радугой, закрыли призрак Смерти.
Послал Любовь связать единой сетью
Сердца людей, — побеги винограда.
Дающего напиток бытия.
Смирил огонь, — и пламя, точно зверь,
Хоть хищный, но ручной, резвиться стало

От одного движенья глаз людских:
И золото с железом, знаки власти,
Ее рабы, сокрытые в земле,
Покорны стали воле человека, —
И ценные каменья, и яды,
И сущности тончайшие, что скрыты
В воде и в недрах гор; он человеку
Дал слово, а из слова мысль родилась,
Что служит измерением вселенной;
И Знание, упорный враг преград,
Поколебало мощные оплоты
Земли и Неба; стройный ум излился
В пророческих напевах; дух того,
Кто слушал вздохи звуков гармоничных,
Возвысился, пока не стал блуждать
По светлой зыби музыки, изъятый
Из тьмы забот, из смертного удела,
Как Бог; и стали руки человека
Ваяния из камня создавать,
Сначала зримым формам подражая,
Потом превосходя их так высоко,
Что мрамор стал печатью Божества.
Ключей и трав сокрытую целебность
Истолковал, — Недуг вкусил и спал.
И смерть, как сон, являться людям стала.
Он изъяснил запутанность орбит,
Разоблачил пути светил небесных,
И все сказал он — как меняет солнце
Прибежище свое в скитаньях вечных,
Какая власть чарует бледный месяц,
Когда его мечтательное око
Не смотрит на подлунные моря;
Он научил людей, как нужно править
Крылатой колесницей Океана,
И Кельт узнал Индийца. В эти дни
Воздвиглись города; чрез их колонны,
Сверкающие снежной белизной,
Повеяли ласкающие ветры,
С высот на них глядел эфир лазурный,
Вдали виднелось море голубое,

Тенистые холмы. Такие были
Дарованы услады Прометеем,
Чтоб человек имел иной удел;
И вот за это он висит и терпит
Назначенные пытки. Кто же в мире
Является владыкой темных зол,
Чумы неизлечимой, той отравы,
Которая, — лишь стоит человеку
Великое создать и поглядеть
С божественным восторгом на созданье, —
Спешит скорей клеймом его отметить,
И делает скитальцем, отщепенцем,
Отверженным посмешищем земли?
Юпитер? Нет: когда, от гнева хмурясь,
Он небо сотрясал, когда противник
Его в своих цепях алмазных проклял, —
Он сам дрожал, как раб. Молю, открой же.
Кто господин его? И раб ли он?

Демогоргон

Все духи, — если служат злу, — рабы.
Таков иль нет Юпитер, — можешь видеть.

Азия

Скажи, кого ты Богом называешь?

Демогоргон

Я говорю, как вы. Юпитер — высший
Из всех существ, которые живут.

Азия

Кому подвластен раб?

Демогоргон

Возможно ль бездне
Извергнуть сокровенность из себя!
Нет образа у истины глубокой,
Нет голоса, чтоб высказать ее.
И будет ли тебе какая польза.
Когда перед тобой весь мир открою

С его круговращением? Заставлю
Беседовать Судьбу, Удачу. Случай,
Изменчивость, и Время? Им подвластно
Все, кроме нескончаемой Любви.

Азия

Так много вопрошала я, — и в сердце
Всегда ответ такой же находила,
Как ты давал; для этих истин каждый
В себе самом найти оракул должен.
Еще одно спрошу я, и ответ,
Как мне моя душа ответ дала бы,
Когда бы знала то, о чем прошу я.
В урочный час восстанет Прометей
И будет солнцем в мире возрожденном.
Когда же этот час придет?

Демогоргон

Смотри!

Азия

Раздвинулся утес, в багряной ночи
Я вижу — быстро мчатся колесницы,
На радужных крылах несутся кони
И топчут мрак ветров; их гонят вдаль
Возницы с удивленными глазами,
С безумным взором; тот глядит назад,
Как будто враг за ним заклятый мчится,
Но сзади только — лики ярких звезд;
Другие, с лучезарными очами,
Вперед перегибаются — и жадно
Впивают ветер скорости своей,
Как будто тень, что так для них желанна,
Пред ними — тут — несется — и они
Ее сейчас обнимут — обнимают;
Их локоны блестящие струятся,
Как вспыхнувшие волосы комет;
И все, легко скользя, стремятся дальше.
Все дальше.

Демогоргон

То бессмертные Часы,
О них ты вопрошала за минуту.
Один с тобою хочет говорить.

Азия

С лицом ужасным, дух один замедлил
Полет поспешный темной колесницы
Над бездною разорванных утесов.
Ты, страшный, ты, на братьев непохожий,
Скажи мне, кто ты? Дай мне знать, куда
Меня умчишь?

Дух

Я тень предназначенья,
Страшнейшего, чем этот вид ужасный.
И не зайдет еще вон та планета,
Как черный мрак, со мною восходящий,
Неумолимой ночью обоймет
Небесный трон, царя небес лишенный.

Азия

Что хочешь ты сказать?

Пантея

Тот страшный призрак
Сплывает вверх с престола своего,
Как всплыл бы над равниною морскою
Зловеще-синий дым землетрясенья,
Дыхание погибших городов.
Смотри: на колесницу он восходит.
Объяты страхом, кони понеслись.
Смотри, как путь его меж звезд небесных
Чернеет в черной ночи!

Азия

То — ответ.

Не странно ли!

Пантея

Взгляни: у края бездны
Другая колесница; в перламутре
Играет алый пламень, изменяясь
По краю этой раковины нежной,
Как кружево сквозное; юный дух,
Сидящий в ней, глядит, как дух надежды;
Улыбка голубиных глаз его
Притягивает душу; так во мраке
Лампада манит бабочек ночных.

Дух

Поспешностью молний лучистых
Пою я проворных коней,
С зарею, меж туч золотистых,
Купаю их в море огней.
Быстрота! Что сравняется с ней!
Улетим же, о дочь Океана!

Я жажду: и полночь блистает;
Боюсь: от Тифона уйдем;
И с Атласа туча не стает,
Как землю с луной обогнем.
От скитаний мы в полдень вздохнем.
Улетим же, о дочь Океана!

СЦЕНА ПЯТАЯ

Колесница останавливается в облаке на вершине снежной горы.
Азия, Пантея и Дух Часа.

Дух

Где рассвет и ночная прохлада,
Там был отдых всегда для коня.
Но Земля прошептала, что надо
Гнать коней с быстротою огня, —
Пусть дыхание пьют у меня!

Азия

Ты дышишь в ноздри им, но я могла бы,
Вздохнув, придать им больше быстроты.

Дух

Увы! нельзя.

Пантея

Скажи, о Дух, откуда
Свет в облаке? Ведь солнце не взошло!

Дух

Оно взойдет сегодня только в полдень.
На небе Аполлон удержан чудом,
И этот свет, подобный легкой краске
В воде — от роз, глядящихся в фонтан,
Исходит от твоей сестры могучей.

Пантея

Да, чувствую, что...

Азия

Что с тобой, сестра?
Бледнеешь ты.

Пантея

О, как ты изменилась!
Не смею на тебя взглянуть. Не вижу,
Лишь чувствую тебя. Почти не в силах
Переносить сиянье красоты.
Я думаю, в стихиях совершилась
Благая перемена, если могут
Они терпеть присутствие твое,
Не скрытое покровом. Нереиды
Рассказывали мне, что в день, когда
Раздвинулась прозрачность океана,
И ты стояла в раковине светлой,
По глади вод хрустальных уплывая.
Меж островов Эгейских, к берегам,
Что носят имя Азии, — любовью,
Внезапно засверкавшей от тебя,
Наполнился весь мир, как светом солнца, —
И небо, и земля, и океан,
И темные пещеры, — до тех пор,

Пока печаль — в душе, откуда встала, —
Не создала затмения; теперь
Не я одна твоя сестра, подруга,
Избранница, — а целый мир со мной
В тебе найти сочувствие хотел бы.
Ты слышишь звуки в воздухе? То весть
Любви всех тех, в ком есть душа и голос.
Ты чувствуешь, что даже мертвый ветер
К тебе любовью страстной дышит? Чу!

(Музыка)

Азия

Твои слова — как эхо слов его;
По нежности одним лишь им уступят.
Но всякая любовь нежна, — и та,
Что ты даешь, и та, что получаешь;
Любовь — для всех, как свет; и никогда
Ее знакомый голос не наскучит;
Как даль небес, как все хранящий воздух,
Она червя равняет с Божеством.
И кто внушит любовь, тот сладко счастлив,
Как я теперь; но кто полюбит сам,
Насколько он счастливей, после скорби,
Как скоро буду я.

Пантея

О, слушай! Духи!

Голос в воздухе, поющий

Жизни Жизнь! Любовью дышит
Воздух между губ твоих;
Счастлив тот, кто смех твой слышит.
Спрячь его в глазах своих;
Кто туда свой взгляд уронит,
В лабиринте их потонет.

Чадо Света! Твой покров
Светлых членов не скрывает;
Так завесу облаков

Блеск рассвета разрывает;
И куда бы ты ни шла,
Вкруг тебя растает мгла.

Красота твоя незрима,
Только голос внятен всем,
Ты для сердца ощутима,
Но невидима никем,
Души всех с тобой, как звенья, —
Я, погибшее виденье.

Свет Земли! Везде, где ты,
Тени, в блеске, бродят стройно,
В ореоле красоты
По ветрам идут спокойно,
И погибнут — не скорбя,
Ярко чувствуя тебя.

Азия

Моя душа — как лебедь сонный,
И как челнок завороженный,
Скользит в волнах серебряного пенья.
А ты, как ангел белоснежный,
Ладью влечешь рукою нежной,
И ветры чуть звенят, ища забвенья.
Тот звук вперед ее зовет,
И вот душа моя плывет
В реке, среди излучин длинных.
Средь гор, лесов, средь новых вод,
Среди каких-то мест пустынных.
И мне уж снится Океан.
И я плыву, за мной — туман,
И сквозь волненье,
Сквозь упоенье,
Все ярче ширится немолкнущее пенье.
И я кружусь в звенящей мгле забвенья.
Все выше мчимся мы, туда,
Где свет гармонии всегда,
Где небеса всегда прекрасны.
И нет течений, нет пути,

Но нам легко свой путь найти.
Мы чувству музыки подвластны,
И мы спешим. От лучших снов,
От Элизийских островов,
Ты мчишь ладью моих желаний,
В иные сферы бытия, —
Туда, где смертная ладья
Еще не ведала скитаний, —
В тот светлый край, где все любовь,
Где чище волны, ветры тише,
Где землю, узренную вновь,
Соединим мы с тем, что всех предчувствий выше.
Покинув Старости приют,
Где льды свой блеск холодный льют,
Мы Возмужалость миновали,
И Юность, ровный океан,
Где все — улыбка, все — обман,
И детство, чуждое печали.
Сквозь Смерть и Жизнь — к иному дню,
К небесно-чистому огню, —
Чтоб вечно дали голубели!
В Эдем уютной красоты,
Где вниз глядящие цветы
Струят сиянье в колыбели, —
Где мир, где места нет борьбе,
Где жизнь не будет сном докучным,
Где тени, близкие тебе,
Блуждают по морям, с напевом сладкозвучным!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Небо. — Юпитер на престоле; Фетида и другие Божества.

Юпитер

Союз, подвластный мне, — о силы неба,
Вы делите со мною власть и славу,
Ликуйте! Я отныне всемогущ.

Моей безмерной силе все подвластно,
Лишь дух людской, огнем неугасимым,
Еще горит, взметаясь к небесам,
С упреками, с сомненьем, с буйством жалоб,
С молитвой неохотной, — громоздя
Восстание, способное подрыться
Под самые основы нашей древней
Монархии, основанной на вере
И страхе, порожденном вместе с адом.
Как хлопья снега в воздухе летят,
К утесу прилипая, — так в пространстве
Бесчисленность моих проклятий людям
Пристала к ним, заставила взбираться
По скатам жизни, ранящим их ноги,
Как ранит лед лишенного сандалий, —
И все-таки они, превыше бед,
Стремятся ввысь, но час паденья близок:
Вот только что родил я чудо мира.
Дитя предназначенья, страх земли,
И ждет оно медлительного часа,
Чтоб с трона Демогоргона примчать
Чудовищную силу вечных членов,
Которой этот страшный дух владеет, —
Оно сойдет на землю и растопчет
Мятежный дух восстанья.
Ганимед,
Налей вина небесного, наполни
Как бы огнем Дедаловые чаши.
И ты, союз торжественных гармоний,
Воспрянь в цветах от пажитей небесных,
Все пейте, все, — покуда светлый нектар
В крови у вас, о Гении бессмертья,
Не поселит дух радости живой,
И шумная восторженность прорвется
В одном протяжном говоре, подобном
Напевам Элизийских бурь.
А ты,
Блестящий образ вечности, Фетида,
Взойди и сядь на трон со мною рядом,
В сиянии желания, которым

И я, и ты сливаемся в одно.
Когда кричала ты: «О всепобедный
Бог, пощади меня! Изнемогаю!
Присутствие твое — огонь палящий;
Я таю вся, как тот, кого сгубила
Отравой Нумидийская змея», —
В то самое мгновение два духа
Могучие, смешавшись, породили
Сильнейшего, чем оба; он теперь
Невоплощенный между нас витает
Невидимо; он ждет, чтобы к нему
От трона Демогоргона явилось
Живое воплощенье! Чу! грохочут
Среди ветров колеса из огня!
Победа! Слышу гром землетрясенья.
Победа! В быстролетной колеснице
Тот мощный дух спешит на высь Олимпа.

(Приближается колесница Часа. Демогоргон сходит и направляется к трону Юпитера)

Чудовищная форма, кто ты?

Демогоргон

Вечность.
Не спрашивай названия страшнее.
Сойди, и в бездну уходи со мною.
Тебя Сатурн родил, а ты меня,
Сильнейшего, чем ты; и мы отныне
С тобою будем вместе жить во тьме.
Не трогай молний. В небе за тобою
Преемника не будет. Если ж хочешь,
С червем полураздавленным сравняйся, —
Он корчится, покуда не умрет, —
Что ж, будь червем.

Юпитер

Исчадье омерзенья!
В глубоких Титанических пещерах
Тебя я растопчу. Вот так! Ты медлишь?
Пощады, о, пощады! Нет ее!

Ни жалости, ни капли снисхожденья!
О, если б враг мой был моим судьей,
Хоть там, где он висит в горах Кавказа,
Прикованный моею долгой местью,
Не так бы он судил меня. Скажи мне.
Он кроткий, справедливый и бесстрашный,
Монарх вселенной? Кто же ты? Скажи!
Ответа нет.

Так падай же со мною.
В угрюмых зыбях гибели умчимся.
Как коршун с истощенною змеей.
Сплетенные в одном объятьи схватки
Низвергнемся в безбрежный океан,
Пусть адское жерло испустит пламя.
Пусть в эту бездну огненную рухнет
Опустошенный мир, и ты, и я.
И тот, кто побежден, и победитель.
И выброски ничтожные того,
Из-за чего была борьба.
О, горе!
Не слушают меня стихии. Вниз!
Лечу! Все ниже, ниже! Задыхаюсь!
И, словно туча, враг мой торжеством
Темнит мое падение. О, горе!

СЦЕНА ВТОРАЯ

Устье широкой реки па острове Атлантиде. — Океан, склонявшийся около берега. — Аполлон возле него.

Океан

Ты говоришь: он пал? Низвергнут в бездну
Бод гневом победителя?

Аполлон

Да! Да!
И лишь борьба, смутившая ту сферу,
Что мне подвластна, кончилась, и звезды
Недвижные на небе задрожали, —

Как ужас глаз его кровавым светом
Все небо озарил, и так он пал
Сквозь полосы ликующего мрака
Последней вспышкой гаснущего дня,
Горящего багряной агонией
По склону неба, смятого грозой.

Океан

Он пал в туманность бездны?

Аполлон

Как орел,
Застигнутый над высями Кавказа
Взорвавшеюся тучей, в буре бьется,
И с вихрем обнимается крылами, —
И взор очей, глядевших прямо в солнце,
От блеска ярко-белых молнии слепнет,
А град тяжелый бьет его, пока
Он вниз не устремится, точно камень,
Облепленный воздушным цепким льдом.

Океан

Отныне под мятежными ветрами
Поля морей, куда глядится Небо,
Не будут подниматься тяжело,
Запятнанные кровью; нет, как нивы,
Едва шумя в дыханьи летних дней,
Они чуть слышно будут волноваться;
Мои потоки мирно потекут
Вокруг материков, кишащих жизнью,
Вкруг островов, исполненных блаженства;
И с тронов глянцевитых будет видно
Протею голубому, влажным нимфам,
Как будут плыть немые корабли;
Так смертные, подняв глаза, взирают
На быструю ладью небес — луну,
С наполненными светом парусами
И с рулевым — вечернею звездой,
Влекомой в быстрой зыби, по отливу

Темнеющего дня; мои валы
В скитаниях не встретят криков скорби.
Не встретят ни насилия, ни рабства,
А лики — в глубь глядящихся — цветов,
Дыхание плавучих ароматов.
И сладостных напевов музыкальность,
Какая духам грезится.

Аполлон

А я
Не буду видеть темных злодеяний.
Мрачащих дух мой скорбью, как затменье
Подвластную мне сферу омрачает.
Но чу! звенит серебряная лютня.
То юный дух на утренней звезде
Из струн воздушность гимна исторгает.

Океан

Спеши. Твои недремлющие кони
Под вечер отдохнут. Пока прощай.
Морская глубь зовет меня протяжно,
Чтоб я питал ее лазурной негой,
Что в урнах изумрудных, в преизбытке.
Скопляется у трона моего.
Смотри, из волн зеленых Нереиды
Возносят по теченью, как по ветру,
Волнующихся членов красоту,
Приподняты их руки к волосам,
Украшенным гирляндами растений,
Морскими звездоносными цветами, —
Они спешат приветствовать восторг
Своей сестры могучей.

(Слышен звук волн)

Это — море
Спокойной неги жаждет. Подожди же,
Чудовище. Иду! Прощай.

Аполлон

Прощай.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Кавказ. — Прометей, Геркулес, Иона, Земля, Духи, Азия и Пантея несутся в колеснице вместе с Духом Часа. Геркулес освобождает Прометея. Прометей сходит вниз.

Геркулес

Славнейший в царстве духов! Такт, должна
Служить, как раб, властительная сила
Пред мудростью, пред долгою любовью
Пред мужеством, — перед тобой, в чьем сердце
Всех этих светлых качеств совершенство.

Прометей

Твои слова желанней для меня,
Чем самая свобода, о которой
Так долго, так мучительно мечтал я.
Внемлите мне — ты, Азия моя,
Свет жизни, тень неузренного солнца,
Вы, сестры-нимфы, сделавшие мне
Года жестоких пыток сном чудесным,
Любовью вашей скрашенным навек, —
Отныне мы не будем разлучаться.
Здесь есть пещера; вся она кругом
Обвита сетью вьющихся растений,
Семьей цветов, — преградою для дня;
Мерцает пол отливом изумруда,
Звучит фонтан, как песня пробужденья:
С изогнутого верха сходят вниз,
Как серебро, как снег, как бриллианты,
Холодные спирали, слезы гор,
Струят вокруг неверное сиянье:
И слышен здесь всегда-подвижный воздух,
От дерева он к дереву спешит,
С листа на лист; тот рокот — вне пещеры:
И слышно пенье птиц, жужжанье пчел;
Повсюду видны мшистые сиденья,
И камни стен украшены травой,
Продолговатой, сочной: здесь мы будем
В жилище невзыскательном сидеть.

Беседовать о времени, о мире,
О том, как в нем приливы и отливы
Проходят целым рядом перемен,
Меж тем как мы от века неизменны. —
О том, как человека уберечь
От уз его изменчивости вечной.
Вздохнете вы, и я вам улыбнусь,
А ты, Иона, слух наш зачаруешь,
Припомнив звуки музыки морской, —
Пока из глаз моих не брызнут слезы,
Чтоб вы улыбкой стерли их опять.
Переплетем лучи, цветы, и почки,
Сплетем из повседневности узоры,
Нежданные по странности своей, —
Как то доступно детям человека
В рассвете их невинности; мы будем
Упорством слов любви и жадных взглядов
Искать сокрытых мыслей, восходя
От светлого к тому, в чем больше света,
И точно лютни, тронутые в бурю
Воздушным поцелуем, создадим
Все новых-новых звуков гармоничность,
Из сладостных различий без вражды;
Со всех концов небес примчатся с ветром, —
Как пчелы, что с цветов воздушных Энны
Летят к своим знакомым островам,
Домам в Химере, — отзвуки людские,
Почти неслышный тихий вздох любви,
И горестное слово состраданья,
И музыка, сердечной жизни эхо,
И все, чем человек, теперь свободный,
Смягчается и делается лучшим;
Красивые видения, — сперва
Туманные, блистательные позже,
Как ум, в который брошены лучи
От тесного объятья с красотою, —
Прибудут к нам: бессмертное потомство,
Чьи светлые родители — Ваянье
И Живопись, и сказочный восторг
Поэзии, и многие искусства,

Что в эти дни неведомы мечте,
Но будут ей открыты; рой видений,
Призывы, откровения того,
Чем будет человек, — восторг предчувствий,
Связующих зиждительной любовью
Людей и нас, — те призраки и звуки,
Что быстро изменяются кругом,
Становятся прекрасней и нежнее,
В то время как добро сильней растет
Среди людей, бегущих от ошибок.
Таких-то чар исполнена пещера
И все вокруг нее.
(Обращаясь к Духу Часа)
Прекрасный Дух,
Еще одно сверши предназначенье.
Дай раковину светлую, Иона,
Которую из моря взял Протей
Для Азии, как свадебный подарок:
Дыша в нее, он вызовет в ней голос,
Тобою скрытый в травах под скалой.

Иона

Желанный Час, из всех Часов избранник,
Вот раковина тайная, возьми;
Играют в ней мистические краски,
Лазурь, бледнея, чистым серебром
Ее живит и нежно одевает:
Неправда ли, она как тот напев.
Что дремлет в ней, мечтою убаюкан?

Дух

Да, в водах Океана нет другой,
Чтоб с ней могла сравниться; в ней, конечно,
Сокрыт напев — и сладостный, и странный.

Прометей

Спеши, лети над сонмом городов.
Пусть кони ветроногие обгонят
Стремительное солнце, вкруг земли
Свершающее путь: буди повсюду

Горящий воздух: в раковине светлой
Могучесть звуков скрытых воззови, —
На этот гром Земля ответит эхом.
Потом вернись, и будешь вместе с нами
В пещере жить. А ты, о Мать Земля —

Земля

Я слышу, слышу уст родных дыханье.
Твое прикосновение доходит
До центра бриллиантового мрака,
Что бьется в нервах мраморных моих.
О жизнь! О радость! Чувствую дыханье
Бессмертно-молодое! Вкруг меня
Как будто мчатся огненные стрелы.
Отныне в лоне ласковом моем
Все детища мои, растенья, рыбы,
Животные, и птицы, и семья
Ползучих форм и бабочек цветистых,
Летающих на радужных крылах,
И призраки людские, что отраву
В груди моей увядшей находили, —
Теперь взамену яда горьких мук
Найдут иную сладостную пищу;
Все будут для меня — как антилопы,
Рожденные одной красивой самкой,
Все будут нежно-чистыми, как снег,
И быстрыми, как ветер беспокойный,
Питаемый шумящею рекой
Средь белых лилий: сон мой будет реять
Росистыми туманами над миром, —
Бальзам для всех, кто дышит в царстве звезд;
Цветы, свернув листки свои во мраке,
Найдут во сне таинственные краски,
Что раньше им не грезились; а люди
И звери, в сладкой неге снов ночных,
Для зреющего дня найдут блаженство
Нетронутых, нерасточенных сил;
И будет смерть — объятием последним
Той матери, что жизнь дала ребенку
И шепчет: «Милый, будь со мной всегда».

Азия

Зачем ты вспоминаешь имя смерти?
Скажи, родная, тот, кто умирает,
Перестает глядеть, дышать, любить?

Земля

Могу ли я ответить? Ты бессмертна,
А эта речь понятна только тем,
Кто мертвое хранит молчанье, мертвый;
Смерть есть покров, который в царстве жизни
Зовется жизнью: если ж тот, кто жил,
Уснет навек, — покров пред ним приподнят;
А между тем, в разнообразьи нежном,
Проходят смены осени, зимы,
Весны и лета; радугой обвиты,
Спешат дожди, воздушно шепчут ветры,
И стрелы метеоров голубых
Пронизывают ночь, и солнце светит
Всезрящим, вечно-творческим огнем,
И льется влажный блеск спокойствий лунных;
Влияния зиждительные всюду,
В лесах, в полях, и даже в глубине
Пустынных гор, лелеющих растенья.
Но слушай! Есть пещера, где мой дух
Изнемогал от горести безумной,
Дыша твоим мученьем, — и другие,
Дышавшие тем воздухом со мной,
Испытывали также бред безумья:
Построив храм, воздвигли в нем оракул,
И множество кочующих народов
К войне междоусобной подстрекнули;
Теперь в местах, где реял дух вражды,
Вздыхает дуновение фиалок,
Сиянье безмятежное поит
Прозрачный воздух алостью чудесной:
Живут леса, уклоны гор; змеится
Зеленый виноград; плетет узоры
Причудливый, замысловатый плющ;
Цветы, — в бутонах, — в пышности расцвета, —

С увядшим благовонием, — вздыхают.
Звездятся в ветре вспышками цветными:
Висят плоды округло-золотые
В своих родных зеленых небесах.
Среди листов с их тканью тонких жилок,
Среди стеблей янтарных дышут чаши
Пурпуровых цветов, блестя росою.
Напитком духов: с шепотом о счастьи
Кругом чуть веют крылья снов полдневных.
Блаженных, потому что с нами — ты.
Иди в свою заветную пещеру.
Явись! Восстань!

(Дух появляется в образе крылатого ребенка)

Мой факельщик воздушный.
Он в древности светильник погасил,
Чтоб в те глаза смотреть, откуда снова
Достал огня сверкающей любви,
В твои глаза, о дочь моя, в которых
Действительно горит огонь лучистый.
Беги вперед, шалун, веди собранье
Все дальше, за Вакхическую Нису,
Пристанище Менад, — за выси Инда
С подвластной свитой рек, топчи потоки
Извилистых ручьев, топчи озера
Своими неустанными ногами, —
Иди туда, туда, где мирный дол,
К стремнине зеленеющей, где дремлет
На глади неподвижного прудка,
Среди кристальной влаги, образ храма,
Стоящего в прозрачной высоте,
С отчетливою стройностью узоров
Колонн и архитрава, и с похожей
На пальму капителью, с целым роем
Праксителевых форм, созданий мысли,
Чьи мраморные кроткие улыбки
Притихший воздух вечно наполняют
Бессмертием немеркнущей любви.
Тот храм теперь покинут, но когда-то
Твое носил он имя, Прометей;

Там юноши в пылу соревнованья
Сквозь мрак священный в честь твою несли
Твою эмблему — светоч; вместе с ними
Другие проносили тот же факел,
Светильник упования, сквозь жизнь
Идя в могилу, — как и ты победно
Пронес его сквозь тьму тысячелетий
К далекой цели Времени. Прощай.
Иди в тот храм, иди к своей пещере!

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Лес. — На заднем фоне пещера. — Прометей, Азия, Пантея, Иона, и Дух Земли.

Иона

Сестра! Но это что-то неземное!
Как он легко над листьями скользит!
Над головой его горит сиянье,
Какая-то зеленая звезда;
Сплетаются с воздушными кудрями,
Как пряди изумрудные, лучи;
Он движется, и вслед за ним на землю
Ложатся пятна снега. Кто б он был?

Пантея

Прозрачно-нежный дух, ведущий землю
Сквозь небо. С многочисленных созвездий
Издалека он виден всем, и нет
Другой планеты более прекрасной:
Порою оп плывет вдоль пены моря,
Проносится на облаке туманном.
Блуждает по полям и городам.
Покуда люди спят; он бродит всюду.
На высях гор, по водам рек широких,
Средь зелени пустынь, людьми забытых —
Всему дивясь, что видит пред собой.
Когда еще не царствовал Юпитер,
Он Азию любил, и каждый час,

Когда освобождался от скитаний,
Он с нею был, чтоб пить в ее глазах
Лучистое и влажное мерцанье.
Ребячески он с ней болтал о том,
Что видел, что узнал, а знал он много,
Хотя о всем по-детски говорил.
И так как он не знал, — и я не знаю,
Откуда он, — всегда он звал ее:
«О мать моя!»

Дух земли
(бежит к Азии)

О мать моя родная!
Могу ли и беседовать с тобою?
Прильнуть глазами к ласковым рукам,
Когда от счастья взоры утомятся?
И близь тебя резвиться в долгий полдень,
Когда в безмолвном мире нет работы?

Азия

Люблю тебя, о милый, нежный мой,
Теперь всегда тебя ласкать я буду;
Скажи мне, что ты видел: речь твоя
Была утехой, будет наслажденьем.

Дух земли

О мать моя, я сделался умнее,
Хоть в этот день ребенок быть не может
Таким, как ты — и умным, и счастливым.
Ты знаешь, змеи, жабы, червяки,
И хищные животные, и ветви,
Тяжелые от ягод смертоносных,
Всегда преградой были для меня,
Когда скитался я в зеленом мире.
Ты знаешь, что в жилищах человека
Меня пугали грубые черты,
Вражда холодных взглядов, гневность, гордость,
Надменная походка, ложь улыбок,
Невежество, влюбленное в себя,

С усмешкою тупой, — и столько масок,
Которыми дурная мысль скрывает
Прекрасное создание, — кого
Мы, духи, называем человеком:
И женщины, — противнее, чем все,
Когда не так они, как ты, свободны,
Когда не так они чистосердечны, —
Такую боль мне в сердце поселяли,
Что мимо проходить я не решался,
Хотя я был незрим, они же спали;
И вот, последний раз, мой путь лежал
Сквозь город многолюдный, к чаще леса,
К холмам, вокруг него сплетенным цепью;
Дремал у входа в город часовой;
Как вдруг раздался возглас, крик призывный,
И башни в лунном свете задрожали:
То был призыв могучий, нежный, долгий,
Он кончиться как будто не хотел;
Вскочив с постелей, граждане сбежались,
Дивясь, они глядели в Небеса,
А музыка гремела и гремела;
Я спрятался в фонтан, в тенистом сквере,
Лежал, как отражение луны,
Под зеленью листов, на зыбкой влаге.
И вскоре все людские выраженья,
Пугавшие меня, проплыли мимо
По воздуху, бледнеющей толпой.
Развеялись, растаяли, исчезли:
И те, кого покинули они,
Виденьями пленительными стали,
Ниспала с них обманчивая внешность:
Приветствуя друг друга с восхищеньем,
Все спать пошли; когда же свет зари
Забрезжился, — не можешь ты представить, —
Вдруг змеи, саламандры и лягушки,
Немного изменивши вид и цвет,
Красивы стали; все преобразилось:
В вещах дурное сгладилось: и вот
Взглянул я вниз на озеро, и вижу —
К воде склонился куст, переплетенный

С ветвями белладонны: на ветвях
Уселись два лазурных зимородка
И быстрыми движениями клюва
Счищали гроздья светлых ягод амбры,
Их образы виднелись в глади вод,
Как в небе: видя всюду перемены
Счастливые, мы встретились опять.
И в этой новой встрече — верх блаженства.

Азия

И больше мы не будем разлучаться,
Пока твоя стыдливая сестра,
Ведущая непостоянный месяц, —
Холодную луну, — не взглянет с лаской
На более горячее светило,
И сердце у нее, как снег, растает.
Чтоб в свете вешних дней тебя любить.

Дух земли

Не так ли, как ты любишь Прометея?

Азия

Молчи, проказник. Что ты понимаешь?
Ты думаешь, взирая друг на друга,
Вы можете самих себя умножить,
Огнями напоить подлунный воздух?

Дух земли

Нет, мать моя, пока моя сестра
Светильник свой на небе оправляет,
Идти впотьмах мне трудно.

Азия

Тсс! Гляди!

(Дух Часа входит)

Прометей

Мы чувствуем, что видел ты, и слышим,
Но все же говори.

Дух часа

Как только звук,
Обнявший громом землю с небесами,
Умолк, — свершилась в мире перемена.
Свет солнца вездесущий, тонкий воздух
Таинственно везде преобразились,
Как будто в них растаял дух дюбви
И слил их с миром в сладостном объятьи.
Острее стало зрение мое,
Я мог взглянуть в святилища вселенной;
Отдавшись вихрю, вниз поплыл я быстро,
Ленивыми крылами развевая
Прозрачный воздух; кони отыскали
На солнце место, где они родились,
И там отныне будут жить, питаясь
Цветами из растущего огня.
Там встану я с своею колесницей,
Похожей на луну, увижу в храме
Пленительные Фидиевы тени —
Тебя, себя, и Азию с Землей,
И вас, о нимфы нежные, — глядящих
На ту любовь, что в наших душах блещет:
Тот храм воскреснет в память перемен,
Вздымаясь на двенадцати колоннах,
Глядя открыто в зеркало небес
Немым собором, с фресками-цветами:
И змеи-амфисбены...

Но увы!
Увлекшись, ничего не говорю я
О том, что вы хотели бы узнать.
Как я сказал, я плыл к земле, и было
До боли сладко двигаться и жить.
Скитаясь по жилищам человека,
Я был разочарован, не увидев
Таких же полновластных перемен,
Какие ощутил я в мире внешнем.
Но это продолжалось только миг.
Увидел я, что больше нет насилий.

Тиранов нет, и нет их тронов больше.
Как духи, люди были меж собой,
Свободные; презрение, и ужас,
И ненависть, и самоуниженье
Во взорах человеческих погасли.
Где прежде в страшный приговор сплетались,
Как надпись на стене у входа в ад:
«Кто в эту дверь вошел, оставь надежду!»
Никто не трепетал, никто не хмурил
Очей угрюмых; с острым чувством страха
Никто не должен был смотреть другому
В холодные глаза и быть игрушкой
В руках тиранов, гонящих раба
Безжалостно, покуда не падет он,
Как загнанная лошадь: я не видел,
Чтоб кто-нибудь с усмешкой спутал правду,
Храня в своей душе отраву лжи;
Никто огня любви, огня надежды
В своем остывшем сердце не топтал,
Чтобы потом, с изношенной душою,
Среди людей влачиться, как вампир,
Внося во все своей души заразу;
Никто не говорил холодным, общим,
Лишенным содержанья языком,
Твердящим *нет* на голос утвержденья,
Звучащим в сердце; женщины глядели
Открыто, кротко, с нежной красотою,
Как небо, всех ласкающее светом, —
Свободные от всех обычных зол,
Изящные блистательные тени,
Они легко скользили по земле,
Беседуя о мудрости, что прежде
Им даже и не снилась, — видя чувства,
Которых раньше так они боялись, —
Сливаясь с тем, на что дерзнуть не смели,
И землю обращая в небеса;
Исчезли ревность, зависть, вероломство,
И ложный стыд, горчайший из всего,
Что портило восторг любви — забвенье.
Суды и тюрьмы, все, что было в них,

Все, что их спертым воздухом дышало,
Орудья пыток, цепи, и мечи,
И скипетры, и троны, и тиары,
Тома холодных, жестких размышлений,
Как варварские глыбы, громоздились,
Как тень того, чего уж больше нет, —
Чудовищные образы, что смотрят
С бессмертных обелисков, поднимаясь
Над пышными гробницами, дворцами
Тех, кто завоевал их, — ряд эмблем,
Намек на то, что прежде было страхом, —
Видения, противные — и богу,
И сердцу человека; в разных формах
Они служили диким воплощеньем
Юпитера, — мучителя миров, —
Народности, окованные страхом,
Склонялись перед ними, как рабы,
С разбитым сердцем, с горькими слезами,
С мольбою, оскверненной грязью лести —
Тому, к кому они питали страх;
Теперь во прахе идолы; распались:
Разорван тот раскрашенный покров,
Что в дни былые жизнью назывался
И был изображением небрежным
Людских закоренелых заблуждений:
Упала маска гнусная; отныне
Повсюду будет вольным человек,
Брат будет равен брату, все преграды
Исчезли меж людьми; племен, народов.
Сословий больше нет: в одно все слились,
И каждый полновластен над собой.
Настала мудрость, кротость, справедливость:
Душа людская страсти не забудет.
Но в ней не будет мрака преступленья.
И только смерть, изменчивость и случай
Останутся последнею границей,
Последним слабым гнетом над движеньем
Души людской, летящей в небеса,
Туда, где высший лик звезды блистает
В пределах напряженной пустоты.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Сцена. — Часть леса вблизи пещеры Прометея. — Пантея и Иона спят; в течение первой песни они постепенно пробуждаются.

Голос незримых духов

Звезды, бледнея, ушли,
Свет их потух;
Солнце вдали,
Их быстрый пастух,
В выси голубой
Блеском своим
Гонит стада их домой, —
Встает в глубине рассвета,
Метеоры гаснут за ним
В волнах голубого света,
И близкие звезды к далекой звезде
Спешат, отдаваясь предутренним играм,
Толпятся, как лани пред тигром.
Но где же вы? Где?

Длинный ряд темных форм и теней смутно проходит с пением

Идем мы к забвенью,
Несем к погребенью
Отца отошедших годов;
Уносим мы в вечность
Времен бесконечность,
Мы тени погибших Часов!

Не зеленью тиса,
Не сном кипариса,
А мрачностью мертвых цветов, —
Не светлой росою, —
Почтите слезою
Царя отошедших Часов!

Скорее, скорее!
Как тени, бледнея,
Бегут пред сиянием дня,

Небесной пустыней,
Бездонной и синей,
Развеются в брызгах огня, —

Так пеной мы таем,
Бежим, пропадаем
Пред чадами лучшего дня;
И ветры за нами
Чуть плещут крылами,
Чуть плещут, крылами звеня!

Иона

Кто там шествует толпой?

Пантея

То минувшие Часы
Мчатся длинною тропой
В свете гаснущей росы.

Иона

Где же все они?

Пантея

Ушли.
Вон уж там, вдали, вдали,
Обогнали молний свет, —
Лишь сказали мы, их нет.

Иона

Ушли, но куда? К Небесам? Или к морю огромному?

Пантея

Ушли навсегда к невозвратному, к мертвому, к темному.

Голос незримых духов

Сбираются тучи и тают,
И звездные росы блистают,
Редеет туман,
Высоты безмолвны,
Встал Океан,

Пляшут шумящие волны;
В синей воде
Рождается грохот,
Панический хохот.
Но где же вы? Где?

Бессмертные сосны-громады
Поют вековые баллады;
Их голос могуч,
Звенят их вершины;
Плещется ключ,
Музыке внемлют долины,
Радость везде,
В восторге истомы
Рождаются громы.
Но где же вы? Где?

Иона

Кто они?

Пантея

Где они?

Полухор часов

Заклятия духов Земли и Лазури
Порвали узорное кружево сна;
Мы спали глубоко в дыхании бури.

Голос

Глубоко?

Полухор второй

Глубоко: где спит глубина.

Полухор первый

Над нами во мраке склонялись виденья
Бежали столетья, враждою полны,
И мы открывали глаза на мгновенье,
Чтоб встретиться с правдой —

Полухор второй

Страшнее, чем сны.

Полухор первый

Любовь позвала нас, и мы задрожали.
Внимали мы лютне Надежды во сне,
И веянье Власти услышав, бежали —

Полухор второй

Как утром волна убегает к волне.

Хор

Носитесь, кружитесь по склонам зефира,
Пронзайте напевом немой небосвод,
Чтоб день торопливый не скрылся из мира
В пещере полночной, за дымкою вод.
Когда-то Часы беспощадной толпою,
Голодные, гнали испуганный день;
Теперь он не будет долиной ночною
Бежать, как бежит полумертвый олень.
Сплетем же, сплетем полнотою певучей
И песни и пляски в живое звено,
Чтоб духи блаженства, как радуга с тучей,
С Часами сливались.

Голос

Сливались в одно.

Пантея

Толпятся Духи разума людского.
Закутаны, как в светлую одежду,
В гармонию напевов неземных!

Хор духов

В восторге своем
Мы пляшем, поем.
И дикие вихри свистят:
Так с птичьей толпой
Над бездной морской
Летучие рыбы летят.

Хор часов

Откуда вы мчитесь? Безумен ваш взгляд!
Ни ваших сандалиях искры горят,
Стремительны крылья, как мысли полет,
Во взорах любовь никогда не умрет!

Хор духов

Из людского ума,
Где сгущалася тьма,
Где была слепота без просвета;
Там растаял туман,
Там теперь океан,
Небеса безграничного света.

Из глубоких пучин,
Где лишь свет — властелин,
Где дворцы и пещеры — хрустальны,
Где с воздушных высот
Вьется Дум хоровод,
Где Часы навсегда беспечальны.

Из немых уголков,
Где в прозрачный альков
Никогда не заглянут измены;
Из лазурной тиши,
Где улыбки Души
Зачаруют, как песня сирены.

Где Поэзии свет,
Где Скульптуры привет,
Где Наука, вздохнув от усилья,
Ключевою водой
И росой молодой
Освежает Дедаловы крылья.

За годами года
Нам грозила беда,
И с тоскою мы ждали блаженства,
Но в траве островов

Было мало цветов,
Полумертвых цветов совершенства.

А теперь наш полет
Человеческий род
Орошает бальзамом участья,
И любовь из всего
Создает торжество,
Создает Элизийское счастье.

Хор духов и часов

Сплетемте ж узоры мелодий певучих;
С небесных глубин, от пределов земли.
Придите, о Духи восторгов могучих,
Чтоб песни и пляски устать не могли:
Как дождь между молний проворных и жгучих,
Мы будем блистать в золотистой пыли,
Мы будем как звуки поющего грома,
Как волны, как тысячи брызг водоема.

Хор духов

Мы закрытую дверь
Отомкнули теперь,
Мы свободны, свободны, как птицы:
По высотам летим,
За звездою следим,
Догоняем сверканье зарницы.

Мы уходим за грань:
Многозвездную ткань
Разрываем в бездонной лазури:
Смерть, и Хаос, и Ночь
Устремляются прочь,
Как туман от грохочущей бури.
Наш могучий полет
Всем Дыханье дает,
И Любовь улыбается Неге;
Звезд играющий рой,
Свет, и Воздух с Землей
Сочетаются в огненном беге.

В пустоте мы поем
И чертог создаем,
Будет Мудрость царить в нем, светлея;
Возрожденья хотим,
Новый мир создадим,
Назовем его сном Прометея.

Хор часов

Рассыпьте, как жемчуг, гармонию слов,
Одни оставайтесь, умчитесь другие;

Полухор первый

Нас манит за небо, за ткань облаков;

Полухор второй

Нас держат, к нам ластятся чары земные;

Полухор первый

Мы быстры, мы дики, свободны во всем,
Мы новую землю мечтой создаем,
У неба не просим ответа;

Полухор второй

Мы шествуем тихим и ясным путем,
И Ночь обгоняем, и День мы ведем,
Мы — Гении чистого света;

Полухор первый

Мы вьемся, поем, — и являются сном
Деревья, и звери, и тучи кругом,
И в хаосе дышут виденья;

Полухор второй

Мы вьемся вокруг океанов земли,
И горы, как тени, под нами легли, —
Созвучия нашего пенья.

Хор часов и духов

Рассыпьте, как жемчуг, гармонию слов.
Одни оставайтесь, умчитесь другие:

Для нежной любви мы сплетаем покров,
Мы всюду несем откровения снов,
Несем облака дождевые.

Пантея

Они ушли!

Иона

Но разве ты не слышишь.
Как дышит сладость нежности минувшей?

Пантея

О, слышу! Так зеленые холмы
Смеются миллионом светлых капель,
Когда гроза, промчавшись, отзвучит.

Иона

И вновь, пока беседа наша длится,
Кругом встают иные сочетанья
Певучих звуков.

Пантея

То напев чудесный,
То музыка грохочущего мира,
Летящего по воздуху немому
И в ветре зажигающего звуки
Эоловых мелодий.

Иона

Слушай, слушай!
Еще звучат стихающие звуки,
Пронзительно-сребристые напевы,
Чаруют душу, с чувствами живут
Одним созвучьем братским, точно звезды,
Кто в воздухе зимы кристальной светят,
Глядя на лик свой в зеркале морей.

Пантея

Но видишь, там, среди ветвей нависших,
Раздвинулись прогалины в лесу,

Средь мхов густых, с фиалками сплетенных,
Один ручей раскинул два теченья,
И два ключа спешат, как две сестры,
Чтоб встретиться с улыбкой после вздохов.
Там два виденья в блеске непонятном
Плывут в волнах магических мелодий,
Что все звончей, настойчивей звучат
Во мгле земли, в безветрии лазури.

Иона

Я вижу, колесница быстро мчится,
Как та ладья тончайшая, в которой
По тающим волнам глубокой ночи
Мать месяцев уносится на Запад,
Когда встает от междулунных снов,
Обвеянных покровом нежной дымки.
И темные холмы, леса, долины
Отчетливо из этой мглы растут,
Как тени в светлом зеркале у мага;
Ее колеса — тучи золотые,
Подобные громадам разноцветным,
Что гении громов молниеносных
Над морем озаренным громоздят,
В тот час, как солнце ринется за волны:
Как будто ветром внутренним гонимы,
Они растут, и катятся, и блещут;
Внутри сидит крылатое дитя,
Его лицо блистает белизною
Нетронутого снега; перья крыльев —
Как пух мороза в солнечных лучах;
Сквозь складки перламутровой одежды
Воздушно-белой, дышит красота
Лучисто-белых членов; кудри — белы,
Как белый свет, рассыпанный по струнам.
Но взор двух глаз — два неба влажной тьмы,
Как будто Божество туда излилось,
Как буря изливается из туч,
И стрельчатых ресниц густые тени
Холодный светлый воздух умягчают;
В руке того крылатого дитяти —

Дрожащий лунный луч; с его конца,
Как кормчий, сходит правящая сила,
Ведя по тучам эту колесницу,
Меж тем как тучи мчатся над травой,
Над царством волн, цветов, и будят звуки
Нежней, чем звон поющего дождя.

Пантея

А из другой прогалины стремится,
С гармонией кружащихся циклонов,
Иная сфера, — сотни тысяч сфер
Как будто в ней вращаются, — кристаллы
Могли бы с ней по плотности сравниться.
Но сквозь нее, как сквозь простор пустой,
Плывет сиянье, музыка: я вижу,
Как тысячи кругов, один в другом,
Один легко летящий из другого,
Сплетаются, пурпурно-золотые,
Лазурные, играющие светом,
То белым, то зеленым: сфера в сфере;
И каждое пространство между ними
Населено нежданными тенями,
Какие снятся духам в глубине
Безжизненных просторов, чуждых света:
Но каждая из тех теней прозрачна,
И все они вращаются, кружатся,
В богатстве направлений разнородных,
На тысяче незримых тонких осей.
И с силой быстроты, в себе самой
Рождающей и гибель, и начало.
Настойчиво, торжественно стремятся,
И смешанностью звуков зажигают
Разумность слов, безумие напевов;
Вращением могучим сложный шар,
Как жерновом, захватывает воды
Блестящего ручья, дробит их мелко,
Из них лазурный делает туман —
На свет похожей тонкости стихийной:
И дикий аромат лесных цветов,
Богатство песен воздуха, деревьев,

Живых стеблей, листов переплетенных,
С их светом переливно-изумрудным,
Вкруг этой напряженной быстроты,
В себе самой преграду находящей,
Сливаются легко в одну воздушность,
Где тонут чувства. В самом центре шара,
Склонясь на алебастровые руки,
Свернувши крылья, кудри разметав,
Забылся Дух Земли в дремоте сладкой.
Усталое и нежное дитя,
Едва лепечут маленькие губы,
В неверном свете собственных улыбок,
И чудится, что шепчет он о том,
Что любит в сновидении.

Иона

Он только
Гармонии всей сферы подражает.

Пантея

С его чела звезда струит лучи,
Подобные мечам огнисто-синим
И копья золотым, переплетенным
С листами кроткой мирты — символ мира
Земли и неба, слитых воедино —
Огромные лучи, как будто спицы
Колес незримых, — кружатся они
С круженьем сферы: молнии трепещут,
Летят, бегут, пространство заполняют,
Здесь косвенны они, а там отвесны,
Огнем пронзают сумрачную почву,
И грудь земли разоблачает тайны;
Виднеются без света рудники,
В них слитки золотые, бриллианты,
Игра камней невиданных, бесценных,
Пещеры на столбах из хрусталя,
С отделкой из серебряных растений,
Бездонные колодцы из огня:
Ключи прозрачной влажности, кормильцы
Своих детей — морей необозримых,

Сплетающих свои пары в узоры —
Царям земли, вершинам гор, покрытым
Воздушностью нетронутых снегов,
Одеждою из царских горностаев;
Лучи горят, и в блеске их встают
Умерших циклов скорбные руины:
Вон якори, обломки кораблей;
Вон доски, превратившиеся в мрамор:
Колчаны, шлемы, копья; ряд щитов,
С верхушками — как голова Горгоны:
Украшенные режущей косою,
Военные повозки; целый мир
Знамен, трофеев, битвенных животных,
Вкруг чьей толпы смеялась смерть: эмблемы
Погибшие умерших разрушений:
Развалина в развалине! Обломки
Обширных населенных городов,
Чьи жители, засыпанные прахом,
Когда-то были, двигались и жили
Толпой нечеловеческой, хоть смертной:
Лежат изображенья страшных дел,
Раскинуты их грубые скелеты,
Их статуи, их капища, дома:
Объятые седым уничтоженьем,
Чудовищные формы, друг на друге,
Друг другом сжаты, стиснуты, разбиты.
В угрюмой, беспощадной глубине,
Другие сверху видятся скелеты
Крылатых и неведомых существ,
Скелеты рыб, что были островами
Подвижной чешуи, — цепей когтистых,
Гигантских змей, — одни из них свились
Вкруг черных скал, — другие, в смертных муках
Своею извивающейся мощью
Испепелив железные утесы,
Застыли в грудах праха; в высоте
Виднеется зубчатый аллигатор,
И землю потрясавший бегемот;
Среди зверей они царями были
И, точно черви в летний день на трупе,
Плодились в вязком иле, размножались

На берегах, средь исполинских трав,
До той поры, когда потоп, сорвавшись
Со свода голубого, задушил их
Одеждою текучей, меду тем как,
Разинув пасть, они пугали воздух
Пронзительным, протяжно-диким воплем,
Иль, может быть, до той поры, когда
Промчался Бог какой-нибудь по небу,
На огненной комете пролетел,
И крикнул: «Да не будет их!» — И вот уж,
Как этих слов, их в мире больше нет.

Земля

Восторг, безумье, счастье, торжество!
Безбрежен блеск блаженства моего!
Я вся горю, дрожу от исступленья!
Во мне для муки места нет,
Меня, как тучу, обнял свет,
Уносит бури дуновенье.

Луна

О счастливая сфера земли,
Брат, спокойно бегущий вдали,
От тебя устремляется Дух из огня,
Он певуч, он могуч, он подобно ручью
Проникает в замерзшую сферу мою,
Он проходит, любя, и дыша, и звеня,
Сквозь меня, сквозь меня!

Земля

Мои пещеры, долы, склоны гор,
Мои ключи, бегущие в простор,
Грохочут победительностью смеха;
Вулканы вторят им, горя,
Пустыни, тучи и моря
Им шлют хохочущее эхо.

Они кричат: Проклятие всегда
Пугало нас; нам грезилась беда,
Зловещая угроза разрушенья;

Земля дрожала, и над ней
Из туч свергался дождь камней,
Живому нес уничтоженье.

Чума плыла везде, во все концы;
Соборы, обелиски, и дворцы,
И сонмы гор, окутанных лавиной,
Листы, прильнувшие к ветвям,
Леса, подобные морям,
Казались мертвенной трясиной.

О, счастие! Уничтоженьем зло
Исчерпано; растаяло; прошло;
Все выпито, как стадом ключ в пустыне:
И небеса уже не те,
И в беспредельной пустоте
Любовь — любовь горит отныне.

Луна

Снега на моих помертвелых горах
Превратились в ручьи говорящие.
Мои океаны сверкают в лучах.
Гремят, как напевы звенящие.
Дух загорелся в груди у меня,
Что-то рождается, нежно звеня,
Дух твой, согретый в кипучем огне,
Дышит на мне, —
На мне!
В равнинах моих вырастают цветы,
И зеленые стебли качаются,
В лучах изумрудных твоей красоты
Влюбленные тени встречаются.
Музыкой дышит мой воздух живой,
Море колышет простор голубой,
Тучи, растаяв, сгущаются вновь,
Это любовь, —
Любовь!

Земля

Все камни, весь гранит проникнут ей,
Узлы глубоких спутанных корней,

Листы, что чуть трепещут на вершинах;
Она проносится в ветрах,
Живет в забытых мертвецах,
В никем незнаемых долинах.

И как гроза облачной тюрьмы
Гремит, встает, взрывается из тьмы, —
Болото мысли, спавшее от века,
Огнем любви возмущено,
И страх с тоскою заодно
Бегут, бегут от человека.

Многосторонним зеркалом он был
И столько отражений извратил;
Теперь любовь не смята в нем обманом,
Теперь душа с душой людской,
Как небо с бездною морской
Горят единым океаном.

Ребенок зачумленный так идет
За зверем заболевшим, все вперед,
К расщелине, где ключ целебный блещет,
И возвращается домой,
Здоровый, розовый, живой,
И мать рыдает и трепещет.
Теперь душа людей слилась в одно —
Любви и мысли мощное звено,
И властвует над сонмом сил природных,
Как солнце в бездне голубой
Царем блистает над толпой
Планет и всех светил свободных.

Из многих душ единый дух возник,
В себе самом всему нашел родник,
В нем все течет, сливаясь на просторе,
Как все потоки, все ручьи
Несут течения свои
В неисчерпаемое море.

Обычных дел знакомая семья
Живет в зеленой роще бытия,

И новые в них краски заблистали;
Никто не думал никогда,
Чтоб скорбь и тягости труда
Когда-нибудь так легки стали.

Людская воля, страсти, мрак забот
Слились, преображенные, и вот
Корабль крылатый мчится океаном.
Любовь на нем, как рулевой.
Волна звучит, растет прибой
И манит к новым диким странам.

Все в мире признает людскую власть.
На мраморе запечатлелась страсть.
И в красках спят людских умов мечтанья.
Из светлых нитей — для детей —
Сплетают руки матерей
Живые ткани одеянья.

Людской язык — Орфический напев,
И мысли внемлют звукам, присмирев,
Растут по зову стройных заклинаний.
И гром из дальних облаков
Гремит в ответ на звучный зов
И ждет послушно приказаний.

И взором человека сочтены
Все звезды многозвездной глубины,
Они идут покорными стадами;
И бездна к небу говорит:
«И твой, и твой покров раскрыт!
Людская мысль царит над нами!»

Луна

Наконец от меня отошла
Белой смерти упорная мгла, —
Мой могильный покров
Мертвых снов и снегов;
И в зеленой пустыне моей молодой,

Обнимаясь, идет за счастливой четой
Молодая чета;
И хоть в детях твоих дышит высшая власть,
Но в сердцах у моих — та же нега и страсть,
И одна красота.

З е м л я

Как теплое дыхание зари,
Обняв росу, живит ее кристаллы,
И золотом пронзает янтари,
И ласки дня властительны и алы,
И мчится ввысь крылатая роса,
Скитается, воздушна и лучиста,
До вечера не бросит небеса,
Весь день висит руном из аметиста, —

Л у н а

Так и ты лежишь, объята
Блеском радостей беспечных —
Своего же аромата
И своих улыбок вечных.
Сколько есть светил небесных,
Все тебе струят сиянье,
Из лучей плетут чудесных
Золотое одеянье.
И богатством светлой сферы
Ты струишь поток огня,
Ты лучи свои без меры
Проливаешь на меня.

З е м л я

Вращаюсь я под пирамидой ночи,
Она горит в лазури гордым сном,
Глядит в мои восторженные очи,
Чтоб я могла упиться торжеством;
Так юноша, в любовных снах вздыхая,
Лежит под тенью прелести своей
И нежится, и слышит песни Рая,
Под греющей улыбкою лучей.

Луна

Когда на влюбленных дрожащих устах
В затмении сладком с душою сойдется душа,
Темнеет огонь в лучезарных глазах,
И гордое сердце дрожит, не дыша;
Когда на меня упадет от тебя
Широкая тень, я твоей красотой смущена,
Молчу и дрожу, замираю, любя!
Тобою полна! О, до боли полна!

Сфера жизни, ты блистаешь
Самой светлой красотой,
Ты вкруг солнца пролетаешь
Изумрудною звездой;
Мир восторгов повсеместных
И непознанных чудес.
Меж светильников небесных
Ты избранница небес;
Притягает лучезарный,
Победительный твой вид,
Как влечет Эдем полярный
И любимых глаз магнит;
Под тобою я кристальна,
Я невестой создана,
От блаженных снов печальна,
До безумья влюблена;
Ненасытно я взираю
На тебя со всех сторон,
Как Вакханка умираю,
Мой восторг заворожен;
Так в исполненных прохлады,
Дивных Кадмовых лесах
Собиралися Менады
И кружились в сладких снах.
О, куда бы ты ни мчалась,
Я должна спешить вослед,
Лишь бы ты мне улыбалась,
Лишь бы твой увидеть свет;
В беспредельности пространства

Я приют себе нашла,
От тебя свое убранство,
Красоту свою взяла,
От тебя мой блеск исходит,
Я слилась с душой твоей, —
Как влюбленная походит
На того, кто дорог ей, —
Как, в окраске изменяясь,
Вечно слит хамелеон
С тем, где дышит он, скрываясь,
С тем, на что взирает он, —
Как фиалка голубеет,
Созерцая даль небес, —
Как туман речной темнеет,
Если смолк вечерний лес,
Если солнце отблистает
И на склонах гор темно.

Земля

И угасший день рыдает,
Отчего так быть должно.
Луна! Луна! Твоя голос негой дышит,
Моя душа его с отрадой слышит,
И в тот же миг волна ладью колышет
Средь островов, навек спокойных.
Луна! Луна! С мелодией кристальной
Пришел покой к моей пещере дальной,
Бальзам отрады сладостно-печальной
Для вспышек тигровых и знойных.

Пантея

Мне чудится, я только что купалась
Меж темных скал, среди лазурной влаги,
Игравшей переливами сиянья,
В потоке звуков.

Иона

Милая сестра.
Мне больно, — звуки прочь от нас умчались,
И правда, можно было бы подумать.

Что вышла ты из тех певучих волн:
Твои слова струятся нежной, ясной
Росой, как капли с влажных членов нимфы.
Когда она выходит из воды.

Пантея

Молчи, молчи! Властительная Сила.
Как мрак, встает из самых недр земли,
И с неба ночь густым дождем струится,
Нахлынуло из воздуха затменье,
И светлые видения, в чьем лоне
Бродили с пеньем радостные духи,
Горят подобно бледным метеорам
В дождливую погоду.

Иона

Чувство слов
Дрожит в моих ушах.

Пантея

То звук всемирный!
Как бы слова, что говорят: Внемли.

Демогоргон

Земля, спокойно-светлая держава,
Теней и звуков стройная краса,
Блаженная, божественная слава,
Любовь, чьим снегом полны небеса!

Земля

Я слышу твой призыв: я меркну, как роса!

Демогоргон

Луна, чей взгляд взирает с удивленьем
На землю в час ночной, когда она
Исполнена спокойным восхищеньем,
Увидя, как светло горит Луна!

Луна

Я слышу: я, как лист дрожащий, смущена!

Демогоргон

Цари светил, Воздушные Престолы,
Союз Богов и Демонов, пред кем
Раскинуты безветренные долы,
Пустынных звезд заоблачный Эдем!

Голос с высоты

Мы слышим твой призыв: равно мы светим всем!

Демогоргон

Герои отошедших лет, немые,
Должны ль вы были в смерти утонуть,
Как часть вселенной, или как живые —

Голос снизу

Меняемся и мы, уходим в новый путь!

Демогоргон

Вы, Гении стихийные, чьи хоры,
Умы людей звездою заменив,
Уносятся в небесные соборы,
На дне морей питают волн порыв!

Смутный голос

Мы слышим: пробудил Забвенье твой призыв!

Демогоргон

Вы, Духи, чьи дома — живое тело!
Вы, звери, птицы, рыбы, рой цветов,
Туманы, тучи дальнего предела,
Стада падучих звезд, услышьте зов!

Голос

Твой клич для нас звучит, как долгий шум лесов!

Демогоргон

Ты, Человек, мучитель и страдалец,
От древних дней обломок: глубока
Была твоя печаль; ты был скиталец,
Сквозь мрак ночной тебя вела тоска.

Все

Пророчествуй: тебе внимают все века!

Демогоргон

Вот день, избранник времени счастливый!
Его заклятьем вызвал Сын Земли,
Чтоб люди видеть счастие могли:
Любовь с престола власти терпеливой,
Победоносная, сошла
И собрала свои усилья,
Из крайней пытки создала
Благословенье изобилья,
Простерла надо всем врачующие крылья.

Терпенье, Мудрость, Нежность. Доброта —
Почать над тем, в чем скрыто Разрушенье:
И если Вечность, мать Уничтоженья,
Растворит дверь, где дремлет темнота,
Освободит змею измены
И кинет в мир чуму, как бич,
Желайте лучшей перемены.
Пошлите в воздух звучный клич:
Вот чары, чтоб опять гармонии достичь: —

Не верить в торжество несовершенства:
Прощать обиды, черные, как ночь;
Упорством невозможность превозмочь;
Терпеть, любить; и так желать блаженства,
Что Солнце вспыхнет сквозь туман
И обессилеет отрава, —
Над этим образ твой, Титан,
Лишь в этом Жизнь, Свобода, Слава,
Победа Красоты, лучистая Держава!

1819

Оскар Уайлд

БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

ПАМЯТИ
К. Т. В.
БЫВШЕГО КАВАЛЕРИСТА
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ,
УМЕРШЕГО В ТЮРЬМЕ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.
РЭДИНГ, БЕРКШИР, 7-го ИЮЛЯ 1896

I

Он не был больше в ярко-красном,
Вино и кровь он слил,
Рука в крови была, когда он
С умершей найден был,
Кого любил и, ослепленный
В постели он убил.

И вот он шел меж Подсудимых,
Весь в серое одет.
Была легка его походка,
Он не был грустен, нет,
Но не видал я, чтоб глядели
Так пристально на свет.

Я никогда не знал, что может
Так пристальным быть взор.
Впиваясь в узкую полоску,
В тот голубой узор,
Что, узники, зовем мы небом,
И в чем наш весь простор.

С другими душами чистилищ,
В другом кольце, вперед,
Я шел и думал, что он сделал,
Что совершил вон тот,
Вдруг кто-то прошептал за мною:
«Его веревка ждет».

О, Боже мой! глухие стены
Шатнулись предо мной,
И небо стало раскаленным,
Как печь, над головой,
И пусть я шел в жестокой пытке,
Забыл я ужас свой.

Я только знал, какою мыслью —
Ему судьба — гореть,
И почему на свет дневной он
Не может не смотреть,
Убил он ту, кого любил он,
И должен умереть.

*

Но убивают все любимых,
Пусть знают все о том,
Один убьет жестоким взглядом,
Другой обманным сном,
Трусливый — лживым поцелуем,
И тот кто смел — мечом!

Один убьет любовь в расцвете,
Другой — на склоне лет,
Один удушит в сладострастьи,
Другой — под звон монет,
Добрейший — нож берет: кто умер,
В том муки больше нет.

Кто слишком скор, кто слишком долог,
Кто купит, кто продаст,
Кто плачет долго, кто, спокойный,
И вздоха не издаст,
Но убивают все любимых,
Не всем палач воздаст.

*

Он не умрет позорной смертью,
Он не умрет, другой,
Не ощутит вкруг шеи петлю,
И холст над головой,

Сквозь пол он не уронит ноги
Над страшной пустотой.

Молчащими не будет ночью
И днем он окружен,
Что все следят, когда заплачет,
Когда издаст он стон,
Следят, чтоб у тюрьмы не отнял
Тюремной жертвы он.

Он не увидит на рассвете,
Что вот пришла Беда,
Пришел, дрожа, Священник, в белом,
Как ужас навсегда,
Шериф, и Комендант, весь в черном,
Чей образ — лик Суда.

Он не наденет торопливо
Свой каторжный наряд,
Меж тем как грубый Доктор смотрит,
Чем новым вспыхнул взгляд,
Держа часы, где осужденья
Звучат, стучат, стучат.

Он не узнает тяжкой жажды,
Что в горле — как песок,
Пред тем, когда палач в перчатках
Прильнет на краткий срок,
И узника скрутит ремнями,
Чтоб жаждать он же мог.

Слова Молитв Заупокойных
Не примет он, как гнет,
И между тем как ужас в сердце
Кричит, что он живет.
Он не войдет, касаясь гроба,
Под страшный низкий свод.

Не глянет он на вышний воздух
Сквозь узкий круг стекла.

Молясь землистыми губами,
Чтоб боль скорей прошла.
Не вздрогнет он от губ Кайафы,
Стирая пот с чела.

II

Уж шесть недель гулял солдат наш,
Весь в серое одет,
Была легка его походка,
Он не был грустен, нет,
Но не видал я, чтоб глядели
Так пристально на свет.

Я никогда не знал, что может
Так пристальным быть взор,
Вливаясь в узкую полоску,
В тот голубой узор,
Что, узники, зовем мы небом,
И в чем наш весь простор.

Он не ломал с тоскою руки,
Как те, в ком мало сил,
И кто в Отчаяньи Надежду
Безумно оживил,
Нет, только он глядел на солнце,
И жадно воздух пил.

Не плакал он, ломая руки.
О том, что́ суждено,
Но только утро пил, как будто
Целительно оно.
О, жадно, жадно пил он солнце,
Как светлое вино!

С другими душами чистилищ.
В другом кольце, вперед,
Я шел, и каждый, кто терзался,
Про свой не помнил гнет.
Но мы за тем следили тупо,
Кого веревка ждет.

И странно было знать, что мог он
Так весело шагать,
И странно было, что глазами
Он должен свет впивать,
И странно было знать, что должен
Такой он долг отдать.

*

Цветут и дуб и вяз роскошно
Весеннею порой.
Но страшно видеть столб позорный,
Что перевит змеей,
И стар иль юн, но кто-то должен
Предел не выждать свой!

Высок престол, и счастье трона
Всех манит и зовет,
Но кто хотел бы, с крепкой петлей,
Взойти на эшафот,
И сквозь ошейник бросить взгляд свой
Последний в небосвод?

Прекрасны пляски, звуки скрипок,
Любовь и Жизнь с Мечтой;
Любить, плясать, под звуки лютни,
Толпою молодой;
Но страшно — быстрою ногою —
Плясать над пустотой!

И мы за ним с больным вниманьем
Следили, чуть дыша:
Быть может, к каждому такой же
Конец ползет, спеша?
Как знать, в какой нас Ад заманит
Незрячая душа.

*

И наконец меж Подсудимых
Он больше не ходил,
Я знал, он в черной загородке,
В судебном зале был,

Его лица я не увижу,
Как долго б я ни жил.

Мы встретились, как в бурю, в море,
Погибшие суда,
Без слов, без знака, — что могли бы
Мы говорить тогда?
Мы встретились не в ночь святую,
А в яркий день стыда.

Тот и другой в глуши тюремной
Людской отбросок был,
Нас мир, сорвавши с сердца, бросил,
И Бог о нас забыл,
И за железную решетку
Грех в тьму нас заманил.

III

Двор Должников — в камнях весь жестких,
Там слизь со стен течет,
С высоких стен; близь них гулял он,
Над ним свинцовый свод,
И слева, справа Страж ходил с ним,
Боясь, что он умрет.

Или молчащими он ночью
И днем был окружен,
Они следили за слезами,
Они ловили стон,
Боясь, чтобы не отнял жертву
У эшафота он.

Был Комендант без послаблений,
Устав он твердо знал;
Смерть — факт научный, Доктор умный
Все факты признавал;
В день дважды приходил Священник,
И книжку оставлял.

И дважды в день курил он трубку,
И кружку пива пил,
Его душа была спокойна,
В ней страх не властен был.
Он говорил, что он доволен
Уйти во тьму могил.

Но почему так говорил он,
Страж ни один не знал;
Тот, кто в тюрьме быть должен стражем,
Язык свой замыкал,
Кому судьба в тюрьме быть стражем,
Тот маску надевал.

Когда б спросил, душа не в силах
Была б так быть нема,
А что же может сделать Жалость
Там где Убийцам — Тьма?
Какое слово он нашел бы
Для братского ума?

*

Мы проходили, образуя
Наш — Шутовской — Парад,
Что в том! Ведь были мы одною
Из Дьявольских Бригад:
В ногах свинец, затылки бриты,
Роскошный маскарад.

Канаты рвали мы, и ногти,
В крови, ломали мы,
Пол мыли щеткой, терли двери
Решетчатой тюрьмы,
Шел гул от топота, от ведер,
От адской кутерьмы.

Мешки мы шили, били камни,
Шел звон со всех сторон,
Мы били жесть, и пели гимны,
Наш ум был оглушен,

Но в сердце каждого был ужас,
 Таился в сердце он.

Таился так, что дни, как волны,
 Меж трав густых ползли,
Забыли мы, чего обманщик
 И глупый ждать могли,
Но раз, с работы возвращаясь,
 Могилу мы прошли.

Зияла яма жадной пастью,
 Возжаждавшей убить,
Кричала грязь, что хочет крови,
 Асфальту нужно пить,
Мы знали: завтра между нами
 Один окончит быть.

И мы вошли, душой взирая
 На Смерть, на Суд, на Страх;
Прошел палач, с своей сумою,
 Он спрятался впотьмах;
И мы дрожа замкнулись, каждый
 Под номером, в гробах.

*

В ту ночь Тенями, в коридорах,
 Тюрьма была полна,
Вошли шаги в Железный Город,
 Шепталась тишина,
И лица бледные глядели
 Сквозь полосы окна.

А он лежал, как тот, кто в травах
 Заснул, устав мечтать,
И стражи сон тот сторожили,
 И не могли понять,
Как может кто-нибудь пред казнью
 Так сладко, сладко спать.

Но нет тем сна, кто слез не ведал.
 И весь дрожит в слезах,

Так мы — обманщик, плут, и глупый —
Все были на часах,
Сквозь каждый мозг, цепляясь, ползал,
Другого жгучий страх.

*

О, это страшно, страшно — муку
Терпеть за грех чужой!
Нам меч Греха вонзился в сердце,
С отравой роковой.
Горели слезы в нас — о крови,
Что пролил здесь другой.

И Стражи, в обуви бесшумной,
Смотря в дверной кружок,
Пугались, на полу увидя
Тех, дух чей изнемог,
Дивились, что молиться могут,
Кто никогда не мог.

Всю ночь, склоняясь, мы молились,
Оплакивая труп,
И перья полночи качались,
Могильный мрак был туп,
И вкус Раскаянья был в сердце,
Как желчи вкус для губ.

*

С едой петух пропел, и красный,
Но дня не привели,
И тени Ужаса пред нами
По всем углам ползли,
И каждый дух, что бродит ночью,
Кривясь, густел в пыли.

Они ползли, они скользили,
Как путники сквозь мглу,
Они как лунные виденья
Крутились на полу,
И с мерзкой грацией качались,
И радовались злу.

Они с ужимками мигали
    Вблизи и вдалеке,
Они плясали сарабанду,
    И шла рука к руке,
Они чертили арабески,
    Как ветер на песке!

Марионеткам было любо
    Ногами семенить,
Под флейты Страха, в маскараде,
    Свой хоровод водить,
И пели маски, пели долго,
    Чтоб мертвых разбудить.

«Ого!» кричали, «Мир обширен,
    Но цепи — вот беда!
И джентльмены кость бросают
    И раз, и два, — о, да!
Но раб тот, кто с Грехом играет
    В Прибежище Стыда!»

*

Нет, не из воздуха был создан
    Злорадный тот синклит,
Для тех, чья жизнь была в колодках,
    Кто был в гробу забит,
Они — о, Боже! — были живы,
    И страшен был их вид.

Кругом, кругом, в зловещем вальсе,
    Крутились духи тьмы,
Они жеманно улыбались
    По всем углам тюрьмы,
Мигали, тонко усмехались,
    Пока молились мы.

*

Ночь длилась, но уж ветер утра
    Летал, легко стеня,
Все нити мрака Ночь продлила,
    Сквозь свой станок гоня,

И мы в молитвах ужаснулись
	На Правосудье Дня.

Вдоль влажных стен стенящий ветер
	Скользил со всех сторон,
И колесом стальным впился в нас
	Минут чуть слышный звон.
О, что же сделали мы, ветер,
	Чтоб слышать этот стон?

И наконец во мгле неясной,
	На извести стенной,
Увидел призрак я решетки,
	Узор ее резной,
И я узнал, что где-то в мире
	Был красен свет дневной.

*

И в шесть часов мели мы кельи,
	В семь тишь везде была,
Но внятен шорох был, качанье
	Могучего крыла;
Чтобы убить, с дыханьем льдистым
	В тюрьму к нам Смерть вошла.

Не на коне как месяц белом,
	Не в красках огневых,
Сажень веревки только нужно,
	Чтоб человек затих,
И вот она вошла с веревкой
	Для тайных дел своих.

*

Мы точно шли сквозь топь, на ощупь,
	Кругом — болото, мгла,
Не смели больше мы молиться,
	И сжата скорбь была,
В нас что-то умерло навеки,
	Надежда умерла.

О, Правосудье Человека,
Подобно ты Судьбе,
Ты губишь слабых, губишь сильных,
В чудовищной борьбе,
Ты сильных бьешь пятой железной,
Проклятие тебе!

*

Мы ждали, чтоб пробило восемь,
Томясь в гробах своих:
Счет восемь — счет клеймящий Рока,
Крик смерти в мир живых,
И Рок задавит мертвой петлей
Как добрых, так и злых.

Мы только думали и ждали,
Чтоб знак придти был дан,
И каждый был как бы в пустыне
Застывший истукан,
Но сердце в каждом било, точно
Безумный в барабан!

*

Внезапно на часах тюремных,
Восьми отбит был счет,
И стоном общим огласился
Глухой тюремный свод,
Как будто крикнул прокаженный
Средь дрогнувших болот.

И как в кристалле сна мы видим
Чудовищнейший лик,
Мы увидали крюк, веревку,
Пред нами столб возник,
Мы услыхали, как молитву
Сдавила петля в крик.

И боль, которой так горел он,
Что издал крик он тот,

Лишь понял я вполне, — весь ужас
Никто так не поймет:
Кто в жизни много жизней слышит,
Тот много раз умрет.

IV

Обедни нет в день смертной казни,
Молитв не могут петь,
Священник слишком болен сердцем
Иль должен он бледнеть,
Или в глазах его есть что-то,
На что нельзя смотреть.

Мы были взаперти до полдня,
Затем раздался звон,
И стражи, прогремев ключами.
Нас выпустили вон,
И каждый был с отдельным Адом
На время разлучен.

И вот мы шли, в том мире Божьем,
Не как всегда, — о, нет,
В одном лице я видел бледность,
В другом — землистый цвет,
И я не знал, что скорбный может
Так поглядеть на свет.

Я никогда не знал, что может
Так пристальным быть взор,
Впивая узкую полоску,
Тот голубой узор,
Что, узники, зовем мы небом,
И в чем наш весь простор.

Но голову иной, так низко,
Печально опустил,
И знал, что, в сущности, той казни
Он больше заслужил:

Тот лишь убил — кого любил он,
Он — мертвых умертвил.

Да, кто грешит вторично, — мертвых
Вновь к пыткам будит он,
И тянет труп за грязный саван,
Вновь труп окровавлен,
И вновь покрыт густой он кровью
И вновь он осквернен!

*

По влажно-скользкому асфальту
Мы шли и шли кругом,
Как клоуны иль обезьяны,
В наряде шутовском,
Мы шли, никто не молвил слова,
Мы шли и шли кругом.

И каждый ум, пустой и впалый,
Испуган был мечтой,
Мысль об уродливом была в нем,
Как ветер круговой,
И Ужас шел пред ним победно,
И Страх был за спиной.

*

И были Стражи возле стада,
С чванливостью в глазах,
И все они нарядны были,
В воскресных сюртуках,
Но ясно известь говорила
У них на сапогах.

Там, где зияла раньше яма,
Покрылось все землей.
Пред гнусною стеной тюремной
Песку и грязи слой,
И куча извести — чтоб мертвый
Имел в ней саван свой.

Такой на этом трупе саван,
Каких не знает свет:
Для срама большего он — голый,
На нем покрова нет,
И так лежит цепями скован.
И пламенем одет!

И известь ест и плоть и кости,
Огонь в него проник,
И днем ест плоть, и ночью кости,
И жжет, меняет лик,
Ест кость и плоть попеременно,
Но сердце — каждый миг.

*

Три долгих года там не сеют
И не ростят цветов,
Три долгих года там бесплодность
Отверженных песков,
И это место смотрит в небо,
Глядит без горьких слов.

Им кажется, что кровь убийцы
Отрава для стеблей.
Неправда! Нет, земля от Бога.
Она добрей людей,
Здесь краска роз была б краснее,
И белых роз — белей.

Из сердца — стебель белой розы,
И красной — изо рта!
Кто может знать пути Господни,
Веления Христа?
Пред Папой посох пилигрима
Вдруг все одел цвета!

*

Но нет ни белых роз, ни красных
В тюрьме, где все — тиски,

Кремень, голыш, вот все, что есть там,
Булыжник, черепки:
Цветы нас исцелить могли бы
От ужасов тоски.

И никогда не вспыхнут розы
Меж стен позорных тех.
И никогда в песке и в грязи
Не глянет цвет утех,
Чтобы сказать убогим людям,
Что умер Бог за всех.

*

Но все ж, хоть он кругом оцеплен
Тюремною стеной,
И хоть не может дух в оковах
Бродить порой ночной,
И только плачет дух, лежащий
Во мгле, в земле такой, —

Он в мире — этот несчастливый —
Он в царстве тишины,
Там нет грозящего безумья,
Там Страх не входит в сны,
В Земле беззвездной, где лежит он,
Нет Солнца, нет Луны.

*

Он как животное — бездушно —
Повешен ими был,
Над ужаснувшейся душою
И звон не прозвонил,
Они его поспешно взяли,
Зев ямы жертву скрыл.

Они с него покров сорвали,
Для мух был пирный час,
Смешна была им вздутость горла,
Недвижность мертвых глаз,
Они со смехом клали известь,
Чтоб саван жег, не гас.

Священник мимо той могилы
Без вздоха бы прошел,
Ее Крестом не осенил бы,
Нам данным в бездне зол,
Ведь здесь как раз один из тех был,
К кому Христос пришел.

Пусть так. Все хорошо: замкнулась
Дней здешних череда,
Чужие слезы отдадутся
Тому, чья жизнь — беда,
О нем отверженные плачут,
А скорбь их — навсегда.

V

Прав или нет Закон, не знаю,
Одно в душе живет:
В тюрьме тоска, в ней стены крепки,
В ней каждый день — как год,
И каждый день в том долгом годе
Так медленно идет.

И знаю я: все, все законы,
Что сделал Человек,
С тех пор как первый брат убит был
И мир стал мир калек,
Закон мякину сохраняет
И губит рожь навек.

И знаю я, и было б мудро,
Чтоб каждый знал о том,
Что полон каждый камень тюрем
Позором и стыдом,
В них люди братьев искажают,
Замок в них — пред Христом.

Луну уродуют решеткой,
И солнца лик слепят,

И благо им, что Ад их скрытен, —
    На то, что там творят,
Ни Бога Сын, ни Человека,
    Не должен бросить взгляд!

*

Деянья подлые взростают,
    Как плевелы, в тюрьме,
Что есть благого в Человеке,
    Бледнеет в той чуме,
И над замком Тоска нависла,
    Отчаянье — во тьме.

Ребенка мучают, пугают,
    Он плачет день и ночь,
Кто слаб — тем кнут, кто глуп — тех хлещут,
    Кто сед — тех бить не прочь,
Теряют ум, грубеют, чахнут,
    И некому помочь.

Живем мы каждый в узкой келье,
    Вонючей и глухой.
Живая Смерть с гнилым дыханьем
    За каждою стеной,
И, кроме Похоти, все тлеет,
    Как пыль, в душе людской.

Водой соленой там поят нас,
    И слизь по ней скользит,
И горький хлеб, что скудно весит,
    С известкой, с мелом слит.
И Сон не хочет лечь, но бродит
    И к Времени кричит.

*

Но, если Голод с бледной Жаждой —
    Змея с другой змеей,
О них заботимся мы мало,
    Но в чем наш рок слепой —
Тот камень, что ты днем ворочал,
    В груди — во тьме ночной.

Всегда глухая полночь в сердце,
И тьма со всех сторон,
Мы рвем канат, мотыль вращаем,
Ад — каждый отделен,
И тишина еще страшнее,
Чем грозный медный звон.

Никто не молвит слова ласки
С живущим мертвецом,
И в дверь лишь виден взор следящий,
С бесчувственным лицом,
Забыты всеми, — мы и телом,
И духом здесь гниением.

Цепь Жизни ржавя, каждый жалкий
Принижен и забит,
И кто клянет, и кто рыдает,
И кто всегда молчит,
Но благ Закон бессмертный Бога,
Он камень душ дробит.

*

Когда же нет у человека
В разбитом сердце сил,
Оно как тот ларец разбитый,
Где нард роскошный был,
Который в доме с прокаженным
Господь как клад открыл.

Счастливы — вы, с разбитым сердцем,
Уставшие в пути.
Как человек иначе может
Свой дух от Тьмы спасти?
И чем же, как не сердцем, может
Христос в наш дух войти?

*

И тот, с кровавым вздутым горлом
И с мглой недвижных глаз,
Ждет рук Того, Кем был разбойник
Взят в Рай в свой смертный час;

Когда у нас разбито сердце,
Господь не презрит нас.

Тот человек, что весь был в красном,
И что читал Закон,
Ему дал три недели жизни,
Чтоб примирился он,
Чтоб тот с души смыл пятна крови,
Кем нож был занесен.

К его руке, от слез кровавых,
Вернулась чистота,
Лишь кровью кров омыть возможно,
И влага слез чиста,
И красный знак, что дал нам Каин,
Стал белизной Христа.

VI

Близ Рэдинга, есть в Рэдингской
Тюрьме позорный ров,
Злосчастный человек одет в нем
В пылающий покров,
Лежит он в саване горящем,
И нет над гробом слов.

Пусть там, до Воскресенья мертвых,
Он будет тихо тлеть,
И лить не нужно слез безумных,
И без толку жалеть:
Убил он ту, кого любил он,
Был должен умереть.

Но убивают все любимых,
Пусть слышат все о том,
Один убьет жестоким взглядом,
Другой обманным сном,
Трусливый — лживым поцелуем,
И тот, кто смел, — мечом!

Эдгар Алан По

РАССКАЗЫ И СТИХОТВОРЕНИЯ

РАССКАЗЫ

ХОП-ФРОГ*

Никогда я не видал никого, кто мог бы сравниться с королем в зажигательной веселости и любви к шуткам. Он, по-видимому, жил только для шуток. Рассказать добрую шутливую историю, и рассказать ее хорошо, — это был вернейший путь к его благосклонности. Таким образом произошло, что семь его министров все были отменными шутниками. Кроме того, по примеру короля они все были плотными, коренастыми и жирными, в этом они были так же несравненны, как и в искусстве шутить. Толстеют ли люди от шуток или в самой тучности есть что-то предрасполагающее к шутливости, этого я никогда в точности не мог определить, но во всяком случае достоверно, что худощавый шутник *rara acis in terris***.

Об утонченностях или, как он называл их, о «призраках» остроумия король беспокоился очень мало. Он в особенности любил, чтобы шутка была, так сказать, *на широкую ногу*, и ради этого нередко заботился об ее *длиннотах*. Излишние деликатесы претили ему. Он предпочел бы «Гаргантюа» Рабле[1] «Задигу» Вольтера[2]; и, в заключение всего, шутки, сопровождавшиеся действием, соответствовали его вкусу гораздо более, чем шутки словесные.

В те времена, к которым относится мое повествование, профессиональные шуты еще не совсем вышли из моды при

---

* Хоп (от *англ.* hop) — подпрыгивать, фрог (от *англ.* frog) — лягушка. — *Примеч. пер.*

** Птица редкостная (*лат.*). — *Примеч. пер.*

дворах. Некоторые из великих властителей континента еще держали при себе дураков, они были одеты в пестрые костюмы, украшены колпаками с бубенчиками, и от них всегда ожидали метких острот на тот или иной случай в обмен на крохи, падавшие с королевского стола.

Наш возлюбленный король, конечно, держал при себе дурака. Дело в том, что он *положительно нуждался* в чем-нибудь этаком, сумасбродном — хотя бы для того, чтобы уравновесить тяжеловесную мудрость семи мудрецов, бывших его министрами, уже не говоря о нем самом.

Его дурак, или профессиональный шут, был, однако, не *только* дураком. Его достоинство было утроено в глазах короля тем обстоятельством, что он был карлик и увечный. Карлики были в *те* дни такими же обычными явлениями при дворах, как и шуты; и многим монархам было бы трудно прожить свой век (дни при дворе, пожалуй, длиннее, чем где-либо), если бы у них не было шута, *вместе с которым* можно было бы смеяться, и карлика, *надо которым* можно бы было насмехаться. Но, как я уже заметил, все эти шуты в девяносто девяти случаях из ста толсты, жирны и неповоротливы, так что у нашего короля было с чем поздравить себя, ибо Хоп-Фрог (так звали шута) представлял из себя тройное сокровище в одной персоне.

Я думаю, что лица, крестившие карлика, назвали его при крещении *не* Хоп-Фрогом, это имя ему было милостиво пожаловано по общему согласию семью министрами, благодаря тому, что он не мог ходить, как все другие. Действительно, Хоп-Фрог мог двигаться только таким образом, что его походка как бы напоминала знаки междометия: он не то прыгал, не то ползал, извиваясь, — движения, бесконечным образом услаждавшие короля и, конечно, доставлявшие ему немалое утешение, потому что (несмотря на выпуклость его живота и прирожденную припухлость головы) весь двор считал его красавцем-мужчиной. Но хотя Хоп-Фрог, благодаря искривлению ног, мог двигаться по земле или по полу с большими трудностями и усилиями, громадная мускульная сила, которой природа наградила его, как бы в виде возмещения за несовершенство нижних конечностей, давала ему возможность учинять с необыкновенным проворством всякие проделки, везде, где дело шло о деревьях, канатах, или вооб-

ще, где нужно было на что-нибудь вскарабкаться. При таких упражнениях он, конечно, более походил на белку или на маленькую обезьяну, нежели на лягушку.

Не могу сказать с точностью, из какой страны был родом Хоп-Фрог, — из какой-то дикой области, о которой никто не слыхал и которая находилась очень далеко от двора нашего короля. Хоп-Фрог вместе с одной молодой девушкой, почти такой же карлицей, как он (хотя необыкновенно пропорциональной и преискусной танцовщицей), был насильственно отторгнут от родного очага, и оба они из своих собственных домов, находившихся в смежных провинциях, были посланы в качестве подарка королю одним из тех генералов, которые всегда побеждают.

При таких обстоятельствах нет ничего удивительного, что между двумя маленькими пленниками возникла самая тесная близость. Действительно, они скоро сделались закадычными друзьями. Хоп-Фрог, хотя и был большим искусником во всяких шутках, не пользовался, однако, популярностью и не мог оказывать никаких услуг Триппетте, но *она*, благодаря изяществу и изысканной красоте (хоть и карлица), была общей любимицей, пользовалась большим влиянием и никогда не упускала случая применить его на пользу Хоп-Фрога.

По случаю какого-то крупного государственного события, какого именно не помню, король решил устроить маскарад; а когда при нашем дворе случался маскарад или что-нибудь в этом роде, тогда таланты и Хоп-Фрога и Триппетты, конечно, выступали на сцену. Хоп-Фрог в особенности был изобретателен в искусстве устраивать пышные зрелища, выдумывать новые характерные типы и подбирать костюмы для маскированных балов, во всем этом он был таким искусником, что, казалось, ничего бы не вышло без его помощи.

Ночь, назначенная для *празднества*, наступила. Пышный зал причудливо был разукрашен под надзором Триппетты, чтобы придать маскараду возможный *блеск*. Весь двор с лихорадочным нетерпением ожидал торжества. Что до костюмов и масок, как легко догадаться, каждый вовремя пришел к тому или другому решению. Многие приготовились к своим *ролям* за неделю или даже за месяц; и ни у кого на самом деле не было ни малейших колебаний, ни у кого, кроме короля и

его семи министров. Почему колебались *они,* я никак бы не мог сказать, разве что они делали это ради шутки. Более вероятно, впрочем, что им было трудно приготовиться по причине их основательной тучности. Как бы то ни было, время уходило; и, прибегая к последнему средству, они послали за Триппеттой и Хоп-Фрогом.

Когда два маленьких друга пришли на зов короля, он сидел за столом и пил вино вместе с семью членами своего совещательного кабинета; но владыка, по-видимому, был решительно не в своей тарелке. Он знал, что Хоп-Фрог не выносил вина; действительно, оно возбуждало бедного калеку настолько, что он делался почти безумным, а безумие — чувство не особенно приятное. Но король любил свои активные шутки, и ему показалось очень приятным заставить Хоп-Фрога выпить (как король изволил определить это) и «развеселиться».

— Ну-ка, поди-ка сюда, Хоп-Фрог,— сказал он, когда шут вместе со своей подругой вошел в комнату,— вот выпей-ка,— он показал ему на кубок, налитый до краев, — за здоровье твоих отсутствующих друзей (*Тут Хоп-Фрог вздохнул.*), а потом покажи нам, братец, свою изобретательность. Нам нужно что-нибудь характерное, что-нибудь *характерное,* любезнейший, новенькое. Надоело нам это вечное одно и то же. Ну, пей же, вино подогреет твое остроумие.

Хоп-Фрог попытался было ответить на предупредительность короля обычною шуткой, но усилие не увенчалось успехом. Случилось так, что это был как раз день рождения бедного карлика, и приказание выпить за «отсутствующих друзей» вызвало слезы на его глаза. Не одна крупная горькая капля упала в кубок, который он взял из рук тирана.

— А! Ха-ха-ха! — загремел тот, когда карлик с отвращением выпил кубок.— Стакан доброго вина — вещь великая! Да что это, братец, у тебя и глаза засветились!

Бедняга! Его большие глаза не светились, а скорее *сверкали,* вино оказывало на его впечатлительный мозг не только сильное, но и мгновенное действие. Он порывисто поставил кубок на стол и осмотрел всю компанию пристальным полубезумным взглядом. Все эти господа, по-видимому, в высшей степени забавлялись успешною *«шуткой»* короля.

— Ну-с, а теперь к делу, — сказал первый министр, *очень* толстый человек.

— Да, — сказал король,— помоги-ка нам, братец, что-нибудь выдумать, что-нибудь характерное, Хоп-Фрог! Всем нам не достает характера — всем — ха-ха-ха! — И так как это положительно было сказано в виде шутки, смех короля был подхвачен семикратным эхом.

Хоп-Фрог также смеялся, хотя слабо и несколько рассеянно.

— Ну, ну, — нетерпеливо проговорил король, — что же, ничего еще тебе не приходит в голову?

— Мне хочется выдумать что-нибудь *новое,* — отвечал карлик рассеянно. Он был совершенно ошеломлен вином.

— Хочется! — бешено закричал тиран. — Что ты хочешь сказать этим *хочется?* А! Понимаю. Ты надул губы, и тебе еще хочется вина, ну, выпей, выпей! — И, налив другой кубок, он предложил его увечному.

Тот уставился на вино пристальным взглядом и еле дышал.

— Пей, говорят тебе, — разразилось чудовище, — или, черт побери...

Карлик колебался. Король был красен от гнева. Придворные сладко улыбались. Триппетта, мертвенно бледная, приблизилась к креслу короля и, упав перед ним на колени, умоляла пощадить ее друга.

Несколько мгновений тиран смотрел на нее, очевидно пораженный ее дерзостью. Он, по-видимому, совершенно не знал, что ему делать или говорить, как наиболее прилично выразить свое негодование. Наконец, не говоря ни слова, он с яростью толкнул ее от себя и выплеснул ей в лицо полный стакан вина.

Несчастная девушка встала через силу и, не смея даже вздохнуть, заняла свое прежнее место у конца стола.

На полминуты воцарилась такая мертвая тишина, что можно было бы услыхать падение листа или пера. Тишина была прервана глухим, но резким и продолженным *царапающим* звуком, который одновременно исходил как бы изо всех углов комнаты.

— Что? *Что?!* Спрашиваю я тебя, хочешь ты этим сказать? — спросил король, бешено поворачиваясь к карлику.

Последний, как кажется, в значительной степени успел отрезвиться и, смотря пристально, но спокойно прямо в лицо тирану, воскликнул.

— Я, я? Почему непременно я?

— Это, кажется, оттуда, — заметил один из придворных, — я думаю, это попугай на окне точил клюв о проволоку клетки.

— Верно, — ответил король, как будто весьма облегченный этой догадкой, — но я бы мог поклясться рыцарскою честью, что это вон тот бродяга скрипел зубами.

Тут карлик захохотал (а король был слишком расположен к шуткам, чтобы быть недовольным чьим бы то ни было смехом), причем обнаружил два ряда широких, сильных и безобразных зубов. При этом он выразил решительную готовность выпить сколько угодно вина. Государь был умиротворен, и Хоп-Фрог, осушив новый кубок без видимых дурных последствий, тотчас же и с большим воодушевлением начал обсуждать маскарадные планы.

— Не могу объяснить, в силу какого сплетения мыслей, — заметил он очень спокойно и с таким видом, как будто бы он никогда сроду не пил вина, — не могу объяснить, но *именно после того, как* Ваше Величество изволили ударить эту девушку и выплеснули ей в лицо вино — *именно после того, как* Ваше Величество изволили это сделать, и в то время, как попугай произвел такой странный шум около окна, мне припомнилась прекрасная забава — одна из обычных в моей стране игр, — у нас в маскарадах она исполняется очень часто, здесь же будет совершенною новинкой. К несчастью, однако, для этого требуется компания в восемь человек и...

— Да нас *как раз* восемь! — воскликнул король, смеясь на свою тонкую наблюдательность.— Я и семь министров, как раз восемь. Ну, в чем же дело?

— Мы называем это, — ответил хромец, — Восемь Скованных Орангутангов, и, действительно, это чудесная штука, если хорошо разыграть.

— Мы-то уже ее разыграем, — заметил король, приосаниваясь и опуская веки.

— Вся прелесть игры, — продолжал Хоп-Фрог, — заключается в чувстве страха, который можно нагнать на женщин.

— Превосходно! — заревели хором король и его министры.

— Я вас наряжу орангутангами, — продолжал карлик, — предоставьте все мне. Сходство будет такое поразительное, что все примут вас за настоящих зверей и, конечно, страх гостей будет равняться их изумлению.

— О, да это действительно превосходно, — воскликнул король, — Хоп-Фрог, я тебя, братец, озолочу.

— Цепи будут греметь, потому они и необходимы, они увеличат смятение. Можно будет подумать, что вы убежали *целой толпой* от своих вожатых. Вы не можете себе представить, Ваше Величество, какой *эффект* произведут на маскарадную публику восемь скованных орангутангов, которые большинству покажутся настоящими; и каково это будет, когда они бросятся с дикими криками в толпу изящных и разряженных мужчин и женщин. *Контраст* неподражаемый.

— Надо думать, — сказал король, и весь совет быстро поднялся (уже становилось поздно), чтобы немедленно привести в исполнение план Хоп-Фрога.

Те приемы, с помощью которых он хотел изготовить партию орангутангов, были очень несложны, но в достаточной степени действительны для намеченной цели. Упомянутые животные в ту эпоху, к которой относится мое повествование, были весьма редкостными везде в цивилизованном мире, и, так как черты сходства, созданные карликом, приводили к достаточной звероподобности и к более чем достаточной отвратительности, соответствие с природой было, по-видимому, обеспечено. Король и его министры прежде всего были облачены в узкие ажурные рубахи и панталоны. Затем они были густо намазаны жидкой смолой. Тут кто-то из участников предложил применить перья; но это предложение было немедленно отвергнуто карликом, который, как дважды два четыре, доказал, что шерсть такого животного, как орангутанг, гораздо лучше можно изобразить с помощью льна. Согласно с этим, слой смолы был покрыт густым слоем льна. Затем достали длинную цепь. Прежде всего она прошла вокруг талии короля *и была закреплена;* затем она обошла вокруг талии одного из министров и тоже закреплена; затем вокруг талии каждого из остальных, тем же порядком. Когда этот процесс закрепления цепи был окончен и участ-

ники игры стояли друг от друга так далеко, как только было можно, они образовывали из себя круг; и, чтобы придать всему естественный вид, Хоп-Фрог протянул остаток цепи в виде двух диаметров, сходящихся под прямыми углами, поперек круга, совершенно так же, как в наши дни сковывают шимпанзе и других крупных обезьян с острова Борнео.

Большой зал, в котором должен был праздноваться маскарад, представлял собой круглую комнату, очень высокую, причем солнечный свет проникал сюда через единственное окно, находившееся в вышине. По ночам (время, для которого преимущественно предназначался этот чертог) зал освещался главным образом громадным канделябром, который свешивался на цепи из самого центра косого окна, находившегося на потолке, и который поднимался и опускался с помощью обыкновенного противовеса; но (в виду изящества) этот последний шел по ту сторону купола и тянулся над сводом.

Внешнее убранство комнаты было предоставлено надзору Триннетты, но кое в чем, по-видимому, ею руководил рассудительный ее друг, карлик. Так по его внушению канделябр был убран прочь. Капли воска (а при такой теплоте атмосферы разве можно было от них уберечься) могли бы причинить серьезный ущерб богатому одеянию гостей, которые, по причине большого многолюдства, не *все* были бы в состоянии избегать центрального пункта комнаты, то есть того пункта, который находился под канделябром. В различных местах чертога, там и сям, были поставлены добавочные светильники, и по одному ароматичному факелу было помещено в правой руке каждой из кариатид[3], которые стояли против стен, числом всего-навсего пятьдесят или шестьдесят.

Следуя советам Гоп-Фрога, восемь орангутангов терпеливо дожидались полночи, чтобы явиться в полном блеске, когда зал будет битком набит нарядными масками. Но как только часы возвестили полночь, они тотчас же ринулись все вместе или, вернее, вкатились — ибо, благодаря цепи, большинство из участников этой компании по необходимости падало и все они спотыкались.

В толпе масок последовало необыкновенное возбуждение, от которого исполнилось восторгом сердце короля. Как

и было предположено, многие из гостей решили, что эти твари с такой свирепой наружностью действительно *какие-то* животные, хотя, быть может, и не подлинные орангутанги. Многие из женщин от ужаса попадали в обморок. И если бы король не позаботился заранее о том, чтобы в зале не было никакого оружия, его компания быстро искупила бы свою забаву кровью. Теперь же поднялась страшная давка но направлению к дверям, но они по приказанию короля были заперты тотчас же, как он вошел, и ключи, согласно внушениям карлика, были переданы ему.

В то время как суматоха достигала своих высших пределов и каждый из веселящихся заботился только о своей собственной безопасности (благодаря давке было действительно много опасности самой *настоящей)*, можно было видеть, как цепь, на которой обыкновенно висел канделябр и которая была удалена вместе с ним, теперь мало-помалу, еле заметно начала опускаться вниз, пока ее крючковатый конец не очутился на расстоянии приблизительно трех футов от пола.

Вскоре после этого король и его семь товарищей, вдоволь напрыгавшись в зале по всем направлениям, очутились наконец в ее центре и, естественно, в непосредственной близости от цепи. Карлик, следуя за ними по пятам и понуждая их поддерживать суматоху, схватил их цепь в точке пересечения двух частей, проходивших по кругу диаметрально, под прямыми углами, затем с быстротою молнии он зацепил за это место крюком, на котором обыкновенно висел канделябр, и в одно мгновение действием какой-то невидимой силы висячая цепь была подтянута вверх настолько, что за крюк уже нельзя было взяться; орангутанги с логической неизбежностью были стянуты вместе и столкнулись лицом к лицу.

Маски тем временем несколько оправились от своей тревоги и, начиная смотреть на все, как на искусно выдуманную шутку, разразилась громким хохотом по поводу смешного положения обезьян.

— Предоставьте их *мне!* — вдруг закричал Хоп-Фрог, и его резкий пронзительный голос отчетливо вырезался из этого смутного гула.— Предоставьте *их мне!* Кажется, *я-то* их знаю. Если только я взгляну на них хорошенько, *я* тотчас же скажу, кто они!

Затем, карабкаясь над головами столпившихся зевак, он пробрался к стене, выхватил у одной из кариатид факел и, вернувшись тем же порядком к центру комнаты, вскочил с ловкостью обезьяны на голову к королю, вскарабкался еще на несколько футов по цепи и опустил вниз факел, как бы рассматривая группу орангутангов и все продолжая кричать: «Уж *я-то* разузнаю, кто они!»

И в то время как вся нарядная толпа (и обезьяны включительно) была объята судорожным смехом, шут внезапно издал резкий свист, цепь быстро взлетела вверх футов на тридцать, увлекая за собою испуганных и бьющихся орангутангов и заставляя их висеть в пространстве между косым окном и полом. Что касается Хоп-Фрога, он, карабкаясь по цепи, пока она поднималась, все еще сохранял свое прежнее положение относительно восьми замаскированных (как будто ничего не произошло) и продолжал приближать к ним факел, словно пытаясь рассмотреть, кто они.

Все присутствующие были так изумлены этим внезапным поднятием вверх, что на минуту в чертоге воцарилось мертвое молчание. Оно было нарушено совершенно таким же глухим резким *царапающим* звуком, какой раньше привлек внимание короля и его советников, когда в лицо Триппетты было выплеснуто вино, но теперь уже не могло быть вопроса, *откуда* исходил этот звук — это карлик скрипел и скрежетал своими клыкообразными зубами, между тем как рот его покрылся пеной, а глаза блистали сумасшедшей яростью, устремляясь к приподнятым лицам короля и его семи товарищей.

— Ага, — выговорил, наконец, рассвирепевший шут.— Ага! Я начинаю узнавать, *что это* за публика! — И, делая вид, что он желает посмотреть на короля хорошенько, он поднес факел к его льняному покрову, и мгновенно брызнули струи яркого огня. Менее чем в полминуты все восемь орангутангов пылали ослепительным пламенем среди криков толпы, которая, будучи поражена глубоким ужасом, смотрела на них снизу и не имела возможности оказать им хотя бы малейшую помощь.

Наконец огни, быстро увеличиваясь в силе, принудили шута вскарабкаться выше по цепи. И когда он сделал это движение, толпа опять на краткое мгновение погрузилась в

безмолвие. Карлик воспользовался удобным случаем и снова заговорил:

— Теперь я *отлично* вижу, что это за публика. Это великий король и его семь советников — король, которому ничего не стоит ударить беззащитную девушку, и его семь советников, которые подстрекают его на оскорбление. А что до меня, я просто шут Хоп-Фрог, и *это моя последняя шутка.*

Благодаря сильной воспламеняемости льна и смолы, деяние мести был окончено, едва только карлик договорил свои последние слова. Восемь трупов висели на своих цепях — почерневшая масса, вонючая, гнусная, неузнаваемая. Калека швырнул в них свой факел, проворно вскарабкался к потолку, и скрылся в косом окне.

Думают, что Триппетта, находясь над сводом зала, была соучастницей своего друга в его жестокой мести и что оба они бежали на родину, ибо никто их больше не видел.

ОВАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

Egli e vivo e parlerebbe se non
osser-vasse la rigola del silentio*.

Надпись под одним итальянским
портретом св. Бруно

Лихорадка моя была упорна и продолжительна. Все средства, какие только можно было достать в этой дикой местности близ Апеннин, были исчерпаны, но без каких-либо результатов. Мой слуга и единственный мой товарищ в уединенном замке был слишком взволнован и слишком неискусен, чтобы решиться пустить мне кровь, которой, правда, я уже достаточно потерял в схватке с бандитами. Я не мог также со спокойным сердцем отпустить его поискать где-нибудь помощь. Наконец, неожиданно я вспомнил о маленьком свертке опиума, который лежал вместе с табаком в деревянном ящичке: в Константинополе я приобрел привычку курить табак вместе с такой лекарственной примесью. Педро

* Он *жив,* и он заговорил бы, если бы не соблюдал правило молчания (*ит.*). — *Примеч. пер.*

подал мне ящичек. Порывшись, я нашел желанное наркотическое средство. Но когда дело дошло до необходимости отделить должную часть, мной овладело раздумье. При курении было почти безразлично, *какое количество* употреблялось. Обыкновенно я наполнял трубку до половины опиумом и табаком и перемешивал то и другое — половина на половину. Иногда, выкурив всю эту смесь, я не испытывал никакого особенного действия; иногда же, еле выкурив две трети, я замечал симптомы мозгового расстройства, которые бывали даже угрожающими и предостерегали меня, дабы я воздержался. Правда, эффект, производимый опиумом при легком изменении в количестве, совершенно был чужд какой-либо опасности. Тут, однако, дело обстояло совершенно иначе. Никогда раньше я *не принимал* опиума *внутрь*. У меня бывали случаи, когда мне приходилось принимать лауданум и морфий, и относительно *этих* наркотиков я не имел бы оснований колебаться. Но опиум в чистом виде был мне неизвестен. Педро знал об этом не больше меня, и таким образом, находясь в подобных критических обстоятельствах, я пребывал в полной нерешительности. Тем не менее я не был особенно огорчен этим и, рассудив, решил принимать опиум *постепенно*. Первая доза должна быть *очень* ограниченной. Если она окажется недействительной, размышлял я, можно будет ее повторить; и так можно будет продолжать, пока лихорадка не утихнет или пока ко мне не придет благодетельный сон, не посещавший меня почти уже целую неделю. Сон был необходимостью, чувства мои находились в состоянии какого-то опьянения. Именно это смутное состояние души, это тупое опьянение, несомненно, помешало мне заметить бессвязность моих мыслей, которые были так велики, что я стал рассуждать о больших и малых дозах, не имея предварительно какого-либо определенного масштаба для сравнения. В ту минуту я совершенно не представлял себе, что доза опиума, казавшаяся мне необычайно малой, на самом деле могла быть необычайно большой. Напротив, я хорошо помню, что с самой невозмутимой самоуверенностью я определил количество, необходимое для приема, по его отношению к целому куску, находившемуся в моем распоряжении. Порция, которую я наконец проглотил, и проглотил бесстрашно,

была, несомненно, весьма малой частью *всего количества, находившегося в моих руках.*

Замок, куда мой слуга решился скорее проникнуть силой, нежели допустить, чтобы я, измученный и раненый, провел всю ночь на открытом воздухе, был одним из тех мрачных и величественных зданий-громад, которые так давно хмурятся среди Апеннин, не только в фантазии мистрис Радклиф[1], но и в действительности. По всей видимости, он был покинут на время и совсем еще недавно. Мы устроились в одной из самых небольших и наименее роскошно обставленных комнат. Она находилась в уединенной башенке. Обстановка в ней была богатая, но износившаяся и старинная. Стены были покрыты обивкой и увешаны разного рода военными доспехами, а также целым множеством очень стильных современных картин в богатых золотых рамах с арабесками. Они висели не только на главных частях стены, но и в многочисленных уголках, которые странная архитектура здания делала необходимыми, — и я стал смотреть на эти картины с чувством глубокого интереса, быть может обусловленного моим начинавшимся бредом; так я приказал Педро закрыть тяжелые ставни — ибо была уже ночь, — зажечь свечи в высоком канделябре, стоявшем у кровати близ подушек, и совершенно отдернуть черные бархатные занавеси с бахромой, окутывавшей самую постель. Я решил, что, если уже мне не уснуть, так я, по крайней мере, буду поочередно смотреть на эти картины и читать маленький томик, который лежал на подушке и содержал в себе критическое их описание. Долго-долго я читал и глядел на создания искусства с преклонением, с благоговением. Быстро убегали чудесные мгновения, и подкрался глубокий час полночи. Положение канделябра показалось мне неудобным, и, с трудом протянувши руку, я избежал нежелательной для меня необходимости будить моего слугу, и сам переставил его таким образом, чтобы сноп лучей полнее падал на книгу.

Но движение мое произвело эффект совершенно неожиданный. Лучи многочисленных свечей (ибо их действительно было много) упали теперь в нишу, которая была до этого окутана глубокой тенью, падавшей от одного из столбов кровати. Я увидел таким образом при самом ярком освещении картину, которой раньше совершенно не замечал. Это был

портрет молодой девушки, только что развившейся до полной женственности. Я стремительно взглянул на картину и закрыл глаза. Почему я так сделал, это в первую минуту было непонятно мне самому. Но пока ресницы мои оставались закрытыми, я стал лихорадочно думать, почему я закрыл их. Это было инстинктивным движением с целью выиграть время — удостовериться, что зрение не обмануло меня, успокоить и подчинить свою фантазию более трезвому и точному наблюдению. Через несколько мгновений я опять устремил на картину пристальный взгляд.

Теперь не было ни малейшего сомнения, что я вижу ясно и правильно, ибо первая яркая вспышка свечей, озарившая это полотно, по-видимому, развеяла то дремотное оцепенение, которое завладело всеми моими чувствами, и сразу вернула меня к реальной жизни.

Как я уже сказал, это был портрет молодой девушки. Только голова и плечи в стиле *виньетки*, говоря языком техническим. Многие штрихи напоминали манеру Салли[2] в его излюбленных головках. Руки, грудь и даже концы лучезарных волос незаметно сливались с неопределенной глубокой тенью, составлявшей задний фон всей картины. Рама была овальная, роскошно позолоченная и филигранная, *в мавританском вкусе*[3]. Рассматривая картину как создание искусства, я находил, что ничего не могло быть прекраснее ее. Но не самим исполнением и не бессмертной красотой лица я был поражен так внезапно и так сильно. Конечно, я никак не мог думать, что фантазия моя, вызванная из состояния полудремоты, была слишком живо настроена и что я принял портрет за голову живого человека. Я сразу увидел, что особенности рисунка, его *виньеточный* характер, и качество рамы, должны были с первого взгляда уничтожить подобную мысль — должны были предохранить меня даже от мгновенной иллюзии. Упорно размышляя об этом, я оставался, быть может, целый час полусидя, полулежа, устремив на портрет пристальный взгляд. Наконец, насытившись скрытой тайной художественного эффекта, я откинулся на постель. Я понял, что очарование картины заключалось в необычайной *жизненности* выражения, которая, сперва поразив меня, потом смутила, покорила и ужаснула. С чувством глубокого и почтительного страха я передвинул канделябр на его прежнее

место. Устранив таким образом от взоров причину моего глубокого волнения, я с нетерпением отыскал томик, где обсуждались картины и описывалась история их возникновения. Открыв его на странице, где описывался овальный портрет, я прочел смутный и причудливый рассказ:

«Она была девушкой самой редкостной красоты, и была столько же прекрасна, сколько весела. И злополучен был тот час, когда она увидала и полюбила художника и сделалась его женой. Страстный, весь отдавшийся занятиям и строгий, он уже почти имел невесту — свое искусство; она же была девушкой самой редкостной красоты и была столько же прекрасна, сколько весела: вся — смех, вся — лучезарная улыбка, она была резва и шаловлива, как молодая лань; она любила и лелеяла все, к чему ни прикасалась; ненавидела только Искусство, которое соперничало с ней; пугалась только палитры, кисти и других несносных инструментов, отнимавших у нее ее возлюбленного. Ужасной вестью было для этой женщины услышать, что художник хочет написать портрет и самой новобрачной. Но она была смиренна и послушна, и безропотно сидела она целые недели в высокой и темной комнате, помещавшейся в башне, где свет, скользя, струился только сверху на полотно. Но он, художник, вложил весь свой гений в работу, которая росла и создавалась с часу на час, со дня на день. И он был страстный и причудливый, безумный человек, терявший душу в своих мечтаниях; и не *хотел* он видеть, что бледный свет, струившийся так мрачно и угрюмо в эту башню, снедал веселость и здоровье новобрачной, и все видели, что она угасает, только не он. А она все улыбалась и улыбалась и не проронила ни слова жалобы, ибо видела, что художник (слава которого была велика) находил пламенное и жгучее наслаждение в своей работе и дни и ночи старался воссоздать на полотне лицо той, которая его так любила, которая изо дня в день все более томилась и бледнела. И правда, те, что видели портрет, говорили тихим голосом о сходстве как о могущественном чуде и как о доказательстве не только творческой силы художника, но и его глубокой любви к той, которую он воссоздавал так чудесно. Но наконец, когда работа стала близиться к концу, никто не находил более доступа в башню, потому что художник, с самозабвением безумия отдавшийся работе, почти не отрывал

своих глаз от полотна, почти не глядел даже на лицо жены. И не *хотел* он видеть, что краски, которые он раскинул по полотну, были взяты с лица той, что сидела ближе него. И когда минули долгие недели и лишь немногое осталось довершить — один штрих около рта, одну блестку на глаз, — душа этой женщины вновь вспыхнула, как угасающий светильник, догоравший до конца. И вот положен штрих, и вот положена блестка; и на мгновение художник остановился, охваченный восторгом, перед работой, которую он создал сам; но тотчас же, еще не отрывая глаз, он задрожал и побледнел, и, полный ужаса, воскликнув громко: „Да ведь это сама *Жизнь!*", он быстро обернулся, чтобы взглянуть на возлюбленную — *она была мертва!*»

ЛИГЕЙЯ

> И если кто не умирает, это от могущества воли. Кто познает сокровенные тайны воли и ее могущества? Сам Бог есть великая воля, проникающая все своею напряженностью. И не уступил бы человек ангелам, даже и перед смертью не склонился бы, если б не была у него слабая воля.
>
> *Джозеф Гленвилл*[1]

Клянусь, я не могу припомнить, как, когда или даже в точности где я узнал впервые леди Лигейю. Много лет прошло с тех пор, и память моя ослабела от множества страданий. Или, быть может, я не в силах припомнить этого *теперь*, потому что на самом деле необыкновенные качества моей возлюбленной, ее исключительные знания, особенный и такой мирный оттенок ее красоты, и полное чар захватывающее красноречие ее мелодичного грудного голоса прокрадывались в мое сердце так незаметно, с таким постепенным упорством, что я и не заметил этого, не узнал. Да, но все же мне чудится, что я встретил ее впервые и встречал много раз потом в каком-то обширном, старинном городе, умирающем

на берегах Рейна. Она, конечно, говорила мне о своем происхождении. Что ее род был очень древним, в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Лигейя! Лигейя! Погруженный в такие занятия, которые, более чем что-либо иное, могут по своей природе убить впечатления внешнего мира, я чувствую, как одного этого нежного слова, Лигейя, достаточно, чтобы предо мною явственно предстал образ той, кого уже больше нет. И теперь, пока я пишу, во мне вспыхивает воспоминание, что я *никогда не знал* фамильного имени той, которая была моим другом и невестой, и сделалась потом товарищем моих занятий и, наконец, супругой моего сердца. Было ли это прихотливым желанием моей Лигейи? Или то было доказательством силы моего чувства, что я никогда не предпринимал никаких исследований по этому поводу? Или, скорее, не было ли это моим собственным капризом, моим романтическим жертвоприношением на алтаре самого страстного преклонения? Я только неясно помню самый факт, — не удивительно ли, что я совершенно забыл об обстоятельствах, обусловивших или сопровождавших его? И если действительно тот дух, который назван *Романом*, если эта бледная туманнокрылая *Аштофег*[2] языческого Египта председательствовала, как говорят, на свадьбах, сопровождавшихся мрачными предзнаменованиями, нет сомнения, что она председательствовала на моей.

Есть, однако, нечто дорогое, относительно чего память моя не ошибается. Это *внешность* Лигейи. Высокого роста, Лигейя была тонкой, в последние дни даже исхудалой. Тщетно было бы пытаться описать величественность, спокойную непринужденность всех ее движений, непостижимую легкость и эластичность ее поступи. Она приходила и уходила точно тень. Никогда я не слыхал, что она входит в мой рабочий кабинет, я только узнавал об этом, когда она касалась моего плеча своею словно выточенной из мрамора рукой — я с наслажденьем узнавал об этом, слыша нежный звук ее грудного голоса. Ни одна девушка в мире не могла сравниться с нею красотой лица. Это был какой-то лучистый сон, навеянный опиумом, воздушное и душу возвышающее видение, в котором было больше безумной красоты, больше божественного очарования, чем в тех фантастических снах, что парили над спящими душами делосских дочерей[3]. Однако

черты ее лица не отличались той правильностью, почитать которую в классических созданиях язычников мы научены издавна и напрасно. «Нет изысканной красоты, — говорит Бэкон, лорд Веруламский, справедливо рассуждая о всех разнородных формах и *видах* красоты, — без некоторой *странности* в соразмерности частей»[4]. Я видел, что у Лигейи не было классической правильности в чертах, я понимал, что ее красота действительно «изысканная», и чувствовал, что много было «странности», проникавшей ее, и все же я тщетно пытался открыть какую-либо неправильность и подробно проследить мое собственное представление «странного». Я всматривался в очертания высокого и бледного лба — он был безукоризнен; но как бездушно это слово в применении к величавости такой божественной белизны кожи, не уступающей чистейшей слоновой кости, пышная широта и безмятежность, легкий выступ над висками; и потом эти роскошные локоны, цвета воронова крыла, с природными завитками, с отливом вполне оправдывающим силу гомеровского эпитета, «гиацинтовый!». Я смотрел на тонкие очертания носа, и нигде, за исключением изящных еврейских медальонов, не видел я такого совершенства. Та же чудесная гладкая поверхность, тот же еле заметный выступ, приближающейся к типу орлиного, те же гармонично изогнутые брови, говорящие о свободной душе. Я смотрел на нежный рот. Он был поистине торжеством всего неземного: очаровательная верхняя губа, короткая и приподнятая, сладострастная дремота нижней, ямочки, которые всегда играли, и цвет, который говорил, зубы, отражавшие с блеском удивительным каждый луч благословенного света, падавшего на них и разгоравшегося мирной и ясной улыбкой. Я размышлял о форме подбородка и здесь также находил грацию широты, нежность и пышность, полноту и духовность эллинскую, дивное очертание, которое бог Аполлон лишь во сне открыл Клеомену, гражданину двинскому. И потом я пристально смотрел в самую глубь больших глаз Лигейи.

Для глаз мы не находим моделей в отдаленной древности. Быть может, именно в глазах моей возлюбленной скрывалась тайна, на которую намекает лорд Веруламский. Мне кажется, они были гораздо больше, чем глаза обыкновенного смертного. Продолговатые, они были длиннее, чем газели

глаза, отличающие племя, что живет в долине Нурджахаде[5]. Но только временами — в моменты высшего возбуждения — эта особенность становилась резко заметной в Лигейе. И в подобные моменты ее красота, — быть может, это только так казалось моей взволнованной фантазии — была красотою существ, живущих в небесах или, по крайней мере, вне Земли — красотою легендарных гурий Турции[6]. Цвет зрачков был лучезарно-черным, и прекрасны были эти длинные агатовые ресницы. Брови, несколько изогнутые, были такого же цвета. Однако «странность», которую я находил в глазах, заключалась не в форме, не в цвете, не в блистательности черт, она крылась в *выражении*. О, как это слово лишено значения! За этим звуком, как бы теряющимся в пространстве, скрывается наше непонимание целой бездны одухотворенности. Выражение глаз Лигейи! Как долго, целыми часами, я размышлял об этом! В продолжение летних ночей, от зари до зари, я старался измерить их глубину! Что скрывалось в зрачках моей возлюбленной? Что-то более глубокое, чем колодец Демокрита[7]! Что это *было?* Я сгорал страстным желанием найти разгадку. О, эти глаза! Эти большие, эти блестящие, эти божественные сферы! Они стали для меня двумя звездными близнецами Леды[8], а я для них — самым набожным из астрологов.

Среди многих непостижимых аномалий, указываемых наукой о духе, нет ни одной настолько поразительной, как тот факт — никогда, кажется, никем не отмеченный, — что при условиях воссоздать в памяти что-нибудь давно забытое мы часто находимся *на самом краю* воспоминания, не будучи, однако, в состоянии припомнить. И подобно этому, как часто, отдаваясь упорным размышлениям о глазах Лигейи, я чувствовал, что я близок к полному познанию их выражения, я чувствовал, что вот сейчас я его достигну, но оно приближалось и однако же не было всецело моим — и в конце концов совершенно исчезало! И (как странно, страннее всех странностей!) я находил в самых обыкновенных предметах, меня окружавших, нить аналогии, соединявшую их с этим выражением. Я хочу сказать, что, после того как красота Лигейи вошла в мою душу и осталось там на своем алтаре, я не раз получал от предметов материального мира такое же ощущение, каким всегда наполняли и окружали меня ее большие

лучезарные глаза. И однако же, я не мог определить это чувство, или точно проследить его, или даже всегда иметь о нем ясное представление. Повторяю, я иногда вновь испытывал его, видя быстро растущую виноградную лозу, смотря на ночную бабочку, на мотылька, на куколку, на поспешные струи проточных вод. Я чувствовал его в океане, в падении метеора. Я чувствовал его во взглядах некоторых людей, находившихся в глубокой старости. И есть одна или две звезды на небе — в особенности одна, звезда шестой величины, двойная и изменчивая, находящаяся ближе большой звезды в созвездии Лиры[9], — при созерцании ее через телескоп я испытывал это ощущение. Оно охватывало меня, когда я слышал известное сочетание звуков, исходящих от струнных инструментов, и нередко, когда я прочитывал в книгах ту или иную страницу. Среди других бесчисленных примеров я хорошо помню один отрывок из Джозефа Гленвилля, который (быть может, по своей причудливости — кто скажет?) каждый раз при чтении давал мне это ощущение: «И если кто не умирает, это от могущества воли. Кто познает сокровенные тайны воли и ее могущества? Сам Бог есть великая воля, проникающая все своею напряженностью. И не уступил бы человек ангелам, даже и перед смертью не склонился бы, если б не была у него слабая воля».

Долгие годы и последовательные размышления дали мне возможность установить некоторую отдаленную связь между этим отрывком из английского моралиста и известной чертой в характере Лигейи. Своеобразная *напряженность* в мыслях, в поступках, в словах являлась у нее, быть может, результатом или во всяком случае показателем той гигантской воли, которая, за время наших долгих и тесных отношений, могла бы дать и другое, более непосредственное указание на себя. Из всех женщин, которых я когда-либо знал, Лигейя, на вид всегда невозмутимая и ясная, была терзаема самыми дикими коршунами неудержимой страсти. И эту страсть я мог измерить только благодаря чрезмерной расширенности ее глаз, которые пугали меня и приводили в восторг, благодаря магической мелодичности, ясности и звучности ее грудного голоса, отличавшегося чудесными модуляциями, и благодаря дикой энергии ее зачарованных слов, которая удваивалась контрастом ее манеры говорить.

Я упоминал о познаниях Лигейи: действительно они были громадны — такой учености я никогда не видал в женщине. Она глубоко проникла в классические языки, и, насколько мои собственные знания простирались на языки современной Европы, я никогда не видал у нее пробелов. Да и вообще видел ли я *когда-нибудь,* чтоб у Лигейи был пробел в той или иной отрасли академической учености, наиболее уважаемой за свою наибольшую запутанность?

Как глубоко, как странно поразила меня эта единственная черта в натуре моей жены, как приковала она мое внимание именно за этот последний период! Я сказал, что никогда не видел такой учености ни у одной женщины, но существует ли вообще где-нибудь человек, который последовательно и успешно охватил бы всю широкую сферу морального, физического и математического знания. Я не видал раньше того, что теперь вижу ясно, не замечал, что Лигейя обладала познаниями гигантскими, изумительными, все же я слишком хорошо чувствовал ее бесконечное превосходство сравнительно со мной, и с доверчивостью ребенка отдался ее руководству, и шел за ней через хаос метафизических исследований, которыми я с жаром занимался в первые годы нашего супружества. С каким великим торжеством, с каким живым восторгом, с какой идеальной воздушностью надежды я *чувствовал,* что моя Лигейя склонялась надо мною в то время, как я был погружен в области знания столь мало отыскиваемого — еще менее известного, — предо мною постепенно раскрывались чудесные перспективы, пышные и совершенно непочатые, и, идя по этому девственному пути, я должен был наконец достичь своей цели, прийти к мудрости, которая слишком божественна и слишком драгоценна, чтобы не быть запретной!

Сколько же было скорби в моем сердце, когда по истечении нескольких лет я увидел, что мои глубоко обоснованные надежды вспорхнули как птицы и улетели прочь! Без Лигейи я был беспомощным ребенком, который в ночном мраке ощупью отыскивает свою дорогу и не находит. Лишь ее присутствие, движения ее ума могли осветить для меня живым светом тайны трансцендентальности, в которые мы были погружены; не озаренная лучистым сиянием ее глаз, вся эта книжная мудрость, только что бывшая воздушно-золотой,

делалась тяжелее, чем мрачный свинец. Эти чудесные глаза блистали все реже и реже над страницами, наполнявшими меня напряженными размышлениями. Лигейя заболела. Ее безумные глаза горели сияньем слишком лучезарным; бледные пальцы, окрасившись краскою смерти, сделались прозрачно-восковыми; и голубые жилки обрисовывались на белизне ее высокого лба, то возвышаясь, то опускаясь при каждой самой слабой перемене ее чувств. Я видел, что ей суждено умереть, и в мыслях отчаянно боролся со свирепым Азраилом. К моему изумлению, жена моя, объятая страстью, боролась с еще большей энергией. В ее суровой натуре было много такого, что заставляло меня думать, что к ней смерть должна была прийти без обычной свиты своих ужасов, но в действительности было не так. Слова бессильны дать хотя бы приблизительное представление о том страстном упорстве, которое она выказала в своей борьбе с Тенью. Я стонал в тоске при виде этого плачевного зрелища. Мне хотелось бы ее утешить, мне хотелось бы ее уговорить, но при напряженности ее безумного желания жить — жить, *только бы* жить — веские утешения и рассуждения одинаково были верхом безумия. Однако же до самого последнего мгновения, среди судорожных пыток, терзавших ее гордый дух, ясность всех ее ощущений и мыслей внешне оставалась неизменной. Ее голос делался все глубже, все нежнее и как будто отдаленнее, но я не смел пытаться проникнуть в загадочный смысл ее слов, которые она произносила так спокойно. Зачарованный каким-то исступленным восторгом, я слушал эту сверхчеловеческую мелодию, и мой ум жадно устремлялся к надеждам и представлениям, которых ни один из смертных доныне не знал никогда.

Что она меня любила, в этом я не мог сомневаться; и мне легко было понять, что в ее сердце любовь должна была царить не так, как царит заурядная страсть. Но только в смерти она показала вполне всю силу своего чувства. Долгие часы, держа мою руку в своей, она изливала предо мною полноту своего сердца, и эта преданность, более чем страстная, возрастала до обожания. Чем заслужил я блаженство слышать такие признания? Чем заслужил я проклятие, отнимавшее у меня мою возлюбленную в тот самый миг, когда она делала мне такие признания? Но я не в силах останавливаться на

этом подробно. Я скажу только, что в этой любви, которой Лигейя отдалась больше, чем может отдаться женщина, в любви, которая, увы, была незаслуженной, дарованной совершенно недостойному, я увидал наконец источник ее пламенного и безумного сожаления о жизни, убегавшей теперь с такою быстротой. Именно это безумное желание, эту неутолимую жажду жить — *только бы* жить — я не в силах изобразить, не в силах найти для этого ни одного слова, способного быть красноречивым.

В глубокую полночь, в ту ночь, когда она умерла, властным голосом подозвав меня к себе, она велела мне повторить стихи, которые сложились у нее в уме за несколько дней перед этим. Я повиновался ей. Вот они:

Во тьме безутешной — блистающий праздник,
Огнями волшебный театр озарен!
Сидят серафимы в покровах и плачут,
И каждый печалью глубокой смущен,
Трепещут крылами и смотрят на сцену,
Надежда и ужас проходят как сон,
И звуки оркестра в тревоге вздыхают,
Заоблачной музыки слышится стон.
Имея подобие Господа Бога,
Снуют скоморохи туда и сюда;
Ничтожные куклы приходят, уходят,
О чем-то бормочут, ворчат иногда.
Над ними нависли огромные тени,
Со сцены они не уйдут никуда,
И крыльями кондоры веют бесшумно,
С тех крыльев незримо слетает Беда!

Мишурные лица! Но знаешь, ты знаешь,
Причудливой пьесы забвения нет!
Безумцы за Призраком гонятся жадно,
Но Призрак скользит, как блуждающий свет,
Бежит он по кругу, чтоб снова вернуться
В исходную точку, в святилище бед;
И много Безумия в драме ужасной,
И Грех — в ней завязка, и счастья в ней нет!

Но что это там? Между гаэров пестрых
Какая-то красная форма ползет

Оттуда, где сцена окутана мраком!
То червь, — скоморохам он гибель несет.
Он корчится! — корчится! — гнусною пастью
Испуганных гаэров алчно грызет.
И ангелы стонут, и червь искаженный
Багряную кровь ненасытно сосет.

Потухло, потухло, померкло сиянье!
Над каждой фигурой, дрожащей, немой,
Как саван зловещий, крутится завеса
И падает вниз, как порыв грозовой.
И ангелы, с мест поднимаясь, бледнеют,
Они утверждают, объятые тьмой,
Что эта трагедия «Жизнью» зовется,
Что Червь-победитель — той драмы герой!

— О, Боже мой, — почти вскрикнула Лигейя, быстро вставая и судорожно простирая руки вверх, — О, Боже мой, о, Небесный Отец мой! Неужели все это неизбежно? Неужели этот победитель не будет когда-нибудь побежден? Неужели мы не часть и не частица существа Твоего? Кто? Кто знает тайны воли и ее могущества? Человек не уступил бы и ангелам, *даже и перед смертью не склонился бы*, если б не была у него слабая воля.

И потом, как бы истощенная этой вспышкой, она бессильно опустила свои бледные руки и торжественно вернулась на свое смертное ложе. И когда замирали ее последние вздохи, на губах ее затрепетал неясный шепот. Я приник к ней и опять услыхал заключительные слова отрывка из Гленвилля: *«И не уступил бы человек ангелам, даже и перед смертью не склонился бы, если б не была у него слабая воля!»*

Она умерла, и, пригнетенный до самого праха тяжестью скорби, я не мог больше выносить пустынного уединения моего дома в этом туманном городе, умирающем на берегах Рейна. У меня не было недостатка в том, что люди называют богатством. Лигейя принесла мне больше, гораздо больше, чем это выпадает на долю обыкновенных смертных. И вот после нескольких месяцев утомительного и бесцельного скитания я купил и частью привел в порядок полуразрушенное аббатство — не буду его называть — в одной из самых диких и наименее людных местностей живописной Англии. Мрач-

ная и угрюмая величественность здания, почти дикий характер поместья, грустные и освященные временем воспоминания, связанные с тем и с другим, имели в себе много чего-то, что гармонировало с чувством крайней бесприютности, забросившей меня в эту отдаленную и безлюдную местность. Оставив почти неизменным внешний вид аббатства, эти руины, поросшие зеленью, которые свешивались гирляндами, — внутри здания я дал простор более чем царственной роскоши, руководясь какой-то ребяческой извращенностью, а быть может, и слабой надеждой рассеять мои печали. Еще в детстве у меня была большая склонность к таким фантазиям, и теперь они снова вернулись ко мне, как бы внушенные безумием тоски. Увы, я чувствую, как много начинающегося безумия можно было открыть в этих пышных и фантастических драпировках, в египетской резьбе, исполненной торжественности, в этих странных карнизах и мебели, в сумасшедших узорах ковров, затканных золотом! Я сделался рабом опиума, и все мои занятия и планы приобрели окраску моих снов. Но я не буду останавливаться подробно на всем этом безумии. Я буду говорить только об одной комнате — да будет она проклята навеки! — о комнате, куда в момент затемнения моих мыслей я привел от алтаря свою новобрачную — преемницу незабвенной Лигейи — белокурую голубоглазую леди Ровену Тревенион из Тримейна.

Нет ни одной архитектурной подробности, ни одного украшения в этой свадебной комнате, которых я не видел бы теперь совершенно явственно. Каким образом надменная семья моей новобрачной в своей жажде золота решилась допустить, чтобы эта девушка, дочь так горячо любимая, перешагнула через порог комнаты, украшенной *таким* убранством? Я сказал, что хорошо помню все подробности обстановки, хотя память моя самым печальным образом теряет воспоминания высокой важности; а в этой фантастической роскоши не было никакой системы, никакой гармонии, на которую воспоминание могло бы опереться. Являясь частью высокой башни аббатства, укрепленного как замок, комната эта представляла из себя пятиугольник и была очень обширна. Всю южную сторону пятиугольника занимало единственное окно — громадное и цельное венецианское стекло с окраской свинцового цвета, так что лучи солнца или

месяца, проходя через него, мертвенно озаряли предметы внутри. Над верхней частью этого окна распространялась сеть многолетних виноградных ветвей, которые цеплялись за массивные стены башни. Дубовый потолок, смотревший мрачно, был необычайно высок, простирался сводом и тщательно был украшен инкрустациями самыми странными и вычурными, в стиле наполовину готическом, наполовину друидическом[10]. В глубине этого угрюмого свода, в самом центре, висела на единственной цепи, сдавленной из продолговатых золотых колец, громадная лампа из того же металла, в форме кадильницы, украшенная сарацинскими узорами, и снабженная прихотливыми отверстиями таким образом, что через них как бы живые скользили и извивались змеиные отливы разноцветных огней.

В разных местах кругом стояли там и сям оттоманки и золотые канделябры в восточном вкусе и, кроме того, здесь была постель, брачное ложе в индийском стиле, низкое, украшенное изваяниями из сплошного эбенового дерева, с балдахином, имевшим вид похоронного покрова. В каждом из углов комнаты возвышался гигантский саркофаг из черного гранита, с царских могил Луксора[11]; их древние крышки были украшены незабвенными изображениями. Но главная фантазия, царившая надо всем, крылась, увы, в обивке этого покоя. Высокие стены, гигантские и даже непропорциональные, сверху донизу были обтянуты массивной тяжелой материей, падавшей широкими складками, — эта материя виднелась и на полу как ковер и на оттоманках как покрышка, и на эбеновой кровати как балдахин, и на окне как пышные извивы занавесей, частью закрывавших окно. Материя была богато заткана золотом. На неровных промежутках она вся была испещрена арабескными изображениями, которые имели приблизительно около фута в диаметре и узорно выделялись агатово-черным цветом. Но эти изображениям являлись настоящими арабесками лишь тогда, когда на них смотрели с одного известного пункта. Посредством приема, который теперь очень распространен и следы которого можно найти в самой отдаленной древности, они были сделаны таким образом, что меняли свой вид. Для того, кто входил в комнату, они просто представлялись чем-то уродливым, по мере приближения к ним этот характер постепенно исчезал,

и мало-помалу посетитель, меняя свое место в комнате, видел себя окруженным бесконечной процессией чудовищных образов, подобных тем, которые родились в суеверных представлениях Севера, или тем, что возникали в преступных сновидениях монахов. Фантасмагорический эффект в значительной степени увеличивался искусственным введением беспрерывного сильного течения воздуха из-за драпировок, дававшего всему отвратительное и беспокойное оживление.

В таких-то чертогах, в таком брачном покое, провел я с леди Ровеной из Тримейна нечестивые часы первого месяца нашего брака, и провел без особенного беспокойства. Что жена моя боялась дикой переменчивости моего характера, что она избегала меня, что она любила меня далеко не пламенной любовью, этого я не мог не видеть, но все это доставляло мне скорее удовольствие, нежели что-либо иное. Я ненавидел ее ненавистью отвращения, более напоминающей демона, чем человека. Мои воспоминания убегали назад (о, с какой силой раскаяния!) — к Лигейе, к возлюбленной, к священной, к прекрасной, к погребенной. Я упивался воспоминаниями об ее чистоте, об ее мудрости, о благородной воздушности ее ума, о ее страстной, ее полной обожания любви. И вот мой дух вспыхнул и весь возгорелся пламенем сильнейшим, чем огонь ее собственной души. Объятый экстазом снов, навеянных опиумом (ибо я обыкновенно находился во власти этого зелья), я испытывал желание громко восклицать, произносить ее имя в молчании ночи или днем наполнять звуками дорогого имени тенистые уголки долин, как будто этой дикой энергией, этой торжественной страстью, неутолимой жаждой моей тоски об усопшей я мог возвратить ее к путям, которые она покинула, — о, *могло ли* это быть, что она навеки их покинула, — на земле?

В начале второго месяца нашего брака леди Ровена была застигнута внезапной болезнью, и выздоровление шло очень медленно. Лихорадка, снедавшая ее по ночам, была беспокойной; и, находясь в возмущенном состоянии полудремоты, она говорила о звуках и о движениях, которые возникали то здесь, то там в этой комнате, составлявшей часть башни, что я, конечно, мог приписать только расстройству ее фантазий или, быть может, фантасмагорическому влиянию самой комнаты. Но с течением времени она стала выздоравливать, на-

конец совсем поправилась. Однако через самый короткий промежуток времени вторичный припадок, еще более сильный, снова уложил ее в постель, и после него ее здоровье, всегда слабое, никак не могло восстановиться. С этого времени болезнь приняла тревожный характер, и припадки, возобновляясь, становились все более угрожающими, как бы насмехаясь и над знаниями, и над тщательными усилиями врачей. По мере того как увеличивался этот хронический недуг, который, по-видимому, настолько овладел всем ее существом, что, конечно, его невозможно было устранить обычными человеческими средствами, я не мог не заметить подобного же возрастания ее нервной раздражительности и возбужденности до такой степени, что самые обыкновенные вещи стали внушать ей страх. Она опять начала говорить, и на этот раз более часто и с большим упорством, о звуках — о легких звуках — и о необычайных движениях среди занавесей, о чем она уже говорила раньше.

Однажды ночью в конце сентября она с большой настойчивостью и с большим, нежели обыкновенно, волнением старалась обратить мое внимание на то, что вызывало в ней тревогу. Она только что очнулась от своего беспокойного сна, и я, будучи исполнен наполовину беспокойства, наполовину смутного страха, следил за выражением ее исхудалого лица. Я сидел близ эбеновой кровати на одной из индийских оттоманок. Больная слегка приподнялась и говорила настойчивым тихим шепотом о звуках, которые она *только что* слышала, но которых я не мог услыхать, о движениях, которые она *только что* видела, но которых я не мог заметить. Ветер бешено бился за обивкой, я хотел объяснить ей (признаюсь, я сам не мог *вполне* этому верить), что это едва различимое дыхание и эти легкие изменения фигур на стенах являлись самым естественным действием обычного течения ветра. Но смертельная бледность, распространившаяся по ее лицу, доказывала мне, что все мои усилия успокоить ее были бесплодны. Она, по-видимому, теряла сознание, а между тем вблизи не было ни одного из слуг, кого бы я мог позвать. Вспомнив, где находился графин с легким вином, которое было прописано ей врачами, я поспешно устремился через комнату, чтобы принести его. Но когда я вступил в полосу света, струившегося от кадильницы, два обстоятельства по-

разили и приковали к себе мое внимание. Я почувствовал, как что-то осязательное, хотя и невидимое, прошло, слегка коснувшись всего моего существа, и я увидел, что на золотом ковре, в самой середине пышного сияния, струившегося от кадильницы, находилась тень, слабая, неопределенная тень ангельского вида, такая, что она как бы являлась тенью тени. Но я был сильно опьянен неумеренной дозой опиума и не обратил особенного внимания на эти явления, и не сказал о них ни слова Ровене. Отыскав вино, я вернулся на прежнее место, налил полный бокал и поднес его к губам изнемогавшей леди. Ей, однако, сделалось немного лучше, она сама взяла бокал, а я опустился на оттоманку близ нее, не отрывая от нее глаз. И тогда совершенно явственно я услышал легкий шум шагов, ступавших по ковру и близ постели, и в следующее мгновение, когда Ровена подняла бокал к своим губам, я увидел или, быть может, мне пригрезилось, что я увидел, как в бокал, точно из какого-то незримого источника, находившегося в воздухе этой комнаты, упало три-четыре крупные капли блестящей рубиново-красной жидкости. Если я это видел, Ровена не видела. Без колебаний она выпила вино, и я ни слова не сказал ей об обстоятельстве, которое в конце концов должно было являться не чем иным, как внушением возбужденного воображения, сделавшегося болезненно-деятельным благодаря страху, который испытывала леди, а также благодаря опиуму и позднему часу.

Не могу, однако, скрыть, что тотчас после падения рубиновых капель в болезни моей жены произошла быстрая перемена к худшему; так что на третью ночь ее слуги были заняты приготовлением к ее похоронам, а на четвертую я сидел один около ее окутанного в саван тела в этой фантастической комнате, которая приняла ее как мою новобрачную. Безумные видения, порожденные опиумом, витали предо мной, подобно теням. Я устремлял беспокойные взоры на саркофаги, находившиеся в углах комнаты, на изменчивые фигуры, украшавшие обивку, и на сплетающиеся переливы разноцветных огней кадильницы. Повинуясь воспоминаниям о подробностях той минувшей ночи, я взглянул на освещенное место пола, которое находилось под сиянием кадильницы, на ту часть ковра, где я видел слабые следы тени. Однако их больше не было; и, вздохнув с облегчением, я обратил свои

взоры к бледному и строгому лицу, видневшемуся на постели. И вдруг воспоминания о Лигейе целым роем охватили меня, и сердце мое снова забилось неудержимо и безумно, опять почувствовав всю несказанную муку, с которой я смотрел тогда на *нее*, вот так же окутанную саваном. Ночь убывала, а сердце мое все было исполнено горьких мыслей о моей единственной бесконечно любимой возлюбленной, и я продолжал смотреть на тело Ровены.

Было, вероятно, около полуночи, быть может, несколько раньше, быть может, несколько позже — я не следил за временем, — как вдруг тихое рыданье, еле слышное, но совершенно явственное, внезапно вывело меня из полудремотного состояния. Я *чувствовал*, что оно исходило от эбенового ложа — от ложа смерти. Я прислушался, охваченный точно агонией суеверного страха, но звук не повторился. Я устремил пристальный взгляд, стараясь открыть какое-нибудь движение в теле, но не мог заметить ни малейшего его следа. Но не может быть, что я ошибся. Я *слышал* этот звук, хотя и слабый, и душа моя пробудилась во мне. Весь охваченный одним желанием, я упорно смотрел на недвижное тело. Долгие минуты прошли, прежде чем случилось что-нибудь, что могло бы разъяснить эту тайну. Наконец стало очевидно, что слабая, очень слабая, еле заметная краска румянца вспыхнула на щеках Ровены и наполнила маленькие жилки на ее опущенных веках. Я почувствовал, что сердце мое перестало биться и члены мои как бы окаменели, повинуясь чувству неизреченного страха и ужаса, для которого на языке человеческом нет достаточно энергического выражения. Однако сознание долга в конце концов возвратило мне самообладание. Я не мог более сомневаться, что мы слишком поторопились — что Ровена была еще жива. Нужно было немедленно принять какие-нибудь меры, но башня была изолирована от той части здания, где жила прислуга, у меня не было никаких средств обратиться за помощью, не оставляя комнаты. Оставить же комнату, хотя бы на несколько мгновений, я не мог решиться. Я начал один, собственными усилиями делать попытки вернуть назад еще трепетавший, еще колебавшийся дух. Между тем через самое непродолжительное время стало очевидно, что произошел возврат видимой смерти: краска угасла на щеках и веках, сменившись бледностью более мер-

твой, чем белизна мрамора; губы вдвойне исказились ужасной судорогой смерти; вся поверхность тела быстро сделалась холодной и отвратительно-скользкой, и тотчас снова появилась обычная полная окоченелость. Весь дрожа, я кинулся к ложу, откуда был так внезапно исторгнут, и снова отдался пламенным снам и мечтаниям о Лигейе.

Таким образом прошел час, и — могло ли это быть? — я снова услыхал какой-то смутный звук, исходивший из того места, где стояло эбеновое ложе. Я стал прислушиваться в состоянии крайнего ужаса. Звук повторился, это был вздох. Бросившись к телу, я увидел — явственно увидел — трепет на губах. Минуту спустя они слегка раздвинулись, открывая блестящую линию жемчужных зубов. Крайнее изумление боролось теперь в моей груди с глубоким ужасом, который царствовал в ней раньше безраздельно. Я чувствовал, что в глазах у меня темнеет, что разум мой колеблется; лишь с помощью крайнего усилия мне удалось наконец принудить себя к мерам, на которые чувство долга еще раз указало мне. Румянец пятнами выступил теперь на лбу, на щеках и на шее, заметная теплота распространилась по всему телу; было слышно слабое биение сердца: леди была *жива*. И с удвоенным жаром я снова принялся за дело воскрешения. Я растирал и согревал виски и руки, принимал все меры, которые были мне внушены опытом, а также и моей немалой начитанностью в медицине. Все тщетно. Краска внезапно исчезла, пульс прекратился, губы приняли мертвенное выражение, и мгновение спустя к телу снова вернулась его ледяная холодность, синеватый оттенок, напряженная окоченелость, омертвелые очертания, и все те чудовищные особенности, которые показывают, что труп много дней пролежал в гробу.

И снова я отдался видениям и мечтам о Лигейе, и снова (удивительно ли, что я дрожу, когда пишу это?), *снова* до слуха моего донеслось тихое рыдание с того места, где стояло эбеновое ложе. Но зачем я буду подробно описывать неописуемый ужас этой ночи? Зачем я буду рассказывать, как опять и опять, почти вплоть до серого рассвета, повторялась эта чудовищная драма оживания; как всякий раз она кончалась страшным возвратом к еще более мрачной и, по-видимому, еще более непобедимой смерти; как всякий раз агония имела вид борьбы с каким-то незримым врагом; и как за каж-

дой новой борьбой следовало какое-то странное изменение в выражении трупа? Я хочу скорей закончить.

Страшная ночь почти уже прошла, и та, которая была мертвой, еще раз зашевелилась, и теперь более сильно, чем прежде, хотя она пробуждалась от смерти более страшной и безнадежной, чем каждое из первых умираний. Я уже давно перестал сходить со своего места и предпринимать какие-либо усилия, я неподвижно сидел на оттоманке, беспомощно отдавшись вихрю бешеных ощущений, среди которых крайний ужас являлся, может быть, наименее страшным, наименее уничтожающим. Тело, повторяю, зашевелилось, и теперь более сильно, чем прежде. Жизненные краски возникали на лице с необычайной энергией, члены делались мягкими, и, если бы не веки, которые были плотно сомкнуты, если бы не повязки и не покров, придававший погребальный характер лицу, я мог бы подумать, что Ровена действительно совершенно стряхнула с себя оковы смерти. Но если даже тогда эта мысль не вполне овладела мной, я наконец не мог более в этом сомневаться, когда, поднявшись с ложа, спотыкаясь, слабыми шагами, с закрытыми глазами, имея вид спящего лунатика, существо, окутанное саваном, вышло на середину комнаты.

Я не дрогнул — не двинулся, ибо целое множество несказанных фантазий, связанных с видом, с походкой, с движениями призрака, бешено промчавшись в моем уме, парализовали меня, заставили меня окаменеть. Я не двигался — я только смотрел на привидение. В мыслях моих был безумный беспорядок, неукротимое смятение. Возможно ли, чтобы передо мной стояла *живая* Ровена? Возможно ли, чтобы *это* была Ровена — белокурая голубоглазая леди Ровена из Тримейна? Почему, *почему* стал бы я в этом сомневаться? Повязка тяжело висела вокруг рта — но неужели же это не рот леди Тримен? И щеки — на них был румянец, как в расцвете ее жизни — да, конечно, это прекрасные щеки живой леди Тримен. И подбородок с ямочками, как в те дни, когда она была здорова, неужели это не ее подбородок? Но что это? *Она выросла за свою болезнь?* Что за невыразимое безумие охватило меня при этой мысли? Один прыжок — и я был рядом с ней! Отшатнувшись от моего прикосновения, она уронила со своей головы развязавшийся погребальный пок-

ров, и тогда в волнующейся атмосфере комнаты обрисовались ее длинные разметавшиеся волосы: *они были чернее, чем вороновы крылья полночи!* И тогда на этом лице медленно открылись *глаза.* «Так вот они, наконец, — воскликнул я громким голосом, — могу ли я, могу ли я ошибаться? Вот они, громадные, и черные, и зачарованные глаза моей утраченной любви — леди... леди Лигейи!»

ДЕМОН ИЗВРАЩЕННОСТИ

При рассмотрении человеческих способностей и побуждений, — при обсуждении *prima mobilia** человеческой души, френологи[1] упустили из виду одну наклонность, которая, несмотря на то, что она существует, как чувство коренное, первичное, непревратимое, была, однако, в равной мере просмотрена и всеми моралистами, им предшествовавшими. Повинуясь заносчивости рассудка, они все одинаково просмотрели ее. Ее существование ускользнуло от наших чувств благодаря нам самим, мы сами не хотели допустить ее существования — у нас не было веры: будь то вера в откровение или в каббалу. Мысль об этой наклонности никогда не возникала в нашем уме, исключительно в силу того, что она была бы сверхдолжной. Мы не видим *нужды* в таком побуждении, в такой наклонности. Мы были бы не в состоянии постичь ее необходимости. Мы не могли бы понять, т. е., вернее, мы не поняли идеи этого *primum mobile,* хотя она сама всегда навязывалась нам; мы были бессильны понять, каким образом она могла споспешествовать каким-нибудь целям человеческого общежития, временным или неизменным. Нельзя отрицать, что френология, а также в большой мере и все метафизические знания, были состряпаны *a priori***. Человек разума или логики более, чем человек понимания и наблюдения, притязает на знание намерений Бога — диктует ему задачи. Измерив таким образом с чувством собственной услады помыслы Иеговы, он вывел из этих помыслов свои бесчисленные системы мышления. В сфере

---

* Prima mobilia — перводвигатель (*лат.*). — *Примеч. ред.*

** A priori — заранее, до опыта (*лат.*). — *Примеч. ред.*

френологии, например, мы прежде всего установили, и довольно естественно, что, согласно с намерениями Божества, человек должен есть. После этого мы приписали человеку орган чувства питания, орган, являющийся бичом Господним и принуждающий человека есть во что бы то ни стало. Затем, решив, что это была воля Господа, чтобы человек продолжал свой род, мы открыли орган чувства любви; мы продолжали в этом направлении и открыли орган чувства страсти к борьбе, чувства идеальности, чувства причинности, чувства художественности — словом, мы открыли целую систему органов, олицетворяющих известную наклонность, известное моральное чувство или какую-нибудь способность чистого разума. И в этом распорядке первичных *побудительных начал* человеческих действий последователи Шпурцгейма[2] справедливо или ошибочно, частью или целиком следовали в принципе лишь по стопам своих предшественников, выводя и установляя решительно все из предвзятого представления о судьбе человека и опираясь на субъективно понимаемые намерения его Творца.

Было бы гораздо разумнее и гораздо надежнее создавать классификацию (если уж она необходима) на основании того, что человек делал обыкновенно или случайно, и что он делал всегда случайно, нежели на основании того, что, как мы решили, Божество внушает ему делать. Если мы не можем понять Бога в его видимых делах, как можем мы понять его непостижимые помыслы, вызывающие эти дела к бытию? Если мы не можем уразуметь его в созданиях внешних, как можем мы проникнуть в его существенные замыслы или в фазисы его творчества?

Заключение *a posteriori* * должно было бы указать френологии, как на одно из прирожденных и первичных начал человеческих действий, на нечто парадоксальное, что мы можем назвать *извращенностью,* за недостатком наименований более определительного. В том смысле, как я его понимаю, это в действительности *mobile***, лишенное мотива, мотив не *мотивированный.* Повинуясь его подсказываниям, мы поступаем без постижимой цели, или, если это представляется

---

* A posteriori — из опыта (*лат.*). — *Примеч. ред.*

** Mobile — движение (*лат.*). — *Примеч. ред.*

противоречием в терминах, мы можем изменить теорему и сказать следующим образом: повинуясь его подсказываниям, мы поступаем так, а не иначе, именно потому, что рассудок *не* велит нам этого делать. В теории не может быть рассуждения менее рассудительного; но в действительности нет побуждения, которое бы осуществлялось более неуклонно. При известных условиях и в известных умах, оно абсолютно непобедимо. Я не более убежден в своем существовании, чем в том, что сознание греховности или ошибочности какого-нибудь поступка является нередко непобедимой и единственной *силой,* побуждающей нас совершить его. И эта нависающая тяжелым гнетом наклонность делать зло ради зла не допускает никакого анализа, никакого разложения на простые элементы. Это коренное первичное побуждение, стихийное. Я знаю, мне скажут, что, если мы упорствуем в известных поступках в силу того, что мы *не* должны бы упорствовать в них, наше поведение есть только видоизменение того, что проистекает обыкновенно из *чувства страсти и борьбы,* как его понимает френология. Но одного беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть ложность такой мысли. Френологическое чувство страсти к борьбе необходимо связано по своей сущности с представлением о самозащите. Эхо — наша собственная охрана против несправедливости. Данное чувство имеет в виду наше благополучие, и таким образом одновременно с его развитием в нас возбуждается желание собственного благополучия. Отсюда следует, что желание благополучия неизбежно должно возникать одновременно со всяким побуждением, которое представляет из себя простое видоизменение чувства страсти к борьбе; но при возникновении того неопределенного ощущения, которое я называю *извращенностью,* желание благополучия не только не пробуждается, но возникает чувство, находящееся с ним в резком антагонизме.

После всего сказанного лучший ответ на только что замеченный софизм, это воззвание к собственному сердцу каждого. Ни один человек, если только он пожелает честно и добросовестно вопросить свою собственную душу, не будет отрицать коренного характера обсуждаемой наклонности. Она столько же непостижима, сколько очевидна. Всякий, например, в тот или иной период, испытывал положительное и се-

рьезнейшее желание мучить своего собеседника пространными околичностями. Говорящий прекрасно знает, что он возбуждает неприятное чувство; он самым искренним образом желает нравиться; обыкновенно он говорит кратко, точно и ясно; самая отчетливая и лаконическая речь вертится у него на уме; он с большим трудом сдерживает себя, чтобы она не вырвалась; он боится вызвать гнев в том, к кому он обращается; он стал бы сожалеть о таком чувстве; но у него быстро возникает мысль, что известными вводными предложениями и различными фразами в скобках этот гнев мог бы быть возбужден. Этой одной мысли достаточно. Побуждение вырастает в желание, желание в хотение, хотение в непобедимое влечение, и это влечение проявляется внешним образом (к глубокому сожалению и прискорбию говорящего и несмотря ни на какие последствия).

Перед нами задача, которую мы должны немедленно разрешить. Мы знаем, что всякая отсрочка губительна. Важнейший жизненный кризис трубным звуком призывает нас к немедленной деятельности и к неукоснительной энергии. Мы сгораем от нетерпения, нас снедает желание поскорее начать необходимое, вся наша душа воспламенена предчувствием блестящих результатов. Нужно поскорее, поскорее, сегодня же начать работу, и, однако, мы откладываем ее до завтра. Почему? Ответа нет. Разве что мы испытываем нечто *извращенное,* употребляя слово без понимания основного принципа. Приходить *завтра,* и вместе с ним самое беспокойное нетерпеливое желание приступить к исполнению обязанностей, но наряду с этим увеличением нетерпеливой тревоги приходит также неизъяснимая жажда отсрочки, чувство положительно страшное, ибо оно непостижимо. Мгновенья бегут, и это жадное чувство растет. Вот уже настал последний час, нужно действовать. Мы содрогаемся от бешенства противоречия, борющегося в нас, от борьбы между определенным и туманным, между существенным и тенью. Но если борьба зашла уже так далеко, бороться напрасно — побеждает тень. Бьет час, и это погребальный звон, возвещающий о гибели нашего блаженства. В то же время это крик петуха для привидения, которое так долго властвовало над нами. Оно бледнеет, исчезает — мы свободны. Прежняя

энергия возвращается. *Теперь* мы будем работать. Увы, *слишком поздно!*

Мы стоим на краю пропасти. Мы глядим в бездну — у нас кружится голова, нам дурно. Наше первое движение — отступить от опасности. Непонятным образом мы остаемся. Мало-помалу наша дремота, и головокружение, и ужас сливаются в одно туманное неопределимое чувство. Посредством изменений, еще более незаметных, это туманное чувство принимает явственные очертания, подобно тому, как в арабских ночах из бутылки изошли испарения, а из них возник дух. Но из этих *наших* туманов, ползущих над краем пропасти, возникает до осязательности форма гораздо более страшная, чем всякий сказочный дух, всякий демон, и, однако, это не более как мысль, но мысль ужасающая, охватывающая нас холодом до глубины души, проникающая нас всецело жестокой усладой своего ужаса. Нами овладевает весьма простая мысль: «А что, если бы броситься вниз с такой высоты? Что испытали бы мы тогда?» И мы страшно хотим этого полета, этого бешеного падения именно потому, что оно связано с представлением о самой ужасной и самой чудовищной смерти, о самых ненавистных пытках, какие когда-либо возникали в нашей фантазии; и, так как наш разум властно отталкивает нас от края бездны, *именно поэтому* мы приближаемся к ней еще более стремительно. Среди страстей нет страсти более дьявольской и более нетерпеливой, чем та, которую испытывает человек, когда, содрогаясь над пропастью, он хочет броситься вниз. Позволить себе, хотя на одно мгновение, *думать* — означает неминуемую гибель, ибо размышление велит нам воздержаться, и *потому-то,* говорю я, мы не *можем.* Если около нас не случится дружеской руки, которая бы нас схватила, или если мы не успеем внезапным усилием откинуться от пропасти назад, мы уже погибли, мы падаем.

Рассматривая такие явления с различных сторон, мы всегда поймем, что они продиктованы исключительно духом *извращенности.* Совершая такие поступки, мы совершаем их в силу сознания, что мы *не* должны так поступать. Вне этого или за этим не скрывается никакого доступного для понимания побуждения; и мы могли бы на самом деле считать такую извращенность прямым искушением дьявола, если бы не знали, что иногда она приводит к благим результатам.

Я говорил так много, чтобы хотя сколько-нибудь ответить вам на ваш вопрос, чтобы объяснить, почему я здесь, представить вам хоть слабую видимость причины, объясняющей, почему я ношу эти кандалы и нахожусь в камере осужденных. Если бы я не был так пространен, вы или совсем не поняли бы меня, или, как весь этот подлый сброд, сочли бы меня сумасшедшим. Теперь же вы можете легко заметить, что я являюсь одной из несосчитанных жертв Демона Извращенности.

Невозможно, чтобы какой-нибудь поступок мог быть совершен с большей обдуманностью и осмотрительностью. Недели, месяцы я размышлял о средствах убийства. Я отверг тысячу планов, потому что их исполнение включало в себя *возможность* разоблачения. Наконец, читая какие-то французские мемуары, я нашел рассказ о болезни почти смертельной, которая приключилась с мадам Пило, благодаря действию свечки, случайно отравленной. Мысль об этом сразу овладела моей фантазией. Я знал, что старик — моя жертва — имел обыкновение читать в постели. Я знал, кроме того, что его спальня представляла из себя маленькую комнату с плохой вентиляцией. Но зачем я буду обременять вас всеми этими нелепыми подробностями. Мне нет надобности описывать весьма несложные уловки, с помощью которых я заменил в его подсвечнике свечу, бывшую там, восковой свечой своего собственного приготовления. На следующее утро он был найден мертвым в своей постели, и постановление судебного следователя гласило: «Умер, посещенный Богом»*.

Я получил в наследство состояние старика, и все шло прекрасно в течение нескольких лет. Мысль о разоблачении ни разу не приходила мне на ум. С остатками роковой свечи я сам распорядился тщательнейшим образом. Я не оставил ни малейших следов, с помощью которых возможно было бы обвинить меня в преступлении или хотя бы подвергнуть подозрению. Невозможно представить себе, какое роскошное чувство удовлетворения возникало в моей груди, когда я размышлял о своей полной безопасности. В течение очень долгого периода времени я постепенно приобретал привыч-

* Скоропостижная смерть — формула английского судопроизводства. — *Примеч. пер.*

ку упиваться этим чувством. Оно доставляло мне более действительное наслаждение, чем все чисто мирские выгоды, которыми я был обязан своему греху. Но, в конце концов, настало время, когда это приятное ощущение мало-помалу и совершенно незаметно превратилось в назойливую и мучительную мысль. Она была мучительна, потому что она назойливо преследовала меня. Я едва мог освободиться от нее хотя бы на мгновенье. Очень часто случается, что наш слух или, вернее, нашу память таким образом преследует какой-нибудь надоедливый мотив, какая-нибудь шаблонная песенка или ничтожный обрывок из оперы. Мучительное ощущение не может в нас уменьшиться, если песня сама по себе прекрасна или оперная ария достойна похвалы. Таким образом, я в конце концов стал беспрерывно ловить себя на размышлениях о моей безопасности и на повторении тихим, чуть слышным голосом двух слов: «Я спасен!»

Однажды, бродя по улицам, я поймал себя на этом занятии: вполголоса я бормотал свое обычное: «я спасен». В порыве капризной дерзости я повторил эти слова, придав им новую форму: «я спасен — я спасен — лишь бы только я не был настолько глуп, чтобы открыто сознаться!»

Едва я выговорил эти слова, как почувствовал, что холод охватил меня до самого сердца. У меня была некоторая опытность насчет этих порывов извращенности (природу которых я несколько затруднялся объяснить), и я прекрасно помнил, что никогда не мог с успехом сопротивляться таким припадкам; и теперь мое собственное нечаянное самовнушение, что я мог бы иметь глупость открыто сознаться в преступлении, встало лицом к лицу со мной, как будто самый дух того, кто был мной убит, и, кивнув, поманило меня к смерти.

В первое мгновенье я сделал усилие стряхнуть с себя этот кошмар. Я быстро пошел вперед, скорее, еще скорее и, наконец, побежал. Я испытывал бешеное желание кричать. Каждая новая волна мысли последовательно ложилась на меня новым ужасом — увы, я хорошо, слишком хорошо понимал, что *думать* в моем положении означало погибнуть. Я все ускорял свои шаги. Я прыгал, как сумасшедший, в толпе прохожих. Наконец чернь встревожилась и устремилась за мной в погоню. *Тогда* я почувствовал, что судьба моя завершилась.

Если б я мог вырвать свой язык, я бы вырвал его, но чей-то голос грубо прозвучал над моим ухом, чья-то рука еще более грубо схватила меня за плечо. Я обернулся — я чувствовал, что задыхаюсь. В течение мгновенья я испытывал все пытки удушья; я был ошеломлен, я ослеп, я оглох; и затем какой-то невидимый демон, подумал я, ударил меня по спине своей широкой ладонью. Тайна, которую я так давно удерживал, вырвалась из моей души.

Они рассказывают, что я говорил совершенно отчетливо, но с видимой резкостью и неудержимой стремительностью, как бы опасаясь, что кто-нибудь вмешается, прежде чем я закончу этот краткий, но исполненный такой значительности рассказ, отдававший меня во власть палача и ада.

Сообщив все, что было необходимо для того, чтобы вполне убедить правосудие, я упал и без чувств распростерся на земле.

Но что мне еще сказать? Сегодня я *здесь* и в цепях! Завтра я буду на свободе? *Но где?*

ЧЕРНЫЙ КОТ

Я хочу записать самый странный и в то же время самый обыкновенный рассказ, но не прошу, чтобы мне верили, и не думаю, что мне поверят. Действительно, нужно быть сумасшедшим, чтобы ожидать этого при таких обстоятельствах, когда мои собственные чувства отвергают свои показания. А я не сумасшедший, и во всяком случае мои слова — не бред. Но завтра я умру, и сегодня мне хотелось бы освободить мою душу от тяжести. Я намерен рассказать просто, кратко и без всяких пояснений целый ряд событий чисто личного, семейного характера. В своих последствиях эти события устрашили, замучили, погубили меня. Однако я не буду пытаться истолковывать их. Для меня они явились не чем иным, как ужасом, для многих они покажутся не столько страшными, сколько *причудливыми*. Впоследствии, быть может, найдется какой-нибудь ум, который пожелает низвести мой фантом до общего места — какой-нибудь ум более спокойный, более логичный и гораздо менее возбудимый, чем мой, и в обстоятельствах, которые я излагаю с ужасом, он не

увидит ничего, кроме ординарной последовательности самых естественных причин и следствий.

С раннего детства я отличался кротостью и мягкостью характера. Нежность моего сердца была даже так велика, что я был посмешищем среди своих товарищей. В особенности я любил животных, и родители мои награждали меня целым множеством бессловесных любимцев. С ними я проводил большую часть моего времени, и для меня было самым большим удовольствием кормить и ласкать их. Эта своеобразная черта росла по мере того, как я сам рос, и в зрелом возрасте я нашел в ней один из главных источников наслаждения. Тем, кто испытывал привязанность к верной и умной собаке, я вряд ли должен объяснять особенный характер и своеобразную напряженность удовольствия, отсюда проистекающего. В бескорыстной и самоотверженной любви животного есть что-то, что идет прямо к сердцу того, кто имел неоднократный случай убедиться в жалкой дружбе и в непрочной, как паутина, верности существа, именуемого *Человеком*.

Я женился рано и с удовольствием заметил, что наклонности моей жены не противоречили моим. Видя мое пристрастие к ручным животным, она не упускала случая доставлять мне самые приятные экземпляры таких существ. У нас были птицы, золотая рыбка, славная собака, кролики, маленькая обезьянка и *кот*.

Этот последний был необыкновенно породист и красив, весь черный и понятливости прямо удивительной. Говоря о том, как он умен, жена моя, которая в глубине сердца была порядком суеверна, неоднократно намекала на старинное народное поверье относительно того, что все черные кошки — превращенные колдуньи. Не то чтобы она была всегда *серьезна,* когда касалась данного пункта, нет, и я упоминаю об этом только потому, что сделать такое упоминание можно именно теперь.

Плутон — так назывался кот — был моим излюбленным и неизменным товарищем. Я сам кормил его, и он сопровождал меня всюду в доме, куда бы я ни пошел. Мне даже стоило усилий удерживать его, чтобы он не следовал за мной по улицам.

Такая дружба между нами продолжалась несколько лет, и за это время мой темперамент и мой характер под воздейс-

твием Демона Невоздержности — стыжусь признаться в этом — претерпел резкую перемену к худшему. День ото дня я становился все капризнее, все раздражительнее, все небрежнее по отношению к другим. Я позволял себе говорить самым грубым образом со своей женой. Я дошел даже до того, что позволил себе произвести над ней насилие. Мои любимцы, конечно, также не преминули почувствовать перемену в моем настроении. Я не только совершенно забросил их, но и злоупотреблял их беспомощностью. По отношению к Плутону, однако, я еще был настроен в достаточной степени благосклонно, чтобы удерживаться от всяких злоупотреблений; зато я нимало не стеснялся с кроликами, с обезьяной и даже с собакой, когда случайно или в силу привязанности они приближались ко мне. Но мой недуг все более завладевал мной — ибо какой же недуг можете сравниться с алкоголем! — и наконец даже Плутон, который теперь успел постареть и, естественно, был несколько раздражителен, даже Плутон начал испытывать влияние моего дурного нрава.

Однажды ночью, когда я в состоянии сильного опьянения вернулся домой из одного подгородного притона, бывшего моим обычным убежищем, мне пришло в голову, что кот избегает моего присутствия. Я схватил его, и он, испугавшись моей грубости, слегка укусил меня за руку. Мгновенно мною овладело бешенство дьявола. Я не узнавал самого себя. Первоначальная душа моя как будто сразу вылетела из моего тела, и я затрепетал всеми фибрами моего существа от ощущения более чем дьявольского злорадства, вспоенного джином.

Я вынул из жилета перочинный ножик, раскрыл его, схватил несчастное животное за горло и хладнокровно вырезал у него один глаз из орбиты! Я краснею, я горю, я дрожу, записывая рассказ об этой проклятой жестокости.

Когда же утром вернулся рассудок, когда хмель ночного беспутства развеялся, я был охвачен чувством не то ужаса, не то раскаяния при мысли о совершенном преступлении; но это было лишь слабое и уклончивое чувство, и душа моя оставалась нетронутой. Я опять погрузился в излишества и вскоре утопил в вине всякое воспоминание об этой гнусности.

Между тем кот мало-помалу поправлялся. Пустая глазная впадина, правда, представляла из себя нечто ужасающее,

но он, по-видимому, больше не испытывал никаких страданий. Он по-прежнему бродил в доме, заходя во все углы, но, как можно было ожидать, с непобедимым страхом убегал, как только я приближался к нему. У меня еще сохранилось несколько из моих прежних чувств, что я сначала крайне огорчался, видя явное отвращение со стороны существа, которое когда-то так любило меня. Но это чувство вскоре сменилось чувством раздражения. И тогда, как бы для моей окончательной и непоправимой пагубы, пришел дух извращенности. Философия не занимается рассмотрением этого чувства. Но насколько верно, что я живу, настолько же несомненно для меня, что извращенность является одним из самых первичных побуждений человеческого сердца — одной из основных нераздельных способностей, дающих направление характеру человека. Кто же не чувствовал сотни раз, что он совершает низость или глупость только потому, что, как он знает, он *не* должен был бы этого делать? Разве мы не испытываем постоянной наклонности нарушать вопреки нашему здравому смыслу то, что является *законом*, именно потому, что мы понимаем его как таковой? Повторяю, этот дух извращенности пришел ко мне для моей окончательной пагубы. Эта непостижимая жажда души *мучить себя* — именно производить насилие над собственной природой, — делать зло ради самого зла побуждала меня продолжать несправедливость по отношению к беззащитному животному и заставила меня довести злоупотребление до конца. Однажды утром совершенно хладнокровно я набросил коту на шею петлю и повесил его на сучке — повесил его, несмотря на то, что слезы текли ручьем из моих глаз и сердце сжималось чувством самого горького раскаяния; повесил его, *потому что* знал, что он любил меня, *и потому что* я чувствовал, что он не сделал мне ничего дурного; повесил его, *потому что* я знал, что, поступая таким образом, я совершал грех, смертный грех, который безвозвратно осквернял мою неумирающую душу и силой своей гнусности, быть может, выбрасывал меня, если только это возможно, за пределы бесконечного милосердия Господа Бога Милосерднейшего и самого Страшного.

В ночь после того дня, когда было совершено это жестокое деяние, я был пробужден от сна криками «Пожар!». За-

навески на моей постели пылали. Весь дом был объят пламенем. Моя жена, слуга и я сам, мы еле-еле спаслись от опасности сгореть заживо. Разорение было полным. Все мое имущество было поглощено огнем, и отныне я был обречен на отчаяние.

Я, конечно, не настолько слаб духом, чтобы искать причинной связи между несчастьем и жестокостью. Но я разворачиваю цепь фактов и не хочу опускать ни одного звена, как бы оно ни было ничтожно. На другой день я пошел на пожарище. Стены были разрушены, исключая одной. Сохранилась именно не очень толстая перегородка; она находилась приблизительно в середине дома, и в нее упиралось изголовье кровати, на которой я спал. Штукатурка на этой стене во многих местах оказала сильное сопротивление огню — факт, который я приписал тому обстоятельству, что она недавно была отделана заново. Около этой стены собралась густая толпа, и многие, по-видимому, пристально и необыкновенно внимательно осматривали ее в одном месте. Возгласы «Странно!», «Необыкновенно!» и другие подобные замечания возбудили мое любопытство. Я подошел ближе и увидел как бы втиснутым в виде барельефа на белой поверхности стены изображение гигантского *кота*. Очертания были воспроизведены с точностью по истине замечательной. Вокруг шеи животного виднелась веревка.

В первую минуту, когда я заметил это привидение, — чем другим могло оно быть на самом деле? — мое удивление и мой ужас были безграничны. Но, в конце концов, размышление пришло мне на помощь. Я вспомнил, что кот был повешен в саду. Когда началась пожарная суматоха, этот сад немедленно наполнился толпой, кто-нибудь сорвал кота с дерева и бросил его в открытое окно, в мою комнату, вероятно с целью разбудить меня. Другие стены, падая, втиснули жертву моей жестокости в свежую штукатурку; сочетанием извести, огня и аммиака, выделившегося из трупа, было довершено изображение кота, так, как я его увидал.

Хотя я таким образом быстро успокоил свой рассудок, если не совесть, найдя естественное объяснение этому поразительному факту, он тем не менее оказал на мою фантазию самое глубокое впечатление. Несколько месяцев я не мог отделаться от фантома кота, и за это время ко мне вернулось то

половинчатое чувство, которое казалось раскаянием, не будучи им. Я даже начал сожалеть об утрате животного и не раз, когда находился в том или в другом из своих обычных гнусных притонов, осматривался кругом, ища другой экземпляр той же породы, который, будучи хотя сколько-нибудь похож на Плутона, мог бы заменить его.

Однажды ночью, когда я, наполовину отупев, сидел в вертепе, более чем отвратительном, внимание мое было внезапно привлечено каким-то черным предметом, лежавшим на верхушке одной из огромных бочек джина или рома, составлявших главное украшение комнаты. Несколько минут я пристально смотрел на верхушку этой бочки, и что меня теперь удивляло, это тот странный факт, что я не заметил данного предмета раньше. Я приблизился к нему и коснулся его своей рукой. Это был черный кот — очень большой — совершенно таких же размеров, как Плутон, и похожий на него во всех отношениях, кроме одного: у Плутона не было ни одного белого волоска на всем теле, а у этого кота было широкое, хотя и неопределенное, белое пятно, почти во всю грудь.

Когда я прикоснулся к нему, он немедленно приподнялся на лапы, громко замурлыкал, стал тереться об мою руку и, по-видимому, был весьма пленен моим вниманием. «Вот, наконец, — подумал я, — именно то, что я ищу». Я немедленно обратился к хозяину трактира с предложением продать мне кота, но тот не имел на него никаких претензий, ничего о нем не знал и никогда его раньше не видел.

Я продолжал ласкать кота, и, когда я приготовился уходить домой, он выразил желание сопровождать меня. Я, со своей стороны, все манил его, время от времени нагибаясь и поглаживая его по спине. Когда кот достиг моего жилища, он немедленно устроился там как дома и быстро сделался любимцем моей жены.

Что касается меня, я вскоре почувствовал, что во мне возникает отвращение к нему. Это было нечто как раз противоположное тому, что я заранее предвкушал; не знаю, как и почему, но его очевидное расположение ко мне вызывало во мне надоедливое враждебное чувство. Мало-помалу это чувство досады и отвращения возросло до жгучей ненависти. Я избегал этой твари; однако, известное чувство стыда, а так-

же воспоминания о моем прежнем жестоком поступке, не позволяли мне посягать на него. Недели шли за неделями, и я не смел ударить его или позволить себе какое-нибудь другое насилие, но мало-помалу — ощущение, развивавшееся постепенно, — я стал смотреть на него с невыразимым омерзением, я стал безмолвно убегать от его ненавистного присутствия, как от дыхания чумы.

Что, без сомнения, увеличивало мою ненависть к животному, это — открытие, которое я сделал утром на другой день, после того как кот появился в моем доме — именно, что он, подобно Плутону, был лишен одного глаза. Данное обстоятельство, однако, сделало его еще более любезным сердцу моей жены: она, как я уже сказал, в высшей степени обладала тем мягкосердием, которое было когда-то и моей отличительной чертой и послужило для меня источником многих самых простых и самых чистых удовольствий.

Но по мере того как мое отвращение к коту росло, в равной мере, по-видимому, возрастало его пристрастие ко мне. Где бы я ни сидел, он непременно забирался ко мне под стул или вспрыгивал ко мне на колени, обременяя меня своими омерзительными ласками. Когда я вставал, он путался у меня в ногах, и я едва не падал, или, цепляясь своими длинными и острыми когтями за мое платье, вешался таким образом ко мне на грудь. Хотя в такие минуты у меня было искреннее желание убить его одним ударом, я все-таки воздерживался, частью благодаря воспоминанию о моем прежнем преступлении, но главным образом — пусть уже я признаюсь в этом сразу — благодаря несомненному *страху* перед животным.

То не был страх физического зла — и, однако же, я затрудняюсь, как мне иначе определить его. Мне почти стыдно признаться, даже в этой камере осужденных, мне почти стыдно признаться, что страх и ужас, которые мне внушало животное, были усилены одной из нелепейших химер, какие только возможно себе представить. Жена неоднократно обращала мое внимание на характер белого пятна, о котором я говорил и которое являлось единственным отличием этой странной твари от животного, убитого мной. Читатель может припомнить, что это пятно, хотя и широкое, было сперва очень неопределенным, но мало-помалу — посредством из-

менений почти незаметных и долгое время казавшихся моему рассудку призрачными — оно приняло, наконец, отчетливые, строго определенные очертания. Оно теперь представляло из себя изображение страшного предмета, который я боюсь назвать; и благодаря этому-то более всего я гнушался чудовищем, боялся его и хотел бы от него избавиться, *если бы только смог* — пятно, говорю я, являлось теперь изображением предмета гнусного, омерзительно-страшного — виселицы! О, мрачное и грозное орудие ужаса и преступления, агонии и смерти!

И теперь я действительно был беспримерно злосчастным, за пределами чисто человеческого злосчастия. *Грудь животного* — равного которому я презрительно уничтожил, — *грудь животного* доставляла *мне* — мне, человеку, сотворенному по образу и подобию Всевышнего — столько невыносимых мук! Увы, ни днем ни ночью я больше не знал благословенного покоя! В продолжение дня отвратительная тварь ни на минуту не оставляла меня одного, а по ночам я чуть не каждый час вскакивал, просыпаясь от неизреченно страшных снов, чувствуя на лице своем горячее дыхание *чего-то*, чувствуя, что огромная тяжесть этого *чего-то* — олицетворенный кошмар, стряхнуть который я был не в силах, — навеки налегла на мое *сердце*.

Под давлением подобных пыток во мне изнемогло все то немногое доброе, что еще оставалось. Дурные мысли сделались моими единственными незримыми товарищами — мысли самые черные и самые злые. Капризная неровность, обыкновенно отличавшая мой характер, возросла настолько, что превратилась в ненависть решительно ко всему и ко всем; и безропотная жена моя при всех этих внезапных и неукротимых вспышках бешенства, которым я теперь слепо отдавался, была, увы, самой обычной и самой бессловесной жертвой.

Однажды она пошла со мной по какой-то хозяйственной надобности в погреб, примыкавший к тому старому зданию, где мы, благодаря нашей бедности, были вынуждены жить. Кот сопровождал меня по крутой лестнице и, почти сталкивая меня со ступенек, возмущал меня до бешенства. Взмахнув топором и забывая в своей ярости ребяческий страх, до того удерживавший мою руку, я хотел нанести животному

удар, и он, конечно, был бы фатальным, если бы пришелся так, как я метил. Но удар был задержан рукой моей жены. Уязвленный таким вмешательством, я исполнился бешенством, более чем дьявольским, отдернул свою руку и одним взмахом погрузил топор в ее голову. Она упала на месте, не крикнув.

Совершив это чудовищное убийство, я тотчас же с невозмутимым хладнокровием принялся за работу, чтобы скрыть труп. Я знал, что мне нельзя было удалить его из дому ни днем ни ночью без риска быть замеченным соседями. Целое множество планов возникло у меня в голове. Одну минуту мне казалось, что тело нужно разрезать на мелкие кусочки и сжечь. В другую минуту мною овладело решение выкопать заступом могилу в земле, служившей полом для погреба, и зарыть его. И еще новая мысль пришла мне в голову: я подумал, не бросить ли тело в колодец, находившийся во дворе, — а то хорошо было бы запаковать его в ящик, как товар, и, придав этому ящику обычный вид клади, позвать носильщика и таким образом удалить его из дому. Наконец, я натолкнулся на мысль, показавшуюся мне наилучшей изо всех. Я решил замуровать тело в погребе — как, говорят, средневековые монахи замуровывали своих жертв.

Колодец как нельзя лучше был приспособлен для такой задачи. Стены его были выстроены неплотно и недавно были сплошь покрыты грубой штукатуркой, не успевшей благодаря сырости атмосферы затвердеть. Кроме того, в одной из стен был выступ, обусловленный ложным камином или очагом, он был заделан кладкой и имел полное сходство с остальными частями погреба. У меня не было ни малейшего сомнения, что мне легко будет отделить на этом месте кирпичи, втиснуть туда тело, и замуровать все, как прежде, так, чтоб ничей глаз но мог открыть ничего подозрительного.

И в этом расчете я не ошибся. С помощью лома я легко вынул кирпичи, и, тщательно поместив тело против внутренней стены, я подпирал его в этом положении, пока с некоторыми небольшими усилиями не придал всей кладке ее прежнего вида. Соблюдая самые тщательные предосторожности, я достал песку, шерсти и известкового раствора, приготовил штукатурку, которая не отличалась от старой, и с

большим тщанием покрыл ею новую кирпичную кладку. Окончив это, я почувствовал себя удовлетворенным, видя, как все великолепно. На стене не было нигде ни малейшего признака переделки. Мусор на полу я собрал с вниманием самым тщательным. Оглядевшись вокруг торжествующим взглядом, я сказал самому себе: «Да, здесь, по крайней мере, моя работа не пропала даром».

Затем первым моим движением было отыскать животное, явившееся причиной такого злополучия. Я, наконец, твердо решился убить его, и, если бы мне удалось увидать его в ту минуту, его участь определилась бы несомненным образом. Но лукавый зверь, по-видимому, был испуган моим недавним гневом и остерегался показываться. Невозможно описать или вообразить чувство глубокого благодетельного облегчения, возникшее в груди моей благодаря отсутствию этой ненавистной гадины. Кот не показывался в течение всей ночи, и таким образом, с тех пор как он вошел в мой дом, это была первая ночь, когда я заснул глубоким и спокойным сном. Да, да, *заснул,* хотя бремя убийства лежало на моей душе!

Прошел второй день, прошел третий, а мой мучитель все не приходил. Наконец-то я опять чувствовал себя свободным человеком. Чудовище в страхе бежало из моего дома навсегда! Я больше его не увижу! Блаженство мое не знало пределов. Преступность моего черного злодеяния очень мало беспокоила меня. Произведен был небольшой допрос, но я отвечал твердо. Был устроен даже обыск, но, конечно, ничего не могли найти. Я считал свое будущее благополучие обеспеченным.

На четвертый день после убийства несколько полицейских чиновников совершенно неожиданно пришли ко мне и сказали, что они должны опять произвести строгий обыск. Я, однако, не чувствовал ни малейшего беспокойства, будучи вполне уверен, что мой тайник не может быть открыт. Полицейские чиновники попросили меня сопровождать их во время обыска. Ни одного уголка, ни одной щели не оставили они необследованными. Наконец, в третий или в четвертый раз, они сошли в погреб. У меня не дрогнул ни один мускул. Мое сердце билось ровно, как у человека, спящего сном невинности. Я прогуливался но погребу из конца в конец.

Скрестив руки на груди, я спокойно расхаживал взад и вперед. Полиция была совершенно удовлетворена и собиралась уходить. Сердце мое исполнилось ликования, слишком сильного, чтобы его можно было удержать. Я сгорал желанием сказать хоть одно торжествующее слово и вдвойне усилить уверенность этих людей в моей невиновности.

— Джентльмены, — выговорил я наконец, когда полиция уже всходила по лестнице, — я положительно восхищен, что мне удалось развеять ваши подозрения. Желаю вам доброго здоровья, а также немножко побольше любезности. А однако, милостивые государи, вот, скажу я вам, дом, который прекрасно выстроен! — Задыхаясь от бешеного желания сказать что-нибудь спокойно, я едва знал, что говорил. — Могу сказать, *великолепная* архитектура. Вот эти стены — да вы уже, кажется, уходите? — вот эти стены, как они плотно сложены! — И тут, объятый бешенством бравады, я изо всей силы хлопнул палкой, находившейся у меня в руках, в то самое место кирпичной кладки, где стоял труп моей жены.

Но да защитит меня Господь от когтей врага человеческого! Не успел отзвук удара слиться с молчанием, как из гробницы раздался ответный голос! То был крик, сперва заглушенный и прерывистый, как плач ребенка, потом он быстро вырос в долгий, громкий и протяжный визг, нечеловеческий, чудовищный — то был вой, то был рыдающий вопль не то ужаса, не то торжества. Такие вопли могут исходить только из ада, как совокупное слитие криков, исторгнутых из горла осужденных, терзающихся в агонии, и воплей демонов, ликующих в самом осуждении.

Говорить о том, что я тогда подумал, было бы безумием. Теряя сознание, шатаясь, я прислонился к противоположной стене. Одно мгновение кучка людей, стоявших на лестнице, оставалась недвижной, застывши в чрезмерности страха и ужаса. В следующее мгновение дюжина сильных рук разрушала стену. Она тяжело рухнула. Тело, уже сильно разложившееся и покрытое густой запекшейся кровью, стояло, выпрямившись перед глазами зрителей. А на мертвой голове с красной раскрытой пастью и с одиноко сверкающим огненным глазом сидела гнусная тварь, чье лукавство соблазнило меня совершить убийство и чей изобличительный голос выдал меня палачу! Я замуровал чудовище в гробницу!

МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ

Красная Смерть давно уже опустошала страну. Никакая чума никогда не была такой роковой и чудовищной. Ее воплощением и печатью была кровь — красный цвет и ужас крови. Болезнь начиналась острыми болями и внезапным головокружением, затем через поры просачивалась торопливыми каплями кровь, и наступала смерть. Ярко-красные пятна, распространявшиеся по телу, и в особенности по лицу жертвы, были проклятьем, которым эта моровая язва мгновенно лишала больного помощи и сострадания его ближних; весь ход болезни с ее развитием, возрастанием и концом был делом получаса.

Но принц Просперо был весел, смел и мудр. После того как его владения были наполовину опустошены, он созвал тысячу веселых и здоровых друзей из числа придворных рыцарей и дам и удалился с ними в строгое уединение, в одно из своих укрепленных аббатств. Обширное и пышное здание было детищем собственной фантазии принца, эксцентричной, но величественной. Вокруг аббатства шла высокая плотная стена. В стене были железные двери. Придворные, войдя сюда, принесли горн и тяжелые молоты и спаяли засовы. Они решились устранить всякую возможность вторжения внезапных порывов отчаяния извне и лишить безумие возможности вырваться изнутри. Аббатство было с избытком снабжено необходимыми жизненными припасами. При таких предосторожностях придворные могли смеяться над заразой. Внешний мир должен был заботиться о себе сам. А пока скорбеть или размышлять — было безумием. Принц не забыл ни об одном из источников наслаждения. Там были шуты, импровизаторы, музыканты, танцовщики и танцовщицы, там были красавицы, было вино. Все эти услады и безопасность были внутри. Вне была Красная Смерть.

Это было к концу пятого или шестого месяца затворнической жизни, и, в то время как чума свирепствовала за стенами самым неукротимыми образом, принц Просперо пригласил свою тысячу на маскированный бал, отличавшийся самым необыкновенным великолепием.

Что за пышно-чувственную картину представлял из себя этот маскарад! Но я хочу прежде сказать о комнатах, где про-

исходило празднество. Их было семь — царственная анфилада. Во многих дворцах, однако, такие анфилады образуют длинную и прямую перспективу, причем створчатые двери с той и с другой стороны плотно прилегают к стенам, и таким образом взгляд беспрепятственно может проследить всю перспективу от начала до конца. Здесь же было нечто совершенно иное, как и следовало ожидать от герцога при его любви ко всему *причудливому*. Покои были расположены неправильно, таким образом, что взгляду открывалась сразу только одна комната. Через каждые двадцать — тридцать ярдов следовал резкий поворот, и при каждом повороте — новый эффект. Направо и налево, в середине каждой стены, высилось узкое готическое окно, выходившее в закрытый коридор, который тянулся, следуя всем изгибам анфилады. В этих окнах были цветные стекла, причем окраска их менялась в соответствии с господствующим цветом той комнаты, в которую открывалось окно. Так, например, крайняя комната с восточной стороны была обита голубым, и окна в ней были ярко-голубые. Во второй комнате и обивка и украшения были пурпурного цвета, и стены здесь были пурпурными. Третья вся была зеленой, зелеными были и окна. Четвертая была украшена и освещена оранжевым цветом, пятая — белым, шестая — фиолетовым. Седьмой зал был весь задрапирован черным бархатом, который покрывал и потолок, и стены, ниспадая тяжелыми складками на ковер такого же цвета. Но только в этой комнате, в единственной, окраска окон не совпадала с окраской обстановки. Стекла здесь были ярко-красного цвета — цвета алой крови. Нужно сказать, что ни в одном из семи чертогов не было ни ламп, ни канделябров среди многочисленных золотых украшений, расположенных там и сям или свисавших со сводов. Во всей анфиладе комнат не было никакого источника света — ни лампы, ни свечи, но в коридорах, примыкавших к покоям, против каждого окна стоял тяжелый треножник с жаровней, он устремлял свои лучи сквозь цветные стекла и ярко освещал внутренность этих чертогов. Таким путем создавалось целое множество пестрых фантастических видений. Но в черной комнате, находившейся на западе, эффект огнистого сияния, струившегося через кровавые стекла на темные завесы, был чудовищен до крайности и придавал такое странное выраже-

ние лицам тех, кто входил сюда, что немногие из общества осмеливались вступать в ее пределы.

Именно в этом покое стояли против западной стены гигантские часы из эбенового дерева. Их маятник покачивался из стороны в сторону с глухим тяжелым монотонным звуком; и, когда минутная стрелка пробегала круг циферблата и приходило мгновение, возвещающее какой-нибудь час, часы испускали из своих бронзовых легких звон отчетливый, и громкий, и протяжный, и необыкновенно музыкальный, звон такой особенный и выразительный, что по истечении каждого часа музыканты оркестра должны были на мгновение прекращать свою музыку, чтобы слушать этот звон; и фигуры, кружившиеся в вальсе, замедляли свои движения, и в веселье всего этого шумного общества наступало быстрое смятение, и, покуда часы, звеня, говорили, было видно, что самые безумные бледнели, что самые престарелые и степенные проводили по лбу руками, как бы смущенные мечтой или размышлением; но когда отзвуки совершенно замирали, легкий смех мгновенно овладевал собранием, музыканты глядели друг на друга и улыбались, как бы извиняясь за свою нервность и свое неразумие, и тихим шепотом клялись друг другу, что, когда опять раздастся бой часов, он в них не вызовет подобных ощущений, и потом, по истечении шестидесяти минут (которые обнимают три тысячи шестьсот секунд убегающего времени), снова раздавался бой часов, и снова наступало то же смятение, и трепет, и размышления, как прежде.

Но несмотря на все это, пышный праздник продолжался и дикий разгул не уставал. Вкус у герцога был совершенно особенный. Он тонко понимал цвета и эффекты. Он презирал фешенебельную *благопристойность*. В его планах было много дерзкой стремительности, его замыслы были озарены варварским блеском. Некоторые считали его сумасшедшим. Его приближенные знали достоверно, что это не так. Нужно было только его видеть и слышать, нужно было только с ним соприкасаться, чтобы быть *уверенным*, что это не так.

В значительной части он руководил сам всеми этими живыми украшениями, волновавшимися в семи чертогах в величественной обстановке ночного праздника; и это *его* вкусом был определен характер масок. Конечно, тут было много

причудливого. Много было блеска и ослепительности, и пикантного, и фантастического — много того, что мы видели потом в «Эрнани»[1]. Были фигуры-арабески с непропорциональными членами. Были безумные фантазии, сумасшедшие наряды. Было много красивого, беспутного, странного, были вещи, возбуждающие страх, было немало того, что могло бы возбуждать отвращение. Словом, в этих семи чертогах бродили живые сны. Они искажались — эти сны — то здесь, то там, принимая окраску комнат и как бы производя музыку оркестра звуками своих шагов и их отзвуками. И время от времени опять бьют эбеновые часы, стоящие в бархатном чертоге; и тогда на мгновение все утихает и все молчит, кроме голоса часов. Сны застывают в своих очертаниях и позах. Но бронзовое эхо замирает — оно длится только миг, — и тихий сдержанный смех стремится вослед улетающим звукам. И снова волной разрастается музыка, и сны опять живут и сплетаются, кружатся еще веселее, чем прежде, принимая окраску разноцветных окон, через которые струятся лучи из треножников. Но в комнату, лежащую на крайней точке к западу от всех семи, не осмеливается больше войти ни один из пирующих, ибо ночь проходит, и свет, все более красный, струится через стекла цвета алой крови; и чернота траурных ковров устрашает; и если кто осмелится ступить на траурный ковер, тому близко эбеновые часы посылают заглушенный звон, более торжественный в своей выразительности, чем какие-либо звуки, достигающие слуха *тех*, кто беспечно кружится в других отдаленных чертогах, исполненных кипящего веселея.

А в этих чертогах толпа кишит, и пульс жизни бьется здесь лихорадочно. И бешено проносились мгновения разгульного празднества, пока наконец не начался бой часов, возвещающий полночь. И тогда, как я сказал, музыка умолкла, и фигуры, кружащиеся в вальсе[2], застыли неподвижно, и все беспокойно замерло, как прежде. Но теперь тяжелый маятник должен был сделать двенадцать ударов; и потому-то, быть может, случилось, что больше мысли с большим временем проскользнуло в душе тех, кто размышлял между тех, кто веселился. И быть может, также по этой причине некоторые из толпы, прежде чем последний отзвук последнего удара потонул в безмолвии, успели заметить замаскированную

фигуру, которая до тех пор не привлекала ничьего внимания. И весть об этом новом госте распространилась кругом вместе со звуками шепота, и наконец все общество было охвачено каким-то гулом или ропотом, выражавшим сперва неодобрение и удивление, а потом страх, ужас и отвращение.

Весьма понятно, что в собрании призраков, подобном тому, которое я описал, нужно было что-нибудь незаурядное, чтобы вызвать такое впечатление. Действительно, карнавальный разгул в этот поздний час ночи был почти безграничен, однако новый гость перещеголял всех и вышел даже за пределы того свободного костюма, который был на принце. В сердцах тех, кто наиболее беспечен, есть струны, которых нельзя касаться, не возбуждая волнения. И даже для тех безвозвратно потерянных, кому жизнь и смерть равно представляются шуткой, есть вещи, которыми шутить нельзя. На самом деле все общество, по-видимому, глубоко чувствовало теперь, что в костюме и в манерах пришельца не было ни остроумия, ни благопристойности. Незнакомец был высок и костляв, и с головы до ног он был закутан в саван. Маска, скрывавшая его физиономию, до такой степени походила на лицо окоченевшего трупа, что самый внимательный взгляд затруднился бы открыть обман. Все это, однако, веселящиеся безумцы могли бы снести, если и не одобрить. Но гость был так дерзок, что принял выражение красной смерти. Его одежда была запачкана *кровью* — его широкий лоб и все черты его лица были обрызганы ярко-красными пятнами, говорящими об ужасе.

Когда взгляд принца Просперо обратился на это видение (которое прогуливалось в толпе между пляшущих медленно и торжественно, как бы желая полнее выдержать роль), все заметили, как в первую минуту лицо его исказилось резкой дрожью страха или отвращения, но в следующее же мгновение лицо его вспыхнуло от гнева.

— Кто посмел? — спросил он хриплым голосом придворных, стоявших около него. — Кто посмел оскорбить нас этой кощунственной насмешкой? Схватите его и снять с него маску! Пусть нам будет известно, кого мы повесим при восходе солнца!

Эти слова принц Просперо произнес в восточной голубой комнате. Они громко и явственно прозвучали во всех семи

комнатах, ибо принц был бравым и могучим человеком, и музыка умолкла по мановению его руки.

В голубой комнате стоял принц, окруженный группой бледных придворных. Сперва, когда он говорил, в этой группе возникло легкое движение по направлению к непрошеному гостю, который в это мгновение был совсем близко и теперь размеренной величественной походкой приближался все ближе и ближе к говорящему. Но какой-то неопределенный страх, внушенный безумной дерзостью замаскированного, охватил всех, и в толпе не нашлось никого, кто осмелился бы наложить на незнакомца свою руку; таким образом он без помехи приблизился к принцу на расстояние какого-нибудь шага; и покуда многолюдное собрание, как бы движимое одним порывом, отступало от центров комнат к стенам, он беспрепятственно, но все тем же торжественным размеренным шагом, отличавшим его сначала, продолжал свой путь из голубой комнаты в пурпурную, из пурпурной в зеленую, из зеленой в оранжевую, и потом в белую, и потом в фиолетовую — и никто не сделал даже движения, чтобы задержать его. Тогда-то принц Просперо, придя в безумную ярость и устыдившись своей минутной трусости, бешено ринулся через все шесть комнат, между тем как ни один из толпы не последовал за ним из-за смертельного страха, сковавшего всех. Он потрясал обнаженным кинжалом и приближался с бурной стремительностью, и между ним и удаляющейся фигурой было не более трех-четырех шагов, как вдруг незнакомец, достигнув крайней точки бархатного чертога, быстро обернулся и глянул на своего преследователя. Раздался резкий крик — и кинжал, сверкнув, соскользнул на черный ковер, и, мгновенье спустя, на этом ковре, объятый смертью, распростерся принц Просперо. Тогда, собравши все безумное мужество отчаяния, толпа веселящихся мгновенно ринулась в черный покой, и, с дикой свирепостью хватая замаскированного пришельца, высокая фигура которого стояла прямо и неподвижно в тени эбеновых часов, каждый из них задыхался от несказанного ужаса, видя, что под саваном и под мертвенной маской не было никакой осязательной формы.

И тогда для вех стало очевидным присутствие Красной Смерти. Она пришла как вор в ночи; и один за другим весе-

лящиеся пали в этих пиршественных чертогах, обрызганных кровавой росой, и каждый умер, застыв в той позе, как упал; и жизнь эбеновых часов иссякла вместе с жизнью последнего из веселившихся; и огни треножников погасли; и тьма, и разрушение, и Красная Смерть простерли надо всем свое безбрежное владычество.

ПРОДОЛГОВАТЫЙ ЯЩИК

Несколько лет тому назад я запасся билетом на проезд из Чарльстона в Нью-Йорк на пакетботе Independence[1], капитаном которого был мистер Харди. Мы должны были отплыть, в случае хорошей погоды, пятнадцатого июня. Четырнадцатого числа я отправился на корабль, чтобы кое-что привести в порядок в моей каюте.

Оказалось, что пассажиров было очень много, а дам более обыкновенного. Я заметил в росписи несколько знакомых имен; особенно я обрадовался, увидев имя мистера Корнелиуса Уайетта, молодого художника, к которому я относился с чувством самой искренней дружбы. Он был со мной в университете, где мы много времени проводили вместе. Уайетт обладал обычным темпераментом гения, т. е. представлял из себя смесь мизантропии, повышенной чувствительности и энтузиазма. С этими качествами он соединял самое пламенное и самое верное сердце, какое когда-либо билось в человеческой груди.

Я заметил, что его имя было помечено против трех кают, и, заглянув снова в роспись пассажиров, увидел, что он взял места на проезд для себя, для жены и для двух своих сестер. Каюты были довольно просторны, и в каждой было по две койки, одна над другой. Правда, эти койки были чрезвычайно узки, так что на них не могло помещаться более как по одному человеку; все же я не мог понять, почему для этих четырех пассажиров было взято три каюты. В это время я как раз был в одном из тех капризных состояний духа, которые делают человека ненормально любопытным по поводу малейших пустяков, и со стыдом признаюсь, что я построил тогда целый ряд неуместных и свидетельствующих о неблаговоспитанности догадок относительно этого излишнего количества

кают. Конечно, это нисколько меня не касалось, но тем не менее я с упорством старался разрешить загадку. Наконец я пришел к заключению, заставившему меня весьма подивиться, как это я не пришел к нему раньше. «Это для прислуги, конечно, — думал я, — какой же я глупец, что мне раньше не пришла в голову такая очевидная разгадка!» Я опять пробежал роспись, но совершенно ясно увидел, что с этой компанией не было прислуги; раньше, правда, предполагалось захватить с собой одного человека, ибо слова «и прислуга» были сначала написаны и потом вычеркнуты. «Ну, так это какой-нибудь лишний багаж, — сказал я себе, — что-нибудь такое, чего он не хочет отдавать в трюм, хочет за чем-нибудь присмотреть сам. А! Это какая-нибудь картина или что-нибудь в этом роде — так вот о чем он торговался с итальянским жидом Николино». Этой мыслью я удовольствовался и преднамеренно подавил свое любопытство.

Сестер Уайетта я знал хорошо, это были очень милые и умные девушки. Женился он только что, и я еще не видал его жены. Он не раз, однако же, говорил о ней в моем присутствии со свойственным ему энтузиазмом. Он изображал ее как совершенство ума и поразительной красоты. И мне таким образом вдвойне хотелось познакомиться с ней.

В тот день, когда я зашел на корабль (четырнадцатого числа), Уайетт вместе с своими спутницами был также там — мне сказал это капитан, — и я прождал на палубе целый лишний час в надежде быть представленным новобрачной, но мне было послано извинение. «Миссис Уайетт нездоровится, она не выйдет на палубу до завтра, когда корабль будет отплывать».

Завтрашний день наступил; я шел из своего отеля к пристани, как вдруг повстречал капитана Харди, который сказал мне, что «в силу обстоятельств» (глупая, но принятая фраза) «он полагает, что Independence отплывет не раньше, как дня через два, и что, когда все будет готово, он даст мне знать». Я нашел это весьма странным, так как дул свежий южный ветер, но раз «обстоятельства» пребывали за сценой, несмотря на упорные старания разузнать о них, мне ничего не оставалось, как возвратиться домой и насладиться вдоволь моим нетерпением.

Я не получал ожидаемого извещения от капитана почти целую неделю. Оно пришло наконец, и я немедленно отправился на палубу; на корабле толпилось множество пассажиров и повсюду шла обычная суматоха, предшествующая отплытию. Уайетт вместе с своими спутницами прибыл минут через десять после меня. Компания состояла из двух его сестер, новобрачной и самого художника — последний находился в одном из своих обычных приступов капризной мизантропии. Я, однако, слишком к ним привык, чтобы обратить на это какое-нибудь внимание. Он даже не познакомил меня со своей женой — этот долг вежливости поневоле должна была выполнить его сестра Мэриэн, очень милая и умная девушка, которая, сказав несколько торопливых слов, познакомила нас.

Мистрис Уайетт была закрыта густой вуалью, и, когда она приподняла ее, отвечая на мой поклон, признаюсь, я был крайне изумлен. Я удивился бы еще больше, если бы давнишний опыт не научил меня не относиться со слишком слепым доверием к энтузиазму моего друга-художника, когда он начинал описывать красоту какой-нибудь женщины. Когда темой разговора была красота, я хорошо знал, с какой легкостью он уносился в область чистейшей идеальности.

Дело в том, что, смотря на миссис Уайетт, я никак не мог не увидеть в ней ничего миловидного. Хотя ее и нельзя было назвать уродом, я думаю, она была не слишком далека от этого. Одета она была, однако же, с большим вкусом, и для меня не было сомнения, что она пленила сердце моего друга более прочными чарами ума и души. Сказав всего несколько слов, она тотчас же прошла вместе с мистером Уайеттом в свою каюту.

Мое придирчивое любопытство снова загорелось во мне. Прислуги не было — это был пункт установленный. Я посмотрел, нет ли лишнего багажа. Через некоторое время на набережную приехала повозка с продолговатым ящиком из соснового дерева, и, казалось, этого ящика только и ждали. Немедленно по его прибытии мы подняли паруса и через некоторое время, благополучно пройдя мелководье, направили наш путь в море.

Упомянутый ящик был, как я сказал, продолговатый. В нем было футов шесть в длину и фута два с половиной в

ширину; я осмотрел его внимательно и постарался заметить все в точности. Форма его была *особенная,* и, едва его увидев, я тотчас же уверовал в справедливость моей догадки. Как вы помните, я пришел к заключению, что лишний багаж моего друга заключался в картинах или, по крайней мере, в картине, ибо я знал, что в течение нескольких недель он вел переговоры с Николино; форма же ящика была такова, что, наверно, в нем *должно было* быть не что иное, как копия с «Тайной вечери» Леонардо; а копия именно с этой «Тайной вечери», сделанная Рубини[2] во Флоренции, как я знал, некоторое время находилась в руках Николино. Таким образом, этот пункт я считал достаточно установленным. Я задыхался от смеха при мысли о моей проницательности. Это был, сколько мне известно, первый случай, что Уайетт держал от меня втайне что-нибудь из своих художнических секретов. И в этом случае, очевидно, он намеревался надуть меня самым решительным образом и контрабандой провезти прекрасную картину в Нью-Йорк под самым моим носом в надежде, что я ровно ничего об этом не узнаю. Я решил потешиться над ним *хорошенько* и теперь, и после.

Одно обстоятельство все-таки причиняло мне немалое беспокойство. Ящик не был поставлен в лишнюю каюту. Он был положен в каюту Уайетта и там оставался, занимая почти все пространство пола, что, конечно, должно было причинять большое неудобство и художнику и его жене, в особенности ввиду того, что деготь или краска, которой была сделана надпись на нем размашистыми крупными буквами, издавала резкий, неприятный и, как *мне* представлялось, совсем особенно противный запах. На крышке были написаны слова — *«Миссис Аделаиде Кэртис, Олбани, штат Нью-Йорк*[3]*. От Корнелиуса Уайетта. Верх. Осторожно».*

Я знал, что миссис Аделаида Кэртис, жившая в Олбани, была матерью жены художника, но тогда я посмотрел на весь этот адрес как на мистификацию, специально предназначенную для меня. Я решил, конечно, что ящик вместе с содержимым отправится не севернее, чем в мастерскую моего друга-мизантропа, на Чэмберс-стрит в Нью-Йорке.

Первые три-четыре дня погода была хорошая, хотя попутный ветер притих. Он изменился в направлении к северу тотчас же после того, как мы потеряли берег из виду. Пасса-

жиры, естественно, были возбуждены и склонны к разговорам!.. Я *должен*, однако, исключить из этого числа Уайетта и его сестер, которые держались чопорно и — я не мог этого не найти — невежливо по отношению к остальному обществу. Поведение *Уайетта* меня не удивляло. Он был мрачен свыше даже обыкновенного, он был *угрюм*, но относительно его я был подготовлен ко всяким эксцентричностям. Сестер я, однако, не мог извинить. Они уходили в свои каюты в течение большей части переезда и, несмотря на мои неоднократные понуждения, решительно отказывались заводить знакомство с кем бы то ни было из пассажиров.

Сама миссис Уайетт была гораздо более приятна, т. е. я хочу сказать, она была *болтлива*, а быть болтливой — это серьезная рекомендация на море. Она *необыкновенно* коротко сошлась с большинством из дам и, к моему глубокому удивлению, выказала недвусмысленную наклонность кокетничать с мужчинами. Нас всех она очень забавляла. Я говорю *«забавляла»* и вряд ли сумею объясниться точнее. Дело в том, что, как я скоро увидал, публика не столько смеялась *с миссис* Уайетт, сколько смеялась *над* ней. Мужчины говорили о ней мало, но дамы весьма скоро произнесли свой приговор, сказав, что она «очень доброе существо, ничего из себя не представляет по внешности, совершенно невоспитанна и решительно вульгарна». Весьма было удивительно, как это Уайетт мог попасть в кабалу такого супружества. Общим мнением была мысль о деньгах, но я знал, что такого объяснения быть не может. Уайетт говорил мне, что у нее не было ни цента и никаких надежд на получение денег впоследствии. Он женился, говорил он сам, по любви, только по любви; и его возлюбленная была более чем достойна его любви. Когда я думал об этих словах моего друга, сознаюсь, я приходил в неописуемое замешательство. Уж не утратил ли он рассудок? Что иное я мог подумать? *Он*, такой утонченный, такой умный, такой требовательный, с таким изысканным пониманием всего, что составляет недостаток, и с таким острым восприятием красоты! Правда, эта дама, по-видимому, была необычайно пленена *им* — в особенности в его отсутствие, — когда она положительно была смешна частым повторением того, что сказал ей «возлюбленный супруг мистер Уайетт». Слово «супруг», по-видимому, всегда, пользуясь

одним из ее собственных деликатных выражений, было «на кончике ее языка». Между тем все пассажиры заметили, что он самым решительным образом избегал *ее* и большей частью запирался один в своей каюте, где он, можно сказать, и проживал, предоставляя своей супруге полную свободу забавляться как ей вздумается в обществе, находившемся в главной каюте.

Из того, что я видел и слышал, я заключил, что художник по необъяснимому капризу судьбы, а может быть, повинуясь какой-нибудь вспышке, полной энтузиазма, причудливой страсти, был вовлечен в союз с женщиной, которая была, безусловно, ниже его, и что как естественный результат последовало быстрое и полное отвращение. Я жалел его искреннейшим образом, но это не могло заставить меня совершенно простить ему скрытность относительно «Тайной вечери». Я решил отомстить за себя.

Однажды он вышел на палубу, и, взяв его, по обыкновению, под руку, я стал ходить с ним взад и вперед. Однако же его угрюмость (которую при данных обстоятельствах я считал вполне натуральной), по-видимому, нисколько не уменьшалась. Он говорил мало, с видимым усилием и был мрачен. Я рискнул раза два пошутить, и он сделал болезненную попытку улыбнуться. Бедняга! При мысли о *его жене* я удивлялся, что у него еще хватало мужества хотя бы надевать маску веселости. Наконец я решился выстрелить прямо в цель. Я начал с целого ряда скрытых недомолвок и намеков по поводу продолговатого ящика — как раз таким образом, чтобы дать ему понять, что я *не* вполне был слепой мишенью или жертвой маленького каприза его шутливой мистификации. Я сказал что-то об «особенной форме *этого* ящика», и, произнося эти слова, я многозначительно улыбнулся, подмигнул и слегка коснулся его поясницы своим указательным пальцем.

То, как Уайетт принял эту невинную шутку, убедило меня сразу, что он помешан. Сперва он так уставился на меня, как будто он находил совершенно невозможным постичь остроумие моего замечания, но, по мере того как эта острота, по-видимому, медленно проникала в его мозг, его глаза в точном соответствии с этим стали выкатываться из орбит. Потом он весь залился краской, потом сделался до отврати-

тельности бледен, потом, как будто в высшей степени развеселившийся от моих намеков, он начал громко хохотать, и судорожный смех его, к моему изумлению, постепенно возрастал в силе в течение десяти минут или даже более. Наконец он рухнул плашмя на палубу. Когда я подбежал, чтобы поднять его, по всей видимости, он был *мертв*.

Я позвал на помощь, и с большими затруднениями мы привели его в чувство. Некоторое время он что-то бессвязно говорил. Потом мы пустили ему кровь и уложили его в постель. На следующее утро он совершенно поправился, насколько дело шло о его чисто физическом здоровье. О состоянии его ума я, конечно, не говорю ничего. Во все остальное время переезда я избегал его по совету капитана, который, по-видимому, думал то же, что и я, относительно его помешательства, но предупредил меня, чтобы я не говорил ничего об этом никому из пассажиров.

Непосредственно вслед за припадком Уайетта случилось нечто еще более усилившее и без того уже значительно возбужденное во мне любопытство. Между прочим я был очень нервно настроен, пил слишком много крепкого зеленого чаю и плохо спал — в точности говоря, в течение двух ночей я не спал вовсе. Теперь моя каюта выходила в главную каюту, иначе столовую, как и вообще все каюты одиноких пассажиров. Три отделения, принадлежавшие Уайетту, были в задней каюте, отделявшейся от главной легкой выдвижной дверью, которая не запиралась даже на ночь. Ввиду того что мы почти все время пользовались попутным ветром, и довольно сильным, корабль очень накренялся в подветренную сторону, и каждый раз, когда правая сторона корабля была на подветренной стороне, выдвижная дверь между каютами, соскользнув, открывалась и так оставалась, ибо никто не хотел брать на себя труда закрыть ее. Моя койка была расположена таким образом, что, когда дверь в моей собственной каюте была открыта, равно как и упомянутая выдвижная дверь (по причине жары дверь у меня была открыта *всегда)*, я мог совершенно явственно видеть в задней каюте все, и именно в той ее части, где помещались каюты мистера Уайетта. Прекрасно. Две ночи *(не* подряд), когда я не спал, каждый раз часов около одиннадцати, я совершенно ясно видел, как миссис Уайетт осторожно выходила из каюты мистера Уайетта

и входила в лишнее отделение, где и оставалась до рассвета. С рассветом муж призывал ее, и она возвращалась. Не было сомнений, что в действительности они разошлись. У них были отдельные помещения — конечно, ввиду ожидавшего их более продолжительного разрыва; так вот в чем, думал я, в конце концов кроется тайна лишней каюты.

Было, кроме того, еще одно обстоятельство, весьма меня интересовавшее. В течение этих двух бессонных ночей, каждый раз тотчас после исчезновения миссис Уайетт в лишней каюте, внимание мое привлекал какой-то особенный, осторожный, заглушенный звук, раздававшийся в каюте ее мужа. Затаив дыхание, я в течение некоторого времени прислушивался к нему и, наконец, вполне уразумел его смысл. Звук этот происходил оттого, что художник открывал продолговатый ящик с помощью долота и молотка, причем последний был, очевидно, для смягчения звука, обернут во что-то мягкое, в шерсть или вату.

Таким образом, чудилось мне, я мог различить точный момент, когда он совершенно высвобождал крышку, — момент, когда он отодвигал ее и клал на нижнюю койку в своей каюте; об этом последнем, например, я узнавал по некоторым легким стукам, которые производила крышка, наталкиваясь на деревянные края койки, в то время как он старался *тихонько* положить ее, ибо на полу для нее не было места в каюте. После этого наступала мертвая тишина, и ни в первом, ни во втором случае, вплоть до рассвета, я не слыхал ничего; разве, быть может, я могу упомянуть только о тихом рыдающем или ропщущем звуке, таком подавленном, что его было почти не слышно, если на самом деле он не был скорее создан моим собственным воображением. Я говорю, что это *походило* на рыдание или тяжелый вздох, но, конечно, здесь не могло быть ни того ни другого. Я думаю, скорее, что это звенело в моих собственных ушах. Следуя своему обыкновению, мистер Уайетт, без сомнения, просто-напросто давал полный простор одному из своих увлечений — предавался одному из своих припадков художнического энтузиазма. Он открывал продолговатый ящик, чтобы усладить зрение скрывавшимся в нем художественным сокровищем. В этом не было однако ничего, что могло бы заставить его *рыдать*. Я повторяю поэтому, что это была просто причуда моей

собственной фантазии, расстроенной зеленым чаем добрейшего капитана Харди. Как раз перед зарей в каждую из двух упомянутых ночей я совершенно явственно слышал, как мистер Уайетт снова клал крышку на продолговатый ящик и забивал гвозди на их старых местах молотком, закутанным во что-то мягкое. Сделав это, он выходил из своей каюты совершенно одетый и вызывал миссис Уайетт из ее отделения.

Мы были в море уже семь дней и только что миновали мыс Гаттерас[4], как с юго-запада налетела тяжелая буря. До известной степени мы были, однако, к ней подготовлены, ибо погода в течении некоторого времени предостерегала нас. Все на корабле сверху до низу было приведено в порядок, и, так как ветер упорно свежел, мы легли в дрейф, оставив только контр-бизань и фок-зейл[5], причем они оба были зарифлены.

При таком распорядке мы плыли довольно благополучно в течение сорока восьми часов — корабль оказался во многих отношениях превосходным судном и не зачерпывал воды в сколько-нибудь значительных размерах. По истечении двух суток, однако же, буря, свежея, превратилась в ураган, наш задний парус был разорван в клочья, и мы настолько погрузились в разверзнувшиеся хляби, что несколько раз подряд зачерпнули огромное количество воды. Благодаря этому обстоятельству, мы потеряли трех человек, упавших за борт вместе с камбузом, и почти всю левую сторону корабельных укреплений. Едва мы успели опомниться, как фок-зейл разлетелся на куски; мы подняли штурм-стаксель и с его помощью довольно хорошо держались несколько часов, причем ход корабля был гораздо правильнее, чем прежде.

Но буря все еще не утихала, и не было никаких признаков того, что она уляжется. Снасти были дурно прилажены и сильно натянуты; на третий день бури, около пяти часов пополудни, бизань-мачта, сильно накренившись к наветренной стороне, рухнула на борт. Целый час или даже больше того при чудовищной качке, мы тщетно пытались освободиться от нее, и, прежде чем нам это удалось, с задней части корабля пришел шкипер и сообщил, что в трюме на четыре фута воды. В довершение оказалось, что насосы засорены и почти не действуют.

Смятение и отчаяние овладели всеми — мы сделали, однако, попытки облегчить корабль, бросив за борт возможно большее количество груза и срезав две оставшиеся мачты. В конце концов это нам удалось, но мы по-прежнему ничего не могли сделать с насосами, а течь тем временем быстро усиливалась.

На закате буря значительно уменьшилась в силе, и, так как море вместе с тем притихло, мы еще продолжали питать слабую надежду спастись в шлюпках. В восемь часов пополудни облака разорвались по направлению к наветренной стороне и, на наше счастье, предстал полный месяц — добрый знак, посланный нам судьбой и удивительным образом ожививший наш изнемогавший дух.

После невероятных усилий нам удалось наконец спустить без существенных повреждений баркас, и в него мы поместили весь экипаж и большую часть пассажиров. Партия эта отплыла тотчас же и после разных злоключений наконец прибыла благополучно в бухту Окракок[6] на третий день после кораблекрушения.

Четырнадцать пассажиров с капитаном остались на палубе, решивши доверить свою участь маленькой шлюпке, находившейся у кормы. Мы опустили ее без затруднений, хотя это было просто чудо, что нам удалось помешать ей опрокинуться, когда она касалось воды. В нее сели капитан, его жена, мистер Уайетт со своей семьей, один мексиканский офицер вместе с женой и четырьмя детьми и я вместе со слугой-негром.

У нас, конечно, не было места ни для чего, кроме нескольких, безусловно, необходимых инструментов, кое-какой провизии и платья, которое было на нас; никому даже и в голову не пришло попытаться что-нибудь спасти. Каково же было всеобщее изумление, когда, после того как мы отплыли от корабля на несколько саженей, мистер Уайетт встал на своем месте и холодно потребовал от капитана Харди направить лодку назад, чтобы взять в нее его продолговатый ящик!

— Сядьте, мистер Уайетт, — ответил капитан несколько сурово. — Вы опрокинете нас, если не будете сидеть спокойно. Шкафут уже почти весь в воде!

— Ящик! — завопил мистер Уайетт, продолжая стоять. — Ящик, говорю я вам! Капитан Харди, вы не можете, вы не *за-*

хотите отказать мне. Он весит самые пустяки — это ничего, совсем ничего. Во имя матери, которая родила вас, во имя Бога, во имя вашей надежды на спасение, *умоляю* вас, вернитесь за ящиком!

Капитан на мгновение, казалось, был тронут этим искренним призывом художника, но он снова принял суровое выражение и только сказал:

— Мистер Уайетт, вы — *сумасшедший.* Я не могу вас слушать, сядьте, говорю я вам, или вы потопите лодку. Постойте, держите его, схватите его! Он сейчас прыгнет за борт! Ну вот — я так и знал — готово!

Пока капитан говорил таким образом, мистер Уайетт действительно выпрыгнул из лодки, и, так как мы были еще на подветренной стороне близ погибшего корабля, ему удалось, с помощью почти сверхчеловеческих усилий, ухватиться за канат, свисавший с передних цепей. В следующее мгновение он был уже на корабле и бешено ринулся в каюту.

Между тем нас отнесло за корму корабля, и, находясь совершенно вне пределов его подветренной стороны, мы были предоставлены произволу грозного моря, все еще бушевавшего. Мы устремились было назад самым решительным образом, но наша маленькая лодка была как перышко в дыхании бури. Нам было ясно, что судьба несчастного художника свершилась.

В то время как расстояние между нами и кораблем быстро увеличивалось, сумасшедший (ибо иначе мы не могли смотреть на него) показался возле капитанской каюты, на трапе, на который с силой, казавшейся гигантской, он втаскивал продолговатый ящик. Между тем как мы смотрели на него в крайнем изумлении, он быстро обернул несколько раз трехдюймовый канат сперва вокруг ящика, потом вокруг себя. В следующее мгновение ящик и он были в море — они исчезли внезапно, сразу и безвозвратно.

Со взорами, прикованными к месту гибели, мы некоторое время печально медлили, застывши на веслах. Потом, сильно гребя, мы поплыли прочь. Молчание не прерывалось целый час. Наконец, я осмелился промолвить:

— Заметили ли вы, капитан, как быстро они погрузились в воду? Не представляет ли это из себя что-то совершенно необыкновенное? Признаюсь, я питал слабую надежду, что

он в конце концов спасется, когда увидел, что он привязал себя к ящику и бросился в море.

— Они погрузились, как им и следовало, — отвечал капитан, — как камень. Они вскоре поднимутся опять, но не прежде, чем *соль растает.*

— Соль! — воскликнул я.

— Тсс, — сказал капитан, указывая на жену и сестер усопшего. — Мы поговорим об этом при более удобном случае.

После всяческих бед мы кое-как спаслись, но *нам* судьба благоприятствовала, так же как и нашим товарищам по несчастию. Полуживые, мы пристали наконец после четырех дней напряженной тревоги к бухте против острова Ронок. Мы оставались там неделю, не претерпели никаких неприятностей от местных жителей, подбирающих морские выброски и наконец получили возможность достигнуть Нью-Йорка.

Приблизительно через месяц после крушения Independence, случай столкнул меня с капитаном Харди на Бродвее. Разговор наш, понятно, перешел на это несчастье и в особенности на прискорбную судьбу бедняги Уайетта. Я узнал следующие подробности.

Художник приобрел места для себя, жены, двух сестер и служанки. Жена его, действительно, как он ее описывал, была очаровательнейшей красивой женщиной. Утром четырнадцатого июня (в тот день, как я приходил на корабль) она внезапно захворала и умерла. Юный супруг был вне себя от горя, но обстоятельства безусловным образом требовали его немедленного прибытия в Нью-Йорк. Тело обожаемой им жены было необходимо отвезти к ее матери, с другой же стороны, всеобщий хорошо известный предрассудок мешал ему сделать это открыто. Девять пассажиров из десяти скорее бежали бы с корабля, нежели отправились бы с мертвым телом.

Ввиду такой проблемы капитан Харди распорядился, чтобы тело, предварительно частью набальзамированное и уложенное с большим количеством соли в ящик соответствующих размеров было доставлено на борт как кладь. Ничего не было сказано о кончине леди; и, так как то обстоятельство, что мистер Уайетт прибрел место для своей жены,

было фактом установленным, сделалось необходимым, чтобы кто-нибудь замещал ее во время путешествия. На это легко склонили служанку усопшей. Лишняя каюта, первоначально приобретенная для этой девушки, в то время как ее госпожа была еще жива, теперь была просто удержана. В этой каюте, как само собой разумеется, спала каждую ночь псевдосупруга. Днем по мере сил она играла роль своей госпожи, внешность которой, это было тщательно проверено, никому из пассажиров не была известна. Мои собственные неверные предположения возникли довольно естественным образом благодаря излишней рассеянности, излишней наклонности выспрашивать и излишней нетерпеливости. Но за последнее время мне не часто удается крепко уснуть. Есть лицо, которое мучительно возникает передо мной, как бы я ни поворачивался. Есть истерический смех, который неотступно звучит в моих ушах.

ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ

Son coeur est un luth suspendu;
Sitôt qu'on le touche il resonne.
*Béranger**

В продолжение целого дня, тусклого и беззвучного дня мрачной осени, под небом, обремененным низкими облаками, один я проезжал верхом по странно-печальной равнине, и наконец, когда уже надвинулись вечерние тени, передо мной предстал угрюмый Дом Ашеров. Не знаю почему, но лишь только взглянул я на здание, чувство нестерпимой тоски охватило меня. Я говорю нестерпимой, потому что она отнюдь не была смягчена тем поэтическим, почти сладостным, ощущением, которое обыкновенно испытываешь даже перед самыми суровыми, перед самыми пустынными и страшными картинам природы. Я смотрел на сцену, открывшуюся моим взорам: на дом, выделявшийся из самого обыкновенного ландшафта, на зябнущие стены, на окна, подобные глазным

* Его сердце — воздушная лютня, / Прикоснись — и она зазвучит. *Беранже.*[1]— *Примеч. пер.*

впадинам, на кусты густой осоки, на отдельные стволы седых обветшавших деревьев — и душа моя была подавлена унынием, которое я не сравню ни с чем из земных ощущений, разве только с пробуждением от пиршественного сна, навеянного опиумом — с этим горьким внезапным возвратом к будничной жизни, с ненавистным зрелищем, которое вырастает из-за поднимающейся завесы. Сердце замерло, упало, сжалось холодной болью, и фантазия, бессильная осветить мысль, не могла перебросить ни к чему возвышенному непобедимую печаль. Что же это, остановился я в раздумье, что же это неизвестное, что надрывает мою душу при одном только виде Дома Ашеров? Это было тайной неразрешимой, и я не мог бороться против смутных фантастических грез, которые зародились в моем уме, пока я размышлял. Я должен был удовлетвориться тем скудным заключением, что *есть,* несомненно, известные сочетания самых простых естественных предметов, имеющих власть действовать на нас именно таким образом, но что анализ этих сочетаний связан с мыслями, которые теряются в глубине, для нас недоступной. Весьма возможно, размышлял я, что было бы достаточно одного перемещения особенностей этой сцены, отдельных черт картины, для того чтобы изменить или даже совсем уничтожить ее способность производить такое скорбное впечатление. И отвечая на эту мысль, я направил лошадь к обрывистому берегу черного мрачного пруда, недвижно лежавшего перед зданием, и посмотрел вниз — но трепет еще более настойчивый охватил меня, когда я глянул на измененные опрокинутые отражения седой осоки, и призрачных деревьев, и подобных глазным впадинам пустых окон.

Однако в этом-то обиталище печали я предполагал теперь пробыть несколько недель. Его владелец, Родерик Ашер, был одним из веселых товарищей моего детства, но много лет прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз. Несмотря на это, недавно, находясь в отдаленном уголке страны, я получил письмо — письмо от него — полубезумное и такое тягостное, что оно допускало только одну форму ответа — личный приезд. Каждая строка дышала нервным возбуждением. Ашер писал об острых физических страданиях, о душевном расстройстве, которое угнетало его, и о настойчивом желании видеть меня как его лучшего, более того, его

единственного друга, о надежде, что радостное удовольствие быть вместе со мной может несколько облегчить его болезненные муки. Так писал он, в таком тоне было сказано еще многое другое — это *сердце* открывалось и просило ответа; я не мог ни минуты колебаться и отправился на призыв, который все же казался мне весьма необычным.

Хотя в детские годы мы были закадычными друзьями, я почти ничего не знал о моем друге. Он всегда был очень сдержан. Мне было известно, однако, что его род, весьма древний, с незапамятных времен отличался особенной впечатлительностью темперамента, проявившейся через целые поколения в созданиях высокого искусства и обнаружившейся недавно в деяниях неустанной благотворительности, щедрой и деликатной, равно как в страстной любви к музыке, быть может, более к ее трудностям, чем к ортодоксальным очевидным ее красотам. Я знал, кроме того, один достопримечательный факт, именно, что род Ашеров при всей своей древности никогда не имел более или менее живучего отпрыска — другими словами, что происхождение всей фамилии шло по прямой линии, за немногими исключениями, совершенно незначительными и весьма недолговечными. В голове моей промелькнула теперь быстрая мысль о полном соответствии характера местности с установившимся характером ее обитателей; и, рассуждая об их взаимном влиянии, весьма вероятном в течение долгого ряда столетий, я подумал, что, может быть, именно это отсутствие побочной линии, эта последовательная неуклонная передача родового имения от отца к сыну, вместе с именем, обусловила в конце концов тождество между двумя взаимодействующими, настолько полное, что первоначальное название поместья потерялось в причудливом и исполненном двойного смысла наименовании — Дом Ашеров, — наименовании, которое в умах крестьян, его употреблявших, сливало воедино и семью, и фамильный дом.

Я сказал, что единственным результатом моего несколько ребяческого эксперимента — именно того, что я заглянул вниз, в пруд, — было усиление моего первоначального исключительного впечатления. Несомненно, что сознание быстрого возрастания моего суеверия — отчего мне не назвать его так? — значительно ускорило самое возрастание. Таков,

как я уже давно знал, парадоксальный закон всех чувств, имеющих исходной точкой страх; и, быть может, потому-то, когда я опять устремил свой взгляд к дому, от его отражения в пруд, в моем уме возникла странная фантазия — фантазия поистине такая смешная, что я упоминаю о ней лишь с целью указать на силу и живость ощущений, меня угнетавших. Я совершенно явственно увидел — так настроил я свое воображение, — что вокруг всего дома и поместья повисла атмосфера, свойственная только им и всему находившемуся в непосредственной от них близости, — атмосфера, которая не имела сродства с воздухом неба, но медленно исходила от дряхлых дерев, и от серых стен, и от безмолвного пруда — заразительное и мистическое испарение, ленивое, тяжелое, еле заметное, свинцового цвета.

Стряхнув с себя то, что *должно было* быть только сном, я обратил более подробное внимание на действительный вид здания. Его главной особенностью была, по-видимому, глубокая древность. Под влиянием долгого времени оно сильно выцвело. Медные грибки покрывали всю его наружную поверхность, свешиваясь с крыш тонкой перепутанной тканью. Но это отнюдь не было признаком какой-нибудь необычайной обветшалости. Ни одна из частей каменной кладки не обрушилась, и это устойчивое положение их представлялось резким контрастом по отношению к отдельным искрошившимся камням. Во всем было много чего-то такого, что напомнило мне целость старого деревянного изделия, которое долгие годы гнило в каком-нибудь заброшенном подвале, будучи в то же время предохранено от разрушительного действия наружного воздуха. Но, кроме этого указания на внешнее разложение, здание не имело ни малейшего признака непрочности. Быть может, взгляд внимательного наблюдателя открыл бы только еле заметную расщелину, которая, начинаясь от крыши, зигзагом шла по стене фасада и потом терялась в угрюмых водах пруда.

Наблюдая эти особенности, я подъезжал по короткой дорожке к дому. Дежурный слуга взял мою лошадь, и я вошел в прихожую замка с ее готическими сводами. Отсюда безмолвный лакей, неслышно ступая, провел меня через темные и запутанные переходы в *студию* своего хозяина. Многое из того, что я видел проходя, усиливало, не знаю каким образом,

смутное чувство, о котором я уже говорил. Все, что окружало меня: резьба на потолках, темная стенная обивка, эбеновые мрачные полы и бряцанье фантасмагорических боевых трофеев, сотрясавшихся от моих быстрых шагов, — все это или нечто подобное этому было для меня обычным еще с детства, и я без колебаний увидел, что все это знакомо, и все же дивился, чувствуя, какие незнакомые, неведомые грезы возникают во мне при виде этих обыкновенных предметов. На одной из лестниц я встретил домашнего врача. Его лицо, как показалось мне, имело смешанное выражение низкого коварства и смущения. Он первый поспешно подошел ко мне и, поздоровавшись, тотчас же скрылся. Лакей отворил дверь и ввел меня к своему господину.

Комната, в которой я очутился теперь, была очень просторна и высока. Длинные и узкие остроконечные окна находились на таком большом расстоянии от черного дубового пола, что были совершенно недоступны изнутри. Слабые красноватые лучи, проходя через оконные стекла, защищенные решеткой, проливали достаточно света, чтобы сделать явственными наиболее рельефные предметы; но глаз тщетно пытался достичь отдаленных углов комнаты или углублений потолка, украшенного резьбой и раскинувшегося сводами. Тяжелые драпировки висели на стенах. Вся обстановка, старинная и изношенная, отличалась чрезмерностью и отсутствием комфорта. Повсюду кругом были разбросаны книги и музыкальные инструменты, но они не могли хотя сколько-нибудь оживить картину. Я чувствовал, что дышу атмосферой скорби. Все было окутано, надо всем нависло что-то суровое, глубокопечальное и безутешное.

При моем входе Ашер встал с дивана, на котором он лежал во всю длину, и приветствовал меня с живой сердечностью. В первую минуту мне показалось, что в этой живости было много деланой приветливости — вынужденных усилий светского человека. Но одного беглого взгляда на его лицо было для меня достаточно, чтобы убедиться в полной его искренности. Мы сели, и в течение нескольких мгновений, пока он молчал, я глядел на него со смешанным чувством сострадания и страха. О, конечно, никогда ни один человек не изменялся так страшно в такое короткое время! Я не узнавал Родерика Ашера, я не мог поверить, что бледное существо,

находившееся передо мной, и товарищ моего раннего детства — один и тот же человек. Однако лицо его по-прежнему было замечательно. Мертвенная бледность, большие глаза, нежные и необыкновенно блестящие, губы несколько тонкие и очень бледные, но изогнутые удивительно красиво, изящный нос с еврейскими очертаниями, но с широтой ноздрей необычной для подобной формы, очаровательный подбородок, мало выдающийся вперед и этим говорящий о недостатке нравственной энергии, волосы нежней и тоньше, чем паутина, — все эти черты в соединении с необыкновенным развитием лба придавали его лицу выражение, которое нелегко забыть. Теперь же, в самом преувеличении этих отличительных черт и выражении им свойственном, было столько перемен, что я сомневался, кого это я вижу перед собой. Эта новая призрачная бледность кожи и этот новый чудесный блеск глаз больше всего поражали и даже пугали меня. Кроме того, шелковистые волосы росли теперь в полном беспорядке, и, как тысячи тех паутинок, что летают в воздухе, они не падали, а скорее развевались вокруг лица — в них было нечто напоминающее арабески и совершенно чуждое простому представлению о человеческом существе.

Я был сразу поражен бессвязностью, непоследовательностью в манерах моего друга; как я скоро заметил, это происходило от постоянных и бесплодных усилий побороть не покидавший его трепет — крайнее нервное возбуждение, сделавшееся у него обычным. Я ожидал чего-нибудь подобного, я был подготовлен к этому, с одной стороны, письмом, с другой — воспоминанием об известных чертах из детства и заключениями, выведенными из особенностей его физического сложения и темперамента. Все его движения были попеременно то живыми, то ленивыми. Его голос быстро менялся, переходя от трепета нерешительности (когда силы как будто совсем покидали его) к той особенной энергической сжатости — к тем резким, тяжелым, неспешным и глухо звучащим интонациям, к тому гортанному, прекрасно-размеренному и модулированному говору, который можно наблюдать только у неисправимого пьяницы или у закоренелого потребителя опиума в период наиболее сильного возбуждения.

Именно таким голосом говорил Ашер о цели моего приезда, о своем настойчивом желании видеть меня, об облегче-

нии, которого он от меня ожидал. Он подробно и даже несколько длинно распространился относительно того, что он считает истинной природой своей болезни. Это, говорил он, зло фамильное и зависящее от телосложения, он отчаялся найти какое-нибудь средство излечения, это просто нервное возбуждение, прибавил он тотчас же, и, конечно, оно скоро пройдет. Болезнь проявлялась в целом ряде ненормальных ощущений. Некоторые из них заинтересовали меня в его описании и поставили меня в тупик; хотя, быть может, при этом действовали также самые выражения и его манера рассказывать. Он очень страдал от болезненной остроты ощущений: он мог выносить только самую безвкусную пищу, он мог носить платье только из известных тканей, запах каких бы то ни было цветов обременял его, глаза его страдали от самого слабого света, и только некоторые звуки, именно звуки струнных инструментов, не внушали ему ужаса.

Я увидел, что Ашер сделался рабом страха, совершенно ненормального.

— Я погибну, — говорил он, — я *должен* погибнуть от этого жалкого безумия. Так, именно так, а не иначе, суждено мне погибнуть. Я боюсь будущего не из-за его самого, но из-за того, что за ним последует. Я дрожу при мысли о каком-нибудь, даже самом обыкновенном, случае, который может оказать свое действие на это невыносимое душевное возбуждение. Не самой опасности я боюсь, а ее неизбежного спутника — страха. Находясь в этом безнадежном, в этом жалком состоянии, я чувствую, что рано или поздно настанет период, когда я должен буду утратить сразу и жизнь, и рассудок в какой-то борьбе с свирепым призраком, чье имя — *Страх*.

Я познакомился, кроме того, по некоторым отрывистым и неясным намекам с другими своеобразными чертами душевного состояния, которое переживал Ашер. Он был совершенно порабощен какими-то суеверными ощущениями; они были связаны с домом, где он жил и откуда уже много лет не решался выйти, о котором он говорил в выражениях слишком смутных, чтобы их восстановлять здесь. Он говорил, что своим материальным составом и самой формой, семейный дом точно тяжким бременем налег на его душу, что элементы *физические*, эти седые стены, и домовые башни, и темный

пруд, куда они глядели, — наложили свою властную печать на его *внутреннее* существование.

Он допускал, однако, хотя и с некоторым колебанием, что необыкновенная тоска, угнетавшая его, в значительной степени могла проистекать из причины более естественной и гораздо более ощутительной; он разумел тяжелую и давнишнюю болезнь — больше того, очевидную, уже грядущую, смерть его нежно любимой сестры, его единственного товарища за эти долгие годы, единственного и последнего человека на земле, с которым он был связан кровными узами. После ее смерти, проговорил он с таким горьким выражением, что я не забуду его никогда, он (больной и лишенный каких бы то ни было надежд) останется последним из древнего рода Ашеров. В то время как он говорил это, леди Маделина (так называлась она) бесшумно прошла через отдаленную часть комнаты и, не заметив моего присутствия, исчезла. Я глядел на нее с чувством крайнего изумления, нечуждым ужаса, — ощущение, которое я до сих пор так и не мог объяснить сам себе, — следил за ее удаляющимися шагами в состоянии полного оцепенения. Когда же дверь наконец закрылась, я с инстинктивным и жадным любопытством взглянул на ее брата, но он закрыл лицо руками, и я мог только заметить, что бледность, бледность необыкновенная, распространилась по его исхудавшим пальцам, через которые брызнули горькие слезы.

Врачебное искусство уже давно было бессильно перед болезнью леди Маделины. Упорная апатия, постепенное угасание личности и частые, хотя преходящие, припадки каталептического характера, таковы были диагностические данные ее необычайной болезни. До последнего времени она мужественно переносила тягости своей болезни и не хотела обречь себя на лежание в постели, но в день моего приезда, к концу вечера, она покорилась уничтожающей силе разрушителя (как тогда же сообщил мне ее брат в крайнем возбуждении); таким образом мне стало известно, что я видел леди, вероятно, в последний раз, что живую я не увижу ее больше никогда.

Прошло несколько дней, и мы оба — ни я, ни Ашер — ни разу не упоминали ее имени; в течение этих дней я ревностно пытался рассеять меланхолию моего друга. Мы вместе

читали и рисовали, а иногда я, как бы убаюканный, внимал полубезумным импровизациям его красноречивой гитары. И чем теснее и все теснее становилась наша дружба, чем глубже я мог заглянуть в потаенные уголки его души, тем с большей горечью я видел бесплодность каких-либо попыток озарить ум, который был окутан, как свойственной ему стихией, безутешной тьмой, ум, который был напоен мраком, распространявшим на весь нравственный и физический мир свои непобедимые черные лучи.

Мне будут вечно памятны те незабвенные часы, что я провел наедине с владельцем Дома Ашеров. Но было бы тщетной попыткой стараться обрисовать определенно характер тех замыслов или тех занятий, к которым он меня приучил или к которым указал дорогу. Идеальный экстаз, достигший крайних болезненных пределов, освещал все своим сернистым светом. Протяжные, внезапно рождавшиеся песни, которые пел Ашер, будут вечно звучать в моей душе. Среди других похоронных мелодий в моем уме еще до сей поры дрожит безумная ария, странным образом извращающая и дополняющая один из последних вальсов Вебера. А эти картины, которые создавала его изысканная фантазия, каждым новым штрихом они облекались какой-то смутностью, заставлявшей меня трепетать все сильней и сильней именно потому, что я не знал причин этого трепета. Как живые образы они еще стоят передо мной, но напрасно было бы стараться вложить более чем самую ничтожную их часть в написанные слова. Он приковывал и пугал внимание крайней обнаженностью, простотой своих замыслов. Если когда-нибудь кто-нибудь из смертных нарисовал идею, этот смертный был Родерик Ашер. По крайней мере, на меня — при обстоятельствах, тогда меня окружавших, — веяло непобедимым ужасом от этих чистых отвлечений, которые ипохондрик старался положить на полотно; даже и тени таких ощущений я не испытывал при созерцании грез Фюзели[2], блестящих, но все еще слишком конкретных.

Один из фантастических замыслов моего друга, не так строго проникнутый духом отвлечения, может быть очерчен в словах, хотя лишь очень смутно. Небольшая картина изображала внутренность бесконечно длинного и прямоугольного склепа или туннеля с низкими гладкими белыми стенами

без всяких выступов или украшений. Некоторые подробности рисунка давали возможность думать, что это углубление находится на огромной глубине под земной поверхностью. Ни одного отверстия не было заметно на всем его обширном пространстве, не было также видно ни факела, ни какого-нибудь другого искусственного источника света, но поток ярких лучей проникал весь туннель, заливая его фантастическим неестественным блеском.

Я говорил, что слух моего друга находился в болезненном состоянии, делавшем для него всякую музыку несносной, за исключением известных звуковых сочетаний, получавшихся от струнных инструментов. Быть может, именно то обстоятельство, что он ограничил свой талант узкой сферой игры на гитаре в значительной степени обусловило фантастический характер его музыкальных мелодий. Но что касается лихорадочной *легкости* его мгновенных *импровизаций,* она не может быть истолкована данным обстоятельством. Эти необузданные фантазии с особенным подбором звуков, а также и слов (музыка нередко сопровождалась стихотворными импровизациями), были результатом той напряженной умственной сосредоточенности и самозамкнутости, которая, как я уже говорил, проявляется лишь при условии исключительных моментов крайнего искусственного возбуждения. Я легко запомнил слова одной рапсодии. Быть может, она потому особенно поразила меня, что я, как мне показалось, благодаря ее скрытому или мистическому смыслу впервые понял тогда одно обстоятельство, а именно: как мне почудилось, Ашер вполне сознавал, что его царственный разум колеблется на своем троне. Стихи назывались «Заколдованный замок» и звучали приблизительно или даже в точности так:

I

В самой зеленой из наших долин,
Где обиталище духов добра,
Некогда замок стоял властелин,
Кажется, высился только вчера.
Там он вздымался, где Ум молодой
Был самодержцем своим.
Нет, никогда над такой красотой
Не раскрывал своих крыл Серафим!

II

Бились знамена, горя как огни,
Как золотое сверкая руно.
(Все это было в минувшие дни,
Все это было давно).
Полный воздушных своих перемен,
В нижнем сиянии дня
Ветер душистый вдоль призрачных стен
Бился, крылатый, чуть слышно звеня.

III

Путники, странствуя в области той,
Видели в два огневые окна
Духов, идущих певучей четой,
Духов, которым звучала струна,
Вкруг того трона, где высился он.
Багрянородный герой
Славой, достойной его, окружен,
Царь над волшебною этой страной.

IV

Вся в жемчугах и рубинах была
Пышная дверь золотого дворца,
В дверь все плыла, и плыла, и плыла,
Искрясь, горя без конца,
Армия Откликов, долг чей святой
Был только славить его.
Петь с поражающей слух красотой
Мудрость и силу царя своего.

V

Но злые созданья в одеждах печали
Напали на дивную область царя.
(О, плачьте, о, плачьте! Над тем, кто в опале,
Ни завтра, ни после не вспыхнет заря!)
И вкруг его дома та слава, что прежде
Жила и цвела в обаяньи лучей,
Живет лишь как стон панихиды надежд,
Как память едва вспоминаемых дней.

VI

И путники видят, в том крае туманном
Сквозь окна, залитые красною мглой,
Огромные формы в движении странном,
Диктуемом дико-звучащей струной,
Меж тем как противные, быстрой рекою
Сквозь бледную дверь, за которой Беда,
Выносятся тени и шумной толпою,
Забывши улыбку, хохочут всегда.

Я хорошо помню, что впечатление, получившееся от этой баллады, навеяло на нас целый ряд мыслей, причем выяснилось одно интересное воззрение Ашера, на которое я указываю теперь не столько в силу его новизны (ибо и другие* высказывали то же), сколько по причине упорства, с каким Ашер настаивал на нем. В общем, это воззрение сводилось к признанию за растительным миром способности чувствовать. Но в расстроенной фантазии больного эта идея приняла более смелый характер и была перенесена с известными оговорками в мир неорганический. У меня нет слов, чтобы выразить полноту его убеждения или силу *самозабвения* его в этом. Оно соединялось (как я уже намекнул) с серыми камнями, из которых был выстроен дом его предков. Способность чувствовать, говорил он, была обусловлена в данном случае известной формой соединения этих камней — порядком их сочетания, а равно и множеством *грибков*, распространявшихся по их поверхности, и ветхими деревьями, стоявшими вокруг, — больше всего она сказывалась в продолжительной неприкосновенности всего этого сочетания и в его двойном существовании, созданном недвижными водами пруда. Очевидность этого — очевидность того, что все это чувствует, — проявлялась, как он сказал (и тут я невольно дрогнул), в постепенном и несомненном уплотнении над водами и вокруг стен их собственной атмосферы. Результат всего этого, прибавил он, обнаруживался еще и в том безмолвном, но фатальном влиянии, которое в течении веков определило судьбы его рода и сделало из *него* то, что я видел, то,

* Уотсон, д-р Персиваль, Спалланцани и в особенности епископ Ландафф[3]. См. «Очерки по химии», том V. — *Примеч. автора.*

чем он был. Такие воззрения не нуждаются в комментариях, и я не буду их делать.

Книги, которые мы читали — книги, являвшиеся в продолжение целых лет постоянными участниками умственной жизни больного, — были, понятно, в строгом соответствии с характером таких видений. Мы вместе размышляли над произведениями вроде «Вер-Вер» и «Монастырь» Грессе; «Бельфагор» Макиавелли; «Небо и ад» Сведенборга; «Подземное путешествие Николаса Климма» Хольберга; «Хиромантия» Роберта Фладда, Жана д'Эндажине и Делашамбра; «Путешествие в голубую даль» Тика; «Город Солнца» Кампанеллы. Одной из излюбленных книг был небольшой томик in-octavo* *Directorium Inquisitorum* доминиканского монаха Эймерика де Жиронна[4]. По целым часам Ашер грезил также над некоторыми страницами Помпония Мелы[5], где описываются древние африканские сатиры. Но главной, наиболее заманчивой его усладой было постоянно перечитывать любопытную и необычайно редкую книгу in-quarto** готической печати — молитвенник какой-то позабытой церкви — *Vigiliae Mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae.*

Я не мог не подумать о странном ритуале, описанном в книге и об его вероятном влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером Ашер отрывисто сообщил мне, что леди Маделины уже нет в живых и что он намерен в течение двух недель (до окончательного погребения) сохранять тело в одном из многочисленных склепов, расположенных под тяжелыми ставнями здания. Я не чувствовал себя в праве спорить против чисто мирского соображения, высказанного им. Как брат (сказал он мне) я принял такое решение, благодаря необычайному характеру болезни, сразившей покойницу, благодаря назойливым и усиленным расспросам ее доктора, а также отдаленности и открытости фамильного склепа. Не могу отрицать, что, когда я вспомнил зловещее лицо, которое я встретил на лестнице, в первый день моего проезда, у меня пропала всякая охота спорить против того, что представлялось мне самой невинной и в то же время естественной предосторожностью.

---

* In-octavo — восьмая доля листа (*лат.*). — *Примеч. ред.*

** In-quatro — четвертая доля листа (*лат.*). — *Примеч. ред.*

По просьбе Ашера я сам помог ему устроить это временное погребение. Тело было положено в гроб, и мы вдвоем отнесли его в место успокоения. Склеп, куда мы положили тело, не открывался в течение стольких лет, что, когда мы вошли в него, наши факелы наполовину погасли в этой удушливой атмосфере, и мы с трудом могли рассмотреть что-нибудь. В эту сырость и тесноту не было доступа дневному свету. Склеп был расположен очень глубоко и как раз под той частью здания, где находилась моя спальня. В отдаленные времена феодализма он, очевидно, служил для иных, худших целей, а позднее превратился из подземной темницы в складочное место пороха или каких-нибудь других легковоспламеняемых веществ, так как часть пола и вся внутренность длинного свода, через который мы пришли сюда, были тщательно обиты медью. Массивная железная дверь была предохранена подобным же образом. Повернувшись на своих петлях, эта тяжелая громада издала какой-то необыкновенно резкий пронзительный скрип.

Сложив на подставки траурную ношу в этом царстве ужаса, мы отодвинули немного в сторону еще незавинченную крышку гроба и взглянули на лицо усопшей. Поразительное сходство между братом и сестрой только теперь впервые бросилось мне в глаза, и Ашер, быть может, угадав мои мысли, пробормотал несколько слов, из которых я узнал, что покойница и он были близнецами и что между ними всегда существовала горячая симпатия, по природе своей едва ли постижимая. Наши взоры, однако недолго, были прикованы к лицу усопшей — мы не могли смотреть на него без чувства трепета. Болезнь, погубившая леди в расцвете юности, как бы в насмешку оставила слабую краску на щеках и на груди покойницы, как это неизменно бывает при всех болезнях каталептического характера, а также эту нерешительную, точно на что-то намекающую, улыбку, которую так ужасно видеть на мертвом лице. Установив и привинтив крышку, мы заперли железную дверь и, измученные, отправились в верхние покои дома, вряд ли менее мрачные.

И вот после нескольких дней горькой печали характер душевного расстройства, которое угнетало моего друга, заметно изменился. Исчезла его обычная манера сдерживать себя. Обычные его занятия были заброшены или забыты.

Бесцельно переходил он из комнаты в комнату быстрыми и неровными шагами. Бледность его лица как будто сделалась еще более призрачной, но лучистый блеск его глаз совершенно потух. Тон его голоса утратил ту резкость, которая иногда слышалась прежде, и ее место занял трепет волнения, точно продиктованный чувством крайнего ужаса. Были минуты, когда мне положительно казалось, что беспрерывно возбужденный ум больного был угнетен какой-то мучительной тайной, сообщить которую он никак не решался. Временами же я опять приходил к заключению, что все это необъяснимые причуды безумия, так как по целым часам он смотрел в пространство в позе глубочайшего внимания, как бы стараясь уловить слухом какой-то воображаемый звук. Удивительно ли, что его душевное состояние наполнило меня страхом, заразило меня. Я чувствовал, как на меня медленно ползут, как меня неотступно захватывают его суеверные и властные фантазии.

Полную власть таких ощущений я особенно сильно испытал на седьмой или восьмой день, после того как мы положили труп леди Маделины в склеп. Поздно ночью я лег спать. Бежали мгновенья, уходили часы, а сна все не было. Я старался трезвыми рассуждениями утишить нервное возбуждение, охватившее меня. Я говорил себе, что, вероятно, многое из того, что я чувствовал, если только не все, было навеяно чарами мрачной обстановки: этими темными и оборванными завесами, которые, как бы неохотно повинуясь дыханию зарождающейся бури, порывами вздрагивали на стенах и скорбно шелестели вкруг резного алькова. Но тщетны были мои усилия. Неотступный страх все больше проникал в мою душу, и наконец беспричинная тревога налегла мне на сердце, как инкубус. Я сделал усилие, стряхнул его, приподнял голову от подушки и, устремив пронзительный взгляд в темноту, стал прислушиваться — сам не знаю почему, быть может, инстинктивно — к каким-то глухим и неопределенным звукам, которые долетали неизвестно откуда с большими паузами в промежутки, когда буря затихала. Охваченный острым чувством ужаса, непонятного и невыносимого, я быстро накинул на себя платье (ибо я знал, что мне уже не уснуть) и, принявшись быстро шагать взад и вперед по ком-

нате, старался вывести себя из жалкого состояния, охватившего меня так неожиданно.

Но едва я прошелся таким образом несколько раз, как внимание мое было привлечено мягкими шагами, послышавшимися на ближайшей лестнице. Я тотчас же узнал, что это Ашер. Через мгновение он слегка постучался в мою дверь и вошел с лампой в руке. Лицо его было, по обыкновению, мертвенно-бледно, но, кроме того, в его глазах было какое-то выражение бешеной веселости — все черты носили явную печать сдержанного *истерического* возбуждения. Его вид ужаснул меня, но что бы ни случилось, все было предпочтительнее того одиночества, которое я так долго выносил. И когда он вошел, я почувствовал некоторое облегчение.

— И вы не видели? — резко проговорил он, после того как несколько мгновений безмолвно и пристально смотрел вокруг себя. — Так вы не видели? Но, постойте! сейчас!

Тщательно загородив лампу, он бросился к одному из окон, которые можно было открывать, и распахнул его настежь — в бурю и тьму.

Вихрь, со страшным бешенством ворвавшийся в комнату, чуть не приподнял нас с полу. Бурная мрачно-прекрасная ночь была поистине безумной и необычайной в своем ужасе и в своей красоте. Не было сомнения, что смерч собрал все свои силы где-нибудь неподалеку от нас, потому что в направлении ветра были частые и резкие перемены, и поразительная густота облаков (висевших так низко, что они как бы давили своей тяжестью башенки дома) не мешала нам видеть, как они мчатся с яростной быстротой друг на друга со всех концов, собираясь и не убегая в пространство.

Я говорю, что даже их поразительная густота не мешала нам видеть это — между тем не было проблеска звезд или месяца, не было и ни одной вспышки молнии. Но нижняя поверхность возмущенных паров, выраставших исполинскими клубами, а также и все земные предметы, непосредственно нас окружавшие, блистали неестественным светом газовых испарений, которые окутывали весь дом саваном, слабо мерцавшим и совершенно явственным.

— Вы не должны смотреть на это, не смотрите, не смотрите! — вскричал я, весь дрожа, и, с ласковым насилием отведя своего друга от окна, усадил его в кресло. — Зачем вы так

волнуетесь? Ведь все это не более как электрические явления, не представляющие из себя ничего особенного, а может быть, это мрачное зрелище обусловлено нездоровыми миазмами, выделяющимися из пруда. Давайте закроем окно, холодный воздух вреден для вас. Вот здесь один из ваших излюбленных романов. Я буду читать, а вы слушайте, и мы вместе проведем эту ужасную ночь.

Старинный том, который я взял, назывался «Безрассудное свидание» и принадлежал перу сэра Лонселота Кеннинга[5]. Но, назвав эту книгу излюбленной книгой Ашера, я хотел сказать скорее горькую шутку, нежели что-нибудь серьезное, ибо в наивной и неуклюжей болтливости этого романа было весьма мало привлекательного для его высокого и идеального ума. Это была, однако, единственная книга, находившаяся под рукой, и я лелеял смутную надежду, что возбуждение, которое переживал ипохондрик, немного уляжется (история мозговых расстройств полна таких аномалий) именно в силу преувеличенности безумных фантазий, рассказанных в данном произведении. Судя по тому странному и напряженному вниманию, с которым больной слушал чтение или делал вид, что слушал, я мог поздравить себя с успехом.

Я дошел до той известной сцены, где герой повествования, Этельред, после тщетных попыток найти мирный доступ в жилище отшельника, решается проникнуть туда силой. Как читатель может припомнить, слова рассказа в этом месте таковы:

«И Этельред, обладавший от природы сердцем мужественным и бывший тогда весьма силен от могущества выпитого им вина, не стал больше ждать да вести переговоры с отшельником, как видится коварным и упорным, но, чувствуя у себя за плечами дождь и думая, как бы не разыгралась буря, взмахнул он своей палицей и двумя-тремя ударами пробил отверстие в двери и просунул туда руку, одетую в железную перчатку; и изо всей силы дернул он к себе дверь, и треснула она, и расщепилась, и разлетелась в куски, и треск и шум раздался кругом, и глухое эхо прокатилось в лесу».

Окончив этот отрывок, я вздрогнул и на мгновение остановился: мне показалось (хотя я тотчас же заключил, что это обман моего расстроенного воображения) — мне показалось,

что издалека, из очень отдаленной части дома, до слуха моего донесся неясный звук, как бы заглушенное подавленное эхо того самого треска и грохота, которые так подробно описал сэр Лонселот. Внимание мое, несомненно, было привлечено именно этим совпадением, потому что среди треска окон и обычного смутного шума все возраставшей бури, звук сам по себе, конечно, не заключал в себе ничего, что могло бы заинтересовать меня или смутить. Я продолжал чтение:

«Но славный рыцарь Этельред, войдя через дверь, был разгневан и изумлен, видя, что коварного отшельника нет и в помине, а вместо него — дракон, покрытый чешуей, и вида чудовищного, и с огненным языком, сторожит золотой дворец с серебряным полом; и на стене там висел щит из желтой блестящей меди, а на нем круговая надпись:

Кто дверь разбил, победителем был;

Кто дракона убьет, тот щит себе возьмет.

И взмахнул Этельред своей палицей, и ударил дракона в голову, и тот упал перед ним, и испустил свой заразный дух с криком таким страшным и таким пронзительным, что поневоле Этельред закрыл себе уши руками, дабы предохранить себя от страшного шума, подобного которому он никогда не слышал».

Здесь я опять быстро остановился, и на этот раз с чувством крайнего изумления, ибо не было ни малейшего сомнения, что теперь я действительно слышал звук (откуда он доносился, я не мог определить), звук заглушенный и, очевидно, далекий, но резкий, протяжный и необыкновенно скрипучий или пронзительный — совершенный двойник того неестественного крика, с которым умер легендарный дракон и который уже был создан в моей фантазии.

При этом втором и совершенно непостижимом совпадении я был смущен целым множеством противоречивых ощущений, среди которых удивление и ужас были господствующими; все же у меня нашлось еще настолько присутствия духа, что я не сделал никакого замечания, боясь возбудить чуткую нервозность моего товарища. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя, правда, странная перемена произошла в его внешнем виде за эти немногие минуты. Раньше он сидел против меня, потом мало-помалу повертываясь на кресле, он обратился лицом прямо к двери; таким

образом, теперь я мог только отчасти видеть черты его лица, но мне было видно, что его губы дрожат, как будто он что-то неслышно шептал. Голова его свесилась на грудь, но я знал, что он не спал, по его профилю можно было судить, что глаза его широко раскрыты и смотрят пристальным взглядом. Кроме того, самое движение его тела исключало мысль о сне: он качался из стороны в сторону чуть заметно, но неустанно и однообразно. Быстро подметив все это, я продолжал повествование сэра Ланселота:

«И тут-то мужественный рыцарь, избегнув страшной ярости дракона и вспомнив о медном щите и о разрушенном волшебстве, что было над ним, отодвинул с дороги труп и смело подошел по серебряному полу замка к стене, на которой висел щит; и еще не успел он подойти вплоть, как щит сам упал к его ногам на серебряный пол со страшным дребезжанием и тяжким грохотом».

Едва замерли в воздухе эти слова, как вдруг — точно медный щит действительно упал в это мгновенье на серебряный пол — я услышал явственный повторный удар, металлический, гулкий и дребезжащий, но, очевидно, заглушенный. Вне себя я вскочил с места, но Ашер, как ни в чем не бывало, продолжал ритмически покачиваться. Я бросился к креслу, на котором он сидел. Его глаза смотрели неподвижно, все черты застыли в каменном спокойствии. Но лишь только я положил свою руку к нему на плечо, по всему телу его пробежала судорожная дрожь, жалкая улыбка затрепетала на его губах, и я услыхал быстрый невнятный шепот; глотая слова, Ашер говорил тихо-тихо и как бы не сознавал моего присутствия. Наклонившись над ним к самому его лицу, я проник наконец в чудовищный смысл его слов.

— Не слышите? Нет, я слышу и *раньше* слышал. Давно-давно-давно — шли минуты, шли часы, шли дни — я слышал, но я не смел — о, сжальтесь, сжальтесь надо мной! — я не смел, я не *смел* говорить! *Мы похоронили ее заживо!* Разве я не говорил, что мои чувства остры? Я говорю вам *теперь, я* слышал, как она в первый раз зашевелилась в своем впалом гробу. Я слышал — много, много дней тому назад — но я не смел, *я не смог говорить!* И вот нынче ночью — Этельред — а! — разломилась дверь отшельника, и дракон закричал, умирая, и щит загремел! Скажите лучше: ее гроб разломился, и

железные петли ее тюрьмы заскрипели, и она сама стала биться под медными сводами. О, куда мне убежать? Разве она не придет сюда сейчас? Разве она побежит сюда, чтоб упрекать меня за мою поспешность? Вот, вот я слышу ее шаги на лестнице! Вот, вот я слышу, как тяжело и страшно бьется ее сердце! Сумасшедший!

Он бешено вскочил с места и выкрикнул свое бормотанье, словно в этом громадном усилии испуская последний дух:

— *Сумасшедший! Я говорю вам, что она стоит теперь за дверью!*

И как будто сверхчеловеческая энергия его слов приобрела силу волшебства — тотчас же ветхая стенная вставка, на которую указывал Ашер, медленно раздвинула свои тяжелые эбеновые челюсти. То было действием порывистого вихря — но из-за этой двери *предстала* высокая, окутанная саваном фигура леди Маделины Ашер. На ее белом одеянии виднелась кровь, и вся ее изможденная фигура носила следы тяжелой борьбы. На мгновенье она остановилась на пороге, дрожа и шатаясь, потом с глухим и жалобным криком она тяжело упала впереди на брата и в своей судорожной и на этот раз окончательной смертной агонии увлекла его наземь, труп и жертву предвкушенного страха.

Я в ужасе бежал из этой комнаты и из этого дома. Буря все еще свирепела в своем неистовстве. Я пересекал старое шоссе, как вдруг вдоль дороги блеснул странный свет, и я обернулся, чтобы посмотреть, откуда может исходить такое необыкновенное сияние, потому что за мной не было ничего, кроме обширного дома и его теней. Свет исходил от кроваво-красного полного месяца, который, опускаясь к горизонту, ярко блистал теперь через расщелину, прежде едва заметную и проходившую, как я говорил, в виде зигзага от крыши дома до его основания. Пока я глядел, эта расщелина быстро расширялась; смерч поднялся с новой силой; шар месяца весь целиком предстал перед моими глазами; голова у меня закружилась, я увидал, что мощные стены распадаются, рушатся; послышался долгий бушующий шум, подобный возгласу тысячи источников, и темные воды глубокого пруда угрюмо и безмолвно сомкнулись над обломками *Дома Ашеров.*

СЕРДЦЕ-ИЗОБЛИЧИТЕЛЬ

Да! я очень, очень нервен, страшно нервен; но почему *хотите* вы утверждать, что я сумасшедший? Болезнь обострила мои чувства, отнюдь не ослабила их, отнюдь не притупила. Прежде всего чувство слуха всегда отличалось у меня особенной остротой. Я слышал все, что делалось на небе и на земле. Я слышал многое из того, что делалось в аду. Какой же я сумасшедший? Слушайте! Вы только слушайте и наблюдайте, как трезво и спокойно я могу все рассказать.

Невозможно определить, каким образом эта мысль первый раз пришла мне в голову; но, раз придя, она преследовала меня и днем и ночью. Цели тут не было никакой. Страсти не было никакой. Я любил старика. Он никогда не делал мне зла. Он никогда меня не оскорблял. Денег его я не хотел. Я думаю, что во всем был виноват его глаз! Да, именно так! Один его глаз был похож на глаз ястреба — бледно-голубого цвета, с бельмом. Каждый раз, когда он смотрел на меня этим глазом, кровь во мне холодела, и вот мало-помалу, постепенно, мной овладела мысль убить старика и этим путем раз и навсегда освободиться от его глаза.

Так вот в чем дело. Вы забрали себе в голову, что я сумасшедший. Сумасшедшие не знают ничего. Но вы бы только посмотрели *на меня*. Вы бы только посмотрели, как умно я все устроил — с какой осторожностью — с какой предусмотрительностью, с каким притворством я принялся за дело! Никогда я не был более предупредителен к старику, нежели в течение целой недели перед *тем*, как я его убил. И каждую ночь, около полуночи, я повертывал защелку его двери и открывал ее — о, как тихо! И потом, когда отверстие было достаточно широко, чтобы пропустить мою голову, я протягивал туда потайной фонарь, совершенно закрытый, закрытый настолько, что ни луча оттуда не просвечивало, и тогда я просовывал в дверь свою голову. Вот бы вы рассмеялись, если бы увидели, с какой ловкостью я ее просовывал! Я подвигал ее медленно, очень-очень медленно, чтобы не потревожить сон старика. Проходил целый час, прежде чем *я* просовывал голову настолько, чтобы видеть, как он лежит в своей постели. А! Разве сумасшедший мог бы быть так благоразумен? И затем, когда голова моя была в комнате, я осторожно

открывал фонарь — о, так осторожно — так осторожно (потому что пружина скрипела), я открывал его как раз настолько, чтобы один тонкий луч упал на ястребиный глаз. И я делал это целых семь долгих ночей, каждую ночь, ровно в полночь, но глаз всегда был закрыт, и, таким образом, мне было невозможно совершить дело, потому что не старик меня мучил, а его *дурной глаз.* И каждое утро, когда наступал день, я спокойно входил в его комнату и оживленно разговаривал с ним, ласково называл его по имени и спрашивал, как он провел ночь. Вы видите, старик должен был бы обладать очень большой проницательностью, чтобы подозревать, что каждую ночь, ровно в двенадцать часов, я смотрел на него, покуда он спал.

На восьмую ночь я опять пошел, и на этот раз открывал дверь с еще большей осторожностью, чем прежде. Минутная стрелка на часах двигается быстрее, чем двигалась тогда моя рука. Никогда до этой ночи не *чувствовал* я размеров моих сил, моей предусмотрительности. Я едва мог сдерживать торжествующий восторг. Подумать только, я тут потихоньку открываю дверь, а ему даже и не снятся мои тайные дела и мысли. Когда пришло мне в голову, я засмеялся чуть внятным, прерывистым смехом, и, быть может, он услыхал меня, потому что он внезапно повернулся на постели, как бы вздрогнув. Вы, пожалуй, подумаете, что я удалился — нет. В его комнате ни зги не видно было (ставни были плотно заперты, он боялся воров), и я знал, что он не мог видеть открытой двери, и я все ее открывал, так спокойно, так спокойно.

Я уже просунул голову в комнату и готовился открыть фонарь, как вдруг мой большой палец скользнул по жестяной задвижке, и старик вскочил на постели, вскрикнув: «Кто там?»

Я был неподвижен и не говорил ни слова. В продолжение целого часа я не двинулся ни одним мускулом, и все время слышал, что он не ложился. Он все еще сидел на своей постели и слушал; совершенно так же, как ночь за ночью я слушал здесь тиканье стенного жучка-точильщика.

Но вот я услыхал слабый стон, и я знал, что это был стон смертельного страха. То не был стон муки или печали — о, нет! — то был тихий, заглушенный звук, который исходил из

глубины души, когда она подавлена ужасом. Я хорошо знал этот звук. Много ночей, ровно в полночь, когда весь мир спал, он вырывался из моей груди, усиливая своим чудовищным откликом ужасы, терзавшие меня. Я говорю, я знал его хорошо. Я знал, что чувствовал старик, и мне было его жалко, хотя в сердце моем дрожал судорожный смех. Я знал, что он не спал с того самого мгновения, когда легкий шум заставил его повернуться в постели. С этого мгновения страх все больше наползал на него. Он старался убедить себя, что опасения напрасны, но не мог. Он говорил себе: «Это ничего, это только ветер в камине, это только мышь пробежала по полу» или «Это только крикнул сверчок, он только раз крикнул». Да, он старался успокоить себя такими догадками; но видел, что все тщетно. *Все тщетно,* потому что Смерть, приближаясь к нему, прошла перед ним со своей черной тенью и окутала жертву. И именно это зловещее влияние незримой тени заставило его чувствовать, хотя он ничего не видел и не слышал, *чувствовать* присутствие моей головы в комнате.

Я выждал очень терпеливо значительный промежуток времени, но, слыша, что старик не ложится, я решил открыть в фонаре маленькую щелку — очень-очень маленькую. Я стал ее открывать — вы представить себе не можете, до какой степени бесшумно, *бесшумно* — и наконец, отдельный бледный луч, похожий на вытянутую паутинку, выделился из щели и упал на ястребиный глаз.

Он был открыт, широко-широко открыт, и я пришел в ярость, увидев его. Я видел его совершенно явственно — это был тускло-голубой глаз с отвратительным налетом, который заморозил кровь в моих жилах, но я не видал ничего другого, ни черт его лица, ни его тела, потому что как бы по инстинкту я направил луч света как раз на проклятое пятно.

Ну и что же, разве я вам не говорил, что то, что вы считаете сумасшествием, есть лишь утонченность моих чувств? Я услышал тихий, глухой, быстрый звук, подобный тиканью карманных часов, завернутых в вату. *Этот* звук я знал, отлично знал я его. Это билось сердце старика. Быстрый звук усилил мое бешенство, как звук барабанного боя усиливает мужество солдата.

Но и тут я еще сдержался и продолжал стоять неподвижно. Я едва дышал. Фонарь застыл в моих руках. Я пробовал,

как упорно могу я устремлять луч света на глаз. А сердце все билось, эта дьявольская музыка все усиливалась. С каждым мигом звук делался быстрее и быстрее, он делался все громче и громче. *Надо думать,* что старик был испуган до последней степени! Сердце билось все громче, говорю я, все громче с каждым мигом!

Вы хорошо следите за мной? Ведь я вам говорил, что я нервен: да, я нервен. И теперь, в этот смертный час ночи, посреди мертвой тишины старинного дома, этот странный шум исполнил меня непобедимым ужасом. Однако еще несколько минут я сдерживал себя и стоял спокойно. Но сердце билось все громче, все громче! Я думал, что оно разорвется. И тут новая забота охватила меня — этот звук могли услышать соседи! Час старика пришел! С громким воплем я раскрыл фонарь и бросился в комнату. Он крикнул — крикнул только раз. В одно мгновение я сошвырнул его на пол и сдернул на него тяжелую постель. И тут я весело улыбнулся, видя, что дело идет так успешно. Но несколько минут сердце продолжало биться, издавая заглушенный звук. Этот звук, однако, больше не мучил меня; его нельзя было услышать через стены. Наконец он прекратился. Старик был мертв. Я сдвинул постель и осмотрел тело. Да, он был совершенно, совершенно мертв. Я приложил руку к его сердцу и держал ее таким образом несколько минут. Пульса не было. Он был совершенно мертв. Его глаз не будет больше меня тревожить.

Если вы еще продолжаете думать, что я сумасшедший, вы разубедитесь, когда я опишу вам все меры предосторожности, которые я предпринял, чтобы скрыть труп. Ночь уходила, и я работал быстро, но молчаливо.

Я вынул три доски из пола комнаты и положил труп между драницами. Потом я опять укрепил доски так хорошо, так аккуратно, что никакой человеческий глаз — даже и *его* — не мог бы открыть здесь ничего подозрительного. Ничего не нужно было замывать — ни одного пятна — ни одной капли крови. Я был слишком предусмотрителен для этого.

Когда я все закончил, было четыре часа — на дворе было еще темно, как в полночь. В ту самую минуту, когда били часы, с улицы раздался стук в наружную дверь. С легким сердцем я пошел отворить ее — чего мне было бояться *теперь?*

Вошли три человека и с большой учтивостью представились мне, называя себя полицейскими чиновниками. Один из соседей слышал ночью крик; возникло подозрение, не случилось ли какого злого дела; полиция была об этом извещена, и вот они (полицейские чиновники) были отправлены произвести обыск.

Я улыбался — *чего* мне было бояться? Я попросил джентльменов пожаловать в комнаты. Закричал это я сам, сказал я, закричал во сне. А старика, сообщил я, нет дома, он на время уехал из города. Я провел посетителей по всему дому. Я просил их обыскать все — обыскать хорошенько. Я провел их, наконец, в *его* комнату. Я показал им все его драгоценности, они были целы и лежали в своем обычном порядке. Охваченный энтузиазмом своей уверенности, я принес стулья в эту комнату и пожелал, чтобы именно *здесь* они отдохнули от своих поисков, между тем как я сам, в дикой смелости полного торжества, поставил свой собственный стул как раз на том самом месте, под которым покоилось тело жертвы.

Полицейские чиновники были удовлетворены. Мои *манеры* убедили их. Я чувствовал себя необыкновенно хорошо. Они сидели и, между тем как я весело отвечал, болтали о том о сем. Но прошло немного времени, я почувствовал, что бледнею, и искренно пожелал, чтобы они поскорее ушли. У меня заболела голова, и мне показалось, что в ушах моих раздался звон; но они все еще продолжали сидеть, все продолжали болтать. Звон стал делаться явственнее — он продолжался и делался все более явственным: я начал говорить с усиленной развязностью, чтобы отделаться от этого чувства, но звон продолжался с неуклонным упорством — он возрастал, и, наконец, я понял, что шум был не в моих ушах.

Не было сомнения, что я *очень* побледнел; но я говорил все более бегло, я все более повышал голос. Звук возрастал — что мне было делать? Это был *тихий, глухой, быстрый звук — очень похожий на тиканье карманных часов, завернутых в вату*. Я задыхался — но полицейские чиновники не слыхали его. Я продолжал говорить все быстрее — все более порывисто; но шум упорно возрастал. Я вскочил и стал разглагольствовать о разных пустяках, громко и с резкими жестикуляциями; но шум упорно возрастал. Почему они *не хотели* ухо-

дить? Тяжелыми, большими шагами я стал расхаживать взад и вперед по комнате, как бы возбужденный до бешенства наблюдениями этих людей — но шум упорно возрастал. О, Боже! *что* мне было делать? Я кипятился — я приходил в неистовство — я клялся! Я дергал стул, на котором сидел, и царапал им по доскам, но шум поднимался надо всем и беспрерывно возрастал. Он становился все громче — громче — *громче!* А они все сидели, и болтали, и улыбались. Неужели они не слыхали? Боже всемогущий! — нет, нет! Они слышали! — они подозревали! — они *знали!* — они насмехались над моим ужасом! — я подумал это тогда, я так думаю и теперь. Но что бы ни случилось, все лучше, чем эта агония! Я все мог вынести, только не эту насмешку! Я не мог больше видеть эти лицемерные улыбки, чувствовал, что я должен закричать или умереть! — и вот — *опять*! — слышите! — громче! громче! громче! *громче!*

«Негодяи! — закричал я, — не притворяйтесь больше! Я сознаюсь в убийстве! — сорвите эти доски! Вот здесь! здесь! — вы слышите, это бьется его проклятое сердце!»

БЕРЕНИКА

Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas.

*Ebn Zaiat**

Несчастие — многообразно. Злополучие земли — многоформенно. Простираясь над гигантским горизонтом как радуга, оттенки его так же разнородны, как оттенки этой разноцветной арки, и так же отличительны, и так же нераздельно слиты воедино. Простираясь над гигантским горизонтом, как радуга! Каким образом из области красоты я заимствовал образ чего-то отталкивающего? Символ умиротворенья превратил в уподобление печали? Но как в мире нравствен-

* Говорили мне сотоварищи, что, если бы я посетил могилу подруги, я несколько облегчил бы свои печали. *Ибн-Зайат*[1]. — *Примеч. пер.*

ных понятий зло является последствием добра, так в действительности из радости рождаются печали. Или воспоминание о благословенном прошлом наполняет пыткой настоящее, или муки, терзающие *теперь*, коренятся в безумных восторгах, которые *могли быть*.

При крещении мне дано было имя Эгей, своего фамильного имени я не буду упоминать. Но во всей стране нет замка более старинного, чем мои суровые седые родовые чертоги. Наш род был назван расой духовидцев; и такое мнение, более чем явственно, подтверждалось многими поразительными особенностями покоев, резьбой, украшавшей некоторые колонны в фехтовальной зале, но в особенности картинной галереей, состоявшей из произведений старинных мастеров, внешним видом библиотеки и, наконец, совершенно своеобразным подбором книг.

Воспоминания самых ранних лет связаны в моем уме с этой комнатой и с ее томами, о которых я не хочу говорить подробнее. Здесь умерла моя мать. Здесь я родился. Но было бы напрасно говорить, что я не жил *раньше*, что душа моя не имела первичного существования. Вы отрицаете это? Не будем спорить. Будучи убежден сам, я не стараюсь убеждать других. Есть, впрочем, одно воспоминание, которое не может быть устранено, воспоминание о каких-то воздушных формах, о бестелесных глазах, исполненных значительности, о звуках горестных, но музыкальных. Воспоминание, подобное тени, смутное, изменчивое, неустойчивое, неопределенное; но подобное тени еще и в том смысле, что мне невозможно уйти от него, пока будет светить мой разум, распространяя вокруг меня свой яркий солнечный свет.

В этой комнате я родился. Пробудившись таким образом от долгого сна, выйдя с открытыми глазами из пределов ночи, которая казалась небытием, но не была им, я сразу вступил в область сказочной страны, в чертоги фантазии, в необычайный приют отшельнической мысли и уединенного знания. Удивительно ли, что я глядел вокруг себя жадно ищущими, изумленными глазами, и провел свое детство среди книг, и растратил свою юность в мечтаниях. Но *удивительно* одно, — когда годы уходили за годами, когда подкрался знойный полдень моей возмужалости и застал меня все еще сидящим в старинном обиталище моих предков, — *уди-*

вительно, как сразу в кипучих ключах моей жизни вода превратилась в стоячую, и в характере моих мыслей, даже самых обыкновенных, настала полная и внезапная перемена. Явления действительной жизни казались мне снами, только снами, а зачарованные мысли, навеянные царством видений, сделались, наоборот, существенным содержанием моей повседневной жизни, — больше того, в них, и только в них, была вся моя жизнь, с ними слилась она в одно целое.

Береника была моей двоюродной сестрой, и мы выросли вместе в моем отцовском замке. Но как различно мы вырастали — я, болезненный и погруженный в меланхолию; она, легкая, веселая и вся озаренная жизнерадостным блеском. Она вечно бродила по холмам, я сидел над книгами в своей келье; живя жизнью своего собственного сердца, я душой и телом отдавался самым трудным и напряженным размышлениям, а она беспечально шла по жизненной дороге и не думала, что ей на пути может встретиться тень, не заботилась о том, что часы безмолвно улетали на своих вороновых крыльях. Береника! Я произношу ее имя, Береника! И в памяти моей, на седых руинах, возникают тысячи беспокойных мыслей, как цветы, оживленные силою этого звука! О, как ярки очертания ее образа передо мной, точно в ранние дни ее воздушной легкой радости! Красота роскошная и фантастическая! Сильфида среди кустарников Арнгейма[2]! Наяда среди ее источников! И потом, потом все превращается в тайну, все сменяется ужасом, становится сказкой, которая бы не должна была быть рассказанной. Болезнь, роковая болезнь, как самум[3], обрушилась на ее существо; и даже пока я смотрел на нее, дух перемены овладевал ею, застилал ее душу, изменял ее привычки, и нрав, и самым незаметным и страшным образом нарушал даже цельность ее личности! Увы! Бич пришел и ушел! А жертва — что с ней сталось? Я больше не узнавал ее, не узнавал ее больше как Беренику!

Среди целого ряда болезней, причиненных первичным роковым недугом, который произвел такую страшную насильственную перемену во внутреннем и внешнем состоянии Береники, нужно прежде всего упомянуть о самой страшной и упорной, я разумею эпилептические припадки, нередко кончавшиеся *летаргией* — летаргией, необыкновен-

но походившей на полную смерть, причем в большинстве случаев после такого обмирания она приходила в себя резко и внезапно. В то же время моя собственная болезнь — употребляю это наименование, потому что мне было сказано, что иного развития не может быть при определении моего состояния, — моя собственная болезнь быстро разрасталась и в конце концов приняла форму мономании, совершенно новую и необычайную — с каждым часом и с каждой минутой она приобретала новую силу и, наконец, овладела мной с непостижимой властностью. Эта мономания, если я должен так называть ее, состояла в болезненной раздражительности тех способностей духа, которые на языке философском называются *вниманием*. Более, чем вероятно, что меня не поймут; но я боюсь, что мне, пожалуй, будет совершенно невозможно возбудить в уме обыкновенного читателя верное и точное представление о той нервной *напряженности интереса*, с которой, в моем случае, силы размышления (чтобы избежать языка технического) были поглощены созерцанием даже самых обыкновенных предметов.

По целым часам я размышлял, неутомимо устремивши внимательный взгляд на какое-нибудь ничтожное изречение, помещенное на полях книги, или на символические иероглифы на обложке. В продолжение большей части долгого летнего дня я бывал всецело погружен в созерцание косой тени, падавшей причудливым узором на пол и на стены; целые ночи я наблюдал за колеблющимся пламенем светильника или за углями, догоравшими в камельке; целые дни напролет я грезил о запахе какого-нибудь цветка; монотонным голосом я повторял какое-нибудь обыкновенное слово до тех пор, пока звук от частого повторения не переставал наконец давать уму какое бы то ни было представление; я утрачивал всякое чувство движения или физического существования, посредством полного телесного покоя, которого я достигал долгим упорством: таковы были немногие из самых обыкновенных и наименее вредных уклонений моих мыслительных способностей, уклонений, которые, правда, не являются вполне беспримерными, но которые отвергают всякий анализ или объяснение.

Однако, да не буду я ложно понят. Неестественное напряженное болезненное внимание, возбуждаемое таким образом

предметами, по своей сущности ничтожными, не должно быть смешиваемо с задумчивостью, общей всем людям, в особенности тем, кто одарен живым воображением. Это внимание не только не являлось, как можно предположить с первого раза, крайним развитием или преувеличением такой способности, но существенно от нее отличалось и имело свое первичное самостоятельное существование. В одном случае мечтатель, или человек восторженный, будучи заинтересован предметом обыкновенно *не* ничтожным, незаметно теряет из виду этот предмет и погружается в безбрежность выводов, намеков и внушений, из него проистекающих, так что в конце подобного сна наяву, *нередко переполненного чувственным наслаждением, возбудители,* первичная причина, обусловившая мечтательность, исчезает и забывается окончательно. В моем случае первичный предмет *постояннно* был *ничтожным,* хотя, через посредство моего неестественно возбужденного зрительного воображения, он приобретал отраженную и нереальную важность. Выводов было немного, если только были какие-нибудь выводы; и они упорно возвращались к первоначальному предмету, как бы к центру. Размышления *никогда* не были радостными; и, после того как мечты кончались, первопричина не только не терялась из виду, но возбуждала тот сверхъестественный преувеличенный интерес, который являлся господствующим признаком моей болезни. Словом, силы ума, совершенно своеобразно возбуждавшиеся во мне, были, как я сказал, способностью *внимания,* а не способностью *созерцательного размышления,* как у обыкновенного мечтателя.

Книги, в эту пору моей жизни, если и не являлись одной из действительнейших причин, обусловливавших мое нездоровье, принимали во всяком случае, как это легко понять, большое участие в проявлении отличительных признаков моей болезни, будучи исполнены фантазии и нелогичности. Я хорошо помню, среди других, трактат благородного итальянца, Делия Секунда Куриона, *«De Amplitudine Beati Regni Dei»;* великое произведение блаженного Августина «Град Божий», и сочинение Тертуллиана *«De Carne Christi»*[4], где одна парадоксальная мысль: *«Mortuus est Dei filius: crelibile est, quia ineptum est; et sepultus resurrexit: certum est, quia*

*impossibile est»** стоила мне целых недель трудолюбивого и бесплодного исследования.

Таким образом, мой разум, терявший свое равновесие только от соприкосновения с предметами незначительными, как бы имел сходство с той океанической скалой, о которой говорит Птолемей Гефестион[5] и которая, оставаясь незыблемой и нечувствительной к людскому неистовству и к еще более бешеной ярости волн и ветров, содрогалась только от прикосновения цветка, называемого асфоделями[6]. И для наблюдателя невнимательного может показаться несомненным, что, обусловленная злополучной болезнью, перемена во *внутреннем* состоянии Береники должна была доставлять мне много предлогов для проявления того напряженного и неестественного внимания, природу которого я объяснил с некоторым затруднением; однако это совсем не так. В промежутки просветления ее несчастье, действительно, огорчало меня, и я, принимая близко к сердцу это полное разрушение ее нежного прекрасного существа, не мог не размышлять горестно и неоднократно о тех удивительных средствах, с помощью которых так внезапно произошла такая странная насильственная перемена. Но эти размышления отнюдь не соприкасались с основным свойством моего недуга и отличались таким же характером, каким они отличались бы при подобных обстоятельствах у всякого другого. Верный своему собственному характеру, мой недуг упивался менее важными, но более поразительными изменениями, совершавшимися в *физическом* существе Береники — особенным и самым ужасающим искажением ее личного тождества.

В золотые дни ее несравненной красоты я никогда не любил ее, никогда. В странной аномалии моего существования, чувства *никогда не проистекали* у меня из сердца, страсти *всегда возникали* в моем уме. В белесоватых сумерках раннего утра — среди переплетенных теней полуденного леса и в ночном безмолвии моей библиотеки — она мелькала пред моими глазами, и я видел ее — не как Беренику, которая живет и дышит, но как Беренику сновидения; не как существо

---

*Умер Сын Божий; достойно веры есть, ибо неприемлемо; и погребенный воскрес; достоверно есть, ибо невозможно. — *Примеч. пер.*

земли, существо земное, но как отвлечение такого существа; не как предмет преклонения, но как предмет исследования; не как источник любви, но как тему для самых отвлеченных, хотя и бессвязных умозрений. А *теперь* — теперь я содрогался в ее присутствии, я бледнел при ее приближении; но, горько сожалея о ее полуразрушенном безутешном состоянии, я припомнил, что она долго любила меня, и в злую минуту заговорил с ней о браке.

И наконец, приблизился срок нашей свадьбы, когда однажды в послеобеденный зимний час — в один из тех безвременно теплых, тихих и туманных дней, которые ласково нянчат прекрасную Гальциону*, — я сидел (и, как мне казалось, сидел один) в углублении библиотеки. Но, подняв глаза, я увидал, что предо мною стояла Береника.

Было ли это действием моего возбужденного воображения — или влиянием туманной атмосферы — или это было обусловлено неверным мерцанием сумерек — или это обусловливалось волнистыми складками серых занавесей, упадавших вкруг ее фигуры, — я не могу сказать, но ее очертания колебались и были неопределенными. Она не говорила ни слова; и я ни за что в мире не мог бы произнести ни слова. Леденящий холод пробежал по моему телу; чувство нестерпимого беспокойства сковало меня; жадное любопытство овладело моей душой; и, откинувшись в кресле, но дыша и не двигаясь, я смотрел на нее пристальным взглядом. Увы! она страшно исхудала, и ни следа ее прежнего существа нельзя было уловить во всех ее очертаниях. Мои пылающие взгляды упали наконец на ее лицо.

Высокий лоб был очень бледен и озарен чем-то необыкновенно мирным; и волосы, когда-то черные, как смоль, падали отдельными прядями, и затеняли бесчисленными завитками виски, и блистали теперь ярким золотом, резко дисгармонируя с господствующей печальностью всего выражения. Глаза были безжизненны и тусклы и казались лишенными зрачков. Я невольно содрогнулся и перевел свой взгляд от их стеклянной неподвижности к тонким искрив-

---

* Так как Юпитер в продолжение времени посылает дважды по семь дней тепла, люди дали этой кроткой тихой поре название няни прекрасной Гальционы. *Симонид*[7]. — *Примеч. автора.*

ленным губам. Они раздвинулись; на них отразилась улыбка, исполненная какой-то странной выразительности, и медленно передо мною открылись *зубы* этой измененной Береники. О, если бы Богу угодно было, чтобы я никогда их не видал или, увидев, тотчас умер!

Звук закрываемой двери смутил меня, и, подняв глаза, я увидел, что Береника ушла из комнаты. Но из пределов моего расстроенного мозга не вышел — увы! — и не мог быть удален белый и чудовищный *призрак* зубов. Ни одной точки на их поверхности — ни одной тени на их эмали — ничего не упустила моя память, все заметил я в этот краткий миг ее улыбки. Я видел их *теперь* даже более отчетливо, чем *тогда*. Зубы! Зубы! Они были здесь, и там, и везде, я их видел перед собой, я их осязал; длинные, узкие, и необыкновенно белые, с искривленными вокруг бледными губами, как в тот первый миг, когда они так страшно открылись. И вот неудержимое бешенство моей *мономании* пришло ко мне, и я напрасно боролся против ее загадочного и неотвратимого влияния. Среди многочисленных предметов внешнего мира я не находил ничего, что бы отвлекло меня от моей мысли о зубах. Я томился, я жаждал их необузданно. Все другие предметы, все разнородные интересы погасли в этом единственном созерцании. Они — только они представлялась моим умственным взорам, и в своей единственной индивидуальности они сделались сущностью моей духовной жизни. Я смотрел на них под разными углами. Я придавал им самое разнородное положение. Я наблюдал их отличительные черты. Я останавливался взором на их особенностях. Я подолгу размышлял об их форме. Я думал об изменении в их природе. Я содрогался, когда приписывал им, в воображении, способность чувствовать и ощущать, способность выражать душевное состояние даже независимо от губ. О мадемуазель Салле[8] прекрасно было сказано, что *«tous ses pas etaient des sentiments»**; относительно Береники я еще более серьезно был убежден, что *toutes ses dents etaient des idees. Des idees!*** — а, вот она, идиотская мысль, погубившая меня! *Des idees* — так *поэтому-то я*

* Даже каждый ее шаг полон чувств (*фр.*). — *Примеч. ред.*

** Даже ее зубы полны смысла! Смысла! (*Фр.*) — *Примеч. ред.*

жаждал их так безумно! Я чувствовал, что только их власть может возвратить мне мир, вернув мне рассудок.

И вечер надвинулся на меня — и потом пришла тьма, и помедлила, и ушла — и новый день забрезжил — и туманы второй ночи собрались вокруг — и я все еще сидел недвижно в этой уединенной комнате — я все еще был погружен в размышления — и все еще *призрак* зубов страшным образом висел надо мной и тяготел и с отвратительной отчетливостью. Он как бы витал везде кругом по комнате среди изменчивой игры света и теней. Наконец, в мой сон ворвался вопль, как бы крик испуга и ужаса, и потом, после перерыва, последовал гул смешанных голосов, прерываемый глухими стонами печали или тревоги. Я поднялся с своего места и, распахнув одну из дверей библиотеки, увидал в прихожей служанку, всю в слезах, которая сказала мне, что Береники больше нет! Ранним утром она была застигнута эпилепсией, и теперь, с наступлением ночи, могила ждала свою гостью, и все приготовления для похорон были уже окончены.

Я увидал себя сидящим в библиотеке, и я опять сидел здесь один. Я знал, что была полночь, и я отлично знал, что после захода солнца Береника была погребена. Но относительно этого мрачного промежуточного периода у меня не было никакого положительного или, по крайней мере, никакого определенного представления. И однако же воспоминание о нем было переполнено ужасом — ужасом тем более ужасным, что он был смутным, и страхом еще более страшным в силу своего уклончивого смысла. В летописи моего существования была чудовищная страница, вся исписанная туманными гнусными и непонятными воспоминаниями. Я старался распутать их — напрасно. И время от времени как будто дух отлетевшего звука в моих ушах, казалось мне, содрогался звенящий пронзительный крик резкого женского голоса. Я что-то сделал — но что? Я спрашивал себя, громко повторяя этот вопрос, и шепчущее эхо комнаты отвечало мне — «*Что?*»

На столе около меня горела лампа: близ нее стоял маленький ящик. Он ничем не был замечателен, и я часто видал его раньше, он принадлежал нашему домашнему врачу; но как он попал *сюда*, на мой стол, и почему я содрогался, разглядывая его? Это было необъяснимо, и взор мой, нако-

нец, случайно упал на страницу открытой книги, и на фразу, подчеркнутую в ней. То были необыкновенные и простые слова поэта Ибн-Зайата: *«Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem curas meas aliquantulum fore levatas»*. Почему же, когда я прочел их, волосы стали дыбом у меня на голове, и кровь оледенела в моих жилах?

Послышался легкий стук в дверь библиотеки — и, бледный как мертвец, в комнату на цыпочках вошел слуга. Его глаза были дикими от ужаса, и, обращаясь ко мне, он заговорил дрожащим, хриплым и необыкновенно тихим голосом. Что говорил он? — я расслышал обрывки фраз. Он говорил, что безумный крик возмутил безмолвие ночи — что все слуги собрались — что в направлении этого звука стали искать; и тут его голос сделался ужасающе-отчетливым, когда он начал шептать мне об изуродовании тела, закутанного в саван, но еще дышащего — еще трепещущего — *еще живого*!

Он указал на мое платье; оно было обрызгано грязью и запачкано густой запекшейся кровью. Я не говорил ни слова, и он тихонько взял меня за руку; на ней были следы, вдавленные следы человеческих ногтей. Он обратил мое внимание на какой-то предмет, прислоненный к стене. Я смотрел на него несколько минут: это был заступ. С криком я бросился к столу и схватил ящик, стоявший на нем. Но я не мог его открыть; и, охваченный дрожью, я выпустил его из рук, он тяжело упал и разбился на куски; и из него с металлическим звуком покатились различные зубоврачебные инструменты, а среди них там и сям рассыпались по полу тридцать два небольших белых куска цвета слоновой кости.

МОРЕЛЛА

Auto caf auto mef autou, monoeides a...ei on.
Сам, самим собою, вечно один и единственный.
Платон, «Пир»[1]

С чувством глубокой и самой необыкновенной привязанности смотрел я на мою подругу Мореллу. Когда случай столкнул меня с нею много лет тому назад, душа моя с первой нашей встречи зажглась огнем, которого до тех пор она

никогда не знала; но то не был огонь Эроса, и горестно и мучительно было для меня, когда мне постепенно пришлось убедиться, что я никак не могу определить необычайный характер этого чувства или овладеть его смутной напряженностью. Однако мы встретились; и судьба связала нас перед алтарем; и никогда я не говорил о страсти и не думал о любви. Тем не менее она избегала общества и, привязавшись всецело ко мне, сделала меня счастливым. Удивляться — это счастье; мечтать — это счастье.

Морелла обладала глубокой ученостью. Я твердо убежден, что ее таланты были незаурядными — что силы ее ума были гигантскими. Я чувствовал это, и во многих отношениях сделался ее учеником. Однако вскоре я заметил, что она, быть может, в силу своего пресбургского образования[2], нагромоздила передо мной целый ряд тех мистических произведений, которые обыкновенно рассматривались как накипь первичной немецкой литературы. Они, не могу себе представить почему, были предметом ее излюбленных и постоянных занятий — и если с течением времени они сделались тем же и для меня, это нужно приписать самому простому, но очень действительному влиянию привычки и примера.

Во всем этом, если я не ошибаюсь, для моего разума представлялось малое поле действия. Мои убеждения, если я не утратил верного о себе представления, отнюдь не были основаны на идеале, и, если только я не делаю большой ошибки, ни в моих поступках, ни в моих мыслях нельзя было бы найти какой-либо окраски мистицизма, отличавшего книги, которые я читал. Будучи убежден в этом, я слепо отдался влиянию жены и без колебаний вступил в запутанную сферу ее занятий. И тогда — когда склонившись в раздумье над отверженными страницами, я чувствовал, что отверженный дух загорается во мне, — Морелла клала на мою руку свою холодную руку и собирала в потухшей золе мертвой философии несколько глубоких загадочных слов, которые своим многозначительным смыслом, как огненными буквами, запечатлевались в моей памяти. И часы уходили за часами, я томился рядом с ней и впивал музыку ее голоса, пока, наконец, эта мелодия не окрашивалась чувством страха, и тогда на мою душу падала тень, и я бледнел и внутренне содрогался, внимая таким слишком неземным звукам. И восторг внезапно превращался в ужас, и са-

мое прекрасное делалось самым отвратительным, подобно тому, как Гинном превратился в Геенну[3].

Было бы бесполезно устанавливать точный характер тех изысканий, которые, будучи навеяны этими старинными томами, являлись в течение такого долгого времени почти единственным предметом моих бесед с Мореллой. Люди, сведущие в том, что может быть названо богословской нравственностью, понимают меня, а люди несведующие все равно поняли бы очень мало. Безумный пантеизм Фихте[4]; видоизмененная paliggenesis* пифагорейцев; и, прежде всего, учение о *Тождестве,* в том виде, как его развивает Шеллинг[5], – таковы были главные исходные точки рассуждений, представлявшие наибольшую заманчивость для богатой фантазии Мореллы. Как мне кажется, Локк[6] делает верное определение личного тождества, говоря, что оно состоит в самости разумного существа. То обстоятельство, что мы понимаем под личностью мыслящее существо, одаренное разумом, и что мышление постоянно сопровождается сознанием, именно и делает нас *нами самими,* отличая нас этим от других существ, которые мыслят, и давая нам наше личное тождество. Но *principium individuationis,* т. е. представление о том тождестве, *которое в самой смерти остается или утрачивается не навсегда,* было для меня постоянно вопросом высокого интереса, не столько в силу волнующей и сложной природы его последствий, сколько в силу той особенной возбужденности, с которой Морелла упоминала о нем.

Однако настало время, когда таинственность, отличавшая нрав моей жены, стала угнетать меня, как чары колдовства. Я не мог более выносить прикосновения ее бледных пальцев, не мог слышать грудных звуков ее музыкального голоса, видеть блеск ее печальных глаз. И она знала все это, но не упрекала меня; она как будто сознавала мою слабость или мое безумие, и, улыбаясь, говорила, что это судьба. Она, по-видимому, знала также причину моего постепенного отчуждения от нее, причину, которая для меня самого осталась неизвестной; но она не давала никакого объяснения, никакого намека. И все же она была женщиной, и потому увядала с каждым днем. Наконец, ярко-красные пятна навсегда остановились на ее щеках, и голубые вены выступили на чистой

* Вторичное рождение (*греч.*).

белизне ее лба. И иногда существо мое размягчилось, и вот на мгновение прониклось жалостью, но тотчас же я встречал ее блестящий взгляд, исполненный глубокого значения, и вот уже душа моя смутилась, и меня охватило неопределенное волнение, подобное тому, которое испытывает человек, когда, охваченный головокружением, он смотрит вниз, в какую-нибудь угрюмую и неизмеримую пропасть.

Нужно ли говорить, что я жадно, со страстным нетерпением, ждал того мгновения, когда Морелла умрет? Я ждал; но хрупкий дух цеплялся за свою земную оболочку долгие дни, долгие недели, долгие нестерпимые месяцы, и, наконец, мои истерзанные нервы получили полную власть над моим рассудком, и я приходил в ярость при мысли об отсрочке и, затаив в своем сердце демона, проклинал дни и часы и горькие мгновенья, которые как будто все удлинялись и удлинялись, по мере того как нежная жизнь Мореллы все тускнела, точно тени умирающего дня.

Но в один из осенних вечеров, когда ветры безмолвно спят в небесах, Морелла подозвала меня к своему изголовью. Над землей лежал густой туман, над водой блистало теплое сиянье, а в лесу среди пышной октябрьской листвы как будто рассыпалась упавшая с небесного свода многоцветная радуга.

— Вот настал день дней, — сказала она, когда я приблизился, — день всех дней — и для жизни и для смерти. Чудесный день для сыновей земли и жизни — и насколько более чудесный для дочерей небес и смерти!

Наклонившись к ее лбу, я поцеловал ее, и она продолжала:

— Я умираю, но я буду жить.

— Морелла!

— Не было дня, когда бы ты мог любить меня — но ту, кем ты в жизни гнушался, ты в смерти будешь обожать.

— Морелла!

— Я говорю тебе, я умираю. Но во мне таится залог той привязанности — о, как она ничтожна! — которую ты чувствовал по отношению ко мне, Морелле. И когда мой дух отойдет, начнет дышать ребенок — твой ребенок и мой, Мореллы. Но дни твои будут днями скорби, которая среди ощущений длится более всех, как среди деревьев дольше, чем

все, живет кипарис. Ибо часы твоего блаженства миновали. И нельзя дважды собирать в жизни радость, как розы Пестума[7] дважды в году. Ты не будешь больше наслаждаться временем, как игрой, но, позабыв о миртах и виноградниках, ты всюду на земле будешь влачить свой саван, как это делают мусульмане в Мекке.

— Морелла! — вскричал я, — Морелла! откуда знаешь ты это? — но она отвернулась от меня, и легкий трепет прошел по ее членам, и так она умерла, и я не слышал ее голоса больше никогда.

Но как она и предсказала, начал жить ее ребенок, ее дочь, которой она дала рождение, умирая, и которая стала дышать лишь тогда, когда мать перестала дышать. И странно росла она, как внешним образом, так и в качествах своего ума, и велико было сходство ее с усопшей, и я любил ее любовью более пламенной, чем та любовь, которую, как думал я, возможно, чувствовал к кому-либо из обитателей земли.

Но лазурное небо этой чистой привязанности быстро омрачилось, и печаль, и ужас, и тоска окутали его как туча. Я сказал, что ребенок странно вырастал как внешним образом, так и в качествах своего ума. О, поистине, странным было быстрое развитие тела, но страшными, — о, страшными! — были взволнованные мысли, которые овладевали мной, когда я наблюдал за ее духовным расцветом. Могло ли это быть иначе, когда я каждый день открывал в представлениях ребенка зрелые силы и способности женщины? Когда слова, исполненные опыта, нисходили с младенческих уст? И когда каждый час я видел, как в ее больших глазах блистала мудрость, и горели страсти, достигшие срока? Когда, говорю я, все это сделалось очевидным для моих устрашенных чувств, когда я не мог более утаивать этого от собственной души, когда я не мог отбросить от себя представлений, приводивших меня в трепет, нужно ли удивляться, что в мой ум прокрались страшные и беспокойные подозрения, что мысли мои вновь обратились с ужасом к зачарованным сказкам и волнующим помыслам моей погребенной Мореллы? Я утаил от людского любопытства существо, которое судьба мне велела обожать, и в строгом уединении моего жилища со смертельной тоскою следил за всем, что касалось возлюбленной.

И по мере того, как уходили годы, и я глядел день за днем на это святое, и кроткое, и исполненное красноречия лицо, смотрел на эти созревающие формы, день за днем я открывал новые черты сходства между ребенком и матерью, между печальной и умершей. И с каждым часом эти тени сходства все темнели, становились все полнее и определеннее, все более смущали и ужасали своим видом. Если улыбка дочери была похожа на улыбку матери, это я еще мог выносить, но я трепетал, видя, что это сходство было слишком полным *тождеством*. Я не в силах был видеть, что ее глаза были глазами Мореллы, и, кроме того, они нередко смотрели в глубину моей души с той же странной напряженностью мысли, которой были зачарованы глаза Мореллы. И в очертаниях высокого лба, и в локонах ее шелковистых волос, и в бледных пальцах, которые она в них прятала, и в печальной напевности ее речей, и более всего, — о, более всего, — в словах и в выражениях умершей, возрожденных на устах любимой и живущей, я видел много того, что наполняло меня снедающей мыслью и ужасом, — давало пищу для червя, который *не хотел* умереть.

Так минули два пятилетия ее жизни, и дочь моя еще оставалась безымянной на земле. «Дитя мое» и «любовь моя» — таковы были обычные наименования, внушенные чувством отеческой привязанности, а строгая уединенность ее дней устраняла все другие отношения. Имя Мореллы умерло вместе с ней. Я никогда не говорил с дочерью о ее матери, невозможно было говорить. И действительно, в продолжение короткого периода своего существования она не получила никаких впечатлений от внешнего мира, исключая тех немногих, которые были обусловлены тесными границами ее уединенности. Но наконец при моем нервном и возбужденном состоянии обряд крещения представился мне как счастливое освобождение от ужасов моей судьбы. И у купели я колебался, какое выбрать ей имя. И целое множество имен, обозначающих мудрость и красоту, имен древних и новых эпох, моей родной страны и стран чужих, пришло мне на память вместе с многими-многими прекрасными именами, указывающими на благородство, и на счастье, и на благо. Что же подтолкнуло меня тогда возмущать память погребенной покойницы? Какой демон заставил меня произнести тот звук,

который в самом воспоминании всегда отгонял пурпурную кровь от висков к сердцу? Какой злой дух заговорил из потаенных глубин моей души, когда под этими мрачными сводами, среди молчания ночи я прошептал святому человеку это слово — *Морелла*? Кто, как не демон, исказил черты лица моей дочери и покрыл их красками смерти, когда, дрогнув при этом едва уловимом звуке, она обратила свои блестящие глаза от земли к небу, и, упав распростерлась на черных плитах нашего фамильного склепа, ответив «я здесь!».

Явственно, холодно, со спокойной отчетливостью, упали в мою душу эти звуки и, словно расплавленный свинец, понеслись со свистом в пределах моего мозга. Уйдут года — года! — но память об этой эпохе останется навеки! И не был я лишен цветов и виноградных лоз — но цикута[8] и кипарис затемняли меня своею тенью в часы ночи и дня. И я не помнил ни времени, ни места, и звезды моей судьбы поблекли на небесах, и потому земля потемнела, и все земные образы проходили близ меня как улетающие тени, и среди них я видел лишь одну — Мореллу. Ветры, прилетая с небесного свода, наполняли мой слух одним звуком, и рокочущие волны подернутого рябью моря неизменно шептали мне — Морелла. Но она умерла; и собственными руками я снес ее в могилу, и засмеялся долгим и горестным смехом, когда увидал, что не осталось ни малейших следов от первой в том склепе, где я схоронил вторую — Мореллу.

БОЧКА АМОНТИЛЬЯДО

Тысячу несправедливостей вынес я от Фортунато, как только он умел, но, когда он осмелился дойти до оскорбления, я поклялся отомстить. Однако вы, знакомые с качествами моей души, не предположите, конечно, что я стал *грозить*. *Наконец-то* я должен быть отомщен; этот пункт был установлен положительно — но самая положительность, с которой он был решен, исключала мысль о риске. Я должен был не только наказать, но наказать безнаказанно. Зло не отомщено, если возмездие простирается и на мстителя. Равным образом оно не отомщено, если мститель не дает почувствовать тому, кто сделал зло, что мстит именно он.

Поймите же, что ни единым словом, ни каким-либо поступком я не дал Фортунато возможности сомневаться в моем доброжелательстве. Я продолжал по обыкновению улыбаться ему прямо в лицо, и он не чувствовал, что *теперь я* улыбался при мысли об его уничтожении.

У него была одна слабость, у этого Фортунато, хотя в других отношениях его следовало уважать и даже бояться. Он кичился своим тонким пониманием вин. Не многие из итальянцев обладают способностью быть в чем-нибудь знатоками. По большей части их энтузиазм приспособлен к удобному случаю и к известному моменту, чтобы надуть какого-нибудь британского или австрийского *миллионера*. Что касается картин и драгоценных камней, Фортунато, подобно своим соотечественникам, был шарлатаном, но раз дело шло о старых винах, искренность его была неподдельна. В этом отношении и я не отличался от него существенным образом; я очень навострился в распознавании местных итальянских вин, и всегда при первой возможности делал большие закупки.

Случилось, что в сумерки, под вечер, в самом разгаре карнавальных безумств, я встретился со своим другом. Он приветствовал меня сердечнейшим образом, так как, по-видимому, выпил изрядно. Он был одет шутом. На нем был плотно облегавший его, частью полосатый, костюм, а на голове высился конический колпак с бубенчиками. Как я рад был его видеть! Мне казалось, что я никогда не перестану трясти его руку.

Я сказал ему:

— Ах, дорогой мой Фортунато, что за счастливая встреча! Как отлично выглядите вы сегодня! Но я получил бочку вина, будто бы амонтильядо, и у меня на этот счет сомнения.

— Как? — проговорил он. — Амонтильядо? Целую бочку? Быть не может! В разгар карнавала!

— У меня на этот счет сомнения, — ответил я, — и я был настолько глуп, что заплатил сполна за вино, как за амонтильядо, не посоветовавшись на этот счет с вами. Вас нигде нельзя было найти, а я боялся упустить случай.

— Амонтильядо!

— Да, но я не уверен.

— Амонтильядо!

— Я должен разрешить сомнения.

— Амонтильядо!

— Так как вы куда-то приглашены, я пойду отыщу Лукрези. Если кто-нибудь обладает тонким вкусом — это именно он. Он скажет мне...

— Лукрези не может отличить амонтильядо от хереса.

— Представьте, а есть глупцы, которые говорят, что его вкус равняется вашему.

— Ну, идем!

— Куда?

— К вам, в подвалы.

— Нет, друг мой, я не хочу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы куда-то приглашены. Лукрези...

— Никуда я не приглашен, пойдем!

— Нет, друг мой. Вы никуда не приглашены, но я вижу, что вы страшно прозябли. В подвалах ужаснейшая сырость. Они выложены селитрой.

— А, пустяки! Пойдем! Стоит ли обращать внимание на холод... Амонтильядо! Вас надули. А насчет Лукрези могу сказать — он и хереса не отличит от амонтильядо.

Говоря таким образом, Фортунато завладел моей рукой. Я надел черную шелковую маску и, плотно закутавшись в *roquelaure**, позволил ему увлечь себя к моему палаццо.

Никого из прислуги дома не было, все куда-то скрылись, чтобы хорошенько отпраздновать карнавал. Я сказал им, что вернусь домой не ранее утра, и строго-настрого приказал не отлучаться из дому. Этих приказаний, как я прекрасно знал, было совершенно достаточно, чтобы тотчас же по моем уходе все скрылись.

Я вынул из канделябров два факела, и, давши один Фортунато, направил его через анфиладу комнат ко входу, который вел в подвалы. Я пошел вперед по длинной витой лестнице, и, оборачиваясь назад, просил его быть осторожнее. Наконец, мы достигли последних ступеней и стояли теперь на сырой почве в катакомбах фамилии Монтрезор.

Приятель мой шел нетвердой походкой, и от каждого неверного шага звенели бубенчики на его колпаке.

— Ну, где же бочка? — спросил он.

---

* Старинный плащ (*лат.*). — *Примеч. пер.*

— Дальше, — отвечал я, — но смотрите, вон какие белые узоры на стенах.

Он обернулся и посмотрел мне в глаза своими тусклыми глазами, подернутыми влагой опьянения.

— Селитра? — спросил он наконец.

— Селитра, — ответил я. — Давно ли вы стали так кашлять?

— Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе!

Бедняжка несколько минут не мог ответить.

— Ничего, — проговорил он наконец.

— Нет, — сказал я решительно, — пойдемте назад: ваше здоровье драгоценно. Вы богаты, пред вами преклоняются, вас уважают, вас любят; вы счастливы, как я был когда-то. Вас потерять — это была бы большая потеря. Вот я — дело другое. Пойдемте назад; вы захвораете, и я не хочу принимать на себя такую ответственность. Да кроме того, ведь Лукрези...

— Довольно, — сказал он, — кашель это пустяки; я от него не умру. Кашель меня не убьет.

— Верно — вот это верно! — отвечал я, — и правда, я не имел намерения беспокоить вас понапрасну — но вы должны были бы принять меры предосторожности. Вот медок[1], достаточно будет глотка, чтобы предохранить себя против сырости.

Я отбил горлышко у одной из бутылок, лежавших длинным рядом на земле.

— Выпейте-ка, — сказал я, предлагая ему вино. Он устремил на меня косой взгляд и поднес вино к губам. Затем, помедлив, он дружески кивнул мне головой, и его бубенчики зазвенели.

— Пью, — проговорил он, — за усопших, которые покоятся вокруг нас.

— А я за вашу долгую жизнь.

Он снова взял меня под руку, и мы пошли дальше.

— Обширные подвалы, — проговорил он.

— Монтрезоры, — отвечал я, — представляли из себя семью обширную и многочисленную.

— Я забыл ваш герб...

— Громадная человеческая нога из золота на лазурном фоне. Нога давит извивающуюся змею, которая своими зубами вцепилась ей в пятку.

— И девиз?..

— Nemo me impune lacessit*.

— Отлично, — проговорил он.

Вино искрилось в его глазах, и бубенчики звенели. Мысли мои тоже оживились; медок оказывал свое действие. Проходя мимо стен, состоящих из нагромождений костей вперемежку с бочками и бочонками, мы достигли крайних пределов катакомб. Я остановился снова и на этот раз осмелился взять Фортунато за руку повыше локтя.

— Смотрите, — проговорил я, — селитра все увеличивается. Вон она висит, точно мох. Мы теперь под руслом реки. Капли сырости просачиваются среди костей. Уйдемте, вернемтесь, пока еще не поздно. Ваш кашель...

— Это все пустяки, — сказал он, — пойдемте вперед. Но сперва еще один глоток вина. Где тут ваш медок?

Я взял бутылку Vin de Grave[3] и, отбив горлышко, подал ему. Он осушил ее всю сразу. Глаза его загорелись диким огнем. Он начал хохотать и бросил бутылку вверх с жестом, значения которого я не понял.

Я посмотрел на него с удивлением. Он повторил движение — очень забавное.

— Вы не понимаете? — спросил он.

— Нет, — отвечал я.

— Так вы, значит, не принадлежите к братству.

— Как?!..

— Вы не масон[4]?

— Да... нет... — проговорил я.

— Вы? Не может быть! Вы — масон?

— Масон, — отвечал я.

— Знак! — проговорил он.

— Вот! — отвечал я, высовывая небольшую лопату из-под складок своего плаща.

— Вы шутите! — проговорил он, отступая на несколько шагов. — Но давайте же ваше амонтильядо.

— Да будет так! — сказал я, пряча лопату под плащ и снова предлагая ему свою руку. Он тяжело оперся на нее. Мы продолжали наш путь в поисках амонтильядо. Мы прошли целый ряд низких сводов, спустились, сделали еще несколь-

---

* Никто не оскорбит меня безнаказанно[2] (*лат.*). — *Примеч. пер.*

ко шагов, опять спустились и достигли глубокого склепа, в нечистом воздухе которого наши факелы скорее тлели, нежели светили.

В самом отдаленном конце склепа виднелся другой склеп, менее обширный. Стены его были окаймлены человеческими останками, нагроможденными до самого свода наподобие великих катакомб Парижа[5]. Три стороны этого второго склепа были еще украшены таким образом. С четвертой же кости были сброшены, они в беспорядке лежали на земле, образуя в одном месте таким образом насыпь. В стене, освобожденной от костей, мы заметили еще новую впадину, четыре фута в глубину, три в ширину и шесть или семь в высоту. По-видимому она не была предназначена для какого-нибудь особого употребления, но представлялась промежутком между двумя огромными подпорами, поддерживавшими своды катакомб, и примыкала к одной из главных стен, выстроенных из плотного гранита.

Напрасно Фортунато, поднявши свой оцепенелый факел, пытался проникнуть взглядом в глубину этой впадины. Слабый свет не позволял нам различить ее крайние пределы.

— Идите, — сказал я, — вот здесь амонтильядо! А что касается Лукрези...

— Он невежда, — прервал меня мой друг, неверными шагами устремляясь вперед, между тем как я шел за ним по пятам. Вдруг он достиг конца ниши и, натолкнувшись на стену, остановился в тупом изумлении. Еще мгновение, и я приковал его к граниту. На поверхности стены были две железные скобки, на расстоянии двух футов одна от другой, в горизонтальном направлении. С одной из них свешивалась короткая цепь, с другой висячий замок. Обвить Фортунато железными звеньями за талию и запереть цепь — было делом нескольких секунд. Он был слишком изумлен, чтобы сопротивляться. Вынув ключ, я отступил на несколько шагов из углубления.

— Проведите рукой по стене, — проговорил я, — вы не можете не чувствовать селитры. Действительно, здесь *очень* сыро. Позвольте мне еще раз *умолять* вас вернуться. Нет? Ну, так я положительно должен оставить вас. Однако предварительно я должен выказать вам все внимание, каким только могу располагать.

— Амонтильядо! — выкрикнул мой друг, еще не успевши оправиться от изумления.

— Точно, — ответил я, — амонтильядо.

Произнеся эти слова, я приступил в груде костей, о которых говорил раньше. Отбросив их в сторону, я вскоре открыл некоторое количество песчанику и известкового раствора и с помощью этих материалов, а также с помощью моей лопаты я живо принялся замуровывать вход в нишу.

Едва я окончил первый ряд каменной кладки, как увидел, что опьянение Фортунато в значительной степени рассеялось. Первым указанием на это был глухой жалобный крик, раздавшийся из глубины впадины. То не был крик пьяного человека. Затем последовало долгое и упорное молчание. Я положил второй ряд камней, и третий, и четвертый: и тогда я услышал бешеное потрясание цепью. Этот шум продолжался несколько минут, и чтобы слушать его с бóльшим удовлетворением, я на время прекратил свою работу и уселся на костях. Когда, наконец, резкое звяканье умолкло, я снова взялся за лопату и без помех окончил пятый, шестой и седьмой ряд. Стена теперь почти восходила в уровень с моей грудью. Я сделал новую остановку и, подняв факелы над каменным сооружением, устремил несколько слабых лучей на фигуру, заключенную внутри.

Целый ряд громких и резких криков, внезапно вырвавшихся из горла прикованного призрака, со страшной силой отшвырнул меня назад. На миг меня охватило колебание — мною овладел трепет. Выхватив шпагу, я начал ощупывать ей углубление: но минута размышленья успокоила меня. Я положил свою руку на плотную стену катакомб и почувствовал полное удовлетворение. Я снова приблизился к своему сооружению. Я отвечал на вопли кричавшего. Я был ему как эхо — я вторил ему — я превзошел его в силе и продолжительности воплей. Да, я сделал так, и крикун умолк.

Была уже полночь, и работа моя близилась к концу. Я довершил восьмой ряд, девятый и десятый. Я окончил часть одиннадцатого и последнего. Оставалось только укрепить один камень и заштукатурить его. Я поднимал его с большим усилием, я уже почти пригнал его к должному положению, но тут из углубления раздался сдержанный смех, от которого дыбом встали волосы на моей голове. Потом послышался пе-

чальный голос, и я с трудом узнал, что он принадлежит благородному Фортунато. Голос говорил:

— Ха-ха-ха! Хе-хе-хе! — вот славная шутка — действительно, это шутка. Посмеемся же мы над ней, когда будем в палаццо. Да! да! Славное винцо! Да! Да!..

— Амонтильядо! — сказал я.

— Хе! хе! хе! — да, амонтильядо! Но как вы думаете, не поздно теперь? Пожалуй, нас ждут в палаццо, синьора Фортунато и все другие? Пойдем!

— Да, — сказал я, — пойдем.

— Во имя Бога, Монтрезор!

— Да, — сказал я, — во имя Бога!

Но на эти слова я тщетно ждал ответа. Мной овладело нетерпение. Я громко позвал:

— Фортунато!

Никакого ответа. Я позвал опять:

— Фортунато!

Никакого ответа. Я просунул один факел через отверстие, оставшееся незакрытым, и бросил его в углубление. Оттуда только зазвенели бубенчики. Сердце у меня сжалось — в катакомбах было так душно. Я поспешил окончить свою работу! Я укрепил последний камень, я заштукатурил его. Против новой кладки я воздвиг старую стену из костей. Прошло полстолетия, и ни один смертный не потревожил их. In pace requiescat*.

ЧЕЛОВЕК ТОЛПЫ

Ce grand malheur de ne pouvoir ktre seul.

*La Bruyure***

Очень хорошо было сказано об одной немецкой книге, что «es lasst sich nicht lesen» — буквально, она не позволяет себя читать. Есть тайны, которые не позволяют себя высказать. Люди умирают каждую ночь в своих постелях, судо-

* В мире да почиет (*лат.*). — *Примеч. пер.*

** Это великое несчастье — не иметь возможности быть наедине с самим собой. Лабрюйер[1] (*фр.*). — *Примеч. пер.*

рожно сжимая руки у призраков, которые выслушивают их исповедь и смотрят жалобно им в глаза, — умирают с отчаяньем в сердце и с конвульсиями в горле по причине чудовищности тайн, которые не допускают, чтобы их раскрыли. Время от времени, увы, человеческая совесть принимает на себя ношу такую страшную и тяжелую, что она может быть сложена только в могиле. И таким образом сущность преступления остается неразоблаченной.

Не так давно, на закате одного из осенних вечеров, я сидел у широкого окна с выступом, в кофейне Д. в Лондоне. В течение нескольких месяцев я был болен, но тогда уже выздоравливал, и, чувствуя прилив возвращающихся сил, находился в одном из тех счастливых расположений духа, которые являются как раз чем-то противоположным скуке — я испытывал острую напряженность чувств, охватывающую нас, когда с наших умственных взоров спадает пелена aclns os prin ephen — и когда наэлектризованный разум, настолько живой и наивный ум Лейбница[2] превосходит бессмысленную и пошлую риторику Горгия[3]. Дышать было наслаждение, я извлекал положительное удовольствие даже из того, что является обыкновенно источником страдания. Я чувствовал спокойный, но пытливый интерес решительно ко всему. Держа сигару в зубах и положив на колени газету, я забавлялся в течение большей части послеобеденного времени, то погружаясь в чтение объявлений, то наблюдая смешанную публику, находившуюся в зале, то устремляя внимательные взгляды на улицу через стекла, закоптившиеся от дыма.

Это была одна из самых главных улиц города, и целый день на ней толпились прохожие. Но к наступлению ночи толпа начала увеличиваться с минуты на минуту, и когда все фонари заблистали, мимо двери стали двигаться два густых и беспрерывных потока городского населения. Я никогда раньше не был в таком положении, как в этот особенный момент вечера, и беспокойное море человеческих голов наполняло меня восхитительным ощущением новизны. Наконец я совершенно забыл о том, что делалось в отеле, и всецело погрузился в созерцание зрелища, развертывавшегося за окном.

Сперва мои наблюдения были отвлеченными и обобщающими. Я смотрел на прохожих в их массе и созерцал их лишь

как целое. Вскоре, однако, я перешел к деталям и с большим тщанием стал рассматривать бесконечное различие лиц, одежды, манеры, походки, отдельных черт лица и общего выражения физиономии.

По большей части проходившие имели деловой сдержанно-довольный вид, и, казалось, думали только о том, как бы им пробраться через эту толпу. Они хмурили брови, глаза их быстро перебегали с одного пункта на другой, если кто-нибудь из шедших мимо толкал их, они не выказывали никакого нетерпения, но поправляли свой костюм и спешили вперед. Другие, — группа тоже достаточно значительная, — отличались беспокойностью движений: у них были возбужденные раскрасневшиеся лица, они говорили сами с собой и жестикулировали, как бы чувствуя себя в одиночестве уже по одному тому, что их окружала густая толпа. Встречая помеху на своем пути, они внезапно переставали бормотать про себя, но удваивали свою жестикуляцию и дожидались с рассеянной и преувеличенной улыбкой, пока не проходили лица, их задержавшие. Если их толкали, они низко кланялись тем, кто их толкнул, и выказывали крайнее смущение. В этих двух обширных группах не было ничего особенно отличительного, кроме черт, только что отмеченных. Их костюм принадлежал к тому роду, который самым точным образом определяется выражением «приличный». Это, без сомнения, были дворяне, купцы, стряпчие, поставщики, лица, торгующие процентными бумагами — евпатриды[4] и, можно сказать, ходячие общие места — люди праздные и люди, очень занятые собственными делами, ведущие их на собственный страх и риск. Они ненадолго приковали мое внимание.

Каста клерков выделялась неотрицаемым образом; и здесь я заметил два резко отличающихся разряда. Одни — мелкие приказчики сомнительных домов, где сбываются краденые вещи, молодые джентльмены в тесных костюмах с блестящими сапогами, с напомаженными волосами, с надменным выражением губ. Если оставить в стороне известную живость движений, которая, за недостатком лучшего слова, может быть названа развязностью аршинника, манеры этих господ представлялись мне точным воспроизведением того, что было совершенством хорошего тона го-

да полтора тому назад. Они блистали оборышами барской спеси; таково, как мне думается, лучшее определение данного класса.

Что касается разряда старших клерков солидных фирм, steady old fellows*, относительно их тоже нельзя было ошибиться. Они выделялись своим костюмом, своими черными или коричневыми панталонами, сделанными очень комфортабельно, белыми галстуками и жилетами, большими башмаками, имевшими внушительный вид, и плотными чулками или штиблетами. У всех были несколько облысевшие головы, причем правое ухо, от долгий привычки держать перо, странным образом оттопыривалось. Я заметил, что они всегда снимали и надевали шляпу обеими руками, что всегда у них были часы с короткой золотой цепью основательного старинного образца. Отличительной их чертой являлась аффектация благопристойности, если только на самом деле может быть аффектация такая почтенная.

Было также в этой толпе достаточное количество некоторых индивидуумов блистательного вида; я легко узнал в них представителей расы карманных воришек, которыми кишат все большие города. Я рассматривал этих благовоспитанных господ с большим любопытством и отказывался понять, каким образом джентльмены могут считать их настоящими джентльменами. Обширность их манжет и выражение чрезвычайного прямодушия должны были бы выдавать их сразу.

Еще легче было узнать записных картежников, которых я усмотрел немало. Костюмы их были весьма разнообразны, начиная с отчаянного thimble-rig bully** с бархатным жилетом, с галстуком fantasia***, с позолоченными цепочками, с филигранными пуговицами, и кончая тщательно упрощенным костюмом пастора, меньше всего другого дающим повод для подозрений. Все они одинаково отличались темноватым цветом лица, какой-то туманной тусклостью глаз и бледностью сжатых губ. Были, кроме того, еще две черты, по кото-

---

* Старых добрых приятелей (*англ.*). – *Примеч. пер.*

** Задира, хвастун (*англ.*). – *Примеч. пер.*

*** Фантазия, т. е. галстук очень ярких цветов (*англ.*). – *Примеч. пер.*

рым я мог всегда узнать их: низкий сдержанный тон разговора и упорная наклонность большого пальца оттягиваться таким образом, что он составлял почти прямой угол с другими пальцами. Весьма часто в одной компании с этими господами я замечал известную кучку лиц, несколько отличающуюся от них своими привычками; но это были птицы такого же полета. Это ловкие пройдохи, джентльмены, кормящиеся своей изворотливостью. Предпринимая завоевательный поход против публики, они разделяются на два батальона: одни принадлежат к типу денди, другие к типу человека военного. У первых отличительная черта — длинные волосы и постоянная улыбка; у вторых — длинный сюртук и нахмуренный вид.

Нисходя по ступенькам того, что называется хорошим обществом, я нашел более мрачные и глубокие темы для размышления. Тут были евреи-разносчики со вспыхивающими ястребиными глазами и с лицом, которое каждой своей чертой говорило об унижении отверженца; дерзкие профессиональные попрошайки, бросавшие сердито-укоризненные взгляды на нищих лучшего типа, которых только отчаяние могло выгнать на улицу, окутанную ночью, просить подаяния; дряхлые, трясущиеся инвалиды, которые, чувствуя на себе неукоснительную руку смерти, пробирались неверными шагами через толпу и каждому заглядывали в лицо умоляющим жалобным взглядом, как бы стараясь уловить случайное утешение, найти утраченную надежду; скромные молодые девушки, возвращавшиеся после долгой и поздней работы в свой бесприютный угол, и отворачивающиеся скорее с горечью, чем с негодованием, от взглядов наглецов, избежать с которыми прямого соприкосновения они не могли; продажные женщины всех видов и возрастов: безусловная красавица в первом расцвете женственности, напоминавшая статую, дописанную Лукианом[5], извне — паросский мрамор, внутри — нечистая мерзость; прокаженная в лохмотьях, гнусная и безвозвратно потерянная; старая ведьма, морщинистая, намазанная и увешанная разными украшениями, вся — последний порыв к молодости; полуребенок с несозревшими формами, но от долгого соучастия уже набивший себе руку в приемах ремесла; недоросшая ученица, снедаемая жадным желанием

стать вровень со старшими в доблестях порока; пьяницы, бесчисленные и неописуемые, в заплатанных лохмотьях, шатающиеся из стороны в сторону, испускающие нечленораздельное бормотанье, с тусклыми и подбитыми глазами, другие в костюмах хоть и грязных, но еще целых, с толстыми чувственными губами, с прямодушными красноватыми лицами, с некоторой неуверенной заносчивостью в манерах, другие, одетые в платье, которое когда-то было очень доброкачественным и которое даже теперь было вычищено самым тщательным образом, — люди, шедшие неестественно-упругими, твердыми шагами, но с лицом страшно бледным, с глазами отвратительно-дикими и красными, — идя через толпу, они цеплялись дрожащими пальцами за все, что подвертывалось им под руку. И потом все эти разносчики, торгующие пирогами, носильщики, выгрузчики угля, трубочисты, шарманщики, бродяги, показывающие обезьян, и продавцы песен, те, которые торгуют теми, которые поют; оборванные ремесленники и истощенные рабочие всякого рода — и все, исполненные шумной и беспорядочной живости, которая оскорбляла слух своими резкими диссонансами и представляла для глаза ранящую картину.

По мере того как ночь становилась более глубокой, для меня становился более глубоким интерес того зрелища, которое развертывалось перед моими глазами; ибо не только общий характер толпы существенно изменился: ее более благородные черты постепенно стирались; часть населения, отличавшаяся наибольшей порядочностью, мало-помалу удалялась, и более грубые элементы выступали более рельефно, по мере того как поздний час выманил всякого рода низость из ее логовища. Но кроме того лучи газовых фонарей, сперва слабые, когда они боролись с сияньем умирающего дня, теперь, наконец, стали яркими и озаряли все предметы искрящимся и пышным светом. Все кругом было мрачно, но лучезарно, как то эбеновое дерево, с которым сравнивали слог Тертуллиана[6].

Странные световые эффекты очаровали меня, заставляя внимательно рассматривать отдельные лица; и хотя быстрота, с которой этот мир лучистых теней пробегал перед окном, мешала мне устремить пристальный взгляд на то или другое лицо, тем не менее, благодаря моему особенному мыслитель-

ному состоянию, я, казалось, нередко мог прочесть даже в эти краткие мгновения историю долгих лет.

Прижавшись лицом к стеклу, я изучал таким образом толпу, как вдруг мне бросилась в глаза одна физиономия (старого, дряхлого человека, лет шестидесяти пяти или семидесяти), — физиономия, которая сразу поразила и приковала все мое внимание по причине совершенно невиданной идиосинкразии[7] ее выражения. Никогда раньше не случалось мне наблюдать что-либо, напоминающее это выражение хотя бы отдаленным образом. Я хорошо помню, что, когда я увидал это лицо, у меня тотчас же мелькнула мысль, что если бы Ретш[8] видел его, он, конечно, предпочел бы это выражение тем художественным эффектам, с помощью которых он старался воплотить образ дьявола. Пытаясь в течение краткого мгновенья, сопровождавшего этот беглый взгляд, проанализировать сколько-нибудь общее впечатление, полученное мной, я почувствовал, что в моем уме смутно и противоречиво возникли представления о громадной умственной силе, об осторожности, скаредности, алчности, хладнокровии, коварстве, кровожадности, о торжестве, веселости, о крайнем ужасе, о напряженном и бесконечном отчаянии. Меня точно кто-то толкнул, пробудил, очаровал. «Что за безумная история, — сказал я самому себе, — запечатлелась в этом сердце!» Меня охватило страстное желание не терять этого человека из виду — узнать о нем какую-нибудь подробность. Наскоро накинув пальто, схватив мою шляпу и трость, я бросился на улицу и стал толкаться через толпу в том направлении, в котором, как я видел, пошел этот старик, уже успевший исчезнуть. С некоторыми затруднениями мне удалось, наконец, увидеть его. Я приблизился и стал следовать за ним очень близко, но с большими предосторожностями, чтобы не возбудить его внимания.

Теперь я мог с удобством изучить его наружность. Он был небольшого роста, очень тонок и на вид очень слаб. На нем было грязное и оборванное платье; но когда время от времени он входил в полосу яркого блеска, я мог заметить, что его белье, хотя и засаленное, было хорошего качества; и, если мое зрение не обмануло меня, я увидел, как через прореху плаща, тщательно застегнутого и очевидно купленного из вторых рук, сверкнул бриллиант и кинжал. Эти наблюде-

ния еще более усилили мое любопытство, и я решил следовать за стариком всюду, куда бы он ни пошел.

Была уже глубокая ночь, и над городом повис густой влажный туман, вскоре разрешившейся тяжелым и упорным дождем. Перемена погоды оказала на толпу странное действие: все кругом снова зашумело, над толпой вырос целый лес зонтиков, волнение, давка и смутный гул удесятерились. Что касается меня, я не особенно беспокоился о дожде — во мне крылась застарелая лихорадка, для которой сырость была какой-то усладой, правда, несколько опасной. Завязавши рот платком, я продолжал свой путь. В продолжение получаса старик с трудом пробирался по людной улице; и я шел почти рядом с ним, боясь потерять его из виду. Так как он ни разу не оглядывался, то, естественно, не замечал меня. Вскоре он перешел на перекрестную улицу; хотя и здесь толпилось очень много народу, все же она была не так загромождена, как та главная, которую он только что оставил. В его движениях, во всем его виде произошла в это время неоспоримая перемена. Он шел более медленно и менее уверенно — как бы не имея определенной цели. Без всякой видимой нужды он несколько раз переходил дорогу. И давка все еще была настолько велика, что я каждый раз, когда он менял дорогу, должен был идти за ним по пятам. Почти целый час бродил незнакомец по этой длинной и узкой улице, толпа постепенно редела, и число прохожих сделалось приблизительно таким же, какое около полудня можно видеть на Broadway* близ парка — так велика разница между лондонским населением и населением наиболее людного американского города. Следующий поворот привел нас к северу, который был ярко освещен и кишел жизнью. К старику вернулся его прежний вид. Он склонил голову на грудь, между тем как глаза его дико смотрели из-под нахмуренных бровей во все стороны, на окружавшую его толпу. Он упорно продолжал идти вперед. Однако я был удивлен, видя, что, обогнув сквер, он возвратился на прежнее место и пошел тем же путем. Я был еще более удивлен, видя, что он повторил эту прогулку несколько раз — причем однажды чуть не поймал меня в моем занятии, сделав быстрый поворот.

---

* Бродвей (*англ.*). — *Примеч. ред.*

Таким образом он прошел еще часть, и прохожие теснили нас уже гораздо меньше. Дождь падал неумолимо; в воздухе распространился холод; каждый спешил к себе домой. С нетерпеливым жестом старик перешел на соседнюю улицу, сравнительно пустынную. Около четверти мили он почти бежал по ней с проворством, которого я никак не мог предполагать в таком престарелом существе, я едва мог следовать за ним. Через несколько мгновений мы достигли людного и обширного базара, с отдельными уголками которого старик, по-видимому, был отлично знаком; здесь к нему опять вернулся его прежний вид, и он бесцельно начал бродить то там, то здесь среди покупателей и продавцов.

Целые полтора часа, или около того, мы ходили по этой площади, и я должен был принимать крайние меры предосторожности, чтобы не отстать от него и в то же время не возбудить его внимания. К счастью, на мне были резиновые калоши, и я мог двигаться совершенно бесшумно. Не было ни одного мгновения, когда бы он заметил, что я слежу за ним. Он переходил из лавки в лавку, ничего не покупал, ни с кем не говорил ни слова и смотрел на все выставочные вещи пристальным, диким и каким-то отсутствующим взглядом. Я был изумлен до крайности его поведением и твердо решился во что бы то ни стало не выпускать его из виду, пока тем или иным путем не удовлетворю своего любопытства.

Громкий бой, раздавшийся на башне, возвестил одиннадцать часов, и публика быстро очистила базар. Один лавочник, закрывая ставни, толкнул незнакомца локтем, и в то же мгновение я увидал, как по его телу пробежала дрожь. Он бросился на улицу, с тоскливым беспокойством огляделся кругом и потом с невероятной быстротой побежал по разным пустынным и извилистым переулкам, пока, наконец, мы еще раз не достигли большой улицы, откуда начали свой путь — той улицы, на которой находилась кофейня Д. Однако улица эта имела теперь совершенно иной вид. Правда, газ по-прежнему ярко озарял ее; но дождь падал с каким-то бешенством, и только редкие прохожие виднелись на ней. Старик побледнел. Угрюмо он сделал несколько шагов по улице, которая еще так недавно была усеяна оживленной толпой, потом, с тяжелым вздохом, он пошел по направлению к реке,

и, следуя разными окольными путями, достиг наконец одного из главных театров. Там только что окончилось представление, и публика густой массой выходила из дверей. Я увидал, как незнакомец открыл рот, точно он хотел свободно вздохнуть, точно он хотел окунуться в толпу: но, как мне показалось, напряженная мука, искажавшая его черты, до известной степени улеглась. Голова его снова упала на грудь; он имел теперь тот же самый вид, как в первый момент, когда я его увидал. Я заметил, что он пошел по той стороне, где скопился главный поток уходивших зрителей, — но, как бы то ни было, я был не в силах понять его причудливого упрямства.

По мере того как он шел, публика редела и к нему вернулись его прежние колебания и тревожное состояние. Некоторое время он следовал очень близко за кучкой каких-то горластых людей, человек десять — двенадцать; но один за другим они расходились, и только трое остались вместе в узком и глухом переулке. Старик остановился и на минуту погрузился в размышление; потом, со всеми признаками возбуждения, он быстро пошел по дороге, приведшей нас к самому краю города, к местностям, сильно отличавшимся от тех, по которым мы только что проходили. Это был наиболее шумный квартал Лондона, где все отмечено гнусной печатью самой удручающей нищеты и самой безвозвратной преступности. Под тусклым светом случайных фонарей предстали деревянные дома, высокие, ветхие, изъеденные червями, угрожающие своим падением, в таком прихотливом беспорядке, что проходы едва виднелись между ними. Вместо правильных мостовых лежали там и сям камни, брошенные наудачу, и в промежутках росла густая трава. Омерзительная нечисть гноилась в застоявшихся каналах. Все кругом было окутано безутешностью. Но по мере того как мы шли, мало-помалу и совершенно явственно стали воскресать звуки человеческой жизни, и наконец показались кишащие толпы самих погибших отверженцев лондонского населения; пошатываясь, они брели в разные стороны. И дух незнакомца снова вспыхнул, как лампа, готовая сейчас угаснуть. Еще раз он устремился вперед легкими шагами. Вдруг при повороте на нас упал яркий блеск, мы находились перед одним из приго-

родных храмов Невоздержности — перед дворцом нечистого Джина.

Близился рассвет, но злосчастные пьяницы все еще толпились, входя через блестящую дверь и выходя из нее. Почти вскрикнув от радости, старик с силой проник туда, принял свой первоначальный вид и стал разгуливать среди толпы туда-сюда без всякой видимой цели. Однако ему не долго пришлось заниматься этим; давка около двери, через которую тесными кучками выходили посетители, показывала, что хозяин закрывал свое заведение ввиду позднего часа. Что-то более острое, нежели отчаяние, увидал я на лице этого странного существа, за которым следил так упорно. Но старик без колебаний продолжал свой путь. С бешеной энергией пошел он назад по своим следам и достиг самого сердца могучего Лондона. Он бежал долго и быстро, и я следовал за ним, охваченный необычайным изумлением, решившись ни за что не прекращать своего наблюдения, теперь всецело поглотившего меня. Пока мы шли, взошло солнце, и когда мы достигли самой людной части этого громадного города, достигли улицы, где находилась кофейня Д., там царила людская суета, вряд ли меньшая, чем та, что была накануне вечером. И посреди ежеминутно возраставшего движения я долго еще преследовал странного старика. Но он все бродил взад и вперед и в продолжение целого дня не выходил из смутной давки, загромождавшей эту улицу. И когда приблизились тени второго вечера, я почувствовал смертельную усталость, и, внезапно встав перед бродягой, пристально глянул ему в лицо. Он не заметил меня и продолжал свое торжественное шествие, а я, прекратив свою погоню, погрузился в размышление. «Этот старик, — сказал я наконец самому себе, — является первообразом и гением глубокого преступления. Он не в силах быть наедине с самим собой. Это — человек толпы. Было бы тщетно гнаться за ним, ибо я ничего больше не узнаю ни о нем, ни о его поступках. Худшее в мире сердце является книгой более тяжеловесной, чем „Hortulus Animae“*, и быть может, это одно из великих благодеяний Господа, что такая книга не позволяет себя прочесть — „es Lasst sich nicht lesen“».

---

* См. *Грюнингер И. «Садик души* с прибавлением некоторых маленьких речей» — *Примеч. автора.*

КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК

Impia tortorum longas hic turba furores
Sanguinis innocui, non satiata, aluit.
Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro,
Mors ubi dira fuit vita salusque patent*.

Четверостишие, составленное для надписи на воротах рынка, который предполагалось соорудить на месте Якобинского клуба в Париже[1]

Я был болен, болен смертельно, благодаря этим долгим невыносимым мукам, и когда, наконец, они сняли с меня оковы и позволили мне сидеть, я почувствовал, что лишаюсь сознания. Приговор, страшный смертный приговор — это были последние слова, которые с полной отчетливостью достигли до моего слуха. Потом звуки инквизиторских голосов как бы слились в один неопределенный гул, раздававшийся точно во сне. Он пробудил в моей душе представление о круговращении, быть может, потому в воображении моем он сочетался с глухим рокотом мельничного колеса.

Это ощущение продолжалось лишь несколько мгновений, и вот я больше не слыхал ничего. Но зато я *видел,* и с какой страшной преувеличенностью! Я видал губы судей, облаченных в черные одеяния. Эти губы показались мне белыми — белее чем лист бумаги, на котором я сейчас пишу, — и тонкими, тонкими до забавности, в них было напряженное выражение суровости, непреклонной решительности и мрачного презрения к человеческим пыткам. Я видел, что приговор, который был для меня роковым, еще исходил из этих губ. Я видел, как они искажались, произнося смертельные слова. И видел, как они изменялись, выговаривая по слогам мое имя, и меня охватил трепет, потому что звука не было слышно. Опьяненный ужасом, я видел, кроме того, в течение нескольких мгновений, легкие, едва заметные колебания

* Нечестивая толпа мучителей, неудовлетворенная, утоляла здесь долговременную жажду невинной крови. Ныне же при благоденствии отечества, ныне по разрушении пещеры погребения, жизнь и спасение отверсты там, где была зловещая смерть *(лат.). — Примеч. пер.*

черной обивки, окутывавшей стены зала, и потом мой взгляд был привлечен семью высокими свечами, стоявшими на столе. Сперва они казались мне милосердными, они представились мне белыми стройными ангелами, которые должны были принести мне спасение: но тотчас же моей душой овладевало чувство смертельного отвращения, и я затрепетал всеми фибрами моего существа, как бы прикоснувшись к проволоке гальванической батареи[2], и ангелы сделались бессмысленными призраками с головами из пламени, и я увидел, что от них мне нечего ждать. И тогда в мое воображение подобно богатой музыкальной ноте прокралась мысль о том, как должно быть сладко отдохнуть в могиле. Эта мысль овладела мною незаметно, и, по-видимому, прошло много времени, прежде чем я вполне оценил ее, но именно тогда, когда дух мой наконец начал должным образом ощущать и лелеять ее, лица судей как по волшебству исчезли передо мной; высокие свечи превратились в ничто; их пламя погасло совершенно; нахлынула черная тьма; все ощущения, как показалось мне, поглощались быстрым бешеным нисхождением, точно душа опускалась в ад. Затем молчание, тишина, и ночи стали моей вселенной.

Я лишился чувств; однако же я не могу сказать, чтобы всякая сознательность была утрачена. Что именно осталось, я не буду пытаться определить, не решусь даже описывать; но не все было утрачено. В самом глубоком сне не все утрачивается! В состоянии бреда — не все! В обмороке — не все! В смерти — не все! Даже в могиле *не все* утрачивается! Иначе нет бессмертия для человека. Пробуждаясь от самого глубокого сна, мы порываем тонкую как паутина ткань *какого-то* сна. И секунду спустя (настолько, быть может, воздушна была эта ткань) мы уже не помним того, что нам снилось. Когда мы возвращаемся к жизни после обморока, в наших ощущениях есть две степени: во-первых, ощущение умственного или духовного существования; во-вторых, ощущение существования телесного. Весьма вероятно, что если бы, достигнув второй степени, мы могли вызвать в нашей памяти впечатления первой, мы нашли бы эти впечатления красноречиво переполненными воспоминаниями о бездне, находящейся по ту сторону нашего бытия. И эта бездна — что она такое? Каким образом, в конце концов, можем мы отличить ее тени от

теней могильных? Но если впечатления того, что я назвал первой степенью, не могут быть воссозданы в памяти произвольно, не приходят ли они к нам после долгого промежутка сами собою, между тем как мы удивляемся, откуда они пришли? Кто никогда не лишался чувств, тот не принадлежит к числу людей, которые видят в пылающих углях странные чертоги и безумно знакомые лица; он не видит, как в воздухе витают печальные видения, которые зримы лишь немногим; он не будет размышлять подолгу об аромате какого-нибудь нового цветка; его ум не будет заворожен особенным значением какого-нибудь музыкального ритма, который раньше никогда не привлекал его внимания.

Среди неоднократных и тщательных попыток вспомнить о том, что было, среди упорных стараний уловить какой-нибудь луч, который озарил бы кажущееся небытие, охватившее мою душу, были мгновенья, когда мне казалось, что попытки мои увенчаются успехом; были краткие, очень краткие, промежутки, когда силой заклинания я вызывал в своей душе воспоминанья, и рассудок мой, бывший трезвым в этот второй период, мог отнести их только к периоду кажущейся бессознательности. Эти неясные тени, выросшие в моей памяти, заставляют меня смутно припомнить о высоких фигурах, которые подняли меня и молчаливо понесли вниз — все ниже — все ниже, — пока наконец мною не овладело отвратительное головокружение, при одной только мысли о бесконечном нисхождении. Эти неясные тени говорят также о смутном ужасе, охватившем мое сердце, благодаря тому, что это сердце было так неестественно спокойно. Затем следует чувство внезапной неподвижности, оцепеневшей все кругом, как будто бы те призраки, которые несли меня (чудовищный кортеж!), в своем нисхождении вышли за границы безграничного и стали, побежденные трудностью своей задачи. Затем я припоминаю ощущение чего-то плоского и сырого; и после этого все делается *безумием* — безумием памяти, бьющейся в запретном.

Совершенно внезапно в душу мою опять проникли ощущения звука и движения — это бешено билось мое сердце, и слух воспринимал звук его биения. Потом следует промежуток, впечатление которого совершенно стерлось. Потом опять звук, и движение, и прикосновение к чему-то, и ощу-

щение трепета, захватывающее меня всецело. Потом сознание, что я жив, без всякой мысли — состояние, продолжавшееся долго. Потом совершенно внезапно *мысль,* и панический ужас, и самая настойчивая попытка понять, в каком положении я нахожусь. Потом страстное желание ничего не ощущать. Потом быстрое возрождение души, и попытка, удавшаяся сделать какое-нибудь движение. И вот у меня встает ясное воспоминание о допросе, о судьях, о черной стенной обивке, о приговоре, о недомогании, об обмороке. Затем полное забвение всего, что было дальше; об этом мне удалось вспомнить позднее, лишь смутно и с помощью самых упорных попыток.

До сих пор я не открывал глаз. Я чувствовал, что лежу на спине, без оков. Я протянул свою руку, и она тяжело упала на что-то сырое и твердое. В таком положении я держал ее несколько долгих минут, стараясь в то же время понять, где я и *что же* со мною произошло. Мне очень хотелось открыть глаза, но я не смел. Я боялся первого взгляда на окружающие предметы. Не то меня пугало, что я могу увидеть что-нибудь страшное, меня ужасала мысль, что я могу не увидать *ничего.* Наконец, с безумным отчаянием в сердце, я быстро открыл глаза. Увы! Мои худшие мысли оправдались. Вечная ночь окутывала меня своим мраком. Я почувствовал, что задыхаюсь. Непроницаемость мрака, казалось, давила и удушала меня. Воздух был невыносимо тяжел. Я все еще лежал неподвижно и старался овладеть своим рассудком. Я припоминал приемы, к которым всегда прибегала инквизиция, и исходя отсюда, старался вывести заключение относительно моего настоящего положения. Приговор был произнесен, и мне представлялось, что с тех пор прошел очень большой промежуток времени. Однако ни на одно мгновение у меня не появилось мысли, что я действительно мертв. Подобная догадка, несмотря на то, что мы читаем об этом в романах, совершенно несовместима с реальным существованием; — но где я был и что было со мной? Приговоренные к смерти, как я знал, погибали обыкновенно на *auto-da-fé*[3], и один из осужденных был сожжен как раз в ту ночь, когда мне был объявлен приговор. Не был ли я снова брошен в тюрьму для того, чтобы дождаться следующей казни, которая должна была последовать не ранее как через несколько месяцев? Я видел

ясно, что этого не могло быть. Жертвы претерпевали немедленную кару. Кроме того, в моей тюрьме, как и везде в Толедо[4] в камерах для осужденных, был каменный пол, и в свете не было совершенно отказано.

Страшная мысль внезапно охватила меня, кровь отхлынула к сердцу, и на некоторое время я опять погрузился в бесчувственность. Придя в себя, я тотчас же вскочил на ноги, судорожно трепеща всем телом. Как сумасшедший, я стал махать руками над собой и вокруг себя по всем направлениям. Я не ощущал ничего; но меня ужасала мысль сделать хотя бы шаг, я боялся встретить стены *гробницы*. Я весь покрылся по́том, он висел у меня на лбу крупными холодными каплями. Наконец пытка неизвестности сделалась невыносимой, и я сделал осторожное движение вперед, широко раскрыв руки и с напряжением выкатывая глаза, в надежде уловить хотя бы слабый проблеск света. Я сделал несколько шагов, но кругом была только пустота и тьма. Я вздохнул свободнее. По-видимому, было несомненно, что меня, по крайней мере, не ожидала участь самая ужасная.

И в то время как я продолжал осторожно ступать вперед, на меня нахлынули беспорядочной толпой воспоминания, множество смутных рассказов об ужасах, совершающихся в Толедо. О здешних темницах рассказывались необыкновенные вещи — я всегда считал их выдумками, — вещи настолько странные и страшные, что их можно повторять только шепотом. Было ли мне суждено погибнуть от голода в этом черном подземелье или, быть может, меня ожидала участь еще более страшная? Я слишком хорошо знал характер моих судей, чтобы сомневаться, что в результате должна была явиться смерть, и смерть — как нечто изысканное по своей жестокости. Единственно, что меня занимало или мучило, — это мысль, в какой форме придет смерть и когда.

Мои протянутые руки наткнулись, наконец, на какое-то твердое препятствие. Это была стена, по-видимому, каменная, — очень гладкая, скользкая и холодная. Я пошел вдоль ее, ступая с крайней осторожностью, внушенной мне старинными рассказами. Однако этот прием не доставил мне никакой возможности исследовать размеры моей тюрьмы; я мог обойти стену и вернуться к месту, откуда я пошел, не замечая этого, настолько однообразна была эта стена. Тогда я по-

тянулся за ножом, который был у меня в кармане, когда я был введен в инквизиционный зал, но он исчез. Платье было переменено на халат из грубой саржи. У меня была мысль воткнуть лезвие в какую-нибудь небольшую трещину и таким образом прочно установить исходную точку. Трудность, однако, была самая пустячная, хотя при расстройстве моей умственной деятельности она показалась мне сначала непреоборимой. Я оторвал от халата часть обшивки и положил этот кусок во всю длину к стене, под прямым углом. Идя на ощупь и обходя тюрьму кругом, я не мог не дойти до этого обрывка, совершив полный круг. Так, по крайней мере, я рассчитывал, но я не принял во внимание ни возможных размеров тюрьмы, ни собственной слабости. Почва была сырая и скользкая. Неверными шагами я шел некоторое время вперед, потом споткнулся и упал. Крайнее утомление побудило меня остаться в этом распростертом положении, и вскоре мною овладел сон.

Проснувшись и протянув свою руку вперед, я нашел около себя хлеб и кружку с водой. Я был слишком истощен, чтобы размышлять, и с жадностью принялся пить и есть. Вскоре после этого я опять принялся огибать тюрьму и с большими трудностями пришел, наконец, к куску саржи. До того мгновения, как я упал, я насчитал пятьдесят два шага, а после того, как продолжил свое исследование, мне пришлось сделать еще сорок восемь шагов, прежде чем я дошел до обрывка. В общем, значит, получилось сто шагов, и, допуская, что два шага составляют ярд, я предположил, что тюрьма простирается на пятьдесят ярдов в своей окружности. Я натолкнулся, однако, на множество углов и, таким образом, не мог узнать, какую форму имеет свод, мне показалось только, что это именно свод.

Мне, конечно, мало было пользы делать подобные взыскания: никакой надежды, разумеется, не могло быть с этим связано, но смутное любопытство побуждало меня продолжать их. Оставив стену, я решился пересечь площадь тюрьмы. Сперва я ступал с крайними предосторожностями, потому что хотя пол и был сделан, по-видимому, из солидного материала, тем не менее он отличался предательской скользкостью. Потом, однако, я стал смелее и уже ступал твердо, без колебаний, пытаясь пересечь тюрьму по прямой линии,

насколько это было для меня возможно. Я сделал таким образом шагов десять — двенадцать, как вдруг оставшаяся часть полуоборванной обшивки халата запуталась у меня между ног. Я наступил на нее и упал прямо лицом вниз.

В замешательстве падения я не мог сразу заметить одного поразительного обстоятельства, которое, тем не менее, не замедлило привлечь мое внимание через несколько секунд, пока я еще продолжал лежать распростертый во всю длину. Дело в том, что мой подбородок находился на полу тюрьмы, но губы и верхняя часть головы не прикасались ни к чему, хотя, по-видимому, они были на более низком уровне, чем подбородок. В то же самое время мой лоб, казалось, был окутан каким-то клейким испарением, и своеобразный запах гниющих грибков поразил мое обоняние. Я протянул перед собою руку и содрогнулся, увидя, что упал на самом краю круглого колодца, размеров которого я, конечно, не мог определить в ту минуту. Ощупывая каменную кладку над самым краем, я смог оторвать небольшой обломок и бросил его в пропасть. В течение нескольких секунд я вслушивался в звуки камня, ударившегося о стену пропасти в своем нисхождении; наконец, он мрачно булькнул в воду, и этот звук был повторен громким эхом. В тот же самый момент послышался другой звук, точно надо мной мгновенно открылась и закрылась дверь, между тем как слабый отблеск света быстро скользнул во тьме и так же быстро исчез.

Я ясно увидел, какая участь была приготовлена для меня, и поздравил себя со счастливой случайностью, благодаря которой избежал ее. Еще шаг, и меня не было бы в живых; и эта смерть отличалась именно таким характером, что я считал пустой выдумкой, когда о ней говорилось в рассказах, касавшихся инквизиции. Для жертв ее тирании была избираема смерть или с самыми жестокими физическими муками, или с самыми отвратительными нравственными ужасами. Мне было предназначено последнее. Благодаря долгим страданиям нервы мои были напряжены до такой степени, что я содрогался при звуках собственного голоса и сделался субъектом, во всех смыслах подходящим для ожидавших меня пыток.

Трепеща всем телом, я на ощупь пошел назад к стене — решаясь скорее умереть там, нежели подвергаться опасности

познакомиться с ужасами колодцев, целое множество которых моя фантазия нарисовала мне вокруг меня в разных местах тюрьмы. При другом состоянии рассудка я имел бы мужество окончить свои беды сразу, бросившись в одну из пучин: но тогда я был самым жалким из трусов. Я не мог также забыть того, что читал об этих колодцах — именно, что *внезапная* смерть не составляла задачи их чудовищного устройства.

Душевное возбуждение продержало меня в состоянии бодрствования в течение долгих часов; но наконец я опять заснул. Проснувшись, я нашел около себя, как прежде, хлеб и кружку с водой. Меня мучила страшная жажда, и я выпил всю воду сразу. Она, должно быть, была смешана с каким-нибудь составом, потому что едва я ее выпил, как мною овладела непобедимая сонливость. Я погрузился в глубокий сон — в сон, подобный смерти. Как долго он продолжался, я не могу, конечно, сказать; но когда я опять раскрыл глаза, окружающие предметы были видимы. Благодаря странному сернистому сиянию, происхождение которого я сперва не мог определить, я мог видеть размеры и внешние очертания тюрьмы. Я сильно ошибся касательно ее величины; вся окружность стен не превосходила двадцати пяти ярдов. Это обстоятельство на несколько минут наполнило меня целым множеством напрасных тревог; поистине напрасных — ибо при страшных обстоятельствах, под властью которых я находился, могло ли быть что-нибудь менее важное, нежели размеры моей тюрьмы? Но душа моя странным образом услаждалась пустяками, и я ревностно пытался объяснить себе свою ошибку. Наконец, истина внезапно открылась мне. Когда я в первый раз предпринял свои исследования, я насчитал пятьдесят два шага до того времени, как упал; я должен был тогда находиться шага за два от куска саржи; в действительности я уже почти обошел весь свод. Потом я уснул и, проснувшись, пошел назад по пройденному пути, таким образом решил, что окружность тюрьмы была вдвое более против своих действительных размеров. Смутное состояние моего рассудка помешало мне заметить, что, когда я начал свое исследование, стена была у меня слева, а когда кончил, она была справа.

Я обманулся также и относительно формы тюрьмы. Ощупывая дорогу, я нашел много углов и отсюда вывел представление о большой неправильности. Так велика власть полной темноты, когда она оказывает свое действие на человека, пробуждающегося от летаргии или от сна! Углы представляли из себя не что иное, как некоторые небольшие понижения уровня или ниши, находившиеся на неровных промежутках друг от друга. Общая форма тюрьмы представляла из себя четырехугольник. То, что я счел каменной кладкой, оказалось железом, или каким-нибудь другим металлом, это были огромные пласты, сшивки которых, или смычки, обусловливали понижение уровня. Вся поверхность этой металлической загородки была осквернена отвратительными гнусными эмблемами, изобретениями замогильных монашеских суеверий. Фигуры угрожающих демонов в форме скелетов и другие образы, более реальные в своем ужасе, были всюду разбросаны по стенам, стены были изуродованы ими. Я заметил, что очертания этих искаженных призраков были довольно явственны, но что краски как будто были запятнаны действием сырой атмосферы. Я мог, кроме того, рассмотреть теперь и пол, он был из камня. В самом центре зиял круглый колодец, от пасти которого я ускользнул; но во всей тюрьме он был единственным.

Все это я видел неясно и с большими усилиями, потому что мое внешнее положение сильно изменилось за время сна. Я лежал теперь на спине во всю длину на каком-то деревянном срубе. Самым тщательным образом я был привязан к нему ремнем, похожим на священнический пояс. Проходя кругом, он облекал мои члены и все тело, оставляя на свободе только голову, а также левую руку, настолько, что я при помощи долгих усилий мог доставать пищу с глиняного блюда, стоявшего около меня на полу. К своему ужасу, я увидел, что кружка была отодвинута в сторону. Я говорю — к своему ужасу, потому что меня терзала невыносимая жажда. Одним из намерений моих мучителей было, очевидно, усилить эту жажду: пища, находившаяся на блюде, была сильно пересолена.

Устремив свои взоры кверху, я стал рассматривать потолок тюрьмы. Он простирался надо мною на высоте тридцати или сорока футов и был по строению похож на боковые сте-

ны. Все мое внимание было приковано чрезвычайно странной фигурой, находившейся в одном из его панно. Это была фигура Времени, как она обыкновенно изображается, с той только разницей, что вместо косы она держала орудие, которое при беглом взгляде я счел нарисованным изображением громадного маятника, в роде тех, какие мы видим на старинных часах. Было, однако, нечто во внешнем виде этого снаряда, что меня заставило взглянуть на него пристальнее. В то время как я смотрел на маятник, устремляя взгляд прямо над собою (ибо он находился, действительно, как раз надо мной), мне почудилось, что он движется. В следующее мгновение мое впечатление оправдалось. Он покачивался коротким размахом, и, конечно, медленно. Я следил за ним в течение нескольких минут отчасти с чувством страха, но более с чувством удивления. Утомившись, наконец, я отвернулся и обратил свой взгляд на другие предметы, находившиеся в тюрьме.

Легкий шум привлек мое внимание, и, посмотрев на пол, я увидал несколько огромных крыс. Они только что вышли из колодца, который был мне виден справа. В то самое время, как я смотрел на них, они поспешно выходили целой стаей и сверкали жадными глазами, привлеченные запахом говядины. Мне стоило больших усилий и большого внимания, чтобы отогнать их.

Прошло, вероятно, полчаса, а быть может, и час (я мог только приблизительно судить о времени), прежде чем я опять устремил свой взгляд вверх. То, что я увидел тогда, поразило и смутило меня. Размах маятника увеличился в протяжении приблизительно на ярд. Естественным следствием этого была также большая скорость его движения. Но что главным образом исполнило меня беспокойством, это мысль, что он заметно *опускается*. Я заметил теперь, — нечего говорить, с каким ужасом, — что нижняя его конечность представляла из себя полумесяц из блестящей стали, приблизительно около фута в длину от одного изогнутого острия до другого; изогнутые острия обращались вверх, а нижний край был, очевидно, остер как бритва. Как бритва, полумесяц представлялся также массивным и тяжелым, причем он суживался, заостряясь вверх от выгнутого края и составляя вверху нечто солидное и широкое. Он был привешен на мас-

сивном бронзовом стержне и, рассекая воздух, издавал *свистящий* звук.

Я не мог больше сомневаться относительно участи, которую приготовила для меня изысканная жестокость монахов. Агентам инквизиции сделалось известным, что я увидел колодец — *колодец,* ужасы которого были умышленно приготовлены для такого смелого и мятежного еретика, — *колодец,* являющийся первообразом ада и фигурирующий в смутных легендах как Ultima Thule[5] всех инквизиционных кар. Падения в этот колодец я избежал благодаря простой случайности, и я знал, что делать из самих пыток ловушку и неожиданность было одной из важных задач при определении всех этих загадочных казней, совершавшихся в тюрьмах. Раз я сам избежал колодца, в дьявольский план совсем не входило сошвырнуть меня туда, ибо таким образом (в виду отсутствия выбора) меня ожидала иная смерть, более короткая! *Более короткая!* Я чуть не улыбнулся, несмотря на свои пытки, при мысли о таком применении этого слова.

К чему рассказывать о долгих-долгих часах ужаса, более чем смертельного, в продолжение которых я считал стремительные колебания стали! Дюйм за дюймом — линия за линией — она опускалась еле заметно — и мгновения казались мне веками — она опускалась все ниже, все ниже и ниже! Шли дни — быть может, прошло много дней, — прежде чем стальное острие стало качаться надо мною настолько близко, что уже навевало на меня свое едкое дыхание. Резкий запах стали поразил мое обоняние. Я молился — я теснил небо мольбами: пусть бы она опускалась скорее. Мною овладело безумное бешенство, я старался изо всех сил приподняться, чтобы подставить грудь кривизне этой сабли. И потом я внезапно упал, совершенно спокойный, и лежал, и с улыбкой смотрел на смерть в одежде из блесток, как ребенок смотрит на какую-нибудь редкостную игрушку.

Последовал новый промежуток полного отсутствия чувствительности; он был недолог, потому что когда я опять вернулся к жизни, в нисхождении маятника не было заметного изменения. Но, быть может, этот промежуток времени был и долог, ведь я знал, там были демоны, они выследили, что я лишился чувств, они могли задержать колебание маятника для продления услады. Кроме того, опомнившись, я почувс-

твовал себя чрезвычайно слабым — о, невыразимо слабым и больным, как будто я страдал от долгого изнурения. Однако и среди пыток такой агонии человеческая природа требовала пищи. С тягостным усилием я протянул руку, насколько мне позволяли мои оковы, и захватил объедки, оставшиеся мне от крыс. Едва я положил один из кусков в рот, как в голове моей быстро мелькнула полуявственная мысль радости и надежды. Но на что *мне* было надеяться? Как я сказал, это была полуявственная мысль — у человека возникает много мыслей, которым не суждено никогда быть законченными. Я почувствовал что-то радостное, что-то связанное с надеждой; но я почувствовал также, что эта вспышка мысли, едва блеснув, угасла. Напрасно я старался восстановить ее, закончить. Долгие страдания почти совсем уничтожили самые обыкновенные способности рассудка. Я был слабоумным — я был идиотом.

Колебание маятника совершалось в плоскости, составлявшей прямой угол с моим вытянутым в длину телом. Я видел, что полумесяц должен был пересечь область моего сердца. Он должен был перетереть саржевый халат и снова вернуться и повторить свою операцию — и снова вернуться — и снова вернуться. Несмотря на страшно-широкий размах (футов тридцать или больше) и свистящую силу нисхождения, которая могла бы рассечь даже эти железные стены, все, что мог совершить качающийся маятник в течение нескольких минут, — это перетереть мое платье. И дойдя до этой мысли, я остановился. Дальше я не смел идти в своих размышлениях. Внимание мое упорно медлило — как будто, остановившись на данной мысли, я мог тем самым остановить нисхождение стали именно *здесь*. Я старался мысленно определить характер звука, который произведет полумесяц, рассекая мой халат, — определить особенное напряженное впечатление, которое будет произведено на мои нервы трением ткани. Я размышлял обо всех этих пустяках, пока они, наконец, не надоели мне.

Ниже — все ниже сползал маятник. Я испытывал бешеное наслаждение, видя контраст между медленностью его нисхождения и быстротой бокового движенья. Вправо — влево — во всю ширину — с криком отверженного духа! Он пробирается к моему сердцу крадущимися шагами тигра!

Попеременно я хототал и выл, по мере того, как надо мной брала перевес то одна, то другая мысль.

Ниже — неукоснительно, безостановочно ниже! Он содрогался на расстоянии трех дюймов от моей груди! Я метался с бешенством, с яростью, стараясь высвободить левую руку. Она была свободна только от кисти до локтя. Я мог протянуть ее настолько, чтобы с большими усилиями дотянуться до блюда и положить кусок в рот; только это было мне даровано. Если бы я мог разорвать оковы выше локтя, я схватил бы маятник, чтобы задержать его. Я мог бы с таким же успехом попытаться задержать лавину!

Ниже — неудержимо — все ниже и ниже! Я задыхался, я бился при каждом колебании. Я весь съеживался при каждом его взмахе. Глаза мои следили за вращением вверх и вниз, с жадностью самого бессмысленного отчаяния; когда маятник опускался вниз, они сами собою закрывались, как бы объятые судорогой, хотя смерть должна была бы принести мне облегчение, о, какое несказанное! И между тем я трепетал каждым нервом при мысли о том, какого ничтожного приближения этого орудия будет достаточно, чтобы сверкающая сталь вонзилась в мою грудь. Это *надежда* заставляла мои нервы трепетать, понуждала мое тело съеживаться. Это была *надежда* — которая торжествует и в застенке — шепчется с приговоренным к смерти даже в тюрьмах инквизиции.

Я увидал, что десяти или двенадцати колебаний будет достаточно, чтобы сталь пришла в непосредственное соприкосновение с моим платьем, и как только я это заметил, мой ум внезапно был охвачен безутешным спокойствием отчаяния. В первый раз, в течение многих часов, или, быть может, дней я *думал*. Я понял теперь, что ремень или пояс, связывавший меня, был *сплошным*. Я был опутан не отдельными узами. Первый удар полумесяца, подобного бритве, должен был пройти поперек какой-нибудь части ремня и разделить его настолько, что я мог с помощью левой руке распутать его и откинуть от тела. Но как в этом случае должна быть ужасна близость стали! Последствие самых легких усилий насколько смертоносно! И кроме того, допустимо ли, чтобы приспешники моих мучителей не предвидели такой возможности и не позаботились сами насчет ее? Было ли это вероятно,

чтобы ремень пересекал мою грудь в пределах колебания маятника? Боясь, что моя слабая и, по-видимому, последняя надежда окажется напрасной, я приподнял голову, настолько, чтобы отчетливым образом осмотреть свою грудь. Ремень плотно облегал мои члены и тело по всем направлениям, *исключая предметов пути убийственного полумесяца.*

Едва я откинул голову назад, на прежнее место, как в уме моем что-то вспыхнуло, шевельнулось что-то неопределенное; мне хотелось бы назвать это чувство половинным бесформенным обрывком той мысли об освобождении, на которую я прежде указывал, и лишь половина которой промелькнула у меня в душе своими неясными очертаниями, когда я поднес пищу к пылающим губам. Теперь вся мысль была налицо — слабая, едва теплящаяся, едва уловимая, но все же цельная. Охваченный энергией отчаяния, я тотчас же приступил к ее исполнению.

Вот уже несколько часов около низкого сруба, на котором я лежал, суетились крысы — не суетились, а буквально кишели. Дикие, дерзкие, жадные, они смотрели на меня блистающими красными глазами, как будто только ждали, когда я буду неподвижен, чтобы тотчас же сделать меня своей добычей. «К какой пище, — подумал я, — привыкли они здесь, в колодце?»

Несмотря на все мои старания отогнать их, они пожрали на блюде почти всю пищу, и там остались только объедки. Рука моя привыкла покачиваться вокруг блюда, и в конце концов это однообразное машинальное движение перестало оказывать на них какое-нибудь действие. Прожорливые твари нередко вонзали свои острые зубы в мои пальцы. Оставшимися частицами маслянистого и пряного мяса я тщательно натер ремень везде, где только мог до него дотянуться; потом, приподняв свою руку от пола, я задержал дыхание.

В первое мгновенье алчные животные были изумлены и устрашены переменой — испуганы прекращением движения. Они бешено ринулись прочь; многие спрятались в колодец. Но это продолжалось один миг. Я не напрасно рассчитывал на их прожорливость. Видя, что я был неподвижен, две-три крысы рискнули вскочить на сруб и начали обнюхивать ремень. Это было как бы сигналом для всей стаи. Крысы беше-

но бросились вперед. Из колодца устремились новые толпы. Они цеплялись за сруб, они взбирались на него, они сотнями бегали по моему телу. Размеренное движение маятника нимало их не тревожило. Избегая его ударов, они ревностно занялись уничтожением ремня. Они лезли одна на другую, они кишели на мне, собираясь все новыми грудами. Они судорожно ползали по моему горлу; их холодные губы встречались с моими; я наполовину задохся под этой живой кучей; грудь моя наполнилась отвращением, которому на свете нет имени, и сердце похолодело от ощущения чего-то тяжелого и скользкого. Но еще минута, и я почувствовал, что сейчас все кончится. Я совершенно явственно ощущал ослабление моих пут. Я знал, что уже в нескольких местах ремень был разъединен. Охваченный сверхчеловеческой энергией, я *еще* лежал.

Не ошибся я в своих расчетах, не тщетно ждал. Наконец я почувствовал, что теперь я *свободен*. Ремень лохмотьями свешивался с моего тела. Но уже удар маятника теснил мою грудь. Он уже перетер саржевый халат. Он уже разрезал холст внизу. Еще дважды качнулся маятник вправо и влево, и чувство острой боли дернуло меня за каждый нерв. Но миг спасенья настал. Я махнул рукой, и мои спасители стремительно бросились прочь. Осторожно отодвигаясь вбок, медленно съеживаясь и оседая, я выскользнул из объятий перевязи и из пределов губительного лезвия. Хоть на миг, наконец *я был свободен*.

Свободен! — и в когтях инквизиции! Едва я отошел от моего деревянного ложа пытки и ужаса, едва я ступил на каменный пол тюрьмы, как движение дьявольского орудия прекратилось, и я увидал, что оно было втянуто вверх через потолок действием какой-то невидимой силы. Это наблюдение наполнило мое сердце отчаянием. Не было сомнения, что каждое мое движение выслеживали. Свободен! Я ускользнул от смерти, являвшейся в форме страшной пытки, чтобы испытать терзания каких-нибудь новых пыток, еще более страшных, чем смерть. При этой мысли я судорожно выкатывал глаза и бессмысленно смотрел на железные стены, стоявшие непроницаемыми преградами. Что-то необыкновенное произошло в тюрьме — какая-то очевидная и странная перемена, которую я сначала не мог должным обра-

зом определить. В течение нескольких минут размышления, похожего на сон и исполненного трепета, я тщетно старался разобраться в бессвязных догадках. Тут я впервые понял, откуда происходил сернистый свет, освещавший тюрьму. Он проходил сквозь трещину, приблизительно в полдюйма ширины, простиравшуюся кругом всей тюрьмы и находившуюся в основании стен, которые, таким образом, были совершенно отделены от пола. Я попытался, но конечно напрасно, посмотреть сквозь расщелину.

Когда я приподнялся, тайна перемены, происшедшей кругом, сразу предстала моим взорам. Я видел, что хотя очертания фигур, находившихся на стенах, были в достаточной степени явственны, краски представлялись, однако же, поблекшими и неопределенными. Эти краски начали теперь блистать самым поразительным резким светом, блеск с минуты на минуту все усиливался и придавал стенным фантомам такой вид, который мог бы потрясти нервы и более крепкие, чем мои. Везде кругом, где раньше ничего не было видно, блистали теперь дьявольские глаза; они косились на меня с отвратительной, дикой напряженностью, они светились мертвенным огнистым сиянием, и я напрасно старался принудить себя считать этот блеск нереальным.

Нереальным! Мне достаточно было втянуть в себя струю воздуха, чтобы мое обоняние ощутило пар, исходивший от раскаленного железа! Удушливый запах наполнил тюрьму! Блеск, все более яркий, с каждым мигом укреплялся в глазах, взиравших на мои пытки! Багряный цвет все более и более распространялся по этим видениям, по этим разрисованным кровью ужасам. Я едва стоял на ногах! Я задыхался! Не оставалось ни малейших сомнений касательно намерений моих мучителей — о, безжалостные палачи! о, ненавистные изверги! Я отшатнулся от пылавшего металла, отступил к центру тюрьмы. Перед ужасом быть заживо сожженным мысль о холодных водах колодца наполнила мою душу бальзамом. Я бросился к его губительному краю. Я устремил свой напряженный взгляд вниз. Блеск, исходивший от раскаленного свода, освещал самые отдаленные уголки. Но один безумный миг — и душа моя отказалась понять значение того, что я видел. Наконец, это *нечто* вошло в мою душу — втеснилось, ворвалось в нее — огненными буквами за-

печатлелось в моем трепещущем уме. О, дайте слов, дайте слов, чтобы высказать все это! — какой ужас! — о, любой ужас, только не этот! С криком я отстранился назад от края колодца — и, закрыв лицо руками, горько заплакал.

Жар быстро увеличивался, и я опять взглянул вверх, охваченный лихорадочной дрожью. Вторичная перемена произошла в тюрьме, и теперь эта перемена очевидно касалась *ее формы*. Как и прежде, я сначала напрасно пытался определить, в чем состояла перемена, или понять, откуда она происходила. Но я недолго оставался в неизвестности. Инквизиторская месть спешила, будучи раздражена моим вторичным спасением, и больше уже нельзя было шутить с Властителем Ужасов. Тюремная камера представляла из себя четырехугольник. Я видел, что два железных угла этого четырехугольника были теперь острыми — два, понятно, тупыми. Страшная перемена быстро увеличивалась, причем раздавался глухой, стонущий гул. В одно мгновение тюрьма приняла форму косоугольника. Но перемена не остановилась на этом — я не надеялся, что она на этом остановится, я даже не желал, чтобы она остановилась. Я обнял бы эти красные стены, я хотел бы прижать их к груди своей, как одежду вечного покоя. «Пусть смерть, — говорил я, — пусть приходит какая угодно смерть, только не смерть от утопления!» Безумец! как я мог не догадываться, что раскаленное железо именно и должно было загнать меня *в колодец?* Разве я мог противиться его раскаленности? Или, если бы это было так, разве я мог противиться его давлению? А косоугольник все сплющивался и сплющивался, у меня не было больше времени для размышлений. Его центр и, конечно, его самая большая широта приходились как раз над зияющей пучиной. Я отступал назад — но сходящиеся стены безостановочно гнали меня вперед. Наконец, для моего обожженного и корчившегося тела оставался не более как дюйм свободного пространства на тюремном полу. Я уже не боролся, и агония моей души проявлялась только в одном громком, долгом и последнем крике отчаяния. Я почувствовал, *что* колеблюсь на краю колодца, — я отвернул свои глаза в сторону.

Там, где-то в вышине, послышался гул спорящих людских голосов! Раздался громкий звук, точно возглас многих

труб! Послышался резкий грохот, точно от тысячи громовых ударов! Огненные стены откинулись назад! Чья-то рука схватила мою руку, когда, теряя сознание, я падал в пучину. То была рука генерала Лассаля[6]. Французская армия вошла в Толедо. Инквизиция была в руках своих врагов.

ВИЛЬЯМ ВИЛЬСОН

Что будет говорить об этом *совесть,*
Суровый призрак, — бледный мой двойник?

В. Чемберлен. «Фаронида»[1]

Да будет мне позволено называться в настоящее время Вильямом Вильсоном. Чистая бумага, лежащая теперь передо мной, не должна быть осквернена моим настоящим именем: оно более чем в достаточной степени уже послужило для моей семьи источником презрения, ужаса и отвращения. И разве возмущенные ветры не распространили молву о беспримерной низости этого имени до самых отдаленных уголков земного шара? О, несчастный отверженец, самый погибший из отверженцев! Разве ты не мертв для земли навсегда? Не мертв для ее почестей, для ее цветов, для ее золотых упований? И разве между твоими надеждами и небом не висит вечная туча, густая, мрачная и безграничная?

Я не хотел бы, если бы даже и мог, записать теперь на этих страницах рассказ о моих последних годах, о годах невыразимой низости и неизгладимых преступлений. Этот период моей жизни внезапно нагромоздил такую массу всего отвратительного, что теперь моим единственным желанием является только — определить начало такого падения. Люди обыкновенно делаются низкими постепенно. С меня же все добродетельное спало мгновенно, как плащ. Совершив гигантский прыжок, я перешел от испорченности сравнительно заурядной к чудовищной извращенности Гелиогабала[2]. Пусть же мне будет позволено рассказать, как все это произошло благодаря одной случайности, благодаря одному-единственному событию. Смерть приближается, и тени, ей предшествующие, исполнили мою душу своим благодетельным влиянием. Проходя по туманной долине, я томлюсь же-

ланием найти сочувствие; мне почти хочется сказать, что я жажду вызвать сострадание в сердцах братьев-людей. Мне хотелось бы заставить их верить, что я был до известной степени рабом обстоятельств, лежащих за пределами человеческого контроля. Мне хотелось бы, чтобы, рассматривая все, что я намерен сейчас рассказать, они нашли для меня маленький оазис *фатальности* среди пустыни заблуждений. Я желал бы, чтобы они признали (чего они не могут не признать), что, хотя много было в мире искушений, никогда раньше человек не был искушаем *таким образом*, во всяком случае не пал *таким образом*. Не оттого ли, может быть, что он никогда так не страдал? На самом деле, не жил ли я во сне? И не умираю ли я теперь жертвою ужаса и тайны самой странной из всех безумных сновидений, когда-либо существовавших под луной?

Я потомок расы, темперамент которой, легко возбудимый и богатый воображением, всегда обращал на себя внимание; и в раннем моем детстве я не раз доказал, что у меня фамильный характер. По мере того как я вырастал, наследственные черты развивались все с большей силой, делаясь весьма часто источником серьезных неприятностей для моих друзей, и источником положительного ущерба для меня. Я становился своенравным, отдавался самым странным капризам и делался жертвой самых непобедимых страстей. Мои родители, слабохарактерные и угнетаемые природными недостатками, подобными моим, могли в очень малой степени пресечь дурные наклонности, развивавшиеся у меня. Несколько слабых и дурно направленных попыток, сделанных ими, окончились полным фиаско и, естественно, послужили для моего окончательного торжества. Отныне мой голос сделался в доме законом, и, находясь в том возрасте, когда немногие из детей оставляют свои помочи, я был предоставлен руководительству моей собственной воли, и во всем, кроме имени, сделался господином всех своих поступков.

Первое воспоминание о моей школьной жизни связано с большим древним зданием в стиле времен Елизаветы, находящимся в одном из туманных селений Англии, где было множество гигантских сучковатых деревьев и где все дома отличались большой древностью. И правда, это почтенное, старое селение было чудесным местом, умиротворяющим

дух и похожим на сновидение. Я ощущаю теперь в воображении освежительную прохладу этих тенистых аллей, вдыхаю аромат тысячи кустарников и снова исполняюсь трепетом необъяснимого наслаждения, слыша глухие глубокие звуки церковного колокола, каждый час возмущающего своим угрюмым и внезапным ревом тишину туманной атмосферы, где мирно дремлет вся украшенная зубцами, готическая колокольня.

Чувство наслаждения в той степени, на какую я еще способен теперь, сразу охватывает меня, когда я останавливаюсь воспоминанием на мельчайших подробностях школьной жизни со всеми ее маленькими треволнениями. Мне, погруженному в злополучие — увы, слишком реальное, — вероятно, будет прощено, что я ищу утешения, хотя бы слабого и непрочного, в перечислении разных ничтожных деталей. Кроме того, будучи крайне обыкновенными и даже смешными, они приобретают в моем воображении двойную ценность, ибо связаны с тем временем и местом, когда я получил первое предостережение судьбы, с тех пор уже окутавшей меня такой глубокой тенью. Так пусть же идут воспоминания.

Как я сказал, дом был стар и неправилен по своему строению. Он занимал большое пространство, и весь был окружен высокой и плотной кирпичной стеной, наверху которой был положен слой извести и битого стекла. Этот оплот, достойный тюремного здания, составлял границу наших владений. За пределы его мы выходили только три раза в неделю: во-первых, каждую субботу после обеда, когда в сопровождении двух приставников мы могли в полном составе делать небольшую прогулку по окрестным полям, и, во-вторых, в воскресенье, когда в одном и том же формальном порядке мы ходили на утреннюю и на вечернюю службу в местную церковь. Пастор этой церкви был начальником в нашей школе. С каким глубоким чувством удивления и смущенности смотрел я обыкновенно на него с нашей отдаленной скамьи, когда, медленными и торжественными шагами, он всходил на кафедру. Неужели этот почтенный человек с лицом таким елейно-благосклонным и с париком таким строгим, громадным и так тщательно напудренным, в одеянии таком блестящем и так священнически волнующемся, — неужели он тот

же самый человек, который только что с сердитой физиономией и в платье, запачканном нюхательным табаком, применял с линейкой в руке драконовские законы школьного кодекса? О, гигантский парадокс, слишком чудовищный, чтобы допускать разгадку!

В одном из углов массивной стены хмурилась еще более массивная дверь. Она была покрыта заклепками, снабжена железными засовами, а вверху были вделаны зазубренные гвозди. Что за непобедимое ощущение глубокого страха внушала она! Эта дверь не открывалась никогда, исключая трех периодических случаев, уже упомянутых; и тогда в каждом взвизгивании ее могучих петель мы находили избыток таинственного, целый мир ощущений, вызывающих торжественные замечания или еще более торжественные размышления.

Обширная загородка была неправильна по форме, в ней было много обширных углублений. Три или четыре такие углубления представляли из себя место для игр. Это было ровное пространство, покрытое мелкой твердой дресвой[3]. Я прекрасно помню, что здесь не было ни деревьев, ни скамеек, ни чего-нибудь другого в этом роде. Разумеется, это пространство находилось позади дома. А перед фасадом была небольшая лужайка, засаженная буксом и другими деревцами, но по этому священному месту мы проходили только при самых экстренных оказиях, как, например, при первом вступлении в школу или при окончательном удалении из нее, или же иногда в тех случаях, если какой-нибудь родственник или друг присылал за нами, и мы весело отправлялись домой на Святки или на летнюю вакацию.

Но дом, дом! — какое причудливое зрелище представляло из себя это древнее здание! Мне оно представлялось поистине замком чар! Поистине, в нем конца не было разным переходам и самым непостижимым подразделениям. Положительно трудно было сказать с определенностью в ту или другую минуту, на каком именно этаже вы находитесь. Из каждой комнаты в другую непременно было три-четыре ступеньки. Затем неисчислимо было количество этих боковых отделений, невозможно было понять, как они сплетались между собою и, соединяясь, возвращались к себе, так что самые точные наши представления о целом здании не очень от-

личались от наших представлений о бесконечности. В продолжение моего пятилетнего пребывания здесь я никогда не был способен с точностью удостовериться, в каком именно отдаленном уголке находилась спаленка, предназначенная для меня и для других восемнадцати — двадцати моих сотоварищей.

Классная комната была самой большой в доме, — быть может, даже, как я тогда думал, самой большой в целом мире, — чрезвычайно узкая, длинная, угрюмо-низкая, с остроконечными готическими окнами и дубовым потолком. В отдаленном углу, невольно внушающем страх, была четырехугольная загородка, футов в восемь или десять: здесь находилось *sanctum**, здесь, в часы занятий, заседал наш принципал, достопочтенный доктор Брэнсби. Это было солидное сооружение, с массивными дверями; мы согласились бы скорее погибнуть, претерпев la peine forte et dure**, нежели открыть эту дверь в отсутствие «dominie»***. В других углах комнаты были два подобных же помещения, правда, гораздо менее чтимые, но все-таки достаточно страшные. Именно, в одном углу находилась кафедра учителя «древних языков», в другом кафедра учителя «английского языка и математики». Пересекая комнату во всевозможных направлениях, всюду были рассеяны скамейки и пюпитры, черные, старинные и изношенные временем, заваленные отчаянным множеством истерзанных книг, и до такой степени разукрашенные инициалами, именами, забавными фигурами и разными другими отметками ножа, что первоначальная форма давно минувших дней была совершенно утрачена. В одном из крайних пунктов комнаты находилось огромное ведро с водой, а в другом — часы ужасающих размеров.

Заключенный в массивных стенах этого почтенного заведения, я провел, могу сказать, без скуки и без отвращения,

---

* Sanctum — святилище (*лат.*). — *Примеч. ред.*

** La peine forte et dure — букв. от фр. «сильное и продолжительное мучение». Вид пыток, применявшихся к лицам, которые отказывались давать показания. На грудь человека устанавливали доску и укладывали камни, постепенно увеличивая давление. — *Примеч. ред.*

*** Dominie — наставник, педагог (*лат.*). — *Примеч. ред.*

все третье пятилетие моей жизни. Плодотворный детский ум не нуждается в богатом внешнем мире, чтобы работать и развлекаться; монотонная школьная жизнь, по-видимому, такая унылая, была исполнена гораздо более сильных возбуждений, чем те услады, которые в более зрелой юности я извлекал из сладострастия, или те возбуждения, которые я в период полной возмужалости находил в преступлениях. Однако я думаю, что мое первоначальное духовное развитие было далеко не ординарным и даже чрезмерным. События первых дней существования обыкновенно очень редко оставляют у людей какие-нибудь определенные впечатления, которые могли бы сохраниться до зрелого возраста. Все это приобретает характер туманной тени — делается смутным неопределенным воспоминанием — превращается в еле явственный отблеск слабых радостей и фантасмагорических страданий. Не так было со мной. Я должен был в детстве чувствовать с энергией мужчины то, что я нахожу теперь глубоко запечатлевшимся в моей душе, так резко и глубоко, что я мог бы сравнить эти впечатления с надписями, вытисненными на старинных карфагенских медалях.

И однако же, на самом деле — если становиться на повседневную точку зрения — о чем тут в сущности вспоминать! Утреннее пробуждение, призыв к ночному сну, уроки, предварительные репетиции, периодический отдых и прогулки, игры, забавы, ссоры и интриги — все это, вызванное в памяти точно колдовством, увлекает меня к целому миру ощущений, к миру, богатому разными случайностями, впечатлениями, возбуждением самым страстным и разнообразным. «Oh, le bon temps, que ce siecle de fer!»[4]

Будучи исполнен энтузиазма, обладая натурой пылкой и властной, я очень скоро выделился из среды товарищей и мало-помалу вполне естественным порядком приобрел верховенство надо всеми, кто не был значительно старше меня, — надо всеми, исключая только одного. Я разумею одного товарища, который хотя и не был связан со мной родственными отношениями, однако имел то же самое имя и ту же самую фамилию, — обстоятельство, правда, мало замечательное, ибо несмотря на благородное происхождение, я носил одно из тех заурядных имен, которые, по-видимому на правах давности, сделались с незапамятных времен общим

достоянием толпы. Поэтому я и назвал себя в данном повествовании Вильямом Вильсоном — вымышленное наименование, не очень отличающееся от действительного. Только один мой однофамилец из всех товарищей, составлявших, говоря школьным языком, «нашу партию», осмеливался соперничать со мной в классных занятиях, в играх и раздорах, отказывался верить безусловно моим утверждениям и подчиняться моей воле, решался в самых разнообразных отношениях вмешиваться в сферу моей неограниченной диктатуры. А если есть на земле действительно безмерный деспотизм, — то это именно деспотизм властолюбивого детского ума, когда он соприкасается с менее энергическими умами сотоварищей.

Мятежническое поведение Вильсона было для меня источником величайших затруднений, тем более что, несмотря на браваду, с которой я публично относился к нему и к его претензиям, втайне я чувствовал, что боюсь его, и не мог не замечать, что равенство со мной, которое он поддерживал так легко, было доказательством его истинного превосходства, ибо мне стоило беспрерывных усилий оставаться не побежденными. Однако это превосходство — или даже это равенство — не было известно никому, кроме меня; наши товарищи, по какой-то необъяснимой слепоте, по-видимому, даже и не подозревали о нем. Действительно, соперничество Вильсона, его сопротивление и, в особенности, его наглое и упорное вмешательство в мои планы было столько же утонченным, сколько скрытым. Он, казалось, был совершенно лишен также и честолюбия, побуждавшего меня стремиться к превосходству и страстной энергии ума, дававшей мне к этому возможность. Можно было предположить, что в своем соперничестве он руководился единственно капризным желанием противоречить мне, удивлять или унижать меня, хотя были минуты, когда я не мог не заметить со смутным чувством изумления приниженности и раздражения, что он примешивал к своим оскорблениям и к своему упорному желанию противоречить совершенно неподходящую и в высшей степени досадную учтивость. Я мог приписать такое странное поведение только одному, а именно: я видел в этом результат того крайнего самодовольства, который позволяет себе вульгарный тон покровительства и превосходства. Быть

может, эта последняя черта в поведении Вильсона вместе с тождеством наших имен и с случайным поступлением в школу в один и тот же день, была причиной того, что среди старших учеников школы распространилось мнение, будто мы — братья. Ученики старших классов вообще не входят особенно подробно в дела младших товарищей. Я раньше сказал, или должен был бы сказать, что Вильсон не был связан родством с моей семьей, хотя бы в самой отдаленной степени. Но во всяком случае, если бы мы *были* братьями, мы должны были бы быть близнецами: на самом деле, оставив заведение доктора Брэнсби, я случайно узнал, что мой соименник родился 19 января 1813 года, и нужно сказать, что данное совпадение несколько удивительно, так как я родился именно в этот же день.

Может показаться странным, что, несмотря на постоянную тревогу, которую причиняли мне соперничество Вильсона и его нестерпимая манера во всем мне противоречить, я не мог заставить себя питать к нему ненависть. Правда, между нами почти ежедневно возникала какая-нибудь ссора, причем, отдавая мне публично пальму первенства, он умел тем или иным способом дать мне почувствовать, что это *он* ее заслуживает; но чувство гордости с моей стороны и чувство истинного достоинства — с его держали нас постоянно в таких отношениях, что мы «говорили друг с другом»; в то же время в наших темпераментах было очень много черт настоящего сродства, вызывавшего во мне такое чувство, которому, быть может, только наше положение помешало превратиться в дружбу. Трудно на самом деле определить или хотя бы описать мои настоящие чувства по отношению к нему. В них было много чего-то пестрого и разнородного; тут была и бурная враждебность, не являвшаяся однако ненавистью, было и уважение, еще больше почтения, много страха, и чрезвычайно много болезненного любопытства. Для моралиста излишне добавлять, что мы были с Вильсоном самыми неразлучными сотоварищами. Нет сомнения, что именно такое ненормальное положение дела придало всем моим нападкам на него (а их было много и открытых, и тайных) скорее характер издевательства и проделок (преследовавших цель — уязвить его чем-нибудь потешным), нежели характер серьезной и определившейся враждебности. Но мои попыт-

ки такого рода отнюдь не были одинаково успешны даже тогда, когда мои планы бывали составлены самым хитроумным образом; у моего соименника было в характере много той беспритязательной и спокойной строгости, которая, услаждаясь едкостью своих собственных шуток, не имеет ахиллесовой пяты и совершенно не поддается насмешке. Я мог найти в нем только один слабый пункт, происходивший, вероятно, от прирожденного недостатка; другой соперник, не исчерпавший свое остроумие в такой степени, как я, конечно, никогда не коснулся бы подобного недостатка: у Вильсона была слабость горловых или гортанных органов, что мешало ему говорить громко, — он постоянно говорил *очень тихим шепотом*. Из этого я не замедлил извлечь все скудные выгоды, какие только мог найти здесь.

Вильсон прибегал к очень разнородным способам отплаты; в особенности одна форма его проделок смущала меня выше всякой меры. Каким образом у него хватило проницательности увидать, что такой пустяк может меня мучить — плебейское имя. Эти слова положительно отравляли мой слух; и когда в день моего прибытия в школу сюда явился второй Вильям Вильсон, я почувствовал досаду на него за то, что он носил такое имя, и вдвойне проникся отвращением к своему имени, потому что чужой носил его, — я знал, что этот чужой будет причиной его двукратных повторений, что он постоянно будет находиться в моем присутствии, и дела его, в обычной повседневности школьных занятий, должны будут часто смешиваться с моими, по причине этого противного совпадения.

Чувство раздражения, создавшееся таким образом, стало усиливаться после каждой случайности, стремившейся показать моральное или физическое сходство между моим соперником и мной. Я не знал тогда замечательного факта, что наш возраст был одинаков; но я видел, что мы были одинакового роста, и заметил, что мы отличались даже поразительным сходством в общих контурах лица и в отдельных чертах. Меня бесили, кроме того, слухи о нашем родстве, распространившиеся до необычайности. Словом, ничто не могло меня смущать более серьезно (хотя я тщательно скрывал такое смущение), нежели намек на существующее между нами сходство ума, личности или происхождения. Но по правде

сказать, я не имел основания думать, чтоб это сходство было когда-нибудь предметом толков среди наших сотоварищей или чтобы оно даже было замечено кем-нибудь из них (исключая самого Вильсона и обходя молчанием слухи о родстве); но что *он* заметил сходство всех наших манер, и так же ясно, как я сам, это было очевидно: однако уменье извлечь из таких обстоятельств такую громадную возможность причинять неприятности я мог объяснить только его выдающейся проницательностью. Превосходно подражая мне в словах и в поступках, он рисовал перед моими взорами меня самого, и играл свою роль великолепно. Скопировать мой костюм — это было легко; моя походка и общие манеры были усвоены без затруднений; но, несмотря на его природный недостаток, от него не ускользнул даже мой голос. Громкие интонации, конечно, не могли быть передразнены, но, в сущности, это было одно и то же: *его своеобразный шепот сделался настоящим эхом моего голоса.*

Не берусь описать, как меня мучило и терзало это изысканное уменье нарисовать мой портрет (действительно, портрет, а не карикатуру). У меня было одно утешение: имитация, по-видимому, была замечена только мною, и мне приходилось терпеть только странные саркастические улыбки моего соименника. Удовлетворившись впечатлением, произведенным на меня, он как бы подсмеивался исподтишка над тем, как он хорошо уязвил меня, и выказывал очень своеобразное пренебрежение к публичному одобрению, которое мог бы легко снискать своими остроумными проделками. Тот факт, что школьные товарищи не видели его намерений, не понимали совершенства в их исполнении и не участвовали в его насмешках, был для меня большой загадкой, — в течение нескольких месяцев я размышлял об этом тревожно и безуспешно. Быть может, утонченность *градации* в его передразнивании делала копирование не таким заметным, или, еще более вероятно, я был обязан своей безопасностью мастерским приемам создателя копии, который, пренебрегая буквой (слишком очевидной для всех, даже тупых), передавал только дух подлинника — передавал так хорошо, что мне оставалось смотреть и огорчаться.

Я уже говорил неоднократно о противной манере, которую Вильсон усвоил по отношению ко мне, и о его частом

назойливом вмешательстве в мои желания. Это вмешательство нередко принимало неприятный характер совета — совета, не даваемого открыто, но указываемого через посредство намека. Я принимал подобные советы с отвращением, и оно увеличивалось по мере того, как я становился старше. Однако в эти далекие дни — простая справедливость заставляет меня признать это — он никогда не внушал мне тех ошибок и безумств, которые были столь свойственны его незрелому возрасту и видимой неопытности. Я должен признаться, что если его таланты и светский такт не равнялись моим, нравственное чувство было у него гораздо острее, чем у меня; я должен признаться, что я был бы теперь более хорошим человеком, а потому и более счастливым, если бы я реже отвергал советы, которые он давал мне таким выразительным шепотом и которые я тогда слишком искренно ненавидел и слишком горько презирал.

В конце концов во мне пробудилось крайнее упрямство при виде такого отвратительного надзора; со дня на день я все более и более открыто злобствовал на то, что считал невыносимой дерзостью. Я сказал, что в первые годы нашей совместной жизни мои чувства легко могли бы превратиться в дружбу; но в последние месяцы моего пребывания в школе, несмотря на то, что его обычная назойливость, без сомнения, уменьшилась, мной овладело почти в том же соотношении ощущенье положительной ненависти. Мне кажется, что однажды он увидел это и стал избегать меня, или делал вид, что избегает.

Если я верно вспоминаю, как раз около этого периода во время одной очень сильной распри, когда он более обыкновенного отрешился от своей осмотрительности и держал себя с открытой резкостью, почти чуждой его натуре, я заметил в его интонации, в его манерах, во всем выражении его физиономии что-то особенное, что сперва изумило меня, а потом глубоко заинтересовало, вызывая в уме туманное видение самого раннего детства, смутные, странные и торопливые воспоминания о том времени, когда память еще не рождалась. Не могу лучше описать ощущение, охватившее меня, как сказав, что я не в силах был отрешиться от убеждения, что я знал существо, стоявшее передо мною, знал в давно прошедшие дни, в бесконечно отдаленном прошлом. Однако

обманчивая мечта поблекла так же быстро, как пришла, и я упоминаю о ней только затем, чтобы определить день последнего разговора с моим странным одноименным сотоварищем.

В громадном старинном доме, с его бесконечными подразделениями, было несколько больших комнат, сообщавшихся между собою и служивших спальнями для большинства учащихся. Было в нем, кроме того (явление неизбежное в здании, выстроенном так неуклюже), множество уголков и закоулков, выступов и углублений, которыми бережливый гений доктора Брэнсби также сумел воспользоваться в качестве дортуаров, хотя будучи не чем иным, как чуланами, они могли вмещать в себя только по одному субъекту. Именно в одном из таких маленьких помещений спал Вильсон.

Однажды ночью на исходе пятого года моей школьной жизни, — и как раз после ссоры, о которой я только что упоминал, — видя, что все спят, я встал с постели и, держа лампочку в руке, прокрался через целую пустыню узких переходов из моей собственной спальни к спальне моего соперника. Я давно замышлял одну из тех злых проделок, в которых до тех пор неизменно терпел фиаско. Теперь я твердо решился привести свой план в исполнение и заставить его почувствовать всю силу злости, заполнившей мое сердце. Достигнув его чулана, я бесшумно вошел туда, оставив лампочку у входа и предварительно затенив ее. Я сделал шаг, приблизился, и услышал звук спокойного дыхания. Уверившись, что он спит, я повернулся назад, захватил огонь и снова приблизился к постели. Вокруг нее задернуты были занавеси: для исполнения своего плана я тихонько раздвинул их. Яркие лучи упали на лицо спящего, и в тот же самый миг, увидав это лицо, я почувствовал, что холодею, я мгновенно весь оцепенел. В груди что-то сжалось, колени задрожали, и душа моя исполнилась беспредметным невыносимым ужасом. Задыхаясь, я опустил лампу в уровень с лицом. Как, это Вильям Вильсон — *это* черты его лица! Я прекрасно видел, что это — его черты, но дрожал, как в лихорадке, воображая, что то не были черты его лица. Что же *было* в них, что меня смутило до такой степени? Я смотрел, и в моем уме бешено роилось множество бессвязных мыслей. Не таким он являлся мне — о, конечно, *не таким* — в те яркие часы, когда он не спал. То

же самое имя, те же контуры лица, прибытие в школу в один и тот же день, и потом это проклятое бессмысленное подражание моей походке, моему голосу и моим манерам. Неужели границы человеческой возможности дозволяли то, что *я видел теперь?* Неужели это было не чем иным, как следствием постоянной привычки проделывать насмешливое подражание? Пораженный ужасом и весь охваченный трепетом, я молча вышел из комнаты и покинул стены этого древнего заведения, чтобы более не возвращаться в него никогда.

По истечении нескольких месяцев, проведенных дома в полной праздности, я уехал учиться в Итон. Краткого промежутка времени было достаточно, чтобы ослабить воспоминание о событиях, совершившихся в школе Брэнсби, или по крайней мере его было достаточно, чтобы внести существенную перемену в характер воспоминаний. Действительность, трагическая сторона драмы, более не существовала. Я имел достаточные мотивы сомневаться в очевидных показаниях моих чувств и редко вспоминал о всех этих приключениях без того, чтобы не удивляться, как велико человеческое легковерие, и не улыбаться на прирожденную живость моей фантазии. Та жизнь, которой я жил в Итоне, отнюдь не могла уменьшить мой скептицизм. Я бросился в водоворот неудержного безумства, и в нем тотчас же и безвозвратно потонуло все, и осталась только пена воспоминания; я сразу потопил все серьезные и глубокие впечатления, и в памяти моей сохранились только самые жалкие примеры моего легкомыслия, отличавшего мою прежнюю жизнь.

Я не имею, однако, намерения отмечать здесь весь путь моего жалкого беспутства — беспутства, которое насмехалось над всякими законами и избегало бдительности всякого надзора. Три года безумств, проведенных без всякой пользы, сделали меня только закоренелым в порочных привычках, и прибавили нечто к моему физическому развитию, прибавили даже в степени несколько необыкновенной. Как-то после недели низких забав я пригласил к себе нескольких из наиболее распутных студентов на тайную попойку. Мы сошлись в поздний час ночи, ибо наши излишества обыкновенно продолжались добросовестным образом вплоть до утра. Вино лилось неудержно, и не было, кроме того, недостатка в других, быть может, более опасных соблазнах, так что наши

безумные экстравагантности достигли своей вершины, когда на востоке слабо забрезжился туманный рассвет. Бешено разгоряченный картами и вином, я настаивал на каком-то необыкновенно богохульном тосте, как вдруг мое внимание было привлечено резким звуком: дверь в комнату быстро открылась, хотя только чуть-чуть, и оттуда раздался торопливый голос моего слуги. Он сказал, что кто-то хочет со мной говорить и что пришедший, по-видимому, очень спешит.

При моем безумном состоянии опьяненья это неожиданное вторжение скорее восхитило, нежели удивило меня. Заплетающейся походкой я вышел вон и, сделав несколько шагов, очутился в прихожей. В этой узкой и низенькой комнатке не висело ни одной лампы, и никакого другого светильника в ней не было; только слабый, чрезвычайно туманный рассвет глядел сквозь полукруглое окно. Ступив на порог, я увидал фигуру юноши, приблизительно моего роста, он был одет в белый утренний костюм из кашемира, сделанный по последней моде, совершенно в таком же роде, какой был на мне. Это я мог заметить при слабом освещении, но черты его лица были мне не видны. При моем приближении, он быстро устремился ко мне и, схватив меня за руку, с повелительным жестом нетерпения, прошептал мне на ухо: «Вильям Вильсон!»

Хмель мгновенно вылетел у меня из головы.

В манерах пришлеца, в нервном трепете его приподнятого пальца, который он держал в пространстве между моим взглядом и мерцанием, струившимся через окно, было много чего-то, что исполнило меня безграничным изумлением; но не это чувство так сильно поразило меня. Меня поразила интонация торжественного увещания, слышавшаяся в этом тихом необыкновенном свистящем *шепоте,* прежде всего характер, *выражение* этих простых и знакомых звуков, — они принесли с собою целую бездну торопливых воспоминаний о прошедших днях, и поразили мою душу как током гальванической батареи. Прежде чем я успел опомниться, он исчез.

Хотя это событие не преминуло оказать на мое расстроенное воображение самое сильное впечатление, однако его живость равнялась его мимолетности. В течение нескольких недель я, действительно, то занимался самыми ревностными исследованиями, то отдавался болезненным размышлениям.

Я не пытался скрывать от себя, кто был этот странный человек, так упорно вмешивавшийся в мои дела и мучивший меня своими назойливыми советами. Но что из себя представлял этот Вильсон — и откуда он был — и каковы были его цели? Ни на один из этих вопросов я не мог ответить удовлетворительным образом. Я узнал только, что по каким-то внезапным семейным делам он должен был удалиться из школы доктора Брэнсби в послеобеденный час того самого дня, когда я бежал. Но вскоре я перестал думать об этом, и все мое внимание было поглощено планом переезда в Оксфорд. Там, благодаря безрассудному тщеславию моих родителей, доставлявших мне огромные деньги, я мог отдаваться роскоши, уже сделавшейся для меня необходимостью, — я мог соперничать в расточительности с самыми надменными наследниками самых богатых графств Великобритании.

Искушаемый постоянной возможностью доставлять себе порочные наслаждения, мой прирожденный темперамент проявился с удвоенной стремительностью, и в безумном ослеплении отдавшись беспутству, я порвал самые общепризнанные узы благопристойности. Но было бы нелепо останавливаться на всех моих экстравагантностях. Довольно сказать, что среди расточителей я перещеголял решительно всех, и дав наименование целому множеству новых безумств, основательно пополнил длинный список пороков, которые были тогда обычными в этом распутнейшем из европейских университетов.

Вряд ли, однако, мне поверят, когда я скажу, что я до такой степени удалился от джентльменства, что старался проникнуть во все подлые художества профессиональных картежников и, сделавшись посвященным в эту позорную науку, прибегал обыкновенно к ней, как к средству увеличения и без того уже громадных доходов, на счет тех из моих сотоварищей, кто был поглупее. Но, если мне и не поверят, все же это был факт; и самая чудовищность такого издевательства над чувством достоинства и чести была, очевидно, главной, если не единственной, причиной моей безнаказанности. Кто на самом деле из моих сотоварищей, самых испорченных, не стал бы скорее оспаривать очевидное свидетельство своих чувств, нежели подозревать в подобных проделках веселого, откровенного, великодушного Вильяма Вильсона — самого

благородного и самого щедрого студента во всем Оксфорде — его, чьи безумства (так говорили его паразиты) были только сумасбродством молодой и необузданной фантазии — чьи заблуждения были только неподражаемыми капризами — чья порочность, самая черная, была только беззаботной блестящей эксцентричностью.

Уже прошло два года такой веселой жизни, когда в Оксфордский университет поступил молодой дворянчик, parvenu*, некий Гленденнинг — по слухам, он был богат как Ирод Аттический[5] — причем богатство его, конечно, не причиняло ему хлопот. Вскоре я убедился, что он в достаточной степени глуп, и, конечно, наметил его, как подходящий субъект, на котором мог испробовать свое уменье. Я часто приглашал его играть и, по обычной шулерской уловке, заставлял его выигрывать значительные суммы, чтобы тем действительнее завлечь его в сети. Наконец, когда мой план созрел, я встретился с ним (с твердым намерением, чтобы эта встреча была окончательной) в квартире одного из товарищей-студентов (мистера Престона), одинаково близкого с нами обоими и, нужно отдать справедливость, не питавшего ни малейшего подозрения относительно моего намерения. С целью придать всему лучший вид, я позаботился, чтобы было приглашено еще несколько товарищей, человек восемь — десять, и самым тщательным образом подвел все так, что карты появились как бы случайно и не по моему желанию, а по желанию моей намеченной жертвы. Но не буду вдаваться во все эти гнусные подробности; не было, конечно, упущено ни одного из тех подлых ухищрений, которые настолько обычны в подобных случаях, что нужно положительно удивляться, каким образом еще находятся лица, до такой степени одуревшие, чтобы быть их жертвами.

Наша игра затянулась далеко за полночь, когда я наконец прибег к своему маневру и избрал Гленденнинга своим единственным соперником. Это была моя излюбленная игра, écarté**. Вся остальная публика, заинтересовавшись крупным характером нашей игры, оставила свои карты и окружила

---

* Parvenu — выскочка (*фр.*). — *Примеч. ред.*

** Écarté — экарте, старинная азартная карточная игра для двух лиц. — *Примеч. ред.*

нас. Наш parvenu, которого в первую половину вечера я искусно заставлял пить в основательных дозах, мешал, сдавал и играл с страшной нервностью в манерах, и мне казалось, что такая возбужденность не могла быть вполне объяснена одним опьянением. В очень короткий промежуток времени он сделался моим должником на крупную сумму — затем, глотнув хорошую дозу портвейна, он сделал то, на что я хладнокровно рассчитывал, — предложил удвоить и без того уже экстравагантные ставки. Я стал упорно отнекиваться и, наконец, согласился с видимой неохотой, после того как мой неоднократный отказ заставил Гленденнинга сказать мне несколько колкостей, придававших моей уступчивости вид оскорбленности. Результат, конечно, только доказал, насколько жертва запуталась в мои сети: менее чем за час он учетверил свой долг. С некоторого времени его физиономия утратила красноту, вызванную вином, но теперь я заметил, к своему изумлению, что лицо его покрылось бледностью поистине страшной. Я говорю: к моему изумлению, потому что относительно Гленденнинга я произвел самые точные расследования, и мне его представили исключительным богачом; суммы, которые он потерял, как ни велики они были сами по себе, все же не могли, вероятно, особенно тревожить его, тем более — подействовать на него так сильно. Я тотчас же подумал, что ему бросилось в голову вино, которое он только что выпил, и скорее с целью сохранить репутацию в глазах товарищей, нежели по мотивам более бескорыстным, хотел решительно настаивать на прекращении игры, как вдруг несколько слов, произнесенных около меня кем-то из присутствующих, и восклицание, вырвавшееся у Гленденнинга и свидетельствовавшее о крайнем отчаянии, дали мне понять, что я окончательно разорил его, при таких обстоятельствах, что они привлекли к нему сострадание всех и должны были предохранить его даже от козней дьявола.

Мне трудно сказать, как я мог поступить в подобном положении. Жалкое состояние моей жертвы исполнило всех чувством угрюмой неловкости, и в течение нескольких секунд царило глубокое молчание, причем я не мог не чувствовать, что щеки мои подергивались под пристальными, полными презрения, взглядами, которые на меня устремляли наименее погибшие из игроков. Я должен даже признаться,

что с моего сердца спала невыносимая тяжесть, когда через мгновение последовало чье-то внезапное и необыкновенное вторжение. Тяжелые громадные створчатые двери распахнулись сразу с громким и сильным взмахом, благодаря чему, точно силой колдовства, потухли все свечи в комнате. Их свет, умирая, дал нам только возможность заметить, что вошел какой-то незнакомец, приблизительно моего роста, плотно закутанный в плащ. Однако теперь кругом было совершенно темно, и мы могли только *чувствовать,* что он стоит посреди нас. Прежде чем кто-либо из присутствовавших успел опомниться от крайнего изумления, охватившего нас всех вследствие грубости такого вторжения, мы услышали голос незваного гостя.

— Джентльмены, — заговорил он тихим явственным и незабвенным *шепотом,* от которого кровь застыла в моих жилах, — джентльмены, я не буду стараться оправдать свой поступок, потому что, поступая так, я только исполняю свою обязанность. Вы, без сомнения, не осведомлены относительно истинного характера того господина, который сегодня ночью выиграл в écarté значительную сумму денег у лорда Гленденнинга. Поэтому я предложу вам точное и решительное средство получить эти необходимые сведения. Не угодно ли вам будет осмотреть внимательно подкладку на обшлагах его левого рукава, а также несколько маленьких пачек: они могут быть найдены в несколько широковатых карманах его вышитой тужурки.

Пока он говорил, тишина была такая глубокая, что можно было бы услышать падение булавки на пол. Договорив последнюю фразу, он удалился так же быстро, как и пришел. Описывать ли мне ощущения, охватившие меня, — могу ли я их описать? Нужно ли говорить, что я испытывал все ужасы осужденного? Конечно, у меня не было времени для размышления. Несколько рук грубо схватили меня, были тотчас же зажжены свечи, меня обыскали. В обшлаге моего рукава были найдены все карточные фигуры, от которых зависит исход игры в écarté, а в карманах тужурки было найдено несколько колод карт совершенно таких же, какими мы всегда играли, с той только разницей, что мои карты на техническом языке назывались *закругленными:* хорошие карты в таких колодах слегка вогнуты на нижних концах, плохие слег-

ка вогнуты по бокам. Благодаря этому тот, кого обыгрывают, снимая обыкновенно вдоль колоды, неизменно снимает в пользу своего противника, в то время как шулер, снимая поперек, никогда не даст своей жертве такой карты, которая могла бы ему послужить на пользу.

Взрыв негодования поразил бы меня гораздо меньше, чем безмолвное презрение и саркастические улыбки, появившиеся на всех лицах.

— Мистер Вильсон, — сказал наш хозяин, наклоняясь, чтобы поднять непомерно дорогой плащ, подбитый самым редкостным мехом, — мистер Вильсон, это ваша собственность.

Погода стояла холодная и, выходя из дому, я набросил плащ поверх домашнего костюма, а придя сюда, снял его.

— Я думаю, что было бы излишне искать здесь, — тут он с горькой улыбкой посмотрел на складки моего костюма, — каких-нибудь дальнейших доказательств вашей необыкновенной ловкости. Действительно, у нас их совершенно достаточно. Надеюсь, вы видите необходимость оставить Оксфорд — во всяком случае, немедленно оставить мою квартиру.

Будучи унижен и втоптан в грязь, я, вероятно, тотчас же отплатил бы за эти оскорбительные слова личным оскорблением, если бы все мое внимание не было поглощено в эту минуту фактом самым поразительным. Мой плащ был подбит редкостным мехом, не смею даже сказать, каким безумно редким и дорогим. Его фасон, кроме того, был изобретением моей собственной фантазии, так как моя прихотливость во всех этих пустяках щегольства доходила до абсурда. Когда поэтому мистер Престон подал мне плащ, подобранный на полу около створчатых дверей, я был охвачен изумлением, граничившим с чувством ужаса, заметив, что мой плащ уже был на мне (я, конечно, машинально его набросил на себя), и что плащ, который был мне предложен, являлся совершенным двойником моего во всех, даже мельчайших, деталях. Странное существо, что так зловеще выдало меня, было закутано в плащ; это я хорошо помню, и никто, кроме меня, из членов нашего общества не имел обыкновения носить плащ. Сохраняя еще некоторое присутствие духа, я взял из рук Престона плащ и незаметно ни для кого накинул его на свой;

затем, выйдя из комнаты с угрожающим лицом, я на следующее же утро, прежде чем забрезжил день, предпринял бешеное бегство из Оксфорда к континенту, умирая от ужаса и стыда.

Я убегал напрасно. Злой рок, точно торжествуя, преследовал меня и действительно доказал мне, что его таинственное владычество только что началось. Едва только я приехал в Париж, как получил новое доказательство ненавистного интереса, с которым относился ко мне Вильсон. Шли годы, а я не имел ни минуты отдыха. Негодяй! Когда я был в Риме, как несвоевременно, как назойливо встал он темным призраком между мной и моим честолюбием — а в Вене — а в Берлине — а в Москве — где же у меня *не* было горьких причин проклинать его всем сердцем? Объятый паническим ужасом, я бежал, наконец, от его непостижимой тирании, как от чумы. Но, достигая пределов земли, *я убегал напрасно.*

И опять, и опять, вопрошая тайком свою душу, я восклицал: «Кто же он? откуда он? и каковы его цели?» Но ответа не находил. Я начинал с самым тщательным вниманием исследовать приемы, метод и отличительные черты его наглого высматривания. Но даже и в этой области у меня было слишком мало данных, чтобы строить догадки. Поистине удивительно было, что во всех многочисленных случаях, когда он становился мне поперек дороги, он становился только для того, чтобы разрушить планы, которые, будучи приведены в исполнение, могли бы кончиться только чем-нибудь злостным. Плохое утешение для темперамента такого властолюбивого! Скудное вознаграждение за поруганные права свободного выбора, поруганные так нагло и с таким упорством!

Мне пришлось также заметить, что мой учитель в течение долгого периода времени (между тем как он самым тщательным образом и с самой удивительной ловкостью продолжал осуществлять свое капризное желание и постоянно имел одинаковую со мною наружность) устраивал всегда так, что каждый раз, когда он вмешивался в мои желания, я не мог заметить отдельных черт его лица. Что бы из себя ни представлял Вильсон, конечно, это было не чем иным, как верхом аффектациии или дурачества. Разве он мог хотя на минуту предполагать, что я ошибался насчет личности того, кто в

Итоне давал мне непрошеные советы, в Оксфорде запятнал мою честь, в Риме был помехой моему честолюбию, в Париже — моей мести, в Неаполе — моей страстной любви, в Египте — тому, что он лживо назвал моим скряжничеством? Мог ли он сомневаться, что я узнаю в нем моего закоренелого врага и злого гения, Вильяма Вильсона моих школьных дней — тезку, товарища, соперника — ненавистного и страшного соперника в заведении доктора Брэнсби? Не может быть! Но я хочу поскорей рассказать последнюю достопримечательную сцену всей драмы.

До сих пор я лениво подчинялся этому деспотическому владычеству. Чувство глубокого почтения, с которым я привык относиться к возвышенному характеру, к величественной мудрости, к видимой вездесущности и всезнанию Вильсона в соединении с чувством страха, внушенного мне некоторыми другими его чертами и притязаниями, навязало мне мысль о моей полной слабости и беспомощности и заставило меня всецело подчиняться его произволу, хотя и с чувством горестного отвращения. Но за последнее время я всецело отдался вину, и его умопомрачающее влияние, сочетавшись с моим наследственным темпераментом, все более и более наполняло меня нетерпением против надзора. Я начал роптать, колебаться, протестовать, и, была ли это только моя фантазия — мне показалось, что упрямство моего мучителя уменьшалось в прямом отношении с увеличением моей твердости! Как бы то ни было, я начал чувствовать воодушевление загорающейся надежды и, в конце концов, взлелеял в глубине души мрачную и отчаянную решимость сбросить с себя ярмо рабства.

Это было в Риме, во время карнавала 18... Я был приглашен на маскарад в палаццо неаполитанского герцога ди Брольо. Я выпил много вина, более, чем обыкновенно, и удушливая атмосфера людных комнат раздражала меня невыносимо. Кроме того, трудность пробраться через тесную толпу в немалой степени увеличивала мою ярость; дело в том, что я озабоченно искал (не буду говорить, для каких низких целей) молодую, веселую и прекрасную супругу престарелого и безумно ее любящего ди Брольо. С слишком большой неосмотрительностью она доверилась мне, сказав заранее, какой на ней будет костюм, и теперь, увидев ее мельком, я бе-

шено пробивался через толпу по направлению к ней. Вдруг я почувствовал, что кто-то слегка положил руку на плечо мне, и в моих ушах раздался вечно памятный глухой и ненавистный *шепот.*

В состоянии неудержимого бешенства и ярости я быстро повернулся к тому, кто так тревожил меня, и грубо схватил его за шиворот. Как я и ожидал, он был одет совершенно так же, как и я, — на нем был испанский плащ из голубого бархата, а на ярко-красной перевязи, проходившей вокруг талии, была привешена шпага. Лицо его было совершенно закрыто черной шелковой маской.

— Негодяй! — воскликнул я голосом хриплым от бешенства, в то время как каждый слог, который я произносил, казалось, подливал мне новой желчи. — Негодяй! мошенник! проклятая тварь! Ты не будешь больше, *ты не посмеешь больше* преследовать меня, как собака! за мной, или я заколю тебя тут же на месте!

Я устремился из бального зала в небольшую смежную прихожую, увлекая за собой своего врага. Он не сопротивлялся.

Войдя в прихожую, я с яростью отшвырнул его от себя. Он заковылял к стене, а я с ругательством закрыл дверь и приказал ему обнажить шпагу. Вильсон заколебался, но только на мгновение, затем с легким вздохом он вынул свою шпагу и начал защищаться.

Недолог был, однако, наш поединок. Я был раздражен, взбешен. Я чувствовал, что в одной моей руке кроется энергия и сила целой толпы. Через несколько секунд я притиснул его к стене и, таким образом держа его в полной своей власти, с жестокостью животного несколько раз проткнул ему грудь.

В эту минуту кто-то взялся за дверную ручку; я поспешил задержать вторжение, запер дверь и тотчас же вернулся к умирающему сопернику. Но какие человеческие слова могут в должной мере нарисовать *то* изумление, *тот* ужас, которые овладели мною при виде зрелища, представшего моим глазам. Краткого мгновенья было совершенно достаточно, чтобы произвести, по-видимому, крайне существенную перемену в обстановке дальнего угла комнаты. Огромное зеркало — так сперва показалось мне при моем замешательс-

тве — стояло теперь там, где раньше не было ничего подобного, когда я шатающейся походкой, в состоянии крайнего ужаса пошел к нему, ко мне приблизился теми же слабыми заплетающимися шагами мой двойник, мой собственный образ, но страшно бледный и забрызганный кровью.

Так мне показалось, говорю я, но не так было на деле. Это был мой соперник — это Вильсон стоял передо мною, охваченный смертной агонией. Его плащ вместе с маской валялся на полу — и не было ни одной нити во всем его костюме — не было ни одной черты во всем его лице, таком выразительном и страшном, которая не была бы моей до самого полного тождества, — *моей, моей!*

Это был Вильсон; но он больше не шептал, я мог подумать, что это я сам, а не он, говорил мне:

— Ты победил, и я уступаю. Но с этих пор ты также мертв — *мертв для Мира, для Небес, и для Надежды! Во мне ты существовал, и, убив меня, смотри на этот образ, который не что иное, как твой собственный — смотри, как безвозвратно, в моей смерти, ты умертвил самого себя!*

УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ

> Какую песню пели Сирены или какое имя принял Ахиллес, когда он скрывался среди женщин — эти вопросы, хотя и ошеломительны, все же не вне *всякой* догадки.
>
> *Сэр Томас Браун*[1]

Умственные черты, обсуждаемые как аналитические, сами по себе мало способны к анализу. Мы оцениваем их только по их следствиям. Мы знаем о них, наряду с другими обстоятельствами, что они всегда являются для их обладателя, когда он обладает ими в неумеренном количестве, источником самого живого наслаждения. Как сильный человек наслаждается физической ловкостью, предаваясь таким упражнениям, которые приводят его мускулы в движение, так человек анализирующий извлекает для себя славу и восторг

в той умственной деятельности, которая *распутывает*. Он извлекает наслаждение даже из самых тривиальных занятий, приводящих его талант в действие. Он увлечен загадками, игрой слов, иероглифами; ибо в разрешении каждой загадки он являет известную степень *тонкой проницательности*, кажущейся восприятию заурядному сверхъестественной. Получаемые им результаты, обусловливаемые самой душой и сущностью метода, имеют, на самом деле, вид совершенной интуиции.

Способность разрешения, возможно, очень усиливается изучением математики, и в особенности той высшей ее отрасли, каковая несправедливо и главным образом на основании ее вспять идущих операций была названа как бы *par excellence**, анализом. Шахматный игрок, например, делает одно без усилия в другом. Отсюда следует, что игра в шахматы в своих действиях на умственную природу весьма неверно истолковывается. Я не пишу ныне какой-либо трактат, но просто — в виде предисловия к несколько своеобразному повествованию — весьма наудачу привожу различные соображения; я воспользуюсь по этому случаю возможностью утверждать, что непоказная игра в шашки требует более решительно и более планомерно высших способностей размышляющего понимания, нежели все утонченные суетности шахматной игры. В этой последней, где фигуры имеют различные и *причудливые* движения с различными и меняющимися ценностями, то, что лишь сложно, ошибкой (ошибка отнюдь не необычная) принимается за то, что глубоко. *Внимание* весьма сильно призывается здесь к действию. Если оно ослабевает на мгновение, совершается недосмотр, и отсюда ущерб или поражение. Так как возможные движения не только многообразны, но и развертываются по кривой линии, вероятия таких недосмотров многочисленны; и в девяти случаях из десяти выигрывает не более тонкий игрок, а скорее более сосредоточенный. В шашках, напротив, где движения *единообразны* и лишь мало видоизменяются, вероятия недосмотра уменьшены, и так как простое внимание сравнительно не призывается к пользованию, выгоды, получаемые той и другой партией, получаются превосходной сте-

---

* Par excellence — по преимуществу (*фр.*). — *Примеч. ред.*

пенью *тонкого понимания.* Чтобы быть менее отвлеченным — предположим игру в шашки, где фигуры сведены до четырех дамок и где, конечно, нельзя ожидать никакого недосмотра. Явно, что здесь победа может быть решена (при полном равенстве игроков) лишь каким-нибудь *изысканным* движением, как результатом какого-нибудь сильного напряжения ума. Лишенный обычных ресурсов человек, анализирующий, опрокидывается в дух своего противника, отожествляет себя с ним и нередко видит, таким образом, единым взглядом единственную возможность (иногда поистине нелепо простую), с помощью которой он может вовлечь в ошибку или подтолкнуть в неверный расчет.

Долгое время обращал на себя внимание вист, благодаря своему влиянию на то, что зовется способностью рассчитывать; и люди с умственными способностями высокого разряда, как известно, находили в этой игре, по-видимому, необъяснимое наслаждение, избегая в то же время игры в шахматы, как вещи пустой. Без сомнения, нет никакой игры, по природе родственной, которая бы в такой степени захватывала способность анализа. Лучший на свете игрок в шахматы *может* быть мало чем большим, чем лучший игрок в шахматы; успешность же игры в вист связана со способностью к успеху во всех тех более важных предприятиях, где ум борется с умом. Когда я говорю «успешность», я разумею то совершенство в игре, которое включает в себя постижение *всех* источников, из коих законным образом можно извлекать выгоду. Они не только многоразличны, но и многообразны, и часто скрываются в уголках ума, совершенно недоступных для заурядного понимания. Наблюдать внимательно, значит явственно припоминать; и в этом смысле сосредоточенный игрок в шахматы окажется очень хорошим игроком в вист; ибо правила Хойла[2] (сами основанные на простом механизме игры) достаточно и легко постижимы. Таким образом, иметь запоминающую память и поступать по указаниям «книги», это суть пункты вообще рассматриваемые как полная сумма хорошего умения играть. Но способность анализа выясняется именно в вещах, лежащих за пределами простого правила. Человек, способный к анализу, делает молча целое множество наблюдений и выводов. Так, быть может, поступают и его со-

участники в игре; и различие в объеме получаемых выводов заключается не столько в доброкачественности способности выводить, сколько в качестве наблюдения. Необходимое знание есть знание того, *что* нужно наблюдать. Наш игрок отнюдь не ставит себе ограничений; и так как целью является игра, он отнюдь не отбрасывает выводов из вещей, игре совершенно чуждых. Он исследует лицо своего партнера, сравнивая его тщательно с лицом каждого из противников. Он рассматривает способ подбирания карт в каждой руке, часто считая козырь за козырем и фигуру за фигурой, по взглядам, бросаемым на каждую карту их обладателями. Он подмечает каждое изменение лица по мере того, как игра идет, накопляя целый капитал мысли из различий в выражении уверенности, удивления, торжества, и огорчения. Из манеры брать взятку он делает заключение, способно ли данное лицо взять новую взятку при следующем ходе. Он узнает то, что сыграно ложным маневром, по виду, с которым карты брошены на стол. Случайное или неосторожное слово, случайно упавшая или повернутая карта в сопровождении тревожного или небрежного желания ее скрыть, подсчет взяток с порядком их распределения; затруднение, колебание, живость или трепетный порыв — все доставляет для его, на вид интуитивного, восприятия указания истинного положения вещей. Когда сыграны два-три тура, он вполне владеет приемами каждой руки, и засим играет своими картами с такой совершенной точностью замысла, как если бы остальные игроки показали свои собственные карты лицом.

Аналитическая способность не должна быть смешиваема с простой находчивостью; ибо, в то время как человек анализирующий необходимым образом находчив, человек находчивый часто достопримечательным образом неспособен к анализу. Способность построения или сочетания, через которую обыкновенно проявляется находчивость и которая, по мнению френологов[3] (полагаю, ошибочному), имеет свой собственный отдельный орган, при допущении, что это способность первичная, часто наблюдалась у тех, чей разум в других отношениях граничил с идиотизмом, возбуждая всеобщее внимание среди писателей-моралистов. На самом деле, между находчивостью и аналитической способностью су-

ществует разница гораздо большая, чем между фантазией и воображением, но по характеру строго аналогичная. Действительно, рассматривающий это найдет, что человек находчивый всегда фантастичен, а что человек с *истинным* воображением никогда не есть что-нибудь иное, нежели человек анализа.

Следующее повествование будет служить читателю как бы некоторым пояснением к утверждениям, только что высказанным.

Живя в Париже во время весны и части лета 18... года, я познакомился с месье Ш. Огюстом Дюпеном. Этот молодой человек был из хорошей — нет, даже из знатной — фамилии, но разнообразием неблагоприятных обстоятельств он был приведен к такой бедности, что энергия его характера уступила, и он перестал делать какие-нибудь усилия, чтобы достичь успеха или заботиться о восстановлении своего состояния. Благодаря любезности его кредиторов в его распоряжении еще оставалась небольшая доля его наследственного имения, и, пользуясь чрезвычайно экономно доходом с нее, он мог доставлять себе все необходимое для жизни, не заботясь об излишествах. Единственной его роскошью были, на самом деле, книги, а в Париже их получать легко.

Первое наше знакомство произошло в одной малоизвестной библиотеке на улице Монмартр, где мы были приведены к более тесному соприкосновению той случайностью, что мы оба отыскивали одну и ту же весьма редкую и весьма замечательную книгу. Мы увиделись друг с другом еще и еще. Я был чрезвычайно заинтересован его малой семейной историей, которую он мне рассказал подробно с тем чистосердечием, что составляет особенность француза, когда темой разговора служит его собственное «я». Я был удивлен, кроме того, обширными размерами его начитанности; и, превыше всего, я чувствовал, что душа моя загорается от причудливого пламени и живой свежести его воображения. Ища в Париже некоторых предметов, составлявших тогда предмет моих алканий, я чувствовал, что общество такого человека было бы для меня неоцененным сокровищем, и в этом чувстве я чистосердечно ему признался. В конце концов было условлено, что мы будем жить вместе во время моего пребывания в этом городе; и так как мои деловые обстоятельства были

несколько менее запутаны, чем его, мне было возможно взять на себя расходы по содержанию и обстановке при найме в стиле, соответствовавшем несколько мрачной фантастичности нашего общего темперамента, — изъеденного временем и гротескного дома, давно заброшенного, благодаря суевериям, о коих мы не расспрашивали, и находившегося в полуразрушенном состоянии в уединенной и пустынной части Сен-Жерменского предместья[4].

Если бы рутина нашей жизни в этом месте была известна миру, нас бы сочли за сумасшедших — хотя, быть может, сумасшедших безобидного свойства. Наша отъединенность была полная. Мы не допускали никаких посетителей. Местность нашего убежища тщательно соблюдалась в тайне от прежних моих знакомых; и уже несколько лет, как Дюпен перестал знать кого-либо, или быть кому-либо известным в Париже. Мы существовали лишь сами в себе и друг в друге.

У друга моего была прихоть фантазии (ибо как иначе мне это назвать?) быть влюбленным в Ночь во имя ее самой; и в эту *причудливость*, как во все другие его причуды, я спокойно вовлекся, отдаваясь его безумным выдумкам с полным *увлечением*. Черное божество не могло бы само по себе пребывать с нами всегда; но мы могли подделать его присутствие. При первых проблесках утренней зари мы закрывали все тяжеловесные ставни нашего старого жилища и зажигали две свечи, которые, будучи сильно надушены, бросали лишь очень слабые и очень призрачные лучи. При помощи их мы после этого погружали наши души в сновидения — читали, писали или разговаривали, пока часы не возвещали нам пришествие настоящей Тьмы. Тогда мы устремлялись на улицу, рука об руку, продолжая беседу дня, или блуждая и уходя далеко, до позднего часа, ища среди диких светов и теней людного города той бесконечности умственного возбуждения, которую не может доставить спокойное наблюдение.

В такие часы я не мог не замечать с восхищением (хотя богатая идеальность моего друга должна была меня подготовить к этому) особой аналитической способности в Дюпене. По-видимому, он даже извлекал чрезвычайное наслаждение из применения ее — или, пожалуй, точнее говоря, из ее явного выказывания — и без колебаний признавался в извлекаемом, таким образом, наслаждении. Он нахваливал мне с ти-

хим хохочущим смехом, что у множества людей, по отношению к нему, есть окна в груди, и такие утверждения он обыкновенно тотчас подтверждал прямыми и весьма поразительными доказательствами его близкого знания моего собственного сердца. Его манера в такие мгновения была скована и отвлеченна; в его глазах отсутствовало выражение; в то время как его голос, обыкновенно богатый тенор, доходил до дисканта, который звучал бы шаловливо, если бы не обдуманность и не полная отчетливость в способе выражений. Наблюдая его в таких настроениях, я часто размышлял о старинной философии— двураздельной души, души-двойника, и забавлялся фантазией о двойном Дюпене — творческом и разрешающем.

Да не будет предположено из того, что я только что сказал, что я развиваю какую-нибудь тайну или пишу роман. То, что я описал в данном французе, было просто следствием возбужденного, и, быть может, больного разума. Но относительно характера его замечаний, в описываемый период, наилучшее представление может дать пример.

Мы бродили однажды ночью вдоль по длинной, грязной улице, что находится по соседству с Пале-Рояль[5]. Мы были оба, по-видимому, погружены каждый в свои мысли, и ни один из нас не произнес ни слова, по крайней мере, в течение пятнадцати минут. Вдруг Дюпен, совершенно неожиданно, разразился словами:

— Он весьма малого роста, это правда, и более был бы он на своем месте в *Théâtre des Variétés**.

— В этом не может быть сомнения, — ответил я не думая, и не замечая сперва (настолько я был погружен в размышление) необыкновенной манеры, которою говорящей согласовал свои слова с моими размышлениями. Мгновение спустя я опомнился, и удивление мое было очень сильно.

— Дюпен, — сказал я очень серьезно, — это вне моего понимания. Скажу без колебаний, я ошеломлен, и едва могу верить моим чувствам. Как это было возможно, чтобы вы знали, что я думал о ... ? — Здесь я помедлил, чтобы удостовериться несомненно, действительно ли он знал, о ком я думал.

---

* Театр «Варьете»[6] (*фр.*). — *Примеч. ред.*

— О Шантильи, — сказал он. — Зачем вы остановились! Вы сделали про себя замечание, что его уменьшительный рост делает его неподходящим для трагедии.

Это было как раз то, что составляло предмет моих размышлений. Шантильи был *некогда* сапожником-кропателем на улице Сен-Дени и, помешавшись на сцене, испытал себя в роли Ксеркса, в так называемой трагедии Кребийона[7], и был достопримечательно и язвительно осмеян за свои пыточные старания.

— Скажите мне, ради бога, — воскликнул я, — с помощью какого метода — если тут есть метод — вы были способны измерить мою душу в данном случае? — На самом деле, я был даже более поражен, чем хотел это выразить.

— Это торговец фруктами, — ответил мой друг, — привел вас к заключению, что починятель подошв — недостаточного роста для Ксеркса, *и для чего-либо в таком роде.*

— Торговец фруктами! — вы удивляете меня, я не знаю никакого торговца фруктами.

— А тот человек, что набежал на вас, когда мы входили в улицу — должно быть, минут пятнадцать тому назад.

Я вспомнил, действительно, что торговец фруктами, неся на своей голове огромную корзинку с яблоками, почти уронил меня случайно, когда мы проходили с улицы К. на ту главную улицу, где мы находились; но что общего могло это иметь с Шантильи, я не считал возможным уразуметь.

В Дюпене не было ни малейшей примеси *шарлатанства.*

— Я объясню, — сказал он, — и чтобы вы могли понять все совершенно ясно, мы сначала проследим ход ваших размышлений от того мига, о котором я говорил, до мгновения *встречи* с упомянутым торговцем фруктами. Главные звенья цепи следуют таким образом — Шантильи, Орион, доктор Никольс, Эпикур[8], стереотомия (пресечение твердых тел), камни мостовой, торговец фруктами.

Мало есть людей, которые бы в тот или иной период их жизни не забавлялись тем, что пробегали обратным ходом шаги, коими были достигнуты особые заключения их ума. Занятие это часто полно интереса, и кто прибегнет к нему впервые, тот будет удивлен, по-видимому, безграничным различием и бессвязностью между исходной точкой и конеч-

ной. Каково же должно было быть тогда мое изумление, когда я услыхал, что француз сказал то, что он только что сказал, и когда я не мог не признать, что он сказал правду. Он продолжал:

— Мы говорили о лошадях, если я припоминаю правильно, как раз перед тем, когда мы ушли с улицы К. Это было последней темой нашего разговора. Когда мы переходили на эту улицу, торговец фруктами с огромной корзинкой на голове, быстро пройдя мимо нас, толкнул вас на кучу камней, нагроможденных на том месте, где переделывают мостовую. Вы наступили на один из валяющихся обломков камня, поскользнулись, слегка вывихнули себе щиколотку, казались чувствующим боль или раздосадованным, пробормотали несколько слов, обернувшись посмотрели на кучу камней и после этого продолжали дорогу в молчании. Я не был особенно внимателен к тому, что вы делали: но наблюдение стало для меня, за последнее время, известного рода необходимостью.

— Вы продолжали держать свои глаза устремленными на землю, смотря с живым выражением на ямки и выбоины в мостовой (таким образом, я увидел, что вы все еще думаете о камнях), пока мы не достигли маленькой улочки Ламартина[9], которая была вымощена в виде опыта, заходящими один на другой, и закрепленными, большими камнями. Тут ваше лицо прояснилось, и, заметив, что ваши губы движутся, я не мог сомневаться, что вы прошептали слово «стереотомия», термин весьма аффектированно применяемый к такому разряду мостовой. Я знал, что вы не могли бы сказать себе «стереотомия» без того, чтобы не подумать об атомах, затем о теориях Эпикура. И так как недавно, когда мы говорили о данном предмете, я обратил ваше внимание на то, как своеобразно (хоть это мало отмечено) смутные догадки этого благородного грека встретились с последней теорией космогонии из туманных пятен, я почувствовал, что вы не могли не поднять глаз к великому туманному пятну Ориона, и с уверенностью я ждал, что вы так сделаете. Вы взглянули вверх, и я удостоверился, что я правильно следил за ходом вашей мысли. Но в той язвительной *тираде* относительно Шантильи, которая появилась во вчерашнем номере *«Musée»*, сатирик, делая непочтительные намеки на переме-

ну кропателем имени при надевании котурнов, цитировал латинский стих, о котором мы часто говорили. Я разумею строку —

Perdidit antiquum litera prima sonum*.

Я говорил вам, что стих этот имел отношение к Ориону, раньше писавшемуся Урион, и благодаря известным язвительностям, связанным с этим объяснением, я был уверен, что вы не могли его забыть. Было ясно поэтому, что вы не могли преминуть сочетать два представления Ориона и Шантильи. Что вы их сочетали, я это увидел по характеру улыбки, скользнувшей по вашим губам. Вы подумали об умерщвлении бедного сапожника. До этих пор вы шли сгорбившись, но тут я увидел, что вы выпрямились во весь ваш рост. Я убедился тогда, что вы размышляли об уменьшительной фигуре Шантильи. В эту минуту я прервал ваше размышление замечанием, что действительно он *весьма* мал ростом, этот Шантильи, и что более бы он был на месте в *Théâtre des Variétés*.

Недолго спустя после этого мы читали вечернее издание «Gazette de Tribunaux»**, и следующие столбцы остановили наше внимание.

«Необыкновенное убийство

Сегодня утром, около трех часов, жители квартала Сен-Рок были разбужены целым рядом ужасающих криков, исходивших, по-видимому, из четвертого этажа в доме, находящемся на улице Морг, который, как известно, занимали мадам Л'Эспане и ее дочь, мадемуазель Камилла Л'Эспане. После некоторого промедления, причиненного напрасной попыткой проникнуть в квартиру обычным образом, главная дверь была сломана ломом, и восемь или десять соседей вошли в сопровождении двух *жандармов*. Тем временем крики прекратились, и когда входившие бросились на первую лестницу, были различимы два или более грубые голоса в серди-

* Первая буква звук потеряла первичный[10] (*лат.*). — *Примеч. пер.*

** «Судебная газета» (*фр.*). — *Примеч. пер.*

том споре, шедшие, казалось, из верхней части дома. Когда достигли второй площадки, эти звуки сразу прекратились и все стало совершенно тихо. Вошедшие поспешно рассеялись, переходя из комнаты в комнату. Достигнув обширной задней комнаты в четвертом этаже (дверь в которую, будучи замкнута ключом изнутри, была взломана), вошедшие увидели зрелище, поразившее каждого не только ужасом, но и изумлением.

В комнате был самый дикий беспорядок, мебель была сломана и разбросана по всем направлениям. Там была лишь одна кровать, и постель с нее была сорвана и брошена на середину пола. На кресле лежала бритва, запачканная кровью. На очаге были две или три длинные и густые пряди седых человеческих волос, также обрызганные кровью и, по-видимому, вырванные с корнем. На полу лежали четыре золотые монеты в двадцать франков, серьга с топазом, три большие серебряные ложки, три меньших размеров ложки из мельхиора и два мешочка, содержавшие около четырех тысяч франков золотом. Ящики одного комода в углу были выдвинуты и, по-видимому, разграблены, хотя многие предметы были в них нетронуты. Под *постелью* (не под кроватью) был найден небольшой железный сундучок нетронутым. Он был отперт, ключ находился еще в замке. В нем не было ничего, кроме нескольких старых писем и других незначительных бумаг.

В комнатах не было никаких следов мадам Л'Эспане, но в очаге заметили необыкновенное количество сажи, была осмотрена дымовая труба, и (страшно сказать!) тело дочери, головою вниз, было вытащено оттуда, — оно было втиснуто в узкое отверстие на значительное расстояние. Тело было совершенно теплым. При исследовании его было замечено много ссадин, без сомнения, причиненных тем насилием, с которым тело было втиснуто в камин и высвобождено оттуда. На лице были разные глубокие царапины, а на горле темные кровоподтеки и глубокие вдавлины от ногтей, как если бы умершая была насмерть задушена.

После основательного исследования каждой части дома, без какого-либо дальнейшего открытия, вошедшие направились на небольшой вымощенный двор, находившийся сзади здания, где лежало тело старой дамы, с горлом настолько перерезанным, что при попытке поднять ее, голова отпала.

И тело, и голова были страшно изуродованы, тело настолько, что едва сохраняло какое-либо подобие человеческого.

К этой чудовищной тайне пока еще нет, как мы думаем, никакого ключа».

Газета следующего дня давала такие дополнения.

«Трагедия на улице Морг

Целый ряд отдельных лиц был допрошен в связи с этим необычайнейшим и страшным делом (слово *affaire* не было еще во Франции таким легковесным по смыслу, как оно кажется теперь нам. — *Э. А. П.*), но ничего еще не обнаружилось такого, что бросало бы на него свет. Мы даем ниже все полученные существенные свидетельства.

Полин Дюбур, прачка, показывает, что она знала обеих покойниц в течение трех лет, в продолжение какового периода она стирала на них. Старая дама и ее дочь, казалось, находились в добрых отношениях и были весьма заботливы одна к другой. Платили они отлично. Ничего не могла сказать касательно способа их жизни или их средств к существованию. Думала, что мадам Л'Эспане была гадалкой и этим жила. Говорили, что у нее были кое-какие денежки. Никогда не встречала в доме никого, когда приносила белье или приходила взять его. Уверена, что у них не было никакой прислуги. Как кажется, жилой обстановки не было ни в какой части дома, кроме четвертого этажа.

Пьер Моро, торговец табаком, показывает, что он обыкновенно поставлял мадам Л'Эспане, вот уже почти четыре года, небольшие количества курительного и нюхательного табаку. Родился по соседству, в данном квартале, и жил здесь всегда. Покойница и ее дочь занимали дом, в котором найдены их тела, уже более шести лет. Раньше в нем жил ювелир, который верхние комнаты отдавал в наймы разным лицам. Дом был собственностью мадам Л'Эспане. Она была недовольна жильцом, который злоупотреблял помещением, и переселилась в это здание сама, отказываясь отдать в наймы какую-либо его часть. Старая дама была в состоянии младенчества. Свидетель видел дочь ее лишь пять или шесть раз за эти шесть лет. Обе они жили чрезвычайно уединенно. Говорили, что у них были деньги. Слыхал, как говорили среди соседей, что мадам Л'Эспане предсказывала судьбу, но не верил в это. Никогда не видал, чтобы кто-нибудь входил в двери, кроме

старой дамы и ее дочери; раз только или два приходил комиссионер, да восемь или десять раз доктор.

Многие другие лица из соседей дали показания в том же смысле. Не упоминалось ни о ком, кто посещал бы дом. Было неизвестно, были ли в живых какие-нибудь родственники мадам Л'Эспане и ее дочери. Ставни окон на передней части дома редко открывались. Ставни задней части дома всегда были закрыты, кроме большой задней комнаты, на четвертом этаже. Дом — хороший, не очень старый.

Изидор Мюзэ, жандарм, показывает, что он был позван в дом около трех часов утра и увидел, что человек двадцать или тридцать на улице стараются проникнуть в дом. Он наконец взломал дверь — не ломом, а штыком. Сделать это ему не представлялось затруднительным благодаря тому, что двери были двустворчатые и ни сверху, ни снизу не были задвинуты засовы. Крики продолжались, пока дверь не была взломана, и тогда внезапно прекратились. Казалось, что это были пронзительные крики кого-то (или нескольких), кто находился в великой пытке, они были громкие и протяжные, а не короткие и быстрые. Свидетель первым взошел на лестницу. Достигнув первой площадки, он услышал два голоса, в громком и гневном споре — один голос грубый, другой — гораздо пронзительнее — очень странный голос. Он мог различить несколько слов, сказанных первым голосом, который был голосом какого-то француза. Вполне убежден, что это был не женский голос. Мог различить слова *„sacré" и „diable", „черт" и „дьявол"*. Пронзительный голос принадлежал какому-то иностранцу. Не мог бы сказать с уверенностью, был ли то голос мужчины или женщины. Не мог разобрать, что говорилось, но думает, что язык был испанский. В каком состоянии находилась комната и в каком состоянии были тела, это было описано данным свидетелем так, как мы рассказали вчера.

Анри Дюваль, сосед, и по ремеслу серебрянник, показывает, что он был одним из тех, которые первыми вошли в дом. Подтверждает свидетельство Мюзэ в главном. Как только дверь была взломана, они снова притворили ее, чтобы удерживать толпу, которая собиралась очень быстро, несмотря на поздний час ночи. Пронзительный голос, как думает этот свидетель, принадлежал какому-нибудь итальянцу. Уверен,

что это был не француз. Не мог бы с уверенностью сказать, что это был мужской голос. Он мог быть и женским. Не знает итальянского языка. Не мог различить слов, но, судя по интонации, убежден, что говорившей был итальянец. Знал мадам Л'Эспане и ее дочь. Часто разговаривал с обеими. Уверен, что пронзительный голос не принадлежал ни той, ни другой покойнице.

Оденгеймер, ресторатор. Этот свидетель по собственной воле дает показания. Не говорит по-французски, и потому был допрошен через переводчика. Родом из Амстердама. Проходил мимо дома в то время, когда там были крики. Они длились несколько минут — вероятно, минут десять. Крики были долгие и громкие — очень страшные и мучительные. Был одним из тех, кто вошел в здание. Подтвердил предыдущие показания во всех отношениях, кроме одного. Уверен, что пронзительный голос — мужской — и принадлежат французу. Не мог различить произносимых слов. Они были громкие и быстрые — неровные — говорились, по-видимому, как в страхе, так и в гневе. Голос был резкий. Не мог бы сказать, что голос был пронзительный. Грубый голос сказал несколько раз *„sacré“*, *„diable“*, и однажды *„mon Dieu“* (*„черт“*, *„дьявол“*, и однажды *„Боже мой“*).

Жюль Миньо, банкир, фирмы „Миньо и сыновья“, улица Делорен. — Миньо-старший. У мадам Л'Эспане была некоторая собственность. Он ей открыл счет в своем банке, весною такого-то года (восемь лет тому назад). Делала частые вклады малыми суммами. Не предъявляла никаких чеков до двух дней с половиной перед смертью, когда самолично взяла сумму в 4000 франков. Эта сумма была уплачена золотом, и с деньгами был послан на дом клерк.

Адольф Лебон, клерк в фирме „Миньо и сыновья“, показывает, что в упомянутый день, около полудня, он провожал мадам Л'Эспане в ее жилище, с четырьмя тысячами франков, положенными в два мешочка. Когда дверь была открыта, появилась мадемуазель Л'Эспане и взяла из рук у него один мешочек, между тем как старая дама освободила его от другого. Он поклонился им тогда и отбыл. Не видал кого бы то ни было на улице в это время. Это глухой закоулок — очень уединенный.

Уильям Берд, портной, показывает, что он был одним из тех, которые вошли в дом. Он англичанин. Жил в Париже два года. Был одним из первых, кто вошел на лестницу. Слышал спорящие голоса. Грубый голос принадлежал французу. Мог разобрать несколько слов, но не может сейчас все их припомнить. Слышал ясно *„sacré“* и *„mon Dieu“*. В этот миг был такой звук, как будто боролось несколько человек. Звук схватки и скребущего шарканья ногами. Пронзительный голос был очень громок; громче, чем грубый. Уверен, что это не был голос англичанина. По видимости, это был голос немца. Это мог быть женский голос. Не понимает по-немецки.

Четверо из вышеназванных свидетелей, вторично допрошенные, показали, что дверь комнаты, в которой было найдено тело мадемуазель Л'Эспане, была заперта изнутри, когда вошедшие достигли ее. Тишина была полная – ни стонов, ни каких-либо шумов. Когда дверь была взломана, они не увидели никого. Окна как задней, так и передней комнаты, были закрыты и плотно заперты изнутри. Дверь, соединяющая обе комнаты, была закрыта, но не заперта. Дверь, ведущая из передней комнаты в коридор, была заперта ключом изнутри. Небольшая комната, в передней части дома, на четвертом этаже, при входе в коридор, была открыта и дверь была притворена. Эта комната была загромождена старыми постелями, ящиками, и т. п. Предметы эти были тщательно отодвинуты и осмотрены. Не было ни одного дюйма в какой-либо части дома, который не был бы тщательно обыскан. Каминные трубы были прочищены сверху донизу. Дом был четырехэтажный, с чердаками *(мансардами)*, опускная дверь на крыше была забита гвоздями очень основательно — и, по-видимому, не открывалась в течение целого ряда лет. Время между звуком спорящих голосов и взломом двери было установлено свидетелями различно. По словам некоторых, оно длилось лишь три минуты, по словам других – пять. Дверь была открыта с трудом.

Альфонсо Гарсио, предприниматель похоронных процессий, показывает, что он живет на улице Морг. Родом из Испании. Был одним из тех, которые вошли в дом. Не поднимался на лестницу. Нервен и боялся последствий волнения. Слышал голоса в споре. Грубый голос принадлежал францу-

зу. Не мог различить, что говорилось. Пронзительный голос принадлежал англичанину — уверен в том. Не знает английского языка, но судит по интонации.

Альберто Монтани, кондитер, показывает, что он был среди первых, вошедших на лестницу. Слышал упомянутые голоса. Грубый голос принадлежал французу. Различил несколько слов. Говоривший, по-видимому, укорял. Не мог разобрать отдельных слов, произносимых пронзительным голосом. Этот голос говорил быстро и неровно. Думает, что это был голос русского. Подтверждает общие свидетельства. Сам — итальянец. Никогда не разговаривал ни с каким уроженцем России.

Некоторые свидетели, вторично допрошенные, засвидетельствовали, что каминные трубы во всех комнатах четвертого этажа слишком узки, чтобы дать проход какому-нибудь человеческому существу. Говоря о чистке труб, они разумели не трубочистов, а цилиндрические метущие щетки, которые употребляются трубочистами при чистке каминов. Эти щетки были пропущены вверх и вниз по всем дымовым трубам в доме. В здании нет никакой задней лестницы, по которой бы кто-нибудь мог спуститься, в то время как входившие поднимались по лестнице. Тело мадемуазель Л'Эспане было так плотно втиснуто в каминную трубу, что его не могли вытащить назад, пока четверо или пятеро из пришедших не применили всю свою силу.

Поль Дюма, врач, показывает, что он был призван осмотреть тела на рассвете дня. Оба тела лежали на парусине, натянутой на станке кровати, в комнате, где была найдена мадемуазель Л'Эспане. Тело молодой дамы было сплошь покрыто кровоподтеками и ссадинами. Тот факт, что оно было втиснуто в каминную трубу, мог бы служить достаточным объяснением такому виду тела. Горло было сильно воспалено. На нем было несколько глубоких царапин как раз под подбородком, вместе с целым рядом синих пятен, которые были, очевидно, следами от пальцев. Лицо было страшно изменено в цвете, и глазные яблоки выступили наружу. Язык был частью прокушен. Большой кровоподтек был открыт в углублении желудка, получившийся, по-видимому, от надавления коленом. По мнению месье Дюма, мадемуазель Л'Эспане была задушена насмерть кем-то неизвестным, или

несколькими неизвестными. Тело матери было чудовищно изуродовано. Все кости правой ноги и руки были более или менее сломаны. Берцовая кость левой ноги была весьма расщеплена, так же как все ребра на левой стороне. Все тело было в страшных кровоподтеках и пятнах. Невозможно сказать, каким образом могли быть причинены такие повреждения. Тяжелая дубина, или широкая полоса железа — кресло — какое-либо большое, тяжелое, и тупое оружие могло произвести подобные результаты, если бы оно находилось в руках очень сильного человека. Никакая женщина не могла бы причинить таких ударов каким-либо орудием. Голова умершей, когда ее увидел свидетель, была совершенно отделена от тела, и также, в значительной степени, была раздроблена. Горло было, очевидно, перерезано каким-нибудь очень острым инструментом, вероятно, бритвой.

Александр Этьени, хирург, был призван осмотреть тело вместе с месье Дюма. Подтвердил свидетельство и мнения месье Дюма.

Ничего важного более не было выяснено, хотя было допрошено еще несколько других лиц. Убийства, такого таинственного, и такого смутительного во всех своих частностях, никогда раньше не совершалось в Париже — если, вообще, какое-либо убийство было, в действительности, здесь совершено. Полиция была в полнейшем недоумении — обычное обстоятельство в делах такого рода. Нет, надо сказать, ни намека на какую-либо разгадку».

Вечерняя газета подтвердила, что величайшее волнение продолжает царить в квартале Сен-Рок, — что помещения упомянутого дома снова были тщательно обысканы, и были сделаны новые допросы свидетелей, но все без какого-либо результата. Постскриптум возвещал, однако, что Адольф Лебон был арестован и заключен в тюрьму — хотя против него не было, по-видимому, никаких обвиняющих указаний, кроме фактов уже описанных.

Дюпен, казалось, был особенно заинтересован ходом этого дела — по крайней мере, так я решил по его манере, ибо он не делал никаких пояснений. Лишь после того как было возвещено, что Лебон заключен в тюрьму, он спросил меня, что я думаю касательно убийства.

Я мог лишь согласиться со всем Парижем, полагая, что тайна неразрешима. Я не видел никаких средств, с помощью которых было бы возможно проследить убийцу.

— Мы не должны судить о средствах, — сказал Дюпен, — по этой шелухе исследования. Парижская полиция, столь прославленная за *тонкое понимание*, хитра, но не более. В приемах ее нет метода, кроме метода мгновения. Она делает обширный парад мер; но, нередко, они так дурно приспособлены к назначенной цели, что напоминают месье Журдена[11], спрашивающего *sa robe de chambre pour mieux entendre la musique**. Получаемые результаты нередко удивительны, но по большей части они являются следствием простого прилежания и расторопности. Когда этих качеств недостаточно, ее планы рушатся. Видок[12], например, был превосходный угадчик и человек упорный. Но, без воспитанной мысли, он постоянно был вводим в заблуждение, именно напряженностью своих расследований. Он наносил ущерб своему зрению тем, что держал предмет слишком близко. Он мог видеть, быть может, один пункт, или два пункта, с необыкновенной ясностью, но, делая так, он, по необходимости, терял общий вид рассматриваемого. Тут есть нечто, что может быть названо — быть слишком глубоким. Истина не всегда находится в колодце[13]. На самом деле, что касается знания наиболее важного, я полагаю, что истина находится неизменно на поверхности. Не в долах она, где мы ее ищем, а находится на горных вершинах. Способы и источники такого рода ошибки превосходно типизируются в созерцании небесных тел. Смотреть на звезду беглым взглядом — созерцать ее косвенным образом, поворачивая к ней внешние части *сетчатки* (более чувствительные к слабым восприятиям света, нежели части внутренние), это значит видеть звезду явственно — это значит иметь наилучшую оценку ее блеска — блеска, который затуманивается как раз в соответствии с тем, что мы *целиком* устремляем на нее наше зрение. На глаз, в последнем случае, действительно, падает большее число лучей, но в первом случае существует более утонченная способность восприятия. Ненадлежащей глубиной мы делаем мысль смутной и

*...свой халат, чтобы лучше слышать музыку (*фр.*). — *Примеч. пер.*

ослабленной; и даже Венеру можно заставить исчезнуть с небосвода рассмотрением слишком длительным, слишком сосредоточенным или слишком прямым.

Что до этого убийства, сделаем некоторое рассмотрение сами, прежде чем составлять о нем какое-либо мнение. Следствие нас позабавит, — (я нашел, в данном случае, этот термин довольно странным, но не сказал ничего), — и, кроме того, Лебон однажды оказал мне услугу, за которую я ему не буду неблагодарен. Мы пойдем и посмотрим помещения дома нашими собственными глазами. С префектом полиции Ж. я знаком и получу необходимое разрешение без затруднений.

Разрешение было получено, и мы тотчас отправились на улицу Морг. Это одна из тех жалостных уличек, которые соединяют улицу Ришелье и улицу Сен-Рок. Было поздно пополудни, когда мы достигли ее, ибо этот квартал находится на большом расстоянии от того квартала, в котором мы жили. Дом был быстро найден, так как около него еще стояли разные люди и смотрели на закрытые ставни с беспредметным любопытством, с противоположной стороны улицы. Это был обыкновенный парижский дом с воротами, на одной стороне которых была будка с выдвижным оконцем, указывающая на *ложу консьержа*. Прежде чем войти, мы пошли дальше по улице, повернули в боковой переулок, и потом, снова повернув, прошли мимо задней части дома — Дюпен, тем временем, осматривал все по соседству, так же как дом, с той подробной тщательностью внимания, для которой я не усматривал никакого надлежащего предмета. Вернувшись назад, мы снова пришли к передней части здания, позвонили и, показав наше разрешение, были впущены полицейскими. Мы вошли на лестницу — в комнату, где было найдено тело мадемуазель Л'Эспанс и где еще находились обе покойницы. В комнате, как обычно в этих случаях, было предоставлено царить первичному беспорядку. Я не увидел ничего, кроме того, что было описано в «Gazette de Tribunaux». Дюпен подробно осматривал решительно все — не исключая тела жертв. Затем мы пошли в другие комнаты и на двор; один жандарм сопровождал нас всюду. Мы были заняты осмотром, до того как стемнело, и после этого отправились назад. По дороге до-

мой мой товарищ остановился на минутку около конторы одной из ежедневных газет.

Я сказал, что причуды моего друга были многообразны, и я их *менажировал* — для этого слова нет равноценного на английском языке. Ему теперь пришло в голову отклонить всякий разговор об убийстве до полудня следующего дня. Затем он спросил меня внезапно, не заметил ли я чего-нибудь *особенного* на месте преступления. Было что-то в его манере, с какою он сделал ударение на слове «особенный», что заставило меня вздрогнуть, не знаю почему.

— Нет, ничего *особенного,* — сказал я, — ничего более, по крайней мере, кроме того, что мы оба уже видели описанным в газете.

— Газета, — продолжал он, — боюсь, не проникла в необычный ужас дела. Но отбросим праздные мнения этой печатной бумаги. Мне представляется, что эта тайна считается неразрешимой на том самом основании, которое должно было бы заставить считать ее легкой для разрешения — я разумею *чрезвычайный* характер отличительных ее черт. Полиция смущена кажущимся отсутствием побудительной причины — не самого убийства, но жестокости убийства. Она озадачена, кроме того, кажущейся невозможностью примирить спорящие голоса с тем фактом, что наверху никого не было найдено, кроме убитой мадемуазель Л'Эспане, и что не было никакой возможности выйти, без того, чтобы не быть увиденным теми, кто поднимался по лестнице. Дикий беспорядок в комнате; тело, втиснутое головою вниз в каминную трубу; страшное изуродование тела старой дамы; эти соображения, вместе с только что упомянутыми, и другими, о которых нет надобности упоминать, оказались достаточными, чтобы парализовать действия властей и совершенно поставить в тупик хваленую *тонкость понимания* правительственных агентов. Они впали в грубую, но обычную ошибку, смешав необыкновенное с отвлеченным. Но именно, следуя за такими отклонениями от плана обычного, разум ощупывает свою дорогу, если он находит ее вообще, в своих поисках истины. В изысканиях таких, какие предприняты нами ныне, не столь важно спрашивать «что случилось», как «что случилось из того, что никогда не случалось раньше». На самом деле, легкость, с которой я достигну, или уже достиг,

разрешения этой тайны, находится в прямом соотношении с кажущейся глазам полиции, видимой ее неразрешимостью.

Я пристально посмотрел на говорившего с немым изумлением.

— Я жду теперь, — продолжал он, смотря на дверь нашей комнаты, — я жду теперь некоего человека, который, хотя, быть может, и не будучи свершителем этих зверств, должен быть, в некоторой мере, запутан в их свершении. В худшей части совершенных преступлений, вероятно, он неповинен. Надеюсь, что я прав в этом предположении, ибо на этом я строю все мое чаяние расшифровать загадку целиком. Я жду некоторого человека, здесь, в этой комнате, каждую минуту. Это верно, что он может не прийти; но вероятие гласит за то, что он придет. Если он придет, необходимо его удержать. Вот пистолеты; мы оба знаем, как ими пользоваться, ежели случай требует их применения.

Я взял пистолеты, мало разумея, почему я это сделал, и едва веря своим ушам, между тем как Дюпен продолжал, точно бы беседуя с самим собой. Я уже говорил об его отвлеченной рассеянной манере в такие минуты. Его речь была обращена ко мне; но его голос, хотя отнюдь не громкий, отличался той интонацией, которую обыкновенно употребляют, когда говорят с кем-нибудь, находящемся на далеком расстоянии. Его глаза, лишенные выражения, глядели лишь на стену.

— Что голоса в споре, — сказал он, — услышанные теми, кто входил по лестнице, не были голосами самих женщин, вполне доказано свидетелями. Это освобождает нас от всякого сомнения касательно вопроса, не могла ли старая дама сперва убить свою дочь и потом совершить самоубийство. Я говорю об этом пункте, главным образом, во имя метода, ибо сила мадам Л'Эспане была бы крайне недостаточной, чтобы втиснуть тело дочери в каминную трубу, как оно было найдено, и самое свойство ран, найденных на ее теле, целиком исключает мысль о ее самоубийстве. Убийство, таким образом, было совершено кем-то третьим; и голоса этих третьих были слышны спорящими. Позвольте мне теперь обратить ваше внимание не на все свидетельство касательно этих голосов, но на то, что было *особенного* в этом свидетельстве. Не заметили ли вы здесь чего-нибудь особенного?

Я указал, что, в то время как все свидетели согласовались в предположении, что грубый голос принадлежал французу, было много разногласия касательно пронзительного, или, как определил один свидетель, резкого голоса.

— В этом заключается самое свидетельство, — сказал Дюпен, — но это не составляет особенности свидетельства. Вы не заметили ничего отличительного. Однако же тут *было* нечто для наблюдения. Свидетели, как вы видите, согласуются касательно грубого голоса; они были в этом единогласны. Но касательно пронзительного голоса особенность состоит — не в том, что свидетели разнствуют — а в том, что, когда какой-нибудь итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз пытаются описать его, каждый говорит о нем как о голосе *чужеземца*. Каждый уверен, что это не был голос кого-либо из его земляков. Каждый сравнивает его — не с голосом представителя какой-нибудь народности, язык которой ему ведом, — но наоборот. Француз предполагает, что это голос испанца, и «мог бы различить некоторые слова, *если бы он понимал испанский язык*». Голландец утверждает, что это был голос француза; но мы видим сообщение, что *«не понимая по-французски, свидетель был допрошен через переводчика»*. Англичанин думает, что это голос немца, но *«он не знает немецкого языка»*. Испанец «уверен», что это был голос англичанина, но «судит лишь по интонации, *так как английского языка не знает*». Итальянец полагает, что это голос русского, но *«он никогда не разговаривал с каким-либо уроженцем России»*. Другой француз спорит, кроме того, с первым, и уверен, что это был голос итальянца; но, *не зная этого языка*, он, как и испанец, «судит по интонации». Итак, сколь же необычно странен должен был быть в действительности этот голос, если относительно него *могли* быть собраны такие свидетельства! Голос, *в тонах* которого обитатели пяти великих делений Европы не могли признать ничего им знакомого! Вы скажете, что это мог быть голос азиата — или африканца. Ни азиаты, ни африканцы не изобилуют в Париже; но, не отрицая указания, я хочу только обратить ваше внимание на три пункта. Голос, как определил один свидетель, «был скорее резкий, чем пронзительный». Он был, как его изображают два другие свидетеля, быстрый и *неровный*. Никаких

слов — никаких звуков, похожих на слова, ни один свидетель не различил.

— Я не знаю, — продолжал Дюпен, — какое впечатление, до сих пор, я мог оказать на ваше понимание, но я не колеблясь скажу, что законные выводы даже из этой части свидетельства — части, касающейся грубого голоса и пронзительного голоса — сами по себе достаточны, чтобы породить подозрение, которое должно было бы дать направление всему дальнейшему ходу в расследовании тайны. Я сказал «законные выводы», но этим не вполне выразил свое мнение. Я хотел указать, что такие выводы суть *единственно* надлежащие, и что из них, как особый результат, *неизбежно* возникает некоторое подозрение. Что это за подозрение, я однако же пока еще не скажу. Я только хочу закрепить в вашем уме, что для меня оно является таковым, что, достаточным образом, вынуждает меня придать законченную форму, определенное направление вниманию, при моем исследовании комнаты.

Перенесемся теперь в воображении в эту комнату. Чего прежде всего мы будем там искать? Тех средств, с помощью которых убийцы ускользнули. Не слишком много сказать, что никто из нас обоих не верит в сверхъестественное событие. Мадам и мадемуазель Л'Эспане были убиты не духами. Свершители деяния были существами вещественными и ускользнули вещественным образом. Каким же именно образом? К счастью, относительно данного пункта есть лишь один способ размышления, и этот способ *должен* привести нас к определенному решению. Расследуем, по отдельности, возможные средства ускользнуть. Ясно, что убийцы были в комнате, где была найдена мадемуазель Л'Эспане, или, по крайней мере, в комнате, к ней прилегающей, когда вошедшие поднимались по лестнице. Таким образом, лишь в этих двух комнатах мы должны искать выходов. Полиция вскрыла полы, потолки и стены, во всех направлениях. Никакие *тайные* выходы не могли бы ускользнуть от ее бдительности. Но не доверяясь *ее* глазам, я осмотрел все моими собственными. Тайных выходов, на самом деле, *нет*. Обе двери, ведущие из комнат в коридор, были достоверно заперты, и ключи были вставлены изнутри. Обратимся к каминным трубам. Эти последние, хотя

обыкновенно в восемь или в десять футов ширины над очагами, не пропустят в дальнейшем восхождении даже тела сколько-нибудь крупной кошки. Невозможностью ускользнуть указанным путем, таким образом, безусловно установленной, мы приведены к окнам. Через окна передней комнаты никто не мог бы бежать, не обратив на себя внимание толпы, находившейся на улице. Убийцы *должны* были, таким образом, бежать через окна задней комнаты. Теперь, приведенные к такому заключению столь недвусмысленным образом, мы не можем, как размышляющие, отбросить этот способ, по причине кажущейся его невозможности. Нам остается лишь доказать, что эта кажущаяся «невозможность» в действительности не такова.

В комнате два окна. Одно из них не загромождено мебелью, и видно целиком. Нижняя часть другого окна скрыта изголовьем тяжелой кровати, приставленной к ней вплотную. Первое окно, как было найдено, было плотно заперто изнутри. Оно оказывало сопротивление крайнему напряжению силы тех, которые пытались его поднять. В оконнице второго было усмотрено большое пробуравленное отверстие, и в него был вдвинут очень толстый гвоздь, почти до головки. При исследовании другого окна в него был найден вогнанным подобный же гвоздь; и весьма сильная попытка поднять эту раму также не удалась. Полиция после этого вполне удовольствовалась заключением, что бегство не совершилось в данном направлении. И *поэтому* было сочтено излишним вытащить гвозди и открыть окна.

Мое собственное расследование было несколько более подробно, и это по причине, на которую я уже указал — ибо здесь, я знал, всякая видимая невозможность *должна* была быть доказана, как таковая, не существующею.

Я продолжал думать так — a posteriori*. Убийцы *свершили* свое исчезновение через одно из этих окон. Раз это так, они не могли бы снова закрепить оконницы изнутри, как они были найдены закрепленными — соображение, очевидностью своей положившее конец расследованиям полиции в данной области. Однако оконницы *были* закреплены. Они

* A posteriori — исходя из полученных ранее данных (*лат.*). — *Примеч. ред.*

тогда *должны* были иметь способность закрепляться сами. От такого заключения никак не уйти. Я шагнул к незагроможденному окну, высвободил с некоторым затруднением гвоздь и попытался поднять раму. Она воспротивилась всем моим усилиям, как я и предполагал. Я знал теперь, что тут должна была существовать скрытая пружина, и это подтверждение моей мысли убедило меня, что мои посылки были, по крайней мере, правильны, как бы ни таинственны казались обстоятельства относительно гвоздей. Тщательное расследование вскоре указало мне тайную пружину. Я нажал на нее и, удовлетворенный открытием, воздержался и не поднял раму.

Я вставил гвоздь на прежнее место и посмотрел на него внимательно. Тот, кто прошел бы через это окно, мог бы снова закрыть его, и пружина была бы закреплена; но гвоздь не мог бы быть помещен на прежнее место. Заключение было ясно, и снова суживало поле моих исследований. Убийцы *должны* были бежать через другое окно. Предполагая затем, что пружины на каждой оконнице те же самые, как это было вероятно, *должно* было найти разницу между гвоздями или, по крайней мере, между способами их закрепления. Взобравшись на кровать, я заглянул через изголовье и тщательно осмотрел вторую оконницу. Проведя рукой вниз по дереву, я быстро нашел и нажал пружину, которая, как я предполагал, была по характеру тождественна с другой. Я посмотрел теперь на гвоздь. Он был толст, как и другой, и, по-видимому, закреплен таким же образом, будучи вогнан почти до головки.

Вы скажете, что я был озадачен, но если вы так думаете, вы, значит, не поняли самой правды моих наведений. Пользуясь спортивным выражением, я ни разу не сделал «промаха». Чутье по горячему следу не было потеряно ни на мгновение. Во всей цепи, среди звеньев, не было ни одного пробела. Я проследил тайну до конечного ее предела; этим пределом был *гвоздь*. Он, как говорю я, во всех отношениях имел ту же видимость, что и его сотоварищ в другом окне; но этот факт был совершенно нулевым (как бы он, по-видимому, ни был убедителен), если поставить его в связь с соображением, что в данном пункте и кончалось указующее начало. С этим гвоздем, сказал я, *должно* быть что-нибудь неладное.

Я прикоснулся к нему, и головка его, вместе с четверью дюйма его стержня, осталась у меня в руке. Остальная часть стержня была в пробуравленном отверстии, где она обломилась. Этот перелом был старый (ибо края его были подернуты ржавчиной), и, по-видимому, здесь был произведен удар молотка, который частью вогнал в глубину оконницы головку гвоздя. Я тщательно поместил верхнюю часть гвоздя в то отверстие, из которого я его вынул, и сходство с цельным гвоздем было безупречным — трещина была невидима. Нажав пружину, я тихонько приподнял оконную раму на несколько дюймов; головка гвоздя поднялась вместе с нею, оставаясь на своем месте. Я закрыл окно, и общий вид гвоздя снова оказался цельным и законченным.

Загадка, до этих пор, была теперь разгадана. Убийца бежал через окно, что находится около кровати. Опустившись, в силу собственного устройства, после его выхода (или, быть может, умышленно закрытое), оно было закреплено пружиной; и как раз приняв по ошибке сопротивление пружины за сопротивление гвоздя, полиция сочла дальнейшее расследование бесполезным.

Ближайшим вопросом был вопрос, как спустился бежавший. Относительно этого пункта я вполне осведомился во время моей прогулки с вами вокруг здания. Около пяти с половиною футов от упомянутой оконницы проходит громоотвод. От этого провода было бы невозможным для кого бы то ни было достигнуть до самого окна, не говоря уже о том, чтобы войти в него. Я увидел, однако, что ставни четвертого этажа были того особенного разряда, которые французские плотники называют *ferrades,* железом окованные — ставни весьма редко употребляющиеся в настоящее время, но часто встречающиеся в очень старых домах в Лионе и в Бордо. Они имеют форму обыкновенной двери (цельной, не двустворчатой), с тем лишь отличием, что нижняя часть — решетчатая, или кончается орнаментом в виде открытого трельяжа, давая, таким образом, превосходную возможность рукам уцепиться. В данном случае, эти ставни были очень широки, в три с половиною фута ширины. Когда мы глядели на них, при осмотре задней части здания, они были полуоткрыты — т. е. стояли под прямым углом к стене. Вероятно, полиция так же, как я, исследовала заднюю часть здания; но,

если так, смотря на эти ferrades в смысле их ширины (как она должна была это сделать), она не заметила самой их ширины весьма большой, или, во всяком случае, опустила этот пункт, не приняв его в должное соображение. На самом деле, убедившись однажды, что побег не мог быть совершен в данном месте, она естественно удовлетворилась здесь лишь беглым осмотром. Для меня было ясно, однако, что ставни окна, находящегося у изголовья кровати, будучи распахнуты совершенно до стены, достигают расстояния двух футов от громоотвода. Было также явно, что с помощью весьма необычной степени усилия и храбрости проникновение в окно с провода могло быть таким образом осуществлено. Достигнув на расстоянии двух с половиной футов (при нашем теперешнем предположении, что ставни открыты целиком), разбойник мог цепко ухватиться за решетчатый выступ. Выпустив потом из рук своих провод, прижав свои ноги плотно к стене и смело прыгнув внутрь, он мог увлечь за собой ставню, так что она захлопнулась, и если мы допустим, что окно было в данный миг открыто, мог сам с размаху ворваться в комнату.

Я хочу, чтобы вы главным образом помнили, что я говорил о *весьма* необычайной степени усилия, потребной для успеха в проделке такой рискованной и такой трудной. Мое намерение — показать вам, во-первых, что таковая вещь могла совершиться, что это возможно; но, во-вторых, и *главным* образом, я хочу напечатлеть в вашем понимании *весьма чрезвычайный,* почти сверхъестественный характер той ловкости, которая могла это совершить.

Вы скажете, без сомнения, употребляя судебный язык, что, «для того, чтобы выиграть дело», я должен был бы скорее уменьшать значение усилия, потребного в данном случае, нежели настаивать на полной его оценке. Может быть, это практика закона, но не таково требование рассудка. Моя конечная цель — лишь истина. Моя непосредственная задача заставит вас сблизить это *весьма необычное* усилие, о котором я только что говорил, с тем *совершенно особенным* пронзительным (или резким) и *неровным* голосом, относительно принадлежности которого к какой-либо народности не было двух согласующихся свидетелей, и в котором не могли уловить слоговой членораздельности.

При этих словах смутное и полусложившееся представление о том, что разумеет Дюпен, проскользнуло в мой ум. Мне казалось, что я был на грани понимания, не имея силы понять, как иногда люди находятся на краю воспоминания, не будучи способны, в конце концов, припомнить. Мой друг продолжал свою речь.

— Вы видите, — сказал он, — что вопрос о способе исхождения я переменил на вопрос о вхождении. Моим намерением было внушить мысль, что и то и другое совершилось тем же самым способом и на том же самом месте. Вернемся теперь внутрь комнаты. Посмотрим, какой все имело там вид. Выдвижные ящики комода, как было сказано, были разграблены, хотя многие вещи из одежды оставались еще там. Заключение здесь нелепо. Это простая догадка — очень глупая — и не больше. Как можем мы знать, что предметы, найденные в ящиках, не представляют из себя всего того, что первоначально в этих ящиках находилось? Мадам Л'Эспане и ее дочь жили чрезвычайно уединенной жизнью — ни с кем не видались — выходили редко, имели мало случаев для многочисленной перемены одежды. То, что было найдено, было, по крайней мере, такого же хорошего качества, как что-либо иное, что могло принадлежать этим дамам. Если вор взял что-нибудь, почему не взял он лучшее — почему не взял он все? Одним словом, почему оставил он 4 тысячи франков золотом и нагромоздил на себя связку белья? Золото *было* оставлено. Почти вся сумма, упомянутая месье Миньо, банкиром, была найдена в мешках на полу. Я хочу поэтому устранить из ваших мыслей бессвязную догадку о *побудительной причине,* порожденную в умах полиции той частью свидетельства, которая говорит о деньгах, переданных из рук в руки у самых дверей дома. Совпадения в десять раз более замечательные, чем это (передача денег и убийство, совершенное три дня спустя) случаются с нами в нашей жизни ежечасно, не привлекая к себе даже минутного внимания. Совпадения, вообще, суть великий камень преткновения на дороге этого разряда размышляльщиков, которые так воспитаны, что ничего не знают о теории вероятностей — той теории, которой наиболее славные области человеческого изыскания были обязаны наиболее славными своими достижениями. В данном случае, если бы золото исчезло, факт передачи его три

дня тому назад составил бы нечто большее, чем совпадение. Он подкреплял бы мысль о побудительной причине. Но при действительных обстоятельствах дела, если мы предположим, что золото было побудительной причиной этого злодеяния, мы должны также вообразить себе свершителя деяния столь нерешительным идиотом, что он оставил вместе и золото и свою побудительную причину.

Теперь, твердо держа в памяти пункты, на которые я обратил ваше внимание — этот особенный голос, эта необычайная ловкость, и это поразительное отсутствие побудительной причины для убийства, столь особенно жестокого, как это, — посмотрим на самое злодеяние. Женщина задушена насмерть сильными руками и втиснута в каминную трубу головой вниз. Обыкновенные убийцы не прибегают к таким способам убиения, как этот. Менее всего они таким образом распоряжаются убитыми. В этой манере втиснуть труп в камин, вы должны допустить, было что-то *до чрезвычайности преувеличенное — что-то* совершенно несовместимое с нашими общими представлениями о человеческом действии, даже, когда мы допустим, что действующие лица являются самыми извращенными людьми. Подумайте, кроме того, насколько велика должна была быть сила, которая смогла так втиснуть тело *вверх* в отверстие, столь насильственно, что соединенные усилия нескольких лиц оказались едва достаточными, чтобы стащить его *вниз*.

Обратимся теперь к другим указаниям, свидетельствующим о силе самой удивительной. В очаге были найдены густые пряди седых человеческих волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какая нужна большая сила, чтобы вырвать таким образом из головы хотя бы двадцать или тридцать волос вместе. Вы видели упомянутые пряди так же, как я. Корни их (отвратительное зрелище) слиплись от запекшейся кровью с кусочками черепного покрова — верный знак удивительной силы, которая была применена, чтобы вырвать, быть может, полмиллиона волос сразу. Горло старой дамы не было просто перерезано, но голова ее совершенно была отделена от тела — орудием была простая бритва. Я хочу, чтобы вы также обратили внимание на *зверскую* свирепость таких деяний. О кровоподтеках на теле мадам Л'Эспане я не говорю. Месье Дюма и достойный

его помощник, месье Этьен, высказались, что они были причинены каким-либо тупым орудием; и в этом данные господа говорят вполне правильно. Тупым орудием была, очевидно, брусчатка двора, на который жертва упала из окна, находящегося на некотором расстоянии от постели. Эта мысль, как она ни проста, ускользнула от полиции по той же самой причине, по которой от них ускользнула мысль о ширине ставни — так как, благодаря обстоятельству с гвоздями, их восприятие было герметически закупорено для допущения возможности, что окно когда-либо открывалось.

Если теперь, в придачу ко всему этому, вы надлежащим образом помыслили о странном беспорядке в комнате, мы ушли вперед настолько, чтобы сочетать представления об удивительной ловкости, о сверхчеловеческой силе, о зверской свирепости, о злодеянии без побудительной причины, *о гротескности* и ужасе, совершенно чуждом человеческой природе, и о голосе, чуждом по тону слуху представителей разных народностей и чуждом какой-либо различимой слоговой членораздельности. Какой же получается отсюда результат? Какое впечатление произвел я на ваше воображение?

Я почувствовал, что по коже у меня поползли мурашки, когда Дюпен задал мне этот вопрос.

— Сумасшедший, — сказал я, — сделал это деяние какой-нибудь маньяк, объятый буйным помешательством — бежавший из какой-нибудь лечебницы по соседству.

— В некоторых отношениях, — ответил он, — ваша мысль не неприемлема; но голоса сумасшедших, даже в припадках самого сильного исступления, никогда не согласуются с тем, что было особенного в этом голосе, послышавшемся наверху. Сумасшедшие принадлежат к какой-нибудь народности, и их язык, как бы он ни был бессвязен в словах, всегда имеет слоговую связность. Кроме того, волосы какого-либо сумасшедшего не таковы, как те, что я держу в моей руке. Я высвободил этот маленький клочок из окоченело сжатых пальцев мадам Л'Эспане. Скажите мне, что вы думаете о них?

— Дюпен, — сказал я, совершенно потрясенный, — эти волосы необычны до чрезвычайности — это не *человеческие* волосы.

— Я не утверждал, что они человеческие, — сказал он, — но, прежде чем мы разрешим данный пункт, я хочу, чтобы вы взглянули на небольшой рисунок, который я сделал вот здесь, на бумаге. Это *факсимиле*, точный рисунок того, что было описано в некоторой части показаний, «как темные кровоподтеки, и глубокие вдавлины от ногтей» на горле мадемуазель Л'Эспане, и, в другом показании (данном месье Дюма и Этьеном), описанном как ряд синих пятен, очевидно, от нажатая пальцев.

— Вы можете заметить, — продолжал мой друг, развертывая бумагу на столе перед нами, — что этот рисунок дает представление о твердой и крепкой хватке. Тут, на вид, нет ничего *скользящего*. Каждый палец сохранял — возможно, до самой смерти жертвы — страшную хватку, первоначально вдавившую его. Попытайтесь теперь поместить все ваши пальцы, в одно и то же время, в соответственные отпечатки пальцев, как вы их видите.

Моя попытка была безуспешной.

— Возможно, что мы делаем опыт не надлежащим образом, — сказал он. — Бумага распространена на ровной поверхности, а человеческое горло — цилиндрическое. Вот деревянный чурбан, окружность которого, приблизительно, та же, что окружность горла. Оберните рисунок вокруг, и сделайте опыт сначала.

Я сделал так, но трудность стала еще большей, чем прежде.

— Это, — сказал я, — отпечаток не человеческой руки.

— Прочтите теперь, — ответил Дюпен, — этот отрывок из Кювье[14].

Это было подробное анатомическое и общее описание большого, темно-бурого орангутанга восточных индонезийских островов. Гигантский рост, изумительная мощь, и размах усилия, дикая свирепость, и подражательные наклонности этих млекопитающих, достаточно хорошо известны всем. Я понял весь ужас убийства, в его полноте, сразу.

— Описание пальцев, — сказал я, прочтя отрывок, — вполне согласуется с этим рисунком. Я вижу, что никакое животное, кроме орангутанга, из разряда здесь описанного, не могло сделать отпечатки вдавлин, как вы их здесь отметили. Этот клок бурых волос, кроме того, вполне тождественен по

характеру с волосами зверя, описанного у Кювье. Но я не могу понять, как могли осуществиться подробности этой страшной тайны. Кроме того, там были слышны *два* голоса в споре, и один из них был, бесспорно, принадлежащий французу.

— Правда. И вы вспомните восклицание, которое приписывали почти единогласно свидетели этому голосу, восклицание ***«Боже мой»***! Эти слова, при данных обстоятельствах, были справедливо определены одним из свидетелей (Монтани, кондитер), как выражение упрека или укора. На этих двух словах я потому построил, главным образом, все мои чаяния на полное разрешение загадки. Какой-то француз знает об убийстве. Возможно — и в действительности более чем вероятно, — что он не виновен в каком-либо соучастии в этом кровавом деле. Орангутанг мог убежать от него. Он мог гнаться за ним до самой комнаты; но при волнующих обстоятельствах, которые за сим последовали, он никак не мог овладеть им. Орангутанг еще на свободе. Я не хочу продолжать эти догадки — я не имею права назвать их более чем догадками — раз тени размышления, на котором они основаны, отличаются глубиной едва достаточной, чтобы быть оцененными собственным моим разумом, и раз я не мог бы притязать сделать их понятными для понимания другого. Итак, мы назовем их догадками, и будем говорить о них как о таковых. Если упомянутый француз действительно, как я предполагаю, неповинен в этом жестоком преступлении, это вот объявление, которое вчера вечером, при нашем возвращении домой, я оставил в конторе газеты «Le Monde» (газета, посвященная корабельным интересам, и очень любимая моряками), приведет его к нам на квартиру.

Он протянул мне газету, и я прочел:

«Пойман

В Булонском лесу, рано утром, такого-то числа (утро убийства), очень большой бурый орангутанг из разряда водящихся на Борнео[15]. Собственник (как известно, моряк, принадлежащий к экипажу мальтийского судна) может получить животное, удостоверив достаточно притязания, и заплатив небольшие расходы, возникшие из-за его поимки и

содержания. Прийти в дом № такой-то — улица такая-то — Сен-Жерменское предместье — на третьем этаже».

— Каким образом, — спросил я, — это было возможно, чтобы вы узнали, что данный человек моряк и принадлежит к экипажу мальтийского судна?

— Я *не* знаю этого, — сказал Дюпен. — Я не *уверен* в этом. Вот, однако же, маленький обрывок ленты, который, судя по его форме и по его засаленному виду, очевидно, служил для завязывания волос одного из тех длинных *хвостов,* которые столь излюблены моряками. Кроме того, завязать такой узел умеют лишь немногие, кроме моряков, и он составляет особую гордость мальтийцев. Я подобрал ленту внизу громоотвода. Она не могла принадлежать ни той, ни другой из покойниц. Если теперь, после всего, я ошибся в моей догадке относительно этой ленты, и француз не моряк, принадлежащий к экипажу какого-нибудь мальтийского судна, я все же ничего не сделал злого, сказав это в своем объявлении. И если я ошибся, он просто предположит, что я введен в заблуждение каким-нибудь обстоятельством, которое он не потрудится расследовать. Но, если я не ошибся, большой важности пункт здесь выигран. Зная об убийстве, хотя и не будучи в нем повинен, француз, естественно, будет колебаться ответить на объявление и требовать своего орангутанга. Он будет рассуждать так: «Я не виновен; я беден; мой орангутанг весьма ценен для человека, находящегося в моем положении, это целое состояние — к чему бы я стал его терять из-за пустой боязни опасности. Вот он здесь, в моих руках. Он был найден в Булонском лесу на большом расстоянии от места преступления. Каким образом могло бы возникнуть подозрение, что глупое животное могло совершить такое дело? Полиция дала промах — она не смогла найти ни малейшего пути к разгадке. Если бы даже она и проследила животное, невозможно было бы доказать, что я знаю об убийстве, или впутать меня в преступление по причине такого знания. Прежде всего, я известен. Объявляющий определяет меня, как собственника зверя, я не уверен, до каких пределов может простираться его знание. Если я стану избегать притязаний на собственность такой большой цены, относительно которой известно, что она принадлежит мне, я сделаю животное, по крайней мере, подозрительным. Благо-

разумие мое не велит мне привлекать внимание к себе или к зверю. Я отвечу на объявление, получу обратно орангутанга, и буду держать его взаперти, пока это дело не будет забыто».

В это мгновение мы услыхали на лестнице шаги.

— Будьте наготове, — сказал Дюпен, — держите ваши пистолеты, но не пользуйтесь ими и не показывайте их до того, как я не дам вам сигнала.

Входная дверь дома была оставлена открытой, и посетитель вошел без звонка, и поднялся на несколько ступенек по лестнице. После этого, однако, он заколебался. Вот мы услышали, что он начал сходить. Дюпен быстро направился к двери, как вдруг мы услыхали, что он всходит. Он не повернул назад вторично, но решительно подошел к двери нашей комнаты и постучал в нее.

— Войдите, — сказал Дюпен веселым и приветливым голосом.

Человек вошел. Это был, очевидно, моряк — высокий, статный и, как кажется, мускулистый, с некоторым дьявольски-дерзким выражением в лице, нельзя сказать, чтобы отталкивающим. Лицо его, сильно загорелое, было более чем наполовину скрыто бакенбардами и усами, в руках у него была огромная дубина, но кроме этого он был, по-видимому, не вооружен. Он неловко поклонился и пожелал нам «доброго вечера», с французским акцентом, который хотя был несколько невшательский, все же достаточно указывал на парижское происхождение.

— Садитесь, любезнейший, — сказал Дюпен. — Вы пришли, как я полагаю, за орангутангом. Честное слово, я почти завидую вам, что он вам принадлежит; очень красивое и, без сомнения, весьма ценное животное. Сколько ему лет, как вы думаете?

Моряк перевел дыхание с видом человека, освобожденного от какой-то невыносимой тяжести, и после этого ответил уверенным тоном:

— Не сумею вам сказать, но ему не может быть больше, чем четыре или пять лет от роду. Он у вас здесь?

— О, нет; у нас нет подходящего помещения, чтобы держать его здесь. Он на извозчичьем дворе, на улице Дюбур, по соседству. Вы можете получить его утром. Вы, конечно, имеете с собой бумаги, чтобы подтвердить притязание?

— Конечно, месье.

— Жаль мне с ним расставаться, — сказал Дюпен.

— Я не хочу, конечно, сказать, что вы взяли на себя все эти хлопоты зря, — сказал человек. — Не мог бы на это рассчитывать. Готов охотно заплатить за поимку животного чем-нибудь подходящим.

— Хорошо, — ответил мой друг, — все это весьма превосходно, поистине. Дайте мне подумать! — Что бы я хотел получить? О, я скажу вам. Моя награда будет вот какая. Вы дадите мне все указания, какие в вашей власти дать, относительно этого убийства на улице Морг.

Дюпен сказал последние слова очень пониженным тоном и очень спокойно. Так же спокойно он пошел к двери, замкнул ее и ключ положил к себе в карман. Он вынул после этого пистолет из бокового кармана и без малейшей тревоги положил его перед собою на стол.

Лицо моряка покрылось яркой краской, как будто он боролся с удушением. Он вскочил и схватил свою дубину, но в следующий же миг он упал назад на свое сиденье, охваченный страшной дрожью, имея лик самой смерти. Он не говорил ни слова. Я пожалел его от всего сердца.

— Послушайте, добрейший, — сказал Дюпен ласковым голосом, — вы тревожитесь без всякой нужды — поверьте. Мы не замышляем против вас никакого зла. Клянусь вам честью джентльмена и француза, что мы вовсе не намерены вам ничем повредить. Я отлично знаю, что вы не виновны в жестоких преступлениях улицы Морг. Бесполезно было бы, однако, отрицать, что вы, до известной степени, в них запутаны. Из того, что я уже сказал, вы должны знать, что я имел некоторые возможности получить сведения о данном деле — возможности, о которых вам никогда не могло и присниться. Теперь дело обстоит так. Вы не сделали ничего, чего бы вы могли избегнуть — ничего, во всяком случаев, что сделало бы вас виновным. Вы даже были неповинны в воровстве, когда вы могли украсть безнаказанно. Скрывать вам нечего. У вас нет никаких причин для укрывательства. С другой стороны, вы связаны всеми доводами чести, побуждающими вас признаться во всем, что вы знаете. Невинный человек заключен в тюрьму, его обвиняют в преступлении, совершителя которого вы можете указать.

В то время как Дюпен говорил эти слова, к моряку в значительной степени вернулось его присутствие духа; но первоначальная смелость его манеры совершенно исчезла.

— Да поможет мне Бог, — сказал он после короткой паузы, — *я расскажу* вам все, что я знаю об этом деле, но я не жду, чтобы вы поверили мне и наполовину, поистине, я был бы глупцом, если бы этого ждал. И все же, я не виновен, я сброшу с своего сердца тяжесть, хотя бы мне пришлось умереть за это.

То, что он рассказал, было вкратце следующее. Он совершил недавно путешествие на индонезийский архипелаг. Компания, к которой он принадлежал, высадилась в Борнео и предприняла увеселительную экскурсию вглубь страны. Он и его товарищ поймали орангутанга, товарищ вскоре умер, и животное стало, таким образом, его безраздельною собственностью. После больших хлопот, причиненных несговорчивой свирепостью его пленника, во время возвратного путешествия домой, ему, наконец, удалось поместить его благополучно у себя на квартире в Париже, где во избежание докучливого любопытства соседей, он держал его в полном уединении, до того времени, как он поправится от раны на ноге, полученной им от осколка кости на палубе корабля. Окончательной его мыслью было продать орангутанга.

Возвращаясь домой с какой-то матросской пирушки в ночь, или, вернее, в утро убийства, он нашел животное расположившимся в его собственной спальне, в которую оно ворвалось из соседнего помещения, где, как он думал, оно было надежным образом припрятано. С бритвой в руке, и все намыленное, оно восседало перед зеркалом, пытаясь совершить операцию бритья, в каковой, без сомнения, оно раньше подсмотрело своего хозяина через замочную скважину. Устрашенный видом такого опасного орудия, находящегося в распоряжении у животного столь свирепого и столь способного им воспользоваться, в течение нескольких мгновений он совершенно не знал, что делать. Он, однако, привык укрощать зверя даже в самые свирепые его припадки, употреблением хлыста, и к нему он теперь прибег. При виде него орангутанг сразу выпрыгнул через дверь комнаты, вниз по лестнице, и оттуда через окно, к несчастью, бывшее открытым, на улицу.

Француз последовал за ним в отчаянии; обезьяна, все еще держа бритву в руке, время от времени останавливалась, чтобы обернуться назад и проделать разные гримасы своему преследователю, когда последний уже почти настигал ее. Потом она опять обращалась в бегство. Охота продолжалась, таким образом, довольно значительное время. Улицы были совершенно тихими, так как было около трех часов утра. При проходе через уличку, что находится за улицей Морг, внимание беглеца было приковано светом, исходившим из открытого окна в комнате мадам Л'Эспане, на четвертом этаже ее дома. Бросившись к этому зданию, животное заметило громоотвод, вскарабкалось по нему с непостижимой ловкостью, ухватилось за ставню, которая была раскрыта до самой стены и, с помощью ее, вспрыгнуло прямо на изголовье кровати. Вся проделка не продолжалась и минуты, ставня встала на прежнее место, в то время как орангутанг толкнул ее, входя в комнату.

Моряк, тем временем, был сразу и обрадован и смущен. У него была теперь твердая надежда снова поймать животное, так как навряд ли оно могло ускользнуть из западни, в которую оно само дерзнуло устремиться, разве что оно опять воспользовалось бы громоотводом, где оно могло быть перехвачено. С другой стороны, было много оснований тревожиться о том, что оно могло сделать в доме. Это последнее соображение побудило моряка последовать за беглецом. Он взобрался по громоотводу без затруднений, он же ведь моряк; но, когда он достиг до окна, находившегося высоко над ним слева, его путь был остановлен; самое большее, что он мог сделать, это дотянуться настолько, чтобы быть в состоянии заглянуть внутрь комнаты. Заглянув туда, он почти упал и чуть не выпустил из рук провод, благодаря чрезмерному своему ужасу. Это тогда раздались те ужасные крики в ночи, которые пробудили от дремоты жителей улицы Морг. Мадам Л'Эспане и ее дочь, одетые в ночные свои костюмы, повидимому, были заняты приведением в порядок некоторых бумаг в уже упомянутом железном сундучке, который был выдвинут на средину комнаты. Он был открыт, и то, что в нем находилось, лежало рядом, на полу. Жертвы, должно быть, сидели спиною к окну, и, судя но времени, прошедшему между входом зверя и криками, надо думать, что он был

замечен не немедленно. Хлопанье ставни, естественно, могло быть приписано ветру.

Когда моряк заглянул в окно, гигантское животное схватило мадам Л'Эспане за волосы (она их причесывала, и они были распущены) и размахивало бритвой вокруг ее лица, в подражание движениям цирюльника. Дочь лежала на полу распростертая и недвижная; она была в обмороке. Крики и судорожные движения старой дамы (причем с головы ее были сорваны волосы) оказали то действие, что, по всему вероятно, мирные намерения орангутанга превратились в гнев. Быстро взмахнув своей мускулистой рукой, он одним движением почти отделил ее голову от туловища. Вид крови возбудил его гнев до ярости. Скрежеща зубами и меча пламень из глаз, он бросился на тело девушки и погрузил свои страшные когти в ее горло, сжимая его, пока она не умерла. Его блуждающее дикие взгляды упали в это мгновение на изголовье кровати, над которым как раз было различимо лицо его хозяина, застывшее от ужаса. Бешенство животного, еще помнившего, без сомнения, страшный хлыст, мгновенно обратилось в страх. Сознавая, что он заслужил наказание, орангутанг, по-видимому, хотел скрыть свои кровавые деяния и метался по комнате в агонии нервного возбуждения, опрокидывая и ломая попадавшуюся по пути мебель, и стащив постель с кровати. В заключение он схватил сперва тело девушки и втиснул в каминную трубу, где оно было найдено, потом — тело старой дамы, которое немедленно было вышвырнуто вниз головой через окно.

Когда обезьяна приблизилась к оконнице с изуродованной своей ношей, моряк в ужасе отпрянул к громоотводу, и, скорее скользя, чем карабкаясь по проводу вниз, тотчас бежал домой, страшась последствий злодеяния, и, в страхе своем, с радостью покидая всякие заботы о судьбе орангутанга. Голоса, которые были услышаны входившими по лестнице, были восклицаниями ужаса и испуга, вырвавшимися у француза и перемешанными с дьявольскими бормотаниями зверя.

Мне почти нечего прибавить. Орангутанг должен был ускользнуть из комнаты, спустившись по проводу, как раз перед тем, когда дверь была взломана. Он должен был закрыть окно, пройдя через него. Позднее он был пойман самим собс-

твенником, получившим за него очень крупную сумму от Jardin des Plantes*. Лебон был немедленно выпущен, после того как мы рассказали обо всех обстоятельствах (с некоторыми пояснениями, данными Дюпеном) в бюро префекта полиции. Этот чиновник, хотя весьма расположенный к моему другу, не мог хорошенько скрыть своего огорчения по поводу такого оборота дела, и не удержался от того, чтобы не сказать два-три сарказма о свойствах разных лиц, вмешивающихся в его дела.

— Пусть себе говорит, — сказал Дюпен, который не счел нужным отвечать. — Пусть разглагольствует. Это успокоит его совесть. Я удовольствуюсь тем, что побил его в собственных его владениях. Тем не менее, то, что он не смог разрешить эту тайну, отнюдь не является столь удивительным, как он предполагает; ибо, поистине, наш друг префект несколько слишком хитер, чтобы быть глубоким. В его мудрости нет *устоя*. Он весь из головы без тела, как изображения богини Лаверны, или, в лучшем случае, он весь голова и плечи, как треска. Но он доброе существо, в конце концов. Я в особенности люблю его за его мастерский прием лицемерия, с помощью которого он достиг своей репутации находчивости. Я разумею его манеру *«de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas» (отрицать то, что есть, и изъяснять то, чего нет)***.

УКРАДЕННОЕ ПИСЬМО

Nil sapientiae odiosius acumine nimio.
*Seneca****

В Париже, как раз после темного и бурного осеннего вечера 18... года, я услаждался двойным удовольствием размышления и пенковой трубки в обществе моего друга Ш. Огюста Дюпена в его небольшой библиотеке, *au troisieme, № 33 Rue*

* Ботанический сад (*фр.*). — *Примеч. ред.*

** Руссо, «Новая Элоиза».— *Примеч. пер.*

*** Ничто так не враждебно мудрости, как чрезмерная острота. *Сенека*[1] (*лат.*). — *Примеч. пер.*

*Dunôt Faubourg Saint-Germain**. Добрый час мы соблюдали глубокое молчание; и каждый из нас, как могло бы показаться какому-нибудь случайному наблюдателю, был напряженно и исключительно занят курчавыми круговоротами дыма, обременявшего атмосферу комнаты. Что касается, однако, меня, я мысленно обсуждал известные темы, составлявшие предмет нашего разговора в начале вечера; я разумею дело улицы Морг и тайну, связанную с убийством Мари Роже. Я видел в этом что-то вроде совпадения, как вдруг дверь нашей комнаты раскрылась, и пропустила старого нашего знакомого месье Ж. — префекта парижской полиции.

Мы сердечно его приветствовали, ибо в нем было столько же занимательного, сколько и достойного презрения, и мы не виделись с ним несколько лет. Мы сидели в темноте, и Дюпен встал, чтобы зажечь лампу, но снова сел, не сделав этого, когда Ж. сказал, что он зашел посоветоваться с нами, или точнее, спросить мнение моего друга, касательно одного официального дела, причинившего много беспокойств.

— Если это что-нибудь, требующее размышления, — заметил Дюпен, не зажигая светильню, — мы лучше рассмотрим это в темноте.

— Вот еще одно из ваших странных мнений, — сказал префект, который имел привычку называть «странным» все, что было за пределом его понимания, и, таким образом, жил среди безмерного легиона «странностей».

— Совершенно верно, — сказал Дюпен, подавая своему гостю трубку и подкатывая к нему удобное кресло.

— В чем же теперь затруднение, — спросил я, — опять в каком-нибудь убийстве?

— О, нет; ничего подобного. Дело, по истине, *очень* просто, и я не сомневаюсь, что мы сумеем отлично справиться с ним сами; но потом я подумал, что Дюпену приятно будет узнать его детали, ибо оно так необычайно *странно.*

— Просто и странно? — сказал Дюпен.

— Почему бы нет, но на самом деле мы все весьма были им озадачены, потому что дело *так* просто, и как будто посмеивается над нами.

---

*Дом № 33 по улице Дюно, Сен-Жерменское предместье (*фр.*). — *Примеч. ред.*

— Быть может, именно эта большая простота данной вещи ставит вас в тупик? — спросил мой друг.

— Что за нонсенс вы *говорите!* — ответил префект, весело смеясь.

— Быть может, тайна немного *слишком* ясна, — сказал Дюпен.

— О Боже милосердный, кто слышал когда-нибудь что-либо подобное?

— Немного *слишком* очевидна.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! — ревел наш гость, чрезвычайно позабавленный. — О, Дюпен, вы меня еще уморите!

— А в чем же, наконец, дело? — спросил я.

— Что ж, я вам расскажу, — ответил префект, выпустив длинный, солидный, и созерцательный клуб дыма, плотно усаживаясь в своем кресле. — Я скажу вам в нескольких словах; но прежде чем начать, я должен предупредить вас, что это — дело, требующее величайшего соблюдения тайны, и что я, по всей вероятности, потерял бы свой пост, если бы стало известно, что я кому-нибудь сообщил о нем.

— Продолжайте, — сказал я.

— Или нет, — сказал Дюпен.

— Хорошо; я получил личное осведомление из сфер весьма высоких, что известный документ чрезвычайной важности был украден из королевских апартаментов. Особа, его укравшая, известна; это вне сомнения; видели, как это лицо взяло его. Известно также, что документ все еще находится у него.

— Откуда это известно? — спросил Дюпен.

— Это ясно видно, — ответил префект, — из природы самого документа, и из непоявления известных результатов, которые сразу возникли бы, если бы он вышел *из* рук вора — т. е. если бы он им воспользовался, как он, в конце концов, конечно, собирается им воспользоваться.

— Будьте немного яснее, — сказал я.

— Хорошо, я рискну настолько, чтобы сказать, что данная бумага дает ее обладателю известную власть в известном месте, где такая власть имеет огромную ценность.

Префект обожал дипломатическое лицемерие.

— Я продолжаю ничего не понимать, — сказал Дюпен.

— Нет? Хорошо. Разоблачение этого документа третьей особе, которую я не назову, затронуло бы вопрос о чести некоторой особы, занимающей самое высокое положение, и этот факт дает обладателю документа возможность оказывать влияние на высокопоставленную особу, честь которой и спокойствие, таким образом, подвергнуты опасности.

— Но эта возможность оказывать влияние, — вмешался я, — зависела бы от того, что вор знает, что пострадавший знает вора. Кто посмел бы!

— Вор, — сказал Ж. — это министр Д., который посмеет сделать что угодно, то, что недостойно человека и что его достойно. Способ кражи был смел и не менее находчив. Упомянутый документ — письмо, чтобы быть откровенным — был получен высокой особой, обворованной, когда она находилась одна в королевском *будуаре*. В то время как она читала, ее внезапно прервал приход другой высокой особы, от которой она особенно желала скрыть это письмо. После поспешной и напрасной попытки бросить письмо в выдвижной ящик, она была вынуждена положить его вскрытым, как оно было, на стол. Адрес, однако, был наверху, и содержание письма было таким образом скрыто, письмо не возбудило внимания. В это самое время входит министр Д. Его рысьи глаза немедленно замечают бумагу, он узнает по адресу почерк, замечает смущение высокой особы и догадывается о ее секрете. После некоторых деловых разговоров, осуществленных наспех, по его обычной манере, он вынимает письмо, несколько похожее на упомянутое, раскрывает его, делает вид, что читает, и затем кладет совсем рядом с другим. Снова он разговаривает четверть часа об общественных делах. Наконец, прощаясь, он берет со стола письмо, на которое он не имел никаких прав. Законный собственник письма видел это, но, конечно, не посмел привлечь внимание на этот поступок в присутствии третьего лица, стоявшего рядом. И министр скрылся восвояси, оставив на столе свое собственное письмо, совершенно незначительное.

— Вот здесь, — сказал Дюпен, обращаясь ко мне, — вы имеете все, что требуется, чтобы иметь полное влияние: вор знает, что пострадавший знает вора.

— Да, — отвечал префект, — и власть, таким образом достигнутая, в течение нескольких истекших месяцев, была ис-

пользована для политических целей в размерах очень опасных. Обокраденная особа с каждым днем все более и более убеждается в необходимости получить назад свое письмо. Но это, конечно, не может быть сделано открыто. Словом, доведенная до отчаяния, эта особа доверила все дело мне.

— Лучшего, — сказал Дюпен среди целого водоворота дыма, — полагаю, нельзя и желать, или даже вообразить, проницательного агента.

— Вы мне льстите, — ответил префект, — но вполне возможно, что кое-кто составил обо мне такое мнение.

— Ясно, — сказал я, — как вы заметили, письмо еще находится в руках министра, раз обладание письмом, а не какое-либо пользование им, дает власть. С использованием письма власть исчезает.

— Это верно, — сказал Ж., — и согласно с таким убеждением я и действовал. Первой моей заботой было тщательно обыскать квартиру министра; и тут моим главным затруднением была необходимость делать обыск без его ведома. Кроме того, меня предостерегли касательно опасности, которая возникла бы, если бы я дал ему основание подозревать наш замысел.

— Но, — сказал я, — вы совершенно как у себя дома в таких расследованиях. Парижская полиция делала это нередко и раньше.

— О да, и потому-то я не отчаивался. Привычки министра, кроме того, давали мне большое преимущество. Он часто уходит из дому на целую ночь. Слуги его не многочисленны. Они спят в известном отдалении от квартиры своего хозяина, и так как это, главным образом, неаполитанцы, их легко напоить. У меня, как вы знаете, есть ключи, которыми я могу отпереть каждую комнату и каждый кабинет в Париже. В течение трех месяцев ни одной ночи не прошло без того, чтобы в продолжение нескольких часов я лично не был занят обыском помещения Д. Моя честь здесь заинтересована, и, скажу вам большой секрет, вознаграждение огромное. Таким образом, я не оставлял своих поисков до тех пор, пока не убедился вполне, что вор — человек еще более хитрый, чем я. Как я думаю, я осмотрел каждый угол и каждый уголок в квартире, где возможно было бы спрятать бумагу.

— Но разве невозможно, — сказал я, — что, хотя письмо может быть в руках министра, как это бесспорно и есть, он мог спрятать его где-нибудь в ином месте, а не у себя?

— Это только возможно, — сказал Дюпен. — Настоящее особое положение дел при дворе, и, в особенности, характер тех интриг, в которые, как известно, запутан Д., делают мгновенное применение документа — возможность тотчас же, как только будет нужно, его извлечь — пунктом, почти такой же важности, как самый факт обладания им.

— Возможность его извлечь? — сказал я.

— То есть возможность его *уничтожить*, — сказал Дюпен.

— Это так, — заметил я, — ясно тогда, что бумага находится в квартире. Что касается того, чтобы письмо было на самой особе министра, мы можем считать это вне разговора.

— Безусловно, — сказал префект. — Его дважды подстерегли как бы бродяги, и его особа была тщательно обыскана под моим наблюдением.

— Вы могли на этот счет не беспокоиться, — сказал Дюпен. — Д., как я полагаю, не совершенно лишен рассудка, и потому, конечно, должен был предвидеть, что его в этом роде подстерегут.

— Не *совсем* лишен рассудка, — сказал Ж., — но все-таки он поэт, так что разница тут на мой взгляд невелика.

— Это так, — сказал Дюпен, выпустив клуб дыма из своей пенковой трубки, после долгой и глубокомысленной затяжки, — хотя я сам был виновником появления некоторых виршей.

— А не расскажете ли вы подробности своих розысков? — сказал я.

— Почему бы и нет. Мы вполне использовали наше время и обыскали *всюду*. У меня в этих делах был большой опыт. Я осмотрел все здание, комнату за комнатой, посвящая каждой комнате по неделе ночей. Мы исследовали сперва обстановку каждой комнаты. Мы открыли всевозможные выдвижные ящики; а вы, как я полагаю, знаете, что для надлежаще тренированного полицейского агента, такая вещь, как *секретный* выдвижной ящик, есть невозможность. Каждый, кто совершает обыск такого рода и позволяет какому-то «секретному» ящику ускользнуть от себя — совершенней-

шая тупица. Это же *так* ясно. В каждом кабинете есть известное количество пространства, и его надо исследовать. Затем ведь у нас есть точные правила. От нас не ускользнет и пятидесятая часть линии. После кабинетов мы взялись за стулья. Сиденья кресел мы испробовали тонкими, длинными иглами, которыми, как вы видели, я пользуюсь. Со столов мы сняли верхние крышки.

— А это зачем?

— Иногда лицо, желающее что-нибудь скрыть, снимает крышку стола, или другую, аналогично устроенную, составную часть мебели; затем ножка выдалбливается, *вещь* кладется в углубление, и верхушка помещается на прежнее место. Таким же образом пользуются низом или верхом балдахинов.

— Но разве углубление не могло быть найдено выстукиванием? — спросил я.

— Отнюдь нет, если, положив вещь, хорошенько обернуть ее ватой. Притом, в данном случае, мы должны были действовать без шума.

— Но вы не могли сдвинуть, не могли разобрать на части *все* предметы обстановки, в которых было бы возможно запрятать вещь описываемым вами образом. Письмо может быть закручено в тонкий спиральный сверток, не очень отличающийся, по форме и по объему, от большой вязальной иглы, и в таком виде быть введено, например, в деревянный перехват кресла. Ведь вы же не разобрали по частям все кресла?

— Конечно нет; но мы сделали лучше — мы рассмотрели деревянные части каждого кресла в квартире, и даже всякого рода смычки в мебели с помощью очень сильного микроскопа. Если бы тут были какие-нибудь следы недавнего беспорядка, мы бы не преминули открыть их немедленно. Малое зернышко пыли от буравчика было бы, например, явным, как яблоко. Какой-нибудь непорядок в клее, какая-нибудь необычная расщелинка в смычках немедленно бы навели обыск на верный след.

— Я полагаю, вы осмотрели зеркала между стеклами и рамами, и вы освидетельствовали постели и одеяла, так же как занавеси и ковры?

— Это конечно, и когда мы освидетельствовали, таким образом, безусловно каждую частицу обстановки, тогда мы стали обыскивать сам дом. Мы разделили всю его поверхность на отделы, которые мы пронумеровали так, что ни один не мог быть опущен; затем мы тщательно освидетельствовали каждый квадратный дюйм помещения, включив сюда два дома, непосредственно примыкающие, и как прежде применили микроскоп.

— Два смежных дома? — воскликнул я. — Достаточно же, должно быть, у вас было хлопот.

— Достаточно, но предложенное вознаграждение огромно.

— В понятие домов вы включаете сами *основания*?

— Все основания вымощены кирпичом, в этом у нас было, сравнительно, мало затруднений. Мы исследовали мох между кирпичами и нашли, что он не потревожен.

— Вы осмотрели, конечно, бумаги Д. и книги в его библиотеке?

— Конечно; мы развернули каждую связку, освидетельствовали каждый листок; мы не только раскрыли каждую книгу, но мы повернули каждый листок в каждой книге, не довольствуясь простым встряхиванием книги, как это делают обыкновенно полицейские офицеры. Мы измерили также толщину каждого переплета, самым тщательным смериванием, и неукоснительно применяя к каждому ревнивое око микроскопа. Если бы каким-нибудь переплетом недавно воспользовались, было бы совершенной невозможностью, чтобы этот факт ускользнул от нашего наблюдения. Томов пять или шесть, только что вышедших из мастерской переплетчика, мы тщательно испробовали вдоль иглами.

— Вы исследовали полы под коврами?

— Без сомнения. Мы сдвинули каждый ковер и расследовали доски под микроскопом.

— А обои?

— Да.

— Вы заглянули в подвалы?

— Заглянули.

— Тогда ваш расчет неверен, — сказал я, — и письмо *не* в квартире, как вы предполагаете.

— Боюсь, что вы в этом правы, — сказал префект. — А теперь, Дюпен, что бы вы мне советовали сделать?

— Сделать новый полный обыск в квартире.

— Это абсолютно бесполезно, — отвечал Ж. — Я не более убежден в том, что я дышу, чем в том, что письма в квартире нет.

— Я не могу дать вам никакого лучшего совета, — сказал Дюпен. — Вы, конечно, имеете точное описание письма?

— О да!

И тут префект, вынув записную книжку, громким голосом стал читать подробное описание внутреннего, и в особенности внешнего, вида пропавшего документа. Вскоре после того, как он окончил чтение этого описания, он простился с нами, и никогда еще раньше я не видел этого доброго джентльмена в таком подавленном состоянии.

Приблизительно месяц спустя после этого он снова зашел к нам, и нашел нас в точности за тем же занятием, как и раньше. Он взял трубку, сел в кресло и затеял какой-то незначительный разговор. Наконец я сказал:

— Прекрасно, а что же господин Ж., как украденное письмо? Я думаю, вы, наконец, примирились с тем, что невозможно перещеголять министра?

— Черт бы его побрал, скажу я вам! Да, я, однако, сделал вторичный обыск, как советовал Дюпен, но все оказалось напрасным, как я и думал.

— Как велико вознаграждение? — спросил Дюпен.

— Да очень большое, знаете ли — *весьма* щедрое вознаграждение — не хочу сказать, сколько именно в точности; но *скажу* одно, что я не поколебался бы дать от себя чек в пятьдесят тысяч франков каждому, кто мог бы доставить мне это письмо. Дело в том, что, день ото дня, оно все возрастает в важности; и вознаграждение недавно было удвоено. Но, если бы оно даже было утроено, я не мог бы сделать больше того, что я сделал.

— Что же, да... — сказал Дюпен, цедя слоги между затяжками из своей пенковой трубки, — я, по правде сказать, думаю, Ж., что вы не постарались до конца. Вы могли бы сделать немножко больше, так я думаю, гм.

— Что? Каким образом?

— Ну почему же... вы могли бы... прибегнуть к совету в этом деле, гм! Вы помните историю, которую рассказывают об Абернети*?

— Нет, черт бы побрал Абернети!

— Ну конечно! Черт бы побрал его, но было как-то раз, один богатый скряга замыслил попользоваться у этого Абернети медицинским мнением. Затеяв с ним, с этой целью, самый обыкновенный разговор в частном обществе, он изобразил этот случай перед врачом, как случай с воображаемым больным. Предположите, сказал скупец, что симптомы такие-то и такие-то; ну, доктор, что бы вы предложили ему сделать? Что сделать, сказал Абернети, да что ж, *посоветоваться с врачом*, конечно.

— Но, — сказал префект, несколько смущенный, — я *совершенно* готов посоветоваться и заплатить. Я *действительно* готов был бы дать пятьдесят тысяч франков любому, кто помог бы мне в этом деле.

— В таком случае, — ответил Дюпен, выдвигая ящик письменного стола и вынимая чековую книжку, — вот, вы можете заполните чек на данную сумму. Когда вы его подпишете, я вручу вам письмо.

Я был изумлен. Префект был как пораженный громом. В течение некоторого времени он оставался безгласным и недвижным, недоверчиво смотря на моего друга, с открытым ртом и с глазами, которые как будто хотели выскочить из орбит; потом, по-видимому, несколько придя в себя, он схватил перо, и, после некоторых колебаний и напряженных отсутствующих взглядов, он подписал чек на шестьдесят тысяч франков, и подал его через стол Дюпену. Последний тщательно рассмотрел его и положил в свою памятную книжку; потом, отперев конторку, он вынул оттуда письмо, и подал его префекту. Этот чиновник судорожно уцепился за него, в совершенной агонии радости, раскрыл его дрожащей рукой, бросил быстрый взгляд на его содержание, и потом, неверно действуя руками и ногами, добрался наконец до двери, и без церемонии ринулся через нее из комнаты, не произнеся ни слова с тех пор, как Дюпен попросил его выписать чек.

Когда он ушел, мой друг сделал несколько объяснений.

---

* *Абернети* — знаменитый врач. — *Примеч. пер.*

— Парижская полиция, — сказал он, — чрезвычайно искусна по-своему. Она настойчива, находчива, хитра, и вполне осведомлена во всех тех знаниях, которые, по-видимому, требуются, главным образом, для исполнения ее обязанностей. Таким образом, когда Ж. подробно описал нам свой способ обыскивания комнат в квартире Д., я чувствовал полное доверие к тому, что он сделал удовлетворительный обыск — поскольку это касалось его усилий.

— Поскольку это касалось его усилий? — сказал я.

— Да, — отвечал Дюпен. — Меры, принятые им, были не только лучшими в своем роде, но и выполнены были с безусловным совершенством. Если бы письмо было спрятано в пределах их сыска, эти молодчики, без сомнения, нашли бы его.

Я лишь рассмеялся, но он, по-видимому, говорил совершенно серьезно.

— Меры, таким образом, — продолжал он, — были хороши в своем роде и были хорошо выполнены, недостаток же их заключался в том, что они были неприменимы к данному случаю и к данному человеку. Известный ряд высоконаходчивых приемов является у префекта некоторого рода прокрустовым ложем[2], к которому он насильственно приспособляет свои замыслы. Но он беспрестанно заблуждается оттого, что он слишком глубок или слишком мелок в таком-то деле, и не один школьник рассуждает, как он. Я знал одного мальчика восьми лет, успешное угадывание которого при игре «в чет и нечет» возбуждало всеобщее восхищение. Это игра простая, и играют в нее шариками. Игрок держит в своей руке известное число этих пустячков и спрашивает другого, четное это число или нечетное. Если догадка верна, догадавшийся выигрывает камешек, если неверна — теряет. Мальчик, о котором я говорю, выиграл все шарики, имевшиеся в школе. Конечно, он имел какой-нибудь принцип угадания, и принцип этот заключался в простом наблюдении и смеривании хитрости его состязателей. Например, его противник — совершенный простак, — держа шарики и зажав их в руке, спрашивает, чет или нечет? Наш школьник отвечает «нечет» и проигрывает. Но при повторной игре он выигрывает, ибо он тогда говорит себе: «В первом случае у простака был чет, и весь запас его хитрости заключается лишь в том, чтобы во

втором случае сделать нечет, я скажу поэтому „нечет“», он говорит «нечет» и выигрывает. С простаком, который на степень выше, чем первый, он рассуждает так: «Этот молодчик видит, что в первом случае я сказал „нечет“, во втором случав он, по первому побуждению, предложит себе переменить чет на нечет, как сделал первый простак, но затем второй его мыслью будет внушение, что это слишком простая перемена, и наконец, он решится оставить как прежде. Я скажу поэтому „чет“», он говорит «чет» и выигрывает. Итак, весь способ размышления у этого школьника, которого его товарищи называют счастливым, — что он, в конце концов, из себя представляет?

— Он представляет из себя, — сказал я, — отождествление ума того, кто рассуждает, с умом его противника.

— Именно так, — сказал Дюпен. — И когда я спросил мальчика, каким образом он достигает *полного* отождествления, в котором состоял его успех, он ответил мне следующее: «Когда я хочу узнать, насколько умен или насколько глуп кто-нибудь, насколько он добр или насколько зол, или какие у него мысли в данную минуту, я придаю выражению моего лица, по возможности, тот самый в сущности оттенок, который есть в выражении *его* лица, и затем жду, какие мысли и какие чувства возникнут в моем уме или сердце, как бы для согласования с этим выражением». Этот ответ школьника лежит в основании всей ложной глубины, которая была найдена у Ларошфуко, Лабрюйера, Макиавелли и Кампанеллы[3].

— И отождествление ума того, кто рассуждает, — сказал я, — зависит, если я понимаю вас правильно, от точности, с которою оценивается ум противника.

— Практическая оценка зависит от этого, — отвечал Дюпен, — и префект вместе со своей когортой ошибается так часто, во-первых, благодаря недостатку такого отождествления, и, во-вторых, благодаря дурной оценке, или благодаря отсутствию оценки того ума, с которым они имеют дело. Они рассматривают лишь свои *собственные* замыслы находчивости, и, отыскивая что-нибудь скрытое, они соображают лишь те способы скрыть, которые применили бы *они*. В этом они правы весьма — поскольку их собственная находчивость есть верное отображение находчивости *толпы;* но, когда хитрость какого-нибудь отдельного мошенника отлична по ха-

рактеру от их собственной, мошенник, конечно, сражает их. Это случается всегда, когда такая хитрость выше их собственной, и очень часто, когда она ниже. Они не разнообразят принципа при своих расследованиях; в лучшем случае, когда их побуждает какая-нибудь необычная крайность, какое-нибудь чрезвычайное вознаграждение, они расширяют или преувеличивают свои старые способы *практики,* не касаясь своих принципов. Что, например, было сделано в этом доме Д. для видоизменения принципа действия? Что означают все эти пробуравливания, ощупывания, зондирования, и рассматривания через микроскоп, все эти разделения плоскостей здания на зарегистрированные квадратные дюймы — как не простое преувеличение в *применении* одного принципа, или нескольких принципов расследования, которые основаны на известном ряде представлений, касающихся человеческой находчивости, — представлений, к которым префект за долгую свою служебную рутину привык? Разве вы не видите, что он считает за признанное, что *все* люди, пряча письмо, прибегают — ну, не в точности к отверстию, пробуравленному в ножке кресла — но, по крайней мере, к *какой-нибудь* необычной дырке, или к уголку, указанному той же самой системой мыслей, которая побудила бы человека прятать письмо в пробуравленной ножке кресла? И не видите ли вы также, что такие изысканные уголки для прятания вещей применяются лишь в заурядных случаях, и к ним прибегают лишь заурядные умы, ибо во всех тех случаях, где прячут вещь, этот способ ее спрятать, способ укрыть ее *в нарочно отысканном* уголке, с самого начала возможно предположить, и с самого начала на него наталкиваются, и, таким образом, открытие этого уголка зависит вовсе не от остроты разумения, а целиком от простой тщательности, терпения, и решимости ищущих, и там, где возникает важный случай, или, что сводится к тому же в полицейских глазах, — там, где вознаграждение основательное, упомянутые качества *никогда* не избегали случая быть примененными? Вы поймете теперь, что я разумел, говоря, что, если бы украденное письмо было спрятано где-нибудь в пределах розысков префекта — другими словами, если бы принцип, примененный при укрытии его, был включен в принципы префекта — письмо было бы, конечно, найдено, это вне сомнения. Однако же, сей чи-

новник подвергся полной мистификации, и отдаленным источником его поражения является предположение, что министр — полоумный, потому что он снискал репутацию поэта. Все полоумные — поэты, префект это *чувствует*, и он лишь повинен в *non distributio medii*, в неверном логическом расчленении, выведя отсюда умозаключение, что все поэты полоумные.

— Но разве он действительно поэт? — спросил я. — Я знаю, что у него есть брат, и оба они были отмечены в литературе. Министр, сколько помню, написал весьма ученое сочинение о дифференциальном исчислении. Он математик, а не поэт.

— Вы ошибаетесь, я знаю его хорошо: он и то, и другое. Как поэт и математик, он должен рассуждать хорошо; как просто математик, он не мог бы рассуждать вовсе, и, таким образом, был бы в полном распоряжении у префекта.

— Вы удивляете меня этими мнениями, — сказал я, — весь мир, в данном случае, против вас. Вы же не хотите свести к нулю правильно выношенную мысль столетий. Математически разум давно рассматривался, как разум *par excellence.*

— «Il y a a parier — отвечал Дюпен, цитируя Шамфора[4], — que touto idue publique, toute convention resue, est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre»*. Математики, я с вами согласен, сделали все, что могли, чтобы распространить общепринятую ошибку, на которую вы указываете, и которая оттого, что она распространена как истина, не перестала быть ошибкой. С искусством, достойным лучшей участи, они, например, захотели употреблять термин «анализ» в применении к алгебре. Первые виновники в этом особенном обмане есть французы; но, если известный термин представляет важность, если слова заимствуют свою ценность из применения их, тогда «анализ» можно переводить — «алгебра», приблизительно так же, как в латинском языке *ambitus* означает *амбиция, religio — религия,* или *homines honesti* — честные люди.

---

* Можно биться об заклад, что всякая общественная мысль, всякая принятая условность есть глупость, ибо она подошла к наибольшему числу (*фр.*). — *Примеч. пер.*

— Я тут вижу возможность ссоры, — сказал я, — с некоторыми алгебраистами города Парижа — но продолжайте.

— Я оспариваю применимость и, таким образом, ценность того разума, который культивирован каким-либо иным особенным образом, кроме чистой отвлеченной логики. Я оспариваю, в особенности, разум, воспитанный на изучении математики. Математика есть знание формы и количества, математическое рассуждение есть лишь просто логика в применении к наблюдению над формой и количеством. Большая ошибка заключается в предположении, что даже истины того, что именуется *чистой* алгеброй, суть истины отвлеченные, или общие. И эта ошибка столь огромна, что я поражен той всеобщностью, с которою ее принимают. Математические аксиомы *не* суть аксиомы общей истины. Что верно в *отношении* — формы и количества, — часто грубо неверно в применении к морали, например. В этой последней области знания весьма обычно является неверным, что сумма частей равна целому. В химии также аксиома терпит фиаско. При рассмотрении мотива она терпит фиаско потому, что два мотива, каждый с определенной ценностью, будучи соединенными, не имеют, необходимо, ценности, равной сумме их отдельных ценностей. Есть многочисленные другие математические истины, которые суть лишь истины в пределах *соотношения*. Но математик, по привычке, обращается *с конечными истинами* так, как если бы они имели абсолютно общую применимость — как весь мир, на самом деле, относительно их и воображает. Брайант[5] в своей весьма ученой «Мифологии» упоминает об аналогичном источнике ошибки, когда он говорит, что «хотя в языческие вымыслы более не верят, все-таки мы постоянно забываемся и делаем из них выводы, как из существующих реальностей». С алгебраистами, однако, кои сами — язычники, дело обстоит так, что в языческие вымыслы *верят,* и из них делают выводы, не столько благодаря измене памяти, сколько в силу необъяснимого затмения умов. Словом, я никогда не встречал простого математика, которому можно было бы доверять за пределами корней и уравнений, или такого, который втайне не держался бы как за Символ Веры за то, что $x^2 + px$ абсолютно и безусловно равны q. Скажите одному из этих джентльменов, если вам угодно, в виде опыта, что, на ваш взгляд, могут

существовать случаи, когда x^2+px *не* целиком равны q, и, втолковав ему то, что вы разумеете, возможно скорее спасайтесь из пределов его досягаемости, так как, без сомнения, он попытается вас поколотить.

— Я хочу сказать, — продолжал Дюпен, между тем как я только рассмеялся на его последнее замечание, — что, если бы министр был не более как математиком, префекту не понадобилось бы давать мне этот чек. Я знал его, однако, за математика и поэта, и я принял меры, соответственные с его способностями, и с обстоятельствами, в которых он находился. Я знал, что он человек придворный, кроме того, и что он смелый *интриган*. Такой человек, рассудил я, не мог не знать обычных полицейских способов действовать. Он не мог не предвидеть — и события доказали, что он предвидел — подстереганий, которым он подвергся. Он должен был предусмотреть, размышлял я, тайный обыск своей квартиры. Его частые уходы из дому по ночам, которые префект приветствовал, как вспомогательные средства успеха, я считал лишь *хитростью* с целью доставить полиции возможность произвести полный обыск, и таким образом возможно скорее внушить убеждение — к которому Ж., действительно, и пришел, — что письма в квартире нет. Я чувствовал также, что вся цепь мысли, которую я с некоторым затруднением только что перед вами развернул, касательно неизменного принципа полицейских мероприятий при отыскивании скрываемых предметов — я чувствовал, что вся эта цепь мысли неизбежно должна была пройти в уме министра. Она должна была победительно внушить ему пренебрежение ко всем обычным *уголкам,* в которые прячут. *Он* не мог быть, размышлял я, столь слабым, чтобы не увидать, что самые запутанные и отдаленные уголки его квартиры были бы так же открыты, как самые обыкновенные его шкафы, для глаз, проб, буравчиков и микроскопов префекта. Я видел, словом, что он будет приведен самым предметом к *простоте,* если он не прибегнет к ней умышленно, по добровольному выбору. Вы вспомните, быть может, как отчаянно хохотал префект, когда во время первого нашего разговора я высказал предположение, что, быть может, эта тайна смущает его как раз потому, что она *так* очевидна.

— Да, — ответил я, — я хорошо помню, как он веселился. Я поистине думал, что он умрет в судорогах.

— Мир вещественный, — продолжал Дюпен, — изобилует самыми строгими аналогиями с миром невещественным; и таким образом, некоторый оттенок истины был дан той риторической догме, что метафора, или уподобление, может усиливать довод так же, как украшать описание. Принцип *силы инерции,* например, кажется тождественным в физике и метафизике. Как в первой верно то, что большее тело приводится в движение с большей трудностью, чем меньшее, и что последующая *скорость движения* соизмерима с этой трудностью, так во второй верно то, что разумы больших способностей, будучи более сильными, более постоянными и более подверженными случайностям в своем движении, чем разумы низшей степени, менее легко приводятся в движение, более затруднены, и более полны колебания при самых первых шагах своего поступательного хода. Затем; замечали ли вы когда-нибудь, какие из магазинных вывесок привлекают наиболее внимание?

— Я никогда об этом не размышлял, — сказал я.

— Есть игра угадываний, — продолжал он, — в нее играют по географической карте. Один игрок просит другого угадать задуманное слово — название города, реки, провинции или империи — словом, какое-нибудь название, имеющееся на пестрой и спутанной поверхности карты. Новичок в этой игре обыкновенно старается затруднить своих противников, выбирая наиболее мелко напечатанные имена, а искусившийся выбирает такие слова, которые крупным шрифтом проходят от одного конца карты к другому. Такие слова так же, как вывески и уличные объявления, сделанные слишком широкими буквами, ускользают от наблюдения, благодаря именно тому, что они слишком очевидны; и здесь физический недосмотр в точности схож с недосмотром моральным, благодаря которому разум пропускает *такие* соображения, которые слишком назойливо и слишком осязательно очевидны. Но это пункт, который, по-видимому, несколько выше или ниже понимания префекта. Он никогда не считал вероятным или возможным, чтобы министр выложил письмо как раз под носом у целого мира, с целью наилучшим образом возбранить некоторой части этого мира усмотреть его.

Но чем более я размышлял о смелой, дерзкой, и четко-разбирающей находчивости Д., чем более я размышлял о том факте, что данный документ всегда должен был быть *под рукой*, чтобы им можно было воспользоваться при первом же случае, — и о той решительной очевидности, полученной префектом, что он не был спрятан в пределах обычных поисков этой достойной особы — тем более я убеждался, что министр прибег к широкому и мудрому средству не скрывать его вовсе.

Преисполненный такими мыслями, я запасся зелеными очками, и в одно прекрасное утро совершенно неожиданно зашел на министерскую квартиру. Я застал Д. дома, зевающим, бездельничающим, и преданным всяким пустякам, как обыкновенно, и притязающим на последнюю степень скуки. Он, быть может, самый энергичный человек, какой только ныне живет, но это только тогда, когда никто его не видит.

Чтобы поквитаться с ним, я стал жаловаться на мои слабые глаза и скорбеть о необходимости носить очки, под прикрытием коих я осторожно и тщательно осмотрел все апартаменты, делая вид в то же время, что я лишь слежу за беседой моего хозяина.

Я уделил особливое внимание большому письменному столу, около которого он сидел и на котором в беспорядке лежали разные письма и другие бумаги, один, или два музыкальных инструмента, и несколько книг. Здесь, однако, после долгого и весьма тщательного расследования, я не увидел ничего, что могло бы вызывать какое-нибудь особенное подозрение.

Наконец, глаза мои, осматривая всю комнату кругом, упали на дрянную филигранную решеточку для визитных карточек, которая свешивалась на грязной синей ленте с небольшого выступа, как раз посреди верхушки камина. В этой решетке, в которой было три или четыре отделения, было пять-шесть визитных карточек и одно-единственное письмо. Это последнее было очень засалено и скомкано. Оно было почти разорвано надвое посредине — как будто в первую минуту у собственника было намерение разорвать его совершенно, как ненужное, но намерение тотчас же изменилось, или задержалось. На письме была широкая, черная печать, с шифром Д., весьма явственным, и оно было адресовано мелким женским почерком самому министру Д. Письмо было

брошено небрежно и даже, как казалось, с пренебрежением, в одно из верхних отделений решетки.

Едва только я заметил это письмо, как составил заключение, что это именно то самое, чего я ищу. Конечно, по виду оно резко отличалось от того, подробное описание которого префект нам читал. Здесь печать была большая и черная, с шифром Д.; там она была маленькая и красная, и с герцогским гербом фамилии С. Здесь адрес — министру — был написан мелким женским почерком; там адрес, некоторой царственной особы, был написан почерком очень смелым и решительным; один лишь размер составлял пункт сходства. Но *резкий характер* этих различий, столь чрезвычайный, — то, что письмо было загрязнено, засалено, и надорвано, — столь несогласный с настоящими методическими привычками Д., и столь указывающий на намерение обмануть наблюдателя, внушить ему мысль о ничтожности документа, — все это, вместе с самым назойливым положением данного документа, находившегося прямо перед глазами каждого приходящего, и бывшего, таким образом, в полном соответствии, что я уже раньше установил, — все это, говорю я, весьма сильно подкрепляло подозрение того, кто пришел с намерением подозревать.

Я продлил мой визит как только было возможно, и в то время как я поддерживал самый оживленный разговор с министром о предмете, который, как я знал, всегда вызывал в нем самый оживленный интерес, внимание мое было, в действительности, приковано к этому письму. При этом рассматривании я запомнил его внешний вид и его положение в решетке; и, наконец, сделал открытие, окончательно устранившее какие-либо малейшие сомнения, которые я еще мог иметь. Рассматривая края бумаги, я заметил, что они более стерты, чем это казалось необходимым. Они имели вид *сломанный,* который получается, когда твердую бумагу, после того как ее сложили и разгладили, сложили вновь в обратном направлении такими же складками, и образуя такие же края, как это было первоначально. Это открытие было достаточным. Для меня было ясно, что письмо было вывернуто, как перчатка, внутренней стороной наружу, вновь положено в конверт, и снова запечатано. Я распростился с министром

и немедленно удалился, оставив у него на столе мою золотую табакерку.

На следующее утро я зашел за табакеркой, и мы с оживлением продолжили наш разговор. В то время как мы так разговаривали, под самыми окнами квартиры министра раздался громкий выстрел, как бы из пистолета, и за ним последовал целый ряд страшных криков и воплей испуганной толпы. Д. бросился к окну, раскрыл его и стал смотреть на улицу. Я в это время подошел к решетке для карточек, взял письмо, положил его к себе в карман, и положил на его место *факсимиле* (поскольку дело касалось внешнего вида), которое я заботливо приготовил у себя дома — изобразив шифр Д. весьма искусно, с помощью печати, сделанной из хлебного мякиша.

Суматоха на улице была вызвана полоумным поведением некоего человека с мушкетом. Он выстрелил из него, находясь в толпе, среди женщин и детей. Оказалось, однако, что в ружье не было пули, и чудаку предоставили идти своей дорогой, сочтя его за сумасшедшего или пьяного. Когда он ушел, Д. отошел от окна, куда я за ним последовал тотчас же, после того как завладел надлежащим предметом. Вскоре после этого я распростился с ним. Мнимый сумасшедший был мной подкуплен.

— Но какая у вас была цель, — спросил я, — когда вы на место письма положили его факсимиле? Не лучше ли бы было во время первого же визита напрямки захватить его и отбыть?

— Д., — отвечал Дюпен, — человек отчаянный и человек сильный. В квартире его, кроме того, нет недостатка в слугах, преданных его интересам. Если бы я сделал безумную попытку, о которой вы говорите, я мог не выйти от него живым. Добрые парижане могли бы вовсе ничего не услыхать обо мне. Но, кроме того, я имел здесь свое особое соображение. Вы знаете мои политические предрасположения. В данном случае, я действую как сторонник заинтересованной дамы. В течение восемнадцати месяцев она была игрушкой в руках министра. Теперь он игрушка в ее руках, ибо, не зная, что письмо более не находится в его обладании, он будет делать свои вымогательства так, как если бы письмо еще было у него. Таким образом, он неизбежно совершит сам, и немедленно, свое политическое крушение. Его падение будет, кроме того, столь же стремительно, как неуклюже. Весьма удобно

говорить о *facilis descensus Averni**, но во всех разрядах вскарабкивания, как Каталани[7] говорит о пении, гораздо легче взобраться, нежели спуститься. В данном случае, я не питаю сочувствия — во всяком случае не испытываю сострадания — к тому, кто нисходит. Этот господин есть *monstrum horrendum,* чудовище, достойное отвращения, беспринципный человек, отмеченный гением. Признаюсь, однако, что я очень хотел бы знать точный характер его мыслей, когда, будучи на это вызван той, кого префект именует «некоторая известная особа», он вынужден будет вскрыть письмо, которое я ему оставил в его решетке для карточек.

— Как, разве вы туда поместили что-нибудь особенное?

— Почему нет! Это имело бы не вполне благоприличный вид, если бы внутри была лишь белая бумага — это было бы оскорбительно. Д. однажды сыграл со мной в Вене скверную шутку, и в наилучшем расположении духа я ему сказал, что я это припомню. Таким образом, зная, что он будет испытывать некоторое любопытство касательно того, кто перехитрил его, я подумал, что было бы жаль не дать ему ключа. Он хорошо знаком с моим почерком, и как раз посреди белой страницы я переписал следующие слова —

Un dessein si funeste
*S'il n'est digne d'Atrüe, est digne de Thyeste***.

Вы найдете это в «Атрепе» Кребийона[8].

ЗОЛОТОЙ ЖУК

Хо-хо! Он пляшет, как безумный!
Его тарантул укусил.

«Все не правы»[1]

Несколько лет тому назад я сблизился с мистером Вильямом Леграном. Он происходил из старой гугенотской семьи, и некогда был богат; но ряд злоключений привел его к нище-

* О легком нисшествии в Преисподнюю[6] (*лат.*). — *Примеч. пер.*

** Замысел столь пагубный, если недостоин Атрея, то достоин Фиеста (*фр.*). — *Примеч. пер.*

те. Дабы избегнуть унижений, следствующих за разорением, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на острове Сэлливана, близ Чарлстона в Южной Каролине.

Остров этот весьма особенный. Почти весь он состоит из морского песку и имеет приблизительно около трех миль в длину, ширина его нигде не достигает более четверти мили. От материка он отделен еле заметной бухточкой, которая прокладывает себе путь, просачиваясь сквозь ил и глухие заросли камыша, обычное местопребывание болотных курочек. Растительность здесь, как и можно было бы предполагать, скудная, или во всяком случае карликовая. Нет там деревьев сколько-нибудь значительной величины. На западной окраине, там, где находится крепость Моултри[2] и несколько жалких деревянных строений, населенных в течение лета беглецами из Чарлстона, укрывающихся от пыли и лихорадок, можно встретить колючую пальмочку; но весь остров, за исключением этого западного пункта и линии сурового белого побережья, покрыт густыми зарослями душистой мирты, столь ценимой английскими садоводами. Кустарник часто достигает здесь вышины пятнадцати — двадцати футов, и образует поросль, почти непроницаемую, и наполняющую воздух пряным своим ароматом.

В самой глубине этой чащи, недалеко от восточной окраины острова, т. е. самой отдаленной, Легран собственноручно построил себе маленькую хижину, в которой он жил, когда впервые, совершенно случайно, я познакомился с ним. Это знакомство вскоре выросло в дружбу — так как, без сомнения, в этом отшельнике было что-то, что могло возбудить интерес и уважение. Я увидел, что он был хорошо воспитан, обладал необычными силами ума, но заражен был человеконенавистничеством и подвержен болезненным сменам восторга и меланхолии. У него было с собой много книг, но он редко пользовался ими. Его главным развлечением было охотиться и ловить рыбу, или бродить вдоль бухты и среди мирт, в поисках за раковинами и энтомологическими образцами; его коллекции этих последних мог бы позавидовать всякий Сваммердам[3]. В этих экскурсиях его обыкновенно сопровождал старый негр, называвшийся Юпитером, который был отпущен на свободу раньше злополучного перево-

рота в семье, но ни угрозы, ни обещания не могли заставить его отказаться от того, что он почитал своим правом — по пятам следовать всюду за своим юным «массой Виллом»*. Вполне вероятно, что родственники Леграна, считавшие его немного тронутым, согласились примириться с упрямством Юпитера, имея в виду, оставить его как бы стражем и надсмотрщиком за беглецом. На той широте, где лежит остров Сэлливана, зимы редко бывают суровыми, и даже к концу года редко случается, что надо топить. Однако в середине октября 18... выдался день необычайно холодный. Перед самым закатом солнца я пробирался сквозь вечнозеленую чащу к хижине моего друга, которого не видал уже несколько недель. Я обитал в то время в Чарлстоне, в девяти милях от острова, и путь туда и обратно был сопряжен с меньшими удобствами, чем в настоящее время. Подойдя к хижине, я постучался как обыкновенно, и не получая ответа, стал искать ключ там, где, как я знал, он был спрятан, отпер дверь и вошел. Яркий огонь пылал в очаге. Это было неожиданностью и отнюдь не неприятной. Я сбросил пальто, придвинул кресло к потрескивающим дровам и стал терпеливо дожидаться прибытия хозяев.

Они пришли вскоре после наступления сумерек и встретили меня самым радушным образом. Юпитер, смеясь и улыбаясь до ушей, хлопотал над изготовлением болотных курочек к ужину. Легран находился в одном из своих припадков — как иначе могу я назвать это? — восторга. Он нашел неведомую двустворчатую раковину, образующую новый род, и, еще лучше того, с помощью Юпитера он ловил и поймал-таки жука-*скарабея,* который, как он утверждал, был еще не известен ученому сообществу, и о котором ему хотелось узнать мое мнение завтра.

— А почему же не сегодня вечером? — спросил я, потирая руки перед огнем и мысленно посылая к черту все породы жуков.

— Ах, если бы я только знал, что вы здесь! — сказал Легран, — но я так давно не видал вас; и как мог я предвидеть, что из всех ночей вы выберете именно сегодняшнюю,

* «Massa Will», т. е. «Master William», хозяин Вильям, или господин Вильям. — *Примеч. пер.*

чтобы посетить меня. Возвращаясь домой, я встретил лейтенанта Г., из крепости, и поступил легкомысленно, одолжив ему жука; потому-то вам и не придется увидать его ранее завтрашнего утра. Оставайтесь здесь эту ночь, а я пошлю за ним Юпитера на восходе солнца. Это самое чудесное, что есть в мироздании!

— Что! Восход солнца?

— Да нет же! Жук! Он блестящего золотого цвета, величины приблизительно с большой орех, с двумя черными, как смоль, пятнышками на одном конце спины, и с пятном еще побольше на другом конце. *Усики* у него...

— Что там *усики*, масса Виль, не в усиках, доложу вам, дело, — прервал его тут Юпитер, — этот жук — золотой жук, из чистого золота, весь целиком и внутри, и всюду, только не крылья. Я в жизни своей не видел жука даже и на половину такой тяжести.

— Хорошо, положим, что ты прав, Юп, — сказал Легран несколько более серьезно, как мне показалось, чем того требовал случай, — но все же это не причина, чтобы ты сжег дичь? Достаточно увидеть этот цвет, — тут он обратился ко мне, — для того, чтобы подтвердить слова Юпитера. Вы никогда не увидите металлического блеска более ослепительного, чем блеск его надкрыльев. Но об этом вы не можете судить до завтра. А пока я постараюсь дать вам некоторое представление о его форме.

Говоря это, он уселся за небольшим столом, на котором было перо и чернила, но бумаги не было. Он поискал ее в ящике, но не нашел.

— Не беспокойтесь, — сказал он наконец, — этого будет достаточно. — И он вытащил из жилетного кармана клочок чего-то, что показалось мне куском очень грязного пергамента, и сделал на нем очень грубый набросок пером. Пока он был занят этим, я продолжал сидеть у огня, так как мне все еще было очень холодно. Когда рисунок был окончен, он протянул мне его, не вставая. В то время как я брал его, послышалось громкое рычание, сопровождавшееся царапаньем в дверь. Юпитер открыл ее, и огромная, ньюфаундлендской породы собака, принадлежащая Леграну, ворвалась в комнату, бросилась мне на плечи и стала осыпать меня своими ласками, как и в предыдущие свои посещения я выказал ей мно-

го внимания. Когда она напрыгалась, я посмотрел на бумагу и, сказать правду, был немало озадачен тем, что нарисовал мой друг.

— Хорошо! — сказал я после того, как смотрел на рисунок в течение нескольких минут, — должен признаться: *это* престранный *скарабей,* для меня он совсем неизвестный. Я не видал ничего даже подобного ему — разве только череп, или мертвую голову — на которые он походит более, чем на что-то другое, что мне случалось наблюдать.

— На мертвую голову! — повторил Легран как эхо. — О да, конечно, есть что-то на это похожее, несомненно. Два верхние черные пятна смотрят как глаза, да? А более продолговатое, ниже, как рот, правда? И затем форма всего его — овальна.

— Может быть, это так, — сказал я, — но я боюсь, Легран, что вы не художник. Я должен подождать, пока не увижу самого жука, если мне нужно составить какое-нибудь представление о его внешнем виде.

— Хорошо, — сказал он, несколько задетый, — мне показалось, я рисую порядочно — по крайней мере, должен был бы хорошо рисовать, так как у меня были хорошие учителя, и я льщу себя надеждой, что уже не совсем я тупоголовый.

— Но, мой милый друг, — сказал я, — вы шутите тогда; это довольно удачный *череп,* могу сказать даже — *превосходный* череп, согласующийся с общими представлениями о таких физиологических образцах — и ваш жук был бы самым удивительным из всех жуков в мире, если бы он походил на это. Что же, мы могли бы извлечь из такого намека весьма душещипательное суеверие. Я предполагаю, что вы назовете ваше насекомое *scarabeus caput hominis,* жук — человеческая голова, или что-нибудь в этом роде. В книгах по естественной истории много подобных названий. Но где усики, о которых вы говорили?

— Усики! — сказал Легран, который, как казалось, без причины горячился по поводу данного предмета, — я уверен, вы должны видеть *усики.* Я сделал их такими же явственными, как у настоящего жука, и я думаю этого вполне достаточно.

— Хорошо, хорошо, — сказал я, — быть может, вы сделали их, но все же я их не вижу. — И я протянул ему бумагу, не

прибавив ничего больше, ибо не желал окончательно вывести его из себя; все же я был очень озадачен оборотом дела; я был ошеломлен его дурным настроением — что же касается жука, то положительно, на нем *не было* видно *усиков,* и общий вид имел очень большое сходство с мертвой головой.

Он взял обратно свою бумагу с очень недовольным видом и готов был скомкать ее, очевидно, чтобы бросить в огонь, когда случайный взгляд, брошенный им на рисунок, как казалось, внезапно приковал его внимание. В один миг лицо его сильно покраснело — потом страшно побледнело. В течение нескольких минут он продолжал подробно изучать рисунок. Наконец он встал, взял со стола свечу и отправился в самый отдаленный конец комнаты, где уселся на корабельном сундуке. Здесь он снова начал с взволнованным любопытством рассматривать бумагу, поворачивая ее во все стороны. Он ничего не говорил, однако и его поведение весьма изумляло меня; но я считал благоразумным не обострять возраставшей его капризности каким-либо замечанием. Вдруг он вынул из бокового кармана портфель, бережно положил туда бумагу и, спрятав все в письменный стол, запер его на ключ. Теперь он сделался спокойнее в своих манерах, но прежний вид восторга совершенно его покинул. Однако он казался не столько сердитым, сколько сосредоточенным. Чем ближе был вечер, тем более и более погружался он в мечтательность, из которой никакое мое оживление, ни шутка не могли его вывести. У меня было намерение провести ночь в хижине, как это часто случалось раньше, но, видя настроение, в котором находился хозяин, я счел за лучшее распрощаться с ним. Он не сделал никакого движения, чтобы удержать меня, но, когда я уходил, пожал мне руку даже более сердечно, чем обыкновенно.

Прошло около месяца после этого (и за это время я ничего не слышал о Легране), как вдруг в Чарлстоне меня посетил его слуга, Юпитер. Я никогда не видал старого доброго негра таким расстроенным, и испугался, не случилось ли с моим другом какого-либо серьезного несчастия.

— Ну как, Юп? — сказал я, — что нового? Как поживает господин?

— Сказать правду, масса, ему совсем не так хорошо, как могло бы быть.

— Нехорошо! Мне очень прискорбно слышать это. На что же он жалуется?

— Вот то-то и оно! Он никогда не жалуется ни на что, а все же он очень болен.

— *Очень* болен, Юп! Что же вы не сказали мне этого сразу? Он в постели?

— Нет, не то, не то! Его нигде не найти — вот тут-то и горе. Сильно мое сердце беспокоит бедный масса Виль.

— Юпитер, я хотел бы понять хоть сколько-нибудь то, о чем ты говоришь. Ты сказал, что хозяин твой болен. Разве он не сказал, что у него болит?

— Ах, масса, совсем напрасно ломать себе голову над этим — масса Виль говорит, что *ничего с ним*. Почему же он бродит тогда взад и вперед задумавшись, смотрит себе под ноги, повесив голову и подняв плечи, и весь белый как гусь? И потом, он все пишет цифры.

— Что он делает, Юпитер?

— Пишет цифры с фигурами на грифельной доске, с самыми смешными фигурами, какие я только видел. Скажу вам, это начинает меня пугать. За ним нужен глаз да глаз. Тут вот на днях он сбежал от меня с утра и пропадал весь божий день. Я нарочно вырезал хорошую палку, чтобы проучить его хорошенько, когда он вернется, только я дурак — не мог решиться — такой он был жалкий на вид.

— Ну и что же? Да после всего, я думаю, тебе лучше не быть слишком строгим с беднягой. Уж не бей его, Юпитер, — пожалуй, он бы и не вынес этого, но не можешь ли ты установить, что вызвало его недуг, эту перемену в нем? С ним случилась какая-нибудь неприятность с тех пор, как я не видал вас?

— Нет, масса, с того дня ничего страшного не случилось, боюсь, это случилось *раньше* — как раз в тот день, когда вы были там.

— Как? Что вы хотите сказать?

— Да вот, масса, хочу сказать про жука — вот и все.

— Про что?

— Про жука — уверен я, твердо уверен, что масса Виль был укушен в голову этим золотым жуком.

— Какое же основание у тебя, Юпитер, для этого предположения?

— Клешней довольно, масса, и рта еще в прибавку. Никогда я не видывал такого чертовского жука — он толкается ногами и кусает все, что ни подойдет к нему. Масса Виль поймал его быстро, да тотчас же и выпустил. Скажу вам — тогда-то он и был укушен. Рот у этого жука — вот что мне не нравится уж очень. Сам я потому пальцами взять его не захотел, а в кусочек бумажки поймал. Завернул его в бумагу и кусочек ее засунул ему в рот — вот как было дело.

— И ты думаешь, что действительно твой господин был укушен жуком, и что он захворал от укуса?

— Я ничего не думаю об этом — я *знаю* это. Что же его тогда заставляет все время видеть во сне золото, ежели это не золотой жук его укусил? Я уже и раньше слыхал об этих золотых жуках.

— Но откуда ты знаешь, что ему снится золото?

— Откуда я знаю? Потому что он говорит об этом во сне — вот откуда я это знаю.

— Хорошо, Юп, может быть ты и прав, но какой счастливой случайности я обязан чести твоего сегодняшнего посещения?

— В чем дело, масса?

— У тебя какое-нибудь поручение ко мне от мистера Леграна?

— Нет, масса, у меня нет какого-нибудь поручения, но есть вот это письмо, — и Юпитер вручил мне записку, в которой было следующее:

«Мой дорогой!

Отчего я не видал вас так долго? Надеюсь, вы не были настолько безрассудны, чтобы обидеться на некоторую мою резкость; но нет, это невероятно.

За то время, что я не видал вас, у меня было много причин для беспокойства. Мне нужно сообщить вам нечто, но не знаю, как вам это сказать, и даже нужно ли вообще говорить.

В течение нескольких дней я был не совсем здоров, и мой бедный старик Юп надоедает мне почти до нестерпимости своими добрыми заботами. Поверите ли? На днях он принес огромную палку, дабы наказать меня за то, что я улизнул от него, и провел день *solus*, в полном одиночестве, среди холмов на материке. И поистине я думаю, что только мой больной вид спас меня от палочных ударов.

С тех пор как мы не виделись, я не прибавил ничего нового к своей коллекции.

Если вы можете, устройтесь каким-нибудь образом, приходите сюда с Юпитером. *Приходите.* Я хочу видеть вас *сегодня же вечером* по очень важному делу. Уверяю вас, что дело это *величайшей* важности. Всегда ваш,

Вильям Легран».

В тоне этой записки было что-то, что заставило меня очень забеспокоиться. Весь ее стиль совершенно отличался от обычной манеры Леграна. О чем мог он мечтать? Какая новая причуда овладела его легко возбуждающимся мозгом? Какое такое «дело величайшей важности» могло у него быть? Рассказ Юпитера не предвещал ничего доброго. Я боялся, что постоянное давление несчастий в конце концов расстроило разум моего бедного друга. Потому, не колеблясь ни минуты, я стал собираться, чтобы сопровождать негра.

Придя к берегу, я заметил косу и три лопаты, по-видимому, совершенно новые, лежавшие на дне лодки, в которой мы должны были отплыть.

— Что все это значит, Юп? — спросил я.

— Это коса, масса, и лопаты.

— Совершенно верно; но зачем они тут?

— Косу и лопаты масса Виль велел купить мне для него в городе. И черт знает сколько за них денег я должен был дать.

— Но во имя всего таинственного, что же твой «масса Виль» хочет делать с этой косой и лопатами?

— А уже *этого-то* я не знаю, и черт меня побери, если он сам это знает. Но это все пришло от жука.

Видя, что мне ничего не добиться от Юпитера, вся мысль которого, казалось, поглощена была «жуком», я шагнул в лодку и развернул парус. С попутным сильным ветром мы быстро вошли в небольшой залив к северу от крепости Моултри, и, сделав переход мили в две, пришли к хижине.

Было около трех часов пополудни, когда мы прибыли. Легран ждал нас в сильном нетерпении. Он сжал мне руку с нервной стремительностью, которая встревожила меня и подтвердила мои уже возникшие опасения. Лицо его было бледно даже до призрачности, и его глубокосидящие глаза сверкали неестественным блеском. После некоторых вопро-

сов касательно его здоровья, я спросил его, не зная, о чем лучше заговорить, получил ли он жука от лейтенанта Г.

— О, да, — ответил он, сильно покраснев, — я взял его обратно на следующее же утро. Ни за что теперь не расстанусь я с этим *скарабеем*. Знаете, Юпитер совершенно прав относительно него!

— Каким образом? — спросил я с дурным предчувствием в сердце.

— Предполагаю, что это жук из *настоящего золота*.

Он сказал это с видом такой глубокой серьезности, что я почувствовал себя невыразимо угнетенным.

— Этот жук составит мою фортуну, — продолжал он с торжествующей улыбкой, — ему предназначено восстановить меня в моих фамильных владениях. Удивительно ли поэтому, что я так дорожу им? Если судьба сочла за нужное даровать мне его, мне нужно только надлежащим образом им воспользоваться, и я достигну золота, указателем которого он является. Юпитер, принеси мне этого *скарабея*!

— Что! Жука, масса? Не очень-то мне хочется трогать его — возьмите-ка уже его себе сами.

Тогда Легран встал с серьезным и торжественным видом, и принес мне насекомое из-под стеклянного колпака, под которым оно находилось. Это был красивый *скарабей*, в то время совершенно еще неизвестный естествоиспытателям — с научной точки зрения, конечно, большая ценность. У него было два круглых черных пятна на одном конце спины и другое, более продолговатое, ближе к другому краю. Надкрылья были особенно тверды и глянцевиты и были очень похожи на блестящее золото. Вес насекомого был весьма примечательный, и, принимая все это во внимание, я не мог слишком осуждать Юпитера за его мнение касательно жука; но что касается того, что Легран был согласен с этим мнением, почему он это делал, я никоим образом не мог бы этого сказать.

— Я послал за вами, — сказал он каким-то высокоторжественным тоном, когда я закончил рассматривать жука. — Я послал за вами, чтобы спросить вашего совета и помощи для исполнения предначертания Провидения и жука.

— Мой дорогой Легран, — воскликнул я, прерывая его, — вы, наверное, нездоровы, и вам нужно было бы принять ка-

кие-нибудь меры. Ложитесь в постель, а я останусь с вами несколько дней, пока вы не поправитесь. У вас жар и...

— Пощупайте мой пульс, — сказал он.

Я пощупал его пульс и, по правде сказать, не нашел никакого признака жара.

— Но вы можете быть больны и без жара. Позвольте мне хоть раз дать вам настоятельный совет. Прежде всего лягте в постель. Затем...

— Вы ошибаетесь, — прервал он, — мне хорошо, насколько это может быть при том возбуждении, в каком я нахожусь. Если вы действительно желаете мне блага, то вы захотите облегчить это возбуждение.

— А как это сделать?

— Очень просто. Юпитер и я, мы отправляемся в некоторую экспедицию в холмы, на материк, и в этой экспедиции нам понадобится помощь такого лица, на которое мы можем вполне положиться. Вы единственный, кому мы доверяем. Удастся ли нам это, нет ли, но то возбуждение, которое вы видите во мне, во всяком случае утихнет.

— Я очень хочу служить вам во всем, — ответил я, — но можете ли вы сказать, имеет ли этот дьявольский жук какое-либо отношение к вашей экспедиции в холмы?

— Да, имеет.

— В таком случае, Легран, я не могу принять участия в столь нелепом предприятии.

— Мне жаль — очень жаль, — так как нам придется предпринять это одним.

— Попытаться предпринять это одним! Человек этот поистине безумен! Но постойте! Сколько времени вы думаете отсутствовать?

— Вероятно, всю ночь. Мы выйдем сейчас же, и возвратимся во всяком случае с восходом солнца.

— А можете ли вы обещать мне вашей честью, что когда пройдет ваш каприз, и дело с жуком (Господи Боже мой!) будет улажено к вашему удовольствию, вы вернетесь домой и будете в точности следовать моим советам, как если бы я был вашим врачом?

— Да, я обещаю; а теперь идем, ибо нам нельзя терять времени.

С тяжелым сердцем я последовал за моим другом. Мы вышли около четырех часов — Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер взял с собой косу и лопаты, которые он захотел непременно нести сам, как мне показалось, больше из боязни отдать один из этих инструментов своему господину, чем от избытка усердия или услужливости. Он был зол и упрям до крайности, и единственные слова, которые вырвались у него во время всей этой прогулки, были: «Этот проклятый жук!» Что касается меня, мне были поручены два потайные фонаря, между тем как Легран удовольствовался *скарабеем*, который был привязан на бечевке; он крутил ее, размахивая ею взад и вперед, пока шел, с видом заклинателя. Когда я заметил этот последний признак безумия моего друга, я с трудом мог удержаться от слез. Я думал, что во всяком случае лучше потакать его капризу, по крайней мере теперь или до тех пор, пока я не смогу принять какие-либо более энергичные меры с надеждой на успех. Между тем я старался, но совершенно напрасно, выпытать у него, в чем цель нашей экскурсии. После того как ему удалось убедить меня сопровождать его, он, казалось, не хотел поддерживать разговора о чем-нибудь менее важном, и на все мои вопросы не удостаивал меня другим ответом, кроме как «Увидим!». Мы пересекли на ялике бухту у крайнего выступа острова, и, взбираясь на высоту противоположного берега материка, направились к северо-западу через местность страшно дикую и пустынную, где не видно было следов человеческой ноги. Легран шел очень решительно, останавливался изредка то тут, то там для того, чтобы сообразоваться с некоторыми, как казалось, его собственными отметинами, оставленными им здесь раньше.

Мы шли так приблизительно около двух часов, и солнце как раз заходило, когда мы вошли в область еще более мрачную, чем та, какую мы когда-либо доселе видели. Это было что-то вроде плоскогорья вблизи вершины почти недоступного холма, покрытого густым лесом сверху донизу, там и сям в беспорядке были рассеяны огромные глыбы, они лежали, по-видимому, непрочно на земле, и нередко должны были бы упасть вниз в долину, если бы их не задерживали деревья, в которые они упирались. Глубокие овраги вились во

всех направлениях и придавали этой картине характер еще более мрачной торжественности.

Природная площадка, на которую мы вскарабкались, густо заросла кустами терновника, через них (мы увидели это определенно) нам было бы невозможно пробраться без косы; и Юпитер под руководством своего господина стал прочищать для нас дорожку к подножию исполински высокого тюльпанового дерева[4], которое возвышалось среди восьми или десяти дубов, находившихся на одном с ним уровне, и превосходило их все, а также и все другие деревья, которые я до того времени видел, красотою листвы и формы, широким распространением своих ветвей, и общим величественным видом. Когда мы приблизились к дереву, Легран обернулся к Юпитеру и спросил его, думает ли он, что он может на него взобраться. Бедный старик, казалось, был слегка ошеломлен этим вопросом, и несколько мгновений ничего не отвечал. Наконец, он приблизился к огромному стволу, медленно обошел его кругом, и осмотрел с тщательным вниманием. Когда он окончил свое исследование, он сказал просто:

— Да, масса, Юп взберется на любое дерево, какое он когда-либо в жизни видел.

— Так взбирайся, и скорее, а то скоро совсем стемнеет, и нам ничего не будет видно.

— Как высоко нужно мне влезть, масса? — спросил Юпитер.

— Взбирайся по главному стволу сначала, а потом я скажу тебе, куда направиться, — послушай, стой! Возьми этого жука с собою.

— Жука, масса Виль! Золотого жука! — воскликнул негр, пятясь назад в страхе, — для чего мне нужно брать жука на дерево? Да будь я проклят, если я это сделаю!

— Если ты боишься, Юп, большой-пребольшой негр, взять в руку безвредного маленького мертвого жука — что же, ты можешь держать его на бечевке — но, если ты не возьмешь его с собой так или иначе, я буду принужден размозжить тебе голову вот этой лопатой.

— Что же тут разговаривать, масса? — сказал Юп, очевидно, пристыженный настолько, что согласился, — всегда вам нужно поднять шум, когда вы говорите со старым негром. Пошутил ведь я только. *Мне* бояться жука! Буду я думать о

жуке! — Тут он осторожно взялся за самый крайний конец бечовки, и, держа насекомое так далеко от своей особы, как только это позволяли обстоятельства, приготовился влезать на дерево.

В молодости тюльпановое дерево, *Liriodendron Tulipiferum,* самое великолепное из американских лесных деревьев, имеет ствол необычайно гладкий и нередко поднимается на большую высоту без боковых ветвей; но в зрелом его возрасте кора его делается неровной и сучковатой, ибо на стволе появляется множество коротких ветвей. Таким образом, в данном случае, взобраться на него казалось более трудным, нежели это было на самом деле. Обхватывая огромный цилиндр насколько возможно плотнее руками и коленями, придерживаясь руками за одни выступы и становясь босыми ногами на другие, Юпитер после одной или двух неудачных попыток, едва-едва не свалившись, вскарабкался, наконец, на первое большое разветвление, и, казалось, считал, что все дело по существу уже закончено. *Риск* этого свершения действительно теперь миновал, хотя все же влезавший находился на высоте шестидесяти или семидесяти футов от земли.

— В какую мне теперь сторону идти, масса Виль? — спросил он.

— Следуй по самой толстой ветви — по той, что с этой стороны, — сказал Легран. Негр повиновался ему сразу, и, по видимости, лишь с малыми затруднениями поднимался все выше и выше, пока наконец совсем нельзя было различать его мелькавшую скорчившуюся фигуру среди густой листвы, закрывавшей его. Теперь его голос был слышен как некоторое ауканье.

— Сколько еще мне нужно лезть?

— Как высоко ты находишься? — спросил Легран.

— Так высоко, — отвечал негр, — что могу видеть небо сквозь вершину дерева.

— Не занимайся небом, а слушай внимательно, что я тебе скажу. Посмотри вниз на ствол и сосчитай сучья, которые под тобой с этой стороны. Сколько сучьев ты миновал?

— Раз, два, три, четыре, пять — я влез выше пяти толстых сучьев с этой стороны!

— Тогда поднимись еще на один сук выше.

Через несколько минут снова послышался голос, возвещавший, что седьмой сук был достигнут.

— Теперь, Юп, — вскричал Легран, видимо, сильно взволнованный, — я бы хотел, чтобы ты продвинулся по этому суку вперед, насколько только ты сможешь. Если ты увидишь что-нибудь необыкновенное, дай мне знать.

За это время то маленькое сомнение, которое я еще старался сохранить относительно сумасшествия моего бедного друга, оставило меня окончательно. Я не мог не сделать заключения, что он поражен безумием, и начинал серьезно беспокоиться о том, как бы увести его домой. В то время как я раздумывал, что лучше предпринять, голос Юпитера послышался снова.

— Очень страшно идти дальше по этому суку — этот сук сухой весь до конца.

— Ты говоришь, что это *сухой* сук, Юпитер? — вскричал Легран дрожащим голосом.

— Да, масса, он сух, как дверной гвоздь, пропащее дело — тут уже жизни нет никакой.

— Боже мой, Боже мой, что же мне делать? — спросил Легран, по-видимому, в большой тревоге.

— Что делать, — сказал я, обрадованный случаем вставить слово, — вернуться домой и лечь спать. Пойдем теперь — будьте добрым товарищем. Становится поздно, и притом вспомните ваше обещание.

— Юпитер, — закричал он, не обращая на меня ни малейшего внимания, — ты слышишь меня?

— Да, масса Виль, я слышу вас все так же ясно.

— Тогда попробуй дерево твоим ножом, и посмотри, думаешь ли ты, что сук *очень* гнилой.

— Гнилой, масса, препорядочно гнилой, — ответил через несколько мгновений негр, — но не настолько уже гнилой, как мог бы быть. Могу попытать пройти немножко дальше по суку один — это верно.

— Один! Что ты хочешь сказать?

— Да что же — я говорю о жуке. *Ужасно* тяжелый этот жук. Если бы я его бросил, тогда сук выдержал бы, не ломаясь, как раз вес одного негра.

— Вот чертов плут, — воскликнул Легран, по-видимому, весьма облегченный, — что ты хочешь сказать этим вздором?

Если ты только бросишь жука, я сверну тебе шею. Смотри же, Юпитер, ты слышишь меня?

— Да, масса, никакой нет надобности кричать таким манером на бедного негра.

— Хорошо! Теперь слушай! Если ты решишься пойти по суку вперед, не рискуя, так далеко, как только ты сможешь, и не бросишь жука — я подарю тебе серебряный доллар тотчас же, как ты слезешь.

— Иду, иду, масса Виль — вот я уже тут, — ответил весьма поспешно негр, — я почти что на самом конце теперь.

— На самом конце! — пронзительно прокричал Легран. — Ты хочешь сказать, что ты на самом конце этого сука?

— Скоро буду там, масса, — о-о-о-ох! Господи боже мой! Что *это* тут на дереве?

— Ну, — закричал Легран с великой радостью, — что такое?

— Да ничего — только тут череп — кто-то оставил свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо до кусочка.

— Череп, ты говоришь! Хорошо! Как он прикреплен на суку? — как он на нем держится?

— Хорошо держится, масса; нужно посмотреть. Очень это удивительно, честное слово — тут большой толстый гвоздь в черепе, он-то его и держит на дереве.

— Хорошо, Юпитер, сделай все так, как я скажу, — ты слышишь?

— Да, масса.

— Теперь будь внимателен! — найди левый глаз у черепа.

— Гм! Гм! вот хорошо! тут совсем нет левого глаза.

— Будь проклята твоя глупость. Можешь ты отличить свою правую руку от левой?

— Да, знаю — все это я знаю — моя левая рука та, которой я надрезал дерево.

— Наверное! ты левша; и левый твой глаз с той же стороны, как твоя левая рука. Теперь, я думаю, ты можешь найти левый глаз на черепе, или то место, где находился левый глаз. Нашел ты его?

Здесь последовала продолжительная пауза. Наконец, негр спросил:

— Левый глаз черепа с той же стороны, как и левая рука его? — потому что у черепа совсем нет руки, ни чуточки — да

это ничего! Я нашел теперь левый глаз — тут вот левый глаз! что мне с ним делать?

— Пропусти через него жука настолько, насколько достанет веревка. Но будь осторожен, не выпусти ее конца.

— Все это сделано, масса Виль; очень простая вещь пропустить жука через дырку — посмотреть на него снизу, как он там!

В продолжение этой беседы Юпитера совсем не было видно; но жук, которого он опускал, был теперь виден на конце бечевки, блестел как шарик полированного золота в последних лучах заходящего солнца, из коих некоторые еще слабо освещали возвышенность, на которой мы стояли. *Скарабей* свисал совершенно четко с некоторых ветвей, и если бы ему было предоставлено упасть, он упал *бы* к нашим ногам. Легран немедленно же взял косу и расчистил кругообразное пространство в три или четыре ярда в диаметре, как раз под насекомым, и, окончив это, приказал Юпитеру отпустить бечевку и спуститься с дерева.

Воткнув с большой точностью деревянный клин в землю в то самое место, куда упал жук, мой друг вынул из своего кармана землемерную ленту. Прикрепив один конец ее к тому краю ствола, который был ближе к деревянному клину, он развертывал ее, пока она не достигла клина, и продолжал дальше развертывать ее в направлении, уже определенном двумя точками — дерева и клина, на протяжении пятидесяти футов, — меж тем как Юпитер косой расчищал терновник. В точке, которую он нашел таким образом, был вбит второй клин, и кругом него, как центра, был начертан грубый круг, около четырех футов в диаметре. Взяв теперь сам лопату и дав одну лопату Юпитеру, а другую мне, Легран попросил нас приняться за копание возможно скорее.

Сказать правду, у меня никогда не было особенного вкуса к подобному удовольствию, а в этом частном случае я бы весьма желал избежать его совсем, ибо ночь уже надвигалась, и я чувствовал большую усталость от всех усилий, которые уже были сделаны; но я не видел никакого способа избежать этого и боялся своим отказом расстроить душевное равновесие моего бедного друга. Если бы я мог, на самом деле, рассчитывать на помощь Юпитера, у меня

не было бы колебания, и я попытался бы увести сумасшедшего домой силой; но я слишком хорошо знал характер старого негра, чтобы надеяться на его помощь при каких бы то ни было обстоятельствах в случае личного столкновения с его господином. У меня не было сомнения, что этот последний был заражен одним из неисчислимых суеверий Юга касательно зарытых кладов, и что его выдумка была подкреплена этой находкой *скарабея,* или, быть может, даже упрямым утверждением Юпитера, что это «жук из настоящего золота».

Ум, склонный к безумию, вполне мог поддаться подобным влияниям — особенно, если они согласовались с его излюбленными предвзятыми мыслями, — и потом я вспомнил речь бедняги относительно того, что этот жук есть «указатель его фортуны». В целом, я был сильно огорчен и обеспокоен, но под конец решил примириться с необходимостью — копать с доброй волей и таким образом поскорее убедить мечтателя с полной наглядностью в обманности его мечтаний.

Фонари были зажжены, и мы принялись за работу с усердием, достойным более разумной цели; и когда свет упал на наши фигуры и орудия, я не мог не подумать о том, какую живописную группу мы представляли, и какой странной и подозрительной показалась бы наша работа кому-нибудь, кто случайно наткнулся бы на нас.

Мы рыли очень стойко около двух часов. Мало было говорено, и главным нашим затруднением был лай собаки, которая относилась с непомерным интересом к тому, что мы делали. Под конец лай этот сделался настолько громким, что мы стали бояться, что он может привлечь сюда каких-нибудь бродяг, находящихся поблизости; или скорее это было большим опасением Леграна; что касается меня, я был бы обрадован всяким вмешательством, которое дало бы мне возможность увести беспокойного странника домой. Наконец, лай был успешно заглушен Юпитером, который, выскочив из ямы, с самым решительным видом связал морду собаки одной из своих подтяжек и затем вернулся, торжествующе посмеиваясь, к своей работе.

Когда истекло положенное время, мы достигли глубины пяти футов, но и теперь не было никакого признака клада.

Последовала большая пауза, и я начал надеяться, что фарс кончен, меж тем Легран, хотя, по-видимому, очень обескураженный, отер лоб, задумчиво взял свою лопату и начал снова. Мы взрыли весь круг в четыре фута в диаметре, и теперь слегка расширили границу и пошли еще далее на два фута в глубину.

Тем не менее ничего не появлялось. Искатель золота, которого я искренно жалел, выкарабкался, наконец, из ямы и с горькой безнадежностью, запечатленной в каждой черте его лица, стал медленно и неохотно надевать свою куртку, которую он снял перед началом работы. Я между тем не делал никакого замечания. Юпитер, по знаку своего господина, начал собирать орудия. Окончив это и развязав собаку, мы направились к дому в глубоком молчании.

Мы сделали, может быть, около двенадцати шагов в этом направлении, как вдруг Легран с громкими проклятиями бросился на Юпитера и схватил его за шиворот. Негр, пораженный, открыл глаза и рот во всю их ширину, уронил лопаты, и упал на колени.

— Ты негодяй, — сказал Легран, шипя и выталкивая каждый слог сквозь стиснутые зубы, — ты адский черный мерзавец! Говори, приказываю я тебе! Отвечай мне тотчас же без уловок! Который — который твой левый глаз?

— Ах, Боже мой, масса Виль! разве не этот, наверно, мой левый глаз? — возопил испуганный Юпитер, прижимая руку к своему *правому* зрительному органу и придерживая его с отчаянным упрямством, как будто в неминуемой опасности, что господин его попытается выбить ему глаз.

— Я так и думал! — я знал это! ура! — выкликал Легран, выпустив негра и проделывая разные прыжки и курбеты к великому изумлению своего слуги, который, встав с колен, молча переводил взгляд со своего господина на меня и потом с меня на своего господина.

— Пойдем! мы должны вернуться, — сказал последний, — игра еще не проиграна, — и он опять направился по дороге к тюльпановому дереву.

— Юпитер, — сказал он, когда мы достигли подножия его, — пойди сюда! Череп был пригвожден на суку лицом вверх или же лицом к ветви?

— Лицо было кверху, масса, так что вороны могли выклевать глаза без всякой помехи.

— Хорошо, а через этот или через тот глаз ты пропустил жука? — Здесь Легран потрогал один, потом другой глаз Юпитера.

— Это был вот этот глаз, масса, — левый глаз — как вы мне сказали, — и тут негр указал на свой правый глаз.

— Хорошо, — мы должны, значит, начать снова.

Здесь мой друг, в безумии которого я увидал, или думал, что вижу, некоторые указания на метод, переставил деревянный клин, отмечавший точку, куда упал жук, в другое место на три дюйма к западу от первого его положения. Разложив теперь землемерную ленту от ближайшей точки ствола к клину, как и раньше, и продолжая расстилать ее по прямой линии на протяжении пятидесяти футов, он нашел некоторую точку на расстоянии нескольких ярдов от того места, где мы копали.

Вокруг новой точки был теперь очерчен круг немного шире, чем раньше, и мы вновь принялись работать лопатами. Я был ужасно истомлен, но, едва отдавая себе отчет, что́ произвело перемену в моих мыслях, я не чувствовал больше такого отвращения к навязанной мне работе. Я был необъяснимо заинтересован — более того, даже возбужден. Может быть, было что-то во всем экстравагантном поведении Леграна — род какого-то провидения или обдуманности, что производило на меня впечатление. Я копал с жаром и время от времени действительно ловил себя на том, что смотрел с чем-то похожим на ожидание воображаемого клада, призрак которого свел с ума несчастного моего товарища. В то время как фантастические мысли вполне охватили меня, и когда мы работали, быть может, уже около полутора часов, мы вновь были прерваны громким воем собаки. Ее беспокойство в первом случае, очевидно, бывшее проявлением шаловливости или каприза, приобрело более резкий и серьезный характер. На вторичную попытку Юпитера завязать ей морду она выказала яростное сопротивление и, прыгнув в яму, стала бешено копать землю своими когтями. Через несколько секунд она раскопала массу человеческих костей, которые образовали два полных скелета, перемешанных с несколькими металлическими пуговицами и с чем-то, что казалось

сгнившей, обратившейся в пыль шерстяной материей. Один или два взмаха лопаты подняли на поверхность лезвие большого испанского ножа, и, когда мы стали копать дальше, показались три или четыре разбросанные золотые и серебряные монеты.

При виде этого Юпитер с трудом мог сдержать свою радость, но лицо его господина выражало величайшее разочарование. Все же он попросил нас продолжать наши старания, и, едва он произнес эти слова, как я споткнулся и упал вперед, попав носком сапога в большое железное кольцо, которое было наполовину в разрытой земле.

Мы снова ревностно принялись за работу, и никогда не проводил я десяти минут в таком напряженном возбуждении. В продолжение этого промежутка времени мы целиком откопали продолговатый деревянный сундук, который, судя по его полной сохранности и удивительной твердости, был, вероятно, подвергнут какому-нибудь минерализирующему процессу, быть может, была использована двухлористая ртуть. Сундук этот был трех с половиной футов длины, трех ширины и двух с половиной глубины. Он был плотно скреплен полосами из кованого железа, заклепанными и являвшими кругом своего рода решетками. С каждой стороны сундука ближе в крышке было по три железных кольца — всего-навсего шесть, — ухватившись за которые сундук могли бы крепко держать шесть человек. Наши крайние соединенные усилия лишь дали нам возможность сдвинуть его в его ложе. Мы тотчас увидели невозможность поднять такой большой груз. По счастью, единственно, чем придерживалась крышка, были два выдвижные засова. Мы вытащили их, дрожа и задыхаясь от напряженного беспокойства. В одно мгновение клад неисчислимой ценности, сверкая, лежал перед нами. Когда свет фонаря упал в яму, из нее от беспорядочной кучи золота и драгоценностей брызнул яркий блеск, который совершенно ослепил наши глаза.

Я не буду пытаться описывать чувства, с которыми я смотрел. Величайшее удивление было, конечно, господствующим. Легран казался истощенным от возбуждения и проговорил только несколько слов. Лицо Юпитера в течение нескольких минут было смертельно бледным, насколько только это возможно по природе вещей, то есть насколько лицо

негра может побледнеть. Он казался ошеломленным — он был как пораженный громом. Наконец, он упал на колени в яме, и, засунув голые руки по локоть в золото, оставался так, как бы наслаждаясь роскошеством ванны. Наконец с глубоким вздохом он воскликнул, как бы обращаясь к самому себе:

— И все это пришло от золотого жука! От красивого золотого жука! От бедного маленького жука, а я-то его бранил самым поносным образом! И тебе не стыдно за себя, негр? — отвечай-ка мне!

Наконец, сделалось необходимым, чтобы я пробудил и хозяина и слугу и указал им, что нужно унести клад. Становилось уже поздно, и нам надлежало приложить усилия, дабы мы могли отнести все домой до рассвета. Было трудно сказать, что нужно было сделать, и много времени было потеряно на обсуждения — так спутаны были мысли у всех. Наконец, мы разгрузили сундук, вынув две трети содержимого, и тогда нам удалось, хотя с некоторым трудом, вытащить его из ямы. Вынутые вещи мы положили в кусты, и сторожить их была оставлена собака, которой Юпитер приказал ни под каким предлогом не трогаться с места и не открывать рта, пока мы не вернемся. Затем мы с сундуком поспешно направились к дому; благополучно, но страшно усталые, мы достигли хижины в час ночи. Мы были так утомлены, что было бы не в человеческих силах сейчас же продолжать работу. Мы пробыли дома до двух и поужинали, после чего вновь отправились к холмам, взяв с собой три крепких мешка, которые, по счастью, нашлись под рукой. Немного раньше четырех мы прибыли к яме, разделили между собой по возможности поровну остальную добычу, и, оставив яму незасыпанной, снова отправились к дому, где вторично сложили нашу золотую ношу, как раз тогда, когда первые слабые лучи зари засветились на востоке над вершинами деревьев.

Мы были теперь совершенно разбиты; но напряженное возбуждение, овладевшее нами, не давало нам отдохнуть. После беспокойного сна в продолжение трех или четырех часов мы поднялись, как будто бы сговорившись, чтобы осмотреть сокровища.

Сундук был полон до краев, и весь день, и большую часть следующей ночи мы внимательно изучали его содержимое. Там не было ничего похожего на порядок или распределение. Все было навалено как попало. Тщательно разобрав все, мы увидали себя обладателями богатства большего даже, чем мы предполагали сначала. Монет было гораздо более, чем на четыреста пятьдесят тысяч долларов — оценивая их насколько возможно точно по курсу того времени. Серебра во всем этом не было вовсе. Все было золото старого времени и очень разнообразное — французские, испанские и немецкие монеты с несколькими английскими гинеями, и несколькими монетами, каких раньше нам никогда ни приходилось видеть. Там было несколько больших тяжелых монет, таких стертых, что мы совсем не могли разобрать на них надписей. Американских денег там не было. Оценить стоимость драгоценностей нам было гораздо труднее. Тут были бриллианты — некоторые из них необыкновенно большие и красивые — сто десять в общем, и ни одного маленького; восемнадцать рубинов замечательного блеска; триста десять изумрудов, все очень красивые; двадцать один сапфир с одним опалом. Эти камни были все выломаны из своей оправы, и брошены в беспорядке в сундук. Сами же оправы, которые мы отделили от другого золота, казалось, были избиты молотками, как будто для того, чтобы не быть узнанными. Кроме всего этого там было большое количество украшений из цельного золота: около двухсот массивных колец и серег; великолепные цепочки — числом тридцать, насколько я припомню; восемьдесят три очень тяжелые и большие распятия; пять золотых кадильниц большой цены; огромная золотая чаша для пунша, разукрашенная богато вычеканенными виноградными листьями и вакхическими фигурами; две рукоятки мечей превосходной рельефной работы и много других более мелких вещей, которых я припомнить не могу. Вес всех этих ценностей превышал триста пятьдесят английских фунтов; и в эту смету я не включил еще сто девяносто семь чудесных золотых часов, из коих три стоили каждые по пятисот долларов. Некоторые из них были очень стары и негодны, как счетчики времени, ибо их ход пострадал более или менее от ржавчины — но все они были богато украшены камнями и

находились в оправе большой ценности. В эту ночь мы оценили все содержимое сундука в полтора миллиона долларов; а после вторичного пересмотра драгоценностей и украшений (некоторые мы оставили для себя лично) мы нашли, что еще очень низко оценили клад.

Когда, наконец, мы окончили наш осмотр, и напряженное возбуждение несколько улеглось, Легран, видя, что я горю нетерпением разрешить эту необыкновеннейшую загадку, подробным образом рассказал мне все обстоятельства, связанные с ней.

— Вы помните, — сказал он, — ту ночь, когда я показал вам грубый набросок *скарабея*, который я сделал. Вы помните также, что я был очень обижен на вас за то, что вы утверждали, будто мой рисунок походит на мертвую голову. Когда вы в первый раз сделали это замечание, я подумал, что вы шутите; но потом я вспомнил странные пятнышки на спине жука и допустил, что ваше замечание действительно имело некоторое основание. Все же насмешка над моими рисовальными способностями раздражала меня — так как я считаюсь порядочным художником — и потому, когда вы протянули мне кусок пергамента, я был готов скомкать его и с гневом бросить в огонь.

— Кусок бумаги, хотите вы сказать, — сказал я.

— Нет; тут большое было сходство с бумагой, и сначала я так и думал, но, когда я начал рисовать на этом куске, я увидел сейчас же, что это кусок очень тонкого пергамента. Как вы помните, он был совершенно грязен. Хорошо. Когда я готов был уже скомкать его, мой взгляд упал на рисунок, который вы рассматривали, и вы можете себе представить мое удивление, когда я действительно увидал изображение мертвой головы как раз на том самом месте, где, как мне показалось, я нарисовал жука. Первое мгновение я был слишком изумлен, чтобы думать правильно. Я знал, что мой рисунок в мелочах очень отличался от этого — однако тут было некоторое сходство в общих очертаниях. Тогда я взял свечу, и, усевшись в другом конце комнаты, стал рассматривать пергамент более тщательно. Перевернув его, я увидел мой собственный рисунок на обратной стороне точно таким, как я его сделал. Первым моим чувством было теперь простое удивление на это действительно замечательное сходство общих очерта-

ний — на странное совпадение, заключавшееся в том неизвестном для меня факте, что тут был череп на обратной стороне пергамента, как раз под моим изображением *скарабея,* и что череп этот, не только очертанием, но и размером, мог так точно походить на мой рисунок. Я говорю, что странность этого совпадения на мгновение совершенно ошеломила меня. Это обычное действие таких совпадений. Ум старается установить соотношение — последовательность причины и следствия — и, будучи бессилен сделать это, подвергается известного рода временному параличу. Но когда я опомнился от этого оцепенения, во мне постепенно зародилось убеждение, которое поразило меня даже гораздо более, чем самое совпадение. Я точно и ясно начал припоминать, что рисунка *не было* на пергаменте, когда я делал мой набросок *скарабея.* Я совершенно уверился в этом, ибо припомнил, что сначала я повернул его на одну, потом на другую сторону, ища более чистого места. Если бы череп был там, конечно, я не преминул бы заметить это. Тут действительно была какая-то тайна, и я чувствовал, что ее невозможно изъяснить; но даже в этот самый миг мне показалось, что в самых отдаленных и тайных уголках моего ума слабо засветилось подобное мерцанию светлячка представление об истине, которое приключением прошедшей ночи было приведено к такому блестящему разрешению. Я немедленно встал, и, осторожно убрав пергамент, отложил все дальнейшие размышления, до тех пор пока не буду один.

Когда вы ушли, и Юпитер крепко заснул, я предался более методичному исследованию этого дела. Прежде всего я стал соображать, каким образом пергамент попал в мои руки. То место, где мы нашли *скарабея,* было на берегу материка, около мили на восток от острова и лишь на небольшом расстоянии над уровнем прилива. Когда я поймал его, он жестоко меня укусил, что заставило меня выпустить его. Юпитер с обычной ему осторожностью, прежде чем схватить насекомое, которое полетело по направлению к нему, посмотрел вокруг себя, ища листа, или чего-либо в этом роде, чем бы взять его. В это самое время взгляд его, так же как и мой, упал на кусок пергамента, который я принял за бумагу. Он лежал наполовину зарытый в песок, один уголок торчал наружу. Около того места, где мы нашли его, я заметил облом-

ки судна, которые, по-видимости, были длинной корабельной лодкой. Как казалось, обломки лежали тут с очень давнего времени, ибо в них с трудом можно было усмотреть сходство с лодочными ребрами.

Хорошо. Юпитер поднял пергамент, завернул в него жука и отдал его мне. Вскоре мы направились обратно к дому, и по дороге встретили лейтенанта Г. Я показал ему насекомое, и он попросил у меня позволения взять его к себе в крепость. Я согласился; он сунул его в свой жилетный карман, без пергамента, в котором тот был завернут и который я продолжал держать в руке моей, пока он рассматривал жука. Может быть, он опасался, что я передумаю, и счел, прежде всего, за наилучшее увериться в добыче — вы знаете, как восторженно он относится ко всему, что касается естественной истории. В то же самое время, совсем бессознательно, я, должно быть, положил пергамент в мой собственный карман.

Вы помните, что, когда я подошел к столу, намереваясь сделать рисунок жука, я не нашел бумаги там, где она обыкновенно лежала. Я заглянул в ящик и там не нашел ничего. Я пошарил у себя в карманах, в надежде найти какое-нибудь старое письмо, когда рука моя наткнулась на пергамент. Я так точно и так подробно описываю способ, которым он попал в мое обладание; ибо все эти обстоятельства произвели на меня особенно сильное впечатление.

Без сомнения, вы сочтете меня за мечтателя — но я уже установил род *соотношения.* Я соединил два звена большой цепи. Лодка, лежащая на берегу, и недалеко от нее пергамент — *не бумага* — с черепом, нарисованным на нем. Вы, конечно, спросите: «Где тут соотношение?» Я отвечу, что череп, или мертвая голова, это — хорошо известная эмблема пиратов. Флаг с мертвой головой поднят во всех морских схватках.

Я сказал вам, что лоскуток был пергамент, а не бумага. Пергамент вещь прочная — почти не гибнущая. Дела маловажные редко препоручают на хранение пергаменту: ибо для простого обыкновенного рисунка или писания он далеко не так удобен, как бумага. Эта мысль внушила мне некоторые предположения — доводы для составления заключений о мертвой голове. Я также не преминул заметить *форму* перга-

мента. Несмотря на то, что один из его углов был уничтожен какой-либо случайностью, можно было видеть, что первоначальная его форма была продолговатая. Это был один из таких свитков, который мог быть выбран для меморандума — для записи чего-нибудь такого, что не должно было быть забыто и что надлежало тщательно сохранить.

— Но, — прервал я, — вы говорите, что черепа *не* было на пергаменте, когда вы делали набросок жука. Как же вы устанавливаете какое-либо соотношение между лодкой и черепом — если этот последний, по вашему собственному уверению, был нарисован (бог весть как и кем), после того как вы сделали ваш набросок *скарабея?*

— А! Вокруг этого-то и вертится вся тайна; хотя в данном пункте мне сравнительно нетрудно было получить разъяснение. Путь мой был верен, и мог привести лишь к одному отдельному результату. Я рассуждал, например, так: когда я рисовал *скарабея,* черепа не было видно на пергаменте. Когда я кончил рисунок, и передал его вам я внимательно наблюдал за вами, пока вы переворачивали его. *Вы* поэтому не нарисовали черепа, а другого никого не было, чтобы сделать это. Значит, это не было сделано с человеческой помощью, и тем не менее это было сделано.

Но, дойдя до этого пункта моих размышлений, я постарался припомнить и *вспомнил* с полной ясностью все малейшие обстоятельства, которые имели место в упомянутое время. Погода была холодная (о, редкое и счастливое событие!), и огонь горел в очаге. Я был разгорячен прогулкой, и сел около стола. Вы же придвинули стул совсем вплоть к камину. Как раз когда я вложил пергамент в вашу руку и когда вы собрались рассматривать его, вбежал Вольф, — ньюфаундленд, — и прыгнул вам на плечи. Левой рукой вы ласкали его, и отстраняли, между тем как вашу правую руку, держащую пергамент, вы уронили небрежно между ваших колен, и в непосредственной близости от огня. Одно мгновение я думал, что пламя охватило его, и хотел уже предостеречь вас, но, прежде чем я успел заговорить, вы отодвинули его и начали рассматривать. Когда я обсудил все эти подробности, я ни минуты не колебался, что *тепло* вызвало на свет божий тот череп на пергаменте, который я видел нарисованным на нем. Вы хорошо осведомлены, что существуют химические

препараты и существовали в незапамятные времена, которыми возможно писать на бумаге или пергаменте так, что буквы делаются видимыми только тогда, когда их подвергнут действию огня. Иногда употребляются цафра[5], растворенная в *aqua regia** и разбавленная в четырехкратном количестве воды сравнительно со своим весом; в результате получается зеленый цвет. Королек кобальта, растворенный в нашатырном спирте, дает красный цвет. Эти цвета пропадают более или менее скоро, после того как материал, на котором пишут, остынет, но опять делаются видимыми при нагревании.

Я снова стал рассматривать мертвую голову с большим тщанием. Внешние ее очертания — очертания рисунка наиболее близкие к краям пергамента — были гораздо более *явственны,* чем другие. Было очевидно, что действие тепла было несовершенно или неровно. Я тотчас зажег огонь и подверг каждую часть пергамента действию сильного жара. Сначала единственным результатом было усиление бледных линий черепа. При продолжении опыта на углу узкой полосы, противоположной, по диагонали от того места, где была начерчена мертвая голова, появилось изображение чего-то, что я сначала принял за козу. При более тщательном исследовании я убедился, однако, что тут было намерение изобразить козленка.

— Ха-ха! — сказал я, — конечно, я не имею права смеяться над вами — полтора миллиона монет слишком серьезная вещь, чтобы шутить — но вы не сможете установить третье звено в вашей цепи — вы не найдете никакого особенного соотношения между вашими пиратами и козами. Пираты, как вы знаете, не имеют ничего общего с козами; это больше касается фермеров.

— Но я вам сказал, что это была фигура *не* козы.

— Ну, хорошо, козленок — но это почти что то же самое.

— Почти что, но не совсем, — сказал Легран. — Вы, быть может, слышали о некоем *капитане* Кидде[7]. Я тотчас же стал смотреть на изображение животного, как на род игры слов или иероглифической подписи**. Я говорю — подпись, пото-

---

* Aqua regia — «царская водка»[6] (*лат.*). — *Примеч. ред.*

** Kid — козленок (*англ.*). — *Примеч. пер.*

му что положение животного на пергаменте внушало эту мысль. Мертвая голова в углу, противоположном по диагонали, имела также вид клейма или печати. Но я был огорчен отсутствием всего остального — самого тела моего воображаемого инструмента — текста для моего контекста.

— Я полагаю, вы надеялись найти письмо между штемпелем и подписью?

— Что-то в этом роде. Дело в том, что я почувствовал себя под неудержимым впечатлением предчувствия какой-то огромной удачи, которая вот уже тут. Мне трудно сказать, почему. Быть может, в конце концов, это было скорее желанием, нежели действительной верой; но, знаете ли, глупые слова Юпитера, о том, что жук — из чистого золота, имели удивительное действие на мое воображение. И потом этот ряд совпадений — они были *такие* необыкновенные. Заметили ли вы, что все это случилось в тот самый *единственный* из всего года день, в который было, или могло быть, настолько холодно, что нужно было затопить, и что без огня, или без содействия собаки, в тот самый миг, в который она появилась, я никогда не узнал бы о мертвой голове, и никогда не сделался бы обладателем клада.

— Но продолжайте — я весь горю нетерпением.

— Хорошо. Вы слышали, конечно, множество разных рассказов — тысячу смутных слухов относительно кладов, зарытых где-то на берегу Атлантики Киддом и его сообщниками. Эти слухи должны были иметь какое-либо основание в самой действительности. И то, что эти слухи существовали так долго и были такими постоянными, могло проистекать, как мне казалось, лишь из того обстоятельства, что клад *оставался* схороненным. Если бы Кидд на время только спрятал свою добычу, и потом взял ее обратно, эти слухи вряд ли дошли бы до нас в настоящей их неизменной форме. Заметьте, что все рассказы говорят об искателях золота, а не о нашедших золото. Если бы пират взял обратно свои деньги, этим все дело было бы исчерпано. Мне кажется, что какой-нибудь случай — скажем, потеря записи, указывающей местонахождение клада — лишил его возможности отыскать клад, и что это происшествие сделалось известным его товарищам, которые иначе не могли бы ничего знать о спрятанном кладе и

которые старались совершенно напрасно его найти, ибо не имели руководства, и это все распространило данные слухи, которые стали теперь такими известными. Слыхали ли вы когда-нибудь о каком-либо значительном кладе, отрытом на берегу?

— Никогда.

— Но Киддом было скоплено чрезвычайно много, это хорошо известно. Я был потому уверен, что земля доныне хранит эти сокровища; и вряд ли вы будете удивлены, если я скажу вам, что я испытывал надежду, которая граничила с уверенностью, что пергамент, столь странно найденный, заключал в себе утраченную запись местонахождения клада.

— Но как же вы поступили дальше?

— Я снова поднес пергамент к огню после того, как увеличил жар; но ничего не появлялось. Возможно, подумал я, что слой грязи на нем был причиной неудачи; итак, я осторожно сполоснул пергамент теплой водой, и, сделав это, положил его в жестяную кастрюлю, черепом вниз, и поставил ее в печь с раскаленными угольями. Через несколько минут, когда кастрюля была основательно нагрета, я вынул свиток, и, к моей несказанной радости, нашел, что он был накраплен в различных местах тем, что, как казалось, было цифрами, расположенными по строкам. Опять я положил его в кастрюлю, и оставил его так еще на некоторое время. Когда я вынул его, весь он был такой, каким вы видите его теперь.

Здесь Легран, вновь нагрев пергамент, представил мне его для осмотра. Следующие знаки были грубо начерчены красными чернилами между мертвой головой и козленком:

53##+305))6*;4826)4#.)4#);806*;48+8‖60))85;;]8*;:#*8+8
3(88)5*+;46(;88*96*?;8)*#(;485);5*+2:*#(;4956*2(5*=4)8‖8*;
4069285);)6+8)4##;1#9;48081;8:8#1;48+85;4)485+528806*81
(#9;48;(88;4(#?34 ;48)4#;161;:188;#?;

— Но, — сказал я, возвращая ему свиток, — я в таких же потемках, как и раньше. Если бы все сокровища Голконды* ожидали меня за разрешение этой загадки, я вполне уверен, что не был бы способен получить их.

* Город в Индии, богатый бриллиантами. — *Примеч. пер.*

— И однако же, — сказал Легран, — разгадка отнюдь не так трудна, как это может вам представиться при первом беглом взгляде на письмена. Эти знаки, как каждый легко может догадаться, составляют шифр, т. е. в них скрыто известное значение: но по тому, что известно о Кидде, я не могу считать его способным построить более или менее сложную тайнопись. Я с самого начала подумал, что эта запись — из простейших образцов — все же такая, что она должна была казаться грубому уму матроса совершенно неразрешимой без ключа.

— И вы действительно разрешили ее?

— Легко; я разрешал другие, в тысячу раз более отвлеченные. Обстоятельства и известные склонности ума заставили меня интересоваться такими загадками, и весьма можно сомневаться, способна ли человеческая изобретательность построить такого рода загадку, которую человеческая находчивость, при правильном применении, не могла бы разрешить. Действительно, установив сначала связь и удобочитаемость знаков, я едва ли даже и думал о трудности разоблачения их смысла.

В данном случае — так же, впрочем, как во всех других случаях тайнописи — первый вопрос касается *языка* шифра; ибо принципы разрешения, раз дело идет лишь о простых шифрах, зависят здесь особенно от своеобразного характера каждого языка, и им они видоизменяются. Вообще, здесь нет иного выбора, как опыт (направляемый вероятностями), данный каждым языком, ведомым тому, кто пытается найти разрешение, пока не будет найден надлежащий язык. Но в шифре, нас интересующем, всякая трудность была устранена подписью. Игра слов на слове «Кидд» не могла быть ни в каком другом языке, кроме английского. Без этого соображения я начал бы свою пробу с испанского и французского, как с языков, на которых скорее всего могла быть записана тайна такого рода пиратом испанского происхождения. В данном случае, я предположил, что тайнопись была английской.

Как вы можете заметить, здесь нет разделений между словами. Если бы они были разделены, задача сравнительно была бы легкой. В этом случае я бы начал с сопоставления и анализа самых коротких слов, и если бы попалось

слово из одной буквы, как это часто бывает («я» или «и», например), я считал бы загадку разрешенной. Но так как там не было разделений, моим первым шагом было определить господствующие буквы, так же как и те, которые встречаются наиболее редко. Сосчитав все, я построил следующую таблицу:

Знак	8	встречается	34	раза
»	;	»	27	раз
»	4	»	19	»
»	)	»	16	»
»	#	»	15	»
»	*	»	14	»
»	5	»	12	»
»	6	»	11	»
»	+	»	8	»
»	1	»	7	»
»	0	»	6	»
»	9 и 2	»	5	»
»	: и 3	»	4	раза
»	?	»	3	»
»	‖	»	2	»
»	= и]	»	1	раз.

В английском языке буква, которая встречается чаще всего — *e*. Потом они идут в такой последовательности: *a, o, i, d, h, n, r, s, t, u, y, c, f, g, l, m, w, b, k, p, q, x, z*. *E* так особенно главенствует, что редко можно встретить отдельную, сколько-нибудь длинную, фразу, в которой оно не было бы господствующей буквой.

Хорошо. Теперь мы имеем в самом начале основание для чего-то большего, чем простая догадка. Общее пользование таблицей может быть применено вполне ясно — но в этом особенном шифре мы только отчасти будем прибегать к ее помощи. Так как наш господствующий знак 8, мы начнем с того, что возьмем его — как *e* обыкновенной азбуки. Чтобы проверить это предположение, посмотрим, часто ли 8 встречается вдвойне, так как *e* дублируется очень часто в английском — например, в таких словах, как meet, fleet, speed, seen, been, agree и т. д. В данном случае мы видим это повторение

не менее пяти раз, несмотря на то, что криптограмма очень короткая.

Возьмем же 8, — как *e*. Изо всех *слов* в речи «the» самое употребительное; посмотрим, следовательно, не найдем ли мы повторения каких-нибудь трех знаков в тождественном порядке сочетания, чтобы последний из них был 8. Если мы найдем повторения таких букв, так расположенных, они, по всей вероятности, составят слово «the». По рассмотрении, мы находим не менее, чем семь таких сочетаний, знаки эти ;48. Мы можем поэтому предположить что ; означает *t*, *4* означает *h*, и 8 означает *e* — последнее вполне подтверждено. Это большой шаг вперед.

Но, установив одно отдельное слово, мы можем установить еще более важный пункт, т. е. различные начала и окончания других слов. Возьмем, например, последний случай — тот, в котором сочетание ;48 встречается недалеко от конца шифра. Мы знаем, что ; непосредственно следующее есть начало какого-нибудь слова, и из шести знаков, следующих за этим «the», мы знаем не менее пяти. Заменим эти знаки изображающими их буквами, которые мы уже знаем, оставив место для неизвестных

t·eeth

Тут мы должны будем сразу отделить «*th*», которое не может составлять части слова, начинающегося первым *t*, ибо пробуя по порядку буквы всей азбуки в применении к пробелу, мы видим, что никакое слово не может быть образовано, у которого это *th* было бы частицей. Таким образом, мы сосредоточиваемся на

t·ee

и, вновь как раньше перебирая, если это нужно, азбуку, мы доходим до слова «tree» (дерево), как единственного подходящего. Таким образом, мы получаем другую букву — *r*, изображаемую знаком (, в ближайшем соприкосновении со словами

the tree

Встречая немного дальше эти же слова, мы вновь видим сочетание знаков ;48 и берем его как *окончание* того, что непосредственно предшествует ему. Таким образом, мы имеем следующее расположение:

the tree ; 4 (## ? 34 the

или, заменив обыкновенными буквами знаки, которые нам уже известны, читаем это так:

the tree thr ## ? 3h the

Теперь, если мы на месте неизвестных нам букв оставим пробелы, или заменим их точками, мы читаем следующее:

the tree thr... h the

и слово through* делается очевидным тотчас же. Но это открытие дает нам три новые буквы *o*, *u* и *g*, изображенные ##? и 3.

Внимательно отыскивая теперь в шифре сочетание известных нам знаков, мы находим недалеко от начала следующее сочетание:

83 (88 или egree,

которое, конечно, есть окончание слова degree (степень; градус) и которое дает нам другую букву *d*, изображаемую через +.

Четырьмя буквами далее за словом degree мы видим сочетание:

; 48 (; 88*

Переводя известные знаки, а неизвестные изображая точками, как раньше, мы читаем следующее:

th. rtee

сочетание, которое тотчас внушает слово thirteen (тринадцать), и опять дает нам две новые буквы *i* и *n*, обозначаемые как 6 и *.

Обратившись теперь к началу тайнописи, мы находим сочетание:

53 ## +

Переводя как раньше знаки, мы получаем:

good

которые удостоверяют нас, что первая буква есть *a* и что первые два слова суть

A good (хороший).

---

* Через *(англ.)*. — *Примеч. ред.*

Теперь пора нам расположить наш ключ, поскольку он открыт, в порядке таблицы, чтобы избежать путаницы. Это будет так:

5	означает	*a*
+	»	*d*
8	»	*e*
3	»	*g*
4	»	*h*
6	»	*i*
*	»	*n*
#	»	*o*
(	»	*r*
;	»	*t*

Таким образом, мы имеем не менее десяти наиболее употребительных букв, и бесполезно было бы продолжать дальнейшее изображение подробностей разгадки. Я достаточно сказал, чтобы убедить вас, что шифр такого рода может быть легко разрешен, и чтобы дать вам некоторое понимание *способа* его развития. Но будьте уверены, что образчик, находящийся перед нами, принадлежит к простейшим образцам тайнописи. Теперь остается только дать вам полный перевод знаков на пергаменте в том виде, как они разгаданы. Вот они:

«A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat forty-one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death's head a bee line from the tree through the shot fifty feet out».

«Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле сорок один градус и тринадцать минут к северо-востоку и на север главная ветвь седьмой сук восточная сторона бросить сквозь левый глаз мертвой головы по пчелиной линии с дерева навылет пятьдесят футов».

— Но, — сказал я, — загадка, по-видимому, в таком же плохом положении, как и до сих пор. Как возможно исторгнуть какой-нибудь смысл из всего этого жаргона о «чертовых стульях», «мертвых головах», и «домах епископа»?

— Согласен, — ответил Легран, — что дело это все еще кажется серьезным, если на него смотрят беглым взглядом. Моей первой заботой было угадать естественное разделение фразы, которое разумел тайнописец.

— Вы говорите, поставить знаки препинания?

— Что-нибудь в этом роде.

— Но как было возможно сделать это?

— Я подумал, что это был намеренный умысел пишущего — поставить слова эти вместе без разделений, дабы таким образом увеличить трудность разгадки. Но не слишком острый человек в преследовании такой цели почти наверное перейдет меру. Когда в ходе его работы он подходит к перерыву в содержании, который, конечно, будет требовать паузы или точки, он будет иметь чрезмерную склонность в этом самом месте ставить буквы ближе друг к другу, чем обыкновенно. Если вы станете рассматривать манускрипт, то здесь вы легко найдете пять случаев такого рода необыкновенно тесного писания. Опираясь на такое указание, я сделал разделение следующим образом:

«A good glass in the Bishop's hostel in the Devil's seat — forty one degrees and thirteen minutes — northeast and by north — main branch seventh limb east side — shoot from the left eye of the death's head — a bee line from the tree throug the shot fifty feet out».

«Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле — сорок один градус и тринадцать минут — к северо-востоку и на север — главная ветвь седьмой сук восточная сторона — бросить сквозь левый глаз мертвой головы — по пчелиной линии с дерева на вылет пятьдесят футов».

— Все же и при таком разделении, — сказал я, — я остаюсь в потемках.

— Я также был несколько дней в потемках, — сказал Легран. — В продолжение этого времени я усердно расспрашивал в окрестностях острова Сэлливана о каком-либо здании под названием Bishop's Hotel (дом епископа), ибо я, конечно, не заботился о вышедшем из употребления слове «hostel» (hotel — дом)*. Не получив никакого сведения по этому поводу, я почти уже готов был расширить сферу поисков и делать их более систематично, как однажды утром, совсем внезапно меня осенила мысль, что этот «Bishop's Hotel» мог иметь какое-нибудь отношение к какой-либо старинной

---

* В применении к обиталищу человека зажиточного. — *Примеч. пер.*

фамилии Бессопы (Bessop), которая с незапамятных времен владела старым замком около четырех миль к северу от острова. Я отправился поэтому на ту сторону к плантациям и возобновил мои расспросы среди старых негров той местности. Наконец, одна из самых старых женщин сказала, что она слыхала о таком месте, которое называлось *Замок Биссопа,* и что может проводить меня туда, но что это не был замок или гостиница, а высокая скала.

Я предложил хорошо заплатить ей за ее хлопоты, и после некоторого колебания она согласилась сопровождать меня к этому месту. Мы нашли его без большого труда, и, отпустив ее, я начал исследовать это место. «Замок» состоял из беспорядочного собрания скал и утесов, один из которых особенно выделялся своей вышиной, так же как и отъединенным искусственным видом. Я взобрался на его вершину и тут почувствовал некоторое недоумение, что теперь предпринять.

Меж тем как я был погружен в размышления, мой взгляд упал на узкий выступ на восточной стороне утеса, может быть одним ярдом ниже вершины, на которой я стоял. Этот выступ выдавался на восемнадцать дюймов, и был не более одного фута ширины. Углубление в утесе, как раз над ним, придавало ему грубое сходство с одним из тех стульев с вогнутой спинкой, которые были у наших предков. Я не усомнился в том, что это и был «чертов стул», на который намекал манускрипт, и теперь мне казалось что я овладел всей тайной загадки.

«Хорошее стекло», я знал, не могло относиться ни к чему иному, как только к телескопу; ибо слово «стекло» редко употребляется моряками в каком-либо ином смысле. Теперь я был уверен, что нужно было пользоваться подзорной трубой, и с определенной точки, *недопускавшей* никакого *изменения.* Я не сомневался также, что выражение «сорок один градус и тринадцать минут» и «северо-восток и к скверу» означали направление для наведения стекла. Очень взволнованный всеми этими открытиями, я поспешил домой, раздобыл подзорную трубу и возвратился к утесу.

Я спустился вниз к выступу, и заметил, что держаться на нем было возможно лишь сидя в одном определенном положении. Этот факт подтвердил возникшее во мне предположение. Я стал смотреть в подзорную трубу. Конечно, «сорок

один градус и тринадцать минут» не могли относиться ни к чему иному, кроме высоты над видимым горизонтом, ибо горизонтальное направление было ясно указано словами, «северо-восточный и к северу». Это последнее направление я сразу установил с помощью карманного компаса; потом, наставив стекло приблизительно под углом в сорок один градус высоты, насколько я мог сделать это догадкой, я стал осторожно передвигать его вверх и вниз, пока внимание мое не было остановлено круглым просветом, или отверстием, в листве большого дерева, превышавшего своих сотоварищей на всем этом пространстве. В средоточии этого просвета я заметил белую точку, но сначала не мог разобрать, что это было. Наведя фокус подзорной трубы, я опять стал смотреть, и теперь убедился, что это был человеческий череп.

При этом открытии я так возликовал, что считал загадку разрешенной; ибо слова «главная ветвь, седьмой сук, восточная сторона» могли относиться только к положению черепа на дереве, между тем как «на вылет из левого глаза мертвой головы» допускало также только одно объяснение по отношению к отыскиванию зарытого клада. Я понял, что указание повелевало пропустить пулю через левый глаз черепа, и что пчелиная линия, или, другими словами, прямая линия, протянутая от ближайшей точки ствола «на вылет» (или устремленная к месту, куда упадет пуля), и отсюда протянутая на расстояние пятидесяти футов, указала бы некоторое определенное место — и около этого-то места, как я по крайней мере полагал, *возможно,* что сложены спрятанные сокровища.

— Все это, — сказал я, — чрезвычайно ясно, и, хотя замысловато, все же просто и понятно. Когда вы оставили Дом Епископа, что было дальше?

— Когда я тщательно заметил местоположение дерева, я вернулся домой. В тот самый миг, однако же, как я оставил «чертов стул», круглое отверстие исчезло, и после я не мог увидеть ни признака его, как бы я ни повертывался. Что мне показалось верхом изобретательности во всем этом деле, так это тот факт (повторяя опыт, я убедился, что это было так), что круглое отверстие, о котором мы говорили, видно было лишь с одной достижимой точки, именно даваемой этим узким выступом на лицевой стороне утеса.

В этой экспедиции к Дому Епископа меня сопровождал Юпитер, который, без сомнения, заметил в продолжение нескольких недель мой отсутствующий вид и особенно заботился о том, чтобы не оставлять меня одного. Но на следующий день, встав очень рано, я ухитрился улизнуть от него, и отправился в холмы отыскивать дерево. После больших хлопот, я нашел его. Когда к ночи я вернулся домой, мой слуга собирался меня побить. Со всем остальным в этом происшествии, я думаю, вы осведомлены так же хорошо, как и я.

— Я полагаю, — сказал я, — вы ошиблись точкой при первой попытке сделать раскопку, благодаря глупости Юпитера, который пропустил жука через правый глаз черепа вместо левого.

— Конечно. Эта ошибка сделала разницу приблизительно в два дюйма с половиной относительно «на вылет» — то есть положения клина, ближайшего к дереву; и если бы клад находился *под* местом падения «на вылет» — ошибка была бы маловажная; но «вылет», вместе с ближайшей точкой дерева, был нужен как точки для того, чтобы установить линию направления; конечно, ошибка, хотя и малая вначале, увеличилась по мере того, как мы продолжали линию, и по истечении времени мы отошли на пятьдесят футов, что совершенно заставило нас потерять след. Но без моего глубоко засевшего убеждения, что сокровища были зарыты где-то здесь, вся наша работа оказалась бы напрасной.

— Но все ваши пышные фразы и ваше размахивание жуком — как это было необыкновенно странно! Я был уверен, что вы сошли с ума. И почему вы настаивали на том, чтобы пропустите через череп жука вместо пули?

— Ну, говоря откровенно, я чувствовал себя несколько раздосадованным вашими явными подозрениями относительно здравого состояния моего ума, и решил хорошенько наказать вас, по-своему, небольшой дозой умеренной мистификации. Поэтому я размахивал жуком, поэтому я велел спустить его с дерева. Ваше замечание относительно его веса внушило мне эту мысль.

— Да, я понимаю; а теперь остается один пункт, который интригует меня. Что нам думать о скелетах, найденных в яме?

— Это вопрос, на который я так же мало могу ответить, как и вы. Все же, мне кажется, есть только одно правдоподобное объяснение этого — и, однако, ужасно подумать о такой жестокости, которая возникает в моем воображении. Ясно, что Кидду — если это действительно Кидд схоронил этот клад, в чем я не сомневаюсь — ясно, что ему должны были помогать в его работе. Но, когда работа была окончена, он, должно быть, счел нужным удалить всех участников своей тайны. Двух ударов киркой было, может быть, достаточно, в то время как его помощники работали в яме: а может быть, тут понадобилась и целая дюжина — кто скажет?

НЕСКОЛЬКО СЛОВ С МУМИЕЙ

Пир предыдущего вечера был несколько слишком силен для моих нервов. У меня была преподлая головная боль, и на меня напала отчаянная сонливость. Поэтому, вместо того чтобы выйти и провести вечер вне дома, как я предполагал, ничего мне не оставалось более разумного сделать, как перехватить кусочек на ужин да и отправляться немедленно в постель.

Легкий ужин, конечно. Валлийский кролик мне весьма любезен. Более одного фунта зараз, однако, не всегда можно рекомендовать. Все же существенного возражения против двух не может быть. И в действительности между двумя и тремя — в наличности лишь одна единица разницы. Я отважился, быть может, на четыре. Моя жена настаивает на пяти; но, ясно, она смешала два совершенно различные обстоятельства. Абстрактное число пять, я охотно допускаю; но конкретно это имеет отношение к бутылкам темного стаута[1], без которого, как без приправ, валлийского кролика должно избегать.

Завершив таким образом скромную трапезу и надев мой ночной колпак, с безмятежной надеждой пользоваться им до полудня следующего дня, я поместил мою голову на подушку и с помощью спокойной совести немедленно впал в глубокую дремоту.

Но когда надежды человечества исполнялись? Навряд ли я всхрапнул и в третий раз, как у наружной двери бешено зазвонил звонок, и затем нетерпеливо заколотил молоточек, который разбудил меня сразу. Минуту спустя, и в то время

как я еще протирал свои глаза, жена моя бросила мне прямо в лицо записку старого моего друга, доктора Понноннера. Она гласила:

«Милый добрый друг, приходите ко мне во что бы то ни стало, как только вы получите это. Приходите и посодействуйте нашей радости. Наконец, благодаря упорной дипломатии, я получил согласие директоров Городского Музея на мое исследование мумии — вы знаете, какую я разумею. Я получил разрешение развернуть ее покровы и вскрыть ее, если это окажется желательным. При этом будет лишь несколько друзей — вы, конечно. Мумия в данное время в моем доме, и мы начнем развертывать ее сегодня в одиннадцать часов ночи.

Всегда ваш *Поннонер*».

В то время как я достиг «Поннοннера», меня поразила мысль, что я настолько пробудился, насколько это может быть нужно человеку. Я выскочил из постели в экстатическом порыве, опрокидывая все по дороге, оделся с быстротой, поистине волшебной, и со всех ног поспешил к доктору.

Там я нашел весьма оживленное общество, которое уже собралось. Все ждали меня с большим нетерпением; мумия была положена во всю длину на обеденном столе, и, в тот миг как я вошел, исследование началось.

Это была одна из мумий, привезенных несколько лет тому назад капитаном Артуром Сабреташем, двоюродным братом Поннοннера, из гробницы близ Элейтиаса в Либийских горах, что на значительном расстоянии выше Фив на Ниле. Гроты в этом месте, хотя менее пышны, чем Фивские гробницы, представляют более высокий интерес по причине того, что они дают более разъяснений частной жизни египтян. Покой, из которого был взят наш образчик, как говорили, был весьма богат такими разъяснениями, стены его были целиком покрыты фресками и барельефами, между тем как статуи, вазы и мозаика с богатыми узорами указывали на великий достаток покойника.

Сокровище было сложено в музей как раз в том самом виде, в каком капитан Сабреташ нашел его, то есть гроб не был потревожен. Восемь лет он так стоял, подверженный лишь

внешне публичному рассмотрению. Таким образом, мы имели теперь целую мумию в нашем распоряжении, и для тех, кто знает, как редко — насколько редко сокровища древности достигают наших берегов разграбленными, — сразу будет очевидно, что мы имели достаточное основание поздравить себя с благой нашей удачей.

Приблизившись к столу, я увидел на нем просторный ларь, или ящик, футов семь в длину и, пожалуй, три фута в ширину, при двух с половиной футах глубины. Он был продолговатый, не гробообразный. Относительно материала сперва было предположено, что это дерево сикомора (platanus)[2], но, сделав надрез, мы убедились, что это был картон, или, точнее говоря, *папье-маше*, сделанное из папируса. Все было густо орнаментировано картинами, изображавшими похоронные сцены и другие траурные замыслы, а между ними в самых разнообразных положениях были рассеяны некоторые ряды иероглифических знаков, обозначавших, без сомнения, имя покойного. По счастливой случайности, мистер Глиддон[3] был в числе собравшихся, и для него не было никакой трудности перевести надписания, которые были чисто фонетическими, и составляли слово *Алламистакео*.

Нам лишь с некоторым трудом удалось вскрыть этот ящик без повреждений, но когда, наконец, нам это удалось, мы увидели второй ящик, гробообразный и значительно меньший в размерах, чем внешний, но в точности походящий на него во всех других отношениях. Промежуток между обоими был наполнен камедью, которая до известной степени исказила краски внутреннего ларя.

Открыв этот последний (что мы сделали совершенно легко), мы достигли третьего ящика; он был тоже гробообразный, и ничем не отличался от второго, кроме материала, каковой был кедром, и еще испускал сильный и чрезвычайно ароматический дух, свойственный этому дереву. Между вторым и третьим ящиком не было промежутка, один вполне подходил к другому.

Сдвинув третий ящик, мы нашли и вынули самое тело. Мы думали, что увидим его, как обычно, закутанным в многочисленные льняные свертки или перевязи, но вместо этого мы увидели некоторого рода футляр, сделанный из папируса и облицованный слоем гипса, густо раззолоченного и распи-

санного красками. Живопись представляла замыслы, связанные с различными предполагаемыми обязанностями души, и ее представление различным божествам с многочисленными тождественными человеческими фигурами, которые, весьма вероятно, разумелись, как портрет тех, кто был забальзамирован. От головы до ног простиралась подобная колонне или перпендикулярная надпись в фонетических иероглифах, давая опять имя покойного и его титулы и имена, и имена и титулы его родных.

Вокруг шеи, таким образом освобожденной от покрышки, было ожерелье из цилиндрических стеклянных бус, различных по цвету и так расположенных, что они образовывали лики божеств, скарабея, и пр., с крылатым диском. Вокруг талии, в наиболее узком ее месте, было подобное же ожерелье или пояс.

Снявши папирус, мы нашли, что тело в превосходной сохранности, без малейшего запаха. Цвет красноватый. Кожа твердая, гладкая, и глянцевитая. Зубы и волосы были в добром состоянии. Глаза (как казалось) были вынуты и на место их вставлены стеклянные, которые были очень красивы и удивительно жизнеподобны, исключая лишь несколько слишком неподвижный взгляд. Пальцы и ногти были блистательно позолочены.

Благодаря красноте верхней кожицы, мистер Глиддон высказал мнение, что бальзамирование было осуществлено всецело с помощью горной смолы; но, поцарапав поверхность стальным инструментом и бросив в огонь таким образом получившийся порошок, мы убедились, что запах камфары и других благовонных смол сделался совершенно явственным.

Мы очень тщательно осмотрели тело, ища обычные отверстия, через которые извлекались внутренности, но, к нашему удивлению, мы не могли найти ни одного. Ни один из сочленов этого общества не знал еще в то время, что цельные мумии без отверстий встречаются нередко. Мозг обычно извлекали через нос; внутренности через надрез в боку; тело после этого брили, мыли, и солили; засим оставляли его на несколько недель, и тогда начиналась, собственно говоря, операция бальзамирования.

Так как ни следа никакого отверстия не было найдено, доктор Поннонner стал приготовлять инструменты для диссекции, когда я заметил, что было уже два часа слишком. Тогда все условились отложить внутреннее исследование до ближайшего вечера, и мы уже готовы были разойтись, как кто-то высказал мысль об опыте с вольтовым столбом[4].

Применение электричества к мумии, исторический возраст которой был три или четыре тысячи лет, было мыслью, по крайней мере, если не очень мудрой, все же достаточно оригинальной, и мы все сразу за нее ухватились. На одну десятую всерьез и на девять десятых в шутку, мы приготовили батарею в кабинете доктора, и отнесли туда египтянина.

Лишь после значительных хлопот нам удалось обнажить некоторые части височного мускула, которые, как казалось, отличались менее каменной затверделостью, нежели другие части тела, но которые, как мы предполагали, конечно, не дали никаких указаний на гальваническую восприемлемость, будучи приведены в соотношение с электрической проволокой. Этот первый опыт казался на самом деле решительным, и, весело хохоча на собственную нашу вздорность, мы прощались, желая друг другу спокойной ночи, как вдруг мои глаза, устремившись на глаза мумии, были к ним немедленно прикованы в изумлении. Действительно, одного быстрого взгляда мне было достаточно, чтобы убедиться, что глазные яблоки, бывшие, как все предположили, из стекла, и ранее отличавшиеся известным диким неподвижным взглядом, были теперь настолько прикрыты веками, что лишь небольшая часть *tunica albuginea** оставалась видимой.

Вскрикнув, я обратил внимание на этот факт, и он стал очевидным для всех.

Я не могу сказать, что я был *встревожен* данным феноменом, потому что «встревожен» в данном случае неточное слово. Возможно, однако, что без темного стаута я мог бы оказаться несколько нервным. Что касается остальных членов компании, они поистине не приложили никаких усилий скрыть свой прямой испуг, овладевший ими. Доктор Поннонner явился человеком, достойным сострадания. Мистер Глиддон каким-то особенным способом сделался невиди-

* Tunica albuginea — белки глаз (*лат.*). — *Примеч. ред.*

мым. Мистер Силк Букингем, я полагаю, вряд ли дерзнет отрицать, что он на четвереньках отправился под стол.

После первого толчка изумления, мы, однако, решили, как само собой разумеется, продолжать дальнейшее исследование. Наше внимание было направлено теперь на большой палец правой ноги. Мы сделали надрез над внешней областью os sesamoideum pollicis pedis*, и таким образом достигли основания abductor** мускула. Приспособив батарею, мы применили электрический ток к рассеченным нервам — как вдруг, движением чрезвычайно жизнеподобным, мумия сперва выпрямила правое колено настолько, что почти привела его в соприкосновение с животом, и потом, выпрямив ногу, с непостижимой силой дала пинок доктору Поннооннеру, который имел такое действие, что устремил этого джентльмена, как стрелу из катапульты, через окно вниз на улицу.

Мы ринулись наружу *en masse****, чтобы принести изуродованные останки жертвы, но имели счастье встретить его на лестнице, поспешающим вверх с неизъяснимою рьяностью, до краев наполненным самой пламенной философией, и более чем когда-нибудь запечатлевшим в уме своем необходимость продолжать наши опыты со всей строгостью и рвением.

Это по его совету, согласно с сим, мы сделали тотчас же глубокий надрез на кончике носа пациента. Между тем как доктор сам, наложив на него насильственные руки, притянул его в самое пылкое соприкосновение с электрической проволокой.

Морально и физически — образно и буквально — эффект был электрический. Во-первых, тело открыло свои глаза и замигало очень быстро, продолжая это делать в течение нескольких минут, как это делает мистер Барнес[5] в пантомиме; во-вторых, оно чихнуло; в-третьих, оно уселось, выпрямившись; в-четвертых, оно потрясло своим кулаком перед лицом доктора Поннооннера; в-пятых, обращаясь к господам

---

* Os sesamoideum pollicis pedis — сесамовидная кость большого пальца ноги (*лат.*). — *Примеч. ред.*

** Abductor — абдуктор (*лат.*) — мышца, осуществляющая отведение конечности или ее части. — *Примеч. ред.*

*** En masse — все вместе (*фр.*). — *Примеч. ред.*

Глиддону и Букингему, оно заговорило с ними на превосходнейшем египетском, таким образом:

— Я должен сказать, джентльмены, что я столько же удивлен, сколько оскорблен вашим поведением. От доктора Понноннера ничего лучшего ждать было нельзя. Это — злосчастный жирный дурачок, который ничего лучшего не *знает*. Я жалею его и прощаю ему. Но вы, мистер Глиддон — и вы, Силк — вы, который путешествовали и жили в Египте, так что можно было бы подумать, что вы там родились в хорошей семье — вы, говорю я, бывший среди нас столько, что вы говорите по-египетски так же хорошо, как, думаю я, вы пишете на вашем родном языке — вы, кого я всегда был расположен считать самым прочным другом мумий — поистине, я ожидал более джентльменского поведения от *вас*. Что должен я думать о том, что вы спокойно стоите и смотрите на меня, когда со мной так некрасиво обходятся? Что должен я предполагать, раз вы позволяете всякому Тому, Дику, и Харри разоблачать меня от моих гробов и от моих одеяний, в этом злосчастно-холодном климате? В каком свете (говоря по существу) должен я рассматривать вашу помощь и вашу поддержку, оказанную вами этому жалкому негодяйчику, доктору Понноннеру, потянувшему меня за нос?

Подумают, конечно, что, услышав такой спич, при подобных обстоятельствах, мы или все направились к дверям, или попадали в истерике, или всем обществом упали в обморок. Чего-нибудь одного их этих трех можно было, говорю я, ожидать. На самом деле, любое из всех этих различий поведения, или все они вместе, вполне приемлемым образом могли осуществиться. И, клянусь, я совершенно не знаю, как или почему не осуществили мы ни одного, ни другого, ни третьего. Но, быть может, истинную причину нужно искать в духе века, который прямо поступает по правилу противоположностей, и в том, что ныне признается, как разрешение всего, путь парадокса и невозможности. Или, быть может, после всего, это только чрезвычайно естественный и как бы само собой разумеющийся вид мумии лишил все ее слова страшности. Как бы там ни было, факты ясны, и ни один из сочленов нашего общества не явил какой-либо особливой дрожи, и не выказал, что ему кажется, чтобы что-нибудь было тут особенно вне порядка.

Что касается меня, я был убежден, что все было all right*, как следует, и я лишь отошел в сторону, за пределы достижения египетского кулака. Доктор Понноннер засунул свои руки в карманы брюк, жестоко посмотрел на мумию, и сделался необыкновенно красен в лице. Мистер Глиддон погладил бакенбарды и поправил воротник своей рубашки. Мистер Букингем повесил голову и положил большой палец своей правой руки в левый угол своего рта.

Египтянин смотрел на него некоторое время с суровым лицом, и, наконец, с презрительной усмешкой сказал:

— Почему же вы ничего не говорите, мистер Букингем? Слышали вы, что я вас спросил или нет? *Выньте* ваш палец изо рта!

Тут мистер Букингем слегка вздрогнул, вынул большой палец своей правой руки из левого угла своего рта, и, в виде компенсации, ввел большой палец левой своей руки в правый угол вышеупомянутого отверстия.

Не будучи в состоянии получить какой-нибудь ответ от мистера Букингема, сия фигура повернулась в сердцах к мистеру Глиддону, и тоном, не допускающим возражения, потребовала от нас в общих выражениях сказать, чего мы все хотим.

Мистер Глиддон ответил подробно, фонетически; и, если бы в американских типографиях имелся иероглифический шрифт, мне бы доставило истинное удовольствие запечатлеть здесь в оригинале всю эту превосходную речь целиком.

Я воспользуюсь также данным случаем, чтобы заметить, что вся последующая беседа, в которой мумия принимала участие, велась на первобытном египетском языке через посредство (поскольку это касалось меня и других не путешествовавших членов общества) — через посредство, говорю я, господ Глиддона и Букингема, как переводчиков. Эти джентльмены говорили на родном языке мумии с неподражаемой беглостью и изяществом; но я не мог не заметить, что два путешественника (без сомнения, благодаря введению образов вполне современных, и, конечно, совершенно новых для чужеземца) вынуждены были иногда пользоваться чувственными образами с целью выяснить какой-либо особый смысл

* All right — все хорошо, нормально (*англ.*). — *Примеч. ред.*

говоримого. Мистер Глиддон, например, не мог в одну минуту заставить египтянина понять термин «политика» до тех пор, пока куском угля он не нарисовал маленького господинчика с нарывным носом, с продранными локтями, стоящим на чурбане, с левою ногою, отодвинутою назад, с правой рукой, устремленной вперед, со сжатым кулаком, с глазами вытаращенными и обращенными к небу, и со ртом открытым под углом в девяносто градусов. Точно таким же образом мистер Букингем не мог изъяснить безусловно современную идею «виг»*, пока (по совету доктора Поннoннера) он не сделался очень бледен в лице, и не согласился снять свое собственное головное украшение.

Легко поймут, что речь мистера Глиддона была посвящена, главным образом, обширным благодеяниям для знания, проистекающим из развертывания и распотрошения мумий; извинениям в этом смысле за какие-либо беспокойства, которые могли быть причинены ему в частности, отдельной мумии, называемой Алламистакео; и заключению, в виде простого намека (ибо вряд ли это могло быть рассматриваемо как что-нибудь большее), что после того как эти мелочи ныне изъяснены, было бы вполне, пожалуй, подходящим продолжать начатое исследование. Тут доктор Поннoннер приготовил свои инструменты.

Касательно последних внушений оратора, у Алламистакео, по-видимости, имелись известные сомнения, связанные с указаниями совести, сущность которых я не вполне отчетливо понял; но он заявил о полном своем удовлетворении представленными оправданиями, и, сойдя со стола, пожал всем руки по очереди.

Когда эта церемония окончилась, мы немедленно занялись возмещением ущербов, которые наш пациент потерпел от скальпеля. Мы зашили ему рану на виске, положили бандаж на ногу и прилепили квадратный дюйм черного пластыря к кончику его носа.

Было замечено тогда, что у графа (таков, по-видимому, был титул Алламистакео) легкий приступ озноба — без сомнения от холода. Доктор немедленно направился к своему

---

* «*Whig*» — буквально от *англ.* «парик». Прозвище представителей партии либералов. — *Примеч. пер.*

гардеробу, и вскоре вернулся, неся черный парадный фрак, сшитый по лучшему покрою Дженнингса, небесно-голубые тартановые панталоны со штрипками, розовую рубашку из индийской бумажной материи, бархатный жилет с отворотами, белое пальто-сак, трость с загнутою ручкой, шляпу без полей, патентованные кожаные сапоги, лайковые перчатки соломенного цвета, лорнет, пару бакенбард и галстук каскадом. Благодаря различию в росте между графом и доктором (пропорция двух к единице), возникло некоторое затруднение при надевании этих одежд и обуви на особу египтянина; но, когда все было приведено в порядок, можно было сказать, что он хорошо одет. Мистер Глиддон протянул ему поэтому свою руку, и подвел его к удобному креслу около камина, между тем как доктор позвонил и приказал подать сигары и вино.

Разговор вскоре стал оживленным. Было выражено, конечно, большое любопытство, касательно несколько примечательного факта, что Алламистакео все еще был в живых.

— Я бы подумал, — заметил мистер Букингем, — что вам давно уже пора было умереть.

— Как, — отвечал граф, весьма удивленный, — мне всего лишь немного более семисот лет! Отец мой жил тысячу лет, и, когда он умирал, он вовсе не был впавшим в детство.

Последовал быстрый обмен вопросов и вычислений, с помощью которых стало очевидно, что при оценке древности мумии были допущены грубые ошибки. Прошло пять тысяч пятьдесят лет с несколькими месяцами, с тех пор как он был доверен катакомбам Элейтиаса.

— Но мое замечание, — возразил мистер Букингем, — не относилось к вашему возрасту во время погребения (я охотно соглашусь, на самом деле, что вы еще человек молодой), я намекал лишь на безмерность времени, в течение которого, согласно собственным вашим показаниям, вы должны были быть заделаны в асфальт.

— Во что? — спросил граф.

— В асфальт, — настаивал мистер Букингем.

— Ах, да; я имею некоторое слабое представление о том, что вы разумеете; это могло бы, без сомнения, вполне отвечать надлежащей цели, но, в мое время, мы вряд ли употребляли что-нибудь другое, кроме двухлористого меркурия.

— Но что мы в особенности лишены возможности понять, — сказал доктор Поннонер, — это, — как могло случиться, что, будучи мертвы и схоронены в Египте пять тысяч лет тому назад, вы ныне здесь совсем живы, и у вас такой здоровый превосходный вид?

— Если бы я был, как говорите вы, *мертв,* — отвечал граф, — более чем вероятно, что мертвым бы я и продолжал быть доселе; ибо я вижу, что вы еще находитесь в младенчестве гальванизма, и не можете с его помощью совершать того, что было заурядною вещью среди нас, в старые дни. Но дело в том, что я впал в каталепсию, и лучшие мои друзья решили, что я мертв, или должен быть мертв; соответственно с этим они забальзамировали меня тотчас же — я полагаю, вы осведомлены касательно главных приемов бальзамирования?

— Каким образом? Вовсе нет.

— А, понимаю, — прискорбное состояние невежества! Хорошо, но дело в том, что я не могу именно сейчас входить в подробности; необходимо, однако, изъяснить, что бальзамирование (точно говоря) означало в Египте — задержать на неопределенное время все животные отправления, подверженные данному процессу. Я употребляю слово «животные» в самом широком его смысле, включая в это понятие не только телесное, но и духовное и *жизненное* бытие. Я повторяю, что руководящая основа бальзамирования состояла у нас в немедленной задержке, — и в сохранении этой задержки на длительное время, — *всех* животных отправлений того, кто подвергался данному процессу. Чтоб быть кратким, — в каком бы состоянии данный человек ни был во время бальзамирования, в этом состоянии он и оставался. Теперь, так как доброй моей судьбе было угодно, чтобы во мне текла кровь Скарабея[6], я был забальзамирован *живым,* как вы меня сейчас видите.

— Кровь Скарабея! — воскликнул доктор Поннонер.

— Да. Скарабей был *эмблемой* или *гербом* весьма знатного и очень редкого патрицианского рода. Иметь в жилах «кровь Скарабея» — это просто значит быть одним из представителей рода, коего Скарабей есть *эмблема.* Я говорю образно.

— Но что все это имеет общего с тем, что вы сейчас живы?

— Дело в том, что в Египте было всеобщим обычаем вынимать из тела внутренности и мозг, прежде чем его бальзамиро-

вать; одна только семья Скарабеев не согласовалась с этим обычаем. Если бы, поэтому, я не был Скарабеем, я был бы без внутренностей и без мозга; а без этих двух жить неудобно.

— Я понимаю, — сказал мистер Букингем, — и предполагаю, что все мумии, которые попадают нам в руки *цельными*, принадлежат к расе Скарабеев.

— Без сомнения.

— Я думал, — сказал мистер Глиддон очень мягко, — что Скарабей был одним из египетских богов.

— Один из египетских *чего?* — воскликнула мумия, вскакивая с места.

— Богов,— повторил путешественник.

— Мистер Глиддон, я поистине удивлен, слыша, что вы говорите в таком стиле,— сказал граф, снова садясь. — Никакой народ на земле никогда не признавал более, чем *одного бога*. Скарабей, Ибис и пр. были у нас (как подобные создания были у других) символами или *посредниками*, через которых мы возносили почитание Творцу, слишком величественному, чтобы можно было к нему подойти более непосредственно.

Тут возникла пауза. Наконец, собеседование было возобновлено доктором Понноннером.

— Таким образом, не невероятно, судя по тому, что вы изъяснились, — сказал он, — что в катакомбах близ Нила есть еще другие мумии из племени Скарабея в состоянии жизненности.

— Об этом не может быть вопроса, — отвечал граф, — все Скарабеи, случайно забальзамированные заживо, суть живы. Даже некоторые из тех, что *умышленно* были так забальзамированы, могли быть забыты своими душеприказчиками, и еще пребывают в гробницах.

— Не будете ли вы добры объяснить, — сказал я, — что вы разумеете под словами «были умышленно так забальзамированы»?

— С большим удовольствием, — сказала мумия, неторопливо осмотрев меня в свой лорнет — ибо это был первый раз, что я дерзнул обратиться к графу с непосредственным вопросом. — С большим удовольствием. Обычная длительность жизни человека в мое время была около восьмисот лет. Немногие умирали до завершения возраста в шестьсот лет, раз-

ве какой-нибудь самый чрезвычайный случай; немногие жили долее, чем десяток столетий; но восемь столетий считались естественным пределом. После открытия основы бальзамирования, как я уже описал ее вам, нашим философам пришло в голову, что похвальная любознательность может быть удовлетворена, и в то же время интересы науки весьма подвинуты, если жить до этого естественного предела частями. Относительно истории опыт, действительно, показал, что нечто в этом роде было необходимо. Например, историк, достигши возраста в пятьсот лет, мог написать книгу с большим тщанием, и затем предоставить себя забальзамировать неукоснительным образом, оставив точные инструкции своим душеприказчикам *pro tempore**, что они должны позаботиться об оживлении его по истечении известного периода — скажем, пятисот или шестисот лет. Возобновляя существование по истечении такого срока времени, он неизменно находил свое великое произведение обратившимся в некоторого рода записную книжку, где заметки нагромождены наудачу, то есть превратившимся в известного рода литературную арену для противоречивых догадок, загадок, и личных драк целой орды ожесточенных комментаторов. Эти догадки, и прочее, существовавшие под именем примечаний или исправлений, так всецело облекали, искажали и заполоняли текст, что автор должен был с фонарем глядеть туда-сюда, чтобы отыскать собственную свою книгу. Когда же она находилась, она никогда не была достойной заботы поисков. После того как она сплошь бывала написана заново, историк считал безусловной своей обязанностью немедленно исправить ее с точки зрения личного своего знания и осведомленности, касающихся временных преданий той эпохи, в которой он первоначально жил. Этот процесс писания заново и личного исправления, время от времени осуществлявшийся отдельными мудрецами, имел то действие, что помешал нашей истории выродиться в полный вымысел.

— Прошу прощения, — сказал доктор Понноннер в эту минуту, мягко кладя свою ладонь на руку египтянина, — прошу прощения, сэр, могу ли я притязать прервать вас на одно мгновение?

---

* Pro tempore — на время (*лат.*). — *Примеч. ред.*

— О, конечно, *сэр,* — отвечал граф, приосаниваясь.

— Я хотел только предложить вам один вопрос. Вы упомянули о личных поправках историка, вносимых в *предания,* касающиеся собственной его эпохи. Прошу сказать, сэр, средним счетом, какая пропорция из всей этой Каббалы оказывалась обыкновенно справедливой?

— Каббала, как вы хорошо определили это, сэр, обыкновенно была наравне с рассказываемыми фактами в самой истории незаписанной; то есть, можно сказать, что при каком бы то ни было обстоятельстве не было ни в той, ни в другой, ни одной йоты, которая не была бы целиком и радикально ложной.

— Но, так как совершенно ясно, — продолжал доктор, — что, по крайней мере, пять тысяч лет прошло со времени вашего погребения, я считаю достоверным, что в вашей истории этого периода, если не в ваших преданиях, с достаточной точностью говорилось об одном предмете всемирного интереса, о сотворении Мира, которое имело место, как, я полагаю, вы знаете, лишь около десяти столетий перед тем.

— Сэр! — сказал граф Алламистакео.

Доктор повторил свое замечание, но лишь после значительных добавочных истолкований можно было заставить чужеземца понять его. Наконец, с колебанием, Алламистакео сказал:

— Идеи, вами развиваемые передо мной, признаюсь, крайне новы для меня. В мое время я никогда не знал никого, кто поддерживал бы столь особливую фантазию, что вселенная (или этот мир, если вам угодно) когда-либо имела какое-либо начало. Я помню, что однажды, и только однажды, я слышал какой-то отдаленный намек, сделанный человеком больших умозрительных способностей, касательно происхождения *человеческого рода;* и этот человек употребил то самое слово *Адам* (или Красная Земля), которым вы пользуетесь. Он употреблял его, однако, в родовом смысле, применяя его к самопроизвольному зарождению плодоносной почвы (совершенно так же, как зарождаются тысячи низших *родов* созданий) — к самопроизвольному зарождению, говорю я, пяти огромных орд человеков, одновременно возникших в пяти различных и почти равных делениях земного шара.

Здесь вся компания вообще пожала плечами, а человека два коснулись своего лба с весьма значительным видом. Мистер Силк Букингем, сперва быстро глянув на затылок, а потом на темя Алламистакео, сказал следующее:

— Большая длительность человеческой жизни в ваше время, вместе с применявшейся иногда практикой проводить ее, как вы изъяснили, долями, должна была, действительно, поощрять сильную наклонность к всеобщему развитию и накоплению знания. Я полагаю поэтому, что отличительно-низшими достижениями древних египтян во всех особых отделах знания сравнительно с современным человечеством, особливо же с янки, мы всецело обязаны более значительной толщине египетского черепа.

— Я снова признаюсь, — отвечал граф, с большою мягкостью, — что я несколько не понимаю вас: прошу — какие особые отделы знания вы разумеете?

Тут все наше общество, соединенными голосами, исчислило подробно выводы френологии[7] и чудеса животного магнетизма.

Выслушав нас до конца, граф начал рассказывать нам разные анекдоты, сделавшие очевидным, что прообразы Галля и Шпурцгейма[8] процветали и отцвели в Египте так давно, что были почти забыты, и что маневры Месмера[9] были на самом деле лишь презренными проделками в сравнении с положительными чудесами фивских ученых, которые создавали блох и много других подобных вещей.

Я спросил графа, способны ли были представители его народа вычислять затмения. Он улыбнулся несколько презрительно, и сказал, что да.

Это несколько обескуражило меня, но я начал предлагать другие вопросы касательно его астрономических познаний, как вдруг один из членов общества, не открывавши до этого своего рта, шепнул мне на ухо, что за сведениями по этому предмету я лучше могу обратиться к некоему Птолемею[10], так же, как к некоторому Плутарху, *De facie lunae**.

Я спросил тогда мумию о зажигательных стеклах и сферических и вообще о выделке стекла; но я еще не окончил вопросов, как молчаливый член общества опять тихонько

* «О лике, видимом на Луне»[11] (*лат.*). — *Примеч. ред.*

тронул меня за локоть, и попросил меня ради бога заглянуть в Диодора Сицилийского[12]. Что касается графа, он просто спросил меня в виде ответа, имеются ли у нас, современных, такие микроскопы, которые сделали бы нас способными вырезать камеи в стиле египтян. Пока я думал о том, как я должен ответить на этот вопрос, маленький доктор Понноннер скомпрометировал себя весьма необыкновенным образом.

— Посмотрите на нашу архитектуру! — воскликнул он, к великому негодованию обоих путешественников, которые щипали его до синяков и кровоподтеков без всяких результатов.

— Посмотрите, — воскликнул он с энтузиазмом, — на Боулинг Грин[13] в Нью-Йорке, где играют в шары! Или, если это слишком обширно для созерцания, поглядите на Капитолий в Вашингтоне, в округе Колумбия! — И добрый медицинский человечек начал подробно исчислять, ничего не пропуская, пропорции упомянутого здания. Он объяснил, что один портик был украшен не менее чем двадцатью четырьмя колоннами, пять футов в диаметре, и десять футов отстояния.

Граф сказал, что, к сожалению, он не может вспомнить в данную минуту точных размеров какого-либо из главных зданий города Азнака[14], коего основания заложены в ночи времен, но развалины которого еще стояли в эпоху его погребения на обширной песчаной равнине, к западу от Фив. Он вспомнил, однако, (говоря о портиках), что один, присоединенный к второстепенному дворцу в предместье, именуемом Карнак[15], состоял из ста сорока четырех колонн, каждая тридцать семь футов окружности, в двадцати пяти футах отстояния. Приближались к этому портику от Нила, через аллею в две мили длины, состоявшую из сфинксов, статуй, и обелисков в двадцать, в шестьдесят, и в сто футов вышины. Самый дворец (насколько он мог припомнить) в одном направлении имел две мили длины, а целиком мог иметь около семи миль в окружности. Стены его были богато разрисованы сплошь, изнутри и извне, иероглифами. Он не притязал бы *утверждать*, что даже пятьдесят или шестьдесят капитолиев доктора могли быть выстроены в пределах этих стен, но он отнюдь не уверен, что двести или триста их не могли бы быть туда втиснуты с некоторым затруднением. Этот дворец в Карнаке был незначительным небольшим зданием, в конце

концов. Он (граф), однако, не мог бы по совести отказать в непосредственной интересности, великолепии, и превосходстве Боулинг Грин, как его описывает доктор. Ничего подобного, он должен сознаться, не было видано ни в Египте, ни где бы то ни было в другом месте.

Тут я спросил графа, что он может сказать о наших железных дорогах.

— Ничего особенного, — ответил он. — Они скорее слабоваты, скорее дурно задуманы, и неуклюже выполнены. Они, конечно, не могут идти в сравнение с обширными, ровными, прямыми, снабженными сетью железных желобков, шоссейными дорогами, по которым египтяне доставляли целые храмы и большие обелиски в полтораста футов вышины.

Я заговорил о наших гигантских механических силах.

Он согласился, что мы кое-что знаем в этом, но спросил, что бы я сделал, чтобы приладить лопатки под пятою свода на притолках хотя бы малого дворца в Карнаке.

Этот вопрос я решил за лучшее не слыхать, и спросил его, имеет ли он представление об артезианскнх колодцах; но он только поднял свои брови, между тем как мистер Глиддон весьма сурово мне мигнул, и сказал, понизив голос, что недавно инженеры, которым было поручено пробуравить почву для добытия воды в Великом Оазисе[16], нашли таковой.

Я тогда упомянул о нашей стали, но чужеземец поднял нос, и спросил меня, могла ли бы наша сталь выполнить четкие резные работы, которые видимы на Обелисках и которые были сделаны целиком острыми инструментами из меди.

Это смутило нас так сильно, что мы сочли за лучшее изменить атаку, направившись в область метафизики. Мы послали за экземпляром книги, именуемой «Dial» (Циферблат), и прочли оттуда главы две о чем-то, что не очень ясно, но что бостонские ученые именуют великим движением или прогрессом.

Граф лишь сказал, что великие движения были чудовищно заурядною вещью в его дни; что же касается прогресса, он одно время был положительным ущербом, но он никогда не прогрессировал.

Мы заговорили тогда о великой красоте и значительности демократии, и весьма хлопотали о том, как бы внушить

графу должное впечатление выгод, которыми мы пользуемся, живя в стране, где есть подача голосов *ad libitum**, и нет короля.

Он слушал с заметным интересом, и казался немало позабавленным. Когда мы кончили, он сказал, что давно тому назад было что-то подобное. Тринадцать египетских провинций все сразу решили быть свободными, и явить, таким образом, великолепный пример остальному человечеству. Они собрали своих мудрецов, и состряпали самую остроумную конституцию, какую только можно вообразить. Некоторое время они управлялись великолепно, только их обычай хвастаться был чрезмерен. Все кончилось, однако, тем, что тринадцать этих государств, с присоединением пятнадцати или двадцати других, выродились в самый ненавистный и невыносимый деспотизм, о каком когда-либо было слышно на земле.

Я спросил, как было имя этого тирана-узурпатора.

Насколько граф мог припомнить, оно было *Чернь*.

Не зная, что сказать на это, я возвысил голос и воскорбел о египетском незнании пара.

Граф посмотрел на меня с большим удивлением, но ничего не ответил. Молчаливый джентльмен, однако, сильно ударил меня своими локтями в ребра — сказав мне, что я достаточно явил себя для одного раза — и спросил, неужели я такой дурачок, чтобы не знать, что современная паровая машина произошла из открытия Герона, через посредничество Соломона де-Ко[17].

Мы были теперь в неминуемой опасности полного поражения; но, как того хотела добрая наша звезда, доктор Поннонер, собравшись с силами, вернулся к нам на помощь, и спросил, неужели жители Египта могли бы серьезно соперничать с людьми современными в имеющих всеобщую важность подробностях туалета.

Граф при этом глянул вниз на штрипки своих панталон, и затем, взяв конец полы своего фрака, он в течение нескольких мгновений держал его близко у своих глаз. Наконец, он выпустил его из рук, и рот его постепенно расширился от уха до уха; но я не припомню, чтобы он сказал что-нибудь в виде ответа.

---

* Ad libitum — свободно (*лат.*). — *Примеч. ред.*

Тут к нам вернулась бодрость духа, доктор же, приблизившись к мумии с большим достоинством, пожелал узнать истинную правду, ссылаясь на честь джентльмена: в *какое-либо* время, ведали или нет египтяне производством пастилок Поннонnера или пилюль Брандрета?

Мы ждали ответа с глубокой тревогой, но напрасно. Он не возник. Египтянин покраснел и повесил свою голову. Никогда торжество не было более законченным, никогда поражение не было принято с меньшим достоинством. Поистине, я не мог вынести зрелища унижения бедной мумии. Я дотянулся до моей шляпы, поклонился чопорно и отбыл.

Придя домой, я увидел, что уже было четыре часа с лишком, и тотчас же отправился в постель. Сейчас десять часов утра. Я встал в семь и заношу эти заметки для блага моей семьи и человечества. Сию первую я больше не увижу. Моя жена сварливица. Правду сказать, я сердечно устал от этой жизни и от девятнадцатого столетия вообще. Я убежден, что все в нем неладно. Кроме того, я весьма любопытствую узнать, кто будет президентом в 2045-м году. Поэтому, как только я побреюсь и проглочу чашку кофе, я тотчас же направлюсь к Поннонneру и велю себя забальзамировать столетия на два.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВОРОН

Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой,
Над старинными томами я склонялся в полусне,
Грезам странным отдавался, вдруг неясный звук раздался,
Будто кто-то постучался — постучался в дверь ко мне.
«Это верно, — прошептал я, — гость в полночной тишине,
Гость стучится в дверь ко мне».

Ясно помню... Ожиданья... Поздней осени рыданья...
И в камине очертанья тускло тлеющих углей...
О, как жаждал я рассвета! Как я тщетно ждал ответа
На страданье, без привета, на вопрос о ней, о ней,
О Леноре, что блистала ярче всех земных огней,
О светиле прежних дней.

И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет,
Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне.
Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя:
«Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне,
Поздний гость приюта просит в полуночной тишине, —
Гость стучится в дверь ко мне».

Подавив свои сомненья, победивши опасенья,
Я сказал: «Не осудите замедленья моего!»
Этой полночью ненастной я вздремнул, и стук неясный
Слишком тих был, стук неясный, — и не слышал я его,

Я не слышал — тут раскрыл я дверь жилища моего:
Тьма, и больше ничего.

Взор застыл, во тьме стесненный, и стоял я изумленный,
Снам отдавшись, недоступным на земле ни для кого;
Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала,
Лишь — «Ленора!» — прозвучало имя солнца моего,
Это я шепнул, и эхо повторило вновь его, —
Эхо, больше ничего.

Вновь я в комнату вернулся — обернулся — содрогнулся, —
Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того.
«Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось,
Там за ставнями забилось у окошка моего,
Это ветер, — усмирю я трепет сердца моего, —
Ветер, больше ничего».

Я толкнул окно с решеткой, — тотчас важною походкой
Из-за ставней вышел Ворон, гордый Ворон старых дней,
Не склонился он учтиво, но, как лорд, вошел спесиво,
И, взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей,
Он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей,
Он взлетел — и сел над ней.

От печали я очнулся и невольно усмехнулся,
Видя важность этой птицы, жившей долгие года.
«Твой хохол ощипан славно, и глядишь ты презабавно, —
Я промолвил, — но скажи мне: в царстве тьмы, где Ночь всегда,
Как ты звался, гордый Ворон, там, где Ночь царит всегда?»
Ворон каркнул: «Никогда».

Птица ясно отвечала, и хоть смысла было мало,
Подивился я всем сердцем на ответ ее тогда.
Да и кто не подивится, кто с такой мечтой сроднится,
Кто поверить согласится, чтобы где-нибудь когда —
Сел над дверью — говорящий без запинки, без труда —
Ворон с кличкой: «Никогда».

И, взирая так сурово, лишь одно твердил он слово,
Точно всю он душу вылил в этом слове «никогда»,

И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он,
Я шепнул: «Друзья сокрылись вот уж многие года,
Завтра *он* меня покинет, как Надежды, навсегда».
Ворон каркнул: «Никогда».

Услыхав ответ удачный, вздрогнул я в тревоге мрачной,
«Верно, был он, — я подумал, — у того, чья жизнь — Беда,
У страдальца, чьи мученья возрастали, как теченье
Рек весной, чье отреченье от Надежды навсегда
В песне вылилось — о счастьи, что, погибнув навсегда,
Вновь не вспыхнет никогда».

Но, от скорби отдыхая, улыбаясь и вздыхая,
Кресло я свое придвинул против Ворона тогда,
И, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной
Отдался душой мятежной: «Это — Ворон, Ворон, да.
Но о чем твердит зловещий этим черным „Никогда",
Страшным криком „Никогда"».

Я сидел, догадок полный и задумчиво-безмолвный,
Взоры птицы жгли мне сердце, как огнистая звезда,
И с печалью запоздалой, головой своей усталой,
Я прильнул к подушке алой, и подумал я тогда:
Я — один, на бархат алый — та, кого любил всегда,
Не прильнет уж никогда.

Но, постой, вокруг темнеет, и как будто кто-то веет,
То с кадильницей небесной Серафим пришел сюда?
В миг неясный упоенья я вскричал: «Прости, мученье!
Это Бог послал забвенье о Леноре навсегда,
Пей, о, пей скорей, забвенье, о Леноре навсегда!»
Каркнул Ворон: «Никогда».

И вскричал я в скорби страстной: «Птица ты, иль дух
ужасный,
Искусителем ли послан, или грозой прибит сюда, —
Ты пророк неустрашимый! В край печальный, нелюдимый,
В край, Тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда!
О, скажи, найду ль забвенье, я молю, скажи, когда?»
Каркнул Ворон: «Никогда».

«Ты пророк, — вскричал я, — вещий! Птица ты иль дух
зловещий,
Этим Небом, что над нами — Богом, скрытым навсегда —
Заклинаю, умоляя, мне сказать, — в пределах Рая
Мне откроется ль святая, что средь ангелов всегда,
Та, которую Ленорой в небесах зовут всегда?»
Каркнул Ворон: «Никогда».

И воскликнул я, вставая: «Прочь отсюда, птица злая!
Ты из царства тьмы и бури, — уходи опять туда,
Не хочу я лжи позорной, лжи, как эти перья, черной,
Удались же, дух упорный! Быть хочу — один всегда!
Вынь свой жесткий клюв из сердца моего, где скорбь —
всегда!»
Каркнул Ворон: «Никогда».

И сидит, сидит зловещий, Ворон черный, Ворон вещий,
С бюста бледного Паллады не умчится никуда,
Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный,
Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда,
И душа моя из тени, что волнуется всегда,
Не восстанет — никогда!

КОЛОКОЛЬЧИКИ И КОЛОКОЛА

I

Слышишь, сани мчатся в ряд,
Мчатся в ряд!
Колокольчики звенят,
Серебристым легким звоном слух наш сладостно томят,
Этим пеньем и гуденьем о забвеньи говорят.
О, как звонко, звонко, звонко,
Точно звучный смех ребенка,
В ясном воздухе ночном
Говорят они о том,
Что за днями заблужденья
Наступает возрожденье,
Что волшебно наслажденье — наслажденье нежным сном.

Сани мчатся, мчатся в ряд,
Колокольчики звенят,
Звезды слушают, как сани, убегая, говорят,
И, внимая им, горят,
И мечтая, и блистая, в небе духами парят;
И изменчивым сияньем,
Молчаливым обаяньем,
Вместе с звоном, вместе с пеньем, о забвеньи говорят.

II

Слышишь к свадьбе звон святой,
Золотой!
Сколько нежного блаженства в этой песне молодой!
Сквозь спокойный воздух ночи
Словно смотрят чьи-то очи
И блестят,
Из волны певучих звуков на луну они глядят.
Из призывных дивных келий,
Полны сказочных веселий,
Нарастая, упадая, брызги светлые летят.
Вновь потухнут, вновь блестят,
И роняют светлый взгляд
На грядущее, где дремлет безмятежность нежных снов,
Возвещаемых согласьем золотых колоколов!

III

Слышишь, воющий набат,
Точно стонет медный ад!
Эти звуки, в дикой муке, сказку ужасов твердят.
Точно молят им помочь,
Крик кидают прямо в ночь,
Прямо в уши темной ночи
Каждый звук,
То длиннее, то короче,
Выкликает свой испуг, —
И испуг их так велик,
Так безумен каждый крик,
Что разорванные звоны, неспособные звучать,

Могут только биться, виться, и кричать, кричать, кричать!
Только плакать о пощаде,
И к пылающей громаде
Вопли скорби обращать!
А меж тем огонь безумный,
И глухой и многошумный,
Все горит,
То из окон, то по крыше,
Мчится выше, выше, выше,
И как будто говорит:
Я хочу
Выше мчаться, разгораться, встречу лунному лучу,
Иль умру, иль тотчас-тотчас вплоть до месяца взлечу!
О, набат, набат, набат,
Если б ты вернул назад
Этот ужас, это пламя, эту искру, этот взгляд,
Этот первый взгляд огня,
О котором ты вещаешь, с плачем, с воплем, и звеня!
А теперь нам нет спасенья,
Всюду пламя и кипенье,
Всюду страх и возмущенье!
Твой призыв,
Диких звуков несогласность
Возвещает нам опасность,
То растет беда глухая, то спадает, как прилив!
Слух наш чутко ловит волны в перемене звуковой,
Вновь спадает, вновь рыдает медно-стонущий прибой!

IV

Похоронный слышен звон,
Долгий звон!
Горькой скорби слышны звуки, горькой жизни кончен сон.
Звук железный возвещает о печали похорон!
И невольно мы дрожим,
От забав своих спешим
И рыдаем, вспоминаем, что и мы глаза смежим.
Неизменно-монотонный,
Этот возглас отдаленный,
Похоронный тяжкий звон,

Точно стон,
Скорбный, гневный,
И плачевный,
Вырастает в долгий гул,
Возвещает, что страдалец непробудным сном уснул.
В колокольных кельях ржавых,
Он для правых и неправых
Грозно вторит об одном:
Что на сердце будет камень, что глаза сомкнутся сном.
Факел траурный горит,
С колокольни кто-то крикнул, кто-то громко говорит,
Кто-то черный там стоит,
И хохочет, и гремит,
И гудит, гудит, гудит,
К колокольне припадает,
Гулкий колокол качает,
Гулкий колокол рыдает,
Стонет в воздухе немом
И протяжно возвещает о покое гробовом.

АННАБЕЛЬ-ЛИ

Это было давно, это было давно
В королевстве приморской земли:
Там жила и цвела та, что звалась всегда,
Называлася Аннабель-Ли,
Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
Только этим мы жить и могли.

И, любовью дыша, были оба детьми
В королевстве приморской земли.
Но любили мы больше, чем любят в любви, —
Я и нежная Аннабель-Ли.
И, взирая на нас, серафимы небес
Той любви нам простить не могли.

Оттого и случилось когда-то давно
В королевстве приморской земли, —
С неба ветер повеял холодный из туч,

Он повеял на Аннабель-Ли;
И родные толпою печальной сошлись
И ее от меня унесли,
Чтоб навеки ее положить в саркофаг,
В королевстве приморской земли.
Половины такого блаженства узнать
Серафимы в раю не могли, —
Оттого и случилось (как ведомо всем
В королевстве приморской земли), —
Ветер ночью повеял холодный из туч
И убил мою Аннабель-Ли.

Но, любя, мы любили сильней и полней
Тех, что старости бремя несли, —
Тех, что мудростью нас превзошли, —
И ни ангелы неба, ни демоны тьмы
Разлучить никогда не могли,
Не могли разлучить мою душу с душой
Обольстительной Аннабель-Ли.

И всегда луч луны навевает мне сны
О пленительной Аннабель-Ли:
И зажжется ль звезда, вижу очи всегда
Обольстительной Аннабель-Ли;
И в мерцаньи ночей я все с ней, я все с ней,
С незабвенной — с невестой — с любовью моей —
Рядом с ней распростерт я вдали,
В саркофаге приморской земли.

УЛЯЛЮМ

Небеса были серого цвета,
Были сухи и скорбны листы,
Были сжаты и смяты листы.
За огнем отгоревшего лета
Ночь пришла, сон глухой черноты,
Близь туманного озера Обер,
Там, где сходятся ведьмы на пир,
Где лесной заколдованный мир,

Возле дымного озера Обер,
В зачарованной области Вир.

Там однажды, в аллее Титанов,
Я с моею Душою блуждал,
Я с Психеей, с Душою блуждал.
В эти дни трепетанья вулканов
Я сердечным огнем побеждал,
Я спешил, я горел, я блистал —
Точно серные токи на Яник,
Бороздящие горный оплот,
Возле полюса, токи, что Яник
Покидают, струясь от высот.

Мы менялися лаской привета,
Но в глазах затаилася мгла,
Наша память неверной была,
Мы забыли, что умерло лето,
Что октябрьская полночь пришла,
Мы забыли, что осень пришла,
И не вспомнили озеро Обер,
Где открылся нам некогда мир,
Это дымное озеро Обер,
И излюбленный ведьмами Вир.

Но когда уже ночь постарела,
И на звездных небесных часах
Был намек на рассвет в небесах, —
Что-то облачным сном забелело
Перед нами, в неясных лучах,
И внезапно предстал серебристый
Полумесяц, двурогой чертой,
Полумесяц Астарты лучистый,
Очевидный двойной красотой.

Я промолвил: «Астарта нежнее
И теплей, чем Диана, она —
В царстве вздохов, и вздохов полна:
Увидав, что, в тоске не слабея,

Здесь душа затомилась одна, —
Чрез созвездие Льва проникая,
Показала она в облаках
Путь к забвенной тиши в небесах,
И чело перед Львом не склоняя,
С нежной лаской в горящих глазах,
Над берлогою Льва возникая,
Засветилась для нас в небесах».

Но Психея, свой перст поднимая,
«Я не верю, — промолвила, — в сны
Этой бледной богини Весны.
О, не медли, — в ней бледность больная!
О, бежим! Поспешим! Мы должны!»
И в испуге, в истоме бессилья,
Не хотела, чтоб дальше мы шли,
И ее ослабевшие крылья
Опускались до самой земли —
И влачились — влачились в пыли.

Я ответил: «То страх лишь напрасный,
Устремимся на трепетный свет,
В нем кристальность, обмана в нем нет.
Сибиллически ярко-прекрасный,
В нем Надежды манящий привет,
Он сквозь ночь нам роняет свой след.
О, уверуем в это сиянье,
Так зовет оно вкрадчиво к снам,
Так правдивы его обещанья
Быть звездой путеводною нам,
Быть призывом, сквозь ночь, к Небесам!»

Так ласкал, утешал я Психею
Толкованием звездных судеб,
Зоркий страх в ней утих и ослеп.
И прошли до конца мы аллею,
И внезапно увидели склеп,
С круговым начертанием склеп.
«Что гласит эта надпись?» — сказал я,

И, как ветра осеннего шум,
Этот вздох, этот стон услыхал я:
«Ты не знал? Улялюм — Улялюм —
Здесь могила твоей Улялюм».

И сраженный словами ответа,
Задрожав, как на ветке листы,
Как сухие под ветром листы,
Я вскричал: «Значит, умерло лето,
Это осень и сон черноты,
Небеса потемневшего цвета.
Ровно — год, как на кладбище лета
Я здесь ночью октябрьской блуждал,
Я здесь с ношею мертвой блуждал.
Эта ночь была ночь без просвета,
Самый год в эту ночь умирал, —
Что за демон сюда нас зазвал?
О, я знаю теперь, это — Обер,
О, я знаю теперь, это — Вир,
Это — дымное озеро Обер
И излюбленный ведьмами Вир».

МОЕЙ МАТЕРИ

(К мистрисс Клемм, матери жены Эдгара По, Виргинии)

Когда в Раю, где дышит благодать,
Нездешнею любовию томимы,
Друг другу нежно шепчут серафимы,
У них нет слов нежней, чем слово Мать.

И потому-то пылко возлюбила
Моя душа тебя так звать всегда,
Ты больше мне, чем мать, с тех пор когда
Виргиния навеки опочила.

Моя родная мать мне жизнь дала,
Но рано, слишком рано умерла.
И я тебя как мать люблю, — но Боже!

Насколько ты мне более родна,
Настолько, как была моя жена
Моей душе — моей души дороже!

* * *

Из всех, кому тебя увидеть — утро,
Из всех, кому тебя не видеть — ночь,
Полнейшее исчезновенье солнца,
Изъятого из высоты Небес, —
Из всех, кто ежечасно, со слезами,
Тебя благословляет за надежду,
За жизнь, за то, что более, чем жизнь,
За возрожденье веры схороненной,
Доверья к Правде, веры в Человечность,
Из всех, что, умирая, прилегли
На жесткий одр Отчаянья немого
И вдруг вскочили, голос твой услышав,
Призывно-нежный зов: «Да будет свет!»,
Призывно-нежный голос, воплощенный
В твоих глазах, о, светлый серафим, —
Из всех, кто пред тобою так обязан,
Что молятся они, благодаря, —
О, вспомяни того, кто всех вернее,
Кто полон самой пламенной мольбой,
Подумай сердцем, это он взывает
И, создавая беглость этих строк,
Трепещет, сознавая, что душою
Он с ангелом небесным говорит.

СОН ВО СНЕ

Пусть останется с тобой
Поцелуй прощальный мой!
От тебя я ухожу,
И тебе теперь скажу:
Не ошиблась ты в одном, —

Жизнь моя была лишь сном.
Но мечта, что сном жила,
Днем ли, ночью ли ушла,
Как виденье ли, как свет,
Что мне в том, — ее уж *нет*.
Все, что зрится, мнится мне,
Все есть только сон во сне.

Я стою на берегу,
Бурю взором стерегу.
И держу в руках своих
Горсть песчинок золотых.
Как они ласкают взгляд!
Как их мало! Как скользят
Все — меж пальцев — вниз, к волне,
К глубине — на горе мне!
Как их бег мне задержать,
Как сильнее руки сжать?
Сохранится ль хоть *одна*,
Или все возьмет волна?
Или то, что зримо мне,
Все есть только сон во сне?

ЭЛЬДОРАДО

Между гор и долин
Едет рыцарь один,
Никого ему в мире не надо.
Он все едет вперед,
Он все песню поет,
Он замыслил найти Эльдорадо.

Но в скитаньях — один
Дожил он до седин,
И погасла былая отрада.
Ездил рыцарь везде,
Но не встретил нигде,
Не нашел он нигде Эльдорадо.

И когда он устал,
Пред скитальцем предстал
Странный призрак — и шепчет: «Что надо?»
Тотчас рыцарь ему:
«Расскажи, не пойму,
Укажи, где страна Эльдорадо?»

И ответила Тень:
«Где рождается день,
Лунных Гор где чуть зрима громада.
Через ад, через рай,
Все вперед поезжай,
Если хочешь найти Эльдорадо!»

ЧЕРВЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ

Во тьме безутешной — блистающий праздник
Огнями волшебный театр озарен.
Сидят серафимы, в покровах, и плачут,
И каждый печалью глубокой смущен.
Трепещут крылами и смотрят на сцену,
Надежда и ужас проходят, как сон,
И звуки оркестра в тревоге вздыхают,
Заоблачной музыки слышится стон.

Имея подобие Господа Бога,
Снуют скоморохи туда и сюда;
Ничтожные куклы приходят, уходят,
О чем-то бормочут, ворчат иногда;
Над ними нависли огромные тени,
Со сцены они не уйдут никуда,
И крыльями Кондора веют бесшумно,
С тех крыльев незримо слетает — Беда!

Мишурные лица! Но знаешь, ты знаешь,
Причудливой пьесе забвения нет.
Безумцы за Призраком гонятся жадно,
Но Призрак скользит, как блуждающий свет;
Бежит он по кругу, чтоб снова вернуться

В исходную точку, в святилище бед;
И много Безумия в драме ужасной,
И Грех в ней завязка, и Счастья в ней нет.

Но что это там? Между гаеров пестрых
Какая-то красная форма ползет,
Оттуда, где сцена окутана мраком!
То червь, — скоморохам он гибель несет.
Он корчится! — корчится! — гнусною пастью
Испуганных гаеров алчно грызет,
И ангелы стонут, и червь искаженный
Багряную кровь ненасытно сосет.

Потухли огни, догорало сиянье!
Над каждой фигурой, дрожащей, немой,
Как саван зловещий, крутится завеса,
И падает вниз, как порыв грозовой —
И ангелы, с мест поднимаясь, бледнеют,
Они утверждают, объятые тьмой,
Что эта трагедия Жизнью зовется,
Что Червь-Победитель — той драмы герой!

ГОРОД НА МОРЕ

Здесь Смерть себе воздвигла трон,
Здесь город, призрачный, как сон,
Стоит в уединенье странном,
Вдали на Западе туманном,
Где добрый, злой, и лучший, и злодей
Прияли сон — забвение страстей.
Здесь храмы и дворцы и башни,
Изъеденные силой дней,
В своей недвижности всегдашней,
В нагроможденности теней,
Ничем на наши не похожи.
Кругом, где ветер не дохнет,
В своем невозмутимом ложе,
Застыла гладь угрюмых вод.

Над этим городом печальным,
В ночь безысходную его,
Не вспыхнет луч на Небе дальном.
Лишь с моря, тускло и мертво,
Вдоль башен бледный свет струится,
Меж капищ, меж дворцов змеится,
Вдоль стен, пронзивших небосклон,
Бегущих в высь, как Вавилон,
Среди изваянных беседок,
Среди растений из камней,
Среди видений бывших дней,
Совсем забытых напоследок,
Средь полных смутной мглой беседок,
Где сетью мраморной горят
Фиалки, плющ и виноград.

Не отражая небосвод,
Застыла гладь угрюмых вод.
И тени башен пали вниз,
И тени с башнями слились,
Как будто вдруг, и те, и те,
Они повисли в пустоте.
Меж тем как с башни — мрачный вид!
Смерть исполинская глядит.

Зияет сумрак смутных снов
Разверстых капищ и гробов,
С горящей, в уровень, водой;
Но блеск убранства золотой
На опочивших мертвецах,
И бриллианты, что звездой
Горят у идолов в глазах,
Не могут выманить волны
Из этой водной тишины.
Хотя бы только зыбь прошла
По гладкой плоскости стекла,
Хотя бы ветер чуть дохнул
И дрожью влагу шевельнул.
Но нет намека, что вдали,
Там где-то дышат корабли,

Намека нет на зыбь морей,
Не страшных ясностью своей.
Но чу! Возникла дрожь в волне!
Пронесся ропот в вышине!
Как будто башни, вдруг осев,
Разъяли в море сонный зев, —
Как будто их верхи, впотьмах,
Пробел родили в Небесах.
Краснее зыбь морских валов,
Слабей дыхание Часов.
И в час, когда, стеня в волне,
Сойдет тот город к глубине,
Прияв его в свою тюрьму,
Восстанет Ад, качая тьму,
И весь поклонится ему.

ПРИМЕЧАНИЯ

ХОП-ФРОГ
(HOP-FROG)

Первая публикация в газете «The Flag of Our Union» 17 марта 1849 г. под названием «Прыг-Скок, или Восемь скованных орангутангов».

Впервые на русском языке в 1885 г. под названием «Хоп-Фрог».

В вышедшей в 1970 г. в серии «Литературные памятники» книге «Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов» этот рассказ (перевод В. Рогова) назывался «Прыг-Скок».

1 *Рабле*, Франсуа (1493—1553) — известнейший французский писатель эпохи Возрождения, автор сатирического повествования «Гаргантюа и Пантагрюэль».

2 *Вольтер* (1694—1778) — один из крупнейших французских философов-просветителей XVIII в., писатель, историк, правозащитник. Урожденный Франсуа-Мари Аруэ; Вольтер — анаграмма — «Аруэ младший».

3 *...каждой из кариатид* — статуя одетой женщины, введенная в употребление древнегреческим зодчеством для поддержки антаблемента и, следовательно, заменявшая собой колонну или пилястру.

ОВАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
(THE OVAL PORTRAIT)

Первая публикация в 1842 г. в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» под названием «Life in Death» («Жизнь в смерти»).

1 *Радклиф*, Анна (1764—1823) — английская писательница, автор романов в готическом стиле «Удольфские тайны», «Итальянец», «Роман в лесу».

2 *Салли*, Томас (1783—1872) — американский художник.

3 *...в мавританском вкусе* — характерен повышенно-декоративный орнамент, насыщенный растительными, геометрическими и эпиграфическими мотивами.

ЛИГЕЙЯ
(LIGEIA)

Впервые опубликовано в 1838 г. в журнале «The American Museum of Science, Literature, and the Arts».

Впервые на русском языке в 1874 г. в журнале «Дело».

1 *Гленвилл*, Джозеф (1636—1680) — английский священник и философ.

2 *...бледная туманнокрылая Аштофег* — этой богине поклонялись жители древнего города Сидона (ныне город Сайда в Ливане).

3 *делосских дочерей* — на острове Делос Лета родила Аполлона и Артемиду, которая жила там с нимфами.

4 *«Нет изысканной красоты, — говорит Бэкон, лорд Веруламский... — без некоторой странности в соразмерности частей»* — Бэкон, лорд Веруламский (1561—1626) — английский государственный деятель, эссеист и философ. Основоположник эмпиризма. Цитата взята из его эссе «О красоте».

5 *Нурджахад* — речь идет о романе «История Нурджахада» английской писательницы Фрэнсис Шеридан.

6 *..легендарных гурий Турции* — по мусульманской мифологии, вечно юные девы, услаждающие праведников в раю.

7 *Колодец Демокрита* — речь идет о выражении, якобы принадлежащем Демокриту: «Истина обитает на дне колодца».

8 *...звездными близнецами Леды* — в созвездии Близнецов есть две яркие звезды Кастор и Поллукс — братья-близнецы, рожденные Ледой от Зевса, согласно греческой мифологии.

9 *...звезда шестой величины... в созвездии Лиры* — звезда Вега.

10 *Друидический* — друиды — жрецы и поэты у кельтских на-родов.

11 *Луксор* — город в верхнем Египте, на восточном берегу Нила, расположен на месте древних Фив.

ДЕМОН ИЗВРАЩЕННОСТИ
(THE IMP OF PERVERSE)

Впервые опубликовано в 1845 г. в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine».

На русском языке опубликовано впервые в 1895 г. под названием «Демон извращенности».

В вышедшей в 1970 г. в серии «Литературные памятники» книге «Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов» этот рассказ (перевод В. Рогова) назывался «Бес противоречия».

1 *Френолог* — сторонник френологии. Френология — концепция, согласно которой о психических особенностях человека можно судить по строению поверхности черепа. Френология подвергалась и подвергается научной критике.

2 *Шпурцгейм*, Иоганн Каспар — френолог, установил 37 способностей разума, связав каждую с определенным участком коры головного мозга.

ЧЕРНЫЙ КОТ
(THE BLACK CAT)

Впервые опубликовано в 1843 г. в журнале «Saturday Evening Post».

Впервые на русском языке в журнале «Время» в 1861 г.

МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ
(THE MASQUE OF THE RED DEATH)

Впервые опубликовано в 1842 г. в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine».

Впервые на русском языке — в 1870 г. в журнале «Отечественные записки» под названием «Красная Смерть».

1 *«Эрнани»* — драма Виктора Гюго (1802—1885).

2 *...фигуры, кружащиеся в вальсе* — только входивший в моду во времена Эдгара По вальс долгое время считался танцем неприличным.

ПРОДОЛГОВАТЫЙ ЯЩИК
(THE OBLONG BOX)

Впервые опубликовано в журнале «Godey's Magazine and Lady's Book» (Филадельфия) в сентябре 1844 г. Написано не позднее мая 1844 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 13 декабря 1845 г. с небольшими изменениями.

На русском языке впервые в журнале «Библиотека для чтения», март 1857 г., под названием «Длинный ящик».

В вышедшей в 1970 г. в серии «Литературные памятники» книге «Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов» этот рассказ (перевод Н. Демуровой) назывался «Длинный ларь».

1 *Пакетбот Independence* — корабль американского флота.
2 *Рубини* — фамилия итальянских художников XVI—XVIII вв.
3 *Олбани, штат Нью-Йорк* — город на северо-востоке США, столица штата Нью-Йорк и округа Олбани.
4 *Мыс Гаттерас* — одно из самых опасных для судоходства мест, расположен на восточном побережье США.
5 *Контр-бизань* — косой парус, ставящийся на бизань-мачте.
Фок-зейл — нижний прямой парус фок-мачты (первой мачты корабля).
6 *Бухта Окракок* — бухта, расположенная у побережья Северной Каролины в США.

ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ (THE FALL OF THE HOUSE OF USHER)

Впервые опубликовано в 1839 г. в журнале «Burton's Gentleman's Magazine». В первой публикации отсутствовал эпиграф.

Впервые на русском языке в 1881 г. в «Литературном журнале» под названием «Падение дома Ушеров».

1 *Беранже* — заключительные строки песни «Отказ» Пьера Жана де Беранже (1780—1857) — французского поэта и сочинителя песен, известного прежде всего своими сатирическими произведениями.
2 *Фюзели*, Иоганн Генрих (1741—1825) — или Генри Фюзели — швейцарский и английский живописец, график, историк и теоретик искусства. Иллюстрировал Шекспира и Мильтона. Интересно отметить, что в приемной З. Фрейда висела репродукция картины Фюзели «Кошмар».
3 *Уотсон*, Ричард (1737—1816) — английский химик, автор «Очерков по химии» (1781—1787).
Персиваль, Томас (1740—1804) — английский врач, автор «Медицинской этики» (1803).
Спалланцани, Ладзаро (1729—1799) — итальянский натуралист. Работы в различных областях естествознания. Особенно известны его экспериментальные биологические исследования. Впервые опытным путем доказал невозможность самопроиз-

вольного зарождения микроскопических организмов (инфузорий).

4 *Грессе,* Жан Батист Луи (1709—1777) — французский поэт и драматург. За поэму «Вер-Вер» (1734) был исключен из ордена иезуитов.

Макиавелли, Никколо (1469—1527) — итальянский мыслитель, писатель, политический деятель. В новелле «Бельфагор» рассказывает о том, как дьявол посетил Землю.

Сведенборг, Эммануил (1688—1772) — шведский ученый-естествоиспытатель, теолог, изобретатель.

Хольберг, Людвиг (1684—1754) — выдающийся норвежско-датский писатель, положивший начало новой датской литературе. Сатирический роман «Путешествие Нильса Клима под землей» (1742) написан на латыни; герой посещает вымышленные страны. Хольберг высмеивает здесь предрассудки своего времени, устаревшие порядки и обычаи.

Фладд, Роберт (1574—1637) — английский врач, астролог, мыслитель-мистик.

Д'Эндажине, Жан — французский мистик и хиромант.

Делашамбр, Марен Кюро (1594—1669) — французский хиромант.

Тик, Людвиг Иоганн (1773—1853) — немецкий поэт, писатель, драматург, переводчик. Речь идет о романе «Старая книга, или Путешествие в голубую даль» (1835).

Кампанелла, Томмазо (1568—1639) — итальянский ученый, писатель и философ-утопист. Утопический роман «Город Солнца» был написан им в тюрьме, где он провел 27 лет.

Жирони, Эймерик де (ок. 1320—1399) — испанский инквизитор. В «Directorium Inquisitorum» («Руководство по инквизиции») рассказывается о различных методах борьбы с нечистой силой.

5 *«Безрассудное свидание»... сэра Ланселота Кеннинга* — вымышленные Эдгаром По автор и произведение. Этельред — имя королей в Британии X—XI вв.

СЕРДЦЕ-ИЗОБЛИЧИТЕЛЬ (THE TELL-TALE HEART)

Первая публикация в 1843 г. в журнале «The Pioneer».

Впервые на русском языке в 1861 г. в журнале «Время».

В вышедшей в 1970 г. в серии «Литературные памятники» книге «Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов» этот рассказ (перевод В. Неделина) назывался «Сердце-обличитель».

БЕРЕНИКА
(BERENICE)

Впервые опубликовано в 1835 г. в журнале «The Southern Literary Messenger».

Впервые на русском языке в 1874 г. в журнале «Дело».

1 *Ибн-Зайат* — арабский поэт XI в.

2 *Арнгейм* — город на реке Рейне.

3 *Самум* — (*араб.* — знойный ветер) — местное название сухих горячих ветров в пустынях Северной Африки и Аравийского полуострова.

4 *Курион,* Делий Секундус (1503—1569) — итальянский протестант, с 1547 г. профессор в Базеле, антитринитарий. Антитринитарии — приверженцы религиозных учений и сект, не принимающих основной догмат христианства — догмат о Троице. Книга Куриона «О величии блаженного царства божия» издана в 1554 г. *Августин,* Аврелий, (354—430) — философ, влиятельнейший проповедник, христианский богослов и политик. Святой католической и православных церквей (в православии обычно именуется блаженный Августин). Один из отцов Церкви, основатель августинизма. Родоначальник христианской философии истории. Христианский неоплатонизм Августина господствовал в западноевропейской философии и католической теологии до XIII в. *«Град Божий»* (413—427) — одно из важнейших сочинений Августина. В книге была осуществлена нетрадиционная разработка проблемы периодизации исторического процесса.
Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — ок. 230) — один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей и теологов, автор сорока трактатов, из которых сохранился тридцать один. В зарождавшейся теологии Тертуллиан впервые выразил концепцию Троицы. Положил начало латинской патристике и церковной латыни — языку средневековой западной мысли. Э. По приводится цитата из его книги «О пресуществлении Христа».

5 *Птолемей* Гефестион (II в.) — древнегреческий ученый. Разработал так называемую геоцентрическую систему мира, согласно которой все видимые движения небесных светил объяснялись их движением (часто очень сложным) вокруг неподвижной Земли.

6 *Асфодель* — название рода растений из семейства асфоделиевых; травянистое растение с толстыми корневищами, усаженными продолговатыми «шишками». У древних греков асфодель был символом забвения.

7 *Симонид* Кеосский (ок. 556—468 до н.э.) — древнегреческий лирический поэт. Уроженец острова Кеос. Под именем Симонида дошли примерно 100 эпиграмм (подлинность многих весьма сомнительна). Часть из них — реальные надписи, надгробные или посвятительные.

Гальциона, или Альциона — в греческой мифологии дочь бога ветров Эола и жена Кеика. Когда Кеик погиб в кораблекрушении, Альциона, охваченная горем, бросилась в море, и боги превратили их обоих в птиц. Алкионовыми днями называли две недели тихой погоды около дня зимнего солнцестояния; в эти дни Эол смирял ветры, чтобы Альциона могла высидеть птенцов в своем гнезде, плавающем по волнам.

8 *Салле,* Мари (1707—1756) — французская артистка балета. В 1721 г. дебютировала в «Парижской Опере». Не найдя признания на родине, с 1725 г. работала в Лондоне в антрепризе Дж. Рича. В 1727-м, после успеха в Лондоне, вступила в труппу «Парижской Оперы». В 1739 покинула сцену.

МОРЕЛЛА
(MORELLA)

Первая публикация в 1835 г. в журнале «The Southern Literary Messenger».

Впервые на русском языке в 1884 г. в журнале «Приложение романов к газете „Свет“».

1 *Платон, «Пир»* — Платон (ок. 428—347 до н. э.) — философ, яркий представитель античного объективного идеализма, идеолог рабовладельческой аристократии. «Пир» — один из лучших диалогов Платона, в нем рассказывается о пиршестве у поэта Агафона по случаю победы, одержанной им на театральном состязании. Участники пира поочередно произносят речи, восхваляющие бога любви Эрота.

2 *...пресбургского образования* — речь идет о городе Пресбурге в Словакии, современное название — Братислава, ныне — столица Словакии.

3 *...как Гинном превратился в Геенну* — Гинном — долина в окрестностях Иерусалима («долина плача»). Отсюда появилось библейское название ада — геенна.

4 *Фихте,* Иоганн Готлиб (1762 — 1814) — немецкий философ и общественный деятель, представитель немецкого классического идеализма.

5 *Шеллинг*, Фридрих Вильгельм Йозеф (1775 — 1854) — один из виднейших представителей немецкой классической философии.

6 *Локк*, Джон (1632—1704) — английский философ, иногда называемый «интеллектуальным вождем XVIII в.» и первым философом эпохи Просвещения. Его теория познания и социальная философия оказали глубокое воздействие на историю культуры и общества, в частности на разработку американской конституции. Речь идет о сочинении «Опыт о человеческом разумении» (1690).

7 *Пестум* — первоначальное название Посидония — сибарийская колония, основанная в первые годы VI в. до н. э. на западном берегу Лукании (юго-восточнее нынешнего Салерно), но позднее перенесенная дальше вглубь Великой Греции по причине дурной воды и болотистой почвы. Этот город славился своими цветами.

8 *Цикута* — вёх ядовитый (лат. *Cicuta virosa*) — ядовитое растение семейства зонтичных. Другие названия: цикута, кошачья петрушка, вяха, омег, омежник, водяная бешеница, мутник, собачий дягиль, гориголова, свиная вошь. Одно из самых ядовитых растений.

БОЧКА АМОНТИЛЬЯДО
(THE CASK OF AMONTILLADO)

Впервые опубликовано в 1846 г. в журнале «Godey's Magazine and Lady's Book».

Впервые на русском языке в 1880 г. в журнале «Еженедельное новое время» под названием «Бочка Амонтилладо».

В вышедшей в 1970 г. в серии «Литературные памятники» книге «Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов» этот рассказ (перевод О. Холмской) назывался «Бочонок Амонтильядо».

1 *Медок* — достаточно легкое французское вино, употребляется молодым.

2 *«Никто не оскорбит меня безнаказанно»* — старинная надпись на гербе Шотландии и шотландского рыцарского ордена — ордена Чертополоха.

3 *Vin de Grave* — вино, производящееся в виноградарско-винодельческом районе Грав, входящем в состав виноградарско-винодельческого района Бордо (Франция).

4 *Масон*, или франкмасон, происходит от *фр.* franc-maçon, употребляется также буквальный перевод этого названия — вольный каменщик. Масонство (франкомасонство) — религиозно-

этическое движение, возникшее в XVII в. в виде тайной международной организации с мистическими обрядами. Первые масонские ложи были основаны в XVII в. в Англии. Существуют легенды о значительно более древнем происхождении масонства, начало которого выводится от ордена тамплиеров и гильдии каменщиков XIII в.

5 *...великих катакомб Парижа* — сеть извилистых подземных туннелей и пещер искусственного типа. Общая протяженность, по разным данным от 187 до 300 километров. С конца XVIII в. катакомбы служат местом покоя останкам почти шести миллионов человек.

ЧЕЛОВЕК ТОЛПЫ (THE MAN OF THE CROWD)

Первая публикация в 1840 г. одновременно в двух журналах, «The Casket» и «Burton's Gentleman's Magazine».

Первая публикация на русском языке в 1857 г. в журнале «Библиотека для чтения».

1 *Лабрюйер*, Жан (1645–1696) — французский писатель, сатирик-моралист, член Французской академии, отнесенный к числу «великих классиков». Получив юридическое образование, сблизился с двором и стал вхож в высшие аристократические круги, пристально наблюдал за характерами и нравами знати. В 1693 г. был избран в Академию. В 1688 г. он выпустил свою главную книгу «Характеры, или Нравы нынешнего века», которая за шесть лет была переиздана девять раз во Франции и почти сразу же переведена на основные европейские языки.

2 *Лейбниц*, Готфрид Вильгельм (1646 — 1716) — немецкий философ, математик, физик, языковед. Основатель и президент Бранденбургского научного общества. Один из создателей дифференциального и интегрального исчислений.

3 *Горгий* (483–380 до н. э.) — древнегреческий софист, крупнейший теоретик и учитель красноречия V в. до н. э.

4 *Евпатриды* — родовая землевладельческая знать в Афинах (Древняя Греция). Только они могли избираться на должность архонта (высшее должностное лицо в древнегреческих полисах) и быть членами ареопага (орган власти в Древних Афинах, назван по месту заседаний на холме Ареса возле Акрополя). В результате демократических реформ Солона и Клисфена утратили свои привилегии.

5 *Лукиан* (ок. 120—180) — греческий писатель-сатирик, известный как «Лукиан из Самосаты». Творчество Лукиана, не дошедшее до нас в подлинниках, обширно и включает философские диалоги, сатиры, биографии и романы приключений и путешествий (часто откровенно пародийные), имеющие отношение к предыстории научной фантастики. Речь идет о диалоге Лукиана «Изображения».

6 *Тертуллиан* — см. примечание 4 к рассказу «Береника».

7 *Идиосинкразия* (от *греч.* idios — своеобразный, особый, необычный и synkrasis — смешение) — болезненная реакция, возникающая у отдельных людей на раздражители, которые у большинства других не вызывают подобных явлений. Имеется в виду болезненность и выразительность лица.

8 *Ретш*, Мориц (1779—1857) — талантливый немецкий художник, иллюстрировал трагедию Гёте «Фауст»

КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК
(THE PIT AND THE PENDULUM)

Впервые опубликовано в 1843 г. в сборнике «The Gift» («Подарок»).

Впервые на русском языке в 1870 г. в журнале «Отечественные записки».

1 *...в Париже* — цитата из книги И. Дизраэли (1804—1881) «Достопримечательности литературы».

2 *Гальваническая батарея*— химический источник электрического тока, названный в честь Луиджи Гальвани (1737—1798).

3 *Auto-da-fé* — аутодафе, буквально с *исп.* «акт веры». Оглашение и приведение приговора инквизиции в исполнение: обычно публичное сожжение еретиков и еретических книг на кострах в средние века.

4 *Толедо* — город в Испании, столица провинции Толедо и автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Город расположен к юго-западу от Мадрида на реке Тахо и является центром архиепископства. Город внесен в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

5 *Ultima Thule* — Туле, Фуле (*греч.* и *лат.* Thule) — согласно сообщениям античных географов, обитаемый остров, вошел в историю географических открытий и в художественную литературу под названием Ultima Thule, что стало обозначать крайний северный предел обитаемой земли.

6 *Генерал Лассаль* — Лассаль, Антуан (1775—1809) — французский дивизионный генерал, кавалерист. Участник войн Французской буржуазной республики и империи.

ВИЛЬЯМ ВИЛЬСОН
(WILLIAM WILSON)

Впервые опубликовано в 1840 г. в сборнике «The Gift» («Подарок»).

На русском языке впервые в 1858 г.

1 *«Фаронида»* — героическая поэма в пяти книгах английского писателя Вильяма Чемберлена (1619—1689).

2 *Гелиогабал* (Элагабал) (204 — 222) — римский император из династии Северов. Император был развратен и избалован: он хвалился, что ни одна продажная женщина не имела столько любовников, сколько он. Самым страшным в правлении Гелиогабала были человеческие жертвы, которые приносили по всей Италии.

3 *Дресва* — мелкий щебень, крупный песок, получающийся от выветривания горных пород и при обделке камня.

4 *Oh, le bon temps, que ce siucle de fer!* — О, какое хорошее время, этот железный век! (*фр.*). Вольтер, «Сатир».

5 *... богат как Ирод Аттический* — Ирод Аттик, Тиберий Клавдий (ок. 101—177) — знаменитый афинянин, прославившийся своим богатством и ораторским искусством. По преданию, нашел в одном из своих домов в Афинах богатейший клад.

УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ
(THE MURDERS IN THE RUE MORGUE)

Впервые опубликовано в 1841 г. в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine».

Впервые на русском языке в 1857 г. под названием «Загадочное убийство» в журнале «Сын отечества».

1 *Браун*, Томас (1605—1682) — английский автор и врач. В 1671 г. был посвящен в рыцари Карлом II. Вдохновленный открытием древних похоронных урн вблизи Норфолка, он написал «Захоронения в урнах» (*«Hydriotaphia: Urn Burial»*; 1658), эпиграф взят из этого сочинения сэра Томаса Брауна.

2 *Хойл*, Эдмонд (1672—1769) — был большим авторитетом среди игроков в карты, его часто называли «отцом виста».

3 *Френолог* — сторонник френологии. Френология — концепция, согласно которой о психических особенностях человека можно судить по строению поверхности черепа. Френология подвергалась и подвергается научной критике.

4 *Сен-Жерменское предместье* — известный пригород Парижа, где жила высшая знать.

5 *Пале-Рояль* — (*фр.* Palais Royal, «королевский дворец») — площадь, дворец и парк, расположенные в Париже напротив северного крыла Лувра. Дворец был построен по проекту Жака Лемерсье для кардинала Ришелье и сначала назывался Кардинальским.

6 *Театр «Варьете»* — театр в Париже, открылся в начале XIX в. Театр «Варьете», возглавляемый мадмуазель Монтансье, был изгнан Наполеоном из Королевского дворца. Считалось, что труппе, представлявшей «вульгарные водевили», там не место. «Варьете» прославился своими балами-маскарадами. В зале «Варьете», когда за его стенами бушевала эпидемия холеры, в 1832 г. впервые станцевали канкан.

7 *Кребийон*, Проспер Жолио де (1674—1762) — французский драматург, чье творчество знаменовало собою кризис классицизма, выразившийся в утрате трагедией гражданской тематики, высоких этических идеалов, строгой рационально-осмысленной формы и подмене их, при соблюдении внешней благопристойности изображения, патологическими характерами, нагромождением «ужасов» (убийств, кровосмесительных связей), усложненной интригой, сценическими эффектами. Его перу принадлежит трагедия «Ксеркс» (1714).

8 *Эпикур* (ок. 342/341 — 271/270 до н.э.) — древнегреческий философ, основатель эпикуреизма в Афинах («Сад Эпикура»), в котором развил Аристиппову этику наслаждений в сочетании с Демокритовым учением об атомах.

Никольс, Томас Лоу (1815—1901)—американский врач, общественный деятель и писатель.

9 *Ламартин*, Альфонс де (1791—1869) — французский поэт, историк, политический деятель. Автор сборников «Поэтические размышления», «Новые поэтические размышления».

10 *Первая буква звук потеряла первичный* — цитата из Овидия, «Фасты».

11 *Журден*, Жан-Батист — герой комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670), мещанин. Журден у Мольера надевал халат, чтобы было удобнее слушать музыку.

12 *Видок*, Франсуа Эжен (1775—1857) — известный французский сыщик. Выйдя в отставку, написал «Мемуары» (1826). В 1836 г.

организовал частное детективное бюро, которое было закрыто властями. В 1844 г. опубликовал «Истинные тайны Парижа».

13 *Истина не всегда находится в колодце* — сравнить с выражением, якобы принадлежащем Демокриту: «истина обитает на дне колодца».

14 *Кювье*, Жорж (1769—1832) — французский зоолог, один из реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных, иностранный почетный член Петербургской АН (1802).

15 *Борнео* — третий по величине остров в мире. Находится в центре Малайского архипелага в Юго-Восточной Азии. Единственный остров, разделенный сразу между тремя признанными государствами: Индонезией, Малайзией и Брунеем.

16 *Лаверна* — богиня наживы, покровительница воров и обманщиков, ей была посвящена роща близ Рима. В древности, вероятно, была богиней ночной тьмы.

17 *Руссо, «Новая Элоиза»* — цитата из романа Жана Жака Руссо (1712—1778) «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), который повествует о любви аристократки Юлии д'Этанж и разночинца Сен-Пре.

УКРАДЕННОЕ ПИСЬМО
(THE PURLOINED LETTER)

Первая публикация — 1845 г., сборник «The Gift» («Подарок»).

Впервые на русском языке в 1857 г. в журнале «Сын отечества» под названием «Украденное письмо».

В вышедшей в 1970 г. в серии «Литературные памятники» книге «Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов» этот рассказ (перевод Н. Демуровой) назывался «Похищенное письмо».

1 *Сенека*, Луций Анней (6—3 до н. э. — 65 н. э.) — римский философ-стоик, поэт и государственный деятель. Воспитатель Нерона и один из крупнейших представителей стоицизма. Цитата взята из его «Писем к Луцилию».

2 *Прокрустово ложе* — крылатое выражение, означает желание подогнать что-либо под жесткие рамки или искусственную мерку, иногда жертвуя ради этого чем-нибудь существенным. Прокруст — персонаж мифов Древней Греции, разбойник, подстерегавший путников на дороге между Мегарой и Афинами. Он изготовил два ложа: на большое ложе он укладывал небольших ростом путников и бил их молотом, чтобы растянуть тела, на маленькое — высоких, и отпиливал те части тела, которые на ложе не помещались.

3 *Кампанелла,* Томмазо (1568—1639) — итальянский ученый, писатель и философ-утопист. Написал утопический роман «Город Солнца», будучи в тюрьме, где он провел 27 лет своей жизни.

Ларошфуко, Франсуа (1613—1680) — французский политический деятель и известный мемуарист, автор знаменитых философских афоризмов.

Лабрюйер, Жан (1645—1696) — французский писатель-моралист.

Макиавелли, Николло (1469—1527) — итальянский писатель и дипломат.

4 *Шамфор,* Себастьян (1741—1794) — французский писатель, мыслитель, секретарь Якобинского клуба.

5 *Брайант,* Джейкоб (1715—1804) — ученый-антиквар; наибольшей известностью пользовался его труд «Новая система, или Анализ древней мифологии».

6 *О легком нисшествии в Преисподнюю* — Вергилий, «Энеида».

7 *Каталани,* Анжелика (1780—1849) — итальянская певица. Ее выступления проходили с огромным успехом по всей Европе, она обладала феноменальным голосом чрезвычайно красивого и чистого тембра, доходившего до редкой высоты (соль в третьей октаве).

8 *Вы найдете это в «Атрепе» Кребийона* — речь идет о трагедии французского драматурга П. Кребийона-старшего (1674—1762). Главные герои пьесы — два брата, мстящие друг другу: царь Атрей убивает детей Фиеста, Фиест соблазняет жену Атрея и проклинает его дом.

ЗОЛОТОЙ ЖУК
(THE GOLD-BUG)

Впервые опубликовано в 1843 г. в газете «The Dollar Newspaper».

На русском языке впервые в «Новой библиотеке для воспитания», 1847 г.

1 *«Все не правы»* — цитата из комедии английского драматурга Артура Мерфи (1727—1805).

2 *Крепость Моултри* — форт в бухте Чарлстона (Южная Каролина). Именно там происходили первые столкновения между конфедератами и федеральными войсками во время войны Севера и Юга.

3 *Сваммердам,* Ян (1637—1680) — нидерландский натуралист, один из основоположников научной микроскопии. Ему принадлежат труды по анатомии животных, преимущественно насекомых (строение на различных стадиях метаморфоза).

4 *Тюльпановое дерево* — высокое дерево семейства магнолиевых, в природных условиях растущее на востоке Северной Америки.

5 *Цафра* — окись кобальта, применялась в Древнем Египте, Вавилоне, Китае для окрашивания стекол и эмалей в синий цвет.

6 *«Царская водка»* — смесь насыщенных растворов соляной и азотной кислот.

7 *Кидд*, Вильям (ок. 1650—1701) — один из самых известных персонажей пиратской истории, он был капером — пиратом, занимавшимся грабежами с благословения английской короны. Он должен был отдавать английскому королю Вильгельму III десять процентов от награбленного. По легенде, спрятал баснословный клад где-то на американском побережье.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ С МУМИЕЙ (SOME WORDS WITH A MUMMY)

Впервые опубликовано в 1845 г. в журнале «The American Review».

Впервые на русском языке в 1895 г. в книге «Э. По. Избранные сочинения» под названием «Беседа с мумией».

В вышедшей в 1970 г. в серии «Литературные памятники» книге «Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов» этот рассказ (перевод И. Бернштейн) назывался «Разговор с мумией».

1 *Стаут* — темное пиво, приготовленное с использованием жженого солода с добавлением карамельного солода и жареного ячменя. Первоначально варился в Ирландии как разновидность портера. Очень популярен в Великобритании и Ирландии.

2 *Сикомор* (platanus) — библейская смоковница, дерево из рода тутовых. Распространено в Восточной Африке. Древесина твердая, прочная (в Древнем Египте использовалась для изготовления саркофагов). С древности культивируется ради съедобных плодов.

3 *Глиддон*, Джордж Робинс (1809—1857) — американский консул в Египте, читал лекции по египтологии.

4 *Вольтовый столб* — применявшееся на заре электротехники устройство для получения электричества. Представлял собой простейшую батарею гальванических элементов с одной жидкостью: между парами цинковых и медных пластин (дисков) прокладывались суконные кружки, смоченные щелочью или кислотой.

5 *Барнес*, Джон (1761—1841) — английский актер.

6 *Скарабей* — в египетской мифологии этот жук почитался как священное животное богов Солнца и считался символом сози-

дательной силы Солнца, возрождения в загробной жизни. Обитает в южных районах Западной Европы, в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

7 *Френология* — см. примечание 3 к рассказу «Убийство на улице Морг».

8 *Шпурцгейм*, Иоганн Кристоф (1776—1832) — немецкий френолог.

Галль, Франц Иосиф (1758—1828) — немецкий врач, основоположник френологии.

9 *Месмер*, Фридрих-Антон (1734—1815) — австрийский врач, считавший, что вылечить любую болезнь можно с помощью «животного магнетизма» (гипноза).

10 *Птолемей*, Клавдий (ок. 87—165) — древнегреческий астроном, математик, музыкальный теоретик и географ.

11 *«О лике, видимом на Луне»* — диалог Плутарха (ок. 45 — ок. 127), древнегреческого философа, биографа, моралиста.

12 *Диодор Сицилийский* (ок. 90—21 до н. э.) — древнегреческий историк, автор сочинения «Историческая библиотека».

13 *Боулинг Грин* — Bowling Green — лужайка для игры в шары (*англ.*), квартал в центре Нью-Йорка.

14 *Азнак* — вымышленное название.

15 *Карнак* — населенный пункт в Верхнем Египте, севернее Луксора. Местонахождение древнего храма бога Амона, а также чтившихся вместе с ним богини Мут и богов Монту и Хонсу в Фивах (египетское название храма — Ипет-сут, «Самое избранное из всех мест» — это известный Карнакский храм, он был главной святыней египетского государства на протяжении двух тысяч лет).

16 *Великий Оазис* (Эль-Харга) — крупнейший в Западной пустыне оазис. На территории этого оазиса находится храм Хибис, построенный на рубеже IV—V вв. до н.э. во время нашествия персидских завоевателей. Храм представляет собой образец классической древнеегипетской архитектуры.

17 *...из открытия Герона, через посредничество Соломона де-Ко* — древнегреческий ученый Герон Александрийский (ок. 10—75) в своем сочинении «Пневматика» (ок. 130 до н. э.) описал принцип работы паровой турбины, а французский ученый, инженер-механик Соломон де-Ко (1576—1626) в 1615 г. изобрел паровую машину.

Лопе де Вега

ОВЕЧИЙ КЛЮЧ

Драма

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Король Дон Фернандо.
Королева Донья Исабель.
Маэстре Ордена Калатравы.
Дон Манрикэ.
Фернан Гомес.
Лауренсия.
Фрондосо.
Паскуаля.
Хасинта.
Ортуньо.
Флорес.
Эстебан, алькальд (судья общинного совета).
Алонсо, алькальд.
Хуан Рыжий.
Менго.
Баррильдо.
Леонело.
Симбранос, солдат.
Судья.
Ребенок.
Три Рехидора (члены общинного совета).
Крестьяне и крестьянки.
Солдаты.
Музыканты.
Свита.

Действие происходит в Овечьем Ключе (Фуэнте Овехуна) и в других местах.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Обиталище Маэстре Калатравы в Альмагро.

СЦЕНА 1-я

Командор Фернан Гомес, Флорес, Ортуньо.

Командор

Маэстре знает о моем
Прибытьи в город?

Флорес

Да, он знает.

Ортуньо

С годами важность возростает.

Командор

Он также знает и о том,
Что я Фернан Гомес Гусманом
Зовусь?

Флорес

Но юность не укор! —
Ты здесь не пред большим изъяном.

Командор

Но я Великий Командор,
И это знать — уже довольно.

Ортуньо

Найдется, кто ему шепнет,
Что неучтивым быть привольно.

Командор

Так — мало он любви найдет.
Учтивость ключ к сердечной воле,
Невежливость есть глупый ход,
И только путь к вражде, не боле.

Ортуньо

Когда бы неучтивый знал,
Как будит он негодованье
Во всех, и в тех, кто, смирно-мал,
К его ногам несет лобзанье,
Он предпочел бы умереть
Скорей, чем быть столь неучтивым.

Флорес

Как тягостно быть терпеливым,
Когда другой решил посметь
Быть грубым, в грезах своенравных,
Ведь грубость — глупость между равных,
Кто груб с неравным — самодур.
И здесь не будь особо хмур: —
Он юн; не ведает он, право,
Что делать, чтоб любимым быть.

Командор

Коль шпагу смог он получить,
И крест, в котором Калатрава,
Он мог понять в тот самый час,
Что означает быть учтивым.

Флорес

Недоброхотство ль между вас,
Иль он замыслил быть спесивым,
Иль случай тут, поймешь сейчас.

Ортуньо

Вернись домой, коль есть сомненья.

Командор

Хочу проверить этот раз.

СЦЕНА 2-я

Маэстре Калатравы, Свита. – Те же.

Маэстре

Фернан Гомес Гусман, у вас
Прошу покорно извиненья.
Вот только что я получил
Известье о прибытьи вашем.

Командор

На вас я тут разгневан был,
Терпение до края чаши
Достигло: В том мой к вам укор,
Что мы лишь в вежливости правы.
Ведь вы маэстре Калатравы,
Я ваш слуга и командор.

Маэстре

Фернандо, это небреженье
Да не поставится мне в счет.
Я повторяю извиненья.

Командор

Вы мне должны являть почет.
Я жизнью жертвовал своею,
Среди всех трудностей, за вас,
Вас заменяю, как умею,
Чтоб юность довершила час

Маэстре

Вы правы. И святые знаки,
Что на груди у нас крестом
Сияют как звезда во мраке,
Неложно говорят о том,
Что как отца я вас родного
Чтить должен, это зримо мне.

Командор

Доволен вами я вполне.

Маэстре

А про войну какое слово?

Командор

С вниманьем слушайте рассказ,
Вас долг зовет к себе сурово.

Маэстре

Скажите. Слушаю я вас.

Командор

Маэстре Высший, Дон Родриго
Тэльес Хирон, высоким саном
Вас наделил отец ваш светлый,
Свое вам место передав,
Уж восемь лет, как в вашу честь он
От маэстрии отказался,
И короли и командоры
Клялись решенье исполнять.
И Пий Второй свои дал буллы,
За ним свои дал буллы Павел,
Но с тем, чтоб Дон Хуан Пачеко,
Маэстре Сантиаго, вам
Помощник был: Теперь он умер,
И все правленье только ваше,
Хоть невелик еще ваш возраст,
И путь ваш обозначен так,
Что вы обязаны здесь честью
Пути своих родных держаться.

Энрике отошел Четвертый,
И, от супруги восприняв
Наследство гордое, Кастилью,
Король Алонсо Португальский
Желает, чтоб ему покорность
Явил любой ее вассал.
Хотя от Исабель того же
Принц Аррагонский, Дон Фернандо,
Желает, но таких же четких
Не может выставить он прав.
Обмана не предполагают
Они в наследии Хуаны,
В своей всецело власти держит
Ее двоюродный ваш брат.
И потому даю совет вам: —
Борцов сберите Калатравы,
В Альмагро их созвавши, с боем
Возьмите Сиудад Реаль.
Из Андалузии в Кастилью
Ведь там дорога пролегает,
И вам людей немного нужно,
Чтобы двойной нанесть удар.
У них какое же там войско?
Одни соседи — им солдаты,
Да тот или иной идальго
Идти в сраженье будет рад,
За Исабель свой меч вздымая,
И королем зовя Фернандо.
Так было б хорошо, Родриго,
Чтоб вы на них нагнали страх,
И те, которые болтают,
Что этот крест не вашим слабым
Плечам носить, пускай узнают,
Как юный встал на страх врагам.
Взгляните, графы Уруэнья,
Чья кровь бежит по жилам вашим,
Из мглы гробниц вам указуют
Приобретенный ими лавр.
Зовут маркесы вас Вильена,
Зовут и кличут капитаны,

Их столько, что на крыльях славы
Едва вместится их отряд.
Вынь шпагу, узришь, как сияет
Она своею белой сталью: —
Как этот крест, пусть будет красной
Она в бою в твоих руках.
Пока ты будешь опоясан,
Хоть острою, но белой шпагой,
Не сможешь быть ты много назван
Маэстре красного креста.
Крест на груди и шпага сбоку,
Равно да будут оба красны,
А ты, Хирон, пресветлых предков
Всех заключишь в бессмертный храм.

Маэстре

Фернан Гомес, как пламя в дыме,
Из споров мечется война,
Но ведай, правда мне видна,
Что согласуюсь я с родными.
Коль Сиудад Реаль мне в плен
Взять нужно, знай, увидишь ясно,
Что молнией я не напрасно
Зажгусь и там и сям вдоль стен.
Коль дядя мой ушел в пределы
Загробные, пусть не твердят,
Что с ним деяний кончен ряд,
Что я лишь юноша несмелый.
Я шпагу белую явлю,
И чтоб она, в порыве властном,
Как крест, сияла цветом красным,
Ее я кровью окроплю.
Имеются у вас солдаты?
Где пребывание у вас?

Командор

Немного их. Но в добрый час,
Бесстрашные они ребята: —
Коль нужно биться, будут львы,
Помчатся с бешенством буруна.

Мой дом — Фуэнте Овехуна,
Овечий Ключ, — слыхали вы?
Не соберешь там эскадроны,
Там люди смирные живут,
Что знают лишь в полях свой труд,
Да выгнать скот на луг зеленый.

Маэстре

Там вы живете?

Командор

Там снискал,
Средь смут и всяческого спора,
Уютный дом для Командора.
Зовите; — и любой вассал
Вам будет помогать в успехах.

Маэстре

Вы можете поверить мне: —
Сегодня буду на коне,
С копьем на перевес, в доспехах.

СЦЕНА 3-я

Площадь в Овечьем Ключе.
Лауренсия и Паскуаля.

Лауренсия

Чтоб он не приходил сюда!

Паскуаля

В тебе печали, вижу, мало.
Я больше встретить ожидала.

Лауренсия

Дай Бог, чтоб больше никогда
В Овечий Ключ он не являлся.

Паскуаля

Я, Лауренсия, не раз
Иную видела меж нас,

Пред кем он так же постарался.
Смела, смела, тебя смелей,
И отрекалась, и сердилась,
А мягче масла становилась.

Лауренсия

А я по твердости моей
Как дуб.

Паскуаля

Ну, пусть никто не скажет: —
От той воды я не испью.

Лауренсия

Ручаюсь я за честь мою,
Пусть Солнце правду слов докажет.
Противоречь хоть целый свет.
И что же б это вправду было,
Когда б Фернандо полюбила?
Мы с ним бы поженились?

Паскуаля

Нет.

Лауренсия

Так я бесчестье осуждаю.
Для многих девушек был скор
В своих соблазнах Командор,
Их горю нет конца, ни краю.

Паскуаля

Коль ускользнешь ты от него,
Я буду видеть в этом чудо.

Лауренсия

Нет, будь уверена, отсюда
Он не получит ничего.
Уж целый месяц он за мною
Следит и ходит по пятам.
То сводник Флорес вьется там,

А то Ортуньо стороною
Начнет со мной беседу, плут.
И обещают мне веселье,
Сулят уборы, ожерелья,
Чего не насмотрелась тут.
Они того мне насказали
Насчет Фернандо впопыхах,
Что на меня нагнали страх.
А все же я не жду печали.
Здесь повредить — не их уму,
Не слишком сильны человечки.

Паскуаля

А где был разговор?

Лауренсия

У речки.
Должно быть, шесть уж дней тому.

Паскуаля

Вдруг хитрости у них найдется?
И обойдут!

Лауренсия

Меня?

Паскуаля

Ну, да.

Лауренсия

Я им цыпленок, — не беда,
Тут зубы обломать придется.
Нет, Паскуаля, для меня
Немного в этом всем значенья.
Люблю иные развлеченья: —
Вот встану я до света дня,
Не мыслю, буду ли невеста,
Да съем скорей, в недолгий срок,
Яичко, хлебушка кусок,

Вертушку выпеку из теста,
Да из родного погребка,
У маменьки, за милу душу,
Кувшин с вином слегка нарушу,
Хлебну проворно два глотка.
А в полдень, как в желудке пусто,
Приятно выполнить урок,
Сварить говядины кусок,
С ним вместе вспенится капуста.
Коли устану я в пути,
Со мною есть кусочек сала,
И вкусных ягодок немало,
Лишь только их сумей найти.
А как вечерняя прохлада
Придет и ужин подадут.
Я в виноградник, тут как тут,
Храни Господь его от града.
Как съем холодный я салад,
Приправленный на масле перцем,
Иду в постель с спокойным сердцем,
И грешных не хочу услад,
Молитву на ночь прочитаю,
И не приманка мне позор
Тех льстивых слов и лисьих нор,
Я негодяев этих знаю.
Их путь один наверняка: —
Заночевать им наслажденье,
А утром только отвращенье,
А нам забота и тоска.

Паскуаля

Ты справедливыми словами
Их заклеймила. Искони
Неблагодарные они.
Сравнить их можно с воробьями.
Зимой мороз скует реку,
Поля студеные в прохладе,
Щебечут пташки: «Дядя, дядя»,
Слетая с кровли к мужику.

В избе толпятся на пороге,
И крошки со стола клюют.
Но вот весна, прощай уют,
И воробьи давай Бог ноги.
Быть благодарным? Да никак.
Они по крыше только пляшут,
Щебечут, и крылами машут,
Твердят не «Дядя», а «Дурак».
Бот таковы же и мужчины: —
Когда у них до нас нужда,
Мы жизнь им, сердце, и звезда,
Душа, блаженство, свет единый.
А чуть горячий жар пройдет,
Уж тут не дяди и не тетки,
Но если были вы красотки,
Теперь красавица — урод.

Лауренсия

Им верить вовсе невозможно.

Паскуаля

От них неправда только нам.

СЦЕНА 4-я

Менго, Баррильдо и Фрондосо. — Те же.

Фрондосо

Ну, в споре вижу ты упрям,
Баррильдо, ртачлив ты неложно.

Баррильдо

Тут есть, кто может рассудить,
С вопросом к ним мы обратимся.

Менго

Вперед давайте сговоримся,
А там они развяжут нить.
И если за меня решенье,
Пусть каждый даст подарок мне.

Б а р р и л ь д о

С тобой согласен я вполне.
А в чем нам будет награжденье,
Коль проиграешь ты теперь?

М е н г о

Свою дам скрипку я. Ну что же,
Она амбара мне дороже.
Уж в этом, братец, мне поверь.

Б а р р и л ь д о

Идет!

Ф р о н д о с о

Прекраснейшие дамы!

Л а у р е н с и я

Фрондосо, дамами ты нас
Изволишь называть сейчас?

Ф р о н д о с о

Пути для вежливости прямы,
Обычай водится такой: —
Кто недоучка, тот ученый,
Кто вор, тот ведает законы,
Кто слеп, он только так, кривой,
Кто кос, он только косоватый,
И любит посидеть — хромец,
И с славным мозгом — кто глупец,
И в дураке ума палаты,
Драчун, — он бравый, он солдат,
Кто с пастью, что ж, цветок он свежий,
И дальше все приемы те же,
Сутяга — правосудью рад,
Кто сводник — милый и забавный,
Болтлив, — красноречивый он,
Труслив, — но не со всех сторон,
Ты дерзок, — ты вояка славный,
Товарищ — тот, кто пьяный жбан,

Кто сумасшедший, — даровитый,
Брюзга — серьезный, именитый,
И мудрый — кто совсем болван,
Кто толстоногий, тот основа,
А кто нахальный — тароват,
Богатый грузом — кто горбат,
Для каждого найдется слово.
Вот и для вас есть два словца,
Сказал прекраснейшия дамы.
И будет. Если ж вы упрямы,
Могу продолжить без конца,

Лауренсия

Лишь из учтивости, Фрондосо,
Там в городах так говорят.
А есть и слов грубейших ряд,
О том не возбуждай вопроса.
Иной весьма невежлив рот,
И скажет дерзкого немало.

Фрондосо

Хотел бы я, чтоб ты сказала.

Лауренсия

А все — тому наоборот.
Кто важен — с скукой неразлучен,
И тот бесстыден, кто правдив,
Кто только сдержан, тот спесив,
Кто строг, тем целый мир замучен,
Навязчив — кто дает совет,
Кто щедрый — мот, карман широкий,
Кто справедливый, тот жестокий,
Кто милостив, в том смысла нет,
В том низкий дух, кто постоянный,
Кто вежлив — льстивости пример,
Кто хлебосолен — лицемер,
Кто набожен, он плут обманный,
В ком есть заслуга, тут судьба,
В ком есть терпенье, он трусливый,

Тот виноват, кто несчастливый,
И бьет сама себя раба,
Коли честна, так глупость это,
Красива, — наговор готов,
Достойна... Но довольно слов,
Вполне довольно для ответа.

Менго

Тут прямо Дьявол говорил.

Баррильдо

Так колет, — вздрогнешь поневоле.

Менго

Священник в колыбель ей соли
Подсыпал, как ее крестил.

Лауренсия

Коль я вас верно услыхала,
Возник у вас какой-то спор?

Фрондосо

Послушай.

Лауренсия

Молви.

Фрондосо

Разговор
Весь передам тебе.

Лауренсия

Немало
У вас конечно было слов.
Тебя я слушаю с вниманьем.

Фрондосо

Суди своим нас пониманьем.

Лауренсия

Ну что ж, зарок у вас каков?

Фрондосо

Мы против Менго говорили.

Лауренсия

А что же Менго говорил?

Баррильдо

Он изо всех старался сил
То отрицать, что было в силе.

Менго

Меня как хочешь назови,
А уж свое я твердо знаю,
И только это утверждаю.

Лауренсия

Что говорит?

Баррильдо

Что нет любви.

Лауренсия

Но есть любовь, и несомненно.

Баррильдо

И глупость — это отвергать.
Любовь такая благодать,
Что существа попеременно
Через нее одну живут.

Менго

Я в мудрость не иду, Бог с нею,
Я и читать-то не умею.
Что философствовать мне тут!
Но только если все стихии
Живут от века во вражде,
И с ними слиты мы везде,

Так значит и тела — такие,
Коль кормят их они собой: —
Печаль, и кровь, и гнев, и вялость.

Баррильдо

Мир там — велик, мир здешний — малость,
Но между ними дружный строй.
Любовь есть сила стройной связи,
Согласованье.

Менго

Слова нет,
Идет сквозь всю природу свет,
Есть полный смысл в таком рассказе.
Любовь связует меж собой
Все вещи, разные стремленья
В свое включает управленье,
Для согласованности той.
Я этого не отрицаю.
И сохраняя лишь себя,
Всяк, кто живет, живет любя,
Свой лик он сохраняет, знаю.
Рука, когда идет удар,
К лицу поднимется в защиту,
И не дозволит быть мне биту.
Нога бежит, хоть будь я стар,
Все тело от беды спасая.
И в глаз пылинки полетят,
Его ресницы защитят.
В том вещество, любовь живая.

Паскуаля

Тогда о чем же речь твоя?

Менго

О том, что всяк, кто в мире бродит,
Он лишь к себе любовь находит,

Паскуаля

Ты, Менго, лжешь, так молвлю я.
И извинить прошу покорно.

Мужчина женщины всегда
Не жаждет разве? И когда
Зверь к зверю равному упорно
Стремится, не любовь ли в том?

М е н г о

Любовь подобная ведется
Повсюду, и она зовется
Заботой о себе самом.
Что есть любовь?

Л а у р е н с и я

Любовь — желанье
Очарованья красоты.

М е н г о

Той красоты, скажи мне ты,
Зачем хотят?

Л а у р е н с и я

Для обладанья.

М е н г о

Так полагаю. И притом,
Себе ведь ищут наслажденья?

Л а у р е н с и я

Да, это так.

М е н г о

Для утоленья
Себя — мечтают о другом.

Л а у р е н с и я

Да, это правда.

М е н г о

И твержу я,
Что нет любви, а есть лишь в том,

Что мыслю о себе самом,
Стремлюсь к тому, чего хочу я.

Баррильдо

Священник в проповеди раз
Пред прихожанами с амвона
Сказал про некого Платона,
Что как любить учил он нас: —
Любил мудрец тот только душу,
И свет в любимом существе.

Паскуаля

Чтоб не вскружилось в голове,
Ваш умный разговор нарушу.
Для этих мудростей без вас
Есть мудрецы в ниверситетах,
Они свой ум на тех предметах
Острят довольно в добрый час.

Лауренсия

Что справедливо, справедливо,
И бросим эти чудеса.
Прославь, о, Менго, Небеса, —
Кто без любви живет счастливо.

Менго

А ты-то любишь?

Лауренсия

Честь свою.

Фрондосо

Пусть ревность Бог в тебе пробудит!

Баррильдо

Так чей же выигрыш-то будет?

Паскуаля

Всей трудности не утаю.
К пономарю теперь идите,

Или священник, что ль, сейчас
Узлы распутает для вас,
Все развязать сумеет нити.
Ведь Лауренсия любви
Не знает, я лишь знаю мало.
Так начинайте спор сначала.

Фрондосо

Насмешка эта — яд в крови.

СЦЕНА 5-я

Флорес. — Те же.

Флорес

Благим благословенье Бога!

Паскуаля

Не здесь ли где и Командор?
Слуга его!

Лауренсия

Глазастый вор!
Откуда к нам твоя дорога?

Флорес

Не видишь, разве? Я солдат.

Лауренсия

И Дон Фернандо воротился?

Флорес

Поход победой разрешился,
Но это стоило расплат,
Друзей мы многих потеряли,
И кровь достаточно текла.

Фрондосо

Как битва вся произошла?

Флорес

Я был при самом там начале,
Свидетели — мои глаза,
Как прошумела там гроза.
Чтоб в Сиудад Реаль с оружьем
Взойти, собрал Маэстре смелый
Две тысячи пехоты бравой,
Вассалов, доблестных людей,
И триста всадников, — миряне
Духовные-ли, — кто имеет
На сердце означенье сана,
Влекущий к битве, красный крест,
Будь кто из ордена святого,
Повинен он идти в сраженье,
Я разумею против Мавров.
Так в юной красоте своей
Воитель бравый показался,
На нем сиял камзол зеленый,
Весь обрамленный позолотой,
Он под камзолом был в броне,
И только наручни виднелись,
А конь был в яблоках и серый,
Могучий ростом, воду пивший
В Гвадалквивировой струе,
И пышную траву примявший
Не раз на пажитях прибрежных,
Ковром из буйловой шкуры
Был сзади этот конь одет,
А чолка, пышно завитая,
Вся красовалась в белых лентах,
Одним узором сочеталась
Его, вся в белых пятнах, шерсть.
Наш господин, в вооруженьи,
Фернан Гомес с ним рядом ехал,
Был конь гнедой под ним, но грива
И хвост — чернее тьмы ночей,
Он был одет броней Турецкой,
Спина и грудь брони светлелись,
Камзол оранжевым был златом

И жемчугами разодет.
Шишак был в отсветах бегущих,
Как бы в венце из белых перьев,
И цвет оранжевый казался
Угрозным заревом для всех.
К руке, на привязи свободной,
Где с красным цветом спорил белый,
Копье из ясеня прижалось,
О нем в Гранаде бродит весть,
Оружием оделся город,
Из-под короны Королевской,
Сказали, выйти не желают.
В защиту вотчины своей,
Они, сражаясь, оказали
Упорное сопротивленье,
Маэстре покарал мятежных,
Свою восстановляя честь,
Велел он головы срубить им,
А тех, которые из черни,
На рты намордник им надевши,
Велел их всенародно сечь.
Теперь он в Сиудад Реале
Любим и чтим в суровой мере,
И полагают все, что, если
Умеет он на утре лет
Карать, сражаться, быть победным,
Поздней, являя ту же смелость,
Для Африки грозой он будет,
На луны ступит красный крест.
Явил он столько Командору,
Да и другим, услуг любезных,
Как будто, разграбляя город,
Забыл он о самом себе.
Но вот уж музыка играет.
Его примите веселее: —
Когда одержана победа,
Нам лучший лавр — любовь сердец.

СЦЕНА 6-я

Командор, Хуан Рыжий, Эстебан, Алонсо, Ортуньо, Музыканты, Крестьяне. – Те же.

Музыканты
(Поют)

Приходи к нам с миром,
Слава Командору,
Покоряет земли,
Убивает в войнах!
Да живут Гусманы,
Да живут Хироны!
Тот, кто в мире кроток,
В доводах достоин.
Победил врагов он,
Срублен лес дубовый.
В Сиудад Реале
Стали все покорны.
Ныне в Ключ Овечий
Он влечет знамена.
Жить Фернан Гомесу,
Счастливо и долго!

Командор

Собравшихся благодарю я всех
За ту любовь, что вы мне показали.

Алонсо

И большее нам показать не грех.
Но дивно-ли, что вы любовь снискали?
Ее вы заслужили здесь у нас.

Эстебан

Овечий Ключ и все чины вас ждали,
Вы, посетив местечко в этот час,
Присутствием своим нас всех почтили.
И мы покорно умоляем вас,
Чтоб то, что поднести — нам было в силе,
Вы приняли: Повозки вам везут

Дары из наших скромных изобилий.
Посуды тонкой две корзины тут.
Гогочущих гусей здесь в клетках стадо,
Они сквозь прутья головы суют,
И храбрость вашу — им хвалить отрада.
Вот окороки, десять их. Не в счет
Колбасы, утешение для взгляда,
Их запах, — прямо сладостней, чем мед,
Их кожа, — как душистые перчатки.
Сто пар здесь каплунов. Куриный род
Весь овдовел, и с петухами в прятки
Не поиграют куры в деревнях.
Но вот насчет доспехов здесь мы шатки.
Мы не богаты в сбруе и в конях,
Богаты лишь любовью подчиненных.
Начистоту: Двенадцать здесь в мехах
Запасов вин цветисто-благовонных.
Оденьте в них вы зябнущих солдат, —
С такою шубой, в зимах охлажденных,
Любой в пылу сражаться будет рад,
Вино умеет меткость дать и стали.
Еще сыров и всячины здесь склад.
О них не стоит молвить. Без печали
Вкушайте. Покорили вы сердца.
Желаем, чтоб и впредь вас посещали, —
Ваш дом и вас, — успехи без конца.

Командор

Благодарю чистосердечно,
Вас всех. Идите по домам.

Алонсо

Сеньор, приличествует вам
В уюте отдыхать беспечно.
Украсили мы вашу дверь
Сплетеньем трав и тростниками,
Ее украсить жемчугами
Достойно было бы теперь,
Когда б то было нам возможно.

Командор

Идите с Богом по домам.
Вполне, сеньоры, верю вам,
Что говорите вы неложно.

Эстебан

Ну, музыканты, поскорей
С веселой песенкой своей.

Музыканты
(Поют)

Приходи к нам с миром
Слава Командору,
Покоряет земли,
Убивает в войнах!

(Алькальды, Крестьяне и Музыканты уходят).

СЦЕНА 7-я

Командор, Лауренсия, Паскуаля, Ортуньо, Флорес.

Командор

Вы подождите-ка, две там.

Лауренсия

Какая воля в Господине?

Командор

Пренебрежение и ныне?
Со мной? Пора очнуться вам.

Лауренсия

К кому же это речь такая?
Не к Паскуале?

Паскуаля

Нет, ей-ей.
Беги отсюда поскорей.

К о м а н д о р

К вам говорю, красотка злая,
И к той красавице другой.
Ведь вы мои?

П а с к у а л я

Конечно, ваши.
Но из такой не пьем мы чаши.

К о м а н д о р

Так в дом, прошу, войдите мой.
Совсем не страшно, там же люди.

Л а у р е н с и я

Когда б алькальды были там,
Прилично было б быть и нам,
И места не было б причуде...
Я дочь алькальда одного.
Но так нельзя нам...

К о м а н д о р

Флорес!

Ф л о р е с

Что мне
Сеньор прикажет?

К о м а н д о р

Слово помня
Мое, зачем свершить его
Здесь медлят?

Ф л о р е с

Ну же, заходите.

Л а у р е н с и я

А ты, приятель, не хватай.
Коли проходим, так пускай.

Флорес

Ну, заходите, не глупите.

Паскуаля

Эй, прочь пошел. Едва войдем,
Как вы задвинете засовы.

Флорес

Там всякие для вас обновы.

Командор

(В сторону, к Ортуньо)

Войдут, Ортуньо, — заперт дом.

(Уходит)

Лауренсия

Ну, Флорес, дай же нам дорогу.

Ортуньо

И вы поднесены здесь в дар,
Со всем другим.

Паскуаля

Эге, пожар
Мы зорко видим, слава Богу.

Флорес

Довольно, слишком много слов.

Лауренсия

Так много поднесли вам мяса.

Ортуньо

Лишь ваше для него прикраса.

Лауренсия

Мы знаем, лопнуть он готов.

(Обе уходят)

Флорес

И хороше же порученье
Исполнили. Узнает он,
Что нет их, — и задаст трезвон,
Без меры будут оскорбленья.

Ортуньо

Уж тут быть гордым не моги: —
Коль в службе захотел успеха,
Так помни — служба не потеха,
Или скорее прочь беги.

(Уходят)

СЦЕНА 8-я

Местопребывание Королей в Медине дель Кампо
Король Дон Фернандо, Королева Донья Исабель, Манрикэ, Свита.

Донья Исабель

Я говорю, что промедленье
Быть может гибельным для нас: —
Альфонсо в этот самый час
Готовит войско для сраженья.
И прежде чем пришла беда,
Предупредим тот призрак серый.
Не примем вовремя мы меры,
Наверно зло придет тогда,

Король

Из Аррагона нам подмога,
И из Наварры — верный ход,
Включим Кастилью также в счет,
И здесь свершить я мыслю много.
И к нам успех, когда его
Готовим, мчится беспримерно.

Донья Исабель

Так, Государь мой, это верно,
Кто счастья ждет, зови его.

Дон Манрике

Там прибыли два Рехидора
Из Сиудад Реаля к нам.
Хотят припасть к твоим стопам.

Король

Так пусть придут сюда, и скоро.

СЦЕНА 9-я

Два Рехидора. — Те же.

Рехидор 1-й

Из Аррагона до Кастильи,
Ниспосланный на землю с неба,
Король Фернандо благоверный,
Защита наша и успех,
Во имя Сиудад Реаля,
На вашу уповая смелость,
Смиренные мы к вам приходим,
Прося нас защищать от бед.
Быть вашими — такое счастье
Считали мы великой честью,
Но нас лишил отрады этой —
Звезды жестокой вражий свет.
Венчанный славой, Дон Родриго
Тельес Хирон, в усильях смелый,
Хоть в возрасте еще столь юном,
Раздвинуть пожелал предел
Своих владений, и, замыслив
Свершить желанное набегом,
Легко Маэстре Калатравы
Осадой заключил нас в плен.
Мы к мужеству сердец воззвали,
И с сильным — к силе мы прибегли,
Текли ручьи горячей крови
Из тел, узнавших в битве смерть.
Так городом, по воле рока,
Чрез смуту битвы овладел он,

И все ж не мог бы, если б помощь
Не оказал Фернан Гомес.
Не только воинской подмогой,
Ему он помогал советом,
И будем мы — его, коль быстро
Не встретим помощи в тебе.

Король

Фернан Гомес где пребывает?

Рехидор 1-й

Излюбленным он выбрал местом
Овечий Ключ, как полагаю,
И дом устроил там себе.
В том месте, с большим своевольем,
Чем рассказать мы здесь посмеем,
Во всех питая недовольство,
Он держит подданных в ярме.

Король

Есть капитан у вас для битвы?

Рехидор 2-й

Нет, Государь, почти наверно
Сказать мы можем — не имеем: —
Кто не убит, попал тот в плен.

Донья Исабель

Здесь безрассудно промедленье: —
Коли успех я стерегу,
Не дам и часа я врагу,
Он в нем получит подкрепленье.
Так пресечем же зло в пути: —
Из Португалии властитель
Эстремадурею, как мститель,
Способен быстро к нам придти.

Король

Мы, Дон Манрике, будем с вами
Творить свершенья в сей же час.

Спешите, не смыкая глаз,
И на врага — с двумя полками.
Пускай забудут про покой.
Вам Граф де Кабра здесь подмога,
Кордовец, в битве бьется строго,
Всем ведомо, что он такой.
Судьбой дарован этот случай,
И лучшего нам не найти.

Дон Манрике

Врага сумеем мы смести
Потоком храбрости кипучей,
Ему поставлю я предел,
Коль мне пожить еще придется.

Донья Исабель

Нам только верить остается: —
Тот побеждает, кто так смел.

(Уходят)

СЦЕНА 10-я

Равнина Овечьего Ключа.
Лауренсия и Фрондосо.

Лауренсия

Как будто чтоб белье развесить,
К тебе, настойчивый Фрондосо,
Я отошла сейчас от речки,
Чтоб кончить этот разговор,
Сказать тебе, что ты чрезмерен,
Ведут повсюду разговоры,
Что на меня стремишь ты взгляды,
Что на тебя стремлю я взор,
Уж все за нами наблюдают,
И так как ты средь всех особый,
Одет нарядней и цветистей,
И так как ты хорош собой,
Нет девушки во всем местечке,

Нет парня на лугу и в роще,
Чтоб они не говорили,
Что двое мы идем в одно.
И ждут, что возгласит с амвона
Наш пономарь Хуан Чаморро,
Горластый, как и безволосый,
О нас двоих на весь приход.
И пусть ты в августе амбары
Пшеницей наполняешь желтой,
И пусть сполна в твоих кувшинах
Сок виноградный и вино,
О том никак не помышляю,
И будь уверен — не забочусь,
Твои мечтания напрасны,
Я их не ставлю ни во что.

Фрондосо

Ах, Лауренсия, к вниманью
Пренебреженье ты упорно
Являешь мне. Тебя увижу, —
Живу, а словом — ты убьешь.
Мои намеренья ты знаешь, —
Твоим супругом быть охота.
Зачем такой даешь ответ мне?

Лауренсия

Да не могу я дать другой.

Фрондосо

Ужель ты вовсе равнодушна
К тому, что полон я заботы,
И что не ем, не пью, не сплю я,
Мечтая только про одно?
И быть такою беспощадной
При лике ангельском возможно?
Клянусь, я в бешенство впадаю!

Лауренсия

Лечись, когда ты сам не свой.

Фрондосо

Тебя прошу я о здоровьи,
И пусть, два голубя, мы оба
Соединимся, клювик в клювик,
Сольем воркующий наш стон.
Когда ж нам даст святая Церковь...

Лауренсия

Ты с дядею моим особо,
С Хуаном Рыжим побеседуй,
Хоть не люблю тебя, но вот
Я что-то в сердце ощущаю.

Фрондосо

Беда! Там вижу Командора!

Лауренсия

Наверно следом за косулей.
Укройся в тот зеленый бор.

Фрондосо

Я спрячусь, но не спрячешь ревность!
(Скрывается).

СЦЕНА 11-я

Командор, с самострелом. — Лауренсия, Фрондосо, спрятавшийся.

Командор

А мне удача на охоте: —
Я гнался за оленем робким,
И с ланью встретился такой.

Лауренсия

Белье стирала я на речке,
И отдыхала здесь немножко,
Коли позволит Господин мне,
Там буду снова над водой.

Командор

К чему такое небреженье?
Ты, Лауренсия, красотка,
От неба получила чары,
Зачем же ты груба со мной?
Смотри, чудовищем ты будешь,
Коль эту сохранишь суровость.
Но если раньше ты скрывалась,
Услыша мой любовный вздох,
Теперь, мне дружествуя тайно,
Того не пожелает поле,
Пустынная равнина эта.
Такую гордость лишь в одной,
В тебе одной я замечаю,
Но здесь ты можешь быть не гордой,
К чему ж бежишь от Господина,
Так отвратив свое лицо?
Ведь отдалась Себастиана,
Не помешал ей Педро Толстый,
Хоть он ей муж, и отдалась
Жена Мартина, — под венцом
Была всего два дня пред этим.

Лауренсия

Сеньор, оне уж раньше обе
Гуляли с многими, — сумели
Вам угодить оне легко.
Им трудно ль расточать вниманье!
Идите за оленем с Богом.
Когда б не крест на вас был виден,
Считала бы, что предо мной
Сам Дьявол, — так за мной упорно
Вы начинаете погоню.

Командор

Какой язык у ней противный!
Я больше не хочу препон.
Поставлю самострел на землю,
И руки у меня свободны,

Ея ужимки я сумею
Смирить и кончить этот вздор.

Лауренсия

Как! Что вы делаете? Разум
В вас помутился?

Командор

Здесь борьбою
Себя ты защищать не сможешь.

Фрондосо
(В сторону).

Возьму скорее, видит Бог,
Я самострел, но да не будет
Он у плеча.

(Хватает его).

Командор

Не бойся.

Лауренсия

Боже!
Всевышний, помоги теперь мне.

Командор

Не бойся, нет здесь никого.

Фрондосо

Великодушный повелитель,
Оставьте девушку, не то я,
Мое отмщая оскорбленье,
Стрелу ударю тетивой,
И ваша грудь мне будет целью,
Хоть пред крестом я страха полон.

Командор

Мужик! Собака!

Фрондосо

Нет собаки.
Беги же, Лауренсья, прочь!

Лауренсия

Подумай, что ты хочешь сделать,
Фрондосо!

Фрондосо

Уходи и скоро!
(Лауренсия уходит).

СЦЕНА 12-я

Командор и Фрондосо.

Командор

Безумен человек, который
Без шпаги покидает дом
Ее оставил, опасаясь,
Что повредит она охоте.

Фрондосо

Коли стрелу спущу, заметьте,
Вам здесь на месте быть, сеньор,

Командор

Она ушла. Бесчестный, низкий!
Оставь мой самострел, негодный.
Мужик! Оставь его!

Фрондосо

Еще бы!
Чтобы меня пронзить стрелой.
Заметьте, что любовь — глухая,
Она не слышит уговоров,
В тот день, когда она на троне.

Командор

Так что ж, я повернусь спиной
Я, человек столь благородный
Пред мужиком? Стреляй же, подлый!
Стреляй, и берегись, забуду,
Что рыцарство был мой закон.

Фрондосо

Ну, это нет. Про то, какого
Я званья, хорошо я помню.
И так как жизнь хранить мне нужно,
Уйду я с самострелом прочь.

(Уходит).

Командор

Какая странная опасность!
Но отомщу за все жестоко.
И все же с ним я не схватился.
Клянусь, что стыд владеет мной!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Площадь Овечьего Ключа.

СЦЕНА 1-я

Эстебан и Рехидор.

Эстебан

Считаю я, что, как вам быть здоровым,
Так неприкосновенным быть зерну.
Год худо начался, и с каждым новым
Грядущим днем, пусть будет хлеб в плену.
Пусть против будут сильны возраженья.
Но зерновой да сохранят запас.

Рехидор

И я всегда имел такое мненье,
Что тишь да гладь есть лучшее для нас.

Эстебан

Фернан Гомесу подадим прошенье.
Уж эти звездочеты мне. Они
Хотят в делах Господних разуменья,
Во всем невежды сами искони.
Провидят, будто, дали дней грядущих,
Что было, что там будет, — им одно.
А пред лицом потребностей текущих

Им разуменья вовсе не дано.
Пожалуй, тучи вместе с ними дома,
И звезд небесных им известен ход?
Откуда все, что в небе им знакомо,
И через них нас мучит небосвод?
Что сеять, говорят, и верь им слепо: —
По очереди, рожь, овес, ячмень,
А там горчица, перец, тыква, репа...
Они-то тыквы, ясно нам как день.
Предскажут смерть — в пределах
Трансильванских,
Плохой для винограда урожай,
А пива хватит всем в краях Германских,
А вишня там в Гасконии прощай.
В Гиркании возникнут в числах тигры,
Еще и много басен соберем,
А сей не сей, затей любыя игры,
Год все же будет кончен декабрем.

СЦЕНА 2-я

Леонело и Баррильдо. — Те же.

Леонело

Не встретите себе рукоплесканий: —
Уже, как видно, вральня занята.

Баррильдо

Как было в Саламанке?

Леонело

Путь исканий.

Баррильдо

Так вы ученый.

Леонело

Роль еще не та.
Я повторяю, это всем известно,
Как обстоит с наукой дело там.

Баррильдо

Быть знающим вы постарались честно.

Леонело

Искал того, что ведать важно нам.

Баррильдо

С тех пор как видим столько книг печатных,
Себя всяк почитает мудрецом.

Леонело

Тут будет разговор не из приятных,
Здесь чаще лишь невежество — венцом.
Печатного так много, что смущенье
Невольно овладеет головой.
Заглавий лишь и вывесок прочтенье, —
И то, глядишь, иной уж сам не свой.
Я признаю — печатанье не мало
Талантов славных вывело на свет,
Без этого б их творчество пропало,
Теперь не страшно им теченье лет.
Изобретатель Майнцский, Немец честный,
Прославлен Гуттенберг на целый мир.
Но не один, кто раньше был известный,
Чрез явность книги стал убог и сир.
И многие, под именем взнесенным,
Свое незнанье отдали в печать,
И многим, через зависть уязвленным,
Не захотелось в тишине молчать, —
И, в строки заключивши сумасбродства,
Под именем того, кто им не люб,
Они легко печатают уродства,
И в том забава всем, кто слеп и груб.

Баррильдо

Такого не могу держаться мненья.

Леонело

Невежда любит книжнику отмстить.

Баррильдо

Но, Леонело, это вне сомненья: —
Через печать идет нам к свету пить.

Леонело

И без нее веков прошла пучина,
А с помощью ея Иероим
Не встал, и нет второго Августина,

Баррильдо

Не в духе вы, беседу прекратим.

СЦЕНА 3-я

Хуан Рыжий и Крестьянин. — Те же.

Хуан Рыжий

Пожалуй что и четырех имений
Не хватит на приданое теперь.
Чтоб щегольнуть, не может быть двух мнений,
Кто беден, кто богат, равны, поверь.

Крестьянин

А Командор? Веселый и счастливый?

Хуан Рыжий

Как в поле к Лауренсии пристал!

Крестьянин

Кто был-ли столь бесстыдно-похотливый?
Пусть петлю б здесь скорей он повстречал.

СЦЕНА 4-я

Командор, Ортуньо и Флорес. — Те же.

Командор

Благим благословенье Бога.

Рехидор

Сеньор.

К о м а н д о р

Садитесь по местам.

Э с т е б а н

Сеньор, сидеть пристойно вам.
А мы и постоим немного.

К о м а н д о р

Садитесь, говорю я, тут.

Э с т е б а н

Благие почесть дать умеют.
А те, что чести не имеют,
Немного чести придадут.

К о м а н д о р

Садитесь же, и поболтаем.

Э с т е б а н

Борзую видел наш сеньор?

К о м а н д о р

Алькальд, так бег собаки скор,
Что чудом мы ее считаем.

Э с т е б а н

Да, понесется по пятам
И труса, что попал в сраженье,
И вора, что, свершив хищенье,
Бежит проворно где-то там.

К о м а н д о р

Борзая мчится прямо лихо,
И хорошо бы вам ее
Заставить взять добро мое,
Вот есть здесь прыткая зайчиха.

Э с т е б а н

За это поручусь вам я.
А где скрывается дичина?

Командор

Дичина — славная девчина.
То дочь алькальда.

Эстебан

Дочь моя!

Командор

Да.

Эстебан

К ней такое устремленье?

Командор

Прошу вас выговор ей дать.

Эстебан

Как?

Командор

Вот заставила страдать.
А жены есть, и без сомненья
Мужья их тут недалеко,
Что при одном моем намеке
От мужа были на утеке,
И было нам вдвоем легко.

Эстебан

И очень дурно это было.
И вы здесь говорите зря,
Так с нами вольно говоря.

Командор

Он рассуждает вовсе мило.
Красноречивейший мужик.
Пусть Аристотеля читает,
И над *Политикой* мечтает.
Что, Флорес? Ведь каков язык!

Эстебан

Сеньор, под кровом вашей чести,
Без всяких грез, без всяких туч,
Желает жить Овечий Ключ.
И можно вымолвить без лести,
Достойных много здесь людей.

Леонело

Видали ль большее бесстыдство?

Командор

Я, может, здесь явил ехидство?
Скажите, Рехидор, скорей.

Рехидор

То, что сказали вы, неправо.
Ненужно это повторять.
Затем, что чести нас лишать,
Какая ж в этом будет слава?

Командор

Так честь есть значит и у вас?
О, Калатравские вояки!

Рехидор

Иной хоть при почетном знаке,
Хоть при кресте, а про запас,
Немного крова в нем достойной.

Командор

Мешая с нашей кровь мою,
Я лью лишь грязную струю?

Рехидор

Когда поступок непристойный,
В том меньше славы, чем пятна.

Командор

Как ни прикинь тут рассужденье,
А ваши жены в том почтенье
Себе увидели сполна.

Эстебан

В таких словах поруха чести,
Они бросают тень, — а что
До дел, не верит в них никто.

Командор

А, мужичье! Вы все здесь вместе
Одна лишь скука. В городах
Мужчинам, людям с положеньем,
Отдаться вольно наслажденьям,
Раскрыты двери им в домах,
Мужья там ценят, если к женам
Приходят в гости.

Эстебан

Этот сказ
Лишь убаюкать хочет нас.
Есть Бог везде с своим законом,
И кара быстрая есть там.

Командор

Идите прочь теперь отсюда.

Эстебан

Приказ тот для какого люда?
Он говорит обоим нам?

Командор

Уйдите все без промедленья.
Очистить площадь. Дан вам знак.

Эстебан

А мы уходим.

Командор

Но не так.

Флорес

Сдержись, чрезмерно раздраженье.

Командор

В мое отсутствие они
Готовы здесь затеять смуты.

Ортуньо

Терпение одной минуты.

Командор

Да, удивительные дни.
Терпения во мне довольно.
Все порознь тотчас по домам.

Леонело

И это нужно слушать нам?

Эстебан

Мой путь вот здесь мне выбрать вольно.

(Крестьяне уходят).

СЦЕНА 5-ая

Командор, Ортуньо и Флорес.

Командор

Ну что, приятен этот сброд?

Ортуньо

Они не могут лицемерить,
А ты не хочешь им поверить,
Что недовольство в них растет

Командор

Так что же, им со мной равняться?

Флорес

Кто б это говорить посмел.

Командор

А тот, что взял мой самострел,
Ему без кары оставаться?

Флорес

Сегодня ночью случай был: —
Где Лауренсия, пред домом,
Я думал — встретился с знакомым,
И знатно я его прибил.
От уха к уху, без вопроса,
И рассуждений не ища,
За сходство одного плаща.

Командор

А где же он сейчас, Фрондосо?

Флорес

Да говорят, что где-то здесь.

Командор

Здесь смеет быть — кто в помышленьи
Имел мое уничтоженье?

Флорес

В том лишь оплошность, а не спесь,
Летит, как птица спозаранка,
И попадается в силок,
И рыба делает прыжок
До удочки, а там приманка.
Чтобы крестьянин — и посмел
В того, пред кем дрожит Гранада,
В того, чей меч быстрее яда,
Направить дерзко самострел.
Нет, это светопреставленье.

Флорес

Способна к этому любовь.

Ортуньо

Твоя не пролита им кровь,
Меж вами дружба, без сомненья.

Командор

Ортуньо, сдержан я порой.
Когда б не это, не прошло бы
И часа, под напором злобы
Селенье я б сравнял с землей.
Теперь же, сердце не печаля,
Для мщенья часа подождем,
И страсти остудим умом.
Как поживает Паскуаля?

Флорес

Все обойдется в свой черед.
Сказала, что выходит замуж.

Командор

Отсрочка?

Флорес

Подожди, а там уж
Оплатит целиком свой счет.

Командор

А что Олялья?

Ортуньо

Несравненный
Дала ответ.

Командор

Она смела.
Так как она с тобой была?

Ортуньо

А говорит, что нареченный
За нею ходит по пятам,
Ревнует, что ношу я вести,
Что ходишь ты к чужой невесте,
Но, чуть рассеется он там,
И первый ты войдешь к, ней смело.

Командор

Ответ хорош, не утаю,
И слово чести в том даю.
Но тот ревнует без предела?

Ортуньо

Следит, и воздухом идет.

Командор

А что Инес?

Флорес

Инесс? Какая?

Командор

Жена Антона, не другая.

Флорес

Тебе всецело предает
Услады в каждое мгновенье.
Владеть ей можешь. Разговор
Я вел с ней через задний двор.
Там ты пройдешь, коль есть хотенье.

Командор

Я легких женщин, так скажу,
Люблю изрядно, все ж им плата
В хотящем сердце маловата.
Нет, Флорес, я не дорожу
Той, что сама себя не ценит.

Флорес

Кто благосклонности у них
Желает, трудностей любых
Он прямо ни во что не вменит.
А кто, отдавшись вдруг, горит,
Лишает радости стремленья.
Но есть о женщинах сужденье: —
Один философ говорит,
Что хочет женщина мужчины,

Как форма хочет вещества.
Тут будут лишними слова,
И удивляться нет причины.

Командор

Кто обезумел, полюбив,
И страсти жар сдержать не волен,
Победой легкой он доволен,
Но быстро остудит порыв.
И наилучший путь забвенья,
Хотя б вернейший был слуга, —
Когда цена недорога
Тому, в чем ищешь утоленья.

СЦЕНА 6-я

Симбранос. — Те же.

Симбранос

Здесь Командор?

Ортуньо

Его не видишь?

Симбранос

Фернан Гомес, воитель смелый,
Взамен зеленой этой шапки,
Надень шишак, что цветом бел.
И плащ свой замени оружьем.
Там к Дон Хирону окруженьем
Идет Маэстре Сантиаго,
И Граф де Кабра с ним в чете,
Чтоб в Сиудад Реаль проникнуть,
И в честь Кастильской Королевы
Потеряно, пожалуй, будет
То, что захвачено в борьбе
И стоило для Калатравы
Так много крови благочестной.
Уж видно, как сияют светы
Вдоль крепостных зубчатых стен,
Там львы глядят с знамен Кастильских,

И Аррагонских поперечин
Не мало, и весьма хотел бы
Из Португалии привет
Прислать Король, Хирону помощь,
Но, коль живым придет Маэстре
В Альмагро, это будет подвиг.
Так на коня, сеньор, скорей.
Едва тебя они увидят,
В Кастилью путь направят спешный.

Командор

Не говори. Постой. Ортуньо,
Исполни, что я повелел: —
На площади трубить всем к сбору,
И это выполнить немедля,
Здесь сколько я солдат имею?

Ортуньо

Да с пятьдесят их будет здесь.

Командор

Пусть на коней садятся тотчас.

Симбранос

Коль не свершишь поход поспешно,
Так Сиудад Реаль утрачен.

Командор

Вполне доверься в этом мне.

(Уходят).

СЦЕНА 7-я

Лауренсия и Паскуаля, убегают. — Менго.

Паскуаля

Не покидай нас, умоляю.

Менго

И здесь владеет вами страх.

Лауренсия

Уж лучше в городских стенах,
Среди людей там ходим, знаю.
А здесь невидно никого,
И с ним столкнемся мы наверно.

Менго

Но этот дьявол беспримерно
Мутит, он язва для всего.

Лауренсия

На солнце выйдешь, тут как тут он,
Ты в тень, и в тень он за тобой.

Менго

О, пусть же молния с грозой
Его сразит. Безумный плут он.

Лауренсия

Скажи скорей — кровавый зверь,
Чума, и всем живым отрава.

Менго

Такое мне сказали, право: —
Фрондосо будто, верь не верь,
Тебя из рук его спасая,
Грозил пронзить его стрелой.

Лауренсия

Все правда, до минуты той
Жила мужчин я презирая.
Теперь иное вижу в них.
Фрондосо поступил с ним смело.
Но я боюсь, за это дело
Рассчет с ним будет скор и лих.

Менго

Ему отсюда нужно скрыться.

Лауренсия

И я желала бы того,
Хоть очень я люблю его.
Но он упрямится, бранится,
Совет в упрек вменяет мне.
А Командор, чтоб куралесить,
Грозится за ногу повесить
Его на крепостной стене.

Паскуаля

Чтоб петлю да на эту шею.

Менго

Что ж, петля петлей, ничего.
А лучше в голову его
Да камнем, это я умею.
Найдется у меня в мешке
Голыш хороший, и пращою
Взмахну, он полетит стрелою,
Засядет у него в башке.
Нет, даже в Риме с ним развратом
Сравниться бы не мог Сабал.

Лауренсия

Ты мыслишь — Гелиогабал,
Что людям зверем был, не братом.

Менго

Там как его ни назови,
Истории не понимаю,
Но память он оставил, знаю,
Что вся и в грязи и в крови,
А только с этим не сравнится.
Найдется ль в мире где такой
Фернан Гомес еще другой?

Паскуаля

Меж тигров, может быть, случится.

СЦЕНА 8-я

Х а с и н т а. — Те же.

Х а с и н т а

Молю вас, помогите мне
Уйти из заклятого круга.

Л а у р е н с и я

Хасинта, что с тобой, подруга?

П а с к у а л я

Твои мы обе, и вполне.

Х а с и н т а

Там злые слуги командора,
Походом в Сиудад Реаль.
В бесчестье более, чем в сталь,
Они одеты для позора.
Меня хотят увлечь к нему.

Л а у р е н с и я

Проси же помощи у Бога.
Коль он с тобой поступит строго,
Меня он прямо ввергнет в тьму,

(Уходит).

П а с к у а л я

Хасинта, я ведь не мужчина,
Тебя не в силах защитить.

(Уходит).

М е н г о

А я могу, так должно быть,
Прямая есть к тому причина
Поближе подойди ко мне.

Х а с и н т а

А есть оружье?

Менго

Мы не слабы.
Одно из первых.

Хасинта

Ах, когда бы!

Менго

Есть камни, хватит их вполне.

СЦЕНА 9-я

Флорес, Ортуньо и солдаты. – Те же.

Флорес

Спастись задумала ногами?

Хасинта

О, Менго, смерть моя пришла.

Менго

Сеньоры, не творите зла.
Крестьяне бедные пред вами.

Ортуньо

Ты что, за женщину горой?
Желаешь быть ея спасеньем?

Менго

Я защищаю лишь моленьем,
Хочу спасти, я ей родной.

Флорес

Убить его, не рассуждая.

Менго

Клянусь, я ссоры не ищу,
Но, если разверну пращу,
Так будет вам отплата злая.

СЦЕНА 10-я

Командор и Симбранос. — Те же.

Командор

Что? не слезать ли мне с коня
Из-за такого человечка?

Флорес

А вот тут люди из местечка,
Что ждут меча и с ним огня,
Тебя всечасно раздражая.
Вот этот биться с нами рад.

Менго

Владыка, покарай солдат.
Тобою злоупотребляя,
И именем твоим шутя,
Хотят схватить крестьянку эту,
Она же, как известно свету,
Своих родителей дитя,
Супругу надлежит. Прошу я,
Позволь ее мне увести.

Командор

Пращу сейчас же опусти.
Позволю я, чтобы, ликуя,
Тебя отделали ремнем.

Менго

Сеньор!

Командор

Ортуньо, Флорес, скоро,
Его скрутить без разговора,
И руки завязать узлом.

Менго

Защищена так честь чужая?

К о м а н д о р

Что Ключ Овечий обо мне
Там говорит на стороне?

М е н г о

Сеньор, к вам не питаю зла я,
И из селения никто.

Ф л о р е с

Убить его?

К о м а н д о р

Лишь оскверненье
Оружию, употребленье
Мечей — другое и не то.

О р т у н ь о

Что повелишь?

К о м а н д о р

Чтоб отстегали
Его же собственным ремнем,
Тащите к дубу и потом
Его хлещите без печали,
Пусть хлещут все, кому не лень.

М е н г о

Пощады! Каплю состраданья!

К о м а н д о р

Стегать, покуда жив ремень.

М е н г о

И эту низость видит день?
И ей не будет наказанья?

(Флорес, Ортуньо, и Симбранос уволакивают Менго)

СЦЕНА 11-я

Командор, Хасинта, Солдаты

Командор

Мужичка, почему бежишь?
Быть с мужиком — предел угодный,
И лучше он, чем благородный?

Хасинта

Ты так отлично защитишь,
Мне честь вполне восстановляя,
Что растоптали мне, губя,
Меня похитив для тебя.

Командор

Тебя похитить мне желая?

Хасинта

Отец мой честен, знаю я,
Не столь высок, как ты, в рожденьи,
Но много лучше в поведеньи,
С ним не сравнится жизнь твоя.

Командор

Коль кто разгневан, дерзновенье —
Неверный путь умерить гнев,
Он не притихнет, присмирев.
Иди вперед без промедленья.

Хасинта

Идти куда?

Командор

Иди со мной.

Хасинта

Заметь, какое это дело.

Командор

Уж тут беда твоя приспела.

И так расправлюсь я с тобой: —
Игрушкой будешь ты обозных.

Хасинта

Не допущу, пока жива.

Командор

Мужичка, в путь, и брось слова.

Хасинта

Услышь призыв молений слезных,
Сеньор!

Командор

Нет милосердья тут.

Хасинта

Тогда я к правосудью Бога
Взываю, — на жестоких строго
Все молнии его падут!

(Солдаты ее уводят).

СЦЕНА 12-я

Улица в Овечьем Ключе.
Лауренсия и Фрондосо.

Лауренсия

Сюда являешься так смело,
Тебе и кара не страшна?

Фрондосо

Я прихожу, чтобы сполна
Явить, как я люблю всецело.
Я увидал вон с тех холмов,
Что Командор идет в сраженье,
И я утратил опасенье,
И прихожу без дальних слов.
Пусть он уходит без возврата.

Л а у р е н с и я

Смотри — не проклинай его;
Смерть убегает от того,
Чья жизнь среди людей проклята.

Ф р о н д о с о

О, если так, живи сто лет,
Кому хотим исчезновенья: —
Мои ему благословенья,
Чтобы пришло побольше бед.
Вот, Лауренсия, хотенье
Мое: Я признан ли тобой?
И, верность показав борьбой,
Найду ли я вознагражденье?
Все говорят, ты мне поверь,
Что нужно нам соединиться,
И все не устают дивиться,
Зачем же медлим мы теперь?
Скажи, что я не ждал напрасно.
Да или нет? Я жду. Я нем.

Л а у р е н с и я

Так вот, тебе, а также всем,
Я говорю, что я согласна.

Ф р о н д о с о

Поцеловать дай ноги мне,
За эту милость дорогую
Ты мне даруешь жизнь другую,
И ты меня ведешь к весне.

Л а у р е н с и я

Не говори мне восхваленья.
А для желанного конца
Спроси у моего отца,
Дабы он дал нам разрешенье.
Вон с дядей он моим идет.
И знай, Фрондосо, я не скрою,
Хочу я быть твоей женою.

Фрондосо

Господь ко благу приведет.
(Лауренсия уходит в дом).

СЦЕНА 13-я

Эстебан и Рехидор. — Фрондосо.

Эстебан

Его — такое поведенье,
Что все поставил он вверх дном,
И всех он оскорбил притом,
Насильем сея возмущенье.
Все, изумляясь на него,
Твердят об этом то и дело.
И всех сильнее потерпела
Хасинта от безумств его.

Рехидор

Уж скоро все повиновенье,
В честь благоверных королей,
Скрепят в Испании во всей,
И будут слушать их веленья.
Уж Сантиаго на коне
На Сиудад Реаль стремится,
Хирон не сможет защититься,
И будет побежден в войне.
Хасинту очень я жалею,
Нашла свою погибель в нем.

Эстебан

И Менго отхлестал ремнем,
Со всей бесстыдностью своею.

Рехидор

Весь в синяках он.

Эстебан

Лучше нам
Не говорить о нем уж, право.

Мутит — его худая слава,
И все, что делает он там.
Зачем с жезлом я, с знаком власти,
Что бесполезный ныне знак?

Рехидор

Себя не мучьте пыткой так
Не вами созданных несчастий.

Эстебан

Жену он Педро повстречал
На пустыре, явил бесстыдство,
И, оскорбивши, для ехидства
Ее своим он слугам дал.

Рехидор

Здесь кто-то есть.

Фрондосо

Прошу прощенья,
И позволения у вас
Для разговора в этот час.

Эстебан

Всегда имеешь разрешенье,
Чтобы войти свободно в дом,
И говорить со мной спокойно: —
Отцом воспитан ты достойно,
И в сердце ты нашел моем
Любовь.

Фрондосо

На это уповая,
Надеждой счастья я дышу,
И милости твоей прошу.
Ко мне пришла обида злая.

Эстебан

Обидел кто? Тот сумасброд,
Фернан Гомес?

Ф р о н д о с о

О, да, немало.

Э с т е б а н

Об этом сердце мне сказало.

Ф р о н д о с о

Имея для надежд оплот
В словах приязни, окрыленный
Прошу, чтоб ваша дочь женой
Вступила в верный брак со мной,
И буду счастлив я, влюбленный.
Что с просьбой я пришел такой,
Прошу простить как дерзновенье,
Но это сделать предложенье,
Быть может, смел бы здесь другой.

Э с т е б а н

Но ты как раз приходишь впору,
Фрондосо, верен твой расчет.
Ты снял с меня заботы гнет,
Я рад такому разговору.
В том, что ты встал за честь мою,
Мой сын, благоволенье Бога.
И, полюбив, ты служишь строго
То видно мне, — не утаю.
Но, чтоб настало полночасье,
Все своему скажи отцу,
А если ты решил к венцу,
Так я даю свое согласье.

Р е х и д о р

А раньше б девушку спросить,
Принять согласна ль предложенье.

Э с т е б а н

Тут бесполезно попеченье.
Завязана наверно нить.
И, прежде чем сюда явиться,

Они имели разговор.
Чтобы какой возник здесь спор,
Не может этого случиться,
Насчет приданого, так я
Деньжонок дать за ней сумею.

Фрондосо

О том и думать я не смею,
И не хочу копейки я.

Рехидор

Здесь бесполезно рассужденье,
Ему б лишь взять ее от вас.

Эстебан

А все же надо нам сейчас
И дочь мою спросить про мненье.

Фрондосо

Влеченье сердца никогда
Насилью подвергать не надо,
Оно свободе только радо.

Эстебан *(Зовет).*

СЦЕНА 14-я

Лауренсия, выходит из дома. — Те же.

Лауренсия

Сеньор!

Эстебан

Я мыслил справедливо: —
Как вдруг откликнулась она.
Дочь, Лауренсия, должна
Решить ты, будет ли счастлива
Твоя подруга, Хиля, с ним,
С Фрондосо, как с своим супругом,

Им будет хорошо друг с другом,
Она — и с юношей таким.

Лауренсия

Так свадьба предстоит для Хили?

Эстебан

Он к ней подходит, я скажу.

Лауренсия

Я точно то же нахожу.

Эстебан

Но красота ея не в силе,
Она лицом совсем дурна,
И если быть ему с женою,
Так, Лауренсия, с тобою,
Ты лучшая ему жена.

Лауренсия

Шутить не перестал с годами?

Эстебан

Его ты любишь?

Лауренсия

Да, можно
Сказать, что я к нему нежна.
Но, если хочешь ты словами...

Эстебан

Ты хочешь, чтоб решил здесь я?

Лауренсия

Прошу, отец, скажи решенье.

Эстебан

Мой, значит, ключ для завершенья,
Чтоб дверь открылася твоя?
Поищем кума.

Рехидор

Я с тобою.

Эстебан

Четыре тысячи монет
Приданое не мало, нет?

Фрондосо

Сеньор, я оскорблен душою.
Не надо.

Эстебан

Полно-ка, сынок,
Проходит все. Живите дружно.
Приданое вам все же нужно,
И трудно без него в свой срок.

(Эстебан и Рехидор уходят).

Лауренсия

Скажи, Фрондосо, ты доволен?

Фрондосо

Я счастлив. И скажу опять,
Готов я разум потерять.
Волнение сдержать не волен.
Там в сердце словно пляшет смех.
Подумать, что теперь я смею
Звать Лауренсию моею
И сладких знать восторг утех.

(Уходят).

СЦЕНА 15-я

Поле пред Сиудад Реалом.
Маэстре Калатравы, Командор, Флорес, Ортуньо и Солдаты.

Командор

Беги, сеньор, иного нет спасенья.

М а э с т р е

Был плох оплот непрочных этих стен,
И вражеское войско слишком сильно.

К о м а н д о р

Им многих жизней стоил этот бой.

М а э с т р е

И похвалиться не было дано им,
Чтоб знамя Калатравы стало их,
А этим увенчалось бы их дело.

К о м а н д о р

Твой замысел, Хирон, теперь пропал.

М а э с т р е

Что ж сделаешь с Судьбой, когда, слепая,
Взнесет сегодня, завтра втопчет в прах?

Г о л о с а
(За сценой).

Победа славным Королям Кастильским!

М а э с т р е

Уж светами увенчаны зубцы,
Знамена веют на высоких башнях.

К о м а н д о р

Покрыты кровью все знамена их,
Трагедия скорей, не праздник это.

М а э с т р е

Мой в Калатраву путь, Фернан Гомес.

К о м а н д о р

А я в Овечий Ключ, пока решаешь,
Держаться ль будешь партии родни,
Иль подчинишься Королю Кастильи.

Маэстре

Когда решу, об этом извещу.

Командор

Научит час.

Маэстре

О, годы молодые!
Уж час явил им свой обманный ход.

(Уходят).

СЦЕНА 16-я

Поле пред Овечьим Ключом.
Свадебная свита, Музыканты, Менго, Фрондосо, Лауренсия, Паскуаля, Баррильдо, Хуан Рыжий и Эстебан.

Музыканты
(Поют).

Многия лета!
Нововенчанным
Многия лета!

Менго

Такую песню сочинить,
Труда не очень много нужно.

Баррильдо

А ежели тебе досужно,
Спой ты, скрути цветистей нить

Фрондосо

Сильнее Менго в бичеваньи,
Чем в сочинении стихов.

Менго

А кое-кто среди холмов,
Как сообщает нам преданье,
Кому назначил Командор...

Баррильдо

Не продолжай, тебя прошу я.
Тот варвар, целый мир бунтуя,
Любого вовлечет в позор.

Менго

Что сто солдат там надо мною
С ремнем стояли, это что ж?
Толпа — ее не проберешь,
А я, я был с одной пращою.
А как вот дали нам питье
Кому-то, кто живет достойно,
Назвать его мне непристойно,
И гадость — выпил он ее?
Чернильное такое зелье,
И был толченый в нем песок.

Баррильдо

Не очень лакомый кусок,
Но это шутка от безделья.

Менго

С лекарством шутка-то плоха,
Я смерть скорей предпочитаю.

Фрондосо

Скажи свой стих, я ожидаю,
Все от тебя мы ждем стиха.

Менго

Пусть многолетье новобрачных
Имеет самый длинный счет,
И пусть вся жизнь их протечет
Без ревности, без споров мрачных.
В согласьи жизнь им. А когда
От жизни утомятся оба,
Пусть вместе внидут в сумрак гроба
Живите долгие года.

Фрондосо

Проклятие тому поэту,
Что нам такой стишище спел.

Баррильдо

Он быстро сочинить успел.

Менго

А я вам расскажу примету,
Аладьи жарят-варят как?
Побольше теста прямо в масло,
Следят, чтоб пламя не погасло,
И чад идет, как добрый знак.
Одни выходят покривее,
Худые эти, толще те,
Одни как в саже — в черноте,
А те румянее, краснее.
Так сочиняет и поэт,
Задумает, и мысль как тесто,
И маслица на это место,
Обмаслит чувствами предмет.
А котелок ему бумага,
И стих чернилами течет,
А чтобы сдобрить, есть и мед,
Забава, шутка, смех, отвага.
Но вот наполнен весь лоток,
И на проверку выйдет что же?
Их есть-то никому негоже.
И ешь их тот, кто их испек.

Баррильдо

Довольно шуток скомороха.
Пусть молодые молвят к нам.

Лауренсия
(К Хуану Рыжему).

Дозволь припасть к твоим рукам.

Хуан Рыжий

Ну, дочь, дела идут не плохо.

Проси у своего отца
Супружеству благословенья.

Эстебан

Ему и ей без разделенья
Да светит небо без конца.

Фрондосо

Обоим оба жизнь удвойте
Соединеньем наших рук.

Хуан Рыжий

Пусть все в один сольется звук.
Играйте, музыка, и пойте.

Музыканты
(Поют).

К воде Овечьего Ключа
Идет красотка, пышны кудри.
Являя Калатравский крест,
За нею следом кабальеро.
Она укрылась меж ветвей,
Стыдом объята и смущаясь.
Как будто нет его совсем,
Перед собой сгущает ветки.
Зачем ты прячешься в тени,
Красотка, ласковая ликом?
Как рысь желания мои,
Они проходят через стены.
К смущенной страхом и стыдом
Подходит ближе кабальеро.
Она из спутанных ветвей
Плетет зеленую решетку.
Но тот, кто ведает любовь,
Моря пересечет и горы.
И он, свой путь свершив легко,
Слова такие к нежной молвит:
«Зачем ты прячешься в тени,

Красотка, ласковая ликом?
Как рысь желания мои,
Они проходят через стены».

СЦЕНА 17-я

Командор, Флорес, Ортуньо, Симбранос и Солдаты. – Те же.

Командор

Пусть свадьба соблюдет порядок,
И да ни в ком не будет страха.

Хуан Рыжий

Здесь не игра, сеньор.
Что ты нам вымолвил приказ.
Желаешь попросторней место?
Как твой поход? Успех прекрасный?
Ты победил? Но бесполезно
Тебя об этом вопрошать.

Фрондосо
(В сторону).

Тут смерть моя! Спаси, о, небо!

Лауренсия

Фрондосо, здесь беги, спасайся!

Командор

Ну, нет, схватить его! Свяжите!

Хуан Рыжий

Ты, юноша, в тюрьму ступай.

Фрондосо

Ты хочешь, чтоб меня убили?

Хуан Рыжий

За что?

Командор

Коль нет здесь виноватых,
Искать ничьей не буду смерти.
Когда б я убивать был рад,
Его пронзили бы немедля
Идущие со мной солдаты.
Свести его в тюрьму. А кару
Ему отец назначит сам.

Паскуаля

Сеньор, он в брак сейчас вступает.

Командор

Какое дело мне до брака?
Он или нет, — мужчин здесь много.

Паскуаля

Коль ты обижен им, тогда
Прости его, ты благородный.

Командор

Не в этом дело, Паскуаля.
Тельес Хирон, в моей особе,
Маэстре оскорблен сейчас,
Не обо мне теперь здесь слово,
А целый орден Калатравы
За честь свою вступиться должен,
Примерно должно покарать
Виновного, дабы, явивши
Пример суровой самой кары,
Предупредить в других желанье
Мятежною крамолой встать.
Известно вам, что Командора,
Взяв самострел, хотел однажды

Он застрелить. Какая верность!
Какой достойный он вассал!

Эстебан

Коль тестю надлежит в защиту
За зятя встать, я подтверждаю,
Что при подобных осложненьях
Пред вами не был он неправ: —
Он любит, он ведом любовью,
Вы у него отнять желали
Его жену. Чего ж дивиться,
Что он супругу защищал?

Командор

Алькальд, не больше как глупец вы.

Эстебан

Сеньор, соизволеньем вашим.

Командор

Отнять жену я и не думал,
Да он и не был ведь женат.

Эстебан

Отнять хотели... И довольно.
Кастилия теперь под властью
Законных Королей, и правом
Тот подчинен, кто был неправ.
И в час, когда утихнут войны,
Власть Королевская не станет
Терпеть, чтоб в городах и селах
Распоряжались властно так
Те, что с огромными крестами.
Пусть грудь себе Король украсит
Крестом, он будет там на месте,
И он уместен только там.

Командор

Эй там! Взять жезл его служебный!

Эстебан

Сеньор, в час добрый. Отрекаюсь.

Командор

Так нужно, если конь мой ртачлив,
Чтоб здесь его я отхлестал.

(Бьет его).

Эстебан

Ты господин. Терплю. Ударь же.

Паскуаля

Старик, и бьешь его ты палкой.

Лауренсия

Коль мстишь за то, что он отец мой,
За что на нем мне мстишь сейчас?

Командор

Взять и ее, и пусть десяток
Солдат хранит ее под стражей.

(Командор отбывает со своими,
уводя под стражей Фрондосо и Лауренсию).

Эстебан

Я кличу к правосудью неба.

(Уходит).

Паскуаля

Оделся в траур праздник наш.

(Уходит).

Баррильдо

И что ж? Никто не скажет слова?

Менго

Меня довольно там хлестали.
Не нужно в Рим, взгляни на спину,

Она красна, как кардинал.
Пусть кто другой его посердит.

Хуан Рыжий

Так все заговорим мы сразу.

Менго

Не помолчать ли? Рыбой красной
Запляшут спины все как раз.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Зал Общинного Совета в Овечьем Ключе.

СЦЕНА 1-я

Эстебан, Алонсо и Баррильдо.

Эстебан

На сходку не сошлись?

Баррильдо

Да, промедленье.

Эстебан

А каждый миг грозит опасность нам.

Баррильдо

До большинства дошло оповещенье.

Эстебан

В тюрьме Фрондосо, преданный цепям,
И дочь моя в стеснении великом.
Коль свыше помощь нам не суждена...

СЦЕНА 2-я

Хуан Рыжий и Рехидор. — Те же, потом Менго.

Хуан Рыжий

Вы чувства выражаете здесь криком?
Эстебан, тайна нам весьма нужна.

Эстебан

В том наибольший ужас, — так мне мнится, —
Что слишком мало криков у меня,

(Входит Менго).

Менго

К вам прихожу я присоединиться.

Эстебан

Седой старик, рыдая и стеня,
Вас вопрошает, честные крестьяне: —
Коль край родной без чести будет тлеть,
Хотя не умер, уж убит заране,
Какую панихиду нам пропеть?
И если имя чести не пустое,
Так расскажите, кто же между вас
Не вытерпел здесь то или другое,
Тем варваром обиженный в свой час?
Киму не наносил он оскорбленье?
И на кого из вас не посягнул?
А если так, откуда в вас терпенье,
И голос всех не слит здесь в общий гул?

Хуан Рыжий

Обид у нас такое изобилье,
Что и ума не приложить нам тут.
Но Короли уж мир творят в Кастилье,
А вскорости и в Кордову придут.
Так пусть туда пойдут два Рехидора,
Чтоб помощи просить, припав к ногам.

Баррильдо

Еще Фернандо отдохнет не скоро,
И многим должен кару несть врагам.
Другое нужно выбрать нам решенье,
И час велит, чтоб дух наш был готов.

Рехидор

Когда б мое вы выслушали мненье,
Уйти мы все должны бы из домов.

Хуан Рыжий

Как можно вдруг сказать «Прости» отчизне?

Менго

Клянусь, коль про мятеж узнает он,
Так эта сходка будет стоить жизней.

Рехидор

Обида нам грозит со всех сторон,
Корабль разбит, и больше нет терпенья,
Он в страхе по волнам стремится прочь.
У честного, с кем наше уваженье,
Вдруг так свирепо похищают дочь.
И бьют его, кто должен править нами,
Безжалостно по голове жезлом.
То обхожденье ниже, чем с рабами.

Хуан Рыжий

Какая мысль сейчас в уме твоем?
Что нужно сделать нам? Всему селенью?

Рехидор

Иль умереть, иль деспотов убить.
Их мало, много нас, — и соглашенью
Придется им, бессильным, уступить.

Баррильдо

С оружием в руках — на господина!

Эстебан

Наш господин, за Господом, Король,
Не те, в ком сердце жесткое зверино.
Им подчиняться дух наш не неволь.
Чего нам опасаться в этом деле?
Поможет Бог!

Менго

Здесь от беднейших я.
Но вот, хоть мы всех более терпели,
За них здесь говорит боязнь моя.

Хуан Рыжий

Чего нам ждать? Тут меч над головами.
Всех злополучий нам не перечесть.
Пройдут огнем над нашими домами.
Они тираны. Так тиранам месть.

СЦЕНА 3-я

Лауренсия, с разметанными волосами. — Те же.

Лауренсия

Пустите же! Туда мне можно,
Где совещаются мужчины.
Коль женщина не может голос
Свой подавать, у ней есть крик.
Меня узнали вы?

Эстебан

О, небо!
Иль это дочь моя?

Хуан Рыжий

Не видишь
Ты Лауренсию?

Лауренсия

Пришла я
Такой, что, как вы ни смотри,
А и узнать меня нельзя вам.

Эстебан

О, дочь!

Лауренсия

Ты дочь не говори мне!

Эстебан

Но почему, очей отрада?

Лауренсия

По разной прихоти причин.
И вот главнейшая: Дозволил
Тиранам ты меня похитить,
И местью за меня не встал ты,
Меня ты не освободил.
Еще с Фрондосо я не вместе,
И, муж, еще не стал моим он,
Так ты не можешь мне ответить,
Что мужу надлежит отмстить.
Лишь твой здесь только счет, и если
Час ночи свадебной не длился,
Тогда заступником в обиде
Не муж, отец себя яви.
Когда куплю я драгоценность,
Но мне запястья не вручили,
Не я хранительница клада,
О воре мысли — не мои.
У вас же на глазах бесстыдно
Фернан Гомес меня похитил,
И предали овцу вы волку,
Вы были трусы-пастухи.
Каких безумств я насмотрелась,
Как мне кинжалами грозили,
Как громоздили преступленья,
Чтоб чистоту мою сломить, —
Чтобы предать меня как жертву
Его хотений самых низких,
О том не говорят ли космы
Волос всклокоченных моих?

О той не говорят ли знаки
Побоев? Кровь не говорит ли?
И вы, мужчины, благородны?
И вы родные? Вы отцы?
Когда в такой я тяжкой скорби,
У вас в глазах не помутится?
Так не мужчины вы, а овцы,
В Ключе Овечьем вам и быть.
Мне, дайте мне оружье в руки,
А вы, вы бронзовые плиты,
Вы камни, яшма, тигры... Тигры?
О, нет! С свирепым сердцем тигр,
Того на месте растерзает,
Кто вдруг детеныша похитит,
Иль за охотниками — следом,
И не дозволит им уйти.
А вы, вы кто-то, не Испанцы,
Вы в мире зайцами родились,
Вы курицы, и жен даете
Объятиям других мужчин.
Зачем у пояса вам шпага?
Вы прялки пред собой держите.
Клянусь, что женщинам отныне
За честь поднять надежней клич.
Пусть женщины отмстят тиранам,
Из вероломных кровь изливши,
А вам вослед бросают камни,
Зовут вас именем ткачих.
Полумужчины, полужены,
Вам в наша юбки нарядиться,
Женоподобные вы трусы,
Любой в цветное облекись.
Уж клялся Командор Фрондосо
Повесить на зубце, чтоб, книзу
Свисая с башни, всем пример он
Неправосудия явил.
Со всеми сделает он то же,
И рада я, о, люд трусливый,
Что наше славное местечко

Без женщин ныне будет жить,
И возродятся амазонки
Как ужас для земного мира.

Эстебан

Не из числа я тех, которым
Ты эти клички говоришь.
Нет, дочь, не мне названья эти.
Пойду, хотя бы против мира.

Хуан Рыжий

И я, хотя бы враг был грозен,
Хотя бы недруг был велик.

Рехидор

Умремте все.

Баррильдо

На шест повесим
Полотнище, чтоб в ветре билось,
И гибель тем бесчеловечным.

Хуан Рыжий

Порядком выступим каким?

Менго

Идем без всякого порядка
Его убить. Соединимте
Селенье все в единый голос: —
Тиранов нужно умертвить.

Эстебан

Берите шпаги, самострелы,
Простые колья, крючья, пики.

Менго

И да живут счастливой жизнью
Владыки наши Короли.

Все

Счастливое им многолетье!

Менго

И смерть предателям, погибель
Тиранам!

Все

Всем тиранам гибель!
Неправосудных умертвить!

(Все мужчины уходят).

Лауренсия

Ступайте в путь. Вас слышит небо.
Эй, женщины, сюда идите.
Восстать за честь свою спешите.
Любая за себя вступись.

СЦЕНА 4-я

Паскуаля, Хасинта и другие женщины. — Лауренсия.

Паскуаля

Что тут, и отчего кричишь ты?

Лауренсия

Все собрались сюда — Не видишь? —
Чтобы убить Фернана Гомеса.
Мужчины, юноши сошлись,
Бегут к деянью даже дети,
С свирепостью. Благоприлично ль,
Нам не участвовать в деяньи,
У женщин меньше ли обид?

Хасинта

Скажи нам, что же замышляешь?

Лауренсия

Чтоб, строй сомкнув, мы совершили
Такое дело безоглядно,
Что будет страхом для земли.
Хасинта, в честь твоей обиды
Будь пред толпой как предводитель,
Веди вперед отряд из женщин.

Хасинта

Не меньше у тебя обид.

Лауренсия

Будь, Паскуаля, знаменосцем.

Паскуаля

Из рук моих дай знамю взвиться.
Достойна ли я так назваться,
Ты здесь увидишь в тот же миг.

Лауренсия

Нет времени. Ведет нас счастье.
За ним немедля поспешим мы.
Довольно наших нам мантилий,
Пред нами слава впереди.

Паскуаля

Так пусть назначим капитана.

Лауренсия

Не нужно.

Паскуаля

Почему?

Лауренсия

Где кличем
Является моя отвага,
Зачем там Родамонт и Сид!

(Уходят).

СЦЕНА 5-я

Зал в доме Командора.
Командор, Флорес, Ортуньо, Симбранос, Фрондосо со связанными руками.

Командор

На той веревке, что его скрутили,
Пусть за руки повесят. Так больней.

Фрондосо

Твоя так слава будет в доброй силе.

Командор

На первом же зубце, и поскорей.

Фрондосо

Убить тебя — такого помышленья
Я не имел тогда.

(За сценой шум).

Флорес

Там шум, сеньор.

Командор

Там шум?

Флорес

Идет такое возмущенье,
Что выполнить нельзя нам приговор.

Ортуньо

Ломают двери.

Командор

В доме Командора
Ломают дверь!

Флорес

Народ сюда идет.

СЦЕНА 6-я

Хуан Рыжий. – Те же, потом Менго.

Хуан Рыжий
(За сценой).

Ломай! Руби! Пусть гибнет эта свора!
Огня сюда! Сожжемте их! Вперед!

Ортуньо

Сдержать народ, когда бунтует, трудно.

Командор

Селенье посягает на меня?

Флорес

Их бешенство настолько безрассудно,
Что двери на земь падают, стеня.

Командор

Фрондосо развязать. Иди скорее
И подлого Алькальда укроти.

Фрондосо

Иду, сеньор. Ко мне любовь имея,
Они толпой задумали придти.

(Уходит).

Менго
(За сценой).

Предателей убить без промедленья!
Да здравствует Фернандо, Исабель!

Флорес

Сеньор, не будь здесь. Только в том спасенье.

Командор

Зал крепость. Пошумят, пройдет их хмель.
Уйдут.

Флорес

Народ, свою обиду чуя,
Без мести и без крови не уйдет.

Командор

У нас оружье. Дом свой защищу я.
Вот эта дверь — как крепостной оплот.

Фрондосо
(За сценой).

Да здравствует Фуэнте Овехуна,
Овечий Ключ.

Командор

Вот бешеный вожак —
К нему!

Флорес

Сеньор, ты в бешенстве буруна.
Дивлюсь тебе, и не пойму никак.

СЦЕНА 7-я

Эстебан, Фрондосо, Хуан Рыжий, Менго, Баррильдо, Крестьяне, все вооруженные. — Командор, Флорес, Ортуньо, Симбранос.

Эстебан

Вот он, тиран с приспешниками! Мщенье!
Овечий Ключ! Насильников убить!

Командор

Народ, послушай!

Все

Глухи оскорбленья!

Командор

Скажите им. Готов я заплатить.
Клянусь!

Все

Овечий Ключ, Король наш с нами.
Смерть деспотам, чье имя нам беда!

Командор

Не слышите? я говорю пред вами,
Я, господин ваш!

Все

Наши господа
Лишь Короли, чье имя благоверно.

Командор

Послушайте!

Все

Не верим ничему.
Овечий Ключ, пусть будет казнь примерна.
Фернан Гомес, умри! Конец ему!

(Бьются. Командор со своими уходит, отступая. Мятежники входят, преследуя их).

СЦЕНА 8-я

Лауренсия, Паскуаля, Хасинта, множество других женщин, они вооружены. — Те же, за сценой.

Лауренсия

Здесь пристань наших лучших помышлений,
Не женщины, солдаты вы в борьбе.

Паскуаля

Как женщины, мы жаждем отомщений.
Пить кровь его не хочется тебе?

Хасинта

Здесь тело мы его на копья примем.

Паскуаля

У каждой будет взмах копья остер,
И труп его пронзенный мы поднимем.

Эстебан
(За сценой).

Умри, умри, предатель Командор!

Командор
(За сценой).

Я умираю! Милосердья, Боже!

Баррильдо
(За сценой)

Вот Флорес.

Менго
(За сценой).

Это он хлестал ремнем.
Так пусть же обладатель этой рожи
На теле все изведает своем.

Фрондосо
(За сценой).

Лишь вырвав душу из него, сумею
Спокойным быть.

Лауренсия

Войдем туда теперь.

Паскуаля

Не помешан поспешностью своею.
Постережем-ка лучше эту дверь.

Баррильдо
(За сценой).

Нет, хныканьем меня не успокоить.
Маркизики, слезливая струя.

Лауренсия

Иду туда, чтоб действие удвоить.
В ножнах не может шпага быть моя.

(Уходит).

Баррильдо
(За сценой).

А вот Ортуньо.

Фрондосо
(За сценой).

Дух из преисподней!

СЦЕНА 9-я

Флорес, убегающий от Менго. Паскуаля, Хасинта. Женщины, потом Лауренсия и Ортуньо.

Флорес

О, сжалься, виноват не я.
Довольно, что ему служил ты сводней,
И помнит хлыст еще спина моя.

Паскуаля

Постой-ка, Менго, в женские нам руки
Отдай его.

Менго

Охотой не горю
Еще стегать.

Паскуаля

За все твои он муки
Отплатит нам.

Менго

Я то же говорю.

Хасинта

Умри, предатель.

Флорес

Между женщин! Горе!

Хасинта

Так умереть не лучше ли сто крат?

Паскуаля

Об этом хнычешь, и слеза во взоре?

Хасинта

Умри, пособник всех его услад!

Паскуаля

Смерть, смерть, предатель!

Флорес

Сжальтесь,
умоляю.

(Входит Ортуньо, убегая от Лауренсии).

Ортуньо

Ты не за тем... Заметь, не я, не я...

Лауренсия

Войдите все. Кто ты, — отлично знаю.
Пусть чаша будет полной по края.
Окрасить лезвие дано вам право,
Железу — путь по низким существам.

Паскуаля

Смерть встречу, смерть неся.

Все

Фернандо слава!
Овечий Ключ! Король! И смерть врагам!

(Уходят).

СЦЕНА 10-я

Обиталище Короля Дона Фернандо в Торо.
Король Дон Фернандо и Маэстре Дон Манрике.

Дон Манрике

Так было быстро наступленье,
Что был весьма недолгим спор,

И, малый встретивши отпор,
Сломили мы сопротивленье.
И было слабое оно,
А если б и сильнее было,
Так наша сила бы сломила
Противоборство все равно.
Вам Граф де Кабра остается,
Чтоб место укрепить вокруг,
На случай, что противник вдруг
Для дерзкой вылазки вернется.

Король

Разумнейший во всем расчет,
И, силы новые сбирая,
Он должен быть там, охраняя
От нападения проход.
Альфонсо лет свой ястребиный
Не сможет устремить на нас,
Хоть собирает он сейчас
Там в Португалии дружины.
Пусть Граф де Кабра защитит
Рукой военной место это,
И будет добрая примета
Для нас его отважный вид.
И так, там все идет примерно,
И если час идет с войной,
У нас есть зоркий часовой,
Что защищает достоверно.

СЦЕНА 11-я

Флорес, раненый. — Те же.

Флорес

Король Фернандо Благоверный,
Кому дарует в жизни небо
Корону славную Кастильи,
Чтоб добрый муж сиял в венце,
Услышь страшнейшую жестокость,

Какая только зрелась между
Людей, от мест, где всходит солнце,
До мест, где солнце входит в тень.

Король

Сдержи себя.

Флорес

Король верховный,
Час жизни более не медлит,
И раны мне не позволяют
Сдержаться, излагая весть.
Сюда пришел я из местечка,
Зовущегося Ключ Овечий;
Там жителями предан смерти
Их господин Фернан Гомес.
Рукою подданных, изменой,
Он умерщвлен бесчеловечно,
Причины малой подчиненным
Довольно, чтоб затеять месть.
Провозгласив его тираном,
Сбежалось скопище из черни,
И голосом таким ведомы,
Свершили худшее из дел,
Дом Командора разгромили,
Хотя давал он слово чести,
Что он заплатит то, что должен,
Когда он погрешил пред кем.
Как кабальеро говорил к ним,
Они, словам его не внемля,
Ту грудь разрушили, на коей
Был лучшим украшеньем крест,
Их бешенство нетерпеливо,
И вот, его, пронзивши сердце,
Они его бросают тело
Из вышних окон вниз к земле,
Внизу на копья и на шпаги
Труп принимают руки женщин,
И в дом один его уносят,

И был растерзан там мертвец.
Кто больше может издевательств
Явить, желанен перед всеми,
Рвут волосы его, и раны
Поспешно множат на лице.
Так было бешенство велико,
И так оно в них свирепело,
Что наибольшие удары
Мечом достались для ушей.
Сломали герб его повторным
Ударом пик, — на это место
Они хотят, — так прокричали, —
Взнести твой Королевский герб.
Весь дом разграбили, как будто
Там враг прошел немилосердный,
Всему богатству между ними,
Среди веселья, был раздел.
Все это, спрятавшись, я видел,
И было суждено мне небом,
Моей несчастною судьбою,
Чтоб я в той смуте уцелел.
И жизнь моя не потерялась,
Там оставался день я целый,
И ночь пришла, и мог я выйти,
Чтобы поведать все тебе.
О, Государь, ты справедливый,
Так покарай же карой верной
Преступников жестоких этих,
Ведь кровь его кричит в тебе.

Король

Вполне ты можешь быть уверен,
Их ждет суровое возмездье.
Печальный рассказал ты случай,
Я изумлен рассказом здесь.
Судья отправится немедля,
И все на месте он проверит,
И наказание виновных
Примером будет средь людей.

Пусть капитан сопровождает
Судью своей охраной верной,
А раны этого солдата
Пускай залечатся вполне.

(Уходят).

СЦЕНА 12-я

Площадь в Овечьем Ключе.
Эстебан, Фрондосо, Баррильдо, Менго, Лауренсия, Паскуаля, Крестьяне и Крестьянки. На копье они несут голову Фернан Гомеса.

Музыканты
(Поют).

Да живут долги годы
Исабель и Фернандо!
Да погибнут тираны!

Баррильдо

Пусть стих свой нам споет Фрондосо.

Фрондосо

Идет. Но если стих тот мой
Да вдруг окажется хромой,
Его примите без вопроса.
«Судьба красивой Исабель
Слилась с Фернандо. В звуках звона
С Кастильей имя Аррагона
Одну осуществляют цель.
Рука святого Михаила
Идет к обеим их рукам.
Да царствуют на радость нам,
А притеснителям могила».

Лауренсия

Теперь Баррильдо говори.

Баррильдо

Уж был я занят песнопеньем.

Паскуаля

Коль скажешь с должным разуменьем,
В нем будет свет светлей зари.

Баррильдо

«Да правят нами многи лета
Властительные Короли,
Что к нам победные пришли,
Их имя славою одето.
Всегда победа шествуй к ним.
И смерть тиранам возгласим».

Музыканты
(Поют).

«Да правят нами многи лета
Властительные Короли.
Их имя славою одето.
И смерть тиранам возгласим».

Лауренсия

Теперь черед за Менго будет.

Фрондосо

Ну, Менго, говори свой стих.

Менго

Да, я поэт не из плохих.

Паскуаля

Он долго песню не забудет,
Что звонко пели по спине.

Менго

Что ж, нужно стих пропеть и мне.
«Однажды утром в воскресенье
Была отхлестана спина,
Была там музыка слышна,
Особого разряда пенье.
А ныне Королей поем,
И смерть тиранишкам несем».

М у з ы к а н т ы
(Поют).

А ныне Королей поем,
И смерть тиранам мы несем».

Э с т е б а н

Прочь голову теперь отсюда.

М е н г о

Вид у нея весьма уныл,
Как будто он повешен был.

Р е х и д о р

Герб Короля. Совсем не худо.

СЦЕНА 13-я

Х у а н Р ы ж и й несет щит с Королевским гербом.

Э с т е б а н

Несите этот Герб сюда.

Х у а н Р ы ж и й

Куда бы поместить нам это?

Р е х и д о р

Здесь в зал Общинного Совета.

Э с т е б а н

Достойный щит.

Б а р р и л ь д о

Он нам звезда.

Ф р о н д о с о

Нам в этом солнце — час рассвета,
И новой жизни череда.

Э с т е б а н

К нам радости идут живые.
Сияй Кастилья и Леон,

Живи победный Аррагон.
И да погибнет тирания.
Овечий Ключ, заметь теперь
Слова, что старый сообщает: —
Совет нам помощь обещает,
К беде он не откроет дверь.
До Королей оповещенье
О нашем случае дойдет,
И что нам говорить, — вперед
О том войдемте в соглашенье.

Фрондосо

Какой совет твой?

Эстебан

Умирать,
Но говорить всего два слова: —
Овечий Ключ. И то же снова
На все вопросы повторять.

Фрондосо

Овечий Ключ. Его свершенье.

Эстебан

Так вы хотите все тогда
Такой ответ давать?

Все

Да. Да.

Эстебан

Так я хочу, для поученья, —
Чтоб было дело вам видней,
Как надпись четкая по свитку, —
Чтоб Менго тотчас шел на пытку.

Менго

Возьми другого, похрабрей.

Эстебан

Пытать, ты думаешь, не в шутку?

Менго

Ну, изо всех старайся сил.

Эстебан

Кто Командора умертвил?

Менго

Овечий Ключ.

Эстебан

Брось прибаутку.

На пытку, если мелешь вздор.

Менго

Хоть убивай меня, сеньор.

Эстебан

Признайся.

Менго

Признаюсь.

Эстебан

Так кто же

Его убил?

Менго

Овечий Ключ.

Эстебан

Еще его!

Менго

Что дождь из туч.

Эстебан

И дело их пойдет негоже.

СЦЕНА 14-я

Рехидор. — Те же.

Рехидор

Что здесь?

Фрондосо

А что случилось там?

Рехидор

Случилось важное, Фрондосо.
Судья к нам прибыл для допроса.

Эстебан

Все расходитесь по домам.

Рехидор

Сюда он прибыл с капитаном.

Эстебан

А нам хоть дьявола встречать,
Мы знаем, что нам отвечать.

Рехидор

Раскинулся как вражьим станом.
Хватают всех. Допрос тягуч.

Эстебан

Ответ получит он не скоро.
Так кто убил здесь Командора?
Ну, Менго.

Менго

Кто? Овечий Ключ.

СЦЕНА 15-я

Обиталище Маэстре Калатравы в Альмагро.
Маэстре и Солдат.

Маэстре

О том помыслить кто посмел бы!
Удел несчастнейший его.
И в довершение всего
Тебя убить сейчас хотел бы
За то, что эту весть принес.

Солдат

Я только вестник, не свершитель.
Чем виноват я, повелитель?

Маэстре

Чтоб так мятеж средь них возрос!
О, черни дикая гордыня.
Возьму с собой пятьсот солдат,
Пройду как громовой раскат,
И там останется пустыня,
Я уничтожу там до тла
И их имен воспоминанье.

Солдат

Сеньор, сдержи негодованье,
Чтобы себе не встретить зла.
Ведь к Королю они воззвали,
К нему примкнули, — так гляди,
Ты Короля не рассерди,
Чтоб большей не было печали.

Маэстре

Как могут к Королю примкнуть?
Они вассалы Командора.

Солдат

Тут бесполезность разговора.
Затей с ним тяжбу как-нибудь.

Маэстре

А выиграть я мог когда ж бы
То, что в свои он руки взял?
Когда он властелином стал,
Его я признаю без тяжбы,
Коли примкнули к Королю,
Так заноситься мне не дело.
К нему теперь отправлюсь смело,
Обиду же свою стерплю.
Хотя бы в этом затрудненьи
Я был виновен заодно,
Мне оправдание дано
Тем, что был юн я в заблужденьи.
Здесь унижение мне есть,
Но надо посмотреть отважно
Во все, и соблюсти мне важно
В таких делах себя и честь.

(Уходят).

СЦЕНА 16-я

Площадь в Овечьем Ключе.
Лауренсия.

Лауренсия

Любя, тревожно думать о любимом,
Есть новое страдание любви.
О милом кто скорбит, в своей крови
Почувствует он страх, ползущий дымом.
Бессонно мысль путем неисследимым
Завяжет узел, шепчет: «Нить порви».
Любую боль пустой не назови,
Коль мыслишь о сокровище хранимом.
Я обожаю мужа моего.
И вот себя хоть мучай, хоть не мучай,
А чудится — спасет его лишь случай.
Желанному жду боли от всего.
Останется, он будет в пытке жгучей,
Уйдет, умру, утративши его.

СЦЕНА 17-я

Фрондосо. — Лауренсия.

Фрондосо

О, Лауренсия! Супруга!

Лауренсия

Супруг любимый! Как ты здесь?

Фрондосо

Тебе принадлежу я весь.
Из этого как выйти круга?

Лауренсия

Моя любовь, храни себя
Во мне терзанье и тревога.

Фрондосо

Надейся милая на Бога,
Ведь не обидит Он тебя.

Лауренсия

Не видишь, строгости какие
Здесь постигают всех других,
И вовсе не боишься их?
Судья ведет чрез пытки злые.
Ты жизнь свою побереги,
Укройся и не жди мученья.

Фрондосо

Чтоб это принял я решенье,
Того и думать не моги.
Но хорошо бы разве было,
Чтобы в опасности такой
Вдруг разлучился я с тобой,
Оставил всех в тот час, как сила
Терзает их? Нет правды в том,
Чтоб моего бежал страданья,
Когда родных моих — терзанье

Сковало бешеным узлом.
(Крики за сценой).
Мне чудится, я слышу крики,
Они несутся по ветрам,
Под пыткой кто-то стонет там,
Его мучения велики.
О, слушай тайный разговор!

СЦЕНА 18-я

Судья, Эстебан, Ребенок, Паскуаля и Менго, в тюрьме, находящейся в непосредственной близости. — Те же.

Судья
(За сценой).

Скажи, старик, ты с разуменьем.

Фрондосо

Супруга, старика мученьям
Там предают.

Лауренсия

Какой позор!

Эстебан
(За сценой).

Вздохнуть минутку. Умираю.

Судья

Вздохни. Так кто же умертвил?

Эстебан

Овечий Ключ его убил.

Лауренсия

Отец, тебя благословляю!

Фрондосо

О, смелость!

Судья

Кто ж прольет здесь луч?
Эй ты! Чуть вышел из пеленок,
А знаешь все. Скажи, ребенок.
Молчишь? Пытать.

Ребенок
(За сценой).

Овечий Ключ.

Судья

Клянусь вам Королем, злодеи.
Повешу. Краток разговор.
Кем умерщвлен был Командор?

Фрондосо

Ребенка точно свили змеи,
И отрицается он так.

Лауренсия

Народ бесстрашный!

Фрондосо

Сердце смело.

Судья

Ну, женщина теперь за дело.
На дыбу. Это добрый знак.
Ей руку вывернуть потуже.

Лауренсия

Он там от гнева слеп и глух.

Судья

Из вас мятежный выбью дух.
Кто убивал? Ответь мне. Ну же.

Паскуаля
(За сценой).

Овечий Ключ убил, сеньор.

Судья

Пытать ее без промедленья.

Фрондосо

Смолчит. Напрасно это рвенье.

Лауренсия

Она не выдаст. Тщетный спор.

Фрондосо

Упорствуют здесь даже дети.
Чему ж дивиться будем мы?

Судья

Здесь зачарованы умы.
Пытать. Стяни сильнее сети.

Паскуаля

Услышь, о, Боже, трудно мне.

Судья

Сильней. Оглох? Стянуть сильнее.

Паскуаля

Овечий Ключ.

Судья

Того злодея,
Вон толстый, что припал к стене, —
Подать сюда для разговора.

Лауренсия

О Менго эта речь. Бедняк!

Фрондосо

Боюсь он выдаст как ни как.

Менго

(За сценой).

Ай, ай!

Судья

Так кто же Командора
Убил?

Менго

Ай, Ай!

Судья

Собачий сын,
Ответь, ведь так я не оставлю,
А вот сейчас еще прибавлю.

Менго

Ай, все скажу я, господин.

Судья

Ему там руку повольнее.

Фрондосо

Он выдаст.

Судья

Прислонить его.
Плечом.

Менго

Потише. Ничего
Не утаю.

Судья

Скажи скорее.

Менго

Овечий Ключик тут виной.

Судья

Они смеются над страданьем.
Кто был последним упованьем,
Тот самый смелый предо мной.
Устал. Оставьте их в покое.

Фрондосо

О, Бог тебя благослови.
От мук спаслись в твоей крови
Тебя здесь слушавшие двое.

СЦЕНА 19-я

Баррильдо и Рехидор выходят из тюрьмы вместе с Менго. — Фрондосо, Лауренсия.

Баррильдо

Ну, Менго молодец.

Рехидор

Ей-ей,
Он молодец.

Баррильдо

Ему хваленья.

Фрондосо

И наше это также мненье.

Менго

Ай, ай!

Баррильдо

Держи, приятель, пей.

Менго

Тут что?

Баррильдо

Лимонная настойка.

Менго

Ай, ай!

Фрондосо

Он начинает пить.

Б а р р и л ь д о

Идет.

Ф р о н д о с о

Так следует и быть.

Л а у р е н с и я

Дай есть. Не все ж одна попойка.

М е н г о

Ай, ай!

Б а р р и л ь д о

А это мой черед.

Л а у р е н с и я

Идет торжественное пьянство.

Ф р о н д о с о

Явивший в пытке постоянство,
Как там терпел, так здесь и пьет.

Б а р р и л ь д о

Желаешь чарочку другую?

М е н г о

Ай, ай! Еще бы не желать.

Ф р о н д о с о

Пей, заслужил ты благодать.

Л а у р е н с и я

Он жажду показал лихую.

Ф р о н д о с о

Укутайте его, дрожит.

Б а р р и л ь д о

Еще испьешь?

Менго

Еще три раза.

Ай, ай!

Фрондосо

Он не боится сглаза.

Баррильдо

Еще здесь чарка набежит.
Пей в полную себе угоду.
Умел молчать, умей и пить.
Что, больно?

Менго

Не могу ступить.
В груди дыханию нет ходу.
Пойдемте-ка теперь домой.

Фрондосо

Винцо приятно, нет в том спора.
А кто убил здесь Командора?

Менго

Овечий Ключик тут виной.

(Баррильдо, Рехидор, и Менго уходят).

СЦЕНА 20-я

Фрондосо, Лауренсия.

Фрондосо

Ну, так поправится он скоро,
Друзья почет ему готовь.
Но молви мне, моя любовь: —
А кто убил здесь Командора?

Лауренсия

Овечий Ключ, любовь моя.

Фрондосо

Как? Кто убил? Не отвечаешь?

Лауренсия

Фрондосо, ты меня пугаешь.
Овечий Ключ, сказала я.

Фрондосо

А я? Чем я тебя убил?

Лауренсия

Тем, что любила, что любил.

(Уходят).

СЦЕНА 21-я

Обиталище Королей в Тордесильясе.
Король, Королева, и Дон Манрике.

Донья Исабель

Синьор, я вас нс ожидала
Увидеть здесь, и рада я.

Король

И том слава новая моя,
Что сердце здесь вас увидало.
Был в Португалию мой путь,
Заезд сюда был неизбежность.

Донья Исабель

Мой Государь, являя нежность,
Ее скрывает как-нибудь.

Король

Как вы оставили Кастилью?

Донья Исабель

Спокойной, ясной, в тишине.

К о р о л ь

Вы в ней, — вполне понятно мне,
Что все идет в ней к изобилью.

Д о н М а н р и к е

Вот только что, совсем сейчас,
Чтоб вашей прикоснуться славы,
Сюда Маэстре Калатравы
Пришел, хотел бы видеть вас.

Д о н ь я И с а б е л ь

Его увидеть мне желанно.

Д о н М а н р и к е

Клянусь, сеньора, что, хотя
Он по годам совсем дитя,
Он может биться неустанно.

(Уходит).

СЦЕНА 22-я

М а э с т р е. — К о р о л ь, К о р о л е в а.

М а э с т р е

Родриго Телиэс Хирон,
Маэстре Главный Калатравы,
Вам Государь желает славы,
И о прощеньи молит он.
Я признаю, был в заблужденьи,
И против вас я поступил,
Несправедлив я в этом был,
Но я прошу о снисхожденьи,
Фернан Гомеса злой совет,
Корыстные соображенья.
Прошу вторично я прощенья.
Чтоб снова мог глядеть на свет.
И если заслужить могу я
Столь важной милости у вас,
Я обещаю в тот же час,

Что вам достойно отслужу я.
Не праздная моя к вам речь,
И если, государь, вам надо,
Увидит вскорости Гранада,
Насколько метко бьет мой меч.
Едва мою я выну шпагу,
К зубцам тех стен до высоты
Взнесу я красные кресты,
Врагам явив мою отвагу.
И больше чем пятьсот солдат
Для вашей службы обещаю.
Чуть вашу волю я узнаю,
Ее исполнить буду рад.

Король

Маэстре, встаньте. Раз пришли вы,
Свою я радость покажу,
Добро пожаловать скажу.

Маэстре

При вас, кто грустен был, счастливый.

Донья Исабель

И делая и говоря,
Вы дух явили смело ясный.

Маэстре

В вас вижу лик Эсфирь прекрасной,
В вас Ксеркса, дивного царя.

СЦЕНА 23-я

Дон Манрике. — Те же.

Дон Манрике

Сеньор, судья, что порученье
Имел быть острием меча,
Здесь из Овечьего Ключа
Тебе приносит донесенье.

Король

Судьей преступников вам стать.

Маэстре

Когда б не мысль о вас, властитель,
Во мне им показал бы мститель,
Как командоров убивать.

Король

Теперь не вам уж это дело.

Донья Исабель

Вполне уверена, что власть
Вернется к вам, как ваша часть.
На это уповайте смело.

СЦЕНА 24-я

Судья. – Те же.

Судья

В Овечий Ключ я поспешил,
Как мне велело порученье,
И там по мере разуменья
Усердствовал, что было сил.
Но, разъясняя злодеянье,
Не написал я ни листа,
Где были бы, с чертой черта,
Свидетельские показанья.
Все, как их только хочешь мучь,
Бесстрашное являя сердце,
Без разногласья разноверца,
Ответили: «Овечий Ключ».
Из них подверг я пытке триста,
И час терзаний был остер,
Но говорю тебе, сеньор, —
«Вот все» — и это не речисто,
Десятилетних я детей
На дыбу брал, но все терзанья

Не вырвали из них признанья,
И дух не сломлен был ничей,
И никакие уговоры
Их не могли разубедить.
Ты должен или их простить,
Иль всех подвергнуть смерти скорой.
И все пришли к тебе. Когда
Проверить хочешь показанье,
Спросивши их, умножишь знанье.

Король

Пришли, — так пусть войдут сюда.

СЦЕНА 25-я

Эстебан, Алонсо, Фрондосо, Лауренсия, Менго, Крестьяне и Крестьянки.

Лауренсия

Вот это короли, владыки?

Фрондосо

Кастильи мощные цари.

Лауренсия

Красивы, что ни говоря.
Святые — к ним да склонят лики.

Донья Исабель

Они преступники? Вот те?

Эстебан

Овечий Ключ, все слуги ваши,
Да будет жизнь еще вам краше.
Служить готовы в простоте.
Невыносимое тиранство
Являл умерший Командор,
На оскорбления был скор,
В злом не менял он постоянства,

И тысячу принес нам бед,
Немалое брал изобилье
Девушек, путем насилья,
Как тот, в ком состраданья нет...

Фрондосо

И вот, та самая крестьянка,
Что небо даровало мне,
С кем я блаженствую в весне,
Кто свет зари мне спозаранка,
Тут обвенчалася со мной,
И первой ночью, — цепенею, —
Как бы сочтя ее своею,
Увел ее к себе домой.
Ей в чести Бог судил цветенье.
А не сумела бы она
Себя хранить, — прощай весна.
Что было бы, в том нет сомненья,

Менго

А не скажу ль чего и я?
Коль получу я разрешенье,
Я расскажу на удивленье,
Какая доля в том моя.
За то, что встал я на защиту
Той девушки одной, кого
По хоти сердца своего
Он взял, — решил, что мне быть биту.
И извращенный тот Нерон
Такую дал мне в дар дубину,
Что красную оставил спину,
Как ни гляди со всех сторон.
Три молодца с такою силой
Мне поиграли в барабан.
Что вот я кое-где румян,
Но это вовсе мне не мило.
Лечил себя с таким трудом,
Все миртовыми порошками,
Что распростился я с деньгами,
Дешевле стоит весь мой дом.

Эстебан

Твоими, Государь, желаем
Мы быть, и то не без причин,
Ты наш природный господин,
Твой герб меж нас восстановляем.
Мы в милосердие твое
Все верим, в жажде состраданья,
Невинность наше оправданье,
Вся простота — прими ее.

Король

Хоть было важным преступленье,
Все выяснить нам не дано,
И здесь возможно лишь одно: —
Простить во имя снисхожденья.
Пусть будет город ваш за мной,
Во мне защиту обретая.
Минута подойдет иная,
И будет Командор иной.

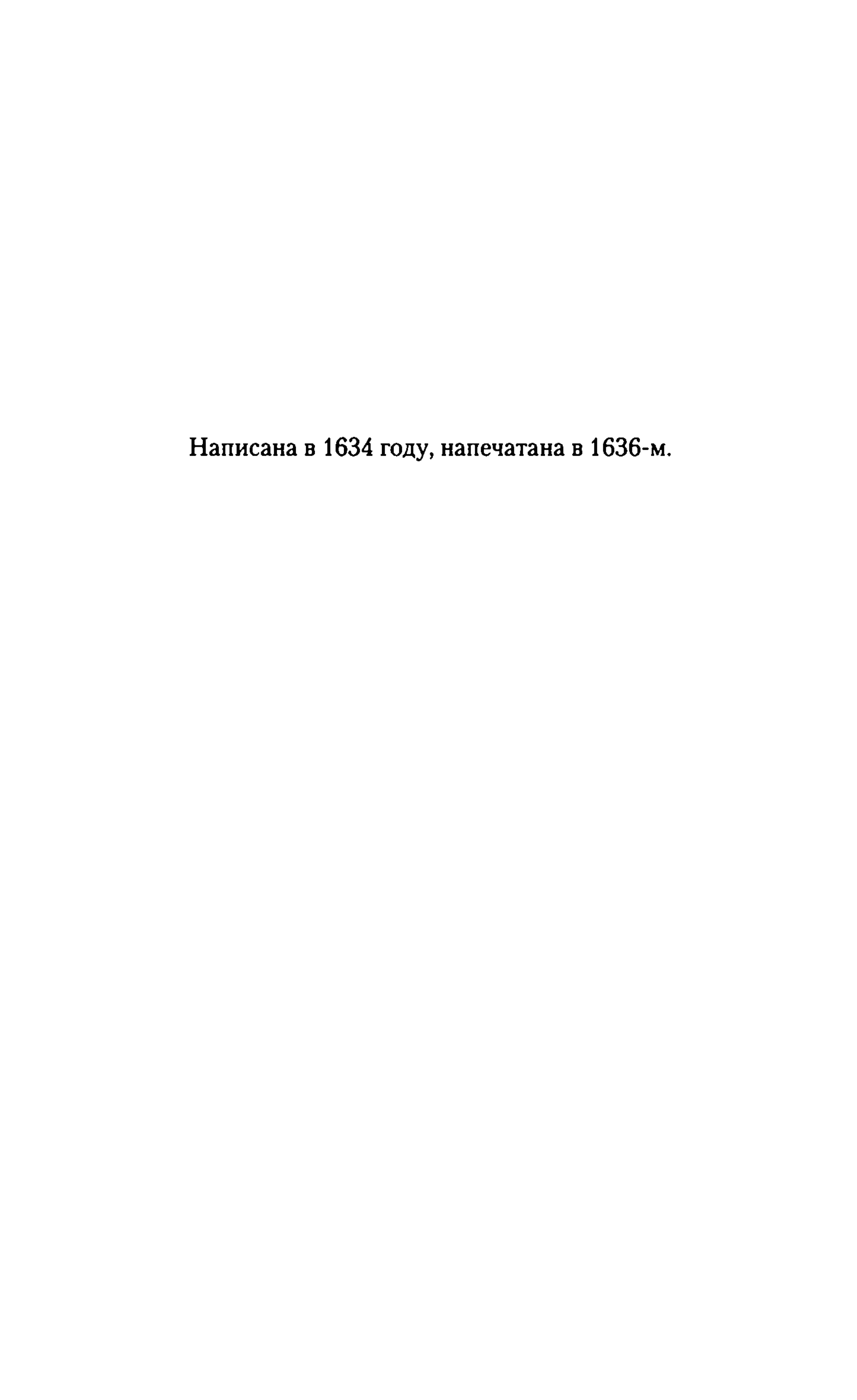
Фрондосо

Тот мудрый приговор утончен.
Другим бы как и быть ему?
И здесь, — внимавшие всему, —
Овечий Ключ сполна закончен.

Педро Кальдерон

ЖИЗНЬ ЕСТЬ СОН

Драма



Написана в 1634 году, напечатана в 1636-м.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Басилио, король польский.
Сехисмундо, принц.
Астольфо, герцог Московии.
Клотальдо, старик.
Кларин, шут.
Эстрелья, инфанта.
Росаура, дама.
Солдаты.
Стража.
Музыканты.
Свита.
Слуги.
Дамы.

Действие происходит при дворе в Полонии (Польше) в крепости, находящейся в некотором отдалении, и в лагере.

ХОРНАДА ПЕРВАЯ

С одной стороны обрывистая гора, с другой – башня, основание которой служит тюрьмой для Сехисмундо. Дверь, находящаяся против зрителей, полуоткрыта. С началом действия совпадает наступление сумерек.

СЦЕНА 1-я

Росаура, Кларин.

(Росаура, в мужской одежде, появляется на вершине скалы и спускается вниз, за ней идет Кларин.)

Росаура

Бегущий в уровень с ветрами,
Неукротимый гиппогриф,
Гроза без ярких молний, птица,
Что и без крыльев – вся порыв,
Без чешуи блестящей рыба,
Без ясного инстинкта зверь,
Среди запутанных утесов
Куда стремишься ты теперь?
Куда влачишься в лабиринте?
Не покидай скалистый склон,
Останься здесь, а я низвергнусь,
Как древле-павший Фаэтон.
Иной не ведая дороги.
Чем данная моей судьбой.

В слепом отчаяньи пойду я.
Меж скал запутанной тропой,
Сойду с возвышенной вершины,
Меж тем как вверх подняв чело,
Она нахмурилась на солнце,
За то, что светит так светло.
Как неприветно ты встречаешь,
Полония, приход чужих.
Ты кровью вписываешь след их
Среди песков пустынь твоих:
Едва к тебе приходит странник,
Приходит в боли он, стеня.
Но где ж несчастный видел жалость?

Кларин

Скажи: несчастные. Меня
Зачем же оставлять за флагом?
Вдвоем, покинув край родной,
Пошли искать мы приключений,
Вдвоем скитались мы с тобой
Среди безумий и несчастий,
И, наконец, пришли сюда,
И, наконец, с горы скатились, —
Где ж основание тогда,
Раз я включен во все помехи,
Меня из счета исключать?

Росаура

Тебя, Кларин, я не жалела.
Чтобы, жалея, не лишать
Законных прав на утешенье.
Как нам философ возвестил,
Так сладко — сетовать, что нужно б
Стараться изо всех нам сил
Себе приискивать мученья,
Чтоб после жаловаться вслух.

Кларин

Философ просто был пьянчужка.
Когда бы сотню оплеух
Ему влепить, блаженством жалоб

Он усладился бы как раз!
Но что предпримем мы, сеньора,
Что здесь нам делать в этот час?
Уходит солнце к новым далям,
И мы одни меж диких гор.

Росаура

Кто ведал столько испытаний!
Но если мне не лжет мой взор,
Какое-то я вижу зданье
Среди утесов, и оно
Так узко, сжато, что как будто
Смотреть на солнце не должно.
Оно построено так грубо,
Что точно это глыба скал,
Обломок дикий, что с вершины,
Соседней с солнцем, вниз упал.

Кларин

Зачем же нам смотреть так долго?
Пускай уж лучше в этот час,
Тот, кто живет здесь, в темный дом свой
Гостеприимно впустит нас.

Росаура

Открыта дверь, или скорее
Не дверь, а пасть, и из нее,
Внутри родившись, ночь роняет
Дыханье темное свое.

(Внутри слышится звон цепей).

Кларин

О, небо, что за звук я слышу!

Росаура

От страха я — огонь и лед!

Кларин

Эге! Цепочка зазвенела.
Испуг мой весть мне подает,
Что здесь чистилище преступных.

СЦЕНА 2-я

Сехисмундо, *в башне* — Росаура, Кларин.

Сехисмундо
(За сценой)

О, я несчастный! Горе мне!

Росаура

Какой печальный слышу голос!
Он замирает в тишине
И говорит о новых бедах.

Кларин

И возвещает новый страх.

Росаура

Кларин, бежим от этой башни.

Кларин

Я не могу: свинец в ногах.

Росаура

Но не горит ли там неясный,
Как испаренье слабый, свет,
Звезда, в которой бьются искры,
Но истинных сияний нет?
И в этих обморочных вспышках
Какой то сумрачной зари,
В ее сомнительном мерцаньи
Еще темнее там внутри.
Я различаю, хоть неясно.
Угрюмо-мрачную тюрьму,
Лежит в ней труп живой, и зданье —
Могила темная ему.
И, что душе еще страшнее,
Цепями он обременен,
И, человек в одежде зверя,
Тяжелым мехом облечен.
Теперь уж мы бежать не можем,

Так встанем здесь, — и в тишине
Давай внимать, о чем скорбит он.

(Створы двери раскрываются, и предстает Сехисмундо в цепях, покрытый звериной шкурой. В башне виден свет.)

Сехисмундо

О, я несчастный! Горе мне!
О, небо, я узнать хотел бы,
За что ты мучаешь меня?
Какое зло тебе я сделал,
Впервые свет увидев дня?
Но раз родился, понимаю,
В чем преступление мое:
Твой гнев моим грехом оправдан,
Грех величайший — бытие.
Тягчайшее из преступлений —
Родиться в мире. Это так.
Но я одно узнать хотел бы,
И не мигу понять никак,
О, небо, (если мы оставим
Вину рожденья — в стороне),
Чем оскорбил тебя я больше,
Что кары больше нужно мне?
Не рождены ли все другие?
А если рождены, тогда
Зачем даны им предпочтенья,
Которых я лишен всегда?
Родится птица; вся — как праздник,
Вся — красота и быстрый свет, —
И лишь блеснет, цветок перистый,
Или порхающий букет.
Она уж мчится в вольных сферах,
Вдруг пропадая в вышине:
А с духом более обширным,
Свободы меньше нужно мне?
Родится зверь, с пятнистым мехом,
Весь — разрисованный узор,
Как символ звезд, рожденный кистью
Искусно — меткой с давних пор, —

И дерзновенный и жестокий,
Гонимый вражеской толпой,
Он познает, что беспощадность
Ему назначена судьбой,
И, как чудовище, мятется
Он в лабиринтной глубине:
А лучшему в своих инстинктах,
Свободы меньше нужно мне?
Родится рыба, что не дышет.
Отброс грязей и трав морских, —
И лишь чешуйчатой ладьею,
Волна в волнах, мелькнет средь них,
Уже кружиться начинает
Неутомимым челноком,
По всем стремится направленьям,
Безбрежность меряя кругом.
С той быстротой, что почерпает
Она в холодной глубине:
А с волей более свободной,
Свободы меньше нужно мне?
Ручей родится, извиваясь,
Блестя, как уж, среди цветов, —
И чуть серебряной змеею
Мелькнет по зелени лугов,
Как он напевом прославляет
В него спешащие взглянуть
Цветы и травы, меж которых
Лежит его свободный путь,
И весь живет в просторе пышном,
Слагая музыку весне:
А с жизнью более глубокой,
Свободы меньше нужно мне?
Такою страстью проникаясь,
И разгораясь, как вулкан,
Я разорвать хотел бы сердце,
Умерить смертью жгучесть ран.
Какая ж это справедливость,
Какой же требует закон,
Чтоб человек в существованьи

Тех преимуществ был лишен,
В тех предпочтеньях самых главных
Был обделенным навсегда,
В которых взысканы Всевышним
Зверь, птица, рыба и вода?

Росаура

Печаль и страх я ощутила,
Внимая доводам его.

Сехисмундо

Кто здесь слова мои подслушал?
Клотальдо?

Кларин

(В сторону к Росауре.)

Успокой его,
Скажи, что да.

Росаура

Нет, я, несчастный.
Здесь услыхал, как ты, скорбя,
Под темным сводом сокрушался.

Сехисмундо

Так я сейчас убью тебя,
Что б ты не знал, что вот я знаю,
Что знаешь слабости мои;

(Схватывает ее.)

И лишь за то, что ты услышал,
Как тосковал я в забытьи,
Тебя могучими руками
Я растерзаю.

Кларин

Глухоты
Порок наследственный спасает
Меня от казни.

Р о с а у р а

Если ты
Родился в мире человеком,
Довольно пасть к твоим ногам
И пощадишь.

С е х и с м у н д о

Смущенный, кроткий,
К твоим склоняюсь я мольбам;
К тебе я полон уваженья,
Хоть я, в тюрьме своей стеня,
Из мира знаю столь немного,
Что эта башня для меня
Как колыбель и как могила, —
Хотя с тех пор, как я рожден,
Лишь этой дикою пустыней
Без перемены окружен,
И в ней влачу существованье,
Живой мертвец, скелет живой, —
Хотя до этого мгновенья
Я не беседовал с тобой,
И не видал тебя, и только
Всегда с одним я говорил,
Кто знает скорбь мою, и знанью
Земли и неба научил, —
Хотя ты видишь пред собою
Живого чудища пример,
Что пребывает одиноко
Средь изумлений и химер, —
Хотя я зверь меж человеков,
И человек среди зверей,
И в столь значительных несчастьях
Внимал зверям, чтоб стать мудрей.
И государственную мудрость
Смотрев на птиц я изучал,
И к звездам взор свой устремляя
Круги их в небе измерял, —
Но только ты, лишь ты был властен
Внезапно укротить мой дух,
И усмирить мои страданья,

И усладить мой жадный слух.
И на тебя я с каждым взглядом
Все ненасытнее смотрю,
И каждым взглядом я как будто
Об этой жажде говорю.
И смерть я взглядами впиваю,
И пью, без страха умереть,
И, видя, что, смотря, я гибну,
Я умираю, чтоб смотреть.
Но пусть умру, тебя увидев.
И если я теперь сражен.
И если видеть — умиранье,
Тебя не видеть — смертный сон,
Не смертный сон, а смертный ужас,
Терзанье, бешенство, боязнь,
Ужасней: жизнь, — а ужас жизни,
Когда живешь несчастным — казнь.

Росаура

Тебя я слышу, — и смущаюсь,
Гляжу, — не в силах страх смирить,
И что сказать тебе, не знаю,
Не знаю, что тебя спросить.
Скажу одно, что верно небо
Сюда направило мой путь,
Дабы утешенный в несчастьи
Я мог свободнее вздохнуть,
Когда возможно, чтоб несчастный
В своей беде был облегчен,
Увидя, что другой печальный
Несчастьем большим удручен.
Один мудрец, в нужде глубокой,
Среды таких лишений жил,
Что только травами питался,
Которые он находил,
Возможно ли (так размышлял он),
Чтоб кто беднее был? О, нет!
И тут случайно обернулся,
И на вопрос нашел ответ.
Другой мудрей, идя за первым,

Чтобы своей нужде помочь,
Те травы подбирал с дороги,
Которые бросал он прочь.
Я жил печальный в этом мире,
И вот когда, гоним судьбой,
Я вопрошал: ужели в лире
Еще несчастней есть другой?
Ты милосердно мне ответил,
И вижу, что в такой борьбе
Ты мог бы все мои несчастья,
Как утешенье, взять себе.
И ежели мои мученья
Твой дух способны облегчить,
Внимай, я разверну охотно
Меня постигших бедствий нить...

СЦЕНА 3-я

Клотальдо, солдаты. — Сехисмундо, Росаура, Кларин.

Клотальдо
(За сценой.)

Солдаты, стражи этой башни,
Вы испугались, или спали,
Двоим дозволивши нарушить
Уединение тюрьмы...

Росаура

Еще беда, еще смущенье!

Сехисмундо

Тюремщик это мой, Клотальдо.
Так нет конца моим мученьям?

Клотальдо
(За сценой.)

Сюда, и, прежде чем они
Окажут вам сопротивленье,
Возьмите их или убейте.

Голоса
(За сценой.)

Измена!

Кларин

Стражи этой башни,
Нас пропустившие сюда.
Коль вы оставили нам выбор,
Так нас схватить — гораздо легче.

(Выходят Клотальдо и солдаты: он с пистолетом и лица у всех закрыты.)

Клотальдо
(В сторону, к солдатам, при входе.)

Закройтесь все, нам очень важно,
Чтобы никто нас не узнал.
Пока мы здесь.

Кларин

Мы в маскараде?

Клотальдо

Вы, что вступили по незнанью
В пределы этих мест, запретных
По повеленью Короля,
Велевшего в своем указе,
Чтоб не дерзал никто касаться
Своим исследованьем чуда,
Что скрыто между этих скал, —
Сложив свое оружье, сдайтесь,
Иначе, аспид из металла,
Вот этот пистолет, извергнет
Двух пуль проникновенный яд,
Чьим пламенем смутится воздух.

Сехисмундо

Сперва, мой повелитель-деспот.
И прежде чем ты их обидишь,
Я унизительным цепям

Оставлю жизнь мою добычей;
Свидетель Бог, я растерзаю
Себя руками и зубами
Среди угрюмых этих скал,
Но допустить не пожелаю,
Чтоб их постигло злополучье,
И я оплакал их обиду.

Клотальдо

Ты, Сехисмундо, знаешь сам:
Так велико твое несчастье,
Что до рождения ты умер
Согласно приговору неба;
Ты знаешь, что твоя тюрьма —
Для ярости твоей свирепой
Узда суровая и вожжи,
Чтоб удержать ее стремленье.
Чего-ж кричишь?

(К солдатам.)

Закройте дверь,
Заприте узкую темницу;
Пусть он войдет в нее.

Сехисмундо

О, небо,
Как хорошо, что ты лишило
Меня свободы! А не то
Я встал бы дерзким исполином,
И чтоб сломать на дальнем солнце
Хрусталь его блестящих окон, —
На основаньях из камней
Воздвиг бы горы я из яшмы.

Клотальдо

Быть может, именно затем-то,
Чтоб этого не мог ты сделать,
Ты терпишь ныне столько зол.

*(Несколько солдат уводят Сехисмундо
и запирают его в тюрьме.)*

СЦЕНА 4-я

Р о с а у р а, К л о т а л ь д о, К л а р и н, с о л д а т ы.

Р о с а у р а

Увидевши, что так глубоко
Тебя надменность оскорбила,
Несведущим я оказался б,
Когда б смиренно не просил
Дать жизнь, что пред тобой во прахе
Ко мне проникнись милосердьем;
Чрезмерно это было б строго.
Когда бы так же ты казнил
Смирение, как и надменность.

К л а р и н

И коль Надменность и Смиренье,
Сии почтенные особы,
Что в тысяче Священных Действ
Пред нами исполняли роли, —
Коли они тебя нисколько
Не трогают, я, не смиренный
И не надменный, но меж двух,
Как серединная тартинка,
Тебя прошу, дай нам защиту.

К л о т а л ь д о

Сюда!

С о л д а т ы

Сеньор...

К л о т а л ь д о

Взять у обоих
Оружие и завязать
Глаза им, чтобы не видали,
Куда и как отсюда выйдут.

Р о с а у р а

Тебе свою вручаю шпагу,

И лишь тебе могу ее
Отдать, как старшему над всеми.

Кларин

Что до моей, она такая,
Что взять ее лишь может самый
Негодный.

(К одному из солдат.)

Ну-ка, получай.

Росаура

И если умереть я должен,
Пускай за это милосердье
Ее себе ты в дар получишь,
И можно этот дар ценить
Во имя прежнего владельца:
Храни ее, — хоть я не знаю,
Какая тайна в ней сокрыта,
Но знаю, некий талисман
Есть в этой шпаге золоченой,
И я, лишь на нее надеясь,
Сюда в Полонию явился
За оскорбленье отомстить.

Курсио
(В сторону.)

О, небо! Что же это будет?
Еще растут мои печали,
И огорченья, и заботы.
Кто эту шпагу дал тебе?

Росаура

Кто? Женщина.

Клотальдо

Как имя?

Росаура

Должен
Я умолчать.

Клотальдо

Откуда знаешь,
Или откуда заключаешь.
Что в этой шпаге тайна есть?

Росаура

Кто дал ее, сказал: «Отправься
В Полонию, и постарайся,
Уменьем, хитростью, иль знаньем,
Так сделать, чтобы показать
Особам знатным эту шпагу:
Я знаю, между благородных
Найдется кто-нибудь, кто будет
Твоим защитником в нужде»;
Назвать его не захотела,
Не зная, жив он или умер.

Клотальдо
(В сторону.)

О, небо, помоги! Что слышу?
Я даже не могу решить,
Виденье это пли правда.
Я эту шпагу дал когда-то,
Давно, прекрасной Виоланте,
Как знак того, что если кто
Ко мне придет, ей опоясан,
Где б ни был я, во мне он всюду
Найдет и любящего сына,
И милосердного отца.
О, горе! Что же буду делать
Я в затруднении подобном,
Коль тот, кто нес с собой защиту,
С собою смерть принес свою,
Придя приговоренный к смерти?
Какое странное смущенье!
Какая горестная участь!
Какой непостоянный рок!
Мой сын родной передо мною,
Приметы мне о том вещают,
И вместе указанья сердца

О том мне ясно говорят:
Оно, едва его увидя,
В груди моей крылами бьется, —
И так же, как тюремный узник,
На улице услышав шум,
Хотел бы разломать засовы,
И чувствуя свое бессилье,
Спешит скорей взглянуть в окошко, —
Оно, тревогу услыхав,
Не зная, что там происходит,
Спешит разведать, что случилось,
И заблиставшими слезами
Глядит из окон сердца, глаз.
Что делать? (Небо помоги мне!)
Что делать? Если, по закону,
Я к Королю его отправлю,
Я поведу его на смерть.
Скрывать от Короля виновных,
Как верноподданный, не смею.
И вот в одно и то же время
В моей душе встает любовь,
И с ней в борьбу вступает верность,
Но впрочем, что ж я сомневаюсь?
Не предпочтительней ли жизни
И чести — верность Королю?
Так верность пусть живой пребудет,
И пусть мой сын погибнет смертью.
Притом, принявши во вниманье,
Что он явился отомстить
За оскорбленье, — оскорбленный
Бесчестен. — Значит он не сын мой,
И нет в нем крови благородной.
Но если случай был такой,
Была опасность, от которой
Еще никто свободен не был? —
Ведь по самой своей природе
У всех настолько честь хрупка,
Что от единого поступка,
От одного движенья ветра,
Она способна разломиться,

Или запятнанной предстать, —
Что может сделать благородный,
Что больше может совершить он,
Как не пойти искать виновных
Ценой опасностей таких?
Он сын мой, да, моей он крови,
Коль так в беде неустрашим он.
Итак, меж этих двух сомнений,
Идти я должен к Королю,
И это будет лучшим средством —
Сказать ему: «Перед тобою
Мой сын. Убей его». — Быть может,
Тогда его он пощадит,
Моей покорностью растроган.
Коли останется в живых он,
Я помогу его отмщенью.
Но если смертный приговор
Король во гневе постановит,
Умрет он, так и не узнавши,
Что я отец его. — Идемте.

(К Росауре и Кларину.)

Не бойтесь, путники, что вам
В несчастьи быть одним придется:
Когда сомненье возникает,
Жить или умереть, — не знаю,
В чем скрыта большая беда.

(Уходят.)

СЦЕНА 5-я

Зал в Королевском Дворце, в столице.
Астольфо и солдаты, *выходят с одной стороны, с другой* инфанта Эстрелья и придворные дамы. *За сценой военная музыка и залпы.*

Астольфо

Увидя светлую комету,
Ей птицы свой привет поют,
Под звуки труб журчат фонтаны,
И барабаны звонко бьют.

И в благозвучии согласном
Они играют пред тобой,
Здесь — роем звонких птиц из меди,
А там — пернатою трубой.
И величает, как царицу,
Тебя стозвучная стрельба,
А птичьи стаи — как Аврору,
А перливная труба —
Как всепобедную Палладу.
Как Флору нежную — цветы.
И, день сияньем затемняя,
Ты, в блеске юной красоты,
Аврора в радостном весельи,
Паллада воинских страстей,
И Флора в мире, и царица
Над любящей душой моей.

Эстрелья

Когда слова у человека
Должны поступкам отвечать,
Тебе совсем не нужно было
Таких приветствий расточать:
Вся эта воинская пышность,
С которой я борюсь душой,
Твоим словам противоречит;
И раз я вижу пред собой
Такие строгости в поступках,
Как льстивым верить мне речам?
Заметь еще, что это низко
И подобает лишь зверям,
Лишь зверю, матери обмана, —
Медоточивым ртом ласкать
И замыслом одновременно
Изменнически убивать.

Астольфо

Ты ошибаешься, Эстрелья,
Мне веры в этот миг не дав:
Лишь выслушай, что сообщу я,
Увидишь, прав я иль неправ.
Когда Эвсторхио скончался,

Преемник был на польский трон
Басилио, с двумя сестрами,
И я одной из них рожден.
Другою ты. — Я не желаю
Повествованьем утомлять
О том, что было б здесь не к месту.
Твоя властительная мать,
Моя сеньора, Клорилена,
Навек покинувшая нас,
Под балдахином из созвездий
В светлейшем царстве в этот час;
Ей старшинство принадлежало
И дочь от этой старшей — ты;
Сестра вторая — Ресисунда:
Пусть Бог, с небесной высоты,
Ее хранит тысячелетье!
В Московии вступивши в брак,
Она дала мне счастье жизни,
Сын Ресисунды я. Итак,
Вернуться должен я к другому.
Влиянию преклонных лет
Басилио, как все, сдается;
В нем к женщинам влеченья нет,
К познаньям больше он наклонен,
И овдовел бездетным он;
Согласно с чем, мы притязаем,
И я, и ты, на этот трон.
Ты — как рожденная от старшей,
Я — хоть от младшей — потому,
Что я мужчиною родился
И значит в споре верх возьму.
Мы дяде нашему сказали
О притязаниях своих,
И он ответил, что намерен
Согласовать разумно их.
Он нам назначил день и место;
Свою покинувши страну,
Я из Московии явился
Не объявить тебе войну,
А ждать, чтоб ты мне объявила.

О! если б только ныне мог
Премудрый бог, Амур, устроить,
Чтоб достоверный астролог,
Народ, стоял за нас обоих, —
О! пусть бы волею чужой
Отныне стала ты царицей,
Царицей над моей душой,
Чтоб дядя дал тебе корону,
Чтоб ты себе триумф дала,
И чтоб в моей любви покорной
Ты царство пышное нашла.

Эстрелья

При виде рыцарства такого
Хочу неменьшее явить:
Я царства этого желала
Лишь для того, чтоб подарить
Его тебе; хоть опасаюсь,
В сердечной думаю борьбе,
Что ты неблагодарным будешь,
При всей любви моей к тебе.
Как думаю, изобличает
Тебя в двуличии портрет,
Что на груди твоей я вижу.

Астольфо

Тебе я точный дам ответ
На твой... Но должен я умолкнуть,
Мешает музыка войны:

(Барабанный бой.)

Сюда Король идет с советом,
И мы о том извещены.

СЦЕНА 6-я

Король Басилио, свита. — Астольфо, Эстрелья, придворные дамы, солдаты.

Эстрелья

Мудрец Фалес...

Астольфо

Эвклид ученый...

Эстрелья

Что меж созвездий...

Астольфо

Меж планет...

Эстрелья

Премудро правишь...

Астольфо

Пребываешь...

Эстрелья

И их пути...

Астольфо

Их светлый след...

Эстрелья

Предначертая...

Астольфо

Измеряешь...

Эстрелья

Позволь, склонясь...

Астольфо

На благо нам...

Эстрелья

Вокруг тебя лозой обвиться.

Астольфо

Покорно пасть к твоим ногам.

Басилио

Мои возлюбленные дети,
Придите пасть в мои объятья,
И верьте, если вы на зов мой
Явились с верностью такой,
Я уравняю вас обоих,
Ни одного не выделяя:
Итак, явив свою готовность
Вопрос ваш трудный разрешить,
Я об одном теперь прошу вас:
На время сохранить молчанье,
Затем что изумить должно вас
Повествование мое.
Как вам доподлинно известно, —
Внимайте с тщательностью, дети,
И ты, о, польский двор преславный,
И вы, вассалы и друзья, —
Как вам известно, в этом мире
Своими знаньями снискал я
Почетный титул свой — ученый,
И вопреки забвенью дней,
Живописания Тимантов,
И изваяния Лизиппов
Меня Басилио великим
Во всей вселенной нарекли.
И вам уж издавна известно,
Что всех наук я чту превыше
Математические знанья
С немой утонченностью их,
И ими славу обделяю
И ими время я лишаю
Неоспоримых полномочий
Учить о новом с каждым днем:
Затем что чуть в своих таблицах
Увижу новое в грядущем, —
И время первенство теряет
Вещать о том, что я сказал.
И те окружности из снега,
И те хрустальные покровы,

Что принимают блеск от солнца
И разделяются луной, —
Все те миры из бриллиантов,
Все те хрустальные пространства,
Где блещут стройные созвездья,
Кочуют полчища планет, —
В теченьи лет мне были книги,
Где на бумаге из алмаза,
В тетрадях пышных из сафира,
По золотым скользя строкам,
Слагая явственные буквы,
Всегда записывает небо
И благодатные событья,
И всю превратность наших дней.
И так я быстро их читаю,
Что духом следую свободно
За быстротою их движений
По всем дорогам и путям.
О, еслиб небо пожелало,
И прежде чем мой ум явился
Его заметь истолкованьем
И росписью его листов, —
О, если б небо пожелало,
И я погиб бы первой жертвой
Его карающего гнева,
Явив трагедию судьбы, —
Затем что, кто несчастен в мире,
Тому кинжал — его заслуги,
И тот, кто в знаньи вред находит,
Убийца самого себя!
Так я могу сказать, и лучший
Тому пример — в событьях странных,
И чтоб, дивясь, вы их узнали.
Вторично я прошу внимать.
Моей супругой Клориленой
Мне сын рожден был злополучный.
И небеса в его рожденьи
Свои явили чудеса.
Пред тем как ласковому свету
Он отдан был живой гробницей, —

Гробницей чрева, так как схоже —
Родиться в мир и умирать, —
В ночном бреду и в сновиденьях,
Неоднократно повторялось
Одно жестокое виденье
Несчастной матери его:
Имея форму человека,
На свет чудовище рождалось,
И дерзновенно разрывало
Все сокровенности ее,
И той, что жизнь ему давала,
Ее окрашенное кровью,
Давало смерть своим рожденьем,
Как бы ехидна меж людей.
И день пришел его рожденья,
И совершилось предвещанье, —
Предвестья знамений зловещих
Не изменяют никогда.
При гороскопе он родился
Таком ужасном, что, беснуясь,
Окрашено своею кровью,
Вступило солнце в бой с луной,
Для них земля была оплотом,
И два светильника небесных
Боролись всею силой света
Как в рукопашной два бойца,
Произошло затменье солнца,
Какого не было, с тех пор как
Слезами крови в день распятья
Оно оплакало Христа.
Все области земного шара,
Как бы в последнем пароксизме.
Тонули в зареве пожаров,
И затемнились небеса,
Высокие дрожали зданья,
И дождь камней из туч струился,
И тучи грозно выростали,
И кровь текла по руслам рек.
И при таком-то вот ужасном
Безумьи или бреде солнца,

На свет родился Сехисмундо,
И сразу выказал свой нрав:
Убивши мать своим рожденьем.
Такой свирепостью сказал он:
Я человек, и начинаю
Вознаграждать за благо злом.
К моим познаниям прибегнув,
Я в них, как и во всем, увидел,
Что Сехисмундо в мир вступил бы
Как дерзновенный человек,
Что был бы он жестоким принцем,
Монархом самым нечестивым,
И потому его правленье
В умах посеяло б раздор;
Его правленье было б смутой,
И школой низостей, предательств,
И академией пороков, —
А сам он, бешенством объят,
Среди безумств и преступлений,
Меня к стопам своим повергнув, —
Стыжусь сказать, — в моих сединах
Был должен видеть свой ковер.
Кто не поверит в предвещанье
Своих несчастий, чью угрозу
Он увидал в той сфере знанья,
Где царствует любовь к себе?
Итак, доверившись созвездьям,
Что предвещали мне несчастья
В своих пророчествах зловещих, —
Решил я зверя запереть,
Дабы, лишив его свободы,
Иметь возможность этим самым
Проверить, не дано ли мудрым
Предотвратить влиянье звезд.
Я объявил, что рок превратен,
И что Инфант родился мертвым,
И чтоб случайности избегнуть,
Я башню выстроить велел,
Среди вон тех утесов мрачных,
Где свет едва находит доступ,

Где сонмы диких обелисков
Ему преградою встают.
И по указанной причине
Я обнародовал законы,
Суровой казнью возбраняя
Вступать в предел запретных гор.
Там и живет он, Сехисмундо,
В несчастьях, в бедности, в неволе,
И там его один Клотальдо
Учил, воспитывал, и знал.
Ему преподал он науки,
И католическую веру,
И только он был очевидцем
Его несчастий и скорбей.
Теперь о трех вещах я должен
Оповестить вас: и во-первых,
О том, что, край любя родимый,
Освободить его хочу
От подчиненности жестокой
Владыке-деспоту, иначе
Я послужил бы сам на горе
Мной управляемой стране;
И во-вторых, необходимо
Сказать, что, если отниму я
У крови собственной то право,
Что ей рождением дано,
Я поступлю не христиански,
Закон людской, равно как Божий,
Нарушу, ибо нет веленья, —
Чтоб я, желая вас спасти
От управления тирана,
Явился сам тираном дерзким,
И, чтобы сын мой зла не делал,
Я преступленья б совершал;
И в третьих, нужно нам проверить,
Насколько впал я в заблужденье,
Легко поверив предсказаньям,
Предвозвестившим мне беду:
Быть может, — допустить должны мы, —
Его не победит природа,

Хотя врожденная наклонность
Диктует пропасти ему.
Внушенья звезд неблагосклонных,
Лучи планеты нечестивой
Лишь могут повлиять на волю.
Ее принудить — им нельзя.
И так с собою рассуждая,
Колеблясь между двух решений,
К исходу я пришел такому,
Что вас он должен удивить.
Не возвещая Сехисмундо,
Что он мой сын и ваш владыка,
Его перемещу я завтра
На мой престол и в мой дворец,
И, словом, дам ему возможность
Повелевать и править вами,
И вы, как слуги, присягнете
В повиновении ему.
Свой план исполнивши, я сразу
Достигну трех вещей, решая
И три другие, о которых
Я вам сейчас повествовал.
Во-первых, — если, осторожный,
И справедливый, и разумный,
Свою звезду он опровергнет,
Столь возвестившую о нем,
На ваше благо, вами будет
Спокойно править Принц законный,
Чей двор был — дикие утесы,
Кто жил, как равный, меж зверей;
А если, — во-вторых, — надменный,
И дерзновенный, и жестокий,
Помчится он в полях порока,
Как конь, порвавший повода,
Тогда, отеческой любови
Отдавши должное, спокойно
Перед страной моей родною
Свершу обязанность мою,
И, как Судья нелицемерный,
Его навек лишу наследства,

И, заключив его в темницу,
Я буду строг, но справедлив;
И в-третьих, — если Принц предстанет
Таким, как я вам повествую,
Любовью к вам руководимый,
Я лучших дам вам королей,
Владык, что более достойны
Владеть короной и престолом.
Моим племянникам любезным
Права на трон я передам:
Соединив в одну возможность
Два справедливых притязанья
И их супружеством связавши,
Их по заслугам награжу.
Дабы решенье совершилось,
Я вам, как Царь, повелеваю,
И, как отец, о том прошу вас.
Увещеваю, как мудрец,
Как старец, вас предупреждаю,
И если царь невольник царства, —
Как нам Сенека рек испанский, —
Я умоляю вас, как раб.

Астольфо

Коль говорить теперь я должен,
Как тот, кто ближе всех к вопросу.
Во имя всех я возвещаю:
Пусть Сехисмундо к нам придет, —
Довольно, что рожден тобой он.

Все

Пусть Принц наш будет возвращен нам.
Пусть нашим королем он будет.

Басилио

Внимательности вашей знак,
Вассалы, я ценю глубоко.
Моих детей, мою опору,
Сопроводите в их покои.

Все

Да здравствует великий Царь!

(Все уходят, сопровождая Эстрелью и Астольфо, Король остается.)

СЦЕНА 7-я

Клотальдо. Росаура. Кларин. — Басилио.

Клотальдо
(К Королю.)

Могу ли говорить с тобою?

Басилио

Я рад тебя, Клотальдо, видеть.

Клотальдо

Хотя, к твоим ногам упавши,
Я должен был бы счастлив быть,
На этот раз мой рок печальный,
О, государь, судьбы веленьем,
Нарушил правило привычки
И верноподданность мою.

Басилио

Что приключилось?

Клотальдо

Государь мой,
Меня несчастие постигло,
Которое могло быть счастьем,
Будь воля рока.

Басилио

Продолжай.

Клотальдо

Вот этот юноша прекрасный,
По дерзости иль по незнанью,
Вошел в запретное пространство

И в башне Принца увидал.

Басилио

Не сокрушайся, друг Клотальдо.
Когда бы это совершилось
Не нынче, а вчера, — признаюсь,
Весьма разгневан был бы я;
А ныне тайну все узнали,
И важности не представляет,
Что он узнал ее, когда я
О ней весь двор оповестил.
Зайди ко мне через минуту.
О многом расскажу тебе я,
И попрошу тебя о многом,
Что для меня ты совершишь:
Предупреждаю, что отныне
Ты важным явишься орудьем
Для величайшего событья,
Которое увидит мир.
И чтоб тебе не показалось.
Что я казню твою небрежность,
Я этих узников прощаю.

(Уходит.)

Клотальдо

Живи века, великий Царь!

СЦЕНА 8-я

Клотальдо, Росаура, Кларин.

Клотальдо
(В сторону.)

(О, милость неба! Скрыть могу я,
Что он мой сын.) —
Идите с миром.

Росаура

Тысячекратно припадаю
К твоим ногам, целуя их.

Кларин

А я топчу их, потому что
Одною буквой больше, меньше,
Среди друзей — совсем не важно.

Росаура

Сеньор, ты снова дал мне жизнь,
И так как я живу тобою,
Тебе всегда служить я буду,
Меня рабом считай навеки.

Клотальдо

То, что я дал тебе, не жизнь:
Кто оскорблен и благороден,
Тот не живет: и раз пришел ты
Сюда отмстить за оскорбленье,
Как раньше ты мне сам оказал,
Теперь тебе я жизни не дал.
Ее ты не принес с собою,
И жить бесславно — жить не значит.

(В сторону.)

(Я этим разбужу его.)

Росаура

Да, я живу пока без жизни,
Хоть от тебя ее имею,
Но, отомстив за оскорбленье,
Я так очищу честь свою,
Что жизнь моя казаться будет
Твоим подарком, победившим
Опасности, что ей грозили.

Клотальдо

Возьми отточенную сталь,
Возьми клинок свой закаленный.
И, если ты его омочишь,
В крови врага, — моею шпагой. —
Я говорю сейчас — моей,

И говорю о тех мгновеньях,
Когда ее в руках держал я, —
Ты отомстить врагу сумеешь.

Росаура

Беру ее и, в честь тебя,
Клянусь, что будет месть жестокой,
И до конца непримиримой,
Хотя бы враг мой, оскорбитель.
И был влиятельней.

Кларин

А он
Весьма влиятелен?

Росаура

Настолько,
Что я его не называю,
Не потому, чтоб сомневался
Я в осторожности твоей,
А чтоб твое расположенье,
С которым ты ко мне нисходишь,
Не заменилося противным,
Не обратилось на меня.

Клотальдо

Меня скорей ты приобрел бы,
Мне прекративши впредь возможность
Помочь тому, кого ты ищешь. —

(В сторону.)

(О, если б я узнал, кто он!)

Росаура

Чтоб не подумал ты, что мало
Твое доверие ценю я,
И что к тебе неблагодарен,
Тебе скажу я, кто мой враг.
Астольфо мой противник, Герцог
Московии.

Клотальдо

(В сторону.)

(Едва могу я
Скрыть огорчение: важнее
Оно, чем мог подумать я.
Но разъясним все это дело).

(Вслух.)

Раз ты родился московитом;
Тогда, как государь природный.
Он оскорбить тебя не мог.
Итак, вернись в свой край родимый
И откажись от этой мысли.

Росаура

Хотя и Принц он мой, но мог он
Быть мне обидчиком.

Клотальдо

Не мог,
Хотя бы дерзостно тебя он
В лицо ударил. —

(В сторону.)

(О, Всевышний!)

Росаура

Сильней была моя обида.

Клотальдо

Тогда скажи мне, в чем она.
Сказать ты более не можешь,
Чем то, что я подозреваю.

Росаура

Да, я сказал бы, но не знаю,
Что ты за чувство мне внушил,
С каким к тебе непостижимым
Я отношуся уваженьем,
Каким я полон почитаньем,
Как не дерзаю возвестить, —

Что эта внешняя одежда
Есть не одежда, а загадка,
И что не то она, что взоры
В ней видят. Посуди же сам,
Раз я не то, чем представляюсь,
И, чтоб жениться на Эстрелье,
Астольфо здесь, — меня не мог ли
Он оскорбить. Довольно слов.

(Росаура и Кларин уходят.)

Клотальдо

Не уходи! Постой! Послушай!
Каким нежданным лабиринтом
Я окружен теперь, что разум
Не может нить в нем отыскать?
Я оскорблен, и враг могучий,
И я вассал, и чести женской
Он оскорбитель, — о, Всевышний,
Пусть небо мне укажет путь!
Хотя не знаю, есть ли выход
Из этой пропасти, в которой
Все небо кажется предвестьем,
И чудом кажется весь мир.

ХОРНАДА ВТОРАЯ

СЦЕНА 1-я

Басилио, Клотальдо.

Клотальдо

Как ты велел, так и случилось.

Басилио

Скажи, Клотальдо, все подробно.

Клотальдо

Как повелел ты, я запасся
Успокоительным питьем,
Что было сделано согласно
Твоим премудрым указаньям,
Являя смесь составов разных,
И действие различных трав.
Их власть тиранская, их сила
Сокрытая, с такою мощью
Умом людским овладевает,
Его уничтожает так,
Столь, похищая, отчуждает,
Что человек, уснув, теряет
Свои способности и чувства,
И предстает как труп живой...
— Мы возражений не имеем

Насчет возможности такого
Явленья странного, и опыт
Нас поучает, государь,
Что врачеванье обладает
Числом немалым тайн природных,
И нет растенья, зверя, камня,
Что не имеют свойств своих.
И ежели людская злоба
Бесчисленность ядов открыла,
Дающих смерть, вполне понятно,
Что мудрость может их смягчить;
Раз есть яды, что убивают,
Есть и яды, что усыпляют,
Итак, оставивши сомненья
В возможности того, что есть...
— С питьем из белены и мака,
К которым был примешан опий.
Сошел я в темную темницу,
Где Сехисмундо тосковал.
Я с ним поговорил немного
О человеческих познаньях,
Которые ему преподал
Безгласный лик небес и гор,
В чьей школе, полной неземного,
Риторике он обучился
И мудростью живой проникся
От птиц летучих и зверей.
Чтоб дух его скорей подвигнуть
На то, что ты в душе задумал,
Я мыслью взял для разговора
Величье гордого орла,
Что, презирая сферы ветра,
Стремился в вышние пределы
Блеснуть, как молния из перьев
И как бродячий метеор.
Я восхвалил полет надменный,
Сказав: «О, да, меж птиц воздушных
Ты царь, и это справедливо,
Что ты меж всеми предпочтен!»
И слов моих довольно было.

Чуть до величья речь коснется,
Он говорит всегда надменно
И честолюбием горя.
И, правда, кровь его внушает
Ему великие волненья,
И побуждает постоянно
К большим деяньям. Он сказал:
«Не удивительно ли это,
Что и в воздушном государстве
Птиц беспокойных есть такие,
Что подчиняться им велят?
Такою мыслью проникаясь,
Утешен я моей печалью,
По крайней мере, подчиняясь.
Я против воли подчинен;
Я уступаю в этом силе,
Мне поступить нельзя иначе.
И подчиниться добровольно
Не мог бы в мире никому».
Его увидя разъяренным
При мысли о своих страданьях.
Я дал питье ему, и тотчас.
Как только в грудь оно вошло,
Он уступил дремоте властной.
И пот холодный заструился
По членам бледным и по жилам,
И если б только я не знал,
Что предо мною — призрак смерти.
Не смерть сама, я сомневался б,
Живет ли он. Как раз в то время
Пришли служители твои,
Которым ты доверил опыт.
И, положив его в карету,
Они его переместили,
Не пробуждая, в твой покой.
А там уж было все готово,
Дабы величием и блеском,
Приличным царственной особе,
Он был достойно окружен.
Теперь он на твоей постели

Спокойно спит. Когда же силу
Свою утратит летаргия,
Ему, как самому тебе,
Они служить покорно будут,
Согласно твоему желанью.
И если все, что повелел ты
Исполнить — значит заслужить,
Я об одной прошу награде,
Коль извинишь мою нескромность:
Чего ты хочешь, — Сехисмундо
Переместивши во дворец?

Басилио

Твое желание, Клотальдо,
Узнать о том, что я задумал,
Вполне законным я считаю.
Внимай ответу моему.
Ты знаешь, принцу Сехисмундо
Влияние звезды несчастной
Предвозвещает злополучья
И тьму трагедий роковых;
Обманывать не может небо,
Его суровость многократно
Подтверждена путем жестоким,
Но я исследовать хочу,
Не может ли она смягчиться,
Когда не вовсе, хоть отчасти
И, побежденная вниманьем,
Как бы отречься от себя.
У человека есть возможность
Быть победителем созвездий,
И потому его хотел я
Из заключения извлечь,
И, в мой дворец переместивши,
Соделать для него известным.
Что он мой сын, и дать возможность
Ему испробовать свой дух.
Восторжествует над собою, —
Он будет царствовать; а если
Предстанет дерзким и жестоким, —

Его в оковы я верну,
Теперь ты спросишь, почему же,
Для испытания такого
Необходимым мне казалось
Его уснувшим перенесть.
Я объясню тебе охотно:
Когда бы он узнал сегодня,
Что он мой сын, а завтра снова
Себя в темнице увидал,
Вполне с его согласно нравом,
Что он отчаялся бы в жизни:
Узнавши, кто он, что имел бы
Он в утешение себе?
И потому я счел желанным
Оставить злу свободный выход
И дать ему возможность думать:
«Все, что я видел, было сном».
Две вещи можешь ты проверить
Таким путем: его природу, —
Проснувшись, выкажет он явно,
Что думал он, о чем мечтал: —
И, вслед за этим утешенье: —
Себя теперь царем увидев,
И вновь потом — в тюрьме, он может
Решить, что это был лишь сон:
И если так он будет думать.
Не ошибется он, Клотальдо,
Затем что в этом мире каждый,
Живя, лишь спит и видит сон.

Клотальдо

Сказать я многое хотел бы.
Но возраженья бесполезны,
И Принц, я вижу, пробудился
И направляется сюда.

Басилио

Тогда мне лучше удалиться,
А ты его как воспитатель,

Из замешательства исторгни.
Сказавши истину ему.

Клотальдо

Итак, даешь мне разрешенье?

Басилио

Даю. Быть может, это лучше:
Быть может, зная всю опасность.
Он лучше победит ее.

(Уходит.)

СЦЕНА 2-я

Кларин. — Клотальдо.

Кларин
(В сторону.)

Ценой пинков, числом четыре,
Что дал мне алебардщик рыжий,
В ливрее выкрашенной так же, —
Пробрался ловко я сюда;
Коль хочешь знать, что происходит,
Не надо к продавцу билетов
Идти, — чтоб вход иметь свободный,
Билет у каждого с собой:
Он называется бесстыдством,
И, обладая им, свободно
Идти с пустым карманом можешь,
И видеть, что ни захотел.

Клотальдо
(В сторону.)

(Да, это он, Кларин, служитель
Ее (о, небо!), той, что в горе
Из стран чужих сюда явилась,
С собою взявши мой позор).
Что нового, Кларин?

Кларин

А ново,
Что в милосердии великом
Росауре — ты, пожелавши
Ее обиду отомстить,
Велел переменить одежду.

Клотальдо

Так нужно, чтоб не показалась
Она бесстыдною.

Кларин

И ново,
Что, имя изменив свое,
Твоей племянницей назвавшись,
Росаура в таком почете,
Что при красавице Эстрелье
Придворной дамой состоит.

Клотальдо

За честь ее стоять я должен.

Кларин

И ждет она, что будет время,
И надлежащий будет случай,
Чтоб честь ее ты защитил.

Клотальдо

Отличная предосторожность:
В конце концов поможет время
И все само собой исправит.

Кларин

И как племянница твоя,
Она окружена вниманьем
Таким, что хоть царице впору.
А я, пришедший вместе с ней.
От голода готов погибнуть,
И обо мне никто не вспомнит.
Не смотрят, что Кларин пред ними

И что когда звонит Кларин,
Он обо всем сказать сумеет
Царю, Астольфо и Эстрелье.
Кларин и служащий — две вещи,
Которые хранить секрет
Не очень хорошо умеют,
И ежели меня молчанье
Своим вниманием оставит,
Тогда мне песню посвятят:
Кларин разбудит, он поет.
И, как рожок, он весть дает.

Клотальдо

Ты жалуешься справедливо,
И о тебе я позабочусь;
А ты покуда послужи мне.

Кларин

Вон Сехисмундо. Погляди.

СЦЕНА 3-я

Музыканты, *поют*, и слуги, *помогают* Сехисмундо *облачиться в одежды, между тем как он выходит, полный изумления.* — Клотальдо, Кларин.

Сехисмундо

О, небо, что передо мною?
Какой я новый вижу свет!
Я восхищаюсь, изумленный,
Не знаю, верить или нет,
Я в этих царственных палатах?
Я весь в парче, среди шелков?
Нарядные мне служат слуги,
С немой покорностью рабов?
Я на такой постели чудной
Проснулся, и, глаза открыв,
Кругом толпу людей увидел,
Мне служащих наперерыв?
И знаю я, что я проснулся;

Так значит все это не сон.
Но разве я не Сехисмундо?
Скажи, о, небо, я смущен.
Скажи, с моим воображеньем
Что сделалось, пока я спал?
Каким путем, сейчас проснувшись,
В дворце себя я увидал?
Но будь, что будет. Кто велит мне
Терять моим вопросам счет?
Хочу я, чтобы мне служили,
А что приходит, пусть придет.

Первый слуга
(В сторону, ко второму слуге и к Кларину.)

Как он печален!

Второй слуга

Кто бы не был
Печальным, если бы ему
На долю выпало такое?

Кларин

Я б не был.

Второй слуга

Подойди к нему.

Первый слуга
(К Сехисмундо.)

Ты хочешь, чтобы снова пели?

Сехисмундо

Не надо больше песен мне.

Первый слуга

Развлечься нужно. Ты задумчив.

Сехисмундо

То, что в душевной глубине
Меня заботит, не исчезнет

От звука этих голосов.
Лишь грому музыки военной
Мой дух всегда внимать готов.

Клотальдо

К твоей руке дозволь припасть мне,
Мой Принц и повелитель мой,
Хочу к тебе явиться первый,
Чтоб пасть во прах перед тобой.

Сехисмундо
(В сторону.)

Клотальдо! Как же так возможно,
Что кто в тюрьме ко мне так строг,
Вдруг изменившись, предо мною
Покорно преклониться мог?

Клотальдо

При этом новом состояньи,
Внезапно получивши власть,
Объят смущением великим,
В сомненья может разум впасть;
Но ежели возможно это,
Хочу я, чтобы ты, сеньор,
Освободился от сомнений,
Увидя весь свой кругозор.
Узнай же, что наследный Принц ты
Полоний. Ты жил всегда
В глуши, в безвестности, затем что
Неумолимая звезда
Мильоны бедствий возвестила,
Толпу трагедий предрекла,
На случай, если лавр победный
Коснется твоего чела.
Но так как сильный может бросить
И через пропасть крепкий мост,
Поверив, что своим вниманьем
Ты победишь влиянье звезд,
Из башни, где ты находился,
Тебя в дворец перенесли,

Когда в узор свой сновиденья
Твой дух усталый вовлекли.
Отец твой, мой Король, владыка,
Сейчас придет, и от него
Ты все узнаешь остальное,
Коль я не досказал чего.

Сехисмундо

Чего ж мне знать еще, бесчестный,
Изменник, если знаю я,
Кто я, — чтоб выказать отныне,
Как дерзновенна власть моя?
Как мог отечество настолько
Ты предавать, что от меня,
Преступно, вопреки рассудку,
Скрывал весь этот блеск огня,
Мой царский сан?

Клотальдо

О, я несчастный!

Сехисмундо

Ты смысл закона извратил,
Ты с Королем — льстецом был низким,
Со мною — ты жестоким был.
Так я, закон, Король, мы вместе,
Постановляем приговор:
Тебя мы присуждаем к смерти.
Умри от рук моих.

Второй слуга

Сеньор!

Сехисмундо

Коль кто-нибудь мешать мне станет,
Кто б ни был он, мне все равно,
Но раз он на моей дороге,
Он тотчас полетит в окно.

Второй слуга

Беги, Клотальдо!

К л о т а л ь д о

О, несчастный!
Ты дерзновеньем ослеплен,
Не чувствуя, что в это время
Ты только спишь и видишь сон.

(Уходит.)

В т о р о й с л у г а

Заметь, сеньор, что...

С е х и с м у н д о

Прочь отсюда.

В т о р о й с л у г а

Лишь Короля он своего
Исполнил волю.

С е х и с м у н д о

В нечестивом
Не должен слушаться его.
И я был Принц его.

В т о р о й с л у г а

Что дурно,
Что хорошо, разузнавать,
Он был не должен.

С е х и с м у н д о

Ты тут долго
Советы будешь мне давать?
С тобой, как вижу я, неладно.

К л а р и н

Принц очень хорошо сказал,
Ты поступаешь очень дурно.

В т о р о й с л у г а

Тебе кто позволенье дал
Так дерзко говорить со мною?

Кларин

Сам взял его.

Сехисмундо

Ты кто? Ответь.

Кларин

Я интриган из интриганов;
Свой человек в чужом. Заметь:
Такого ты, как я, не сыщешь.

Сехисмундо

Лишь ты мне угодил.

Кларин

Сеньор,
Я превеликий угождатель
Всех Сехисмундов с давних пор.

СЦЕНА 4-я

Астольфо. — Сехисмундо, Кларин, слуги, музыканты.

Астольфо

Тысячекратно пусть пребудет
Счастлив тот день, о, Принц, когда
Ты к нам являешься, как солнце
Полонии, чтоб навсегда
Своим сияньем осчастливить
Весь этот пышный кругозор:
Блестящим вышел ты, как солнце,
Покинув недра темных гор.
И ежели так поздно лавры
Тебя украсили собой,
Пусть поздно и умрут, сияя
Венцом.

Сехисмундо

Да будет Бог с тобой.

Астольфо

Почтенья от тебя не видя,
Твою вину тебе прощу:
Ведь ты меня не знал, конечно.
И вместе с этим сообщу:
Московский Герцог я, Астольфо,
И брат двоюродный я твой,
Должно быть равенство меж нами.

Сехисмундо

Сказав: «Да будет Бог с тобой»,
Тебя достаточно почтил я.
Но так как ты, собой кичась,
Выказываешь недовольство,
Когда в другой тебя я раз
Увижу, изменю привет свой,
И в этом случае скажу,
Чтоб не был Бог с тобой.

Второй слуга
(К Астольфо.)

Тебе я,
Светлейший Герцог, доложу,
Что так как он в горах родился,
Со всеми так он говорит.

(К Сехисмундо.)

Сеньор, Астольфо разумеет...

Сехисмундо

Мне скучен этот важный вид,
С которым начал говорить он;
И шляпу тотчас он надел.

Второй слуга

Он гранд.

Сехисмундо

Я вдвое гранд.

Второй слуга

И все же
Закон приличия велел,
Чтоб между вами было больше
Почтения, чем меж людьми
Обыкновенными.

Сехисмундо

А ты, брат,
Даю совет, свой рот зажми.

СЦЕНА 5-я

Эстрелья. – Те же.

Эстрелья

Твоим приходом, Принц, да будет
Весь двор стократно услажден;
Тебя, приветствуя, встречает
И приглашает царский трон,
И, под покров его вступивши,
Да будет жизнь твоя легка,
И да сияет полновластно
Не год, не годы, а века.

Сехисмундо
(К Кларину.)

Скажи мне, кто это? в ней чары
Такой надменной красоты.
Кто эта светлая богиня?
Стремясь с небесной высоты,
У ног ее лучи сияют.
Кто эта женщина?

Кларин

Сеньор,
Перед тобой звезда, Эстрелья.

Сехисмундо

Ты лучше бы сказал: простор
Небес покинувшее, солнце.

(к Эстрелье.) Хоть вышел я из тьмы на свет,
Лишь в том, что я тебя увидел,
Я вижу лучший свой привет.
Благодарю тебя за счастье,
Которого не заслужил:
Ты засветилась мне сияньем
Небесных многозвездных сил;
Ты, загоревшись, оживляешь
Сильнейший светоч в небесах.
Что остается делать Солнцу,
Когда весь мир в твоих лучах?
Поцеловать твою дай руку,
Где воздух, свет свой изменив,
Пьет негу в чаше белоснежной.

Эстрелья

Ты так изыскан и учтив.

Астольфо
(В сторону)

Погиб я, если прикоснется
К ее руке он.

Второй слуга
(В сторону)

(Вижу я,
Астольфо это неприятно).
Сеньор, решительность твоя
Здесь неуместна, и Астольфо...

Сехисмундо

Я говорю: с дороги прочь!

Второй слуга

То, что сказал я, справедливо.

Сехисмундо

С тобой мне говорить невмочь,
Ты надоел. То справедливо,
Что я хочу.

Второй слуга

Сказал ты сам:
Лишь справедливым приказаньям
Повиноваться нужно нам.

Сехисмундо

Еще сказал я, что коль будет
Надоедать мне кто-нибудь,
Тогда немедленно сумею
Я за балкон его швырнуть.

Второй слуга

С людьми, как я, вещей подобных
Не может быть.

Сехисмундо

Не может быть?
Клянусь! попробовать хочу я.

(Хватает его на руки и уходит, все уходят за ним и немедленно возвращаются.)

Астольфо

Что вижу? Как тут поступить?

Эстрелья

Скорее Принцу помешайте.

(Уходит.)

Сехисмундо
(Возвращается.)

Упал он в море за балкон.
Клянусь! он может в воду падать.

Астольфо

Ты лютым гневом ослеплен.
Заметь, что если есть различье
Между зверями и людьми,
Так и дворец от гор отличен.

Сехисмундо

А ты за правило возьми,
Что если говоришь так громко,
Так и с тобою может быть,
Что головы ты не отыщешь,
Куда бы шляпу поместить.

(Астольфо уходит.)

СЦЕНА 6-я

Басилио. — Сехисмундо, Кларин, слуги.

Басилио

Что тут случилось?

Сехисмундо

Что случилось?
Да ничего. Один глупец
Мне надоел, его швырнул я
Через балкон.

Кларин
(К Сехисмундо.)

Он твой отец
И он Король, заметь.

Басилио

Так скоро
Твой первый день здесь показал,
Что твой приход уж стоит жизни?

Сехисмундо

Таких вещей, он мне сказал,
Не может быть, — я усомнился,
И тотчас выиграл заклад.

Басилио

Мне больно, Принц, что в час, когда я
Был так тебя увидеть рад,

Когда я думал, что усильем
Влиянье звезд ты победил,
Мне больно, Принц, что в первый час твой
Ты преступленье совершил.
Ты в гневе совершил убийство!
Так как же мне тебя обнять,
Когда рукой коснусь о руку
Умеющую убивать?
Увидев близко пред собою,
Из ножен вынутый клинок,
Смертельную нанесший рану, —
Кто быть без опасений мог?
Придя на место роковое,
Где кровь чужая пролилась, —
Кто мог настолько быть спокойным,
Что в нем душа не сотряслась?
И самый сильный отвечает
Своей природе. Так и я,
Увидев, что омыта кровью
Жестокая рука твоя,
Увидев место роковое,
Где ты убийство совершил, —
Любя, тебя обнять хотел бы,
Но в страхе не имею сил,
И ухожу.

Сехисмундо

Я без объятий
Отлично обойтись могу,
Как обходился до сегодня.
Ты, как жестокому врагу,
Являл мне гнев неумолимый;
Меня ты, — будучи отцом, —
К себе не допускал бездушно,
Ты для меня закрыл свой дом,
И воспитал меня как зверя,
И как чудовище терзал,
И умертвить меня старался:
Так что ж мне в том, что ты сказал?

Что в том, что ты обнять не хочешь?
Я человеком быть хочу,
А ты стоишь мне на дороге.

Басилио

Что чувствую, о том молчу.
О, если б небо пожелало,
Вернуть, что жизнь тебе я дал,
Чтобы я голос твой не слышал,
И дерзновенье не видал!

Сехисмундо

Когда бы ты мне жизни не дал,
Я б о тебе не говорил;
Но раз ты дал, я проклинаю,
Что ты меня ее лишил.
Дать — непостижное деянье
По благородству своему;
Но кто дает — и отнимает,
Тот низок, вечный срам ему.

Басилио

Да? Так меня благодаришь ты
За то, что ты, вчера никто,
Невольник, сделан мною Принцем?

Сехисмундо

Тебя благодарить? За что?
Тиран моей свободной воли,
Раз ты старик и одряхлел,
Что ты даешь мне, умирая,
Как не законный мой удел?
Он мой! И если ты отец мой,
И ты мой царь, — пойми, тиран,
Весь этот яркий блеск величья
Самой природою мне дан.
Так если я наследник царства,
В том не обязан я тебе,
И требовать могу отчета,

Зачем я предан был борьбе,
Зачем свободу, жизнь и почесть
Я узнаю лишь в этот миг.
Ты мне признательным быть должен,
Как неоплатный мой должник.

Басилио

Ты варвар дерзостный. Свершилось,
Что небо свыше предрекло.
Его в свидетели зову я:
Ты гордый, возлюбивший зло.
И пусть теперь узнал ты правду
Происхожденья своего,
И пусть теперь ты там, где выше
Себя не видишь никого,
Заметь, что ныне говорю я:
Смирись; живи других любя.
Быть может, ты лишь спишь и грезишь,
Хотя неспящим зришь себя,

(Уходит.)

Сехисмундо

Быть может, я лишь сплю и грежу,
Хотя себя неспящим зрю?
Не сплю: я четко осязаю,
Чем был, чем стал, что говорю.
И ты раскаиваться можешь,
Но тщетно будешь сожалеть,
Я знаю, кто я, ты не в силах, —
Хотя бы горько стал скорбеть, —
То возвратить, что я родился,
Наследник этого венца;
И если я в тюрьме был раньше,
И там терзался без конца,
Так потому лишь, что, безвестный,
Не знал я, кто я; а теперь
Я знаю, кто я, знаю, знаю:
Я человек и полузверь.

СЦЕНА 7-я

Р о с а у р а, *в женской одежде.* – С е х и с м у н д о, К л а р и н, с л у г и.

Р о с а у р а
(В сторону.)

Я в свите у Эстрельи. Опасаюсь,
Что встречу я Астольфо: между тем
Клотальдо говорит, что очень важно,
Чтоб он меня не видел, и совсем
Пока не знал, что во дворце живу я:
Клотальдо я довериться могу,
Ему своей обязана я жизнью,
За честь мою он отомстит врагу.

К л а р и н
(К Сехисмундо.)

Из всех вещей, которые ты видел,
Чем более всего ты здесь прельщен?

С е х и с м у н д о

Я все заранее предвидел,
И я ничем не восхищен.
Но если чем я в мире восхитился,
Так это женской красотой.
Читать мне в книгах приходилось,
Что Бог, когда творил Он мир земной,
Внимательней всего над человеком
Свой зоркий взгляд остановил,
То малый мир: так в женщине, он значит
Нам небо малое явил.
В ней больше красоты, чем в человеке,
Как в небесах, в сравнении с землей.
В особенности в той, что вижу.

Р о с а у р а
(В сторону.)

Здесь Принц. Уйду скорей.

С е х и с м у н д о

Постой.
Ты, женщина, так быстро убегая,
С восходом солнца хочешь слить закат,
Волшебный свет с холодной тенью?
Ты обморочный день? Вернись назад.
Но что я вижу?

Р о с а у р а

В том, что́ предо мною,
Я сомневаюсь.

С е х и с м у н д о
(В сторону.)

Эту красоту
Я видел раньше.

Р о с а у р а
(В сторону.)

Эту пышность
Я созерцаю, как мечту:
Его я видела в темнице.

С е х и с м у н д о
(В сторону.)

(Теперь нашел я жизнь свою).
О, женщина, нежнейшую усладу
Я в слове женщина, как чистый нектар, пью.
О, кто ты, что, тебя не видев,
Перед тобой склоняюсь я,
И чувствую, что видел раньше,
Как красота сильна твоя?
О, кто ты, женщина прекрасная, скажи мне?

Р о с а у р а
(В сторону.)

(Должна свою я тайну скрыть).
Я фрейлина звезды двора, Эстрельи.

Сехисмундо

Не говори. Ты Солнце, может быть,
Чьим блеском та звезда сияет в небе,
Чьим обликом она озарена?
Я видел, в царстве ароматов,
Когда в садах блестит весна,
Царица-роза над цветами
Владычествует в силу красоты;
Я видел, в царстве драгоценных
Камней, роскошных, как мечты,
Царит алмаз, как самый сильный в блеске;
Меж звезд, изменчивых всегда,
Я видел, в этом царстве беспокойном,
Царит, светлее всех, вечерняя звезда;
Я видел, меж планет, блистающих на небе.
На пышном празднестве огня,
Над всеми властно блещет солнце,
Главнейший царь, оракул дня.
Так если меж цветов, камней, планет, созвездий
Предпочитают тех, чья больше красота,
Как меньшему цветку служить ты можешь, роза,
Блеск солнца, блеск звезды, алмаз, расцвет, мечта?

СЦЕНА 8-я

Клотальдо, *который остается за занавесом.* — Сехисмундо, Росаура, Кларин, слуги.

Клотальдо
(В сторону.)

Я укротить намерен Сехисмундо,
В конце концов, я воспитал его.
Но что я вижу?

Росаура

Я ценю вниманье,
Молчу в ответ: когда для своего
Смущения исхода не находишь,
Молчанье — красноречие.

Сехисмундо

Постой.
Побудь со мной еще мгновенье,
Как свет полудня золотой.
Как хочешь ты небрежно так оставить
В сомнениях волнение мое?

Росаура

Как милости прошу, позволь уйти мне.

Сехисмундо

Как милости! Но ты берешь ее
Без спросу, если быстро так уходишь.

Росаура

Раз ты не дашь, — что делать, — я возьму.

Сехисмундо

Я был учтив, я буду груб: упрямство —
Свирепый яд терпенью моему.

Росаура

Но если этот яд, поддавшись гневу,
Терпенье победит, он все ж посметь
Не может посягнуть на уваженье.

Сехисмундо

Лишь для того, чтоб посмотреть,
Могу ли, — пред красою страх утрачу;
Я невозможность побеждать
Весьма наклонен: я с балкона
Швырнул посмевшего сказать,
Что этого не может статься;
Так значит это суждено:
Чтоб посмотреть, теперь могу ли,
Я честь твою швырну в окно.

Клотальдо
(В сторону.)

Готовится беда. Что делать, небо?
Безумное желание опять

На честь мою готово покуситься.
Ему я должен помешать.

Росаура

Не даром звезды нам сказали,
Что в этом царстве, как тиран,
Ты явишь гнев и злодеянья,
Измену, ужас и обман.
Но что же ждать от человека,
Кто лишь по имени таков среди людей,
Бесчеловечный, дикий, дерзкий,
Родившийся как зверь между зверей?

Сехисмундо

Чтоб избежать подобных оскорблений,
Я был с тобою столь учтив,
И думал, что тебя я этим трону;
Но, если вежливость забыв,
С тобою так заговорю я,
Клянусь! не даром ты теперь
Сказала все. — Эй, прочь отсюда,
Уйдите все, закройте дверь!
Чтобы никто не смел являться.

(Кларин и слуги уходят.)

Росаура

О, что мне делать? Я мертва. —
Прошу, заметь себе...

Сехисмундо

Я деспот.
Теперь напрасны все слова.

Клотальдо
(В сторону.)

(Какое страшное смущенье!
Как быть? Пусть он меня убьет,
Но помешать ему хочу я).

(Выходит.)

Сеньор, прошу, ты дашь отчет...

Сехисмундо

Во мне вторично гнев ты будишь.
Ты выжил из ума, старик?
Так мало ты меня боишься,
Сюда явившись в этот миг?

Клотальдо

Явился я на этот голос,
Чтобы сказать, что если ты
Желаешь царствовать, ты должен
Смирить надменные мечты;
Хоть ты превыше всех поставлен,
Не будь желаньем ослеплен,
Не будь с другим жесток: быть может,
Ты только спишь и видишь сон.

Сехисмундо

Во мне ты зажигаешь ярость,
Твердя, что тени я ловлю.
Убью тебя, тогда увижу,
Я вправду сплю или не сплю.

(Хочет вынуть кинжал, Клотальдо удерживает его и становится на колени.)

Клотальдо

Я так спасти себя надеюсь.

Сехисмундо

Прочь руки!

Клотальдо

До тех пор пока
Не явятся, чтоб гнев сдержать твой,
Так быть должна моя рука.

Росаура

О, Господи!

Сехисмундо

Пусти, несчастный.
Старик, безумный, дикий, враг!

(Борются.)

А если выпустить не хочешь,
Тебя я задушу, вот так.

Росаура

Сюда, сюда! Здесь убивают
Клотальдо

(Уходит)

(Входит Астольфо в ту минуту, как Клотальдо падает к его ногам; он становится между ним и Сехисмундо.)

СЦЕНА 9-я

Астольфо. – Сехисмундо, Клотальдо.

Астольфо

Что произошло?
Принц, неужели ты способен
Ту сталь, что блещет так светло,
Запачкать старческою кровью?

Сехисмундо

Бесчестна кровь его.

Астольфо

Он пал
К моим ногам, прося защиты:
И рок меня сюда призвал,
Чтоб я его прикрыл собою.

Сехисмундо

И рок сюда призвал тебя,
Чтоб я, тебя убив, несносный,
Отмстил достойно за себя.

Астольфо

Я жизнь свою лишь защищаю;
Я сан не оскорбляю твой.

(Астольфо обнажает шпагу, и они дерутся.)

Клотальдо

Не убивай его, владыка.

СЦЕНА 10-я

Басилио, Эстрелья и свита. — Сехисмундо, Астольфо, Клотальдо.

Басилио

Как, шпаги здесь, передо мной?

Эстрелья

(В сторону.)

Астольфо! горькое несчастье!

Басилио

Что ж здесь случилось?

Астольфо

Ничего,
Раз ты, сеньор, сюда пришел к нам.

(Прячут шпаги в ножны.)

Сехисмундо

Раз ты пришел, так оттого
Еще ничто не изменилось.
Меня старик вот этот рассердил,
И я его убить хотел.

Басилио

К сединам
Ты уважения в себе не ощутил?

Клотальдо

Они мои, сеньор: не важно это.

Сехисмундо

И ожидать еще ты мог,
Чтоб к сединáм питал я уваженье?
Напрасно.

(К Царю.)

И твои у этих ног
Когда-нибудь увидеть я надеюсь.
Я все еще не отомстил
За то, что так несправедливо
Тобой в тюрьме воспитан был.

(Уходит.)

Басилио

Так прежде чем увидишь это,
Ты будешь сонный унесен,
Туда, где скажешь ты, что все, что было,
Весь этот мир, лишь быстрый сон,

(Царь, Клотальдо и свита уходят.)

СЦЕНА 10-я

Эстрелья, Астольфо.

Астольфо

Как редко, беды возвещая,
Судьба. неверною бывает,
Она сомнительна во благе,
И необманчива во зле.
Прекрасным был бы астрологом,
Кто постоянно возвещал бы
Одни несчастья; нет сомненья,
Они сбывались бы всегда.
И этот опыт подтвердиться
Во мне и в Сехисмундо может:
Он в нас обоих, о, Эстрелья,
Свою правдивость показал.

Он для него предрек злосчастья,
Убийства, беды, дерзновенья,
И мы в действительности видим,
Что в этом правду он сказал:
Что до меня, когда я вижу
Лучи пленительного блеска,
Перед которым солнце — призрак,
И небо — только бледный знак,
Я вижу, для меня предрек он
Триумфы, счастие, удачи,
И этим дурно возвестил он,
И хорошо он возвестил:
Вполне судьба себя являет,
Когда в обманности коварной
Она, дарами поманив нас,
Пренебреженьем наградит.

Эстрелья

Не сомневаюсь, что правдивы
Такие нежные признанья,
Принадлежат они однако
Той неизвестной, чей портрет
Ты на себе носил, Астольфо,
Когда пришел меня увидеть.
По справедливости ты должен
Сказать ей все, что мне сказал.
Ищи у ней себе награды,
В любви награды быть не может
За службу верную во имя
Других красавиц и владык.

СЦЕНА 12-я

Росаура, *за занавесом.* — Эстрелья, Астольфо.

Росаура
(В сторону.)

Мои жестокие несчастья
Дошли до крайнего предела

Кто это видит, для того уж
Нет больше страха впереди.

Астольфо

Пускай портрет покинет сердце,
Пусть твой в нем будет дивный образ
Где появилася Эстрелья,
Для призрака там места нет,
Нет места для звезды, где солнце;
Я принесу портрет немедля. —

(В сторону.)

(Прости, Росаура, измену,
Но в женских и в мужских сердцах
Нет больше мысли о далеких).

(Уходит.)

(Росаура приближается.)

Росаура
(В сторону.)

Я ничего не расслыхала,
Боялась, что меня увидят.

Эстрелья

Астрея!

Росаура

Что ты повелишь?

Эстрелья

Я рада твоему приходу,
Тебе одной могла бы только
Доверить тайну я.

Росаура

Так много
Сеньора, почестей для той,
Кому приказывать ты можешь!

Эстрелья

Немного времени, Астрея,
Тебя я знаю, и однако
Ключи моей любви к тебе
В твоих руках; и зная также,
Кто ты, доверить я решаюсь
Тебе то самое, что часто
Скрывала даже от себя.

Росаура

Твоя раба тебе внимает.

Эстрелья

Чтоб в двух словах ты все узнала:
Мой брат двоюродный Астольфо
(Двоюродный, сказала, брат,
И этим в сущности сказала
Я все; есть вещи: их помыслишь,
И этим их уже расскажешь),
Со мной вступить намерен в брак,
Коли судьба захочет только
Таким единственным блаженством
Загладить столько темных бедствий.
Я огорчилась в первый день,
Увидев у него на шее
Портрет какой-то дамы; чувства
Свои ему я изъявила
С учтивостью, и он, как тот,
Кто вежлив и любить умеет,
Пошел за ним, и должен тотчас
Придти сюда; мне так неловко,
Что тот портрет мне нужно взять;
Побудь здесь до его прихода,
И пусть портрет тебе отдаст он.
Я больше не скажу ни слова:
Узнав любовь, ты знаешь все.

(Уходит.)

СЦЕНА 13-я

Росаура

О, если б я ее не знала!
Что делать? Небо! Кто сумел бы
В случайности такой жестокой
Мне надлежащий дать совет?
И есть ли кто еще на свете,
Кого разгневанное небо
Такими б смутами сражало,
Теснило бы такой бедой?
Что буду делать в затрудненьи,
Таком, что, мнится, невозможно
Найти для горя облегченье,
Иль утешенье обрести?
За самым первым злополучьем
Нет случая и нет событья,
Чтобы они не возвещали
О злополучиях других.
Они наследуют друг другу,
Из одного встает другое,
И, жизнь свою питая смертью,
Они, как Феникс, восстают,
И прах, оставшийся от мертвых,
Тепло поддерживает в гробе.
Несчастья — трусы, говорит нам
Один мудрец, они всегда
Идут не порознь, а толпою;
Я говорю, несчастья храбры,
Они идут, и наступают,
И никогда не кажут тыл:
Кто их с собою взял, тот может
На все решиться, потому что
Какой бы случай ни случился,
А уж они не отойдут.
Пример во мне: при всех событьях —
А у меня их было столько —
Они меня не покидают,
Не устают, покуда я,
Смертельно раненная роком,

Не падаю в объятья смерти,
О, горе мне! Что буду делать
При затруднении таком?
Когда скажу, кто — я, Клотальдо,
Который за меня вступился,
И защитить меня желает,
Пожалуй будет оскорблен;
Он мне сказал, чтобы в молчаньи
Я ожидала искупленья.
Когда Астольфо не скажу я,
Кто я, а он сюда придет, —
Как от него могу укрыться?
Хотя б глаза мои и голос
И захотели притворяться,
Душа их обличит во лжи.
Что делать? Но к чему я буду
Раздумывать, что стану делать,
Когда при всех моих стараньях
Решенье твердое принять,
То сделаю я в миг последний,
Что скорбь моя велит мне сделать?
Никто в несчастии не может
Самим собой повелевать.
И так как разум мой смущенный
Принять решение не смеет,
Пусть скорбь моя скорей приходит
И до предела возростет,
Пусть крайности достигнет горе,
Я сразу выйду из сомнений,
А до тех пор, я умоляю,
О, небо, не оставь меня!

СЦЕНА 14-я

Астольфо, *с портретом*. — Росаура.

Астольфо

Вот я принес портрет, сеньора.
Но Боже!

Р о с а у р а

Чем смутился Герцог?
Чем изумлен он так внезапно?

А с т о л ь ф о

Тем я, Росаура, смущен,
Что вижу здесь тебя и слышу.

Р о с а у р а

Росаура? О, нет, властитель,
Меня ты принял за другую!
Астрея называюсь я,
И столь великого блаженства,
Как этот трепет и смущенье,
Я, скромная, не заслужила.

А с т о л ь ф о

Довольно, прекрати обман,
Росаура, душа не может
Лгать никогда: и если будешь
Упорна ты, — Астрею видя,
Я в ной Росауру люблю.

Р о с а у р а

Я Герцога не понимаю,
Не знаю, как ему ответить:
Одно скажу я, что Эстрелья
(Венеры яркая звезда)
Мне здесь дождаться повелела,
Чтоб ты мне, повелитель, отдал
Портрет, а я его Принцессе
С рук на руки передала.
И я должна повиноваться,
Хотя бы к своему ущербу.
Повиновенье неизбежно;
Звезда, Эстрелья, так велит.

А с т о л ь ф о

Хотя бы больше ты старалась,
Росаура, ты не умеешь

Притворствовать. Скажи, чтоб взор твой
И голос в музыке своей
Согласовались: потому что
Противоречье непреклонно
И разногласье неизбежно,
Коль так расстроен инструмент,
Что воедино слить желает
Обманность слов и правду чувства.

Росаура

Я говорю, что ожидаю
Лишь одного: дай мне портрет.

Астольфо

Когда, Росаура, ты хочешь
Упорствовать в своем обмане,
Тебе обманом я отвечу.
Итак, окончим разговор.
Астрея, ты Инфанте скажешь,
Что, уваженью повинуясь,
Считаю малой я заслугой
Послать желаемый портрет;
И потому в своем вниманьи
Ей подлинник препровождаю;
А ты его снесешь к Эстрелье:
Его с собою носишь ты.

Росаура

Когда, решительный, надменный,
И храбрый, кто-нибудь желает
Достойно выполнить задачу,
Что он себе поставил сам, —
Коли он примет что другое,
Хотя бы большее, — он будет
Смешон и жалок, возвращаясь
Не с тем, что нужно. Так и я.
Сюда пришла я за портретом,
И с подлинником возвратившись,
Хотя он стоит много больше,
Смешной и жалкой возвращусь.

Отдай же, Герцог, тот портрет мне,
Я не уйду, его не взявши,

Астольфо

Но как же взять его ты можешь,
Раз я тебе его не дам?

Росаура

Вот так!

(Старается отнять портрет.)

Отдай, неблагодарный.

Астольфо

Напрасно.

Росаура

Видит Бог, не будет
Он у другой в руках.

Астольфо

Ты знаешь:
Ведь ты страшна.

Росаура

Предатель ты.

Астольфо

Моя Росаура, довольно.

Росаура

Твоя? Ты нагло лжешь.

(Оба держатся за портрет.)

СЦЕНА 15-я

Эстрелья. – Росаура, Астольфо.

Эстрелья

Астрея,
Астольфо... Что это такое?

А с т о л ь ф о
(В сторону.)

Эстрелья!

Р о с а у р а
(В сторону.)

(Научи, любовь,
Как получить портрет обратно?)

(К Эстрелье.)

Когда, сеньора, ты желаешь,
Тебе скажу я.

А с т о л ь ф о
(В сторону, к Росауре.)

Что ты хочешь?

Р о с а у р а

Ты мне велела подождать,
И от тебя сказать Астольфо,
Чтоб дал портрет мне. Я осталась,
И так как мысли переходят
Одна к другой весьма легко,
Я вспомнила о том портрете,
Что в рукаве своем носила.
И так как человек нередко
Выдумывает пустяки,
Когда один он остается,
Я на него взглянуть хотела,
Беру, и вдруг из рук он выпал,
Астольфо тут как раз идет,
Его он с полу поднимает,
Я говорю, а он не только
Не хочет свой отдать, но даже
Еще и этот взял себе;
Напрасно я его молила
И убеждала; рассердившись,
Я в нетерпении хотела
Его отнять. Взгляни сама,
Он мне принадлежит по праву.

Эстрелья

Астольфо, дай портрет.

(Берет у него из рук портрет.)

Астольфо

Сеньора...

Эстрелья

Черты угаданы отлично.

Росаура

Ведь, правда, это мой портрет?

Эстрелья

Кто ж в этом может сомневаться?

Росаура

Пусть и другой тебе отдаст он.

Эстрелья

Бери и уходи.

Росаура

(В сторону.)

Пусть будет,
Что будет: все равно теперь.

(Уходит.)

СЦЕНА 16-я

Эстрелья, Астольфо.

Эстрелья

Дай мне портрет теперь, который
Я раньше у тебя просила;
Хоть никогда я в жизни больше
С тобой не буду говорить,
И более с тобой не встречусь,
Я не хочу, чтоб оставался

В твоих руках он, — ну, хотя бы
Лишь потому, что у тебя
Его так глупо я просила.

Астольфо
(В сторону.)

(Как из беды такой мне выйти?)
Хотя, прекрасная Эстрелья,
Я и хочу тебе служить,
Но тот портрет, который просишь,
Я дать тебе не в состояньи,
Затем что...

Эстрелья

Груб ты и невежлив,
И больше он не нужен мне,
Я не хочу, чтоб ты напомнил,
Что я об нем тебя просила.

(Уходит.)

Астольфо

Остановись, постой, послушай,
Заметь! — Что делать мне теперь?
Росаура, зачем, откуда,
И как в Полонию пришла ты,
Чтобы сама ты в ней погибла
И чтобы я погиб с тобой?

(Уходит.)

СЦЕНА 17-я

Тюрьма Принца в башне.
Сехисмундо, *как в начале, покрытый звериной шкурой и в цепях, лежит на земле*; Клотальдо, двое слуг и Кларин.

Клотальдо

Пусть здесь лежит он, и надменность
Окончится, где началась.

Слуга

Я цепи наложил, как прежде.

Кларин

Да, Сехисмундо, в горький час
Проснешься ты, чтобы увидеть,
Что слава лживая твоя
Была лишь беглый пламень смерти,
Лишь привиденье бытия.

Клотальдо

А кто так говорить умеет,
Его посадим мы туда,
Где может рассуждать он долго. —

(К слугам.)

Эй вы, подите-ка сюда,
Заприте-ка его в ту келью.

(Указывает на келью, находящуюся рядом.)

Кларин

Меня? Зачем и почему?

Клотальдо

Затем, чтоб ты, узнавши тайны,
Не раззвонил их никому.

Кларин

Скажи на милость. Неужели
На жизнь отца я посягнул?
Или карманного Икара
С балкона в воду сошвырнул?
Я сплю, я грежу? Ну, к чему же
Мне быть наедине с собой?

Клотальдо

Не будь Кларином.

К л а р и н

Я умолкну,
Дырявой буду я трубой.
(Его уводят, и Клотальдо остается один.)

СЦЕНА 18-я

Б а с и л и о, закутанный в плащ. — К л о т а л ь д о, С е х и с м у н д о *спящий.*

Б а с и л и о

Клотальдо!

К л о т а л ь д о

Государь! Возможно ль:
Властитель так пришел сюда?

Б а с и л и о

Из любопытства мне хотелось
Узнать (о, горькая беда!),
Что с Сехисмундо происходит,
И я пришел.

К л о т а л ь д о

Взгляни, вот он
В своем убожестве злосчастном.

Б а с и л и о

В час роковой ты был рожден,
О, Принц, несчастием гонимый!
Скорее разбуди его:
От опия, что был им выпит,
Нет больше силы у него.

К л о т а л ь д о

Он говорит во сне тревожном.

Б а с и л и о

Что может грезиться ему?
Послушаем.

Сехисмундо
(Во сне.)

Властитель кроток,
Раз, повинуясь своему
Негодованию, казнит он
Тиранов: пусть от рук моих
Умрет Клотальдо, пусть отец мой,
Мне в ноги пав, целует их.

Клотальдо

Он смертию мне угрожает.

Басилио

Мне предвещает гнев и срам.

Клотальдо

Меня лишить он хочет жизни.

Басилио

Меня к своим привлечь стопам.

Сехисмундо
(Во сне.)

Пускай теперь в театре мира,
На пышной сцене предстает
Моя единственная храбрость:
Пусть месть моя свое возьмет,
И Принц великий, Сехисмундо,
Восторжествует над отцом.

(Просыпается.)

Но горе мне! Где нахожусь я?

Басилио
(К Клотальдо.)

Тебе известно обо всем,
Что должен ты сказать и сделать..
Меня пусть не увидит он.
Его отсюда буду слушать..

(Удаляется.)

С е х и с м у н д о

Так это я? В тюрьме? Пленен?
Окован крепкими цепями?
Заброшен в мертвой тишине?
И башня гроб мой. О, Всевышний,
Что только не приснилось мне!

К л о т а л ь д о

(В сторону.)

Теперь установлю различье
Меж тем, что правда, что игра.

С е х и с м у н д о

Уже пора мне просыпаться?

К л о т а л ь д о

О, да, уже давно пора.
Не спать же целый день! С тех пор как
Я устремлял свой взор во мглу
Вслед улетавшему по небу
И запоздавшему орлу,
Ни разу ты не просыпался?

С е х и с м у н д о

О, нет, не размыкая глаз,
Я спал, и, если разумею,
Я сплю, Клотальдо, и сейчас:
Я думаю, что в заблужденье
Я, это говоря, не впал;
Когда лишь было сновиденьем,
Что я так верно осязал,
Недостоверно то, что вижу;
И чувствует душа моя,
Что спать могу я пробужденный,
Коли уснувшим видел я.

К л о т а л ь д о

Что видел ты во сне, скажи мне?

Сехисмундо

Пусть это было лишь во сне,
Скажу не то, что мне приснилось,
А то, что было зримо мне.
Я пробудился, и увидел,
Что мой пленительный альков
(Какая сладостная пытка!)
Был весь как будто из цветов;
Из упоительных узоров
Он точно соткан был весной.
Там благородные толпою
Во прах склонялись предо мной,
Меня владыкой называли,
Мне драгоценности несли,
Меня в роскошные одежды
С почтительностью облекли.
Но чувства все еще дремали,
Лишь ты заставил вздрогнуть их,
Как счастие мне сообщивши,
Что, признанный в правах своих,
Я над Полонией был Принцем.

Клотальдо

И щедро был я награжден?

Сехисмундо

Не очень щедро: лютым гневом
И дерзновеньем ослеплен,
Тебя изменником я назвал,
И дважды умертвить хотел.

Клотальдо

Со мною был ты столь суровым?

Сехисмундо

Я был Царем, я всем владел,
И всем я мстил неумолимо;
Лишь женщину одну любил...
И думаю, то было правдой:

Вот, все прошло, я все забыл,
И только это не проходит.

(Король уходит.)

Клотальдо
(В сторону.)

(Растроганный его словами,
Взволнованным Король ушел).
С тобой мы помнишь? говорили
О том, что царственный орел —
Владыка птиц; и вот, уснувши,
Ты царство увидал во сне.
Но и во сне ты должен был бы
С почтеньем отнестись ко мне:
Тебя я воспитал с любовью,
Учил тебя по мере сил,
И знай, добро живет во веки,
Хоть ты его во сне свершил.

(Уходит.)

СЦЕНА 19-я

Сехисмундо

Он прав. Так сдержим же свирепость,
И честолюбье укротим,
И обуздаем наше буйство, —
Ведь мы, быть может, только спим.
Да, только спим, пока мы в мире
Столь необычном, что для нас —
Жить значит спать, быть в этой жизни —
Жить сновиденьем каждый час.
Мне самый опыт возвещает:
Мы здесь до пробужденья спим.
Спит царь, и видит сон о царстве,
И грезит вымыслом своим.
Повелевает, управляет,
Среди своей дремотной мглы,
Заимобразно получает
Как ветер лживые хвалы.

И смерть их все развеет пылью.
Кто ж хочет видеть этот сон,
Когда от грезы о величьи
Он будет смертью пробужден?
И спит богач, и в сне тревожном
Богатство грезится ему.
И спит бедняк, и шлет укоры,
Во сне, уделу своему.
И спит обласканный успехом.
И обделенный — видит сон.
И грезит тот, кто оскорбляет.
И грезит тот, кто оскорблен.
И каждый видит сон о жизни
И о своем текущем дне,
Хотя никто не понимает,
Что существует он во сне.
И снится мне, что здесь цепями
В темнице я обременен,
Как снилось, будто в лучшем месте
Я, вольный, видел лучший сон.
Что жизнь? Безумие, ошибка.
Что жизнь? Обманность пелены.
И лучший миг есть заблужденье,
Раз жизнь есть только сновиденье,
А сновиденья только сны.

ХОРНАДА ТРЕТЬЯ

СЦЕНА 1-я

Кларин

Попал я в колдовскую башню;
За то, что мне известно, схвачен;
Как покарают за незнанье,
Коли за знанье я убит?
Чтобы с подобным аппетитом
Я умер заживо голодным,
Сам о себе я сожалею,
Все скажут: «Как не пожалеть!»
И справедливо: как возможно
Согласовать с таким молчаньем —
То, что зовуся я Кларином
И должен, как рожок, звучать?
Мне здесь товарищами служат,
Насколько наблюдать умею,
Одни лишь пауки да крысы:
Могу вам доложить, птенцы!
Такие сны я видел ночью,
Что в голове землетрясенье:
Рожки, и фокусы, и трубы,
Толпа, процессии, кресты,
Самобичующихся лики;
Одни восходят вверх, другие
Нисходят; падают, увидев,

Что на иных сочится кровь;
Я, если говорить по правде,
От одного без чувств упал бы,
От голода: я существую
В такой таинственной тюрьме,
Что днем философа читаю,
Который назван Безобедом,
А ночью говорю с подругой,
Что называется Неешь.
Коль назовут святым Молчанье,
В календаре его означив, —
Я Сан Секрето выбираю
В свои святые навсегда:
Я в честь его пощусь изрядно.
И поделом: я был слугою,
И был безмолвен, о, кощунство!

(Бьют барабаны и звучат рожки, слышны голоса за сценой.)

СЦЕНА 2-я

Солдаты. – Кларин.

Первый солдат
(За сценой.)

Вот в этой башне он сидит,
Ломайте дверь и все входите.

Кларин

Никак они за мной явились.
Он здесь, сказали. Что им нужно?

Первый солдат
(За сценой.)

Входите.

(Выходят толпой солдаты.)

Второй солдат

Здесь он.

Кларин

Нет, не здесь.

Все солдаты

Сеньор...

Кларин

(В сторону.)

Они как будто пьяны.

Первый солдат

Ты наш законный повелитель,
Тебя мы одного желаем,
Чужого Принца не хотим.
Облобызать твои дай ноги.

Солдаты

Да здравствует наш Принц великий!

Кларин

(В сторону.)

Однако это не на шутку.
Такой обычай, может, здесь,
Что ежедневно выбирают
Кого-нибудь и, сделав Принцем,
Потом его ввергают в башню.
Я вижу это каждый день.
Так вступим в роль,

Солдаты

Твои дай ноги.

Кларин

Дать ноги? Это невозможно.
Ответить должен я отказом,
Они мне нужны самому.
Безногим Принцем быть неладно.

Второй солдат

Мы твоему отцу сказали,

Что из Московии нам Принца
Не надо; мы хотим тебя.

Кларин

С моим отцом вы были дерзки?
Хорошие же вы ребята!

Первый солдат

Нас побуждала только верность.

Кларин

Раз это так, вы прощены.

Второй солдат

Покинь тюрьму, вернись ко власти.
Да здравствует наш Принц великий!

Все

Да процветает Сехисмундо!

Кларин
(В сторону.)

Как? Сехисмундо? Вот так-так.
Должно быть всем поддельным Принцам
Дается имя Сехисмундо.

СЦЕНА 3-я

Сехисмундо. — Кларин, солдаты.

Сехисмундо

Кто назвал Сехисмундо?

Кларин
(В сторону.)

Горе!
Я Принц, и вот уже не Принц.

Первый солдат

Сехисмундо?

Сехисмундо

Я.

Второй солдат

(К Кларину.)

Так как же,
Неосмотрительный и дерзкий,
Себя ты назвал Сехисмундо?

Кларин

Я Сехисмундо? Никогда.
Неосмотрительностью вашей
Я это имя получил здесь,
И ваша глупость, ваша дерзость
Осехисмундили меня.

Первый солдат

Великий Принц наш, Сехисмундо,
(Тебя мы знаем по приметам,
Но и без них мы возглашаем
Тебя властителем своим),
Родитель твой, Король великий,
Басилио, боясь, чтоб небо
Не оправдало предсказанья
Звезды, вещавшей, что его
Ты, победив, повергнешь на земь,
Решил тебя лишать престола,
И передать его Астольфо,
И с этой целью созвал двор.
А между тем народ, узнавши,
Что у него есть Царь законный,
Не хочет, чтоб над ним владыкой
Был чужеземец. Посему,
Великодушно презирая
Звезды несчастной предсказанья,
Он отыскал тебя в темнице,
Чтоб с твердой помощью его
Ты вышел прочь из этой башни,
И укрепил свою корону,

Ее отнявши у тирана
И свой престол себе вернув.
Так выходи: в пустыне этой
Ждет многочисленное войско.
Перед тобой свобода: слышишь,
Как все они зовут тебя?

Голоса за сценой

Мы ждем владыку Сехисмундо!

Сехисмундо

Опять (о, небеса, ответьте!),
Опять хотите вы, чтоб снился
Мне о величьи пышный сон,
И чтоб оно опять распалось?
Хотите вы, чтоб мне вторично,
Среди теней и очертаний,
Великолепный вспыхнул блеск,
И чтоб опять погас под ветром?
Хотите вы, чтоб я вторично
Коснулся этого обмана,
В чете с которым власть людей
Живет внимательно-покорной?
Так нет, не будет, нет, не будет,
Чтоб был я вновь судьбе подвластен,
И так как жизнь есть только сон,
Уйдите, тени, вы, что ныне
Для мертвых чувств моих приняли
Телесность с голосом, меж тем как
Безгласны, бестелесны вы.
Я не хочу величий лживых,
Воображаемых сияний,
Не принимаю заблуждений,
Что в самом легком ветерке
Вдруг рассыпаются, как пышность
Цветов миндальных, слишком рано
Расцветших в шелковом сияньи
И вдруг теряющих свой блеск.
О, я вас знаю, я вас знаю,
И от моей души не скрыто,

Что с вами то же происходит,
Что с каждым, кто окован сном.
Но надо мной не властны больше
Ни заблужденья, ни обманы,
Без заблуждений существует
Кто сознает, что *жизнь есть сон.*

Второй солдат

Когда ты думаешь, что ложно
Мы говорим, взгляни на горы,
Смотри, какой толпой собрались
Тебе готовые служить.

Сехисмундо

Уже я раньше пред собою
Одно и то же видел ясно,
Вот как сейчас, но это было
Лишь сном.

Второй солдат

Великий государь,
Всегда случалась, что в событьях
Многозначительных бывало
Предвозвещенье, — этой вестью
И был твой предыдущий сон.

Сехисмундо

Ты хорошо сказал. Да будет.
Пусть это было предвещанье,
И если жизнь так быстротечна,
Уснем; душа, уснем еще.
Но будем спать с большим вниманьем,
Но будем грезить — понимая,
Что мы от этого блаженства
Должны проснуться в лучший миг.
Когда мы твердо это знаем,
Для нас одним обманом меньше,
И мы смеемся над бедою,
Когда ее предупредим.
И раз доподлинно мы знаем,
Что власть всегда взаймы дается,

И что ее вернуть им нужно,
Сомненья прочь, дерзнем на все. —
Благодарю вас всех за верность,
Торжественно вам обещаю:
От подчиненья чужеземцу
Я смело вас освобожу.
Провозгласите наступленье,
Свою вам храбрость покажу я;
И, на отца подняв оружье,
Я оправдаю глас небес.
Его у ног своих увижу...

(В сторону)

(Но если пробужусь я раньше?
О том, что будет не наверно,
Теперь не лучше ль умолчать?)

Все

Да торжествует Сехисмундо!

СЦЕНА 4-я

Клотальдо. — Сехисмундо, Кларин, солдаты.

Клотальдо

Что здесь за шум? Что вижу, небо?

Сехисмундо

Клотальдо!

Клотальдо

Государь...

(В сторону)

(Свой гнев он
Теперь обрушит на меня.)

Кларин

(В сторону)

Он сошвырнет его с утеса,
Могу за это поручиться.

(Уходит.)

Клотальдо

К твоим ногам припав, смиренно
Я жду, чтоб ты меня казнил.

Сехисмундо

Нет, встань, отец мой, встань скорее,
И будь звездой моей полярной,
Путеводителем, с которым
Соображу свои шаги.
Всем воспитанием, я знаю,
Я верности твоей обязан.
И потому приди в объятья,

Клотальдо

Что говоришь?

Сехисмундо

Что я лишь сплю,
И что творить добро хочу я,
Узнавши, что добро вовеки
Свой след незримый оставляет,
Хоть ты его во сне свершил.

Клотальдо

Итак, сеньор, коли теперь ты
Избрал добро своим девизом,
Тебя не оскорбит, что ныне
О том же думаю и я.
Вступить в войну с отцом ты хочешь,
И против своего владыки
Я не могу давать советов,
И не могу с тобою быть.
К твоим ногам я повергаюсь,
Убей меня.

Сехисмундо

Изменник, низкий,
Неблагодарный...!

(В сторону)

(Но — о, небо —
Прилично мне себя сдержать:
Не знаю, наяву ли это).
Клотальдо, видя, как ты честен,
Тебя я вдвое уважаю,
Иди же и служи Царю.
Увидимся на поле битвы. —
А вы, солдаты, за оружье!

Клотальдо

К твоим ногам тысячекратно
Я припадаю.

(Уходит.)

Сехисмундо

О судьба!
Так значит царство предо мною.
Не пробуждай меня, коль сплю я,
Не усыпляй, коль это правда.
Но правда это или сон,
Что важно, — оставаться добрым:
Коль правда, для того, чтоб быть им,
Коль сон, чтобы, когда проснемся,
Мы пробудились меж друзей.

(Уходят: слышен бой барабанов.)

СЦЕНА 5-я

Зал в Царском Дворце.
Басилио и Астольфо.

Басилио

Астольфо, кто коня сдержать сумеет,
Когда он вдруг закусит повода?
Кто может задержать реки теченье,
Коль в море мчится бурная вода?
Кто глыбу задержать сумеет в беге,
Когда она с горы сорвется вниз?
Так это все легко, в сравненьи с гневом,

Коль страсти у толпы в сердцах зажглись.
Пускай тебе об этом скажут крики.
Вещатели готовящихся бед:
В ущельях гор одни кричат «Астольфо»,
И «Сехисмундо» вторят им в ответ.
Присяга изменяется в значеньи,
И царство будет сценой роковой,
Где темная судьба, изображая
Трагедию, нам возвещает бой.

Астольфо

Пусть, государь, веселие сегодня
Умолкнет; пусть обещанная мне
Притихнет радость; ежели сегодня
Полония (которую вполне
Смирить надеюсь) на меня восстала,
Так это для того, чтоб я сперва
Мог заслужить ее. Коня! Пусть явит
Тот молнию, кто гром вложил в слова.

(Уходит.)

Басилио

Что неизбежно, то должно случиться,
Опасно то, что нам возвещено:
Раз быть должно, защита невозможна;
Восстань, и тем скорей придет оно.
Жестокий рок! Закон свирепый! Ужас!
Бежишь войны, чтобы вступить в войну;
Ища защиты, я нашел погибель,
Сам погубил родимую страну.

СЦЕНА 6-я

Эстрелья. — Басилио.

Эстрелья

Великий государь, коль ты не хочешь
Смирить мятеж присутствием своим,
Меж тем как он на площадях сбираясь,

По улицам расходится как дым,
Увидишь царство ты в багряной бездне,
В волнах кровавых, ибо все кругом —
Сплетенье роковое злополучий,
Где каждый для тебя встает врагом.
Твое величье так уже упало,
Так сильно гнев свирепствует в сердцах,
Что взор смущен, и солнце омрачилось,
И буря затаилась в облаках.
И каждый камень — памятник надгробный,
И все цветы — струят могильный свет,
И каждый дом — высокая гробница,
И каждый воин — как живой скелет.

СЦЕНА 7-я

Клотальдо. — Басилио, Эстрелья.

Клотальдо

Благодаренье Богу, что живым я
Пришел к твоим ногам!

Басилио

Клотальдо, ты?
Что нового принес о Сехисмундо?

Клотальдо

Чудовищем, ниспавшим с высоты.
Народ проник в ту башню, где сидел он,
От тесных уз его освободил
И он, себя вторично видя Принцем,
Неустрашимость гордую явил,
Он говорит, что оправдает небо.

Басилио

Дать мне коня! Я сына укрощу.
Пусть меч исправит, в чем ошиблось знанье,
Себе венец я царский возвращу.

(Уходит.)

Эстрелья

Так рядом с Солнцем буду я Беллоной:
Пусть наши имена горят светло;
С Палладой в состязание вступлю я,
Мой дух расправит мощное крыло.

(Уходит: слышен призыв к оружию)

СЦЕНА 8-я

Росаура, *удерживает* Клотальдо.

Росаура

Хоть сердце у тебя и рвется,
Чтобы вступить скорее в бой,
Меня ты выслушай; как царство,
Я вся охвачена борьбой.
Ты знаешь, я несчастной, бедной,
Сюда в Полонию пришла,
В тебе я обрела защиту
И покровителя нашла.
Ты мне велел, чтоб во дворце я
Переменила внешний лик,
И чтоб свою скрывала ревность,
Пока настанет лучший миг,
И чтоб с Астольфо не встречалась;
Но вот он встретился со мной,
И так он честь мою унизил,
Что хочет нынче, в час ночной,
В саду с Эстрельей увидаться:
От сада ключ я принесла,
В него легко войти ты можешь,
И в час, когда сгустится мгла,
Отмстить за все мои тревоги,
Тебе так нужно поступить,
Когда за поруганье чести
Решился ты его убить.

Клотальдо

Росаура, тебя увидев,
Тебе помочь решился я,
Насколько только хватит жизни,

(Тому свидетель скорбь твоя).
Велел я с самого начала,
Чтоб ты переменила вид,
Дабы, раз на тебя Астольфо
Случайно взор свой обратит,
Была ты в собственной одежде,
И он не мог бы дерзость счесть
За легкомыслие, которым
Повреждена была бы честь.
Соображая в то же время,
Как в этом мне с Астольфо быть,
Решил я быть неумолимым,
Хотя б пришлось его убить.
Какое дерзкое безумье!
Но так как не был он Царем,
Моим владыкою он не был,
Безумья я не видел в том.
Хотел убить, а Сехисмундо,
Свирепым гневом ослеплен,
Хотел меня убить, и был я
От смерти им освобожден;
Себя опасности подвергнув,
Он на мою защиту встал,
С такою храбростью, что я бы
В ней даже дерзость увидал.
Так как же я могу (подумай),
К нему признательность тая,
Дать смерть тому, кем сохранилась
От лютой смерти жизнь моя?
И меж двоими разделивши
Свои заботы и любовь,
Тебе дав жизнь и от Астольфо
Ее как бы имея вновь,
Не знаю я, к кому примкнуть мне,
На чей откликнуться призыв:
Тебе обязан — отдавая,
Ему обязан — получив.
В противоречии подобном
Исхода я не нахожу:
Заимодавец и должник я,
Повелеваю и служу.

Р о с а у р а

Я не должна тебя, конечно,
В том несомненном убеждать,
Что получать — настолько ж низко,
Насколько благородно — дать.
Раз это верно, ты не должен
Его совсем благодарить,
И если жизнь твою сумел он
Тебе и вправду подарить,
И если жизнь мне подарил ты,
Тебя принудил значит он,
Чтоб этим совершил ты низость, —
Мной к благородству принужден.
Ты значит предо мной обязан,
А он тебя лишь оскорбил,
Коль ты мне дал, как предположим,
Что от него ты получил,
И честь мою ты значит должен
Своим оружьем защитить:
Настолько же его я выше,
Как выше дать, чем получить.

К л о т а л ь д о

Когда являет благородство
Тот, кто дает нам что-нибудь,
Явить обязан благодарность
Кто мог свободнее вздохнуть.
И если дать я был способен,
Великодушье показав,
Пускай явлюсь и благодарным,
Вдвойне украсивши свой нрав.
Пускай признательным я буду,
Как щедрым мог себя явить,
В том, что даешь, есть благородство,
Оно есть в том, как получить.

Р о с а у р а

Ты дал мне жизнь и сам сказал мне,
Что жизнь, когда оскорблена

И оскорбление не смыто,
Тогда совсем не жизнь она.
И это значит: от тебя я
Не получила ничего;
Та жизнь не жизнь, что я снискала
У благородства твоего.
И если хочешь быть ты щедрым
Пред тем как благодарным быть,
Я уповаю, что захочешь
Ты жизнь, как жизнь, мне подарить.
И если ты, сперва давая,
Величья больше явишь в том,
Я жду, чтоб ты сперва был щедрым,
Чтоб быть признательным потом.

Клотальдо

Я, доводом твоим сраженный,
Желаю раньше щедрым быть.
Тебе, Росаура, дам денег
И дам возможность поступить
В обитель; этим зла избегнув,
Ты укрепишь свой дух в добре:
От преступленья удалившись,
Ты отдохнешь в монастыре.
Коль в царстве столько бед великих
И тягостный такой раскол,
Я умножать их не желаю,
Я благородным в мир вошел.
Решившись на такое средство,
Родимой верен я стране,
С тобою щедр, а пред Астольфо
Чист и признателен вполне.
Так выбирай меж двух исходов,
Что надлежит, и знай притом:
Клянусь, я больше бы не сделал,
Когда б я был твоим отцом!

Росаура

Когда моим отцом ты был бы,
Я б оскорбление снесла:

Раз нет, и нет во мне терпенья,

Клотальдо

Так ты решенье приняла...

Росаура

Я Герцога убью.

Клотальдо

И дама,
Не ведая, чья дочь она,
Себя такою явит храброй?

Росаура

Да.

Клотальдо

Чем же ты возбуждена?

Росаура

Моею честью.

Клотальдо

Но Астольфо,
Пойми...

Росаура

Все победит вражда.

Клотальдо

Твой Царь, и он супруг Эстрельи.

Росаура

Он им не будет никогда.

Клотальдо

Но это же безумье.

Росаура

Знаю.

Клотальдо

Сдержи его.

Росаура

Я не могу.

Клотальдо

Так ты утратишь...

Росаура

Мне известно.

Клотальдо

И жизнь, и честь.

Росаура

На смерть врагу.

Клотальдо

Чего же ты желаешь?

Росаура

Смерти.

Клотальдо

Но это крайность.

Росаура

Это честь.

Клотальдо

Но это безрассудство.

Росаура

Храбрость.

Клотальдо

Безумье.

Росаура

Это ярость, месть,

Клотальдо

Так твой ответ — отдаться страсти?

Росаура

В том мой единственный ответ.

Клотальдо

Кто ж твой защитник?

Росаура

Я защитник.

Клотальдо

И больше нет исхода?

Росаура

Нет.

Клотальдо

Быть может, есть еще надежда...

Росаура

Погибнуть не таким путем.

(Уходит.)

Клотальдо

Когда погибнуть, дочь, постой же,
Пускай погибнем мы вдвоем.

(Уходит.)

СЦЕНА 9-я

Поле битвы.
Сехисмундо, *одетый в звериную шкуру:* солдаты, *в боевом марше:* Кларин.

(Бьют барабаны.)

Сехисмундо

Когда бы Рим тех дней первоначальных
Меня сегодня увидал,

Как он обрадоваться мог бы,
Что случай редкостный такой пред ним предстал,
И он для войск своих победоносных
Мог зверя получить вождем,
Который вплоть до звезд небесных
Пойдет нетронутым путем.
Но нет, мой дух, сдержи полет надменный,
Неверным торжеством не возгордись:
Что, если я проснусь, и, тех высот достигнув,
Сорвусь, теряя почву, вниз?
Пойми же эту неизбежность,
Душа надменная моя:
Чем меньше я приобретаю,
Тем меньше потеряю я.

(Звучит рожок.)

К л а р и н

Смотри, вон быстрый конь (прости, необходимо
Мне описать его, раз мой теперь черед).
В нем карта мира воплотилась.
Все расскажу наперечет:
В нем тело есть земля; душа, что в сердце скрыта,
Огонь; в нем пена уст — как бы волна морей:
Дыханье — воздух в нем: прекрасен этот хаос
Во всей различности своей.
Душой, дыханьем, телом, пеной,
Он чудище огня, земли, морей, ветров;
По цвету — в яблоках, с оттенком рыжеватым,
Чтоб шпорой попадать по пятнам вдоль боков.
Он не бежит, летит, так бег его проворен,
И женщина на нем спешит к тебе сюда.

С е х и с м у н д о

Она меня слепит.

К л а р и н

Росаура? Конечно!

С е х и с м у н д о
(Отходит в сторону.)

Опять ее ко мне ведет ее звезда.

СЦЕНА 10-я

Р о с а у р а, *в плаще, со шпагой и кинжалом.* — С е х и с м у н д о, солдаты.

Р о с а у р а

Великодушный Сехисмундо,
Чья героическая гордость
Горит, как яркий день деяний,
Покинув ночь своих теней: —
Как наибольшая планета
В объятиях зари веселой
Свое сиянье возрождает
Для трав и для душистых роз,
И над горами, над морями,
Венчанное чело подъемля,
Роняет свет, лучи бросает,
Меняет блеском влагу волн,
Так воссияй и ты над миром,
Всепобедительное солнце
Полонии, чтоб свет твой яркий
Несчастной женщине помог,
К твоим ногам теперь припавшей:
Из этих двух вещей довольно
Одной, чтоб тот, кто притязает
На доблесть, ей помог в беде.
Три раза пред тобой была я,
Три раза ты мне удивлялся,
Кто я, не зная, потому что
Три раза вид мой был иной.
Сперва, как юноша, явилась
Тебе я в тягостной темнице,
Где жизнь твоя была усладой
Для бедствий горестных моих.
Потом, объятый восхищеньем,
Ты мной, как женщиной, увлекся,
Когда твое величье было
Как привидение, как сон.
И в третий раз теперь, когда я,
Чудовище с двояким ликом,

Украшена одеждой женской,
Вооружением мужским.
И чтоб, проникшись состраданьем,
Ты лучшею мне был защитой,
Мои трагические судьбы
Тебе поведать надлежит.
Я родилась от благородной
В Московии, и заключаю,
Что, если мать была несчастной,
Она красавицей была.
Она влеченье возбудила
В изменнике, не называю
Его по имени, затем что
Его сама не знаю я;
Но был он храбрым, потому что
В душе я храбрость ощущаю,
И, думая о нем, хотела б
Теперь язычницею быть,
Чтобы в безумии поверить,
Что в изменениях различных
Данае, Леде и Европе
Предстал он золотым дождем,
Быком и лебедем. Когда я,
Указывая на измены,
Повествованье удлиняла,
Тебе сказала вкратце я,
Что мать моя, любви отдавшись
И уверениям поверив,
Была, как ни одна, прекрасна,
Несчастна же была, как все.
Так верила она признаньям
И обещанию жениться,
Что и доныне эту глупость
Она оплакивает все;
Ее тиран был столь Энеем
Своей, покинутой им, Трои,
Что ей оставил даже шпагу.
Пусть будет скрыто лезвиё,
Его я обнажу, пред тем как
Повествование окончу.

И вот, когда, так неудачно,
Игрою роковых страстей,
Завязан узел был, который
Хотя и узел, но не держит,
В себе одновременно сливши
И преступление, и брак, —
Я родилась, настолько схожей,
Что я была ее портретом,
Не красоты ее чудесной,
Но злоключений и судьбы;
Тебе рассказывать не нужно,
Как я, наследница несчастий,
Собой явила повторенье
Того, что раньше было с ней.
Я лишь одно могу поведать,
Назвать того, кто честь похитил,
Меня любовью обесславил.
Астольфо... Горе, горе мне!
Едва его я называю,
Как сердце гневается, бьется,
В негодованьи указуя,
Что называю я врага. —
Астольфо — тот неблагодарный
Что, позабывши радость счастья,
(В любви прошедшей забывают
И память самую о ней),
Пришел в Полонию, влекомый
Своей победой знаменитой,
Вступить в супружество с Эстрельей,
Чей свет — вечерний факел мой.
Кто б мог поверить, что, меж тем как
Звезда влюбленных сочетает,
Звезда роскошная, Эстрелья,
Захочет их разъединить?
Осмеянной и оскорбленной
Я брошена была в печали,
И я была как бы безумной,
Была, как труп, была как я,
Что означает, что была я
Как смутный трепет преисподней;

В своем душевном Вавилоне
Я изъяснялась немотой;
(Есть огорчения, есть муки
Такие, что немым оставшись,
Расскажешь лучше ощущенья,
Чем если говорить начнешь);
Я о своих страданьях молча
Повествовала, до того как
Наедине со мной (о небо!)
Раз Виоланта, мать моя,
Разрушила темницу сердца,
И все страданья в горькой смуте
Наружу вырвались поспешно,
Толпой покинув грудь мою.
Легко мне было рассказать их:
Когда, рассказывая, знаешь,
Что тот, кто слышит о паденьи,
В другом паденьи грешен был,
В нем соучастника находишь,
И этим он как бы оправдан,
Как бы утешен, — так что служит
Ко благу и дурной пример.
Ну, словом, с нежным состраданьем
Она моим скорбям внимала,
Своим нечастием желая
Мое несчастие смягчить:
С какою легкостью прощает
Судья, который был преступным!
В самой себе имея кару,
И от других не получив
Возврата чести затемненной,
Она, на время не надеясь,
Не видела в моих несчастьях
Исхода из моей беды,
И лучшим средством ей казалось,
Пойти за тем, кто был виновным,
Чтобы его, путем усилий,
Заставить заплатить за честь.
Дабы опасность умалилась,
Моей судьбе угодно было,

Чтоб я была в мужской одежде, —
И, шпагу снявши со стены,
Мне взять ее она велела,
Она теперь вот здесь со мною,
И как я раньше обещала,
Я обнажаю лезвиё,
Доверясь знакам этой шпаги.
Мне было сказано: «Отправься
В Полонию, и постарайся,
Чтоб увидали эту сталь
Знатнейшие; весьма возможно,
Что кто-нибудь защитой станет
Твоих несчастий, в ком пробудит
Сочувствие твоя судьба».
Итак, в Полонию пришла я:
Не буду говорить о том, что
Мой конь, как знаешь ты, сорвавшись
И закусивши повода,
Меня примчал к твоей пещере,
Где изумленьем и смущеньем
Проникся ты, меня увидя.
Не буду говорить о том,
Как там Клотальдо, проникаясь
Ко мне сочувствием сердечным,
Просил у Короля пощады,
И даровал мне жизнь Король;
Как он, узнав, кто я, велел
Явиться в собственной одежде,
Дабы служила я Эстрелье,
И силой хитрости своей
Расстроила любовь Астольфо
И помешала завершенью
Его супружества с Эстрельей.
Не буду говорить о том,
Что в этот раз меня вторично
В одежде женской увидавши,
Ты был исполнен удивленья,
Смешав два облика в один.
О том скажу я, что Клотальдо,
Считая важным, чтобы браком

Астольфо связан был с Эстрельей
И вместе царствовал бы с ней,
Советует, противно чести,
От притязаний мне отречься.
Но я, о, храбрый Сехисмундо,
Узнав, что волею небес
Разрушил ты свою темницу,
Где ты для горести был зверем
И для страдания скалою,
Что ты на край родной восстал
И на отца оружье поднял,
К тебе являюсь на защиту,
Придав к нарядности Дианы
Паллады боевой убор:
Одевшись в шелковые ткани,
Я сталь взяла, как украшенье.
Смелей же, храбрый предводитель,
Обоим важно нам теперь,
Чтоб этот брак не состоялся:
Мне потому, чтоб не женился
Тот, кто супруг мой нареченный,
Тебе же важно потому,
Чтобы они, соединившись,
Своей умноженною силой,
Своим влиянием возросшим
Не сделали для нас теперь
Сомнительной победу нашу.
Как женщина, тебя прошу я,
Чтоб ты за честь мою вступился;
И, как мужчина, говорю:
Возьми скорей свою корону.
Как женщина, хочу растрогать
Тебя, к ногам твоим повергшись;
И, как мужчина, прихожу
Служить тебе своею сталью.
Итак, заметь, что если ныне,
Как женщину, меня погубишь,
То, как мужчина, я за честь
Тебе отмщу твоею смертью.
За честь свою вступая в битву,

Как женщина, тебя молю я,
И, как мужчина, вышла в бой.

Сехисмундо
(В сторону)

О, небо, если мне лишь снится,
Останови воспоминанье!
Нельзя поверить, чтобы столько
Событий сон в себя включил.
Пускай поможет мне Всевышний!
Кто выйдет из таких сомнений,
И кто о них не думать мог бы?
Кто знал подобную беду?
Когда величие мне снилось, —
Как эта женщина мне может
О нем рассказывать подробно
И признаками подтверждать?
Так это был не сон, а правда;
А если правда (тут другое
И столь же странное смущенье),
Как назову я это сном?
Так жизнь и свет на сон похожи,
Что правда кажется обманом,
Обман является, как правда,
И столь различья мало в них,
Что разрешить необходимо
Недоуменье: то, что видишь,
Что доставляет наслажденье,
Есть правда или это ложь?
Так сильно копия похожа
На подлинник, что вопрошаешь,
Она не подлинник ли точный?
И если это вправду так,
И если пышность и величье,
И власть среди теней исчезнут,
Воспользуемся тем мгновеньем,
Что предоставлено для нас:
Лишь в этот миг мы насладимся
Тем, что живет во сне, как сладость.
Зачем бы стал я колебаться?

Росаура в моих руках.
Пред красотой ее чудесной
Моя душа полна восторгом;
Так насладимся ж этим мигом,
И пусть, к ногам моим упав,
Она доверие явила,
Любовь порвет законы чести;
Ведь это сон; так пусть же снится
Теперь мне счастье; час пробьет,
И мне приснится огорченье.
Но собственной своею мыслью
Я сам себя разубеждаю.
Раз это только беглый сон,
Раз это только лживый призрак,
Кто ж будет из-за лживой тени
Терять небесное блаженство?
Какое благо, что прошло,
Не сновидение пустое?
Кто не был счастлив беспредельно
И не сказал воспоминая:
«Все это было только сном?»
Так если я прозрел настолько
И чувствую, что наслажденье
Есть яркий пламень, что от ветра
Сейчас же пеплом упадет,
Прибегнем к вечному душою,
Где нескончаемая слава,
Где счастье светлое не дремлет,
Великолепье не заснет.
Росаура лишилась чести,
И Принцу надлежит скорее
Вернуть, что отнято у слабых,
Чем что-нибудь отнять у них.
Клянусь! Я прежде завоюю
Ее утраченную славу,
Чем свой венец. Бежим скорее
От случая. Соблазн велик. —
(К одному из солдат.)
К оружию! Хочу сегодня
Дать битву, перед тем как сумрак

Лучи схоронит золотые
Среди зелено-черных волн.

Росаура

Сеньор, так молча ты уходишь?
И во внимание к заботе,
К моим тяжелым огорченьям
Ни слова не промолвишь ты?
Возможно ли, скажи, владыка,
Что на меня ты и не взглянешь?
Ко мне лица не обратишь ты?

Сехисмундо

Росаура, так хочет честь:
Чтоб милосердным быть с тобою,
Теперь я должен быть жестоким.
Не даст тебе ответа голос,
Ответит честь моя тебе.
Не говорю я, потому что
Хочу, чтобы мои деянья
С тобою громко говорили,
И не гляжу я потому,
Что в затрудненьи столь великом
Необходимо, чтоб не видел
Чар красоты твоей — кто хочет
Увидеть честь твою теперь.

(Уходит и солдаты с ним.)

Росаура

Какие странные загадки!
О, небо, после этих бед,
Как понимать теперь должна я
Такой сомнительный ответ?

СЦЕНА 11-я

Кларин. – Росаура.

Кларин

Сеньора, возвести скорее,
Ты без особо важных дел?

Р о с а у р а

Кларин! Где был ты это время?

К л а р и н

Я в башне колдовской сидел,
И дожидался, что то будет,
Придет ли смерть иль не придет;
По счастью, козырь мне попался,
Не то такой бы вышел счет,
Что я совсем бы проигрался.

Р о с а у р а

Но почему же?

К л а р и н

Потому,
Что тайну твоего рожденья
Я знаю. Видишь, никому,
Здесь неизвестно, что Клотальдо...

(Звучат барабаны.)

Что эти звуки говорят?

Р о с а у р а

Что б это значило?

К л а р и н

Выходит
Из царского дворца отряд,
Чтобы сразиться с Сехисмундо,
И победить его в борьбе.

Р о с а у р а

Так мною трусость овладела,
Я не спешу к моей судьбе?
Скорее в бой, на ужас миру,
Я буду в битве рядом с ним.
Уже сраженье закипело,
И жар бойцов неукротим.

(Уходит.)

СЦЕНА 12-я

Кларин. — Солдаты, *за сценой.*

Голоса одних

Вперед! Да здравствует свобода!

Голоса других

Да здравствует Король! Вперед!

Кларин

Король? Свобода? На здоровье!
Меня лишь не вводите в счет.
Какое дело мне, шумите,
А я укроюсь между скал,
И разыграю роль Нерона,
Что ни о чем не помышлял.
Я, впрочем, помышлять желаю,
И помышляю о себе:
Из тайника могу я взвесить
Все pro и contra в их борьбе.
Здесь как за крепостью в ущельи,
Удобно, я вам доложу. —
Здесь и от смерти я укроюсь,
Две фиги смерти покажу.

(Прячется; бьют барабаны, и слышен шум оружия.)

СЦЕНА 13-я

Басилио, Клотальдо и Астольфо, *убегают.* — Кларин, *спрятавшийся.*

Басилио

О, был ли царь столь несчастливый,
Отец, в такой вступавший спор?

Клотальдо

Твои отряды, в беспорядке,
Разбитые стремятся с гор.

Астольфо

Увы, победа улыбнулась
Изменникам.

Басилио

В борьбе такой
Законен тот, кто был сильнее,
Изменник — проигравший бой.
Бежим, Клотальдо, от жестоких,
Бесчеловечных мер того,
Кто сыном-деспотом явился.

(За сценой раздается выстрел, и Кларин, пораженный пулей, падает с того места, где он находился.)

Кларин

О, Боже!

Астольфо

Кто убил его?
Солдат злосчастный, кто ты, павший,
С лицом в крови, у наших ног?

Кларин

Смертельно раненный несчастный,
Что думал обмануть свой рок,
И сам нашел его. От смерти
Хотел укрыться я сюда,
И с нею встретился; от смерти
Нельзя укрыться никуда.
Из этого выходит ясно,
Что тот, кто от нее бежит,
Он тем скорей ее находит
И сам удел свой сторожит.
Скорей, скорее воротитесь
К кровавой битве: меж огней,
Среди бряцания оружья,
От смерти скроешься верней,
Чем между скал, в ущельи темном;
Нет достоверного пути,

Чтоб от судьбы своей сокрыться,
От неизбежного уйти;
И пусть от смерти вы бежите,
И пусть ее вам страшен вид,
Смотрите, вы сейчас умрете,
Коль умереть вам Бог велит.

(Падает за сцену.)

Басилио

Смотрите, вы сейчас умрете,
Коль умереть вам Бог велит.
О, небо, наше заблужденье,
Непониманье высшей цели,
Как хорошо изобличил нам
Окровавленный этот труп,
Нам возвестив устами раны,
Нам рассказав кровавой пеной,
Что бесполезную задачу
Предпринимает человек,
Когда он с высшею причиной,
Когда он с наивысшей силой
В борьбу вступает. Пожелавши
Свое отечество спасти,
Сам мятежам его я предал
И злодеяньям, от которых
Освободить его замыслил.

Клотальдо

Хоть все дороги знает рок,
Хоть он, сеньор, того находит,
Кого в горах сокрытых ищет,
Не христианское решенье —
Сказать, что нет для нас пути
Его безжалостность исправить.
Есть путь; и мудрый над судьбою
Способен одержать победу;
И если ты не охранен
От злополучья и от горя,
Старайся отыскать защиту.

Астольфо

Клотальдо, государь, с тобою
Как умудренный говорит,
Достигший разума с летами,
А я как юноша бесстрашный.
В глухих горах, средь этой чащи,
Я вижу, бьет копытом конь,
Рождение ветров проворных;
Беги на нем, я в это время
Твое спасенье обеспечу,
Дорогу здесь постерегу.

Басилио

Коль хочет Бог, чтобы я умер,
Иль чтобы смерть меня застигла,
Здесь я найти ее желаю,
И встречусь с ней лицом к лицу.

(Призыв к оружию.)

СЦЕНА 14-я

Сехисмундо, Эстрелья, Росаура, солдаты, свита. — Басилио, Астольфо, Клотальдо.

Солдат

Король скрывается меж веток,
Вот здесь, в горах.

Сехисмундо

Скорее следом
За ним идите по ущельям,
И осмотрите каждый ствол,
Под каждой веткой поглядите.

Клотальдо

Беги, сеньор.

Басилио

Зачем?

Астольфо

Что хочешь
Ты сделать?

Басилио

Уходи, Астольфо.

Клотальдо

Что ты задумал?

Басилио

Я хочу
Последнее изведать средство. —

(К Сехисмундо.)

Коль ты меня найти желаешь,
Я, Принц, у ног твоих.

(Становится на колени.)

Пусть будут
Мои седины твой ковер.
Топчи мне голову; ногою
Встань на венец мой; в прах повергни
Почтение ко мне и сан мой;
Из мести честь мою унизь,
Со мною обойдись как с пленным;
Пусть, после стольких предвещаний,
Исполнить сказанное — небо,
Свершит обещанное — рок.

Сехисмундо

О, двор Полонии преславный,
Ты, лицезревший столько разных,
Столь удивительных событий,
Внемли, что Принц твой возвестит!
То, что назначено от неба,
Что написал перстом Всевышний
На той лазоровой скрижали,
Где, волю в знаках затаив,
На стольких записях лазурных

Блистают буквы золотыя,
То высшее нас не обманет
И никогда нам не солжет.
Но тот солжет, но тот обманет,
Кто, чтоб воспользоваться ими
Во зло, захочет в них проникнуть.
И сокровенность их понять.
Отец мой, ныне предстоящий
Пред нами, захотев избегнуть
Моей свирепости врожденной,
Меня животным воспитал
И сделал человеком-зверем:
И если б я по благородству,
По кровному великодушью,
По рыцарству своей души,
Родился кротким и смиренным,
Один лишь этот образ жизни,
Одно лишь это воспитанье
Способны были бы в мой нрав
Жестокие внедрить привычки:
Хороший способ устранить их!
Когда б кому-нибудь сказали:
«Какой-нибудь свирепый зверь
Тебя убьет»: он поступил бы
Разумно — пробуждая зверя,
Увидевши его уснувшим?
Когда б сказали: «Этот меч,
Который носишь ты с собою,
Тебя убьет»: разумно было б,
Его немедля обнаживши,
Приставить лезвиё к груди?
Когда б сказали: «В бездне моря
В сребристо-влажном саркофаге
Ты обретешь свою могилу»:
Неосторожным был бы он,
Доверясь дерзостному морю.
Когда оно вздымает горы
Курчавых белоснежных хлопьев,
Зубчатых скал из хрусталя.

С ним то же самое случилось,
Как с тем безумцем, кто, узнавши,
Что в звере гибель, будит зверя;
Как с тем, кто лезвия боясь,
Из ножен меч свой вынимает;
Как с тем, кто возмущает волны,
Охваченные силой бури;
И если бы (внимайте мне)
Был нрав мой задремавшим зверем,
Мой гнев — мечом, в ножнах сокрытым,
И дерзновенность — тихим ветром, —
Судьбу нам победить нельзя
Несправедливостью и местью.
Мы возбудим ее напротив;
Кто ж победить ее задумал,
Тот должен терпеливым быть
И осмотрительным; не прежде
Чем злополучие наступит,
Пускай себя предохраняет,
Кто хочет отвратить беду;
Он может (это очевидно)
От злополучия укрыться,
Но лишь тогда, когда наступит
Миг соответственный, а он
Предотвращенным быть не может.
Примером этого пусть служит
Такое редкое явленье,
Как это зрелище, как миг
Чрезмерных этих изумлений,
И это чудо, этот ужас:
Что может быть невероятней,
Как после столь различных мер
У ног моих отца увидеть
И побежденного монарха?
То было приговором неба;
И как он ни хотел его
Предотвратить, он был не властен;
Так как же я, и меньше живший,
И меньше знающий, и духом

Нс столь испытанный, как он,
Его предотвратить сумел бы? —

(К Королю.)

Встань, государь, и дай мне руку;
Ты видишь, небо показало,
Что ты ошибся, захотев
Так победить его решенье;
И вот с повинной головою
Жду твоего я приговора
И падаю к твоим ногам.

Басилио

Таким деяньем благородным,
Мой сын, ты мне даешь возможность
Тебя в себе родить вторично,
Ты Принц, и надлежат тебе
И пальма торжества и лавры:
Ты победил; твои деянья
Теперь тебя да увенчают.

Все

Да здравствует великий Принц,
Да процветает Сехисмундо!

Сехисмундо

Сегодня, так как ожидают
Меня великие победы,
Да будет высшею из них
Победа над самим собою. —
Пускай Росауре Астольфо
Даст руку: перед ней, он знает,
Обязан долгом чести он,
И я хочу его уплаты.

Астольфо

Хоть это истина, что с нею
Я обязательствами связан,
Она не знает, кто она;
И это низостию было б,

И это было бы бесславьем,
Вступить в супружество с такою...

Клотальдо

Не продолжай, постой, заметь;
Росаура так благородна,
Как ты, Астольфо; утвержденье
Своею шпагой подтвержу я;
Она мне дочь, и в этом все.

Астольфо

Что говоришь ты?

Клотальдо

Говорю я,
Что скрыть ее происхожденье
Хотел, покуда не увижу
Ее вступившей в честный брак
И окруженной уваженьем:
Но говорить об этом долго.
Она мне дочь, я повторяю.

Астольфо

Так слово я свое сдержу.

Сехисмундо

А чтоб Эстрелья не осталась
Без утешенья, потерявши
Такого доблестного Принца,
Своею собственной рукой
Ее я с мужем обвенчаю,
Который в славе и в заслугах
Ему равняется, коль только
Его еще не превзошел.
Дай руку мне.

Эстрелья

Вдвойне я рада,
Такого счастия дождавшись.

Сехисмундо

Что до Клотальдо, он, служивший
Так верно моему отцу,
Пускай придет в мои объятья,
И все получит он, чего бы
Ни пожелал.

Солдат

Когда такие
Ты почести даешь тому,
Кто не служил тебе, что дашь ты
Мне, послужившему причиной
Переворота в государстве?
Что заслужил я у тебя,
Освободив тебя из башни?

Сехисмундо

Получишь башню; и затем чтоб
Оттуда никогда не вышел,
Под стражею ты будешь там
До самой смерти; потому что
Изменник более не нужен,
Когда окончилась измена.

Басилио

Твой разум изумляет всех.

Астольфо

Какая перемена в нраве!

Росаура

Как он умен и осторожен!

Сехисмундо

Что вас дивит? что вас смущает?
Моим учителем был сон,
И я боюсь, в своей тревоге,
Что если, снова пробудившись,

Вторично я себя увижу
Меж тесных стен моей тюрьмы?
Пусть даже этого но будет,
Довольно, если это снится;
Да, я узнал, людское счастье
Проходит все, как быстрый сон:
И в этот миг, что мне остался,
Хочу молить я о прощеньи
Моих ошибок, — потому что
Прощают чистые сердца.

СОДЕРЖАНИЕ

Уолт Уитмен
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОЭЗИЯ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ

Перси Биши Шелли

ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ

Оскар Уайльд

БАЛЛАДА РЭДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

Эдгар Аллан По

РАССКАЗЫ И СТИХОТВОРЕНИЯ

РАССКАЗЫ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Лопе де Вега

ОВЕЧИЙ КЛЮЧ

(*Фуэнте Овехуна*)

Педро Кальдерон
ЖИЗНЬ ЕСТЬ СОН

Константин Дмитриевич
Бальмонт

Собрание сочинений в семи томах
ТОМ СЕДЬМОЙ

Редактор *А. Полбенникова*
Художественный редактор *А. Балашова*
Корректор *О. Круподер*
Компьютерная верстка *А. Павлов*

Подписано в печать 12.01.10 г.
Формат 84 ×108 $^{1}/_{32}$. Бумага офсетная.
Гарнитура «Петербург». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 40,32. Уч.-изд. л. 40,04.
Заказ № 0925330.

Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.
www.terra.su



Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Литературное приложение

ОГОНЁК

www.terra.su

ISBN 978-5-904656-89-8

9 785904 656898